

АЛЕКСАНДР ДЮМА

СОРОК ПЯТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



МОСКВА ~ 1982

АЛЕКСАНДР ДЮМА

СОРОК ПЯТЬ

Роман

Рисунки И. Кускова

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И(Фр)
Д 96

Перевод с французского
А. С. Кулишер
и
Н. Я. Рыковой
Предисловие и комментарии
М. Трескунова

Дюма А.

Д96 Сорок пять: Роман/ Пер. с фр. А. С. Кулишер, Н. Я. Рыковой; Предисл. и коммент. М. Трескунова; Рис. И. Кускова.— М.: Дет. лит., 1982.— 560 с., ил. (Б-ка приключений и научной фантастики).

В пер. 1 р. 20 к

Роман является завершающей частью трилогии, в которой рисуется история борьбы Генриха Наваррского за французский престол

Д $\frac{4803020102-347}{M101(03)82}$ Без объявл. И(Фр)



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Сент-Антуанские ворота

26 октября 1585 года цепи у Сент-Антуанских ворот, вопреки обыкновению, были еще натянуты в половине одиннадцатого утра. Без четверти одиннадцать отряд стражи, состоявший из двадцати швейцарцев — по их обмундированию было видно, что это швейцарцы из малых кантонов, то есть лучшие друзья царствовавшего тогда короля Генриха III[1],— показался в конце улицы Мортельри и подошел к Сент-Антуанским воротам, которые тотчас же отворились и,

[1] Генрих III (1574—1589) — последний французский король из династии Валуа

пропустив его, захлопнулись. За воротами швейцарцы выстроились вдоль изгородей, окаймлявших придорожные участки, и одним своим появлением заставили откатиться назад толпу земледельцев и небогатых горожан из Монтрея, Венсена или Сен-Мора, которые хотели проникнуть в город еще до полудня, но, как мы уже сказали, не могли этого сделать.

Если правда, что само скопление людей вызывает беспорядок, можно было подумать, что, выслав сюда швейцарцев, господин начальник стражи хотел его предупредить.

В самом деле, возле Сент-Антуанских ворот толпа собралась большая. По трем сходящимся у них дорогам то и дело прибывали монахи, женщины верхом на ослах и крестьяне в повозках, увеличивая и без того значительное скопление народа. Все нетерпеливо расспрашивали друг друга, и порой из общего гула вырывались отдельные голоса, поднимаясь до октавы, угрожающей или жалобной.

Кроме стекавшегося со всех сторон народа, легко было заметить отдельные группы людей, по всей видимости вышедших из города. Вместо того чтобы разглядывать, что делается в Париже, они пожирали глазами горизонт, где вырисовывались монастырь Святого Иакова, Венсенская обитель и Фобенский крест.

Эти люди — мы упоминаем о них потому, что они заслуживают нашего пристального внимания,— были в большинстве своем парижские горожане, одетые в облегающие короткие штаны и теплые куртки, ибо погода стояла холодная, дул резкий ветер и тяжелые, низкие тучи словно стремились сорвать с деревьев последние желтые листья, печально дрожавшие на ветвях.

Трое горожан беседовали или, вернее, беседовали двое, а третий слушал. Выразим нашу мысль точнее и скажем, что третий, казалось, даже не слушал: все внимание его было поглощено другим — он не отрываясь смотрел в сторону Венсена.

Займемся им в первую очередь.

Если бы он встал, то оказался бы человеком высокого роста. Но в данную минуту его длинные ноги, с которыми он, по-видимому, не знал, что делать, были подогнуты, а руки, тоже соответствующей длины, скрещены на груди. Прислонившись к живой изгороди, он тщательно закрывал широкой ладонью лицо, очевидно не желая, чтобы его узнали. Между средним и указательным пальцами незнакомца была только узкая щель, из которой вырывалась острая стрела его взгляда.

Рядом с этой странной личностью находился маленький человек, который, вскарабкавшись на пригорок, разговаривал с неким толстяком, еле сохранявшим равновесие на покатом склоне; чтобы не упасть, толстяк то и дело хватался за пуговицу на камзоле своего собеседника.

— Да, повторяю, метр Митон,— говорил карапуз толстяку,— на казнь Сальседа соберется по меньшей мере сто тысяч человек. Не считая тех, кто уже находится на Гревской площади. Смотрите-ка, сколько народу столпилось здесь, у одних только ворот! Судите сами: всех-то ворот, если правильно сосчитать, шестнадцать.

— Сто тысяч!.. Эка загнули, кум Фриар,— ответил толстяк.— Ведь многие, поверьте, сделают, как я, и, опасаясь давки, не пойдут смотреть на четвертование этого несчастного Сальседа и будут правы.

— Метр Митон, метр Митон, поберегитесь! — ответил низенький.— Вы говорите, как политик[1]. Ничего, решительно ничего не случится, ручаюсь вам.— И, видя, что собеседник с сомнением покачивает головой, он обратился к длиннорукому и длинноногому человеку: — Не правда ли, сударь?

Тот уже не глядел в сторону Венсена и, по-прежнему не отнимая ладони от лица, избрал предметом своего внимания заставу.

— Простите? — спросил он, словно не расслышав только что обращенных к нему слов.

— Я говорю, что на Гревской площади сегодня ничего не произойдет.

— Думаю, что вы ошибаетесь и произойдет четвертование Сальседа,— спокойно ответил длиннорукий.

— Да, конечно, но повторяю: из-за четвертования никакого шума не будет.

— Будут слышны удары кнута, хлещущего по лошадям.

---

[1] Политики — общественно-политическая группировка, объединявшая умеренных католиков и умеренных протестантов. Политики были сторонниками сильной королевской власти и боролись против религиозного фанатизма.

— Вы не уразумели моих слов. Говоря о шуме, я имею в виду бунт. Так вот, я утверждаю, что на Гревской площади дело обойдется без бунта. Если бы предполагался бунт, король не велел бы разукрасить одну из лоджий Ратуши, чтобы смотреть оттуда на казнь вместе с обеими королевами и своей свитой.

— Разве короли знают заранее, когда вспыхнет бунт? — спросил длиннорукий, с величайшим презрением пожимая плечами.

— Ого! — шепнул метр Митон на ухо своему собеседнику.— Этот человек весьма странно рассуждает. Вы его знаете, куманек?

— Нет,— ответил низенький.

— Так зачем же вы завели с ним разговор?

— Да просто, чтобы поговорить.

— Напрасно: вы же видите, он неразговорчив.

— Мне все же представляется,— продолжал кум Фриар достаточно громко, чтобы его услышал длиннорукий,— что одна из приятнейших вещей на свете — это обмен мыслями.

— С теми, кого знаешь, да,— ответил метр Митон,— но не с теми, кто тебе незнаком.

— Разве люди не братья, как говорит священник из церкви Сен-Ле? — проникновенным тоном добавил кум Фриар.

— Да, так было когда-то. Но в наше время родственные связи что-то ослабли, куманек Фриар. Если вам так хочется поговорить, говорите со мной и оставьте в покое этого чужака — пусть размышляет о своих делах.

— Но вас-то я уже давно знаю, и мне заранее известно все, что вы ответите. А этот незнакомец, может быть, скажет что-нибудь новенькое.

— Тсс! Он вас слушает.

— Тем лучше. Итак, сударь,— продолжал кум Фриар, оборачиваясь к незнакомцу,— вы думаете, что на Гревской площади будет шум?

— Я ничего подобного не говорил.

— Да я и не утверждаю, что вы говорили,— продолжал Фриар тоном человека, считающего себя весьма проницательным,— я полагаю, что вы так думаете, вот и все.

— А на чем основана эта ваша уверенность? Уж не колдун ли вы, господин Фриар?

— Смотрите-ка, он меня знает! — вскричал до крайности изумленный горожанин.— Откуда?

— Да ведь я назвал вас раза два или три, куманек! — сказал Митон, пожимая плечами: ему было стыдно за глупость своего друга.

— Да, правда,— сказал Фриар, не без труда уразумев, в чем дело.— Честное слово, правда. Ну, раз он меня знает — значит, ответит... Так вот, сударь мой,— продолжал он, снова оборачиваясь к незнакомцу,— я подумал, что вы думаете, что на Гревской площади поднимется шум, ибо если бы вы так не думали, то находились бы там, а вы, напротив, находитесь здесь... Ах ты!

Это «Ах ты!» доказывало, что кум Фриар уже достиг в своих умозаключениях последних, доступных его уму и логике пределов.

— Но если вы, господин Фриар, думаете обратное тому, что, по-вашему, думаю я,— ответил незнакомец, нарочно подчеркивая слова, которые собеседник так настойчиво повторял,— почему вы не на Гревской площади? Мне, например, кажется, что предстоящее зрелище должно радовать друзей короля и они не преминут там собраться. Вы, пожалуй, ответите на это, что принадлежите не к друзьям короля, а к друзьям господина де Гиза[1] и поджидаете здесь лотарингцев, которые, говорят, намерены вторгнуться в Париж и освободить господина де Сальседа.

— Нет, сударь,— поспешно возразил низенький горожанин, явно напуганный предположением незнакомца.— Нет, сударь, я поджидаю здесь свою жену Николь Фриар; она пошла в аббатство святого Иакова, отнести двадцать четыре скатерти, ибо имеет честь состоять личной прачкой дона Модеста Горанфло, настоятеля означенного монастыря...

— Куманек! Куманек! — вскричал Митон.— Смотрите-ка, что происходит!

Метр Фриар посмотрел туда, куда указывал пальцем его сотоварищ, и увидел, что наглухо запирают ворота.

---

[1] Генрих I Лотарингский, герцог де Гиз (1550—1588) — непримиримый враг протестантов, претендент на французский престол.

— Забавно, не правда ли? — заметил, смеясь, незнакомец.

Между его усами и бородой сверкнули два ряда белых острых зубов, видимо на редкость хорошо отточенных, благодаря привычке пускать их в дело не менее четырех раз в день.

Когда были приняты эти новые меры предосторожности, поднялся ропот изумления и раздались даже гневные возгласы.

— Осади назад! — повелительно крикнул какой-то офицер.

Приказание было тотчас же выполнено, однако не без затруднений: верховые и люди в повозках подались назад и кое-кому в толпе отдавили ноги и помяли ребра.

Женщины кричали, мужчины ругались. Кто мог бежать — бежал, опрокидывая других.

— Лотарингцы! Лотарингцы! — крикнул среди всей этой суматохи чей-то голос.

Самый отчаянный вопль ужаса не произвел бы такого впечатления, как слово «лотарингцы».

— Ну вот видите, видите! — вскричал, дрожа, Митон.— Лотарингцы, лотарингцы! Бежим!

— Но куда? — спросил Фриар.

— На пустырь! — крикнул Митон, раздирая руки о колючки живой изгороди, под которой удобно расположился незнакомец.

— На пустырь? — переспросил Фриар.— Это легче сказать, чем сделать, метр Митон. Никакого отверстия я не вижу, а вы вряд ли рассчитываете перелезть через изгородь: она будет повыше меня.

— Попробую,— сказал Митон,— попробую.

И он удвоил свои старания.

— Осторожнее, добрая женщина! — вскричал Фриар с отчаянием человека, окончательно теряющего голову.— Ваш осел наступает мне на пятки!.. Попридержите коня, господин всадник, не то он нас раздавит... Черт побери, друг возчик, ваша оглобля переломает мне ребра!..

Пока метр Митон цеплялся за кусты, чтобы перебраться по ту сторону изгороди, а кум Фриар тщетно искал какого-нибудь отверстия, чтобы проскользнуть в него, незнакомец поднялся, раздвинул, словно циркуль, свои длинные ноги и перемахнул через изгородь, да так, что не задел ни одной ветки.

Метр Митон последовал его примеру, порвав, однако, штаны. Но с кумом Фриаром дело обстояло хуже: ему никак не удавалось перебраться и, подвергаясь все большей опасности, он испускал душераздирающие вопли. Тогда незнакомец протянул свою длиннющую руку, схватил Фриара за гофрированный воротник и, как ребенка, перенес через изгородь.

— Уф! — воскликнул Фриар, ступив на твердую землю.— Что там ни говори, а я перебрался через изгородь благодаря этому господину.— Затем, выпрямившись, чтобы разглядеть незнакомца, которому он едва доходил до груди, метр Фриар продолжал: — Век бога за вас молить буду, сударь! Вы истинный Геркулес, честное слово! Это так же верно, как и то, что я зовусь Жаном Фриаром. Скажите мне свое имя, сударь, имя моего спасителя... друга!

Слово «друг» добряк произнес со всем пылом глубоко благодарного сердца.

— Меня зовут Брике, сударь,— ответил незнакомец,— Робер Брике к вашим услугам.

— Смею сказать, вы мне здорово услужили, господин Робер Брике. Жена благословлять вас будет. Но, кстати, где моя бедная женушка? О боже мой, боже, ее раздавят в этой толпе!.. Проклятые швейцарцы, они годны лишь на то, чтобы давить людей!

Не успел кум Фриар произнести этих слов, как ощутил на своем плече чью-то руку, тяжелую, как рука каменной статуи.

Он обернулся, чтобы взглянуть на нахала, разрешившего себе подобную вольность.

То был швейцарец.

— Фы хотите, чтоп фам расмосшили череп, трушок?— произнес богатырского сложения солдат.

— Мы окружены! — вскричал Фриар.

— Спасайся, кто может! — подхватил Митон.

И оба пустились наутек, сопровождаемые насмешливым взглядом и беззвучным смехом длиннорукого и длинноногого незнакомца.

II. Что происходило у Сент-Антуанских ворот

Одну из собравшихся здесь групп составляли горожане, оставшиеся вне городских стен, после того как ворота были неожиданно заперты. Люди эти столпились возле четверых или пятерых всадников весьма воинственного вида, которые изо всех сил орали:

— Ворота! Ворота!

Робер Брике подошел к горожанам и принялся кричать громче всех:

— Ворота! Ворота!

В конце концов один из всадников, восхищенный мощью его голоса, обернулся к нему, поклонился и сказал:

— Ну не позор ли, сударь, что среди бела дня закрывают городские ворота, словно Париж осадили испанцы или англичане?

Робер Брике внимательно посмотрел на говорившего. Это был человек лет сорока — сорока пяти, по-видимому начальник всадников.

Робер Брике, надо полагать, был удовлетворен осмотром, ибо он в свою очередь поклонился и ответил:

— Вы правы, сударь! Десять, двадцать раз правы,— добавил он.— Не хочу проявлять излишнего любопытства, но осмелюсь спросить, по какой причине, на ваш взгляд, принята подобная мера?

— Да, ей-богу же, они боятся, как бы не съели ихнего Сальседа,— сказал кто-то.

— Клянусь головой,— раздался звучный голос,— еда довольно паршивая.

Робер Брике обернулся в сторону говорившего, чей акцент выдавал несомненнейшего гасконца, и увидел молодого человека лет двадцати — двадцати пяти, опиравшегося рукой на круп лошади того, кто казался начальником.

Молодой человек был без шляпы — очевидно, он потерял ее в сутолоке.

Метр Брике был весьма наблюдателен. Он быстро отвернулся от гасконца, видимо не считая его достойным внимания, и перевел взгляд на всадника.

— Но ведь ходят слухи, что Сальсед — приспешник господина де Гиза, значит, это уж не такое жалкое кушанье,— сказал он.

— Да неужто так говорят? — спросил любопытный гасконец, весь превратившись в слух.

— Да, конечно, говорят,— ответил, пожимая плечами, всадник.— Но теперь болтают много всякой чепухи!

— Ах вот как! — вмешался Брике, устремляя на него вопрошающий взгляд и насмешливо улыбаясь.— Итак, вы думаете, что Сальсед не имеет отношения к господину де Гизу?

— Не только думаю, но уверен в этом,— ответил всадник. Тут он заметил, что Робер Брике сделал движение, означавшее: «А на чем основывается ваша уверенность?» — и добавил: — Подумайте сами: если бы Сальсед был одним из людей герцога, тот не допустил бы, чтобы его схватили и доставили из Брюсселя в Париж связанным по рукам и ногам, или по крайней мере попытался бы силой освободить пленника.

— Освободить силой,— возразил Брике,— дело весьма рискованное. Удалась бы эта попытка или нет, а господин де Гиз признал бы тем самым, что устроил заговор против герцога Анжуйского[1].

— Господина де Гиза такое соображение не остановило бы,— сухо продолжал всадник,— уверен в этом, и раз он не вступился за Сальседа, значит, Сальсед не его человек.

— Простите, что я настаиваю,— продолжал Брике,— но сведения о том, что Сальсед заговорил, вполне достоверны.

— Где заговорил? На суде?

— Нет, не на суде, сударь,— во время пытки. Но разве это не все равно? — спросил метр Брике с плохо разыгранным простодушием.

— Конечно, не все равно. Хорошенькое дело!.. Пусть болтают, что он заговорил,— согласен; однако, что именно он сказал, неизвестно.

— Еще раз прошу извинить меня, сударь,— продолжал Робер Брике.— Известно, и во всех подробностях.

— Ну, так что же он сказал? — раздраженно спросил всадник.— Говорите, раз вы так хорошо осведомлены.

---

[1] Герцог Анжуйский (1554—1584) — брат Генриха III.

— Я не хвалюсь своей осведомленностью, сударь; наоборот, я стараюсь от вас что-нибудь узнать,— ответил Брике.

— Давайте договоримся! — нетерпеливо молвил всадник.— Вы утверждаете, будто известны показания Сальседа. Что же он сказал? Ну-ка.

— Я не могу ручаться, что это его доподлинные слова,— проговорил Робер Брике; видимо, ему доставляло удовольствие дразнить всадника.

— Но, в конце концов, какие же речи ему приписывают?

— Говорят, он признался, что участвовал в заговоре в пользу господина де Гиза.

— Против короля Франции, разумеется? Старая песня!

— Нет, не против его величества короля Франции, а против его светлости герцога Анжуйского.

— Если он в этом признался...

— Так что? — спросил Робер Брике.

— Так он негодяй! — нахмурясь, произнес всадник.

— Да,— тихо сказал Робер Брике,— но он молодец, если сделал то, в чем признался. Ах, сударь, железные сапоги, дыба и котелок с кипящей водой хорошо развязывают языки порядочным людям.

— Истинная правда, сударь,— сказал всадник, смягчаясь и глубоко вздыхая.

— Подумаешь! — вмешался гасконец, который, вытягивая шею то к одному, то к другому собеседнику, прислушивался к разговору.— Сапоги, дыба, котелок — какие пустяки! Если этот Сальсед заговорил, то он негодяй, да и хозяин его тоже.

— Ого! — молвил всадник, будучи не в силах сдержать раздражение.— Громко же вы поете, господин гасконец.

— Я?

— Да, вы.

— Я пою на мотив, который мне по вкусу, черт побери! Тем хуже для тех, кому мое пение не нравится.

Всадник сделал гневное движение.

— Потише! — раздался чей-то негромкий, но повелительный голос.

Робер Брике тщетно попытался уяснить, кто это сказал.

Всадник с трудом сдержал себя.

— А хорошо ли вы знаете тех, о ком говорите, сударь? — спросил он у гасконца.

— Знаю ли я Сальседа?

— Да.

— Совсем не знаю.

— А герцога де Гиза?

— Тоже.

— А герцога Анжуйского?

— Еще меньше.

— Известно ли вам, что господин де Сальсед храбрец?

— Тем лучше. Он храбро примет смерть.

— И что если господин де Гиз устраивает заговоры, то сам в них участвует?

— Черт побери! Да мне-то какое дело до этого?

— И что монсеньер герцог Анжуйский, прежде называвшийся Алансонским, велел убить или допустил, чтобы убили всех, кто за него стоял: Ла Моля, Коконна, Бюсси и других?

— Наплевать мне на это!

— Как! Вам наплевать?

— Мейнвиль! Мейнвиль! — тихо прозвучал тот же голос.

— Конечно, наплевать! Я знаю только одно, клянусь кровью Христовой: сегодня у меня в Париже спешное дело, а из-за этого бешеного Сальседа у меня под носом заперли ворота.

— Ого! Гасконец-то шутить не любит,— пробормотал Робер Брике.— И мы, пожалуй, увидим кое-что любопытное.

При последнем замечании собеседника кровь бросилась в лицо всаднику, но он обуздал свой гнев.

— Вы правы,— сказал он,— к черту всех, кто не дает нам попасть в Париж!

«Ого! — подумал Робер Брике, внимательно следивший за тем, как меняется в лице всадник.— Похоже, что я увижу нечто более любопытное, чем ожидал».

Пока он размышлял таким образом, раздался звук трубы. Вслед за этим швейцарцы, орудуя алебардами, проложили себе путь в толпе и заставили ее выстроиться по обе стороны дороги.

По этому проходу стал разъезжать уже упомянутый

нами офицер, которому, судя по всему, вверена была охрана ворот. Затем, с вызывающим видом оглядев толпу, он велел трубить.

Это было тотчас же исполнено, и воцарилась тишина, которую, казалось, невозможно было ожидать после такого волнения и шума.

Тогда глашатай, в расшитом лилиями мундире и с гербом города Парижа на груди, выехал вперед, держа в руке какую-то бумагу, и прочитал гнусавым, как у всех глашатаев, голосом:

— «Доводим до сведения жителей нашего славного города Парижа и его окрестностей, что все городские ворота будут заперты сегодня до часу пополудни и что ранее указанного срока никто не вступит в город. На то воля короля и постановление господина парижского прево».

Глашатай остановился передохнуть. Присутствующие воспользовались этой паузой, чтобы выразить удивление и недовольство долгим улюлюканьем, которое глашатай, надо отдать ему справедливость, выдержал и глазом не моргнув.

Офицер повелительно поднял руку, и тотчас же снова наступила тишина.

Глашатай продолжал без смущения и колебания — видимо, привычка закалила его против всяческих проявлений народных чувств:

— «Мера сия не касается тех, кто предъявит опознавательный знак или кто окажется вызванным письмом или приказом, составленным надлежащим образом.

Дано в управлении парижского прево по чрезвычайному повелению его величества двадцать шестого октября в год от рождества господа нашего тысяча пятьсот восемьдесят пятый».

— Трубить в трубы! — послышалась команда.

Тотчас же раздался хриплый лай труб.

Толпа за цепью швейцарцев и солдат зашевелилась, словно извивающееся тело змеи.

— Что это означает? — вопрошали наиболее мирно настроенные.

— Наверно, опять какой-нибудь заговор!

— Это устроено, чтобы помешать нам войти в Париж,— тихо сказал своим спутникам всадник, со столь диковинным терпением сносивший дерзкие выходки гасконца.— Швейцарцы, глашатай, запреты, трубы — все ради нас. Клянусь честью, я даже горд этим.

— Дорогу! Дорогу! Эй вы там! — кричал офицер, командовавший отрядом.— Тысяча чертей! Или вы не видите, что загородили проход тем, кто имеет право войти в городские ворота?

— Ручаюсь головой, кое-кто пройдет в Париж, хотя бы все горожане на свете стояли между ним и заставой,— сказал, бесцеремонно протискиваясь сквозь толпу, гасконец, чьи дерзкие речи вызвали восхищение метра Робера Брике.

И действительно, он мгновенно очутился в проходе, расчищенном швейцарцами.

Можно себе представить, с какой поспешностью и любопытством обратились все взоры на человека, которому посчастливилось выйти вперед, когда ему велено было оставаться на месте.

Но гасконца мало тревожили эти завистливые взгляды. Он гордо остановился, напрягая тело под тонкой зеленой курткой. Из-под слишком коротких потертых рукавов на добрых три дюйма выступали костлявые запястья. Глаза были светлые, волосы курчавые и желтые либо от природы, либо из-за дорожной пыли. Длинные мускулистые ноги напоминали ноги оленя. На одной руке была надета вышитая кожаная перчатка, в другой он вертел ореховую палку. Он огляделся по сторонам и, решив, что упомянутый нами офицер самое важное в отряде лицо, подошел прямо к нему.

Офицер с минуту молча осматривал гасконца. Тот, нисколько не смущаясь, делал то же самое.

— Вы, видно, потеряли шляпу? — спросил наконец офицер.

— Да, сударь.

— В толпе?

— Нет. Я получил письмо от своей подруги и стал его читать у речки, за четверть мили отсюда, как вдруг порыв ветра унес и письмо и шляпу. Я побежал за письмом, хотя пряжка у меня на шляпе — крупный бриллиант. Схватил письмо, но, когда вернулся за шляпой, оказалось, что ветром ее снесло в реку и она уплыла по направлению к Парижу... Какой-нибудь бедняк разбогатеет на этом деле. Пускай!

— Так что вы остались с непокрытой головой?

— А разве в Париже я шляпы не достану, черт побери? Куплю шляпу еще красивее старой и украшу бриллиантом в два раза крупнее.

Офицер едва заметно пожал плечами. Но это движение не ускользнуло от гасконца.

— В чем дело? — сказал он.

— У вас есть пропуск? — спросил офицер.

— Конечно, есть, и не один, а целых два.

— Одного достаточно, был бы он в порядке.

— Но, если я не ошибаюсь — да нет, черт побери, не ошибаюсь,— я имею удовольствие беседовать с господином де Луаньяком? — спросил гасконец, вытаращив глаза.

— Вполне возможно, сударь,— сухо ответил офицер, отнюдь не в восторге от того, что его признали.

— С господином де Луаньяком, моим земляком?

— Отрицать не стану.

— С моим кузеном!

— Ладно, давайте пропуск.

— Вот он.

Гасконец вытащил из перчатки искусно вырезанную половину карточки.

— Идите за мной,— сказал Луаньяк, не взглянув на карточку,— вы и ваши спутники, если с вами кто-нибудь есть. Мы проверим пропуска.

И он встал у самых ворот.

Гасконец с непокрытой головой последовал за ним.

Пятеро мужчин потянулись вслед за гасконцем.

На первом из них была великолепная кираса такой изумительной работы, что казалось, она была создана самим Бенвенуто Челлини[1]. Однако фасон кирасы вышел из моды, и потому, несмотря на свое великолепие, она вызывала не восторг, а насмешку.

Второй спутник гасконца шел в сопровождении толстого седоватого слуги: тощий и загорелый, он казался прообразом Дон Кихота, точно так же как слуга его мог сойти за прообраз Санчо Пансы.

У третьего на руках был десятимесячный младенец, за кожаный пояс мужчины держалась жена, за юбку которой цеплялись два ребенка — один четырех, другой пяти лет.

[1] Бенвенуто Челлини (1500—1571) — известный итальянский скульптор, художник и ювелир.

Четвертый мужчина тащился хромая, с длинной шпагой на боку.

Наконец, шествие замыкал красивый молодой человек верхом на породистом воронои коне.

По сравнению с прочими он казался настоящим королем.

Вынужденный продвигаться вперед достаточно медленно, чтобы не опережать своих сотоварищей, молодой человек на мгновение задержался.

В тот же миг он почувствовал, как кто-то дернул его за ножны шпаги, и обернулся.

Внимание его привлек черноволосый юноша, невысокий, гибкий, изящный, с горящим взглядом и в перчатках.

— Что вам угодно, сударь? — спросил всадник.

— Сударь, прошу вас о милости.

— Говорите, только поскорее, пожалуйста, видите, меня ждут.

— Мне надо попасть в город, сударь, мне это крайне необходимо, понимаете?.. А вы одни, вам нужен паж, который оказался бы под стать вашей внешности.

— Так что же?

— Услуга за услугу: проведите меня в город, и я буду вашим пажом.

— Благодарю вас,— сказал всадник,— но я не нуждаюсь в паже.

— Даже в таком, как я? — спросил юноша и так странно улыбнулся, что ледяная оболочка, в которую всадник пытался заключить свое сердце, начала таять.

— Я хотел сказать, что не могу держать слуг.

— Да, я знаю, вы небогаты, господин Эрнотон де Карменж,— молвил паж.

Всадник вздрогнул. Но, не обращая на это внимание, юноша продолжал:

— Поэтому о жалованье мы говорить не станем, наоборот, это вам заплатят в сто раз больше, если вы согласитесь исполнить мою просьбу. Позвольте же служить вам, хотя мне и самому случалось отдавать приказания.

И юноша пожал всаднику руку, что со стороны пажа было довольно бесцеремонно. Затем, обернувшись к уже известной нам группе всадников, он сказал:

— Я пройду, это главное... Вы, Мейнвиль, постарайтесь сделать то же самое любым способом.

— Пройти — еще не все,— ответил дворянин.— Нужно, чтобы он вас увидел.

— О, не беспокойтесь! Если я пройду через эти ворота, он меня увидит.

— Не забудьте условного знака.

— Два пальца, приложенные к губам, не так ли?

— Правильно, а теперь — да поможет вам бог!

— Ну как, господин паж, вы готовы? — спросил владелец вороного коня.

— К вашим услугам, хозяин,— ответил юноша.

И он легко вскочил на круп лошади позади своего спутника, который поспешил присоединиться к остальным избранникам, уже вынимавшим пропуска.

— Черти полосатые! — произнес Робер Брике, следивший за ними взглядом.— Да это целый караван гасконцев, разрази меня гром!

III. Проверка

Проверка, предстоявшая шестерым избранникам, которые на наших глазах вышли из толпы и приблизились к воротам, оказалась несложной.

Им нужно было вынуть из кармана половину карточки и вручить ее офицеру, который сравнивал ее с другой половиной, и, если обе они подходили, права носителя карточки были доказаны.

Гасконец без шляпы был первым. С него и началась проверка.

— Ваше имя? — спросил офицер.

— Мое имя, господин офицер? Да оно написано на этой карточке.

— Неважно, скажите свое имя! — нетерпеливо повторил офицер.— Или вы не знаете, как вас зовут?

— Отлично знаю, черт побери! А если бы и забыл, вы могли бы мне напомнить, ведь мы с вами земляки и даже родичи.

— Имя ваше, тысяча чертей!.. Неужели вы воображаете, что у меня есть время разглядывать людей?

— Ладно. Зовут меня Пардикка де Пенкорнэ́.

— Пардикка де Пенкорнэ́? — переспросил господин де

Луаньяк, которого мы станем называть отныне именем, данным ему гасконцем.

Бросив взгляд на карточку, он прочел:

— «Пардикка де Пенкорнэ, 26 октября 1585 года, ровно в полдень».

— Сент-Антуанские ворота,— добавил гасконец, тыча сухим черным пальцем в карточку.

— Отлично. В порядке. Проходите,— сказал господин де Луаньяк.— Теперь вы,— обратился он ко второму.

Подошел человек в кирасе.

— Ваша карточка? — спросил Луаньяк.

— Как, господин де Луаньяк,— воскликнул тот,— неужто вы не узнаете сына одного из ваших друзей детства? Я так часто играл у вас на коленях!

— Нет.

— Пертинакс де Монкрабо,— продолжал с удивлением молодой человек.— Вы меня не узнали?

— На службе я никого не узнаю, сударь. Вашу карточку!

Молодой человек в кирасе протянул ему карточку.

— «Пертинакс де Монкрабо, 26 октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота». Проходите.

Молодой человек, несколько ошалевший от подобного приема, присоединился к Пардикке, который дожидался у самых ворот.

Подошел третий гасконец, тот самый, с которым была жена и дети.

— Ваша карточка? — спросил Луаньяк.

Послушная рука гасконца тотчас же погрузилась в кожаную сумку, висевшую у него на правом боку.

Но тщетно: обремененный младенцем, он не мог найти требуемой бумаги.

— Что вы, черт побери, возитесь с этим ребенком, сударь? Вы же видите, он вам мешает.

— Это мой сын, господин де Луаньяк.

— Ну так опустите сына на землю.

Гасконец повиновался. Младенец заревел.

— Вы что, женаты? — спросил Луаньяк.

— Так точно, господин офицер.

— В двадцать лет?

— У нас рано женятся, вы же знаете, господин де Луаньяк, вы сами женились восемнадцати лет.

— Ну вот,— заметил Луаньяк,— и этот меня знает.

Тем временем приблизилась женщина с двумя ребятами, уцепившимися за ее юбку.

— А почему бы ему и не быть женатым? — спросила она, выпрямляясь и отбрасывая с загорелого лба черные волосы, слипшиеся от дорожной пыли.— Разве в Париже прошла мода жениться? Да, сударь, он женат, и вот еще двое детей, зовущих его отцом.

— Да, но это дети моей жены, господин де Луаньяк, как и тот высокий парень, что держится позади нас... Подойди, Милитор, и поздоровайся с нашим земляком, господином де Луаньяком.

Подошел, заткнув руки за пояс, юноша лет шестнадцати — восемнадцати, сильный, ловкий, своими круглыми глазами и крючковатым носом напоминавший сокола.

На нем была шерстяная вязаная накидка, замшевые штаны облегали мускулистые ноги. Рот, наглый и чувственный, оттеняли нарождавшиеся усики.

— Это мой пасынок Милитор, господин де Луаньяк, старший сын моей жены, она по первому мужу Шавантрад и в родстве с Луаньяками; Милитор де Шавантрад к вашим услугам... Да поздоровайся же, Милитор! — И тут же он нагнулся к младенцу, который с ревом катался по земле. — Замолчи, Сципион, замолчи, малыш,— приговаривал он, продолжая искать карточку по всем карманам.

Тем временем Милитор, вняв увещаниям отчима, слегка поклонился, не вынимая рук из-за пояса.

— Ради всего святого, давайте же карточку, сударь! — нетерпеливо вскричал Луаньяк.

— Поди-ка сюда и помоги мне, Лардиль,— покраснев, обратился к жене гасконец.

Лардиль оторвала от юбки вцепившиеся в нее ручонки и стала шарить в сумке и карманах мужа.

— Хорошенькое дело! — молвила она.— Мы ее, верно, потеряли.

— Тогда придется вас задержать,— сказал Луаньяк.

Гасконец побледнел.

— Меня зовут Эсташ де Мираду,— сказал он,— за меня поручится мой родственник, господин де Сент-Малин.

— А вы в родстве с Сент-Малином? — переспросил, несколько смягчаясь, Луаньяк.— Впрочем, послушать их, так они со всеми в родстве! Ну ладно, ищите дальше, а главное — найдите.

— Пошарь в детских вещах, Лардиль,— произнес Эсташ, дрожа от досады и тревоги.

Лардиль нагнулась над небольшим узелком и стала перебирать вещи, что-то бормоча себе под нос.

Малолетний Сципион продолжал орать благим матом Правда, его единоутробные братцы, видя, что они предоставлены самим себе, ради развлечения набивали ему рот песком.

Милитор не двигался. Можно было подумать, что семейные неприятности не трогают его.

— А что там в кожаной обертке на рукаве у этого верзилы? — спросил господин де Луаньяк.

— Да, да, правда! — ликуя, возопил Эсташ.— Вспомнил, это же придумала Лардиль: она сама нашила карточку Милитору на рукав.

— Чтобы он тоже что-нибудь нес,— иронически заметил Луаньяк.— Фи, здоровенный теленок, а даже руки засунул за пояс, чтобы они его не обременяли.

Губы Милитора побледнели от ярости, а на носу, подбородке и лбу выступили красные пятна.

— У телят рук нет,— пробурчал он, злобно тараща глаза.— У них ноги с копытами, как у некоторых известных мне людей.

— Тише! — произнес Эсташ.— Ты же видишь, Милитор, господин де Луаньяк изволит шутить.

— Нет, черт побери, я не шучу,— возразил Луаньяк,— я хочу, напротив, чтобы этот дылда понял мои слова как следует. Будь он моим пасынком, я бы заставил его тащить мать, брата, узел и, разрази меня гром, если бы я сам не уселся на него верхом да еще не вытянул бы ему уши подлиннее в доказательство того, что он настоящий осел.

Милитор уже терял самообладание. Эсташ забеспокоился. Но сквозь его тревогу проглядывало удовольствие от нанесенного пасынку унижения.

Чтобы покончить с осложнениями и спасти своего первенца от насмешек господина де Луаньяка, Лардиль извлекла из кожаной обертки карточку и протянула ее офицеру.

Господин де Луаньяк взял ее и прочел:

— «Эсташ де Мираду, 26-го октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота». Ну, проходите да смотрите не забудьте кого-нибудь из своих ребят.

Эсташ де Мираду снова взял на руки малолетнего Сципиона. Лардиль опять уцепилась за его пояс, двое ребят постарше ухватились за материнскую юбку, и все семейство, за которым тащился молчаливый Милитор, присоединилось к тем, кто уже прошел проверку.

— Дьявольщина! — пробурчал сквозь зубы Луаньяк, наблюдая за тем, как Эсташ де Мираду со своими домочадцами проходит за ворота.— Ну и солдатиков же получит господин д'Эпернон!..— Затем, обращаясь к четвертому претенденту, он сказал: — Теперь ваша очередь!

Этот человек был без спутников. Прямой, чопорный, он щелчками сбивал пыль со своей куртки стального цвета. Кошачьи усы, зеленые сверкающие глаза, сросшиеся брови, выступающие скулы и тонкие губы придавали его лицу то выражение недоверчивости и скуповатой сдержанности, по которому узнаешь человека, тщательно скрывающего и кошелек свой, и сердце.

— «Шалабр, 26 октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота». Хорошо, идите! — сказал Луаньяк.

— Я полагаю, дорожные расходы будут возмещены? — тихим голосом спросил гасконец.

— Я не казначей, сударь,— сухо ответил Луаньяк,— я только привратник. Проходите.

Шалабр повиновался.

За Шалабром появился юный белокурый всадник. Вынимая карточку, он выронил из кармана игральную кость и несколько карт.

Всадник назвал себя Сен-Капотелем, и, так как это заявление было подтверждено карточкой, оказавшейся в полном порядке, он последовал за Шалабром.

Оставался шестой человек, которого заставил спешиться самозваный паж. Он протянул господину де Луаньяку карточку. На ней значилось:

«Эрнотон де Карменж, 26 октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота».

Пока господин де Луаньяк читал эти строки, паж тоже спешился и старательно прятал лицо: отвернувшись, он поправлял вполне исправную сбрую на лошади своего мнимого господина.

— Это ваш паж, сударь? — спросил де Луаньяк у Эрнотона, указывая на юношу.

— Как видите, господин капитан,— сказал Эрнотон, которому не хотелось ни лгать, ни предавать юношу,— он взнуздывает моего коня.

— Проходите,— сказал Луаньяк, внимательно осмотрев господина де Карменжа, лицом и фигурой, видимо, пришедшегося ему по нраву.— У этого, по крайней мере, приличный вид,— пробормотал он.— Откройте ворота,— приказал Луаньяк,— и пропустите шесть человек вместе с их спутниками!

— Скорей, скорей, хозяин,— сказал паж,— в седло, и едем.

Эрнотон опять подчинился влиянию, которое оказывал на него этот странный юноша. Ворота распахнулись, он пришпорил лошадь и, следуя указаниям пажа, въехал в Сент-Антуанское предместье.

Когда шестеро избранников вошли в ворота, Луаньяк велел запереть их, к величайшему неудовольствию толпы, которая рассчитывала после окончания формальностей тоже попасть в город. Видя, что надежды ее обмануты, она стала громко выражать свое недовольство.

После стремительной пробежки по полю метр Митон понемногу обрел мужество и осторожно возвратился обратно. Теперь он решился вслух пожаловаться на солдатню, беззастенчиво преграждающую дорогу добрым людям.

Кум Фриар, которому удалось разыскать жену, видимо, уже ничего не боялся под ее защитой и сообщал своей августейшей половине новости дня, толкуя их на свой лад.

Между тем всадники, одного из коих маленький паж назвал Мейнвилем, стали советоваться, не обогнуть ли им крепостную стену, в расчете на то, что там найдется какой-нибудь проход,— через него они проникнут, пожалуй, в Париж без проверки у Сент-Антуанских ворот.

В качестве философа, анализирующего происходящее, и ученого, проникающего в суть явлений, Робер Брике уразумел, что развязка всей сцены, о которой мы рассказали, совершится у Сент-Антуанских ворот и что из частных разговоров между всадниками, горожанами и крестьянами ничего больше не узнаешь.

Поэтому он приблизился насколько мог к небольшому строению, служившему сторожкой для привратника и освещенному двумя окнами, одно из которых смотрело на Париж, а другое — на окрестные поля.

Не успел он занять этот новый пост, как верховой, примчавшийся галопом из Парижа, соскочил с коня, вошел в сторожку.

— Вот и я, господин де Луаньяк,— сказал этот человек.

— Хорошо. Вы откуда?

— От Сен-Викторских ворот.

— Сколько у вас там?

— Пятеро.

— Карточки?

— Извольте получить.

Луаньяк взял карточки, проверил их и записал на аспидной доске цифру «5».

После того как у него побывали семь других вестников, Луаньяк тщательно выписал нижеследующие названия и цифры:

Ворота Сен-Викторские	5
Ворота Бурдельские	4
Ворота Тампльские	6
Ворота Сен-Дени	5
Ворота Сен-Жак	3
Ворота Сент-Оноре	8
Ворота Монмартрские	4
Ворота Бюсси	4
Наконец, ворота Сент-Антуанские	6
Итого	45 (сорок пять)

— Хорошо. Открыть ворота и впустить всех желающих! — крикнул Луаньяк зычным голосом.

Ворота распахнулись.

Тотчас же лошади, мулы, женщины, дети, повозки устремились в Париж, рискуя передавить друг друга.

За какие-нибудь четверть часа по широкой артерии, именуемой Сент-Антуанской улицей, растекся человеческий поток, с утра скоплявшийся у искусственной плотины.

Шум понемногу затих.

Господин де Луаньяк и его люди снова сели на коней. Робер Брике — он оставался здесь последним, хотя и пришел первым,— флегматично переступил через цепь, протянутую поперек моста.

«Все эти люди хотели что-то уразуметь и ничего не уразумели даже в собственных делах,— думал он.— Один я кое-что усмотрел. Начало увлекательное, будем продолжать. Но к чему? Я, черт побери, и так знаю достаточно. Что мне за интерес глядеть, как господина де Сальседа разрывают на четыре части? Нет уж, слуга покорный! К тому же я отказался от политики... Надо пообедать. Солнце показало бы полдень, если бы выглянуло из-за туч. Пора!»

С этими словами он вошел в Париж, улыбаясь своей спокойной лукавой улыбкой.

IV. Ложа его величества короля Генриха III на Гревской площади

Если бы по людной Сент-Антуанской улице мы проследовали до Гревской площади, то увидели бы в толпе многих своих знакомых. Но пока несчастные горожане, не такие мудрые, как Робер Брике, бредут в толкотне, сутолоке, давке, воспользуемся крыльями историка и перенесемся на площадь, охватим одним взглядом развернувшееся перед нами зрелище, а потом на мгновение вернемся в прошлое, дабы познать причину, после того как мы видели следствие.

Можно смело сказать, что метр Фриар был прав, считая, что на Гревской площади соберется не менее ста тысяч человек насладиться готовящейся там казнью. Все парижане назначили друг другу свидание у Ратуши. Между тем парижане — народ точный. Они не пропустят торжества, а ведь это торжество, и притом не обычное — смерть человека, возбудившего такие страсти, что одни его клянут, другие славят, большинство же испытывает к нему жалость.

Зритель, которому удалось выбраться на Гревскую площадь либо со стороны набережной у кабачка «Образ богоматери», либо крытым проходом с площади Бодуайе, заметил бы прежде всего на середине площади лучников лейтенанта Таншона, отряды швейцарцев и легкой кавалерии, окружавшие небольшой эшафот.

Этот эшафот, такой низкий, что его могли видеть лишь передние ряды зрителей или те, кому посчастливилось за-

нять место у одного из окон, выходивших на площадь, ожидал осужденного; несчастным с самого утра завладели монахи, и для него приготовлены были лошади, чтобы, по образному народному выражению, везти его в далекое путешествие.

И действительно, на углу улицы Мутон, у самой площади, четыре сильных першерона белой масти, с косматыми ногами нетерпеливо били копытами о мостовую, кусали друг друга и ржали, к величайшему ужасу женщин, избравших это место по доброй воле или же под напором толпы.

Однако больше всего привлекало толпу центральное окно Ратуши, затянутое красным бархатом с золотым шитьем, откуда свисал ковер, украшенный королевским гербом.

Ибо то была королевская ложа. В церкви Святого Иоанна, что на Гревской площади, пробило половину второго, когда в этом окне, напоминавшем раму, показались те лица, которые должны были ее заполнить.

Первым появился король Генрих III, бледный, с безжизненным взглядом, почти совсем лысый, хотя в то время ему было не более тридцати пяти лет; глаза в темных орбитах глубоко запали, нервная судорога кривила рот.

Вид у него был угрюмый, одновременно и величественный и болезненный — скорее тень, чем человек, скорее призрак, чем король. Для подданных он был недоступной их пониманию загадкой: при появлении его они не знали, что им делать — кричать «Да здравствует король» или молиться за упокой его души.

На Генрихе была короткая черная куртка, расшитая черным позументом, без орденов и драгоценностей; лишь на маленькой шапочке сверкал бриллиант, придерживающий три коротких завитых пера. В левой руке король держал черную болонку, присланную из заточения его невесткой Марией Стюарт[1]; на шелковистой шерсти собачки выделялись его длинные, белые, словно алебастровые пальцы.

[1] Мария Стюарт (1542—1587) была женой французского короля Франциска II, после его смерти возвратилась в Шотландию; королева Шотландии (1560—1567). В 1567 году Мария Стюарт, свергнутая с престола, бежала в Англию, где была заключена в тюрьму и казнена в 1587 году.

За ним следовала Екатерина Медичи[1], уже согбенная годами, ибо королеве-матери было в ту пору шестьдесят шесть — шестьдесят семь лет. Голову она держала еще гордо и прямо; из-под привычно нахмуренных бровей сверкал острый взгляд. И все же она походила в своих неизменных траурных одеждах на холодную восковую статую.

Рядом с нею возникло грустное, кроткое лицо королевы Луизы Лотарингской — жены короля Генриха III, на первый взгляд ничем не замечательной, но на самом деле верной подруги его несчастливой, полной тревог жизни.

Королева Екатерина Медичи присутствовала на своем триумфе.

Королева Луиза смотрела на казнь.

Король Генрих замышлял важную сделку.

Эти три оттенка чувствовались в высокомерии первой, в покорности второй, в сумрачной озабоченности третьего.

За высокими особами, на которых с любопытством глазел народ, находились два красивых молодых человека — одному было лет двадцать, другому не больше двадцати пяти.

Они держались за руки, несмотря на этикет, не допускающий, чтобы в присутствии монарха, как и в церкви перед лицом бога, люди выражали свою взаимную привязанность.

Они улыбались: младший — невыразимо печально, старший — пленительной, чарующей улыбкой. Они были красивы, высокого роста, они были братьями.

Младшего звали Анри де Жуаез, граф дю Бушаж, старшего — герцог Анн де Жуаез. Еще недавно его знали под именем д'Арк. Но король Генрих, любивший фаворита превыше всего на свете, назначил его год назад пэром Франции, превратив виконтство де Жуаез в герцогство.

К этому фавориту народ не испытывал ненависти, которую питал в свое время к Можирону, Келюсу и Шомбергу[2], — ненависти, унаследованной одним лишь д'Эпернoном.

[1] Екатерина Медичи (1518—1589) — жена французского короля Генриха II (1547—1559), мать трех последних королей из династии Валуа: Франциска II (1559—1560), Карла IX (1560—1574) и Генриха III (король Франции с 1574 по 1589 гг.).

[2] Можирон, Келюс, Шомберг — приближенные Генриха III.

Поэтому собравшаяся на площади толпа встретила государя и обоих братьев приветственными, но все же не слишком бурными кликами.

Генрих поклонился народу серьезно, без улыбки, затем поцеловал в голову собачку и обернулся к молодым людям.

— Прислонитесь к ковру, Анн,— молвил он старшему,— вы устанете, быть может, придется долго стоять.

— Надеюсь, государь,— вмешалась Екатерина,— это будет долгое и приятное зрелище.

— Вы полагаете, матушка, что Сальсед заговорит? — спросил Генрих.

— Господь бог, надеюсь, повергнет в смущение врагов наших. Я говорю «наших», ибо они также и ваши враги, дочь моя,— добавила она, обернувшись к королеве; та побледнела и опустила свой кроткий взор.

Король с сомнением покачал головой. Затем, снова обернувшись к Жуаезу, он сказал:

— Послушайте же, Анн, сделайте, как я вам советую. Прислонитесь к стене или обопритесь на спинку моего кресла.

— Ваше величество поистине слишком добры,— ответил юный герцог.— Я воспользуюсь вашим разрешением, когда по-настоящему устану.

— А мы не станем дожидаться, чтобы ты устал. Не правда ли, брат? — прошептал Анри.

— Будь покоен,— ответил Анн скорее взглядом, чем губами.

— Сын мой,— произнесла Екатерина,— мнится мне, что там, на углу набережной, происходит какая-то свалка.

— И острое же зрение у вас, матушка! Да, поистине вы правы. Какие у меня стали плохие глаза, а ведь я еще совсем не стар!

— Государь,— бесцеремонно прервал его Жуаез,— свалка происходит потому, что отряд лучников оттесняет толпу. Наверное, ведут осужденного.

— Сколь лестно для королей,— сказала Екатерина,— присутствовать при четвертовании человека, у которого есть капля королевской крови.

Произнося эти слова, она не спускала глаз с королевы Луизы.

— О государыня, смилуйтесь, пощадите меня! — вскричала молодая королева с отчаянием, которое она

тщетно пыталась скрыть.— Нет, это чудовище не принадлежит к моей семье, вы не то хотели сказать...

— Ну конечно,— молвил король.— Я уверен, что моя мать не имела этого в виду.

— Однако же,— едко произнесла Екатерина,— он сродни Лотарингскому дому, а члены этого семейства — ваши родичи, сударыня. По крайней мере я так полагаю. Значит, Сальсед имеет к вам некоторое отношение, и даже довольно близкое.

— Иначе говоря,— прервал ее Жуаез, охваченный благородным негодованием (оно было характерной чертой его натуры),— он имеет отношение к господину де Гизу, но не к королеве Франции.

— Ах, вы здесь, господин де Жуаез? — крайне высокомерно протянула Екатерина, платя унижением за то, что ей посмели перечить.— А я вас и не заметила.

— Да, я здесь, и не столько по доброй воле, сколько по приказу короля, государыня,— ответил Жуаез, устремив на Генриха вопросительный взгляд.— Четвертование не такое уж приятное зрелище, и я явился сюда только потому, что был к этому вынужден.

— Жуаез прав, государыня,— сказал Генрих.— Речь идет не о Лотарингском доме, не о Гизах и, главное, не о королеве. Речь идет о том, что будет разделен на четыре куска господин Сальсед, преступник, намеревавшийся умертвить моего брата.

— Мне сегодня что-то не везет,— сказала Екатерина, внезапно уступая, что было у нее наиболее ловким тактическим ходом,— я до слез обидела свою дочь — да простит мне бог — и, кажется, насмешила господина де Жуаеза.

— Ах, ваше величество — вскричала Луиза, беря за руки Екатерину,— неужели вы так неправильно истолковали мое огорчение!

— И усомнились в моем глубочайшем почтении,— добавил Анн де Жуаез, склоняясь над ручкой королевского кресла.

— Да, правда, правда,— ответила Екатерина, пуская последнюю стрелу в сердце своей невестки.— Я сама должна была понять, дитя мое, как тягостно для вас, когда раскрываются заговоры ваших лотарингских родичей. Как бы то ни было, вы должны страдать от этого родства.

— В ваших словах есть доля правды,— сказал король,

старяясь всех примирить.— На этот раз мы можем не сомневаться в причастности Гизов к заговору.

— Но вашему величеству отлично известно,— прервала его Луиза Лотарингская, несколько осмелев,— что, став королевой Франции, я оставила своих родичей далеко внизу, у подножия трона.

— Видите,— вскричал Анн де Жуаез,— видите, государь, я не ошибался! Вот и осужденный появился на площади. Черт побери, ну и гнусный же у него вид!

— Он боится,— сказала Екатерина,— значит, он заговорит.

— Если у него хватит сил,— заметил король.— Глядите, матушка, голова у него болтается, как у покойника.

— Повторяю, государь,— сказал Жуаез,— он ужасен.

— И вы хотите, чтобы человек с такими злодейскими помыслами выглядел привлекательно! Я ведь объяснял вам, Анн, тайное соответствие между физической и нравственной природой человека, как его уразумели и истолковали Гиппократ и Гален[1].

— Не отрицаю, государь, но мне нередко приходилось видеть весьма некрасивых людей, которые были вместе с тем доблестным воинством... Верно, Анри?

Жуаез обернулся к брату, словно ища у него одобрения и поддержки. Анри смотрел прямо перед собой, но ничего не видел, слушал, но ничего не понимал. Он был погружен в глубокую задумчивость. Вместо него ответил король.

— Бог ты мой, дорогой Анн,— вскричал он,— а кто говорит, что этот человек не храбр? Он храбр, черт возьми! Как медведь, как волк, как змея. Или вы не помните его деяний? Он сжег некоего нормандского дворянина, своего врага. Он десять раз дрался на дуэли и убил трех противников. Он был пойман за чеканкой фальшивых монет и приговорен к смерти.

— Следует добавить,— сказала Екатерина Медичи,— что помилование ему выхлопотал герцог де Гиз, ваш кузен, дочь моя.

На этот раз у Луизы уже не было сил возразить. Она только глубоко вздохнула.

[1] Гиппократ (460—377 до н. э.) — греческий врач и естествоиспытатель. Гален Клавдий (130—200 н. э.) — римский врач и естествоиспытатель.

— Что и говорить,— сказал Жуаез,— жизнь его весьма бурная, но она скоро кончится.

— Надеюсь, господин де Жуаез,— сказала Екатерина,— что, напротив, конец наступит не слишком скоро.

— Государыня,— качая головой, возразил Жуаез,— там, под навесом, я вижу таких добрых коней, что трудно рассчитывать на выносливость господина де Сальседа.

— Да, но все предусмотрено. Мой сын мягкосердечен,— добавила королева, улыбнувшись так, как умела улыбаться только она.— Он велел передать помощникам палача, чтобы они не тянули слишком сильно.

— Однако, ваше величество,— робко заметила королева Луиза,— я слышала, как сегодня утром вы говорили госпоже де Меркер — так мне по крайней мере показалось,— что несчастного будут растягивать только два раза.

— Да, если он поведет себя хорошо,— сказала Екатерина.— Тогда с ним будет быстро покончено. Но если вас так волнует его участь, дочь моя, вы бы попытались как-нибудь передать ему: пусть ведет себя хорошо — это в его интересах.

— Дело в том, ваше величество,— сказала королева,— что господь не даровал мне таких сил, как вам, и я не могу видеть, как мучаются люди.

— Ну так не глядите, дочь моя.

Луиза умолкла.

Король ничего не слышал. Он смотрел во все глаза, ибо осужденного уже снимали с повозки, на которой доставили из тюрьмы, и собирались уложить на низкий эшафот.

Тем временем алебардщики, лучники и швейцарцы расчистили площадь, и вокруг эшафота образовалось пространство, достаточно широкое, чтобы все присутствующие могли видеть Сальседа.

Сальседу было лет тридцать пять, он казался сильным, крепким. Бледное лицо его, на котором проступили пот и кровь, оживлялось, когда он оглядывался кругом с неописуемым выражением то надежды, то смертельного страха.

Сперва он устремил взгляд на королевскую ложу. Но, словно поняв, что оттуда может прийти только смерть, тотчас же отвернулся.

Вся надежда осужденного была на толпу. Его горящие глаза искали кого-то в недрах этой грозовой пучины.

Толпа безмолвствовала.

Сальсед не был обыкновенным убийцей. Прежде всего он принадлежал к знатному роду — недаром Екатерина Медичи, которая отлично разбиралась в родословных, обнаружила в его жилах королевскую кровь. Вдобавок Сальседа знали как храброго воина. Рука, позорно связанная веревкой, некогда доблестно владела шпагой; за мертвенно-бледным челом таились великие замыслы.

Вот почему для большинства зрителей Сальсед был героем, для других — жертвой, и лишь немногие считали его убийцей. Но толпа редко низводит до уровня обыкновенных, заслуживающих презрения преступников тех знаменитых убийц, чьи имена упоминаются не только в книге правосудия, но и на страницах истории.

В толпе рассказывали, что Сальсед происходит из рода воинов, что его отец яростно боролся против господина кардинала Лотарингского[1], а потому и погиб славной смертью во время Варфоломеевской резни[2]. Но впоследствии сын позабыл об этой смерти или же не принес ненависть в жертву честолюбию, вступив в сговор с Испанией и Гизами для того, чтобы воспрепятствовать воцарению во Фландрии ненавистного французам герцога Анжуйского.

Упоминали о его связях с Гизом и Галуеном, предполагаемыми главарями заговора, едва не стоившего жизни герцогу Франциску, брату Генриха III. Говорили, какую изворотливость проявил в этом деле Сальсед, стараясь избежать колеса, виселицы и костра, на которых погибли его сообщники. Он так обольстил судей своими весьма искусными и, по словам лотарингцев, лживыми признаниями, что, рассчитывая узнать еще больше, герцог Анжуйский решил временно пощадить его и отправить во Францию, вместо того чтобы обезглавить в Антверпене или Брюсселе. Сальсед полагал, что по дороге туда, где ему предстояло сделать новые разоблачения, он будет освобожден своими приверженцами. На беду свою, он про-

[1] Карл де Гиз, кардинал Лотарингский (1524—1574).— В царствование Франциска II (1559—1560) кардинал пользовался большим влиянием и был фактически правителем государства, мечтая в будущем передать корону Гизам. При Карле IX он лишился своего влияния.

[2] В ночь на 24 августа 1572 года (в канун дня святого Варфоломея) католики устроили в Париже массовое избиение протестантов-гугенотов.

считался: господин де Белльевр, которому была поручена охрана этого важного узника, так хорошо стерег его, что ни испанцы, ни лотарингцы, ни сторонники лиги[1] не могли приблизиться к нему даже на расстояние мили.

В тюрьме Сальсед надеялся. Надеялся и в застенке, где его пытали; продолжал надеяться в повозке, на которой его везли к месту казни; не терял надежды даже на эшафоте. Нельзя сказать, чтобы ему не хватало мужества примириться с неизбежным. Но он был одним из тех жизнелюбивых людей, которые защищаются до последнего вздоха с упорством и стойкостью, которых недостает натурам менее цельным.

Королю, как и всему народу, было ясно, о чем неотступно думает Сальсед.

Екатерина, со своей стороны, тревожно следила за малейшим движением злосчастного преступника. Но она находилась слишком далеко, чтобы уловить направление его взглядов и заметить их беспрестанную игру.

При появлении осужденного толпа, как по волшебству, разместилась на площади ярусами. Каждый раз, как над этим волнующимся морем возникала чья-нибудь голова, ее тотчас же отмечало бдительное око Сальседа; для этого достаточно было секунды: время, ставшее вдруг драгоценным, в десять, во сто крат обострило его чувства.

Скользнув взглядом по новому незнакомому лицу, Сальсед мрачнел и переносил внимание на кого-нибудь другого.

Однако палач уже завладел им и теперь привязывал к эшафоту, охватив веревкой посредине туловища.

По знаку метра Таншона, лейтенанта короткой мантии[2], который распоряжался казнью, два лучника, пробившись сквозь толпу, направились за лошадьми.

В ту же минуту у дверей королевской ложи послышался шум, и служитель, приподняв завесу, доложил их величествам, что председатель парламента Бриссон и четверо советников, из которых один был докладчиком по процессу, ходатайствуют о чести побеседовать с королем по поводу казни.

[1] Для борьбы с протестантами Генрих Гиз организовал в 1576 году католическую лигу. Сторонников лиги называли лигистами.

[2] Так назывался судейский чиновник, потому что по должности ему полагалась мантия более короткая, чем у других.

— Отлично,— сказал король. И, обернувшись к Екатерине, добавил: — Ну вот, матушка, теперь вы будете довольны.

В знак одобрения Екатерина слегка кивнула головой.

— Государь, прошу вас об одной милости,— обратился к королю Жуаез.

— Говори, Жуаез,— ответил король,— и если ты не просишь милости для осужденного...

— Будьте покойны, государь.

— Я слушаю.

— Государь, и брат мой, и в особенности я не переношу вида красных и черных мантий[1]. Пусть же по доброте своей ваше величество разрешит нам удалиться.

— Вас столь мало волнуют мои дела, господин де Жуаез, что вы хотите уйти в такую минуту! — вскричал Генрих.

— Не извольте так думать, государь,— все, что касается вашего величества, меня глубоко трогает. Но натура у меня слабая: увижу казнь и болею потом целую неделю. Мой брат, не знаю уж почему, перестал смеяться. Я один смеюсь теперь при дворе: сами посудите, во что превратится несчастный Лувр и без того унылый, если из-за меня он станет еще мрачней? А потому смилуйтесь, государь...

— Ты хочешь покинуть меня, Анн? — спросил Генрих голосом, в котором звучала невыразимая печаль.

— Ей-богу, государь, вы чересчур требовательны; казнь на Гревской площади для вас и акт мщения и зрелище, да еще какое! Но вам этого мало, вы еще хотите наслаждаться слабодушием ваших друзей.

— Останься, Жуаез, останься. Увидишь, как это интересно!

— Не сомневаюсь. Боюсь даже, как уже изволил говорить вашему величеству, что станет чересчур интересно и я не выдержу этого. Вы разрешите, не правда ли, государь?

И Жуаез направился к двери.

— Что ж,— произнес Генрих со вздохом,— делай как хочешь. Участь моя — одиночество.

И король, наморщив лоб, обернулся к матери; он

[1] Имеются в виду члены парламента, которых родовая аристократия подчеркнуто презирала.

опасался, не услышала ли она его разговора с фаворитом.

Екатерина обладала слухом таким же тонким, как зорки были ее глаза. Но когда королева-мать не хотела что-нибудь услышать, трудно было найти человека более тугого на ухо, чем она.

Тем временем Жуаез шептал брату:

— Живей, живей, дю Бушаж! Пока входят советники, проскользнем за их широкими мантиями и скроемся. Сейчас король сказал «да», через пять минут он скажет «нет».

— Спасибо, спасибо, брат,— ответил юноша.— Мне тоже не терпелось уйти.

И оба брата, словно быстрые тени, исчезли за спинами господ советников.

Тяжелая завеса опустилась.

Обернувшийся король увидел, что молодых людей нет, Генрих вздохнул и поцеловал собачку.

V. Казнь

Советники молча стояли в глубине королевской ложи, ожидая, когда его величество заговорит.

Король немного помолчал, затем обратился к ним.

— Ну, что новенького, господа? — спросил он.— Здравствуйте, господин Бриссон.

— Государь,— ответил председатель с присущим ему достоинством,— мы явились по высказанному господином де Ту пожеланию и умоляем ваше величество даровать преступнику жизнь. Стоит ему пообещать помилование, и он сделает, конечно, кое-какие разоблачения.

— Но разве они не получены, господин председатель? — возразил король.

— Частично получены, государь, но разве вашему величеству их достаточно?

— Это мое дело, сударь.

— Так, значит, вашему величеству известно о причастности к делу Испании?

— Испании? Да, господин председатель, и даже некоторых других держав.

— Следовало бы официально установить эту причастность.

— Поэтому, господин председатель,— вмешалась Екатерина,— король намерен отложить казнь, если виновный напишет признание, соответствующее тому, что он сказал под пыткой.

Бриссон вопросительно взглянул на короля.

— Таково мое намерение,— сказал Генрих,— я больше не стану его скрывать. Уполномочиваю вас, господин Бриссон, сообщить об этом осужденному через лейтенанта короткой мантии.

— Других повелений не будет, ваше величество?

— Нет. Но признания должны быть повторены полностью перед всем народом, в противном случае я беру свое слово обратно.

— Слушаю, сударь. И должны быть названы также имена сообщников?

— Все имена без исключения.

— Даже если, по показаниям осужденного, носители этих имен повинны в государственной измене и вооруженном мятеже?

— Даже если это имена моих ближайших родичей.

— Все будет сделано согласно повелению вашего величества.

— Но никаких недоразумений, господин Бриссон. Осужденному принесут перья и бумагу. Он напишет свое признание публично, показав тем самым, что полагается на наше милосердие. А затем посмотрим.

— Но я могу обещать?..

— Конечно, обещайте!

И, почтительно поклонившись королю, господин Бриссон вышел вслед за советниками.

— Он заговорит, государь,— сказала Луиза Лотарингская, вся трепеща.— Он заговорит, и ваше величество помилует его. Смотрите, на губах у него выступила пена.

— Он кого-то ищет глазами,— сказала Екатерина.— Но кого?

— Да, черт побери! — воскликнул Генрих III.— Догадаться нетрудно! Он ищет герцога Пармского, герцога де Гиза, он ищет его католическое величество, моего брата. Да, ищи, жди! Уж не воображаешь ли ты, что на Гревской площади устроить засаду легче, чем на дороге во Фландрию? На эшафот тебя возвел Белльевр; будь уверен, у меня найдется сотня Белльевров, чтобы помешать тебе сойти оттуда.

Сальсед увидел, как лучники отправились за лошадьми, увидел, как в королевскую ложу зашли председатель и советники и как затем они удалились; он понял, что король велел совершить казнь.

Тогда-то на губах его и выступила кровавая пена, которую заметила молодая королева: в охватившем его смертельном нетерпении несчастный до крови искусал их.

— Никого, никого! — шептал он.— Никого из тех, кто обещал прийти мне на помощь... Подлецы! Подлецы! Подлецы!

Лейтенант Таншон подошел к эшафоту и обратился к палачу:

— Приготовьтесь, мастер.

Тот дал знак своим подручным, чтобы они привели лошадей.

Когда лошади оказались на углу улицы Ваннери, уже знакомый нам красивый молодой человек соскочил с тумбы, на которой стоял; его столкнул оттуда юноша лет пятнадцати-шестнадцати, видимо страстно увлеченный ужасным зрелищем.

То были таинственный паж и виконт Эрнотон де Карменж.

— Скорее, скорее,— шептал паж на ухо своему спутнику,— пробивайтесь вперед, нельзя терять ни секунды!

— Но нас же раздавят,— ответил Эрнотон.— Вы, дружок мой, просто обезумели.

— Я хочу видеть, видеть как можно лучше! — властно произнес паж: чувствовалось, что он привык повелевать.

Эрнотон повиновался.

— Поближе к лошадям,— сказал паж,— не отступайте от них ни на шаг, иначе мы не доберемся.

— Но лошади начнут брыкаться!

— Хватайте переднюю за хвост: в таком случае лошади никогда не брыкаются.

Эрнотон помимо воли подчинился странному влиянию мальчика. Он послушно схватил лошадь за хвост, а паж в свою очередь уцепился за его пояс.

И среди этой волнующейся, как море, толпы, оставляя по дороге то клок плаща, то лоскут куртки, то гофриро-

ванный воротник рубашки, они вместе с лошадьми оказались наконец в трех шагах от эшафота, где в отчаянии корчился Сальсед.

— Ну как, добрались? — прошептал юноша, еле переводя дух, когда почувствовал, что Эрнотон остановился.

— Да,— ответил виконт,— к счастью, добрались, я совсем обессилел.

— Я ничего не вижу.

— Пройдите вперед.

— Нет, нет, еще рано... Что там происходит?

— Вяжут петли на концах веревок.

— А осужденный что делает?

— Озирается по сторонам, словно ястреб.

Лошади стояли у эшафота, и подручные палача привязывали к рукам и ногам Сальседа постромки, прикрепленные к хомутам.

Когда веревочные петли грубо врезались в его лодыжки, Сальсед издал рычание.

Последним непередаваемым взглядом он окинул огромную площадь, так что все сто тысяч человек оказались в поле его зрения.

— Сударь,— учтиво сказал ему Таншон,— не угодно ли вам будет обратиться к народу до того, как мы начнем? — А на ухо осужденному он прошептал: — Чистосердечное признание... и вы спасете свою жизнь.

Сальсед заглянул в глаза говорившему. Взгляд этот проник в душу Таншона и, казалось, вырвал у него правду.

Сальсед не мог обмануться: он понял, что лейтенант искренен и выполнит обещание.

— Видите,— продолжал Таншон,— все вас покинули. Единственная надежда для вас то, что я предлагаю.

— Хорошо! — хрипло вырвалось у Сальседа.— Угомоните толпу. Я буду говорить.

— Король требует письменного признания за вашей подписью.

— Тогда развяжите мне руки и дайте перо. Я напишу.

— Признание?

— Да, признание, я согласен.

Обрадованный Таншон подал знак. Один из лучников тотчас же передал лейтенанту чернильницу, перья, бумагу, которые тот положил прямо на доски эшафота.

Веревку, крепко охватывающую правую руку Сальседа, отпустили фута на три, а его самого приподняли, чтобы он мог писать.

Сальсед, очутившись наконец в сидячем положении, несколько раз глубоко вздохнул и, разминая руку, вытер губы и откинул влажные от пота волосы.

— Ну, ну,— сказал Таншон,— садитесь поудобнее и напишите все подробно!

— Не беспокойтесь,— ответил Сальсед, протягивая руку, чтобы взять перо,— я все припомню тем, кто меня позабыл.

С этими словами он в последний раз окинул взглядом площадь.

Видимо, для пажа наступило время показаться, ибо, схватив Эрнотона за руку, он сказал:

— Сударь, бога ради, возьмите меня на руки и поднимите повыше: из-за голов я ничего не вижу.

— Да вы просто ненасытны, молодой человек, ей-богу!

— Еще одну услугу, сударь!

— Вы, право, злоупотребляете...

— Я должен увидеть осужденного, понимаете? Я должен его увидеть.

И так как Эрнотон медлил с ответом, паж взмолился:

— Сжальтесь, сударь, сделайте милость, умоляю вас!

Юноша был уже не капризным тираном, он просил так жалобно, что невозможно было устоять. Эрнотон взял его на руки и поднял не без удивления — таким хрупким показалось ему это юное тело.

Теперь голова пажа возвышалась над головами остальных зрителей.

Как раз в это мгновение Сальсед взялся за перо и оглядел еще раз площадь.

Он увидел юношу и застыл от изумления.

В тот же миг паж приложил к губам два пальца. Невыразимая радость озарила лицо осужденного: она была похожа на упоение злого богача из евангельской притчи, когда Лазарь смочил водой его пересохший язык.

Он увидел знак, которого так нетерпеливо ждал,— знак, возвещавший, что ему будет оказана помощь.

Сальсед несколько мгновений смотрел на площадь, затем схватил лист бумаги, который протягивал обеспокоенный его колебаниями Таншон, и принялся лихорадочно писать.

— Пишет, пишет! — пронеслось в толпе.

— Пишет! — молвил король.— Клянусь богом, я его помилую.

Внезапно Сальсед остановился и еще раз взглянул на юношу.

Тот повторил свой знак, и Сальсед снова стал писать.

Вскоре он опять поднял глаза.

На этот раз паж не только сделал тот же знак, но и кивнул головой.

— Вы кончили? — спросил Таншон, не спускавший глаз с бумаги.

— Да,— машинально ответил Сальсед.

— Так подпишите.

Сальсед поставил свою подпись, не смотря на бумагу: глаза его были устремлены на юношу.

Таншон протянул руку к бумаге.

— Королю в собственные руки! — произнес Сальсед.

И он не без колебания отдал бумагу, словно побежденный воин, вручающий врагу свое последнее оружие.

— Если вы действительно во всем признались, господин де Сальсед,— сказал лейтенант короткой мантии,— вы спасены.

Не то ироническая, не то тревожная улыбка заиграла на губах осужденного, который, казалось, нетерпеливо вопрошал о чем-то таинственного собеседника.

Усталый Эрнотон решил освободиться от обременявшего его юноши; он разнял руки, и паж соскользнул на землю.

Не видя больше молодого человека, Сальсед стал искать его глазами. Затем, как безумный, стал вопрошать:

— Но когда же, когда?

Никто ему не ответил.

— Скорее, скорее, поторопитесь! — крикнул он.— Король взял бумагу, сейчас прочтет.

Никто не шевельнулся.

Король поспешно развернул признание Сальседа.

— О тысяча демонов! — взревел Сальсед.— Неужто надо мной посмеялись? Но ведь я узнал ее. Это была она, она!

Пробежав глазами первые строки, король, видимо, пришел в негодование.

Затем он побледнел и воскликнул:

— О негодяй! Злодей!

— В чем дело, сын мой? — спросила Екатерина.

— Он отказывается от своих показаний, матушка. Утверждает, что никогда ни в чем не сознавался.

— А дальше?

— Заявляет, что Гизы ни в чем не повинны и никакого отношения к заговору не имеют.

— Что ж,— пробормотала Екатерина,— а если это правда?

— Он лжет! — вскричал король.— Лжет, как нехристь!

— Как знать, сын мой? Может быть, Гизов оклеветали... Может быть, судьи в чрезмерном рвении неверно истолковали показания...

— Что вы, государыня! — вскричал Генрих, не в силах более сдерживаться.— Я сам все слышал.

— Но когда же?

— Когда преступника подвергли пытке... Я стоял за занавесью. Я не пропустил ни единого слова, и каждое его слово вонзалось мне в мозг, точно вбиваемый молотком гвоздь.

— Так пусть же он снова заговорит под пыткой, раз иначе нельзя.

В порыве гнева Генрих поднял руку.

Лейтенант Таншон повторил этот жест.

Веревки были снова привязаны к рукам и ногам осужденного. Четверо прыгнули на лошадей, щелкнули четыре кнута, и четыре лошади устремились в противоположных направлениях.

Раздался ужасающий хруст и душераздирающий вопль. Видно было, как руки и ноги несчастного Сальседа посинели, вытянулись и налились кровью. В лице его уже не было ничего человеческого — оно казалось личиной демона.

— Предательство, предательство! — закричал он.— Хорошо же, я буду говорить, я все скажу! О, проклятая гер...

Голос его, покрывший лошадиное ржание и ропот толпы, внезапно стих.

— Стойте же, стойте! — закричала Екатерина.

Но было поздно. Голова Сальседа, приподнявшаяся от боли и ярости, вдруг упала на эшафот.

— Дайте ему говорить! — вопила королева-мать.— Стойте, стойте же!

Непомерно большие глаза Сальседа неотступно смотре-

ли в одну точку. Сообразительный Таншон устремил взгляд в том же направлении.

Но Сальсед не мог говорить — он был мертв. Таншон что-то тихо приказал лучникам, которые тотчас же бросились туда, куда указывал изобличающий взор Сальседа.

— Я обнаружена,— шепнул юный паж на ухо Эрнотону,— сжальтесь, помогите, спасите меня, сударь. Они идут, идут сюда!

— Чего же вы опять хотите?

— Бежать. Разве вы не видите? Они ищут меня.

— Кто же вы?

— Женщина... Спасите, защитите меня!

Эрнотон побледнел. Однако великодушие победило удивление и страх.

Он поставил незнакомку перед собой и, энергично расталкивая толпу рукояткой шпаги, расчистил путь до угла улицы Мутон и втолкнул девушку в какую-то дверь.

Эрнотон даже не успел спросить незнакомку, как ее зовут и где им снова увидеться.

Но, прежде чем исчезнуть, она, словно угадав мысль Эрнотона, бросила ему многообещающий взгляд.

Эрнотон вернулся на площадь и оглядел эшафот и королевскую ложу.

Сальсед, неподвижный, мертвенно-бледный, лежал на помосте.

Екатерина, мертвенно-бледная, дрожащая, стояла в ложе.

— Сын мой,— вымолвила она наконец, отирая влажный лоб,— сын мой, вам бы следовало сменить главного палача — он сторонник лиги.

— Из чего вы это заключили, матушка? — спросил Генрих.

— Сальсед умер после первой же растяжки.

— Он оказался слишком чувствительным к боли.

— Да нет же, нет! — возразила Екатерина с презрительной усмешкой — уж очень непроницательным показался ей сын.— Его удавили из-под эшафота бечевкой в ту минуту, когда он намеревался обвинить людей, предавших его на смерть. Велите какому-нибудь ученому лекарю осмотреть труп, и, я уверена, вокруг шеи найдут след от веревки.

— Вы правы,— произнес Генрих, и глаза его вспыхнули,— моему кузену де Гизу служат лучше, чем мне.

— Тс, тс, сын мой! — сказала Екатерина.— Не поднимайте шума, над нами только посмеются: ведь мы опять одурачены.

— Жуаез правильно сделал, что пошел развлекаться. Ни на что нельзя положиться, даже на пытки... Идемте, идемте отсюда, сударыня!

VI. Братья де Жуаезы

Оба брата де Жуаезы выбрались из Ратуши черным ходом и, оставив своих слуг и лошадей возле королевских экипажей, пошли рядом по улицам этого обычно людного, а сейчас пустынного квартала: жадный до зрелищ народ собрался на Гревской площади.

Они шагали рука об руку в полном молчании.

Анри, обычно такой веселый, был чем-то озабочен и почти угрюм.

Анн казался встревоженным необщительностью брата.

Он первый прервал молчание.

— Куда же ты ведешь меня, Анри?

— Никуда, брат; иду куда глаза глядят,— ответил Анри, словно внезапно пробудившись.— А тебе хочется куда-нибудь пойти? — Анри грустно улыбнулся: — Мне безразлично, куда идти.

— Но ведь ты каждый вечер куда-то уходишь,— сказал Анн.

— Ты что же, расспрашиваешь меня, брат? — спросил Анри. В голосе его звучала нежность, смешанная с уважением к старшему брату.

— Боже упаси! Чужая тайна неприкосновенна.

— Как только пожелаешь, брат,— заметил Анри,— у меня не будет никаких тайн от тебя.

— Не будет тайн?

— Нет, брат. Ведь ты и сеньор мой[1] и друг.

— По правде сказать, я думал, что для исповеди у тебя есть наш ученый братец, этот столп богословия, светоч веры, мудрый духовник всего двора, который когда-

[1] Имеется в виду и фактическое старшинство Анна, и его более высокое положение в феодальной иерархии.

нибудь станет кардиналом; я думал, что ты исповедуешься у него и получаешь отпущение грехов и... кто знает?.. может быть, даже полезный совет. Ибо,— добавил Анн со смехом,— члены нашей семьи — на все руки мастера; доказательство — наш возлюбленный батюшка.

Анри дю Бушаж схватил руку брата и сердечно пожал ее.

— Ты для меня, милый мой Анн,— сказал он,— больше, чем духовник, больше, чем исповедник, больше, чем отец,— повторяю: ты мой друг.

— Так скажи мне, друг мой, почему ты, прежде такой веселый, становишься все печальнее.

— Я, брат, вовсе не грущу,— улыбнувшись, ответил Анри.

— Что же с тобой?

— Я влюблен.

— Но почему такая озабоченность?

— Я беспрерывно думаю о своей любви.

— Вот и сейчас ты вздыхаешь! Анри, а ведь ты граф дю Бушаж, брат Жуаеза, которого злые языки называют третьим королем Франции... Второй король — это господин де Гиз... если, впрочем, не первый. Ты богат, красив и скоро станешь, как и я, пэром Франции и герцогом; ты влюблен, погружен в раздумье, вздыхаешь... хотя и выбрал девиз: Hilariter[1].

— Милый мой Анн, всех этих даров прошлого и обещаний будущего мало для моего счастья. Я не честолюбив.

— Иначе говоря, ты отказался от честолюбия.

— Я не гонюсь за тем, о чем ты говоришь.

— Сейчас — возможно. Но потом?

— Я ничего не желаю, брат.

— И ты не прав. Тебя зовут Жуаез — это одно из лучших имен Франции; твой брат — любимец короля; ты должен всего хотеть, ко всему стремиться, все получать.

Анри грустно поник головой.

— Послушай,— сказал Анн,— мы одни, вдали от всех. Черт побери, да мы незаметно дошли до реки и стоим на мосту Турнель! Не думаю, чтобы в этом пустынном месте

[1] Радостно *(лат.)*. Намек на фамилию Жуаез, что означает «радостный».

нас кто-нибудь подслушал. Может быть, тебе надо сообщить мне что-нибудь важное, Анри?

— Ничего, ничего. Я просто влюблен, ты же знаешь.

— Она красива, по крайней мере?

— Даже слишком.

— Как ее зовут?

— Не знаю.

— Друг мой, я начинаю думать, что положение опаснее, чем казалось. Это уж не грусть, клянусь папой,— это безумие!

— Она говорила со мной лишь раз или, вернее, говорила в моем присутствии, и с той поры я ни разу не слышал ее голоса.

— И ты не разузнал о ней?

— У кого?

— Как у кого? У соседей.

— Она живет одна в доме, и никто ее не знает.

— Что ж, выходит, это какая-то тень?

— Это женщина, высокая и прекрасная, как нимфа, неулыбчивая и строгая, как архангел Гавриил.

— Где же ты ее встретил?

— Однажды я увязался за какой-то девушкой на перекрестке Жипесьен и зашел в церковный сад. Там под деревьями есть могильная плита... Ты когда-нибудь заходил в этот сад, брат мой?

— Никогда. Но это неважно, продолжай.

— Начинало смеркаться. Я потерял девушку из виду и, разыскивая ее, подошел к этой плите.

— Ну, ну, я слушаю.

— Я заметил какую-то женскую фигуру и простер к ней руки. Вдруг голос мужчины, мною раньше не замеченного, произнес: «Простите, сударь», и человек этот отстранил меня без резкости, но твердо.

— Он осмелился коснуться тебя, Жуаез?

— Слушай дальше. На лицо незнакомца был надвинут капюшон: я принял его за монаха. Кроме того, меня поразил его вежливый, даже дружелюбный тон; он указал на находившуюся шагах в десяти от нас женщину: она как раз преклонила колени перед каменной плитой, словно перед алтарем.

Я остановился, брат мой. Случилось это в начале сентября. Воздух был теплый. Розы и фиалки, посаженные верующими на могилах, овевали меня нежным ароматом.

Сквозь белесоватое облачко прорвался лунный свет и посеребрил верхнюю часть витражей, в то время как снизу их золотили горевшие в церкви свечи. Друг мой, подействовала ли на меня торжественность обстановки или благородная внешность этой коленопреклоненной женщины, но я почувствовал к ней непонятное почтение.

Я жадно глядел на нее.

Она склонилась над плитой, приникла к ней губами, и я увидел, что плечи женщины сотрясаются от вздохов и рыданий. Такого голоса ты, брат мой, никогда не слыхал.

Плача, она целовала надгробный камень словно в каком-то опьянении, и тут я погиб. Слезы ее растрогали меня, поцелуи довели до безумия.

— Но, клянусь папой, что она безумна,— сказал Жуаез,— кому придет в голову целовать камень и рыдать неизвестно почему?

— Рыдания эти вызвала великая скорбь, а камень целовать заставила ее глубокая любовь. Но кого она любила? Кого оплакивала? За кого молилась?

— А ты не расспросил мужчину?

— Расспросил.

— И что он сказал?

— Что она потеряла мужа.

— Да разве мужей так оплакивают? — сказал Жуаез.— Ну и ответ, черт побери! И ты им удовлетворился?

— Пришлось: другого он дать не пожелал.

— Но кто этот человек?

— Нечто вроде слуги.

— А как его зовут?

— Он не назвал себя.

— Молод он? Стар?

— Лет двадцати восьми — тридцати.

— Ну, а дальше что?.. Она ведь не всю ночь молилась?

— Нет. Выплакав все свои слезы, она поднялась с колен, брат мой. Но такая таинственная скорбь осеняла эту женщину, что я отступил. Тут она подошла ко мне, вернее, направилась в мою сторону, ибо меня она даже не заметила. Лунный свет озарил ее лицо, и оно показалось мне проникновенным и необычайно прекрасным. Глаза ее блестели от слез. Полуоткрытый рот вбирал в себя дыхание жизни, которая мгновение назад, казалось, оставила ее. Медленно, томно сделала она несколько шагов.

Мужчина поспешил к ней и взял ее за руку, ибо она, по-видимому, не сознавала, что ступает по земле. О брат мой, какая пугающая красота у этой женщины и какая сверхчеловеческая власть! Ничего подобного я еще не видел.

— Дальше, Анри, дальше? — спросил Анн, увлеченный помимо воли рассказом, над которым он собирался посмеяться.

— Повесть моя подходит к концу, брат. Слуга произнес шепотом несколько слов, и она опустила покрывало. Наверно, он сказал ей что-то про меня, но она даже не взглянула в мою сторону.

Она вышла из сада, я последовал за ней. Слуга время от времени оборачивался и мог меня видеть, ибо я не прятался. Что поделаешь? Надо мной еще властны были прежние пошлые привычки.

— Что ты хочешь сказать, Анри? — спросил Анн.— Я тебя не понимаю.

Юноша улыбнулся:

— Я хочу сказать, брат, что провел бурную молодость, что мне часто казалось, будто я полюбил, и что до этого мгновения я мог предложить свою любовь первой приглянувшейся мне женщине.

— Ого, а она что такое? — сказал Жуаез, стараясь вновь обрести веселость, несколько сникшую после признаний брата.— Берегись, Анри, ты заговариваешься. Разве она не женщина из плоти и крови?

— Брат мой,— ответил юноша, лихорадочно пожимая руку Жуаеза,— брат мой,— произнес он еле слышно,— беру господа бога в свидетели — я не знаю, принадлежит ли она к миру сему.

— Клянусь папой,— вскричал тот,— ты испугал бы меня, если бы Жуаезы могли испытывать страх! — Затем, пытаясь развеселиться, он продолжал: — Но, в конце концов, она ходит по земле, плачет и умеет целовать — ты сам говорил,— и, по-моему, друг милый, это не предвещает ничего худого. Ну, а дальше, что же было дальше?

— Да почти ничего. Я шел за ней следом, она не пыталась скрыться, свернуть с дороги, переменить направление. Она, видимо, даже не думала об этом.

— Так где же она живет?

— Недалеко от Бастилии, на улице Ледигьер. Когда они дошли до дому, спутник ее еще раз обернулся и увидел меня.

— Тогда ты сделал ему знак, что хотел бы с ним поговорить?

— Я не осмелился. Тебе это покажется странным, но я робел перед ним почти так же, как перед его госпожой.

— Неважно, но в дом-то ты вошел?

— Нет, брат.

— Право, Анри, просто не верится, что ты Жуаез. Зато на другой день ты вернулся туда?

— Да, но тщетно. Тщетно ходил на перекресток Жипесьен, тщетно прогуливался по улице Ледигьер.

— Незнакомка исчезла?

— Ускользнула, как тень.

— Но ты расспрашивал о ней?

— Улица малонаселенна, никто не мог мне ничего сообщить. Я подстерегал этого человека, чтобы расспросить его, но он тоже не появлялся. Однако свет, проникавший по вечерам сквозь ставни, утешал меня, указывая, что она еще здесь. Я испробовал сотни способов проникнуть в дом: письма, цветы, подарки — все было напрасно. Однажды вечером света в окнах не оказалось: даме, наверное, наскучило мое преследование, и она переехала с улицы Ледигьер. А куда — неизвестно.

— Однако ты все же разыскал свою прекрасную дикарку?

— По счастливой случайности. Впрочем, я несправедлив, брат, в дело вмешалось провидение. Послушай же, все это очень странно. Две недели назад, в полночь, я шел по улице Бюсси. Ты знаешь, брат, что приказ о тушении света строго соблюдается. Так вот, окна одного дома не просто светились — на третьем этаже был настоящий пожар. Я принялся яростно стучаться, в окне показался человек. «У вас пожар!» — сказал я. «Тише, ради бога! — ответил он.— Тише, я как раз тушу его».— «Хотите, я позову ночную стражу?» — «Нет, нет, во имя неба, никого не зовите!» — «Но, может быть, вам все-таки помочь?» — «А вы не отказались бы? Так идите сюда, и вы окажете мне услугу, за которую я буду вам благодарен всю жизнь».— «А как мне войти?» — «Вот ключ». И он бросил в окно ключ.

Я быстро поднялся по лестнице и вошел в комнату, где произошел пожар. Горел пол. Я находился в лаборатории химика. Он делал какой-то опыт, горючая жидкость

разлилась по полу, отсюда и пожар. Когда я вошел, химик уже справился с огнем, и я мог его разглядеть. Это был человек лет двадцати восьми — тридцати. По крайней мере так мне показалось. Ужасный шрам обезобразил его щеку, другой глубоко врезался в лоб. Густая борода почти скрывала лицо. «Спасибо, сударь, но вы сами видите, все уже кончено. Если вы человек благородный, будьте добры, удалитесь, так как в любую минуту может войти моя госпожа, она придет в негодование, увидев в такой поздний час чужого человека у меня, вернее, у себя в доме».

При звуке этого голоса я оцепенел и открыл было рот, чтобы крикнуть: «Вы человек с перекрестка Жипесьен, с улицы Ледигьер, слуга неизвестной дамы!» Ты помнишь, брат, он был в капюшоне, лица его я не видел, а только слышал голос. Я хотел сказать ему это, расспросить, умолять, как вдруг открылась дверь и вошла женщина. «Что случилось, Реми? — спросила она, величественно останавливаясь на пороге.— Почему такой шум?» О брат, это была она, еще более прекрасная в отблеске пожара, чем в лунном сиянии! Это была женщина, память о которой непрерывно терзала мое сердце. Я вскрикнул, и слуга, в свою очередь, пристально посмотрел на меня. «Благодарю вас, сударь,— сказал он,— еще раз благодарю, но сами видите — огонь потушен. Прошу вас, уходите».— «Друг мой,— ответил я,— вы выпроваживаете меня весьма нелюбезно».— «Сударыня,— сказал слуга,— это он».— «Да кто же?» — спросила она. «Молодой дворянин, которого мы встретили у перекрестка Жипесьен и который следовал за нами по пятам до улицы Ледигьер». Тогда она взглянула на меня, и по взгляду ее я понял, что она видит меня впервые. «Сударь,— молвила она,— умоляю вас, удалитесь!» Я колебался, я хотел говорить, просить, но слова не шли с языка. Я стоял недвижимый, немой и только смотрел на нее. «Остерегитесь, сударь,— сказал слуга скорее печально, чем сурово,— вы заставите госпожу бежать во второй раз».— «Не дай бог,— ответил я с поклоном,— но ведь я ничем не оскорбил вас, сударыня». Она не ответила. Бесчувственная, безмолвная, холодная, она повернулась ко мне спиной и исчезла, словно призрак, в полумраке лестницы.

— И это все? — спросил Жуаез.

— Все. Слуга проводил меня до дверей, приговаривая:

«Забудьте об этом, ради господа Иисуса и девы Марии, умоляю вас, забудьте!» Я убежал, схватившись за голову, растерянный, ошалевший. «Уж не сошел ли я с ума?» — думал я. С той поры я каждый вечер хожу на улицу Бюсси; вот почему, когда мы вышли из Ратуши, ноги мои сами направились сюда. Я прячусь за углом дома, стоящего напротив ее жилища, и, может быть, один раз из десяти мне удается уловить мерцание света в ее окошке: в этом вся моя жизнь, все мое счастье.

— Хорошенькое счастье! — воскликнул Жуаез.

— Увы! Стремясь к другому, я потеряю его.

— А если ты погубишь себя такой покорностью судьбе?

— Брат,— сказал Анри с грустной улыбкой,— я чувствую себя счастливым.

— Это невозможно!

— Что поделаешь? Счастье — вещь относительная. Я знаю, что она там, что она существует, дышит. Я вижу ее сквозь стены, то есть мне кажется, что вижу. Если бы она покинула этот дом, если бы мне опять пришлось провести две недели в неизвестности, я сошел бы с ума, брат мой, или же стал монахом.

— Помилуй бог! Достаточно у нас в семье одного безумца и одного монаха.

— Не уговаривай, Анн, и не насмехайся надо мной! Уговоры бесполезны, насмешками ты ничего не добьешься.

— Позволь сказать тебе...

— Что именно?

— Что ты попался, как школьник.

— Я ничего не рассчитывал, я отдался чему-то более сильному, чем я сам. Лучше плыть по течению, чем бороться с ним.

— А если оно увлекает в пучину?

— Надо погрузиться в нее, брат.

— Ты так полагаешь?

— Да.

— Я с тобой не согласен, и на твоем месте...

— Что бы ты сделал, Анн?

— Во всяком случае, я выведал бы ее имя, возраст. На твоем месте...

— Анн, Анн, ты ее не знаешь!

— Но тебя-то я знаю. Послушай, Анри, у тебя было

пятьдесят тысяч экю, я отдал их тебе, когда король подарил мне сто тысяч в день моего рождения...

— Они до сих пор лежат у меня в сундуке, Анн: ни одно экю не истрачено.

— Тем хуже, клянусь богом! Если бы они не лежали у тебя в сундуке, все повернулось бы иначе.

— О брат мой!

— Никаких там «о брат мой»: обыкновенного слугу подкупают за десять тысяч экю, хорошего за сто, отличного за тысячу, самого расчудесного за три тысячи. Представим себе феникса среди слуг, и за двадцать тысяч экю, клянусь папой, он будет твоим. Таким образом, у тебя остается сто тридцать тысяч ливров, чтобы оплатить феникса среди женщин, которого тебе доставит феникс среди слуг. Анри, друг мой, ты просто дурак.

— Анн,— со вздохом произнес Анри,— есть люди, которые не продаются, их не купить и королю.

Жуаез успокоился.

— Хорошо, признаю,— сказал он.— Но нет такого человека, который не отдал бы кому-нибудь своего сердца.

— Это другое дело!

— А сделал ли ты что-нибудь, дабы эта бесчувственная красавица отдала тебе свое сердце?

— Я убежден, Анн, что сделал все от меня зависящее.

— Послушайте, граф дю Бушаж, да вы просто спятили! Перед вами женщина, которая скорбит, сидит взаперти, плачет, а вы становитесь еще печальнее, проливаете еще больше слез, то есть оказываетесь еще скучнее, чем она! Она одинока — бывайте с нею почаще; она печальна — будьте веселы; она кого-то оплакивает — утешьте ее и замените покойного.

— Невозможно, брат мой.

— А ты пробовал?

— Для чего?

— Да хотя бы для того, чтобы попробовать. Ты говоришь, что влюблен?

— Нет слов, чтобы выразить мою любовь.

— Так вот, через две недели она будет твоей женой.

— Брат!

— Даю тебе слово Жуаеза. Ты, надеюсь, не отчаялся?

— Нет, ибо никогда не надеялся.
— В котором часу ты с ней видишься?
— Я же говорил тебе, брат, что никогда не вижу ее.
— Даже в окне?
— Даже в окне.
— Что представляет собой ее дом?
— Три этажа, крыльцо, на втором этаже терраса.
— Можно проникнуть в дом через эту террасу?
— Она не соприкасается с другими домами.
— А что находится против ее дома?
— Другой дом, только повыше.
— Кто в нем живет?
— Какой-то буржуа.
— Добродушный или злой?
— Добродушный; иногда я слышу, как он смеется даже один в ответ на свои собственные мысли.
— Купи у него дом.
— А кто тебе сказал, что он продается?
— Предложи ему двойную цену.
— А если дама увидит меня там?
— Ну так что же?
— Она опять исчезнет. Если же я не буду показываться, то, надеюсь, рано или поздно опять увижу ее...
— Ты увидишь ее сегодня же вечером.
— Я?
— Пойди и стань под ее балконом в восемь часов.
— Я буду там, как бываю ежедневно, но по-прежнему без всякой надежды.
— Кстати, скажи мне ее точный адрес.
— Между воротами Бюсси и дворцом Сен-Дени, почти на углу улицы Августинцев, шагах в двадцати от большой гостиницы под вывеской «Меч гордого рыцаря».
— Отлично, так в восемь встретимся.
— Что ты собираешься делать?
— Увидишь, услышишь. А пока возвращайся домой, нарядись как можно лучше, надень самые дорогие украшения, надуши волосы самыми тонкими духами: нынче же вечером ты вступишь в эту крепость.
— Бог да услышит тебя, Анн!

Братья пожали друг другу руки.

Анн, пройдя шагов двести, подошел к красивому готическому дому неподалеку от собора Парижской богоматери, смело поднял дверной молоток и с шумом опустил его.

Анри молча углубился в одну из извилистых улочек, ведущих к дворцу Правосудия.

VII. О том, как «Меч гордого рыцаря» возобладал над «Розовым кустом любви»

Во время беседы, которую мы только что пересказали, спустилась ночь и окутала город, столь шумный еще два часа назад.

Сальсед умер, и зрители стали расходиться по домам. На улице теперь лишь изредка встречались кучки прохожих.

У ворот Бюсси, куда мы должны сейчас перенестись, чтобы не терять из виду кое-кого из действующих лиц, уже выведенных нами в начале этого повествования, и чтобы познакомиться с новыми,— у ворот Бюсси, говорим мы, шумел, словно улей, некий розовый дом, расписанный белой и голубой краской. Дом именовался «Меч гордого рыцаря» и представлял собой огромных размеров гостиницу, недавно выстроенную в этом новом квартале и призванную удовлетворять все вкусы.

На вывеске была изображена битва не то архангела, не то святого с драконом, извергающим струи пламени и дыма. Художник, воодушевленный героическими и благочестивыми чувствами, вложил в руки своему вооруженному до зубов рыцарю не меч, а громадный крест, которым тот разрубал злосчастного дракона на две кровоточащие половины.

На заднем плане вывески или, вернее, картины, ибо она вполне заслуживала такого наименования, стояли, воздев руки, многочисленные зрители боя, между тем как слетевшие с неба ангелы осеняли шлем гордого рыцаря лавровыми и пальмовыми ветвями.

На переднем плане художник, желавший доказать, что ни один жанр ему не чужд, изобразил груды тыкв, гроздья винограда, майских жуков, ящериц, улитку на розе и даже двух кроликов, белого и серого, которые, несмотря на различие в цвете (что могло указывать на различие в

убеждениях), оба чесали себе носы, вероятно от радости по случаю славной победы, одержанной гордым рыцарем над сказочным драконом или, иными словами, над самим сатаной.

Теперь мы должны сделать одно признание — как оно ни огорчительно, нас вынуждает к этому добросовестность историка. Роскошная вывеска кабачка отнюдь не свидетельствовала о его процветании. Напротив, по причинам, которые мы сейчас изложим и которые, надеемся, будут поняты читателями, «Гордый рыцарь» почти всегда пустовал.

Между тем заведение, как сказали бы в наши дни, было просторное и комфортабельное: по углам строения, прочно сидевшего на широком фундаменте, горделиво высились четыре башенки, в каждой из которых имелась восьмиугольная комната. Все это имело вид кокетливый и несколько таинственный, как и полагается дому, который должен прийтись по вкусу мужчинам и в особенности женщинам. В этом-то и коренилось зло.

Всем понравиться невозможно.

Однако этого мнения не разделяла госпожа Фурнишон, хозяйка «Гордого рыцаря». Она убедила своего супруга оставить банное заведение на улице Сент-Оноре, где они до того времени прозябали, и заняться вертелами и бочками с вином на благо влюбленным парочкам с перекрестка Бюсси и из других парижских кварталов. К несчастью, гостиница была расположена поблизости от Прэ-о-Клера, так что в «Меч гордого рыцаря» являлись многочисленные дуэлянты, а другим парочкам, менее воинственно настроенным, приходилось чураться бедной гостиницы, словно чумы,— так опасались они звона оружия. Влюбленные — народ мирный, они не любят, чтобы им мешали, вот почему в башенках, предназначенных для свиданий, приходилось устраивать на ночлег всяких вояк, а купидоны, изображенные на деревянных панно тем же художником, который создал вывеску, были разукрашены усами и другими более или менее пристойными атрибутами: тут уж поработали углем завсегдатаи гостиницы.

Недаром госпожа Фурнишон считала, что вывеска принесла их заведению несчастье. Если бы изобразить над входом не гордого рыцаря и отталкивающего дракона, а розовый куст любви с пышными сердцами вместо цветов,

все нежные души избрали бы своим пристанищем ее гостиницу.

К несчастью, метр Фурнишон только пожимал плечами на упреки жены, заявляя, что он, бывший пехотинец господина Данвиля, должен, естественно, вербовать своих клиентов в военной среде.

Так в семействе Фурнишонов царил разлад, и супруги прозябали на перекрестке Бюсси, как прозябали они на улице Сент-Оноре, но вдруг некое непредвиденное обстоятельство изменило положение дел и дало восторжествовать взглядам метра Фурнишона, к вящей славе достойной вывески, где нашли себе место представители всех царств природы.

За месяц до казни Сальседа, после военных упражнений в Прэ-о-Клере, госпожа Фурнишон и ее супруг сидели, как обычно, в разных угловых башенках своего заведения. Делать им было нечего, и они погрузились в хладную задумчивость, так как столики и все комнаты в гостинице «Гордый рыцарь» стояли незанятыми.

Итак, супруги грустно взирали на поле, откуда уходили, чтобы погрузиться на паром у Нельской башни и вернуться в Лувр, солдаты, проводившие учение под командой некоего капитана. Глядя на них и жалуясь на деспотизм начальника, который заставлял возвращаться в кордегардию солдат, хотя тем, несомненно, хочется пить, хозяева гостиницы заметили, что капитан пустил своего коня рысью и в сопровождении одного лишь ординарца направился к воротам Бюсси.

Этот офицер в шляпе с перьями и при шпаге, позолоченные ножны которой торчали из-под прекрасного плаща фландрского сукна, минут через десять поравнялся с гостиницей, гарцуя на своем белом коне.

Ехал он не в гостиницу и потому намеревался миновать ее, даже не взглянув на вывеску, когда метр Фурнишон, чье сердце сжималось при мысли, что в этот день никто так и не сделает ему почина, высунулся из своей башенки и сказал:

— Смотри, жена, конь-то какой чудесный!

На что госпожа Фурнишон, как опытная хозяйка гостиницы, сразу же нашла ответ:

— А всадник-то каков, всадник!

Капитан, видимо неравнодушный к похвалам, откуда бы они ни исходили, поднял голову, словно внезапно

очнувшись от сна. Он увидел хозяина, хозяйку, их заведение, придержал лошадь и подозвал ординарца. Затем, все еще сидя верхом, он очень внимательно оглядел гостиницу и соседние дома.

Фурнишон буквально скатился с лестницы: он стоял теперь у дверей и мял в руках сдернутый с головы колпак.

Капитан, поразмыслив несколько секунд, спешился.

— У вас никого нет? — спросил он.

— В настоящий момент никого, сударь,— ответил хозяин, страдая от столь унизительного признания.

И он уже собрался добавить: «Но это редкий случай» Однако госпожа Фурнишон была, как истая женщина, гораздо проницательнее мужа. Поэтому она поторопилась крикнуть из своего окна:

— Если вы, сударь, ищете уединения, вам у нас будет очень хорошо.

Выслушав такой любезный ответ, всадник поднял голову и увидел весьма приятное лицо.

— Да, именно этого я и ищу, хозяюшка,— ответил он.

Госпожа Фурнишон тотчас же устремилась навстречу посетителю, говоря про себя: «На этот раз почин кладет «Розовый куст любви», а не «Меч гордого рыцаря».

Капитан, привлекший внимание супругов Фурнишон, заслуживает также внимания читателя. Это был человек лет тридцати — тридцати пяти, высокого роста, хорошо сложенный, с тонкими выразительными чертами лица. Он бросил на руки своего спутника поводья великолепного коня, нетерпеливо бившего копытом о землю.

— Подожди меня здесь и поводи коней,— приказал он.

Войдя в большой зал гостиницы, капитан остановился и с довольным видом огляделся по сторонам.

— Ого! — сказал он.— Такой большой зал и ни одного посетителя. Отлично!

Метр Фурнишон взирал на него с удивлением, а госпожа Фурнишон понимающе улыбалась.

— Неужели в вашем заведении есть нечто, отталкивающее гостей? — спросил капитан.

— Слава богу, нет, сударь! — ответила госпожа Фурнишон.— Но местность еще мало заселена, а насчет клиентов мы очень разборчивы.

— Превосходно! — сказал капитан.

— К примеру сказать,— добавила она, подмигнув так выразительно, что сразу стало понятно, кто придумал название «Розовый куст любви»,— за одного такого клиента, как ваша милость, мы охотно отдадим целую дюжину.

— Вы очень любезны, прелестная хозяюшка, благодарю вас.

— Не угодно ли вам, сударь, попробовать нашего вина? — спросил Фурнишон, стараясь, чтобы голос его звучал как можно приятнее.

— Не угодно ли осмотреть жилые помещения? — спросила госпожа Фурнишон насколько возможно ласковее.

— Сделаем, пожалуй, и то и другое,— ответил капитан.

Фурнишон спустился в погреб, а супруга его, указав гостю на лестницу, первая стала подниматься наверх; при этом она кокетливо приподнимала юбку, и при каждом шаге поскрипывали ее изящные башмачки.

— Сколько человек можете вы разместить у себя? — спросил капитан, когда она поднялась на второй этаж.

— Тридцать, из них десять господ.

— Этого недостаточно, прелестная хозяйка,— ответил капитан.

— Почему же, сударь?

— У меня был один проект, но, видно, не стоит и говорить о нем.

— Ах, сударь, не найдете вы ничего лучше «Розового куста любви».

— Как «Розового куста любви»?

— Я хочу сказать: «Гордого рыцаря»... Разве что Лувр с пристройками...

Посетитель как-то странно поглядел на нее.

— Вы правы,— сказал он,— разве что Лувр...— Про себя он пробормотал: «Почему бы нет? Это было бы и удобнее и дешевле».— Так вы говорите, добрейшая хозяюшка,— продолжал он громко,— что вы могли бы разместить здесь на ночлег человек тридцать?

— Да, конечно.

— А на один день?

— О, на один день — человек сорок, даже сорок пять.

— Сорок пять... тысяча чертей! Как раз то, что нужно.

— Правда? Вот видите, как удачно получается!

— А перед домом не толпится народ? Среди соседей нет соглядатаев?

— О бог мой, нет. Сосед наш — достойный буржуа, который ни в чьи дела не вмешивается, а соседка ведет замкнутый образ жизни; за те три недели, что она здесь живет, я ее ни разу не видела. Все прочие — мелкий люд.

— Это меня очень устраивает.

— Тем лучше,— заметила госпожа Фурнишон.

— Итак, ровно через месяц,— продолжал капитан,— запомните хорошенько, сударыня,— ровно через месяц...

— Значит, двадцать шестого октября?

— Совершенно верно, двадцать шестого октября я сниму вашу гостиницу.

— Целиком?

— Целиком. Я хочу сделать сюрприз своим землякам — это все офицеры или, во всяком случае, военные,— они собираются искать счастья в Париже. Им сообщат, чтобы они остановились у вас.

— Но ведь вы намеревались сделать им сюрприз? — настороженно спросила госпожа Фурнишон.

— Тысяча чертей, если вы любопытны или нескромны! — воскликнул явно раздосадованный капитан.

— Нет, сударь, нет,— поспешно ответила испуганная госпожа Фурнишон.

Муж ее все слышал. От слов «офицеры или, во всяком случае, военные» сердце его радостно забилось. Он тотчас же бросился к гостю.

— Сударь,— вскричал он,— вы будете здесь хозяином, неограниченным повелителем, и никому и в голову не придет задавать вам вопросы! Ваши друзья будут радушно приняты.

— Я не сказал «друзья», любезный,— высокомерно заметил капитан,— я сказал «земляки».

— Да, да, земляки вашей милости, я ошибся.

Госпожа Фурнишон раздраженно отвернулась: розовый куст, ощетинившись, превратился в груду алебард

— Вы подадите им ужин.

— Слушаюсь.

— Вы устроите их на ночлег, если к тому времени я не подготовлю им другого помещения.

— Непременно.

— Словом, вы будете всецело к их услугам... и никаких расспросов.

— Все сделаем, как прикажете.

— Вот вам тридцать ливров задатка.

— Договорились, монсеньер. Мы устроим вашим землякам королевский прием. И если вы пожелаете убедиться в этом и отведать вина...

— Спасибо, я не пью.

Между тем метр Фурнишон кое о чем поразмыслил.

— Монсеньер...— сказал он. (Получив щедрый задаток, хозяин стал именовать своего гостя монсеньером.) — Монсеньер, а как же я узнаю этих господ?

— Правда ваша, тысяча чертей! Совсем забыл. Дайте-ка мне сургуч, лист бумаги и свечу.

Госпожа Фурнишон тотчас же принесла требуемое. Капитан приложил к кипящему сургучу драгоценный камень перстня, надетого на палец левой руки.

— Вот,— сказал он,— видите это изображение?

— Красавица, ей-богу!

— Да, это Клеопатра[1]. Так вот, каждый из моих земляков представит вам точно такой же отпечаток, а вы окажете ему гостеприимство. Понятно?

— На сколько времени?

— Еще не знаю. Вы получите соответствующие указания.

— Будем ждать их.

Прекрасный капитан сошел вниз, вскочил в седло и пустил коня рысью.

Супруги Фурнишон положили в карман свои тридцать ливров задатка, к величайшей радости хозяина, беспрестанно повторявшего:

— Военные! Вот видишь, вывеска-то себя оправдала — мы разбогатеем от меча.

И, предвкушая наступление 26 октября, он принялся до блеска начищать кастрюли.

VIII. Характер гасконца

Мы не осмелились бы утверждать, что госпожа Фурнишон проявила ту скромность, которой требовал от нее посетитель. И, так как ей предстояло угадать гораздо

[1] Клеопатра (69—30 гг. до н. э.) — египетская царица (51—30), прославившаяся своей красотой и умом.

больше того, что было сказано, она стала разузнавать, кто же неизвестный всадник, который так щедро оплачивает гостиницу для своих земляков. Поэтому она не преминула спросить у первого попавшегося солдата, как зовут капитана, проводившего в тот день учение.

Солдат, вероятно более осторожный, чем его собеседница, осведомился прежде всего, почему она задает ему этот вопрос.

— Да он только вышел от нас,— ответила госпожа Фурнишон,— и, естественно, нам хотелось бы знать, с кем мы разговаривали.

Солдат рассмеялся.

— Капитан, проводивший сегодня учение, не стал бы заходить в «Меч гордого рыцаря», госпожа Фурнишон,— сказал он.

— А почему, скажите на милость? — спросила хозяйка.— Неужто он такой важный барин?

— Может быть.

— Ну так я скажу вам, что он не ради себя заходил в гостиницу «Гордый рыцарь».

— А ради кого?

— Ради своих друзей.

— Наш капитан не стал бы размещать своих друзей в «Мече гордого рыцаря», ручаюсь.

— Однако вы не очень-то любезны. Как же зовут господина, который слишком знатен, чтобы размещать своих друзей в лучшей парижской гостинице?

— Вы спрашиваете о том, кто проводил сегодня учение, да?

— Разумеется.

— Ну, так знайте, милая дамочка, что это не кто иной, как герцог Ногаре де ла Валет д'Эпернон, пэр Франции, генерал-полковник королевской инфантерии и даже немножко больше король, чем само его величество. Ну, что вы на это скажете?

— Скажу, что если бы это он был у нас, то нам оказана большая честь.

Можно представить себе, с каким нетерпением ожидали супруги Фурнишон 26 октября.

Двадцать пятого вечером в гостиницу вошел какой-то человек и положил на стойку довольно тяжелый мешок с монетами.

— Это за ужин, заказанный на завтра.

— По скольку приходится на человека? — спросили вместе оба супруга.

— По шести ливров.

— Земляки капитана откушают здесь только один раз?

— Один.

— Значит, капитан нашел для них помещение?

— Видно, да.

И посланец удалился, не пожелав отвечать на расспросы.

Наконец вожделенное утро забрезжило над кухнями «Гордого рыцаря».

В монастыре Августинцев часы пробили половину двенадцатого, когда у дверей гостиницы спешилось несколько человек.

Они прибыли через ворота Бюсси и оказались первыми, ибо гостиница «Меч» находилась оттуда в каких-нибудь ста шагах.

Один из них, которого по бравому виду и богатому одеянию можно было принять за начальника, явился сюда даже с двумя слугами на добрых лошадях.

Все прибывшие предъявили печать с изображением Клеопатры и были весьма предупредительно приняты супругами, в особенности молодой человек с двумя лакеями.

— Если вы не боитесь толпы и вам нипочем простоять часа четыре, можете поглядеть, как будут четвертовать господина де Сальседа, испанца, устроившего заговор,— сказала госпожа Фурнишон бравому кавалеру, который пришелся ей по вкусу.

— Верно,— ответил молодой человек,— я об этом деле слыхал. Обязательно пойду, черт побери!

И он вышел вместе со своими слугами.

К двум часам прибыла дюжина новых путешественников группами по четыре-пять человек.

Кое-кто являлся в одиночку.

Один вновь прибывший даже вошел по-соседски, без шляпы, но с тросточкой. Он на чем свет стоит проклинал Париж, где воры такие наглые, что неподалеку от Гревской площади стащили с него шляпу.

Впрочем, он всецело признавал свою вину: незачем было являться в Париж в шляпе с драгоценной пряжкой.

Часам к четырем в гостинице Фурнишонов собралось уже около сорока земляков капитана.

— Странное дело,— сказал хозяин жене,— они все гасконцы.

— Что тут странного? — возразила эта дама.— Капитан же сказал, что соберутся его земляки.

— Ну так что?

— Раз он сам гасконец, и земляки его должны быть гасконцами.

— Выходит, что так.

— Удивительно только, что у нас лишь сорок гасконцев, ведь должно было быть сорок пять.

Но к пяти часам появились еще пять гасконцев, так что постояльцы «Меча» были теперь в полном сборе.

Некоторые из них были знакомы между собой. Так, например, Эсташ де Мираду расцеловался с кавалером, прибывшим с двумя слугами, и представил ему Лардиль, Милитора и Сципиона.

— Каким образом ты в Париже? — спросил тот.

— А ты, милый мой Сент-Малин?

— Я получил должность в армии. А ты?

— Я приехал по делу о наследстве.

— Ах так! И за тобой опять увязалась старуха Лардиль?

— Она пожелала мне сопутствовать.

— И ты не мог уехать тайком, чтобы не тащить с собой всю эту ораву, уцепившуюся за ее юбки?

— Невозможно было: письмо от прокурора вскрыла она.

— А, так ты получил извещение о наследстве письменно? — спросил Сент-Малин.

— Да,— ответил Мираду. И, торопясь переменить разговор, он заметил: — Не странно ли, что гостиница переполнена и постояльцы — сплошь наши земляки?

— Ничего странного тут нет: вывеска уж больно привлекательная для людей чести,— вмешался в разговор наш старый знакомый Пардикка де Пенкорнэ.

— А, вот и вы, дорогой попутчик! — сказал Сент-Малин.— Вы так и не досказали мне своей истории.

— А что я намеревался вам рассказать? — спросил Пенкорнэ, покраснев.

— Почему я встретил вас между Ангулемом и Анжером в таком же виде, как сейчас,— на своих двоих, без шляпы и с одной лишь тростью в руке?

— А вас это занимает, сударь мой?

— Ну конечно,— сказал Сент-Малин.— От Пуатье до Парижа далековато, а вы пришли из мест, расположенных за Пуатье.

— Я из Сент-Андре-де-Кюбзак.

— Вот видите. И путешествовали все время без шляпы?

— Очень просто.

— Не нахожу.

— Уверяю вас, сейчас вы все поймете. У моего отца имеется пара великолепных коней, которыми он до того дорожит, что способен лишить меня наследства после приключившейся со мной беды.

— А что за беда с вами стряслась?

— Я объезжал одного из них, самого лучшего, как вдруг шагах в десяти от меня раздался выстрел из аркебуза. Конь испугался и понес прямо к Дордони.

— И бросился в реку?

— Вот именно.

— С вами вместе?

— Нет. К счастью, я успел соскользнуть на землю, не то пришлось бы мне утонуть вместе с ним.

— Вот как! Бедное животное, значит, утонуло?

— Черт возьми, да! Вы же знаете Дордонь: ширина — полмили.

— Ну, что же?

— Я решил не возвращаться домой, убоявшись отцовского гнева.

— А шляпа-то ваша куда девалась?

— Да подождите, черт побери! Шляпа сорвалась у меня с головы.

— Когда вы падали?

— Я не падал. Я соскользнул на землю. Мы, Пенкорнэ, с лошадей не падаем. Мы с пеленок наездники.

— Известное дело,— сказал Сент-Малин.— А шляпа-то где?

— Шляпу я принялся искать — это была моя единственная ценность, раз я вышел из дому без денег.

— Какую же ценность могла представлять ваша

шляпа? — настаивал Сент-Малин, решивший довести Пенкорнэ до белого каления.

— И даже очень большую, разрази меня гром! Надо вам сказать, что перо на шляпе придерживалось бриллиантовой пряжкой, которую его величество император Карл Пятый[1] подарил моему деду, остановившись в нашем замке по дороге из Испании во Фландрию.

— Вот оно что! И вы продали пряжку вместе со шляпой? Тогда, друг любезный, вы наверняка самый богатый из всех нас. Вам бы следовало на вырученные за пряжку деньги купить себе вторую перчатку. Руки у вас уж больно разные: одна белая, как у женщины, другая черная, как у негра.

— Да подождите же: в тот самый миг, когда я оглядывался, разыскивая шляпу, на нее — как сейчас вижу — устремляется громадный ворон.

— На шляпу?

— Вернее, на бриллиант... Вы знаете, эта птица хватает все, что блестит... Ворон бросается на мой бриллиант и похищает его.

— Бриллиант?

— Да, сударь. Сперва я некоторое время не спускал с него глаз. Потом побежал за ним, крича: «Держите, держите! Вор!» Куда там! Через каких-нибудь пять минут он исчез.

— Так что вы, удрученный двойной утратой...

— Я не посмел возвратиться в отчий дом и решил отправиться в Париж искать счастья.

— Здорово! — вмешался в разговор новый собеседник.— Ветер, значит, превратился в ворона? Мне помнится, вы рассказывали господину де Луаньяку, что читали письмо своей подруги, когда порыв ветра унес и письмо и шляпу и что вы, как истинный Амадис[2], бросились за письмом, предоставив шляпе лететь куда ей вздумается.

— Сударь,— сказал Сент-Малин,— я имею честь быть знакомым с господином д'Обинье, отличным воякой, который к тому же довольно хорошо владеет пером. Когда вы

[1] Карл V (1500—1558) — король Испании (1516—1556); император Священной Римской империи (1519—1556).

[2] Амадис — герой средневекового романа «Амадис Галльский». В его образе видели олицетворение рыцарской доблести.

повстречаетесь с ним, поведайте ему историю вашей шляпы: он сделает из нее чудесный рассказ.

Послышалось несколько сдавленных смешков.

— Э, э, господа,— раздраженно спросил гасконец,— уж не надо мной ли вы смеетесь?

Пардикка внимательно огляделся по сторонам. Он заметил у камина какого-то молодого человека, закрывшего лицо руками, и направился прямо к нему.

— Эй, сударь,— сказал он,— раз вы смеетесь, так смейтесь в открытую, чтобы все видели ваше лицо.

И он ударил молодого человека по плечу.

Тот поднял свое строгое чело. Это был не кто иной, как наш друг Эрнотон де Карменж, еще не пришедший в себя после своего приключения на Гревской площади.

— Попрошу вас, сударь, оставить меня в покое,— сказал он,— и прежде всего, если вы еще раз пожелаете коснуться меня, сделайте это рукой, на которой у вас перчатка. Вы же видите, что мне до вас дела нет.

— Ну и хорошо,— пробурчал Пенкорнэ,— раз вам до меня дела нет, то и я ничего против вас не имею.

— Ах, милостивый государь,— миролюбиво заметил Эсташ де Мираду Карменжу,— вы не очень-то любезны с вашим земляком.

— А вам-то, черт побери, какое до этого дело, сударь? — спросил Эрнотон, все больше раздражаясь.

— Вы правы,— сказал Мираду с поклоном,— меня это действительно не касается.

Он отвернулся и направился было к Лардиль, приютившейся у огня. Но кто-то преградил ему путь.

Это был Милитор. Руки его были по-прежнему засунуты за пояс, на губах насмешливая улыбка.

— Послушайте, любезнейший отчим! — произнес бездельник.

— Ну?

— Что вы на это скажете?

— На что?

— На то, как вас отшил этот дворянин?

— Да ну? Тебе так показалось,— ответил Эсташ, пытаясь обойти Милитора.

Но из маневра этого ничего не вышло: Милитор снова загородил Эсташу дорогу.

— Не только мне, но и всем, кто здесь находится. Поглядите, все над вами смеются.

Кругом действительно смеялись, но по самым разнообразным поводам.

Эсташ побагровел, как раскаленный уголь.

— Ну же, дорогой отчим, куйте железо, пока горячо,— сказал Милитор.

Эсташ весь напыжился и опять подошел к Карменжу.

— Говорят, милостивый государь,— обратился он к нему,— что вы разговаривали со мною намеренно недружелюбным тоном.

— А кто это утверждает?

— Этот господин,— сказал Эсташ, указывая на Милитора.

— В таком случае этот господин,— ответил Карменж, иронически подчеркивая почтительное наименование,— болтает, как попугай.

— Вот как! — вскричал взбешенный Милитор.

— И я предложил бы ему заткнуть глотку,— продолжал Карменж,— не то я вспомню советы господина де Луаньяка.

— Господин де Луаньяк не называл меня попугаем, сударь.

— Нет, он назвал вас ослом. Вам это больше по вкусу? Если вы осел, я вас хорошенько вздую, а если попугай — выщиплю ваши перышки.

— Сударь,— вмешался Эсташ,— это мой пасынок, обращайтесь с ним повежливее, прошу вас, хотя бы из уважения ко мне.

— Вот как вы защищаете меня, папенька! — в бешенстве вскричал Милитор.— Раз так, я сам за себя постою!

— Проучим ребят! — сказал Эрнотон.

— Проучим! — подхватил Милитор, наступая с поднятыми кулаками на господина де Карменжа.— Мне семнадцать лет, слышите, милостивый государь?

— Ну, а мне двадцать пять,— ответил Эрнотон,— и потому ты получишь по заслугам.

Он схватил Милитора за шиворот, приподнял и выбросил из окна первого этажа на улицу, в то время как стены сотрясались от отчаянных воплей Лардиль.

— И знайте,— спокойно добавил Эрнотон,— отчим, мамаша, пасынок и все прочие, я сделаю из вас фарш для пирогов, если вы вздумаете ко мне приставать.

— Кто здесь выбрасывает людей из окна? — спросил, входя в зал, какой-то офицер.— Черт побери! Когда затеваешь такие шуточки, надо хоть кричать прохожим «берегись!».

— Господин де Луаньяк! — вырвалось человек у двадцати.

— Господин де Луаньяк! — повторили все сорок пять.

При этом имени, знаменитом в Гасконии, собравшиеся повскакали с мест.

IX. Господин де Луаньяк

За господином де Луаньяком вошел Милитор, несколько помятый при падении и багровый от злости.

— Честь имею кланяться, господа,— сказал Луаньяк,— шумим, кажется, порядочно... Ага! Юный Милитор опять, видимо, на кого-то тявкал, и нос его от этого несколько пострадал.

— Мне за это заплатят! — пробурчал Милитор, показывая Карменжу кулак.

— Подавайте на стол, метр Фурнишон! — крикнул Луаньяк.— И пусть каждый разговаривает с соседом.

— Вот видите,— вскричал Пенкорнэ, которого все еще терзали насмешки Сент-Малина,— надо мной смеются из-за того, что у меня нет шляпы, а никто слова не скажет господину де Монкрабо, севшему за стол в кирасе времен императора Пертинакса, от которого он, по всей вероятности, происходит! Вот что значит оборонительное оружие!

Монкрабо, не желая сдаваться, выпрямился и вскричал фальцетом:

— Господа, я ее снимаю! Это предупреждение тем, кто хотел бы видеть меня при наступательном, а не оборонительном оружии!

И он подозвал своего слугу, седоватого толстяка лет пятидесяти.

— Избавьте меня, пожалуйста, от этой кирасы,— сказал ему Пертинакс.

Толстяк принял кирасу.

— А когда я буду обедать? — шепнул он хозяину.— Вели мне подать чего-нибудь, Пертинакс, я помираю с голоду.

Как ни фамильярно было подобное обращение, оно не вызывало удивления у того, к кому относилось.

— Неужели у вас ничего не осталось? — спросил Пертинакс.

— В Саксе мы проели последний экю.

— Черт возьми, постарайтесь обратить что-нибудь в деньги.

Не успел он произнести этих слов, как у порога гостиницы раздался громкий голос:

— Покупаю старое железо! Кто продает железо на лом?

Услышав этот крик, госпожа Фурнишон бросилась к дверям. Тем временем хозяин величественно подавал на стол первые блюда.

Судя по приему, оказанному кухне Фурнишона, она была превосходна.

Хозяин пожелал, чтобы супруга разделила сыпавшиеся на него похвалы.

Он принялся искать ее глазами, но тщетно.

— Куда она запропастилась? — спросил он у поваренка.

— Ах, хозяин, ей золотое дно подвернулось,— ответил тот.— Она меняет ваше старое железо на новенькие денежки.

— Надеюсь, речь идет не о моей боевой кирасе и каске! — возопил Фурнишон, устремляясь к выходу.

— Да нет же, нет,— сказал Луаньяк,— королевским указом запрещено скупать оружие.

В зал вошла ликующая госпожа Фурнишон.

— Что с тобой? — спросила она, глядя на взволнованного мужа.

— Говорят, будто ты продала мое оружие.

— Ну и что же?

— А я не хочу, чтобы его продавали!

— Да ведь у нас сейчас мир, и две новых кастрюли лучше, чем старая кираса.

— Но с тех пор как вышел королевский указ, о котором говорил господин де Луаньяк, торговать старым железом стало, наверно, невыгодно,— заметил Шалабр.

— Торговец уже давно делает мне самые заманчивые предложения,— сказала госпожа Фурнишон.— Ну, а сегодня я не могла устоять. Десять экю, сударь, это десять экю, а старая кираса всегда остается старой кирасой.

— Как! Десять экю? — изумился Шалабр.— Так дорого? О черт!

Он задумался.

— Десять экю! — повторил Пертинакс, многозначительно взглянув на своего лакея.— Вы слышите, господин Самюэль?

Господин Самюэль уже исчез.

— Но помилуйте,— молвил господин де Луаньяк,— торговец рискует попасть на виселицу!

— Он славный малый, безобидный и сговорчивый,— продолжала госпожа Фурнишон.

— А что он делает со всем этим железом?

— Продает на вес.

— На вес! — повторил господин де Луаньяк.— И вы говорите, что он дал вам десять экю? За что?

— За старую кирасу и старую каску.

— Допустим, что обе они весят фунтов двадцать, это выходит по пол-экю за фунт. Тысяча чертей, как говорит один мой знакомый, за этим что-то кроется!

— Как жаль, что я не могу привести этого славного торговца к себе в замок! — сказал Шалабр, и глаза его загорелись.— Я бы продал ему добрых три тысячи фунтов железа — и шлемы, и наручи, и кирасы.

— Как! Вы продали бы латы своих предков? — насмешливо спросил Сент-Малин.

— Ах, сударь,— сказал Эсташ де Мираду,— вы поступили бы неблаговидно: ведь это священные реликвии.

— Подумаешь! — возразил Шалабр.— В настоящее время мои предки сами превратились в реликвии и нуждаются только в молитвах за упокой души.

За столом становилось все оживленнее благодаря бургундскому, которого пили немало: блюда у Фурнишонов были хорошо наперчены.

Голоса достигали наивысшего диапазона, тарелки гремели, головы наполнялись туманом, и сквозь него каждый гасконец видел все в розовом свете, кроме Милитора, не забывающего о своем падении из окна, и Карменжа, не забывавшего о своем паже.

— И веселятся же эти люди,— сказал Луаньяк своему соседу, коим оказался Эрнотон,— а почему, и сами не знают.

— Что до меня,— ответил Карменж,— я вовсе не в радостном настроении.

— И напрасно, сударь мой,— продолжал Луаньяк,— для таких, как вы, Париж — золотая жила, рай грядущих почестей, обитель блаженства.

— Не смейтесь надо мной, господин де Луаньяк,— возразил Эрнотон.— Вы держите, по-видимому, в руках нити, приводящие нас в движение. Сделайте же мне милость — не обращайтесь с виконтом Эрнотоном де Карменж, как с марионеткой.

— Я готов оказать вам и другие милости, господин виконт,— сказал Луаньяк с учтивым поклоном.— Двоих я выделил здесь с первого взгляда: вас — столько в вашей внешности сдержанности и достоинства — и другого молодого человека, вон того, скрытного и мрачного с виду.

— Как его зовут?

— Де Сент-Малин.

— А почему вы выделили именно нас, сударь, разрешите полюбопытствовать?

— Потому что я вас знаю.

— Меня? — удивленно спросил Эрнотон.

— Вас, его и всех, кто здесь находится, ибо командир должен знать своих солдат.

— Значит, все эти люди...

— Завтра же будут моими солдатами.

— Но я думал, что господин д'Эпернон...

— Тсс! Не произносите этого имени и вообще не произносите здесь никаких имен. Навострите уши и закройте рот: этот совет — одна из милостей, которые я вам обещал.

— Благодарю вас, сударь.

Луаньяк отер усы и встал.

— Господа,— сказал он,— раз случай свел здесь сорок пять земляков, осушим стакан испанского вина за благоденствие всех присутствующих.

Предложение это вызвало бурные рукоплескания.

— Они большей частью пьяны,— сказал Луаньяк Эрнотону.— Момент подходящий, чтобы выведать у каждого его подноготную, но времени, к сожалению, мало.— И, повысив голос, он крикнул: — Эй, метр Фурнишон, удалите-ка отсюда женщин, детей и слуг!

Лардиль, ворча, поднялась с места, она не успела доесть сладкого.

Милитор не шевельнулся.

— Ты что, не слышишь? — спросил Луаньяк тоном, не допускающим возражения.— Ну, живо на кухню, господин Милитор!

Через несколько минут в зале остались только сорок пять сотрапезников и господин де Луаньяк.

— Господа,— обратился к ним последний,— каждый из вас знает, кем он вызван в Париж, или же догадывается об этом... Ладно, ладно, не выкрикивайте имен: вы знаете, и этого достаточно.

В зале послышался одобрительный шепот.

— Итак, вы явились сюда, чтобы повиноваться этому человеку. Признаете вы это? — спросил Луаньяк.

— Да, да! — закричали все сорок пять.— Признаем!

— Для начала,— продолжал Луаньяк,— вы без лишнего шума оставите гостиницу и переберетесь в предназначенное для вас помещение.

— Для всех нас? — спросил Сент-Малин.

— Для всех.

— Мы все здесь на равных началах? — спросил Пардикка, стоявший на ногах так нетвердо, что ему пришлось обхватить за шею Шалабра.

— Да, вы все равны перед волей своего повелителя.

— Простите, сударь,— прошептал, вспыхнув, Карменж,— но мне никто не говорил, что господин д'Эпернон будет моим повелителем.

— Да подождите же, буйная вы голова!

Воцарилось настороженное молчание.

— Повторяю, вы все явились сюда, чтобы повиноваться,— сказал Луаньяк.— Итак, слушайте письменный приказ. Я попрошу вас прочитать его вслух, господин Эрнотон.

Эрнотон медленно развернул пергамент и громко прочел:

— «Приказываю господину де Луаньяку принять командование над сорока пятью дворянами, которых я вызвал в Париж с согласия его величества.

Ногаре де ла Валет герцог д'Эпернон».

Все, пьяные или протрезвевшие, низко склонили головы. Только выпрямиться удалось не всем быстро.

— Вы слышали? — спросил господин де Луаньяк.— Вы последуете за мной немедленно. Багаж и прибывшие с вами люди останутся здесь, у метра Фурнишона. Он о них позаботится, а впоследствии я за ними пришлю. Собирайтесь поскорее: лодки ждут.

— Лодки? — повторили гасконцы.— Мы, значит, поедем по воде?

И они стали переглядываться с жадным любопытством.

— Разумеется,— сказал Луаньяк,— по воде. Чтобы попасть в Лувр, надо переплыть реку.

— В Лувр! В Лувр! — радостно бормотали гасконцы.— Черт возьми! Мы отправляемся в Лувр!

Луаньяк вышел из-за стола и пропустил мимо себя сорок пять гасконцев, пересчитав их, словно баранов. Затем он провел их по улицам до Нельской башни.

Там их ожидали три большие барки.

— Что же, черт побери, будем мы делать в Лувре? — размышляли самые бесстрашные; холодный речной воздух отрезвил их, к тому же они были большей частью неважно одеты.

— Вот бы мне сейчас мою кирасу! — прошептал Пертинакс де Монкрабо.

X. Скупщик кирас

Пертинакс с полным основанием жалел о своей отсутствующей кирасе, ибо как раз в это время он через посредство странного слуги, так фамильярно обращавшегося со своим господином, лишился ее навсегда.

Действительно, едва только госпожа Фурнишон произнесла магические слова «десять экю», как лакей Пертинакса устремился за торговцем.

Было уже темно, да и скупщик железного лома, видимо, торопился: когда Самюэль вышел из гостиницы, он уже был далеко.

Лакею пришлось окликнуть торговца.

Тот с некоторым опасением обернулся.

— Что вам надобно, друг мой? — спросил он.

— Хотел бы обделать с вами одно дельце,— сказал слуга, хитро подмигнув.

— Ну, так давайте поскорее.

— Вы торопитесь?

— Да.

Ясно было, что торговец не вполне доверяет лакею.

— Когда вы увидите, что я принес,— сказал тот,— вы не станете пороть горячку.

— А что вы принесли?

— Чудесную вещь, такой работы, что...

— Разве вам неизвестно, друг мой, что торговля оружием запрещена по королевскому указу?

При этих словах он с беспокойством оглянулся по сторонам. Лакей почел за благо изобразить полнейшее неведение.

— Я ничего не знаю,— сказал он,— я приехал из Мон-де-Марсана.

— Ну тогда дело другое,— ответил скупщик кирас, которого этот ответ, видимо, несколько успокоил.— Но хоть вы и из Мон-де-Марсана, вам все же известно, что я покупаю оружие?

— Да, известно.

— А кто вам сказал?

— Тысяча чертей! Никому не надо было говорить, вы сами об этом достаточно громко кричали.

— Где же?

— У дверей гостиницы «Меч гордого рыцаря».

— Вы, значит, там были?

— Да.

— С кем?

— Со множеством друзей.

— Друзей? Обычно в этой гостинице никого не бывает. А откуда явились ваши друзья?

— Из Гаскони, как и я сам.

— Вы подданный короля Наваррского?

— Вот еще! Мы душой и телом французы.

— Да, но гугеноты?

— Католики, как его святейшество папа, слава тебе господи,— произнес Самюэль, снимая колпак.— Но дело не в этом: речь идет о кирасе.

— Подойдем-ка к стене, прошу вас. На середине улицы нас слишком хорошо видно.

И они приблизились к дому, одному из тех, где обычно жили парижские буржуа с достатком; в окнах этого дома не было света. Над дверью имелось нечто вроде навеса. Рядом стояла каменная скамья, сочетавшая приятное с полезным, ибо путники пользовались ею, взбираясь на мулов и лошадей.

— Покажите вашу кирасу,— сказал торговец, когда они зашли под навес.

— Вот она.

— Подождите: мне почудился какой-то шум в доме.

— Нет, это в доме напротив.

В самом деле, напротив стоял трехэтажный дом, в верхних окнах которого порою мелькал свет.

— Давайте поскорее,— сказал торговец, ощупывая кирасу.

— Видите, какая она тяжелая! — сказал Самюэль.

— Старая, массивная, каких теперь не носят.

— Произведение искусства.

— Шесть экю. Хотите?

— Как шесть экю! А в гостинице вы заплатили десять за ломаный железный нагрудник!

— Шесть экю. Да или нет? — повторил торговец.

— Ого! Здесь вы торгуетесь,— сказал Самюэль,— а там дали столько, сколько с вас спросили.

— Соглашайтесь поскорее,— сказал торговец,— или же разойдемся подобру-поздорову.

— Странный вы все-таки человек,— сказал Самюэль.— Дела свои вы обделываете тайком, вопреки королевским указам, и при этом торгуетесь с порядочными людьми.

— Ну, ну, не кричите.

— Мне-то бояться нечего,— повысил голос Самюэль,— я не занимаюсь торговлей, и прятаться мне незачем!

— Хорошо, хорошо, берите десять экю и молчите.

— Десять экю? А, вы намереваетесь улизнуть?

— Да нет же, вот сумасшедший!

— Знайте: если вы попытаетесь скрыться, я вызову стражу!

В доме, около которого происходил торг, распахнулось окошко.

— Хорошо, хорошо,— сказал торговец в ужасе,— вижу, что надо на все согласиться. Возьмите пятнадцать экю и убирайтесь!

— Вот и прекрасно,— сказал Самюэль, кладя деньги в карман.— Но эти пятнадцать экю я должен отдать своему хозяину,— продолжал он,— а ведь мне тоже надо что-нибудь получить.

Торговец огляделся и вытащил из ножен кинжал. Но Самюэль был начеку, как воробей в винограднике, он подался назад.

— Да, да, милейший торговец. Я твой кинжал вижу. Но вижу и еще кое-что: там на балконе стоит человек.

Торговец, бледный от страха, поглядел туда, куда показывал Самюэль, и действительно заметил на балконе какую-то нелепую фигуру в халате из кошачьих шкурок; этот аргус не упустил из их беседы ни слова ни жеста.

— Ладно, вы из меня просто веревки вьете,— произнес торговец, оскалившись, как шакал.— Вот еще одно экю...

«Дьявол тебя задави!» — подумал он про себя.

— Спасибо,— сказал Самюэль.— Желаю удачи!

Он кивнул скупщику кирас и, хихикая, удалился.

Торговец поднял с земли кирасу Пертинакса и стал засовывать ее в латы Фурнишона.

Буржуа, стоявший на балконе, воспользовался этим.

— Вы, сударь, кажется, скупаете старые доспехи? — спросил он.

— Да нет же, милостивый государь,— ответил несчастный.— Просто случай представился.

— Такой случай и мне подходит.

— В каком смысле, сударь? — спросил торговец.

— Представьте себе, у меня тут целая груда старого железа, и мне хотелось бы от нее избавиться.

— Но я истратил все деньги.

— Пустяки, я вам поверю в долг — вы, на мой взгляд, человек вполне порядочный.

— Благодарю вас, но меня ждут.

— Странное дело, ваше лицо мне как будто знакомо! — заметил буржуа.

— Мое? — переспросил торговец, тщетно стараясь совладать с дрожью.

— Ведь вы Никола...

Лицо торговца исказилось.

— Никола?! — повторил он.

— ...Ник'ла Трюшу, торговец скобяными изделиями с улицы Коссонери.

— Нет, нет,— ответил торговец. Он улыбнулся и вздохнул, словно у него гора с плеч свалилась.

— Неважно, у вас честное лицо. Так вот, я бы продал вам доспехи — кирасу, наручи и шпагу.

— Учтите, сударь, что это запрещенный род торговли.

— Знаю, вам недавний покупатель кричал об этом достаточно громко.

— Вы слышали?

— Отлично слышал. Вы очень щедро расплатились. Это и навело меня на мысль договориться с вами. Но, будьте спокойны, я не вымогатель и знаю, что такое коммерция. Сам в свое время торговал.

— Чем же именно?

— Льготами и милостями.

— Отличное предприятие!

— Да, я преуспел и теперь, как видите,— буржуа.

— С чем вас и поздравляю.

— Я люблю удобства и хочу продать старое железо: оно лишь место занимает.

— Я бы взял кирасу.

— Вы покупаете одни кирасы?

— Да.

— Странно, ведь вы же перепродаете железо на вес, так вы по крайней мере сами заявляли.

— Это верно, но, знаете ли, предпочтительно...

— Как вам угодно: купите кирасы... Или, пожалуй, вы правы: не надо ничего покупать.

— Что вы хотите сказать?

— Хочу сказать, что в такое время, как наше, оружие может каждому пригодиться.

— Что вы! Теперь же мир.

— Друг любезный, если бы у нас был мир, черт возьми, никто не стал бы покупать кирасы! Не рассказывайте мне сказок.

— Сударь!

— Да еще скупать тайком.

Торговец сделал движение, намереваясь уйти.

— И по правде-то сказать, чем больше я на вас гля-

жу,— сказал буржуа,— тем больше убеждаюсь, что я вас знаю. Нет, вы не Никола Трюшу, но я вас все-таки знаю.

— Тише.

— И если вы скупаете кирасы...

— Так что же?

— То делаете это ради дела, угодного богу.

— Замолчите!

— Я от вас просто в восторге,— произнес буржуа, протягивая с балкона длиннющую руку, которая крепко вцепилась в плечо торговца.

— Но вы-то сами кто такой, черт побери?

— Я — Робер Брике, по прозванию «гроза еретиков», лигист и пламенный католик. Теперь я вас безусловно узнал.

Торговец побледнел как мертвец.

— Вы Никола... Грембло, кожевник из «Бескостной коровы».

— Нет, вы ошиблись. Прощайте, метр Брике, очень рад, что с вами познакомился.— И торговец повернулся спиной к балкону.

— И вы не возьмете у меня доспехов?

— Я же сказал, что у меня нет денег.

— Как же быть?

— Да никак: останемся каждый при своем.

— Ни за что, разрази меня гром,— уж очень мне хочется покороче с вами познакомиться.

— Ну, а я хочу поскорее с вами распрощаться,— ответил торговец. И, решив бросить свои кирасы, лишь бы его не узнали, он пустился бежать.

Но от Робера Брике было не так-то легко избавиться. Он перекинул ногу через перила балкона, спустился на улицу и тут же догнал торговца.

— Что вы, с ума сошли, приятель? — спросил он, кладя свою большую руку на плечо бедняги.— Если бы я хотел, чтобы вас арестовали, стоило бы только крикнуть — стража как раз проходит по улице Августинцев. Но, черт меня побери, я считаю вас своим другом. И вот доказательство: теперь-то я, безусловно, вспомнил ваше имя.

На этот раз торговец рассмеялся.

Робер Брике загородил ему дорогу.

— Вас зовут Никола Пулен,— сказал он,— вы чиновник парижского городского суда.

— Я погиб! — прошептал торговец.

— Наоборот: спасены, разрази меня гром. Никогда вы не совершите ради святого дела того, что намерен совершить я.

Никола Пулен застонал.

— Ну, ну, мужайтесь! — сказал Робер Брике.— Вы обрели брата в лице Робера Брике. Возьмите одну кирасу, а я возьму две другие. Сверх того я дарю вам свои наручи, набедренники и перчатки. А теперь — вперед, и да здравствует лига!

— Вы пойдете со мной?

— Я помогу вам донести доспехи, благодаря которым мы одолеем филистимлян[1]; указывайте дорогу, я следую за вами.

В душе несчастного судейского чиновника вспыхнула, правда, искра подозрения, но она тут же погасла.

«Если бы он хотел меня погубить,— подумал Пулен,— то не стал бы признаваться, что я ему знаком».

Вслух же он сказал:

— Что ж, раз вы непременно этого желаете, идемте со мной.

— Я ваш друг не на жизнь, а на смерть! — вскричал Робер Брике, сжимая руку вновь обретенного союзника. Другой рукой он торжествующе поднял свою ношу.

Оба знакомца пустились в путь.

Минут через двадцать Никола Пулен добрался до Мере. Он был весь в поту не только от быстрой ходьбы, но и от живости беседы на политические темы.

— Какого воина я завербовал! — прошептал Никола Пулен, останавливаясь неподалеку от дворца Гизов.

«Я так и полагал, что мои доспехи нужны именно здесь»,— подумал Брике.

— Друг,— сказал Никола Пулен,— даю вам минуту на размышление, прежде чем вы вступите в логово льва. Вы еще можете удалиться, если совесть у вас нечиста.

— Ну что там,— сказал Брике,— я и не то видывал! Et non intremuit medulla mea[2],— продекламировал он.— Ах, простите, вы, может быть, не владеете латынью?

[1] Филистимляне — народ, упоминаемый в Библии; в переносном смысле — язычники, иноверцы. Здесь имеются в виду гугеноты.

[2] И разум мой не содрогнулся (*лат.*).

— А вы?

— Сами можете судить.

«Ученый, смелый, сильный, богатый — какая находка для нас!» — подумал Пулен.

— Что ж, войдем.

И он подвел Брике к огромным воротам дворца Гизов, которые открылись после третьего удара бронзового молотка.

Двор был полон стражи и каких-то закутанных в плащи людей, которые бродили по нему подобно теням.

Света в окнах не было. В стороне стояли наготове восемь оседланных и взнузданных лошадей.

При звуке молотка собравшиеся обернулись и тут же выстроились для встречи вновь прибывших.

Тогда Никола Пулен наклонился к уху человека, выполнявшего обязанности привратника, и назвал свое имя.

— Со мною верный товарищ,— добавил он.

— Проходите, господа,— молвил привратник.

— Отнести это на склад,— сказал Пулен, передавая привратнику три кирасы и доспехи, полученные от Робера Брике.

«Отлично! У них, оказывается, есть склад. Час от часу не легче!» — подумал тот.

— Вы прекрасный организатор, мессир прево,— добавил он вслух.

— Да, да, мозгами шевелить умеем,— самодовольно улыбаясь, ответил Пулен.— Но пойдемте, я вас представлю.

— Не стоит,— возразил буржуа,— я очень застенчив. Только бы разрешили остаться — большего я не требую. Если же докажу, что достоин доверия, то сам представлюсь, ибо, по словам греческого писателя, за меня будут свидетельствовать дела мои.

— Как вам угодно,— ответил судейский чиновник.— Подождите меня здесь.

И он поздоровался с собравшимися, пожимая им руку.

— Кого же мы ждем? — спросил чей-то голос.

— Хозяина,— ответил другой.

В эту минуту какой-то высокий человек вошел во двор и, видимо, услышал эти последние слова.

— Господа,— промолвил он,— я явился от его имени.

— Да это господин Мейнвиль! — вскричал Пулен.

«Э, оказывается, я здесь среди знакомых»,— подумал Брике и тотчас же скорчил гримасу, от которой стал неузнаваемым.

— Господа, мы теперь в сборе. Давайте побеседуем,— снова раздался голос того, кто заговорил первым.

«Прекрасно,— заметил про себя Брике.— Это мой прокурор, метр Марто».

И он переменил гримасу с легкостью, доказывавшей, как привычны были ему подобные упражнения.

— Идемте наверх, господа,— сказал Пулен.

Господин де Мейнвиль прошел первым, за ним Никола Пулен. Люди в плащах последовали за Никола Пуленом, а за ними уже Робер Брике.

Все направились к наружной лестнице, ведшей в какую-то сводчатую галерею.

Робер Брике шел вместе с другими, шепча про себя:

«А паж-то, где же этот треклятый паж?»

XI. Снова лига

Поднимаясь по лестнице вслед за людьми в плащах и стараясь придать себе вид заговорщика, Робер Брике заметил, что Никола Пулен, переговорив с некоторыми из своих таинственных сотоварищей, остановился у входа в галерею.

«Наверно, поджидает меня»,— подумал Брике.

И действительно, чиновник городского суда задержал своего нового друга, когда тот собирался переступить загадочный порог.

— Вы уж на меня не обижайтесь,— сказал он.— Но никто из наших друзей вас не знает, и они хотели бы навести справки, прежде чем допустить вас на совещание.

— Это более чем справедливо,— ответил Брике,— и, по своей врожденной скромности, я предвидел это затруднение.

— Отдаю вам должное,— согласился Пулен,— вы человек весьма тактичный.

— Итак, я удаляюсь,— продолжал Брике, довольный тем, что за один вечер увидел столько доблестных защитников лиги.

— Может быть, вас проводить? — спросил Пулен.

— Нет, благодарю вас, не стоит.

— Дело в том, что вас могут не выпустить отсюда. Хотя, с другой стороны, меня ждут.

— Но разве нет никакого пароля при выходе? Это на вас как-то непохоже, метр Пулен. Такая неосторожность!

— Конечно, есть.

— Так сообщите мне.

— И правда, раз вы вошли...

— И к тому же мы друзья.

— Хорошо. Вам нужно только сказать: «Парма и Лотарингия».

— И привратник меня выпустит?

— Незамедлительно.

— Отлично, благодарю вас. Занимайтесь своими делами, а я займусь своими.

Никола Пулен присоединился к товарищам.

Брике сделал несколько шагов по направлению к лестнице, словно намереваясь спуститься во двор, но, дойдя до первой ступеньки, задержался, чтобы обозреть местность.

Он установил, что сводчатая галерея идет параллельно внешней стене дворца, образуя над нею широкий навес. Ясно, что галерея эта ведет к какому-то просторному, но невысокому помещению, вполне подходящему для таинственного совещания, на которое Брике не имел чести быть допущенным.

Это предположение перешло в уверенность, когда он заметил свет в решетчатом окошке, пробитом в той же стене и защищенном деревянным заслоном, какими в наши дни закрывают снаружи окна тюремных камер и монастырских келий, чтобы оттуда не было видно ничего, кроме неба.

Брике сразу не пришло в голову, что это окошко зала собрания и что, добравшись до него, можно многое увидеть.

Он огляделся.

Во дворе находились пажи с лошадьми, солдаты с алебардами и привратник с ключами — короче говоря, народ бдительный и проницательный.

К счастью, двор был весьма обширен, а ночь очень темна.

Впрочем, пажи и солдаты, увидев, что участники сборища скрылись в сводчатой галерее, перестали наблюдать за окружающим, а привратник, зная, что ворота на запоре и никто не войдет без пароля, занялся стоящим на очаге котелком, полным сдобренного пряностями вина.

Любопытство обладает стимулами столь же могущественными, как и всякая другая страсть. Желание узнать скрытое бывает так велико, что многие любопытные жертвовали ради него жизнью.

Брике собрал уже столько сведений, что ему непреодолимо захотелось их пополнить. Он еще раз огляделся и, зачарованный светом, падавшим из окна, усмотрел в нем некий призыв.

Решив во что бы то ни стало добраться до окна с деревянным заслоном, Брике подтянулся к карнизу и стал передвигаться по нему, как кошка или обезьяна, цепляясь руками и ногами за выступы орнамента, выбитого в каменной стене.

Если бы пажи и солдаты могли различить в темноте этот фантастический силуэт, скользивший вдоль стены безо всякой видимой опоры, они, без сомнения, возопили бы о волшебстве и даже у самых храбрых волосы встали бы дыбом.

Но Робер Брике не дал им времени увидеть свои колдовские шутки.

Он скорее уцепился за решетку окна и притаился между нею и деревянным заслоном, так что его не было видно ни снаружи, ни изнутри.

Брике не ошибся в расчетах: он был щедро вознагражден и за смелость свою, и за труд.

Действительно, взорам его представился обширный зал, освещенный железными четырехрогими светильниками и загроможденный всякого рода доспехами, среди которых он, хорошенько вглядевшись, мог бы обнаружить и свои наручи с нагрудником.

Что же касается пик, шпаг, алебард и мушкетов, их было столько, что хватило бы на вооружение четырех полков.

Однако Брике обращал меньше внимания на оружие, чем на людей, намеревавшихся пустить его в ход. Его горящий взгляд проникал сквозь толстое запыленное стекло, стараясь рассмотреть под шляпами и капюшонами знакомые лица.

— Ого! — прошептал он.— Вот и метр Крюсе; вот маленький Бигар, бакалейщик с улицы Ломбардцев; вот метр Леклер, претендующий на имя Бюсси. Он, конечно, не осмелился бы на подобное святотатство, если бы настоящий Бюсси еще жил на свете. Надо будет как-нибудь расспросить этого мастера фехтования, каким путем отправили на тот свет в Лионе некоего Давида, моего знакомца... Черт!.. Буржуазия хорошо представлена; что же касается дворянства... А вот господин де Мейнвиль, да прости меня бог! Он пожимает руку Никола Пулену. Картина трогательная: сословия братаются... Вот как! Господин де Мейнвиль, оказывается, оратор? Похоже, что он намеревается произнести речь.

Действительно, господин де Мейнвиль начал говорить. Правда, ни одного слова не долетало до Робера Брике, но жесты говорившего и поведение слушателей были достаточно красноречивы.

— Он, видимо, не очень-то убедил аудиторию. На лице у Крюсе недовольная гримаса. Лашапель-Марто повернулся к Мейнвилю спиной, а Бюсси-Леклер пожимает плечами. Ну же, господин де Мейнвиль, отдувайтесь, будьте покрасноречивее, черт бы вас побрал!.. Наконец-то слушатели оживились. Ого, к нему подходят, жмут руки, бросают в воздух шляпы, черт!..

Как мы уже сказали, Брике видел, но слышать не мог. Зато мы, незримо присутствующие на бурных прениях этого собрания, сообщим читателю, что там произошло.

Сперва Крюсе, Марто и Бюсси пожаловались господину де Мейнвилю на бездействие герцога де Гиза.

Марто в качестве прокурора выступил первым.

— Господин де Мейнвиль,— начал он,— вы явились по поручению герцога Генриха де Гиза? Благодарим вас за это и принимаем в качестве посланца. Но нам необходимо личное присутствие герцога. После кончины своего достославного родителя он в возрасте восемнадцати лет убедил добрых французов заключить этот союз и завербовал нас всех под свое знамя. Согласно принесенной нами присяге, мы пожертвовали собой и своим имуществом ради торжества святого дела. И вот, несмотря на наши жертвы, никакой развязки нет. Берегитесь, господин де Мейнвиль: парижане устанут. А если устанет Париж, что можно ждать от Франции?.. Господину герцогу следовало бы об этом поразмыслить.

Это выступление было одобрено всеми лигистами; особенно яростно аплодировал Никола Пулен.

Господин де Мейнвиль не задумываясь ответил:

— Господа, если важных событий не произошло, то лишь потому, что они еще не созрели. Рассмотрите, прошу вас, положение. Монсеньер герцог и его брат, монсеньер кардинал находятся в Нанси и наблюдают. Один подготовляет армию; она должна сдержать французских гугенотов, которых герцог Анжуйский намеревается бросить на нас, чтобы отвлечь наши силы. Другой пишет послание за посланием французскому духовенству и папе, убеждая их официально признать наш союз. Монсеньеру де Гизу известно то, чего вы, господа, не знаете; былой союз между герцогом Анжуйским и Беарнцем[1] восстанавливается. Речь идет о том, чтобы связать руки Испании на границах с Наваррой и помешать доставке нам оружия и денег. Но прежде чем начать решительные действия, и в особенности прежде чем приехать в Париж, монсеньер герцог желает подготовиться к вооруженной борьбе против еретиков и узурпаторов. Но, за неимением герцога де Гиза, у нас есть господин де Майен — он и полководец и советчик; я жду его с минуты на минуту.

— Иначе говоря,— прервал его Бюсси (тут он и пожал плечами),— ваши принцы находятся там, где нас нет, и их нет там, где мы хотели бы их видеть. Что делает, например, госпожа де Монпансье?

— Сударь, госпожа де Монпансье сегодня утром проникла в Париж.

— И никто ее не видел?

— Видели, сударь.

— Кто же именно?

— Сальсед.

— О, о! — зашумели собравшиеся.

— Как же так,— заметил Крюсе,— неужто она стала невидимкой?

— Не совсем, но, надеюсь, оказалась неуловимой.

— А как стало известно, что она здесь? — спросил Никола Пулен.— Ведь не Сальсед же сообщил вам это?

— Я знаю, что она здесь,— ответил Мейнвиль,— так как сопровождал ее до Сент-Антуанских ворот.

[1] Беарнец — Генрих Бурбон, король Наварры, впоследствии король французский Генрих IV (1592—1610), был родом из области Беарн.

— Я слышал, что ворота были заперты? — перебил его Марто.

— Да, сударь,— ответил Мейнвиль со своей неизменной учтивостью, которую не могли поколебать никакие нападки.

— А как же она добилась, что ей открыли ворота?

— Это уж ее дело... Господа,— продолжал Мейнвиль,— сегодня был отдан приказ пропустить в Париж лишь тех, кто имел при себе особый пропуск. Кто его подписывал, этого я не знаю. Так вот, через Сент-Антуанские ворота прошли раньше нас пять или шесть человек, четверо из которых были очень плохо одеты. Кое-кто держал себя с шутовской наглостью людей, воображающих себя в завоеванной стране. Кто эти люди? Ответьте на этот вопрос, господа парижане, ведь вам поручено быть в курсе всего, что касается вашего города.

Таким образом из обвиняемого Мейнвиль превратился в обвинителя, что в ораторском искусстве самое главное.

— Пропуска, по которым в Париж проходят какие-то наглецы! Ого, что это значит? — недоумевающе спросил Никола Пулен.

— Раз этого не знаете вы, местные жители, как можем знать это мы, лотарингцы, разъезжающие по дорогам Франции ради сплочения нашего союза.

— Ну, а каким образом прибыли эти люди?

— Одни пешком, другие на конях. Одни без спутников, другие со слугами.

— Это люди короля?

— Трое или четверо были просто оборванцами.

— Военные?

— На шесть человек у них имелись две шпаги.

— Иностранцы?

— Мне кажется, гасконцы.

— О! — презрительно протянул кто-то.

— Неважно,— возразил Бюсси,— хотя бы они были турками, на них следует обратить внимание. Мы наведем справки... Это уже ваше дело, господин Пулен. Но все это не имеет прямого отношения к делам лиги.

— Существует новый план,— ответил господин Мейнвиль.— Завтра вы узнаете, что Сальсед, который нас уже однажды предал и намеревался предать еще раз, не только не заговорил перед казнью, но даже взял обратно свои прежние показания. Все это благодаря герцогине, которая

проникла в город вместе с одним из обладателей пропуска. У нее хватило мужества добраться до эшафота и предстать перед осужденным под угрозой быть узнанной всеми. Тогда-то Сальсед и решил не давать показаний, а мгновение спустя палач, наш славный сторонник, помешал ему раскаяться в этом решении. Таким образом, господа, можно ничего не опасаться касательно наших действий во Фландрии. Эта роковая тайна погребена вместе с Сальседом.

При этих словах сторонники лиги обступили господина де Мейнвиля.

Брике догадался, что их обуревают радостные чувства, и это весьма встревожило достойного буржуа, который, казалось, принял внезапное решение.

Он неслышно спрыгнул во двор, направился к воротам, где произнес слова «Парма и Лотарингия», и был выпущен привратником.

Очутившись на улице, метр Робер Брике шумно вздохнул, из чего можно было заключить, что он очень долго задерживал дыхание.

От имени Гизов господин де Мейнвиль изложил будущим парижским мятежникам план восстания.

Речь шла о том, чтобы умертвить влиятельных сторонников короля, пройтись по городу с криками: «Да здравствует месса! Смерть политикам!» — и возродить таким образом Варфоломеевскую ночь. Только на этот раз к гугенотам должны были присоединиться неблагонадежные католики.

Этими действиями мятежники хотели сразу угодить двум богам — царю небесному и претенденту на престол во Франции. Предвечному судье и господину де Гизу.

XII. Опочивальня его величества Генриха III в Лувре

В обширном покое Луврского дворца, где несчастный король Генрих III проводил долгие и тягостные часы, мы видим теперь уже не короля, не повелителя целой страны, а бледного, подавленного, измученного человека, которого беспрестанно терзают призраки, встающие в его памяти под этими величественными сводами.

Судьба жестоко поразила Генриха III: пали один за другим все, кого он любил. После Шомберга, Келюса и Можирона, убитых на поединке, господин де Майен умертвил Сен-Мегрена[1]. Раны эти не зажили в сердце короля — они продолжали кровоточить... Привязанность, которую он питал к новым любимцам, д'Эпернону и Жуаезу, была подобна любви отца к оставшимся у него сыновьям. Д'Эпернона он осыпал милостями, но испытывал к нему привязанность лишь временами — бывали минуты, когда король не переносил его. И тут Екатерина, неумолимая советчица, чей разум был подобен неугасимой лампаде перед алтарем, Екатерина, неспособная на безрассудное увлечение даже в дни молодости, возвышала вместе с народом голос против нового фаворита.

Стоило ей увидеть, как хмурятся брови короля, услышать, как он упрекает д'Эпернона за жадность и трусость, она тотчас же находила беспощадное слово, лучше всего выражавшее обвинения, которые страна предъявляла д'Эпернону.

Д'Эпернон, наполовину гасконец, человек проницательный и бессовестный, хорошо понял слабость Генриха III. Он умел скрывать свое честолюбие, не имевшее, впрочем, определенной цели. Единственным компасом, которым он руководствовался, устремляясь к далеким, неведомым горизонтам, скрытым в туманных далях будущего, была жадность; им владела только страсть к стяжательству.

Когда в казначействе водились деньги, д'Эпернон являлся при дворе вкрадчивый, улыбающийся. Когда оно пустовало, он исчезал, нахмурив чело и презрительно оттопырив губу, запирался в одном из своих замков и клянчил до тех пор, пока ему не удавалось вырвать новые подачки у несчастного, слабовольного короля.

Это он превратил положение фаворита в ремесло и извлекал из него всевозможные выгоды. Прежде всего он не спускал королю ни малейшей просрочки в уплате своего жалованья. Позднее, когда он стал придворным, ветер королевской милости менял направление так часто, что это несколько отрезвило его гасконскую голову,— он согласился взять на себя кое-какую работу, то есть за-

[1] Сен-Мегрен — первый камер-юнкер Генриха III; в 1578 году был убит по приказанию де Гиза.

няться выжиманием денег, частью которых желал завладеть.

Он понял, что эта необходимость вынуждает его превратиться из ленивого царедворца — самое приятное на свете положение — в царедворца деятельного. Да, времена изменились. Деньги уже не текли в руки, как в былые дни. До денег надо было добираться, их приходилось вытягивать из народа, как из наполовину иссякшей рудоносной жилы. Д'Эпернон примирился с этой необходимостью и словно голодный зверь устремился в непроходимую чащу королевской администрации, производя опустошение на пути своем, вымогая все больше и больше, вопреки проклятиям народа,— коль скоро звон золотых экю покрывал жалобы людей.

Кратко обрисовав ранее характер Жуаеза, мы показали читателю различие между обоими королевскими любимцами, делившими если не расположение короля, то влияние, которое фавориты Генриха III оказывали на дела государства и на него самого.

Происходя из рода прославленного и доблестного, Жуаез соблюдал уважение к королевскому сану, и его фамильярность с Генрихом не переходила известных границ. Если говорить о жизни внутренней, духовной, то Жуаез был для Генриха подлинным другом.

Храбрый, красивый, богатый, он пользовался всеобщей любовью.

Генрих хорошо знал обоих фаворитов, и, вероятно, они были дороги ему именно благодаря своему несходству. Под оболочкой суеверного скептицизма король скрывал глубокое понимание людей и вещей, и, не будь Екатерины, оно принесло бы отличные плоды.

Генриха нередко предавали, но никому не удавалось его обмануть.

Он очень верно судил о характере своих друзей, глубоко знал их достоинства и недостатки. И, пребывая вдали от них, в этой темной комнате, одинокий и печальный, он думал о них, о себе, о своей жизни и созерцал траурные дали грядущего.

История с Сальседом его крайне удручила. Оставшись наедине с двумя женщинами, Генрих остро ощутил свое одиночество: слабость Луизы его печалила, сила Екатерины внушала ему страх. Он испытывал неопределенный, но неотвязный ужас — проклятие королей, осужденных

роком быть последними представителями рода, который должен угаснуть вместе с ними.

И действительно, чувствовать, что величие твое не имеет прочной опоры, понимать, что хотя ты и кумир, но жрецы и народ, поклонники и министры принижают и возвышают тебя в зависимости от своей выгоды,— это жесточайшее унижение для гордой души.

Однако по временам король вновь обретал энергию молодости, угасшую в нем задолго до того, как молодость прошла.

«В конце концов,— думал он,— о чем мне тревожиться? Войн я больше не веду. Гиз в Нанси, Генрих в По; одному приходится обуздывать свое честолюбие, у другого его никогда не было. Брожение умов успокаивается. Никто не считает по-настоящему возможным свергнуть меня. Только матери моей мерещатся повсюду покушения на королевский престол. Но я мужчина; дух мой еще молод, несмотря на одолевающие меня горести; я знаю, чего стоят претенденты, внушающие ей страх. Генриха Наваррского я выставлю в смешном виде, Гиза — в самом гнусном, иноземных врагов я рассею с мечом в руке. Да, но пока я скучаю,— продолжал Генрих свой внутренний монолог,— а скука для меня горше смерти. Вот мой единственный настоящий враг, а о нем мать никогда не говорит. Посмотрим, явится ли ко мне кто-нибудь нынче вечером! Жуаез клялся, что придет пораньше: он, видите ли, развлекается. Но как, черт возьми, удается ему развлекаться?.. Д'Эпернон? Он, правда, не веселится, он дуется: не получил двадцати пяти тысяч ливров, причитающихся ему с налога на домашний скот. Ну и пусть себе дуется на здоровье».

— Ваше величество,— раздался у дверей голос стражника,— его светлость герцог д'Эпернон!

Все, кому знакома скука ожидания, поймут облегчение короля, сразу же велевшего подать герцогу складной табурет.

— А, герцог, добрый вечер,— сказал он,— рад вас видеть.

Д'Эпернон почтительно поклонился.

— Почему вы не пришли поглядеть на четвертование этого негодяя-испанца?

— Государь, я никак не мог.

— Не могли?

— Нет, государь, я был занят.

— Право, у вас такое вытянутое лицо, словно вы мой министр и явились с докладом, что налог до сих пор не поступил в казну,— произнес Генрих, пожимая плечами.

— Клянусь богом, государь,— сказал д'Эпернон, ловко воспользовавшись случаем,— ваше величество не ошибается: налог не поступил, и я без гроша. Но речь сейчас о другом. Тороплюсь сказать это вашему величеству, не то вы подумаете, что я только денежными делами и занимаюсь.

— О чем же речь, герцог?

— Вашему величеству известно, что произошло перед казнью Сальседа?

— Черт возьми! Я же там был!

— Осужденного пытались похитить.

— Этого я не заметил.

— Однако таков слух.

— Слух беспричинный.

— Мне кажется, что ваше величество ошибаетесь.

— А почему тебе так кажется?

— Потому что Сальсед взял обратно перед всем народом показания, которые он дал судьям.

— Вам уже это известно?

— Я стараюсь знать все, что важно для вашего величества.

— Благодарю. Но к чему вы клоните?

— А вот к чему: человек, умирающий так, как умер Сальсед, прекрасный слуга, государь.

— Ну и что же?

— Хозяин, у которого такой слуга,— счастливец, вот и все.

— И ты хочешь сказать, что у меня нет таких слуг или же, вернее, что у меня их больше нет? Если так, ты совершенно прав.

— Совсем не то. При желании ваше величество нашли бы, головой ручаюсь, таких же слуг, как Сальсед, по гроб жизни преданный своему хозяину.

— Кто же его хозяин? Как имя этого человека?

— Ваше величество, вы изволите заниматься политикой и потому должны знать его имя лучше, чем я.

— Это мое дело. Скажите мне, что известно вам?

— Я ничего не знаю. Но подозревать — подозреваю многое.

— Отлично! — недовольно молвил Генрих.— Вы пришли, чтобы напугать меня и наговорить мне неприятностей, не так ли? Благодарю, герцог, это на вас похоже.

— Ну вот, теперь ваше величество изволит меня бранить.

— Справедливо, я полагаю.

— Нет, государь. Предупреждение преданного человека может быть некстати. Но, предупреждая, он выполняет свой долг.

— Не вмешивайтесь не в свое дело.

— Коль скоро ваше величество так смотрит на дело, не будем больше об этом говорить.

Наступило молчание, которое первым нарушил король.

— Ну хорошо! — сказал он.— Не докучай мне, герцог. Я и без того мрачен, как египетский фараон в своей пирамиде. Лучше развесели меня.

— Ах, государь, по заказу не развеселишься.

Король гневно ударил кулаком по столу.

— Вы упрямец, вы плохой друг, герцог! — вскричал он.— Увы, увы! Я не думал, что столько потерял, когда лишился прежних моих слуг.

— Осмелюсь заметить вашему величеству, что вы не очень-то изволите поощрять новых.

Тут король опять замолк и вместо всякого ответа весьма выразительно посмотрел на человека, которого так возвысил.

Д'Эпернон понял.

— Ваше величество попрекает меня своими благодеяниями,— произнес он тоном истого гасконца.— Но я не стану попрекать вас, государь, своей преданностью.

И герцог, все еще стоявший, сел на складной табурет, принесенный для него по приказанию короля.

— Ла Валет, ла Валет,— грустно сказал Генрих,— ты надрываешь мне сердце, ты, который своим остроумием, шутливостью мог бы вернуть мне веселье и радость. Кроме того, друг, ты можешь подать порою добрый совет. Ты в курсе моих дел, как тот более скромный друг, с которым я ни разу не испытывал скуки.

— О ком изволит говорить ваше величество? — спросил герцог.

— Тебе бы следовало на него походить, д'Эпернон.

— Но я должен знать, по крайней мере, о ком ваше величество так сожалеет.

— О бедный мой Шико, где ты?

Д'Эпернон вскочил весьма обиженный.

— В чем дело? — спросил король.

— Ваше величество, быть может не подумав, сравнили меня с господином Шико, а я не очень польщен этим сравнением.

— Напрасно, д'Эпернон. С Шико я могу сравнить только тех, кого люблю и кто меня любит. Он был верный и изобретательный друг.

И Генрих глубоко вздохнул.

— Не ради того, полагаю, чтобы я походил на метра Шико, ваше величество сделали меня герцогом и пэром,— сказал д'Эпернон.

— Хорошо, не будем попрекать друг друга,— произнес король с такой лукавой улыбкой, что гасконец при всем своем уме и бесстыдстве почувствовал себя неловко от этого несмелого укора.

— Шико любил меня,— продолжал Генрих,— и мне его не хватает. Вот все, что я могу сказать. Подумать только, в кресле, куда ты положил шляпу, раз сто, если не больше, засыпал Шико.

— Может быть, это было и остроумно с его стороны,— перебил короля д'Эпернон,— но не очень почтительно.

— Увы! — продолжал Генрих.— Все исчезло — и остроумие дорогого друга и он сам.

— Что же приключилось с вашим Шико? — беззаботно спросил д'Эпернон.

— Он умер,— ответил Генрих,— умер, как и все, кто меня любил!

— А от чего умер бедняга, ваше величество?.. От расстройства желудка?

— Шико умер от горя, черствый ты человек,— едко сказал король.

— Он так сказал, чтобы рассмешить вас напоследок.

— Вот и ошибся: он даже не сообщил мне о своей болезни, чтобы не огорчать меня. Он знал, как я сожалею о своих друзьях, ведь ему часто приходилось видеть, что я их оплакиваю.

— Так, значит, вам явилась его тень?

— Дал бы мне бог увидеть хоть призрак Шико! Нет, это его друг, достойный приор Горанфло, письменно сообщил мне эту печальную новость.

— Горанфло? Это еще кто?

— Некий святой человек; я назначил его приором монастыря святого Иакова — красивый такой монастырь за Сент-Антуанскими воротами, как раз напротив Фобенского креста, вблизи от Бель-Эба.

— Замечательно! Какой-нибудь жалкий проповедник, которому ваше величество пожаловали приорство с доходом в тридцать тысяч ливров. Его-то вы небось не будете этим попрекать!

— Уж не становишься ли ты безбожником?

— Если бы это могло развлечь ваше величество, я бы попытался.

— Да замолчи, герцог, ты кощунствуешь.

— Шико ведь был безбожником, и это ему, насколько помнится, прощалось.

— Шико давал мне хорошие советы.

— Понимаю; если бы он был жив, ваше величество сделали бы его хранителем печати[1], как изволили сделать приором какого-то простого попа.

— Пожалуйста, герцог, не потешайтесь над теми, кто питал ко мне дружеские чувства. С тех пор как Шико умер, память о нем для меня священна, как память о настоящем друге. И когда я не расположен смеяться, мне не нравится, чтобы и другие смеялись.

— О, как угодно, государь. Мне хочется смеяться не больше, чем вашему величеству. Вы только сейчас пожалели о Шико из-за его веселого нрава и требовали вас развеселить, а теперь желаете, чтобы я нагнал на вас грусть... Тысяча чертей! О, прошу прощения, государь, вечно у меня вырывается это проклятое ругательство!

— Хорошо, хорошо, теперь я поостыл. Выкладывай же свои дурные вести, д'Эпернон. В самом деле, меня так плохо охраняют, что если бы я сам себя не оберегал, то мог бы давно погибнуть.

— Так вашему величеству все же угодно поверить в грозящие вам опасности?

— Я не поверю в них, если ты докажешь мне, что способен с ними бороться.

---

[1] Должность, соответствующая министру юстиции.

— Думаю, что способен.
— Вот как?
— Да, государь.
— Понимаю. У тебя есть свои хитрости, лиса ты этакая!
— Ваше величество согласны подняться?
— А для чего?
— Чтобы пройтись со мной до старых помещений Лувра.
— По направлению к улице Астрюс?
— Как раз к тому месту, где начали строить мебельный склад, но бросили, с тех пор как ваше величество не желает иметь никаких вещей, кроме скамеечек для молитвы и четок в виде черепов.
— В такой поздний час?
— Луврские часы только что пробили десять. Сейчас не так уж поздно.
— Очень это далеко, герцог.
— Галереями туда можно дойти за каких-нибудь пять минут, государь.
— Если то, что ты мне покажешь, будет не очень примечательно, берегись...
— Ручаюсь вам, государь, что это очень примечательно.
— Что ж, пойдем,— решился король. Он сделал над собой усилие и поднялся с кресла.

Герцог взял плащ короля и подал ему шпагу; затем, вооружившись подсвечником с толстой восковой свечой, он прошел вперед и повел по галерее его христианнейшее величество, которое тащилось за ним своей шаркающей походкой.

XIII. Спальное помещение

Было всего десять часов, как сказал д'Эпернон, но в Лувре царила мертвая тишина. Снаружи неистовствовал ветер, заглушавший шаги часовых и скрип подъемных мостов.

Действительно, меньше чем через пять минут король и его спутник дошли до помещений, выходивших на улицу Астрюс.

Из кошеля, висевшего у пояса, герцог достал ключ, спустился на несколько ступенек вниз, пересек какой-то дворик и отпер дверь, скрытую желтеющими кустами ежевики. Шагах в десяти от нее виднелась каменная лестница, которая вела в просторную комнату или, вернее, длинный зал.

У д'Эпернона имелся ключ и от этого помещения. Он тихонько открыл дверь.

В зале стояло сорок пять кроватей; на каждой из них лежал спящий человек.

Король взглянул на кровати, на спящих и, обратившись к герцогу, спросил с тревожным любопытством:
— Кто эти люди?
— Сегодня они спят, но с завтрашнего дня спать не будут, то есть будут по очереди.
— А почему?
— Чтобы вы, ваше величество, могли спокойно спать.
— Объяснись: это твои друзья?
— Они выбраны мною, государь, отсортированы, как зерна на гумне. Это бесстрашные телохранители, которые станут сопутствовать вашему величеству неотступно, как тень. Они будут находиться всюду, где находится ваше величество, и не подпустят к вам никого ближе, чем на расстояние шпаги.
— Ты это придумал, д'Эпернон?
— Ну да, бог мой, я один, государь.
— Это вызовет всеобщий смех.
— Не смех, а страх.
— Твои дворяне такие грозные?
— Государь, это стая псов, которую вы напустите на любую дичь. Они будут знать только вас, только с вашим величеством иметь дело, только у вас просить света, тепла, жизни.
— Но я на этом разорюсь.
— Разве король может разоряться?
— Я с трудом оплачиваю своих швейцарцев.
— Посмотрите хорошенько на этих пришельцев, государь!

Продолговатый зал был разделен в длину перегородкой, по одну сторону ее архитектор устроил сорок пять альковов, которые были расположены, словно келейки, один подле другого и выходили в проход, где стояли король и д'Эпернон.

В каждом их этих альковов пробита была дверца, соединявшая его с чем-то вроде комнаты.

Благодаря такому остроумному устройству дворяне могли от исполнения служебных дел сразу же переходить к частной жизни.

К своим общественным обязанностям они приобщались через альков.

Семейная и личная жизнь их протекала в примыкавшем к алькову помещении.

В каждом таком помещении имелся выход на балкон, который шел вдоль всей наружной стены.

Король не сразу понял все эти тонкости.

— Почему ты показал мне их в кроватях, спящими? — спросил король.

— Я полагал, что вашему величеству так легче произвести смотр. На каждом из этих альковов имеется номер, под тем же номером числится и обитатель алькова. Следовательно, каждый из них может быть и номером и человеком.

— Недурно придумано,— сказал король,— в особенности если у них одних будет ключ ко всей этой арифметике. Но сколько они будут мне стоить? Если недорого, это меня, пожалуй, убедит. Но их внешний вид, д'Эпернон, не очень привлекателен.

— Государь, я знаю, что они несколько отощали да и загорели на солнце наших южных провинций. Я был таким же худым и смуглым; они пополнеют и побелеют, подобно мне.

— Гм! — промычал Генрих, искоса взглянув на д'Эпернона.

Наступила пауза, вскоре прерванная королем.

— Вот этот говорит во сне,— сказал он, с любопытством прислушиваясь.

— В самом деле?

— Да. Послушай.

И правда, один из гасконцев что-то шептал с печальной улыбкой.

Король подошел к нему на цыпочках.

— ...Если вы женщина,— говорил тот,— бегите! Спасайтесь!..

— Ого,— сказал Генрих,— он дамский угодник.

— Что вы о нем скажете, государь?

— У него приятное лицо.

Д'Эпернон поднес свечу к алькову.

— К тому же руки у него белые, а борода хорошо расчесана.

— Это господин Эрнотон де Карменж, красивый, милый,— он далеко пойдет.

— А рядом с ним — престранная личность. Какая рубашка у этого тридцать первого номера! Можно подумать, власяница кающегося грешника.

— Это господин де Шалабр. Если он разорит ваше величество, то, ручаюсь, не без выгоды для себя.

— А вон тот, с таким мрачным лицом? Он, видно, не о любви грезит?

— Какой у него номер, государь?

— Двенадцатый.

— Острый клинок, железное сердце, отличная голова — господин де Сент-Малин, государь.

— Да, если хорошенько подумать, ла Валет, мысль твоя не плоха!

— Еще бы! Сами посудите, государь, какое впечатление произведут эти сторожевые псы, которые словно тень будут следовать за вашим величеством. Молодцов этих никто не видел, и при случае они не посрамят вас!

— Да, да, ты прав. Но только...

— Что?

— Полагаю, они будут следовать за мною не в этих лохмотьях? Не хочу, чтобы моя тень или, вернее, мои тени опозорили меня своим видом.

— Вот, государь, мы и возвращаемся к расходу.

— А ты рассчитывал обойти его?

— Нет, напротив: во всяком деле — это главное. Но у меня возникла одна мысль.

— Ну так выкладывай ее.

— Если бы это зависело от меня, каждый из этих дворян нашел бы завтра утром на табурете, где лежат его лохмотья, кошель с тысячью экю: жалованье за первую половину года.

— Тысяча экю за полугодие, шесть тысяч ливров в год!.. Помилуйте, да вы спятили, герцог. Целый полк обошелся бы дешевле.

— Вы забываете, государь, что им предстоит стать тенями вашего величества. А вы сами изволили сказать, что тени ваши должны быть пристойно одеты. Каждый будет обязан употребить часть этих денег на одежду и

вооружение, которые сделали бы честь вашему величеству. Так вот, если на экипировку положить полторы тысячи ливров, то жалованье за первый год составит четыре с половиной тысячи, а за второй год и все последующие — по три.

— Это более приемлемо.

— Ваше величество согласны?

— Есть лишь одно затруднение, герцог.

— Какое?

— Отсутствие денег.

— Государь, я нашел средство.

— Достать деньги?

— Да, государь, для вашей охраны.

«Какой-нибудь новый способ выуживания грошей у народа»,— подумал король, искоса глядя на д'Эпернона. Вслух же он сказал:

— Что это за средство?

— Ровно полгода назад был опубликован указ о налоге на дичь и рыбу.

— Возможно.

— За первое полугодие поступило шестьдесят пять тысяч экю, которые королевский казначей намеревался внести в казну сегодня утром. Я предупредил его, чтобы он этого не делал. Казначей ожидает распоряжений вашего величества.

— Я предназначал эти деньги на военные расходы, герцог.

— Вот именно, государь. Для ведения войны необходимы люди. Для королевства главное — безопасность особы короля. Эти условия соблюдаются, когда деньги идут на охрану престола.

— Доводы твои убедительны. Но по твоему расчету получается, что мы расходуем только сорок пять тысяч экю. На мои полки остается, таким образом, еще двадцать тысяч.

— Простите, государь, и, если на то будет воля вашего величества, я найду применение и для этих двадцати тысяч.

— Вот как, ты найдешь им применение?

— Да, государь, я возьму их в счет поступлений по моему откупу.

— Так я и думал,— сказал король.— Ты нанимаешь мне охрану, чтобы поскорее получить эти денежки.

— О государь, как вы можете так говорить!

— Но почему ты набрал именно сорок пять человек? — спросил король, думая о другом.

— Вот почему, государь. Три — число священное. К тому же оно удобно. У вас будет охрана из дворян в количестве трижды пятнадцати человек: пятнадцать дежурят, тридцать отдыхают. Каждое дежурство двенадцатичасовое. В течение этих двенадцати часов справа и слева от вас будет неизменно находиться по пяти человек, двое спереди и трое сзади. Пусть попробуют напасть на вас при такой охране!

— Черт побери, герцог, ловко придумано, поздравляю.

— Взгляните на них, государь: право же, они производят прекрасное впечатление.

— Да, если их приодеть, вид у них будет неплохой.

— Господину де Жуаезу вряд ли пришла бы в голову такая мысль!

— Д'Эпернон, д'Эпернон! Неблагородно это — плохо отзываться об отсутствующих.

— Кстати, государь,— проговорил д'Эпернон после краткой паузы,— я хотел кое о чем попросить ваше величество.

— И правда, я был бы весьма удивлен, если бы ты ничего не попросил.

— Сегодня ваше величество полны горечи.

— Да нет же, ты не понял меня, друг мой,— сказал король.— Я хотел сказать, что, оказав мне услугу, ты имеешь право просить.

— Тогда другое дело, государь. К тому же я хотел просить у вас должность.

— Должность? Ты, генерал-полковник инфантерии, хочешь еще какую-то должность? Такое бремя раздавит тебя!

— На службе вашего величества я могуч, как Самсон.

— Ну так проси,— со вздохом сказал король.

— Я хотел бы, чтобы ваше величество назначили меня командиром этих сорока пяти гасконцев.

— Как! — изумился король.— Ты готов на такое самопожертвование? Превратиться в начальника охраны?

— Да нет же, нет, государь.

— Слава богу, так чего же тебе надобно? Говори.

— Я хочу, чтобы ваши телохранители, а мои земляки

слушались моих приказов больше, чем чьих бы то ни было... Впрочем, у меня будет заместитель.

«За этим что-то кроется»,— подумал Генрих, покачав головой. Вслух же он произнес:

— Отлично. Получишь командование.

— И это остается втайне?

— Да, но кто же будет официальным командиром твоих Сорока пяти?

— Молодой Луаньяк.

— Отлично.

— Значит, решено, государь?

— Да, но...

— Но?

— Какую роль играет при тебе Луаньяк?

— Он мой д'Эпернон, государь.

— Ну, так он тебе недешево стоит,— буркнул король.

— Ваше величество изволили сказать...

— Я сказал, что согласен.

— Государь, я иду к казначею за сорока пятью кошельками.

— Сегодня вечером?

— Надо же, чтобы мои ребята нашли их завтра на своих табуретах!

— Верно. Иди! Я возвращаюсь к себе.

— И вы довольны, государь?

— Пожалуй, доволен.

— Во всяком случае, вы под надежной охраной.

— Да, меня охраняют люди, спящие так, что их не добудишься.

— Зато завтра они будут бодрствовать, государь.

Д'Эпернон проводил Генриха, говоря про себя:

«Если я не король, то охрана у меня как у короля, и, тысяча чертей, она мне ровно ничего не стоит!»

XIV. Тень Шико

Мы сказали выше, что король никогда не испытывал разочарования в друзьях. Он знал их недостатки и достоинства и читал в глубине их сердец не хуже самого царя небесного.

Он сразу понял, куда клонит д'Эпернон. Но так как он

приготовился дать деньги, ничего не получая взамен, а вышло, что он получил взамен шестидесяти тысяч экю сорок пять телохранителей, идея гасконца ему просто показалась находкой.

К тому же это было нечто новенькое. А бедному королю Франции подобный товар поступает не слишком часто, особенно такому королю, как Генрих III: ведь после того как он закончит свои выходы, причешет собачек, переберет четки в форме черепов и испустит положенное количество вздохов, делать ему совершенно нечего.

Направляясь в свои покои, где ждал его дежурный служитель, немало заинтригованный этой необычной вечерней прогулкой, Генрих обдумывал преимущества, связанные с учреждением отряда Сорока пяти.

«И правда,— размышлял король,— люди эти, наверно, храбры и, возможно, будут мне преданны. У иных внешность располагающая, у других мрачноватая: слава богу, есть на все вкусы. К тому же это великолепно — конвой из сорока пяти вояк, в любой миг готовых выхватить из ножен шпаги!»

Но, несмотря на эти утешительные мысли, Генрихом опять овладела глубокая скорбь, которая превратилась, можно сказать, в обычное для него состояние духа. Время было суровое, люди кругом злонамеренные, венцы монархов так непрочно держались на головах, что он снова ощутил неодолимое желание умереть или предаться бурному веселью, лишь бы на миг излечиться от болезни, уже тогда названной англичанами сплином.

Он стал искать глазами Жуаеза и, не видя его, справился о нем у служителя.

— Его светлость еще не возвращались,— ответил тот.

— Хорошо. Позовите камердинеров, а сами можете идти.

Войдя в спальню, Генрих окинул беглым взглядом изысканные, до мельчайших подробностей обдуманные принадлежности туалета, о котором он так заботился прежде, желая быть изящнейшим щеголем христианского мира, раз ему не удалось стать величайшим из его королей.

Но теперь его больше не занимал тот тяжкий труд, которому он некогда столь беззаветно отдавал силы. Генрих уподобился старой кокетке, сменившей зеркало на молитвенник: предметы, прежде столь ему дорогие, теперь вызывали в нем чуть ли не отвращение.

Надушенные мягкие перчатки, маски из тончайшего полотна, пропитанные всевозможными мазями, химические составы, для того чтобы завивать волосы, подкрашивать бороду, румянить мочки ушей и придавать блеск глазам,— он уже давно пренебрегал всем этим; пренебрег и на этот раз.

— В постель,— сказал он со вздохом.

Двое камердинеров разоблачили короля, натянули ему на ноги ночные кальсоны из тонкой шерсти и, осторожно приподняв, уложили его особу под одеяло.

— Чтеца его величества! — крикнул один из них, ибо Генрих засыпал с большим трудом и, совершенно измученный бессонницей, иногда пытался задремать под чтение вслух.

— Нет, никого не надо,— сказал Генрих,— и чтеца тоже. Пусть он лучше почитает за меня молитвы. Но если вернется господин Жуаез, приведите его ко мне.

— А если он поздно вернется, государь?

— Увы! — сказал Генрих.— Он всегда возвращается поздно. Но приведите его, когда бы он ни возвратился.

Слуги потушили свечи, зажгли у камина лампу, в которой горели ароматичные масла, дававшие бледное голубоватое пламя — с тех пор как Генрихом овладели погребальные мысли, ему нравилось такое фантасмагорическое освещение,— и вышли на цыпочках из тихой опочивальни.

Генриха III, храброго перед лицом настоящей опасности, одолевали суеверные страхи, свойственные детям и женщинам. Он боялся злых духов, страшился призраков, и вместе с тем это чувство служило ему своеобразным развлечением. Когда он боялся, ему было не так скучно; он уподоблялся некоему заключенному, до того истомленному тюремной праздностью, что, когда ему сообщили о предстоящем допросе под пыткой, он ответил: «Отлично! Хоть какое-нибудь разнообразие».

Итак, Генрих следил за отблесками масляной лампы, вперял взор в темные углы комнаты и старался уловить малейший звук, по которому можно было бы определить таинственное появление призрака, но вот глаза его, утомленные всем виденным, закрылись, и он задремал, убаюканный одиночеством и тишиной.

Но Генриху никогда не удавалось забыться надолго. И во сне и наяву он находился в возбуждении, подтачивающем его жизненные силы. Так и теперь ему почудился в комнате какой-то шорох, и он проснулся.

— Это ты, Жуаез? — спросил он.

Ответа не последовало.

Свет лампы потускнел. Она отбрасывала на потолок резного дуба лишь белесоватый круг, от которого отливала зеленью позолота орнамента.

— Один! Опять один! — прошептал король.— Ах, верно говорит пророк: великим мира сего надлежит скорбеть. Лучше было бы сказать: они всегда скорбят.

После краткой паузы он пробормотал:

— Господи, дай мне силы переносить одиночество в жизни. Как одинок я буду после смерти!..

— Ну, ну, насчет одиночества после смерти — это как сказать,— ответил чей-то резкий голос, прозвучавший в нескольких шагах от кровати.— А черви-то у тебя не считаются?

Ошеломленный король приподнялся на своем ложе и с тревогой оглядел комнату.

— Узнаю этот голос,— прошептал он.

— Слава богу! — ответил голос.

Холодный пот выступил на лбу короля.

— Можно подумать, что это Шико...

— Горячо, Генрих, горячо! — ответил голос.

Генрих спустил с кровати одну ногу и различил недалеко от камина, в том самом кресле, на которое час назад он указывал д'Эпернону, чью-то фигуру — тлевший в камине огонь отбрасывал на нее рыжеватый свет. Таким отблеском освещены у Рембрандта[1] лица на заднем плане картины, почему их не сразу можно заметить. Видна была лишь ручка кресла, на которую опирался сидевший, и его костлявое колено.

— Господи, спаси и помилуй! — вскричал Генрих.— Да это тень Шико!

— Бедняжка Анрике,— произнес голос,— ты, оказывается, все так же глуп!

— Глуп?!

— Тени не могут говорить, дурачина,— у них нет тела и, следовательно, нет языка,— продолжало существо, сидевшее в кресле.

---

[1] Рембрандт (1606—1669) — великий голландский живописец.

— Так, значит, ты действительно Шико? — вскричал король, обезумев от радости.

— На этот счет пока ничего решать не будем.

— Как, неужели ты не умер, дорогой мой Шико?

— Да нет же, напротив, я умер, я сто раз мертв.

— Шико, мой единственный друг!

— Ты по-прежнему твердишь одно и то же. Ты не изменился, черт побери!

— А ты изменился, Шико? — грустно спросил король.

— Надеюсь.

— Шико, друг мой,— сказал король, спустив с кровати обе ноги,— скажи, почему ты меня покинул?

— Потому что умер.

— Но ведь ты сам сказал, что жив.

— И повторяю то же самое.

— Как же это понимать?

— Для одних я умер, Генрих, а для других жив.

— А для меня?

— Для тебя я мертв.

— Почему?

— Ты в своем доме не хозяин.

— Как так?

— Ты ничего не можешь сделать для тех, кто тебе служит.

— Милостивый государь!..

— Не сердись, не то и я рассержусь!

— Да, ты прав,— произнес король, трепеща при мысли, что тень Шико может исчезнуть.— Но говори, друг мой, говори...

— Ты помнишь, мне надо было свести кое-какие счеты с господином де Майеном?

— Отлично помню.

— Я их свел: отдубасил как следует этого несравненного полководца. Он стал разыскивать меня, чтобы повесить, а ты бросил меня на произвол судьбы. Вместо того чтобы прикончить его, ты с ним помирился. Что же мне оставалось делать? Через посредство моего приятеля Горанфло я объявил о своей кончине и погребении. Так что с той самой поры господин Майен, который рьяно разыскивал меня, перестал это делать.

— Какое ужасное мужество ты проявил, Шико! Скажи, и ты не подумал о том, что я буду страдать при вести о твоей смерти?

— Да, я поступил мужественно, но ничего ужасного в этом не было. Спокойная жизнь наступила для меня, с тех пор как все считают меня мертвым.

— Шико! Шико! Друг мой! — вскричал король.— Ты приводишь меня в ужас, я просто голову потерял!

— Эко дело! Ты только сейчас это заметил?

— Не знаю, что и думать.

— Бог ты мой, надо все-таки на чем-нибудь остановиться.

— Ну так знай: я думаю, что ты умер и явился с того света.

— Значит, я тебе наврал? Ты не очень-то вежлив.

— Во всяком случае, часть правды ты от меня скрываешь. Но я уверен, что, подобно теням, о которых повествуют древние авторы, ты откроешь мне ужасные вещи.

— Отрицать не стану. Приготовься же, бедняга король.

— Да, да,— продолжал Генрих,— признайся, что ты тень, посланная ко мне господом богом!

— Готов признаться во всем, что ты пожелаешь.

— Иначе как бы ты прошел по коридорам, где столько охраны? Как очутился ты в моей опочивальне, подле меня?.. Значит, в Лувр всякий может войти? Плохо же охраняют короля!

И Генрих, в страхе перед воображаемой опасностью, снова бросился в кровать, готовый от ужаса зарыться под одеяло.

— Ну, ну, ну,— сказал Шико тоном, в котором чувствовалась и жалость и большая привязанность.— Не волнуйся: дотронься до меня и сразу убедишься.

— Значит, ты не вестник гнева божьего!

— Черт бы тебя побрал! Разве у меня рога, словно у сатаны, или огненный меч в руках, как у архангела Михаила?

— Как же ты все-таки вошел?

— Пойми, наконец, что я сохранил ключ, который ты мне сам дал! Я еще повесил его тогда себе на шею, чтобы позлить твоих камергеров[1]: ведь они имеют право носить

[1] Камергер — высокий придворный чин. Принадлежностью камергерского мундира был золоченый ключ, который подвешивался сзади на ленте к поясу.

ключи только на заду. Ключом открывают двери и входят — вот я и попал!

— Через потайную дверь?

— Конечно!

— Но почему ты явился сегодня, а не вчера, например?

— В этом-то и весь вопрос. Что ж, сейчас узнаешь.

Генрих накрылся одеялом и продолжал жалобным голосом:

— Не говори мне ничего неприятного, Шико, прошу тебя... О, если бы ты знал, как я рад, что слышу твой голос!

— Я скажу тебе правду, вот и все. Тем хуже, если правда окажется неприятной.

— Не всерьез же ты опасаешься господина де Майена? — сказал король.

— Наоборот, вполне серьезно. Пойми: получив от слуг господина де Майена пятьдесят палочных ударов, я всыпал ему лично целую сотню. Господин де Майен, вероятно, считает, что должен мне еще пятьдесят ударов. Я очень опасаюсь таких должников и не явился бы сюда, если бы господин де Майен не был в Суассоне.

— Отлично, Шико, я беру тебя под свое покровительство и желаю...

— Берегись, Анрике: всякий раз, когда ты говоришь «я желаю», ты готовишься совершить какую-нибудь глупость.

— Я желаю, чтобы ты воскрес и явился открыто, перед всем светом.

— Ну, что я говорил?!

— Я тебя защищу.

— Ладно уж.

— Шико, даю тебе мое королевское слово!

— У меня имеется кое-что получше.

— Что?

— Моя нора, и я в ней останусь.

— Я защищу тебя, слышишь! — с силой вскричал король, вскакивая и выпрямляясь во весь рост возле кровати.

— Генрих,— сказал Шико,— ты простудишься. Умоляю тебя, ложись.

— Ты прав. Но что делать, когда ты выводишь меня из терпения,— сказал король, снова закутываясь в одеяло.— Неужели мне, Генриху Валуа, королю Франции, достаточно для охраны моих швейцарцев, шотландцев, французских гвардейцев и дворян, а господину Шико этого мало, он не считает себя в безопасности!

— Подожди-ка, подожди, как ты сказал? У тебя есть швейцарцы?

— Да, под командованием Токно.

— Хорошо. У тебя есть шотландцы?

— Да, ими командует Ларшан.

— Очень хорошо. У тебя есть французские гвардейцы?

— Под командованием Крийона.

— Замечательно! А дальше?

— Дальше имеется кое-что новенькое, Шико.

— Новенькое?

— Да. Представь себе — сорок пять храбрых дворян.

— Где ты их откопал? Не в Париже, во всяком случае?

— Нет, они только сегодня прибыли в Париж.

— Вот оно что! — сказал Шико, озаренный внезапной догадкой.— Знаю я твоих дворян!

— Вот как!

— Сорок пять оборванцев, которым не хватает только нищенской сумы.

— Отрицать не стану.

— При виде их можно со смеху помереть!

— Шико, среди них есть настоящие молодцы.

— Словом, гасконцы, как генерал-полковник твоей инфантерии.

— И как ты, Шико.

— Ну, Генрих, я дело другое. С тех пор как я покинул Гасконь, я перестал быть гасконцем.

— А они?

— Они наоборот: в Гаскони они гасконцами не были, зато здесь они гасконцы вдвойне.

— Неважно, у меня теперь сорок пять добрых шпаг.

— Под командованием сорок шестой доброй шпаги, именуемой д'Эпернoном?

— Не совсем так.

— Кто же их командир?

— Луаньяк.

— Подумаешь!

— Ты что ж, Луаньяком пренебрегаешь?

— Отнюдь нет, он мой родич в двадцать седьмом колене.

— Ответишь ты мне наконец?

— На что?

— На мой вопрос о Сорока пяти?

— И ты полагаешься на их защиту?

— Да, черт побери! — с раздражением вскричал Генрих.

Шико, или же его тень (мы на этот счет осведомлены не больше короля и потому вынуждены оставить читателя в неизвестности), уселся поглубже в кресло.

— Лично у меня гораздо больше войска,— сказал он.

— Что ж это за войско?

— Сейчас увидишь. Во-первых, у меня есть та армия, которую господа де Гизы формируют в Лотарингии.

— Ты рехнулся?

— Нисколечко. Настоящая армия в количестве не менее шести тысяч человек.

— Но каким же образом ты, который так боится господина де Майена, рассчитываешь, что тебя станут защищать солдаты господина де Гиза?

— Я ведь умер.

— Опять та же шутка!

— Господин де Майен имел зуб против Шико. Поэтому, воспользовавшись своей смертью, я переменил оболочку, имя и общественное положение.

— Значит, ты больше не Шико? — спросил король.

— Нет.

— Кто же ты?

— Я — Робер Брике, бывший торговец и лигист.

— Ты лигист, Шико?

— И самый ярый. Таким образом, меня, Робера Брике, члена святого союза, защищает, во-первых, лотарингская армия — шесть тысяч человек... Хорошенько запоминай цифры!..

— Не беспокойся.

— Затем около ста тысяч парижан.

— Ну и вояки!

— Достаточно хорошие, чтобы наделать тебе неприятностей, мой король... Итак, сто тысяч плюс шесть тысяч, итого — сто шесть тысяч! Затем — парламент, папа, испанцы, кардинал Бурбонский, фламандцы, Генрих Наваррский, герцог Анжуйский...

— Твой список еще не пришел к концу? — с досадой спросил король.

— Да нет же! Остается еще три категории людей, сильно против тебя настроенных.

— Говори.

— Прежде всего католики.

— Ах да. Я ведь истребил только три четверти гугенотов.

— Затем гугеноты, потому что ты на три четверти истребил их.

— Ну разумеется. А третья?

— Что ты скажешь о политиках, Генрих?

— Да, да, о тех, кто не желает ни меня, ни моего брата, ни господина де Гиза.

— Но кто не имеет ничего против твоего наваррского зятя?

— При условии, что он отречется от своей веры.

— Пустяки какие. Это его нисколько не смутит!

— Но помилуй! Люди, о которых ты говоришь...

— Ну?

— Это же вся Франция?

— Вот именно. Я лигист, и это моя армия. Ну-ка подсчитай и сравни.

— Мы шутим, не так ли, Шико? — промолвил Генрих, чувствуя, как его пробирает дрожь.

— По-моему, сейчас не до шуток — ведь ты, бедный Анрике, один против всех.

Лицо Генриха приобрело выражение подлинно царственного достоинства.

— Да, я один,— сказал он,— но я один и повелевая. Ты показал мне целую армию. Отлично! А теперь покажи мне вождя. О, ты, конечно, назовешь господина де Гиза! Но разве ты не видишь, что я держу его в Нанси?.. Господина де Майена? Ты сам сказал, что он в Суассоне... Герцога Анжуйского? Ты знаешь, он в Брюсселе... Короля Наваррского? Он в По... Разумеется, я один, но я у себя, свободен и вижу, откуда идет враг, как охотник, стоящий среди поля, видит дичь, выбегающую или вылетающую из леса.

Шико почесал нос. Король решил, что его друг побежден.

— Что ты на это ответишь? — спросил он.

— А то, что ты, Генрих, как всегда, красноречив.

У тебя остался твой язык; действительно, это не так мало, как я думал; поздравляю. Но в твоих рассуждениях одно слабое место.

— Какое?

— Ты воображаешь себя охотником, подстерегающим дичь, я же полагаю, что ты сам дичь, которую преследует охотник.

— Шико!

— А между тем в Париже кое-кто появился.

— Кто?

— Одна женщина.

— Моя сестрица Марго?

— Нет, герцогиня де Монпансье.

— Даже если это правда, я никогда не боялся женщин.

— Да, опасаться надо только мужчин. Но погоди. Она явилась в качестве гонца, понимаешь? Возвестить о прибытии брата.

— Господина де Гиза?

— Да.

— Передай мне чернила и бумагу.

— Для чего? Написать господину де Гизу повеление не выезжать из Нанси?

— Вот именно. Мысль, видно, правильная, раз она одновременно пришла в голову и тебе и мне.

— Наоборот, никуда не годная.

— Почему?

— Едва получив это повеление, он сразу догадается, что его присутствие в Париже необходимо, и примчится сюда.

Король почувствовал, как в нем закипает гнев. Он косо посмотрел на Шико.

— Если вы возвратились лишь для того, чтобы делать мне подобные замечания, то могли оставаться там, где были.

— Что поделаешь, Генрих, призраки не льстят.

— Значит, ты признаешь, что ты призрак?

— А я этого не отрицал.

— Шико!

— Ну ладно, не сердись: ты и так близорук, а то и совсем ослепнешь... Ты говорил, что держишь брата во Фландрии?

— Да, это правильная политика.

— Теперь слушай и не раздражайся: с какой целью, по-твоему, сидит в Нанси господин де Гиз?

— Он набирает там армию.

— Хорошо, спокойствие... Для чего нужна ему эта армия?

— Ах, Шико, вы утомляете меня этими расспросами!

— Ничего, Генрих, ничего. Зато потом, ручаюсь, ты лучше отдохнешь. Итак, мы говорили, что эта армия ему нужна...

— Для борьбы с гугенотами Севера.

— Или, вернее, чтобы досаждать твоему брату, герцогу Анжуйскому, который добился провозглашения герцогом Брабантским и старается заполучить хоть небольшой престол во Фландрии, для чего беспрестанно требует у тебя помощи.

— Помощь я ему обещаю, но, разумеется, никогда не пошлю.

— К величайшей радости господина де Гиза... Слушай же, Генрих, что я тебе посоветую.

— Что?

— Притворись, что ты действительно намерен послать войска в помощь брату, и пусть они двинутся по направлению к Брюсселю, даже если им суждено пройти лишь полпути.

— Верно;— вскричал Генрих,— понимаю: господин де Гиз тогда ни на шаг не отойдет от границы!

— И обещание, данное нам, лигистам, госпожой де Монпансье, что в конце недели господин де Гиз будет в Париже...

— Обещание это рассеется, как дым.

— Ты сам это сказал, мой повелитель,— сказал Шико, усаживаясь поудобнее.— Ну, как же ты расцениваешь мой совет?

— Он, пожалуй, хорош... только...

— Что еще?

— Пока там, на Севере, эти господа будут заняты друг другом...

— Тебя беспокоит Юг? Ты прав, Генрих,— грозы обычно надвигаются с юга.

— Не обрушится ли на меня за это время мой третий родич? Знаешь, что делает Беарнец?

— Нет, разрази меня гром!

— Он требует...

— Чего?

— Городов, составляющих приданое его супруги.

— Ну и наглец! Мало ему чести породниться с французским королевским домом, он еще позволяет себе требовать то, что ему принадлежит!

— Господин Шико!

— Считай, что я ничего не говорил: в твои семейные дела я не вмешиваюсь.

— Возвратимся же к наиболее срочным делам.

— К Фландрии?

— Я действительно пошлю кого-нибудь во Фландрию, к брату... Но кого? Кому, бог мой, могу я доверить такое важное дело?

— Да, вопрос сложный!

— Отправляйся ты, Шико.

— Как же я отправлюсь во Фландрию, когда я мертв?

— Да ведь ты больше не Шико, ты Робер Брике.

— Ну куда это годится: буржуа, лигист, сторонник господина де Гиза вдруг станет твоим посланцем к герцогу Анжуйскому!

— Ты отказываешь мне в повиновении?

— А разве я обязан тебе повиноваться?

— Не обязан, несчастный?

— Откуда у меня могут быть такие обязательства? То немногое, что я имею, получено по наследству. Я человек бедный и незаметный. Сделай меня герцогом и пэром, преврати в маркизат мою землицу Шикотери, пожалуй мне пятьсот тысяч экю — и тогда поговорим.

Генрих уже намеревался ответить, когда услышал шорох тяжелой бархатной портьеры.

— Господин герцог де Жуаез,— возвестил слуга.

— Вот он, черт побери, твой посланец! — вскричал Шико.

— И правда,— прошептал Генрих,— ни один из моих министров не давал таких хороших советов, как этот дьявол Шико!

— А, наконец-то признаешь это? — сказал Шико.

И он забился поглубже в кресло, так что даже лучший в королевстве моряк, привыкший различать любую точку на горизонте, не увидел бы в королевской спальне ничего подозрительного.

Господин де Жуаез, хоть и был главным адмиралом Франции, тоже ничего не заметил.

При виде своего юного любимца король радостно вскрикнул и протянул ему руку.

— Садись, Жуаез, дитя мое,— сказал он.— Боже мой, как ты поздно пришел!

— Государь, вы очень добры, что изволили это заметить,— ответил Жуаез.

И герцог, подойдя к возвышению, на котором стояла кровать, уселся на одну из вышитых лилиями подушек, разбросанных на ступеньках.

XV. О том, как трудно королю найти хорошего посла

Шико, по-прежнему невидимый, покоился в кресле; Жуаез полулежал на подушках; Генрих уютно завернулся в одеяло. Началась беседа.

— Ну как, Жуаез,— спросил Генрих,— хорошо вы побродили по городу?

— Отлично, государь, благодарю вас,— рассеянно ответил герцог.

— Как быстро вы ушли сегодня с Гревской площади!

— Честно говоря, государь, я не люблю смотреть, как мучаются люди.

— Ты знаешь, что произошло?

— Положа руку на сердце, нет.

— Сальсед отрекся от своих показаний.

— Признаюсь, государь, я был уверен в этом.

— Но ведь он сперва сознался!

— Тем более. Его первые признания заставили Гизов насторожиться. Гизы начали действовать, пока ваше величество пребывали в спокойствии: это было неизбежно.

— Как! Ты все предвидишь и ничего мне не сказал?

— Да ведь я не министр, чтобы говорить о политике.

— Оставим это, Жуаез.

— Государь...

— Мне понадобится твой брат. Я хочу дать ему небольшое поручение.

— Вне Парижа?

— Да.

— В таком случае это невозможно, государь.

— Как так?

— Дю Бушаж не может уехать.

Генрих приподнялся на локте и во все глаза уставился на Жуаеза.

— Что это значит? — спросил он.

Жуаез невозмутимо выдержал недоумевающий взгляд короля.

— Государь,— сказал он,— дю Бушаж влюблен, но бедный мальчик пошел по ложному пути, вот почему он начал худеть, бледнеть...

— И правда,— сказал король,— мне это бросилось в глаза.

До собеседников донеслось какое-то ворчание. Жуаез умолк и с удивлением огляделся по сторонам.

— Не обращай внимания, Анн,— засмеялся Генрих,— это одна из моих собачек заснула в кресле и рычит во сне... Так ты говоришь, друг мой, что бедняга дю Бушаж погрустнел?

— Да, государь, он мрачен, как сама смерть. Похоже, что он встретил женщину, пребывающую в угнетенном состоянии духа. Нет ничего ужаснее таких встреч.

Генрих вздохнул.

— Ты говоришь, что у этой женщины мрачный характер?

— Так по крайней мере утверждает дю Бушаж. Я ее не знаю.

— Бедняга! — сказал король.

— Вы понимаете, государь,— продолжал Жуаез,— что едва он сделал мне это признание, как я начал его лечить.

— И что же?..

— Курс лечения начат.

— Он уже не так влюблен?

— Не в том дело, государь, но у него появилась надежда внушить любовь. Итак, начиная с сегодняшнего дня, он, вместо того чтобы вздыхать на манер своей дамы, постарается развеселить ее. Я послал к его возлюбленной тридцать итальянских музыкантов, которые устроят под ее балконом целый концерт.

— Фи! — сказал король.— Что за пошлая затея!

— Как это — пошлая? Тридцать музыкантов, равных которым нет в мире!

— И ты рассчитываешь, что от музыки ледяное сердце красавицы растает?

— Разумеется, рассчитываю.

Король покачал головой.

— Конечно, я не говорю,— продолжал Жуаез,— что при первом же взмахе смычка дама устремится в объятия дю Бушажа. Но она будет поражена тем, что ради нее устроен весь этот шум. Мало-помалу она освоится с концертами. А если они не придутся ей по вкусу, мы пустим в ход актеров, фокусников, чародеев, прогулки верхом — словом, всевозможные забавы; пусть даже веселье не вернется к этой скорбной красавице, зато оно вернется к самому дю Бушажу.

— Желаю ему этого от всего сердца,— сказал Генрих,— но оставим дю Бушажа. Не обязательно, чтобы именно он выполнил мое поручение. Надеюсь, что ты, дающий такие превосходные советы, не стал рабом какой-нибудь благородной страсти?

— Я? — вскричал Жуаез.— Да за всю свою жизнь я не был так свободен, как сейчас! И вот что я придумал, государь! Каждый день я буду являться сюда в носилках. Пока ваше величество будет молиться, я стану просматривать книги по алхимии или, лучше, по морскому делу — ведь я моряк. Заведу себе собачек, чтобы они играли с вашими. Потом мы будем есть крем и слушать рассказы господина д'Эпернона. Но все это не двигаясь с места, государь: хорошо чувствуешь себя только в сидячем положении, а еще лучше — в лежачем... Какая здесь мягкая подушка, государь! Видно, ваши обойщики работали для короля, который изволит скучать.

— Фи, как это противно, Анн,— сказал король.

— Почему противно?

— Мужчина в твоем возрасте, с твоим положением — и вдруг хочет стать ленивым и толстым! Подожди, я найду тебе подходящее занятие.

— Если оно будет скучным, я согласен.

Опять послышалось ворчание. Можно было подумать, что слова, произнесенные Жуаезом, рассмешили лежащую в кресле собаку.

— Вот умный пес,— сказал Генрих.— Он догадывается, какую деятельность я для тебя придумал.

— Что же это, государь? Горю нетерпением узнать.

— Ты наденешь сапоги.

Жуаез в ужасе отшатнулся.

— Не требуйте от меня этого, государь!

— Сядешь на коня.

Жуаез подскочил.

— Верхом? Нет, нет, я теперь не признаю ничего, кроме носилок. Разве ваше величество не слыхали?

— Кроме шуток, Жуаез, ты меня понял? Ты наденешь сапоги и сядешь на коня.

— Нет, государь,— возразил герцог самым серьезным тоном,— это невозможно.

— А почему невозможно? — гневно спросил Генрих.

— Потому... потому что... я адмирал.

— Ну и что же?

— Адмиралы верхом не ездят.

— Вот оно что! — сказал Генрих.

Жуаез кивнул головой, как дети, которые упрямятся, но слишком робки, чтобы совсем не отвечать.

— Отлично, господин адмирал, верхом вы не поедете. Вы правы: моряку не пристало ездить на коне. Зато моряку весьма пристало плыть на корабле или на галере. Поэтому вы немедленно отправитесь в Руан по реке. В Руане, где стоит ваша флагманская галера, вы тотчас же взойдете на нее и отплывете в Антверпен.

— В Антверпен! — возопил Жуаез в таком отчаянии, словно получил приказ плыть в Кантон или в Вальпарайсо.

— Кажется, я уже сказал,— произнес король ледяным, не допускающим возражения тоном.— Сказал и повторять не желаю.

Не пытаясь возражать, Жуаез застегнул плащ, надел шпагу и взял со стула свою бархатную шапочку.

— И трудно же добиться от людей повиновения, черт побери! — продолжал ворчать Генрих.— Если я сам иногда забываю, что я господин, все, кроме меня, должны были бы помнить об этом.

Жуаез холодно поклонился, положив, согласно уставу, руку на рукоять шпаги.

— Каковы будут ваши повеления, государь? — произнес он голосом столь покорным, что сердце короля размякло, как воск.

— Ты отправишься в Руан,— сказал он,— и отплывешь оттуда в Антверпен, если не желаешь проехать сушей в Брюссель.

Генрих ждал ответа. Но Жуаез ограничился поклоном.

— Может быть, ты предпочитаешь ехать сухим путем?

— У меня не может быть предпочтений, когда надо выполнить приказ, государь,— ответил Жуаез.

— Ну хорошо, дуйся, дуйся!.. Вот ужасный характер! — вскричал король.— Увы, у государей нет друзей...

— Кто отдает приказания, может рассчитывать только на слуг,— торжественно заявил Жуаез.

— Так вот, милостивый государь,— возразил оскорбленный король,— вы отправитесь в Руан, сядете на свою галеру, возьмете гарнизоны Кодебека, Арфлера и Дьеппа, которые я заменю другими частями, погрузите их на шесть кораблей и по прибытии на место отдадите в распоряжение моего брата, ожидающего от меня обещанной помощи.

— Пожалуйте письменные полномочия, государь,— сказал Жуаез.

— А с каких это пор,— ответил король,— вы перестали действовать согласно своей адмиральской власти?

— Я имею лишь одно право — повиноваться, государь, и стараюсь, насколько возможно, избегать ответственности.

— Хорошо, господин герцог, письменные полномочия вы получите у себя дома перед отъездом.

— Когда именно, государь?

— Через час.

Жуаез почтительно поклонился и направился к двери.

Сердце короля чуть не разорвалось от огорчения.

— Как! — сказал он.— Вы не сочли даже нужным проститься! Вы не слишком вежливы, господин адмирал.

— Соблаговолите извинить меня, государь,— пробормотал Жуаез,— но я еще худший придворный, чем моряк! Насколько я понимаю, вы сожалеете, ваше величество, обо всем, что изволили для меня сделать.

И он вышел, с силой хлопнув дверью.

— Вот как относятся ко мне те, для кого я столько сделал! — вскричал король.— Ах, Жуаез, неблагодарный Жуаез!

— Может быть, ты позовешь его обратно? — спросил Шико, подходя к кровати.— В кои веки проявил силу воли и уже раскаиваешься!

— Ты очень мило рассуждаешь! — ответил король.— Неужели, по-твоему, приятно выйти в море осенью, в ветер и дождь? Интересно, что бы ты сделал на его месте, черствый человек?

— Это зависит от тебя одного, великий король!

— Значит, если бы я послал тебя куда-нибудь, как Жуаеза, ты бы согласился?

— Не только согласился бы, но я прошу тебя, умоляю тебя послать меня куда-нибудь.

— Ты бы поехал в Наварру?

— Да хоть к черту на рога, великий король!

— Ты что, потешаешься надо мной, шут?

— Государь, если при жизни я был не слишком весел, то, клянусь вам, после смерти стал еще грустнее.

— Но ведь только что ты отказался уехать из Парижа.

— Милостивый мой повелитель, я был неправ, решительно неправ и раскаиваюсь в этом.

— Ничего не понимаю,— сказал король.

— Я, Генрих, человек осторожный, у которого с господином Майеном игра не кончена и счеты не сведены. Если он меня разыщет в Париже, то пожелает начать все сызнова. Славный господин де Майен — игрок преотчаянный!

— Так что же?

— Он сделает ловкий ход, и меня пырнут ножом.

— Ну, я Шико знаю: он в долгу не останется.

— Ты прав, я его так пырну, что он подохнет.

— Тем лучше: игра окончится.

— Тем хуже, черт побери, тем хуже! Семейка его поднимет ужасающий шум, на тебя напустится вся лига, и в одно прекрасное утро ты мне скажешь: «Шико, друг мой, извини, но я вынужден тебя колесовать».

— Я так скажу?

— Не только скажешь, но, хуже того, сделаешь, великий король. Я же предпочитаю, чтобы дело обернулось иначе, понимаешь? Поэтому я поеду в Наварру, если тебе благоугодно меня послать.

— Разумеется, мне благоугодно.

— Жду приказаний, всемилостивейший повелитель.

И Шико, приняв ту же позу, что Жуаез, застыл в ожидании.

— Но ты даже не знаешь, придется ли поручение тебе по вкусу,— сказал король.

— Раз я прошу, чтобы ты мне его дал...

— Видишь ли, Шико,— сказал Генрих,— я намерен поссорить Марго с ее мужем.

— Разделять, чтобы властвовать? — переспросил Шико.— Делай как знаешь, великий государь. Я посол, только и всего. Лишь бы личность моя была неприкосновенна... Вот на этом, сам понимаешь, я настаиваю.

— Но в конце-то концов,— сказал Генрих,— надо же тебе знать, что говорить моему зятю?

— Я? Говорить? Нет, нет и нет!

— Как так нет, нет и нет?

— Я поеду, куда ты пожелаешь, но говорить ничего не стану.

— Значит, ты отказываешься?

— Говорить я отказываюсь, но письмо возьму. Кто передает поручение на словах, всегда несет большую ответственность. С того, кто вручает письмо, меньше спрашивают.

— Хорошо, я дам тебе письмо. Это вполне соответствует моему замыслу.

— Как все замечательно получается! Давай же мне письмо.

И Шико протянул руку.

— Не воображай, пожалуйста, что такое письмо можно написать в один миг. Его надо сочинить, обдумать, взвесить!

— Отлично: взвешивай, обдумывай, сочиняй. Завтра рано утром я заеду за ним или пришлю кого-нибудь.

— А почему бы тебе не провести здесь ночь?

— Здесь?

— Да, в своем кресле.

— Ну нет! С этим покончено. В Лувре я больше не ночую. Привидение — и вдруг спит в кресле. Это же чистейшая нелепость!

— Но ведь должен же ты знать мои намерения в отношении Марго и ее мужа! — вскричал король.— Ты гасконец. При Наваррском дворе мое письмо наделает шуму. Тебя станут расспрашивать — надо, чтобы ты мог отвечать. Черт побери! Ты же будешь моим послом. Я не хочу, чтоб у тебя был глупый вид.

— Боже мой,— произнес Шико, пожимая плечами,—

до чего ты несообразителен, великий король! Как! Ты воображаешь, что я повезу какое-то письмо за двести пятьдесят лье, не зная, что в нем написано? Будь спокоен, черт возьми! За первым углом, под первым же деревом я вскрою твое письмо. Лет десять ты шлешь послов во все концы света и совсем их не знаешь. Отдохни душой и телом, а я возвращаюсь в свое убежище.

— А где твое убежище?

— На кладбище невинных мучеников, великий государь.

Генрих взглянул на Шико с удивлением, не покидавшим его в течение двух часов, что они беседовали.

— Ты этого не ожидал, правда? — сказал Шико, беря свой плащ и шляпу.— Вот что значит вступить в сношения с существом из загробного мира! Договорились: завтра жди меня самого или моего посланца.

— Но надо, чтобы у твоего посланца был какой-нибудь пароль.

— Отлично: если я сам приду, все будет в порядке, если придет мой посланец, то от имени Тени.

И с этими словами он исчез так незаметно, что суеверный Генрих остался в недоумении: а может быть, и вправду не живой человек, а бесплотная тень выскользнула за дверь опочивальни?

XVI. Как и по каким причинам умер Шико

Да не посетуют на нас те из читателей, которые по своей склонности к чудесному поверили бы, что мы возымели дерзость ввести в это повествование призрак,— Шико был поистине существом из плоти и крови. Высказав под видом насмешек и шуток всю ту правду, которую ему хотелось довести до сведения короля, он покинул дворец.

Вот как сложилась его судьба.

Храбрый и беспечный, он тем не менее весьма дорожил жизнью, которая забавляла его, как забавляет она все избранные натуры. В этом мире одни дураки скучают и ждут развлечений на том свете.

Однако после забавы, о которой нами было упомянуто,

он решил, что покровительство короля вряд ли спасет от мщения со стороны господина де Майена. Со свойственным ему философическим практицизмом он полагал, что, если уж в этом мире что-то свершилось, возврата к прежнему быть не может, а потому никакие трибуналы короля Франции не зачинят ничтожнейшей прорехи, сделанной в его куртке кинжалом господина де Майена.

Итак, Шико принял решение, как человек, которому к тому же надоела роль шута, ибо он стремится играть вполне серьезную роль, надоело то фамильярное обращение короля, грозившее по тем временам верной гибелью.

Он начал с того, что постарался, насколько возможно, увеличить расстояние между своей шкурой и шпагой господина де Майена и отправился в Бон с тройной целью: покинуть Париж, обнять своего друга Горанфло и попробовать прославленного вина разлива 1550 года.

Осушив несколько сот бутылок этого вина и поглотив двадцать два тома, составлявших монастырскую библиотеку, откуда приор и почерпнул латинское изречение: «Bonum vinum laetificat cor homini»[1], Шико почувствовал великую тяжесть на желудке и великую пустоту в голове.

«Можно, конечно, постричься в монахи,— подумал он.— Ряса навсегда скроет меня от глаз господина де Майена, но, клянусь всеми чертями, есть же, кроме этого способа, и другие. Поразмыслим. В некоей латинской книжке — правда, не из библиотеки Горанфло — я прочитал: «Quaere et invenies»[2].

Шико стал размышлять, и вот что пришло ему на ум.

Для того времени мысль эта была довольно новая.

Он доверился Горанфло и попросил его написать королю; письмо продиктовал он сам.

Горанфло, хоть это и далось ему нелегко, написал, что Шико нашел приют у него в монастыре, что, вынужденный расстаться со своим повелителем, когда тот помирился с господином де Майеном, он с горя захворал, попытался бороться с болезнью, но горе оказалось сильнее и в конце концов несчастный скончался.

Со своей стороны и Шико послал королю письмо.

---

[1] Доброе вино веселит сердце человека *(лат.)*.

[2] Ищите и обрящете *(лат.)*.

Письмо это, датированное 1580 годом, было разделено на пять абзацев.

Предполагалось, что между первым и последним абзацем протекло по меньшей мере пять дней и что каждый из них свидетельствовал о дальнейшем развитии болезни.

Первый был начертан и подписан рукою довольно твердой.

Во втором почерк был неуверенный и подпись неразборчива.

Под третьим стояло «Шик»...

Под четвертым — «Ши»...

И, наконец, под пятым — «Ш» и клякса.

Эта клякса, поставленная умирающим, произвела на короля самое тягостное впечатление.

В ответ на послание Горанфло и на прощальные строки Шико король собственноручно написал:

Господин настоятель, поручаю вам совершить в каком-нибудь святом и поэтическом месте погребение бедного Шико, о котором я скорблю всей душой, ибо он был не только преданным моим другом, но и дворянином довольно хорошего происхождения, хотя и не ведал своей родословной дальше прапрадеда.

На могиле его вы посадите цветы и выберете для нее солнечный уголок: будучи южанином, он очень любил солнце. Что касается вас, чью скорбь я разделяю всей душой, то вы покинете Бонскую обитель. Мне слишком нужны здесь, в Париже, преданные люди и добрые клирики, чтобы я держал вас в отдалении. Поэтому я назначаю вас приором аббатства Святого Иакова, расположенного в Париже у Сент-Антуанских ворот: наш бедный друг очень любил этот квартал.

Благосклонно расположенный к вам Генрих — с просьбой не забывать его в ваших святых молитвах.

Легко представить себе, как расширились от изумления глаза приора при получении этого послания, целиком написанного королевской рукой, как восхитился он изобретательностью Шико и как стремительно бросился навстречу ожидающим его почестям.

Все свершилось согласно желанию короля, как и Шико.

Вязанка терновника, аллегорически представлявшая тело умершего, была погребена в некоем солнечном уголке, среди цветов, под пышной виноградной лозой. Затем символически погребенный Шико помог Горанфло перебраться в Париж.

Дон Модест Горанфло с великой пышностью водворился в монастыре Святого Иакова.

Шико *под покровом ночи пробрался в Париж.*

У ворот Бюсси он за триста экю приобрел домик. Когда ему хотелось проведать Горанфло, он пользовался одной из трех дорог: самой короткой — через город, самой поэтической — по берегу реки и, наконец, той, что шла вдоль крепостных стен Парижа и была наиболее безопасной.

Но мечтатель Шико почти всегда выбирал прибрежную дорогу. В то время Сена еще не была закована в камень, волны, как говорит поэт, лобзали ее пологие берега, и жители Ситэ не раз могли видеть при лунном свете высокий силуэт Шико.

Устроившись на новом месте и переменив имя, Шико позаботился также об изменении внешности. Звался он, как мы уже знаем, Робером Брике и при ходьбе стал горбиться. Вдобавок прошло лет пять-шесть, для него довольно тревожных, и он почти облысел, так что его прежняя черная курчавая шевелюра отступила, словно море во время отлива, от лба к затылку.

Ко всему этому, как мы уже говорили, он изощрился в свойственном древним мимам искусстве изменять выражение лица.

Вот почему Шико даже при ярком свете становился, если ему не лень было потрудиться, настоящим Робером Брике, то есть человеком, у которого рот растянут до ушей, нос доходит до подбородка, а глаза ужасающим образом косят.

Кроме того, он прибегал еще к одной предосторожности — ни с кем не завязывал близкого знакомства.

Итак, Робер Брике зажил отшельником, и такая жизнь пришлась ему по вкусу. Единственным его развлечением было ходить в гости к Горанфло и попивать с ним вдвоем знаменитое вино 1550 года, которое достойный приор позаботился вывезти из бонских погребов.

Однако переменам подвержены не только выдающиеся личности, но и существа заурядные: изменился также Горанфло, хотя и не физически.

Он понял, что человек, раньше управлявший его судьбами, зависит теперь от того, насколько ему, Горанфло, заблагорассудится держать язык за зубами.

Шико, приходивший обедать в аббатство, показался ему пешкой, и с этой минуты Горанфло возымел чрезмерно высокое мнение о себе и недостаточно высокое о Шико.

Шико не оскорбился этой переменой в приятеле. Король Генрих приучил его ко всему, и Шико приобрел философический взгляд на вещи.

Он стал внимательно следить за своим поведением — вот и все.

Вместо того чтобы появляться в аббатстве каждые два дня, он стал приходить сперва раз в неделю, потом раз в две недели и, наконец, раз в месяц.

Горанфло был так полон собой, что этого даже не заметил.

Шико потихоньку смеялся над неблагодарностью Горанфло и, по своему обыкновению, чесал себе нос и подбородок.

«Вода и время,— думал он,— две могущественнейшие силы: одна точит камень, другая подтачивает самолюбие. Подождем».

И он стал ждать.

Пока длилось это ожидание, произошли рассказанные нами события, в которых он усмотрел предвестие великих политических бурь.

Генриху III, которого он продолжал любить, даже будучи покойником, грозили, по его мнению, новые опасности. Он решил явиться к королю в виде призрака и предостеречь его от грядущих бед...

Теперь, когда все, что в нашем повествовании могло показаться непонятным, разъяснилось, мы, если читатель не возражает, присоединимся к Шико, выходящему из Лувра, и последуем за ним до его домика у перекрестка Бюсси.

XVII. Серенада

От Лувра до перекрестка Бюсси было недалеко. Шико спустился на бугор и сел в ожидавшую его лодочку, в которой он был единственным рулевым и гребцом. «Как

странно...— думал он, работая веслом и глядя на окно королевской спальни, где, несмотря на поздний час, еще горел свет.— Как странно, столько прошло лет, а Генрих не изменился: на лице у него и на сердце появилось несколько новых морщин — и только... Тот же ум, неустойчивый и благородный, своенравный и поэтический; та же себялюбивая душа, вечно требующая больше, чем ей могут дать. И при всем этом — несчастный, страждущий король, самый печальный человек в своем королевстве. Поистине никто лучше меня не познал это странное смешение развращенности и раскаяния, безбожия и суеверия, как никто лучше не изучил Лувр с его коридорами, где прошло столько королевских любимцев на пути к могиле, изгнанию или забвению, и никто, кроме меня, не умеет играть этой короной без всякой опасности для себя».

У Шико вырвался вздох, скорее философический, чем грустный, и он сильнее налег на весла.

«Между прочим, король даже не упомянул о деньгах на дорогу,— подумал он,— такое доверие делает мне честь, ибо доказывает, что он по-прежнему считает меня другом».

И Шико, по своему обыкновению, тихонько засмеялся. Потом он в последний раз взмахнул веслами, и лодка врезалась в песчаный берег.

Шико привязал лодку ему одному известным способом, что в те патриархальные (по сравнению с нашими) времена обеспечивало ее сохранность, и направился к своему дому, расположенному на расстоянии двух мушкетных выстрелов от реки.

Свернув на улицу Августинцев, он с крайним изумлением услышал звуки инструментов и голоса певцов.

«Свадьба здесь, что ли? — подумал он.— Черт возьми! Мне осталось каких-нибудь пять часов сна, а теперь всю ночь глаз не сомкнешь!»

Подойдя ближе, он увидел отблески пламени в окнах редких домов своей улицы: то пылали факелы в руках пажей и лакеев, тогда как двадцать четыре музыканта под управлением исступленно жестикулирующего итальянца с каким-то неистовством играли на виолах, псалтерионах, цитрах, трехструнных скрипках, трубах и барабанах.

Вся эта армия нарушителей тишины расположилась в отменном порядке перед домом, в котором Шико не без удивления узнал свое собственное жилище.

С минуту он недоуменно глядел на выстроившихся музыкантов и слушал весь этот грохот.

Затем, хлопнув себя по ляжкам, Шико вскричал:

— Здесь явно какая-то ошибка! Не может быть, чтобы такой шум подняли ради меня.

Подойдя ближе, он смешался с любопытными и, внимательно осмотревшись, убедился, что никто из музыкантов и факелоносцев не занимался ни домом напротив, ни соседними домами.

«Может быть, в меня влюбилась какая-нибудь принцесса?» — подумал Шико.

Однако предположение это, сколь лестным оно ни было, видимо, не показалось ему убедительным.

Он повернулся к дому, стоявшему напротив. В окнах третьего этажа, не имевших ставен, порою отражались отсветы пламени, но оттуда не выглядывало ни одно человеческое лицо.

— Ну и крепко же спят там, черт побери! — прошептал Шико.— От такой вакханалии пробудился бы даже мертвец!

Между тем оркестр продолжал играть свои «симфонии», словно он исполнял их перед собранием королей и императоров.

— Простите, друг мой,— обратился наконец Шико к одному из факельщиков,— не могли бы вы мне сказать, для кого предназначена вся эта музыка?

— Вон для этого буржуа,— ответил слуга, указывая на дом Робера Брике.

«Для меня,— подумал опять Шико,— действительно для меня».

Он пробрался сквозь толпу, чтобы прочесть разгадку по гербу, изображенному на рукавах и груди пажей. Однако все они были одеты в какие-то серые балахоны.

— Чей вы, друг мой? — спросил Шико у одного тамбуринщика.

— Того буржуа, который тут живет,— ответил тамбуринщик, указывая своей палочкой на жилище Робера Брике.

«Ого,— сказал про себя Шико,— они не только для меня играют, они даже мне принадлежат. Чем дальше, тем лучше».

Изобразив на лице свою самую сложную гримасу, Шико принялся расталкивать пажей, лакеев и музыкантов, дабы пробраться к двери своего дома, что ему удалось не без труда. Хорошо видимый при ярком свете факелов, он вынул из кармана ключ, открыл дверь, вошел, закрыл за собою дверь и запер ее на засов.

Затем он вынес на балкон стул с кожаным сиденьем, устроился поудобнее и сделал вид, что не замечает смеха, встретившего его появление.

— Господа, вы не ошиблись, ваши трели, каденции и рулады в самом деле предназначены мне? — спросил он.

— Вы метр Робер Брике? — обратился к нему дирижер оркестра.

— Я, собственной персоной.

— В таком случае, мы в вашем распоряжении, сударь,— ответил итальянец и поднял свою палочку, что вызвало новый шквал мелодий.

«Решительно ничего не понимаю»,— подумал Шико, пытливо разглядывая толпу и соседние дома. Их обитатели стояли у окон, на пороге или же высыпали на улицу.

Окна и двери «Меча гордого рыцаря» были заняты метром Фурнишоном, его женой, а также чадами и домочадцами Сорока пяти.

Лишь дом напротив был сумрачен и нем, как могила.

Шико все еще искал решения этой таинственной загадки, как вдруг ему почудилось, что под навесом своего дома он видит человека, закутанного в темный плащ, в черной шляпе с красным пером, с длинной шпагой на боку; человек этот, думая, что никто его не замечает, пожирал глазами дом напротив.

Время от времени дирижер покидал свой пост, подходил к этому человеку и тихонько переговаривался с ним.

Шико сразу догадался, что тут-то и заключена разгадка происходящего и что под этой черной шляпой скрыто лицо знатного человека.

Внезапно на углу улицы показался всадник в сопровождении двух верховых слуг, которые принялись энергично разгонять ударами хлыста любопытных, обступивших оркестр.

— Господин де Жуаез! — прошептал Шико, узнавший

во всаднике главного адмирала Франции, которому по приказу короля пришлось обуться в сапоги со шпорами.

Любопытные разбежались, оркестр смолк.

Всадник подъехал к дворянину, прятавшемуся под навесом.

— Ну как, Анри,— спросил он,— что нового?

— Ничего, брат, ничего.

— Она не появлялась?

— Ни она, ни кто-либо из жильцов того дома.

— А ведь задумано было очень тонко,— сказал уязвленный Жуаез.— Она могла, нисколько себя не компрометируя, поступить, как все эти люди, и послушать музыку, игравшую для ее соседа.

Анри покачал головой.

— Сразу видно, что ты не знаешь ее, брат.

— Знаю, отлично знаю. То есть я вообще знаю женщин, и, так как она входит в их число, отчаиваться нечего. Надо только, чтобы этот буржуа каждый вечер получал серенаду.

— Тогда она переберется в другое место!

— Почему, если ты все время будешь оставаться в тени? А буржуа что-нибудь говорил по поводу оказанной ему любезности?

— Он обратился с расспросами к оркестру. Да вот, слышишь, брат, он опять начинает говорить.

И действительно, Брике, решив во что бы то ни стало выяснить, в чем дело, снова обратился к дирижеру.

— Замолчите вы там, наверху! — раздраженно крикнул Анри.— Серенаду вы, черт возьми, получили — говорить больше не о чем, сидите спокойно.

— Я бы все-таки хотел знать, кому предназначалась эта серенада? — ответил Шико с самым любопытным видом.

— Вашей дочери, болван.

— Простите, сударь, но дочери у меня нет.

— Значит, жене.

— Я, слава тебе господи, не женат!

— Тогда лично вам, и если вы не зайдете обратно в дом...

И Жуаез, переходя от слов к делу, направил своего коня прямо к балкону Шико.

— Оставь ты беднягу, брат,— сказал дю Бушаж.— Вполне естественно, что все это показалось ему странным.

— Нечему тут удивляться, черт побери! Вдобавок, учинив потасовку, мы привлечем кого-нибудь к окнам того дома. Давай поколотим буржуа, подожжем его жилище, но будем действовать!

— Молю тебя, брат,— произнес Анри,— не надо привлекать внимание этой женщины. Мы побеждены и должны покориться.

Брике не упустил ни одного слова из этого разговора, который ярким светом озарил его еще смутные догадки. Зная нрав того, кто на него разгневался, он мысленно подготовился к обороне.

Но Жуаез не стал настаивать на своем. Он отпустил пажей, слуг, музыкантов и маэстро.

Затем, отведя брата в сторону, сказал:

— Я просто в отчаянии. Все против нас.

— Что ты хочешь сказать?

— У меня нет времени помочь тебе.

— Да, вижу, ты в дорожном платье, сперва я этого не заметил.

— Сегодня ночью я уезжаю в Антверпен по поручению короля.

— Боже мой!

— Поедем вместе, умоляю тебя.

— Ты велишь мне ехать, брат? — спросил он, бледнея.

— Я только прошу, дю Бушаж.

— Спасибо, брат.

Жуаез пожал плечами.

— Пожимай плечами сколько хочешь, Жуаез. Но пойми: если бы у меня отняли возможность проводить ночи на этой улице, если бы я не мог смотреть на это окно...

— Ну?

— Я бы умер.

— Безумец!

— Пойми, брат: там мое сердце,— сказал Анри, протягивая руку к дому,— там моя жизнь. Как ты можешь требовать, чтобы я остался в живых, когда вырываешь из груди моей сердце!

Герцог, покусывая свой тонкий ус, скрестил руки на груди с гневом, к которому примешивалась жалость. Подумав немного, он сказал:

— А если отец попросит тебя, Анри, принять Мирона — он не просто врач, он мыслитель...

— Я отвечу отцу, что вовсе не болен, что голова у меня в порядке, что Мирон не излечивает от любви.

— Остается принять твою точку зрения. Но зачем я, в сущности, тревожусь? Эта дама — всего-навсего женщина, ты настойчив. Когда я возвращусь, ты уже будешь напевать радостнее и веселее, чем когда-либо!

— Да, да, милый брат,— ответил юноша, пожимая ему руки.— Я излечусь, буду счастлив, весел. Спасибо тебе за дружбу, спасибо! Это мое лучшее сокровище.

Несмотря на свое кажущееся легкомыслие, Жуаез был глубоко тронут.

— Пойдем,— сказал он.

Факелы погасли, музыканты взвалили на спину инструменты, пажи двинулись в путь.

— Ступай, ступай, я следую за тобой,— сказал дю Бушаж: ему жаль было расставаться с этой улицей.

— Понимаю,— сказал Жуаез,— последнее прости окну. Ну так простись и со мной, Анри!

Анри обхватил брата за шею, нагнувшегося, чтобы поцеловать его.

— Нет,— возразил он,— я провожу тебя до городских ворот.

Анн подъехал к музыкантам и слугам, которые остановились шагах в ста от них.

— Вы нам больше не нужны,— сказал он.— Ждите новых приказаний.

Болтовня музыкантов и смех пажей замерли в отдалении. Замерли и последние жалобные звуки, исторгнутые у лютен и виол рукой, случайно задевшей струны.

Анри бросил последний взгляд на дом и, медленно, беспрестанно оборачиваясь, последовал за братом, который ехал, предшествуемый двумя слугами.

Увидев, что оба молодых человека и музыканты удалились, Робер Брике решил, что если эта сцена должна иметь развязку, развязка эта скоро наступит.

Поэтому он шумно ушел с балкона и закрыл окно.

Несколько любопытных еще оставались на улицах. Но минут через десять разошлись и они.

За это время Робер Брике успел вылезти на крышу своего жилища, обнесенную на фламандский манер зубчатой оградой, и, спрятавшись за одним из этих зубцов, вперил взор в окна противоположного дома.

Как только прекратился шум, затихли инструменты, голоса, шаги и все вошло в обычную колею, одно из верхних окон этого странного дома отворилось, и чья-то голова осторожно высунулась наружу.

— Никого больше нет,— прошептал мужской голос,— опасность миновала. Верно, какая-нибудь мистификация по адресу нашего соседа. Можете выйти из своего укрытия, сударыня, и вернуться к себе.

Говоривший закрыл окно, выбил из кремня искру, зажег лампу и кому-то протянул ее.

Шико изо всех сил напряг зрение. Но, увидев бледное, благородное лицо женщины, принявшей лампу, и уловив ласковые, грустные взгляды, которыми обменялись слуга и госпожа, он побледнел и ледяная дрожь пробежала по его телу.

Молодая женщина — ей было не больше двадцати четырех лет — спустилась по лестнице в сопровождении слуги.

— Граф дю Бушаж, смелый, красивый юноша, влюбленный безумец, передай же свой девиз брату! — прошептал Шико, проводя рукой по лбу, словно для того, чтобы отогнать какое-то страшное видение.— Ты никогда больше не произнесешь слова «hilariter», хотя и обещал стать радостным, веселым, петь песни.

Шико вернулся к себе с омраченным челом и сел в темном углу спальни, поддавшись наваждению скорби, которая исходила от соседнего дома; можно было подумать, что он вспомнил нечто ужасное, погрузился в какую-то кровавую бездну.

XVIII. Казна Шико

Шико провел ночь, грезя в кресле.

Он именно грезил, ибо осаждали его не столько мысли, сколько видения.

Он жил в мире, оставленном далеко позади и населенном тенями знаменитых людей и прелестных женщин. Как бы озаренные взором бледной обитательницы таинственного дома, проходили они одна за другой — и за ними тянулась цепь воспоминаний, радостных или ужасных.

Возвращаясь из Лувра, Шико сетовал, что ему

не придется уснуть, но теперь он даже и не подумал лечь.

Когда же рассвет заглянул к нему в окно, он мысленно произнес:

«Время призраков миновало — пора подумать о живых».

Он встал, опоясался своей длинной шпагой, набросил на плечи темно-красный плащ из плотной шерстяной ткани и со стоической твердостью мудреца обследовал свою казну и подошвы своих башмаков.

Последние показались Шико вполне пригодными для путешествия. Что касается казны, то ей следовало уделить особое внимание.

Поэтому мы сделаем небольшое отступление и расскажем читателю о казне Шико.

Человек, как известно, весьма изобретательный, Шико выдолбил часть главной балки, проходившей через весь его дом: она содействовала и украшению жилища, ибо была пестро раскрашена, и его прочности, ибо имела не менее восемнадцати дюймов в диаметре.

Устроив в этой балке тайник в полтора фута длиной и шириной в шесть дюймов, он сложил туда свою казну — тысячу экю золотом.

Вот какой расчет произвел при этом Шико.

«Я трачу ежедневно,— сказал он себе,— двадцатую часть одного экю: значит, денег мне хватит на двадцать тысяч дней. Надо, однако, учесть, что к старости расходы увеличиваются, ибо недостаток жизненных сил приходится восполнять жизненными удобствами. В общем, здесь на двадцать пять — тридцать лет жизни, этого, слава богу, вполне достаточно!»

Произведя вместе с Шико этот расчет, мы убедимся, что он был одним из состоятельнейших рантье города Парижа. Уверенность в будущем наполняла его некоторой гордостью.

Шико вовсе не был скуп и долгое время даже отличался мотовством, но к нищете он испытывал отвращение, ибо знал, что она свинцовой тяжестью давит на плечи и сгибает даже самых сильных.

И потому, заглянув в это утро в свое казнохранилище, он подумал:

«Клянусь честью, время сейчас суровое и не располагает к щедрости! С Генрихом мне стесняться не приходится. Даже эта тысяча экю досталась мне не от него, а от дядюшки, обещавшего оставить мне в шесть раз больше. Если бы сейчас была еще ночь, я пошел бы к королю и взял у него сотню золотых монет. Но уже рассвело, и я вынужден рассчитывать только на себя... и на Горанфло».

При мысли о том, что деньги нужно выудить у Горанфло, достойный друг приора улыбнулся.

«Это не сделало бы чести метру Горанфло, обязанному мне своим благополучием,— продолжал свои размышления Шико,— если бы он отказал в золоте приятелю, уезжающему по делам короля. Правда, Горанфло изменился. Зато Робер Брике — по-прежнему Шико. Однако я еще под покровом ночи должен был явиться к королю за письмом, знаменитым письмом, которое должно зажечь пожар при Наваррском дворе. А сейчас уже светло. Но я придумал, как получить его. Итак, вперед!»

Шико заложил тайник доской, прибил ее четырьмя гвоздями, закрыл плитой и сверху засыпал все пылью. Уже собираясь уходить, он еще раз оглядел комнату, в которой прожил много счастливых дней.

Затем он окинул взглядом дом напротив.

«Впрочем,— подумал он,— эти черти Жуаезы способны в одну прекрасную ночь поджечь мой особнячок, чтобы хоть на мгновение привлечь к окну незримую даму... Эге! Но если они сожгут дом, то моя тысяча экю превратится в золотой слиток! Благоразумнее всего было бы зарыть деньги в землю. Да не стоит: если Жуаезы сожгут мой дом, король возместит мне убытки».

Шико запер входную дверь и тут заметил слугу неизвестной дамы, который сидел у окна, полагая, по-видимому, что так рано утром никто его не увидит.

Как мы уже говорили, человек этот был совершенно изуродован раной, нанесенной ему в левый висок, причем шрам захватил даже часть щеки.

Кроме того, одна бровь, сместившаяся благодаря силе удара, почти совсем скрывала левый глаз, ушедший глубоко в орбиту.

Но — странная вещь! — при облысевшем лбе и седеющей бороде у него был очень живой взгляд, а другая щека, неповрежденная, казалась юношески гладкой.

При виде Робера Брике, спускавшегося со ступенек крыльца, он прикрыл голову капюшоном.

— Сосед! — крикнул Шико.— Из-за вчерашнего шума дом мне опостылел. Я на несколько недель еду в свое поместье. Не будете ли вы так любезны время от времени поглядывать в эту сторону?

— Хорошо, сударь,— ответил незнакомец,— охотно это сделаю.

— А если обнаружите воров...

— У меня есть хороший аркебуз, сударь, будьте покойны.

— Благодарю. Однако, сосед, я хотел бы попросить еще об одной услуге.

— Пожалуйста.

Шико сделал вид, будто измеряет взглядом расстояние, отделяющее его от собеседника.

— Кричать о таких вещах мне не хотелось бы, дорогой сосед,— сказал он.

— Хорошо, я спущусь к вам,— ответил неизвестный.

Шико подошел поближе к дому и услышал за дверью приближающиеся шаги, потом дверь отворилась, и он очутился лицом к лицу со своим соседом.

На этот раз тот совсем закрыл лицо капюшоном.

— Сегодня утром что-то холодно,— заметил он, желая объяснить принятую им предосторожность.

— Ледяной ветер, сосед,— ответил Шико, нарочно стараясь не глядеть на своего собеседника, чтобы не смущать его.

— Я вас слушаю, сударь.

— Так вот,— сказал Шико,— я уезжаю.

— Вы уже изволили мне это сообщить.

— Помню, помню. Но дома я оставил деньги.

— Напрасно, сударь, напрасно. Возьмите их с собой.

— Ни в коем случае. Человеку недостает легкости и решимости, когда в дороге он пытается спасти не только свою жизнь, но и кошелек. Поэтому я и оставил деньги. Правда, они хорошо запрятаны, так хорошо, что за них можно опасаться только в случае пожара. Если это произойдет, прошу вас, как соседа, проследите, когда загорится толстая балка: видите, там, справа, конец ее выступает наружу в виде головы дракона. Проследите, прошу вас, и пошарьте в пепле.

— Право же, сударь,— с явным неудовольствием ответил незнакомец,— ваша просьба довольно стеснительна.

Делать такие признания подобает близкому другу, а не незнакомцу, которого вы и знать-то не можете.

При этих словах он пристально вглядывался в лицо Шико, расплывшееся в приторно любезной улыбке.

— Что правда, то правда,— ответил тот,— я вас не знаю, но я доверяю впечатлению, которое вы на меня произвели: по-моему, у вас лицо честного человека.

— Однако же, сударь, поймите, какую вы возлагаете на меня ответственность. Вполне возможно, что музыка, которой нас угощали вчера вечером, надоест и моей госпоже и мы отсюда выедем.

— Ну что ж,— ответил Шико,— тут уж ничего не поделаешь, и я не буду на вас в претензии, сосед.

— Спасибо за доверие, проявленное к незнакомому вам бедняку,— сказал с поклоном слуга.— Постараюсь оправдать его.

И, попрощавшись с Шико, он возвратился к себе.

Шико, со своей стороны, любезно раскланялся. Когда дверь за незнакомцем закрылась, он прошептал:

— Бедный молодой человек! Вот кто настоящий призрак. А ведь я знал его таким веселым, жизнерадостным, красивым!

XIX. Аббатство Святого Иакова

Аббатство, которое король пожаловал Горанфло в награду за верную службу, было расположено по ту сторону Сент-Антуанских ворот, в расстоянии каких-нибудь двух мушкетных выстрелов.

В те времена часть города, примыкавшая к Сент-Антуанским воротам, усиленно посещалась знатью, ибо король часто ездил в Венсенский замок, тогда еще называвшийся Венсенским лесом. Придворные вечно сновали по этой дороге, и она до известной степени соответствовала тому, чем в настоящее время являются Елисейские поля.

Читатель согласится, что аббатство, гордо возвышавшееся справа от Венсенской дороги, было отлично расположено.

Оно состояло из четырехугольного здания, огромного,

обсаженного деревьями внутреннего двора, сада, огорода, жилых домов и многочисленных служебных построек, придававших монастырю вид небольшого селения.

Двести монахов ордена Святого Иакова жили в кельях, расположенных в глубине двора.

Подобно городу, которому вечно грозит осада, аббатство обеспечивалось всем необходимым благодаря приписанным к нему угодьям.

На тучных пастбищах монастыря паслось стадо, неизменно состоящее из пятидесяти быков и девяноста девяти баранов: то ли по традиции, то ли по писаному канону, монашеские ордена не могли иметь собственности, исчисляющейся сотнями.

В особом строении, целом дворце, помещалось девяносто девять свиней, которых с любовным, вернее, самолюбивым рвением пестовал колбасник, выбранный самим доном Модестом.

О кухнях, погребе и говорить не приходится.

Фруктовый сад аббатства давал несравненные персики, абрикосы и виноград; кроме того, из этих плодов вырабатывались прекрасные консервы и сухое варенье.

Что касается винного погреба, то Горанфло сам наполнил его, опустошив все погреба Бургони. Ибо он сам был подлинным знатоком, а знатоки утверждают, что единственное настоящее вино — это бургундское.

В этом аббатстве, истинном раю тунеядцев и обжор, в роскошных апартаментах второго этажа с балконом, выходившим на большую дорогу, видим мы Горанфло, приобретшего достоинство и важность, которые привычка к благоденствию придает даже самым заурядным лицам.

В своей белоснежной рясе, в черной накидке, наброшенной на мощные плечи, он не так подвижен, как был в серой рясе простого монаха, но зато более величествен.

Ладонь его, широкая, словно баранья лопатка, лежит на томе in quarto[1], совершенно скрывая его; две толстые ноги покоятся на грелке, а руки уже недостаточно длинны, чтобы сойтись на животе.

Утро. Только что пробило половина восьмого. Настоятель встал последним, воспользовавшись правилом, по

[1] Формат издания в одну четвертую бумажного листа.

которому начальник может спать на час больше других монахов. Но он продолжает дремать в глубоком покойном кресле, мягком, словно перина.

Обстановка комнаты, где отдыхает достойный аббат, более напоминает обиталище богатого мирянина, чем духовного лица. Стол с изогнутыми ножками, покрытый богатой скатертью, прекрасные картины на религиозные сюжеты, драгоценные сосуды для богослужения и для стола, пышные занавеси венецианской парчи, более великолепные, нежели самые дорогие новые ткани,— вот некоторые черты той роскоши, обладателем которой дон Модест Горанфло стал по милости бога, короля и в особенности Шико.

Итак, настоятель дремал в кресле, и солнечный свет, проникший, как обычно, в опочивальню, серебрил алые и перламутровые краски на лице спящего.

Дверь тихонько отворилась, и в комнату вошли два монаха.

Первый был человек тридцати — тридцати пяти лет, нервный, худой, бледный, с гордой посадкой головы. Его соколиные глаза метали повелительные взгляды, а когда он опускал веки, под ними отчетливо выступали темные круги.

Монаха этого звали брат Борроме. Он уже три недели являлся казначеем монастыря.

Второй монах был юноша лет семнадцати-восемнадцати, с живыми черными глазами, смелым выражением лица и острым подбородком. Роста он был небольшого, но хорошо сложен.

— Настоятель еще спит, брат Борроме,— сказал молоденький монах.— Разбудить его?

— Ни в коем случае, брат Жак,— ответил казначей.

— Жаль, что наш настоятель любит поспать,— продолжал юный монах,— мы бы уже нынче утром могли испробовать оружие. Заметили вы, какие там есть прекрасные кирасы и аркебузы?

— Тише, брат мой! Вас могут услышать.

— Вот беда! — продолжал монашек, топнув ногой.— Сегодня чудесная погода, как отлично мы провели бы учение, брат казначей!

— Надо подождать, дитя мое,— произнес брат Борроме с напускным смирением, которому противоречил огонь, горевший в его глазах.

— Но почему вы не прикажете хотя бы раздать оружие? — все так же горячо возразил Жак.

— Я? Приказывать?..

— Да, вы.

— Я ничем не распоряжаюсь,— продолжал Борроме, приняв сокрушенный вид.— Вот хозяин!

— В кресле... спит... когда все уже бодрствуют,— сказал Жак, и в тоне его звучало раздражение, а его умный, проницательный взгляд, казалось, проникал в самое сердце брата Борроме.

— Надо уважать его сан и покой,— произнес Борроме, выходя на середину комнаты, но при этом он сделал такое неловкое движение, что опрокинул небольшую скамейку.

Хотя ковер заглушил шум, дон Модест все же вздрогнул и пробудился.

— Кто тут? — вскричал он дрожащим голосом заснувшего на посту и внезапно разбуженного часового.

— Сеньор аббат,— сказал брат Борроме,— простите, если мы нарушили ваши благочестивые размышления, но я пришел за приказаниями.

— А, доброе утро, брат Борроме,— сказал Горанфло, слегка кивнув головой. Несколько секунд он молчал, как видно напрягая память, затем, поморгав глазами, спросил: — За какими приказаниями?

— Относительно оружия и доспехов.

— Оружия? Доспехов? — переспросил Горанфло.

— Конечно. Ваша милость велели мне доставить оружие и доспехи.

— Я? — повторил до крайности изумленный дон Модест.— Велел я?.. А когда это было?

— Неделю назад.

— А... Но для чего нам оружие?

— Вы сказали, сеньор аббат,— я повторяю собственные ваши слова,— вы сказали: «Брат Борроме, хорошо бы раздобыть оружие и раздать его всей монашеской братии: гимнастические упражнения развивают силу телесную, как благочестивые устремления укрепляют силу духа».

— Я это говорил?..— спросил Горанфло.

— Да, преподобный отец. Я же, недостойный, но послушный монах, поторопился исполнить ваше повеление и доставил оружие.

— Странное дело,— пробормотал Горанфло,— ничего не помню.

— Вы даже добавили, ваше преподобие, латинское изречение: Militat spiritu, militat gladio[1].

— Что? — вскричал дон Модест, изумленно выпучив глаза.— Изречение?

— У меня память неплохая, досточтимый отец,— ответил Борроме, скромно опуская веки.

— Если я так сказал,— продолжал Горанфло,— значит, у меня были на то основания, брат Борроме. И правда, я всегда придерживался мнения, что надо развивать тело. Еще будучи простым монахом, я боролся и словом и мечом. «Militat spiritu, militat gladio». Отлично, брат Борроме. Как видно, сам господь осенил меня.

— Итак, я выполню ваш приказ до конца, преподобный отец,— сказал Борроме, удаляясь вместе с братом Жаком, который радостно тянул его за рясу.

— Ступайте,— величественно произнес Горанфло.

— Я совсем забыл...— сказал, возвращаясь, брат Борроме.

— Что?

— В приемной дожидается один из друзей вашей милости; он хочет с вами поговорить.

— Как его зовут?

— Метр Робер Брике.

— Метр Робер Брике,— продолжал Горанфло,— не друг мне, брат Борроме, а просто знакомый.

— Вы его не примете, ваше преподобие?

— Приму, приму,— рассеянно произнес Горанфло.— Этот человек меня развлекает.

Брат Борроме еще раз поклонился и вышел.

Через пять минут дверь опять отворилась, и появился Шико.

XX. Два друга

Дон Модест продолжал сидеть в той же блаженно расслабленной позе.

Шико прошел через всю комнату и приблизился к нему.

[1] Воюет духом, воюет мечом *(лат.)*.

Дон Модест лишь соблаговолил слегка наклонить голову.

Шико, очевидно, ни в малейшей степени не удивило безразличие аббата.

— Здравствуйте, господин настоятель,— сказал он.

— Ах, это вы! — произнес Горанфло.— Видимо, воскресли?

— А вы считали меня умершим, господин аббат?

— Да ведь вас совсем не было видно.

— Я был занят.

— А!

Шико знал, что Горанфло скуп на слова, пока его не разогреют две-три бутылки старого бургундского. Так как час был ранний и Горанфло, по всей вероятности, еще не закусывал, Шико подвинул к очагу глубокое кресло и молча устроился в нем, положив ноги на каминную решетку и откинувшись на мягкую спинку.

— Вы позавтракаете со мной, господин Брике? — спросил дон Модест.

— Может быть, сеньор аббат.

— Не взыщите, господин Брике, если я не смогу уделить вам столько времени, сколько хотел бы.

— Человек, стоящий, подобно вам, выше многих, может поступать, как ему заблагорассудится, господин аббат,— ответил Шико, улыбнувшись, как умел улыбаться он один.

Дон Модест, прищурившись, взглянул на Шико.

Насмехался ли Шико или говорил серьезно, разобрать было невозможно.

Шико встал.

— Куда вы, господин Брике? — спросил Горанфло.

— Собираюсь уходить.

— Вы же сказали, что позавтракаете со мной?

— Я этого не говорил.

— Простите, но я вас пригласил.

— А я ответил: может быть. «Может быть» не значит «да».

— Вы сердитесь?

Шико рассмеялся.

— Сержусь? — переспросил он.— А на что мне сердиться? На то, что вы наглец и невежда? О, дорогой сеньор настоятель, я вас слишком давно знаю, чтобы сердиться на ваши мелкие недостатки.

Как громом пораженный этим выпадом, Горанфло застыл с открытым ртом.

— Прощайте, господин настоятель.

— О, не уходите!

— Я не могу откладывать поездки.

— Вы уезжаете?

— Мне дано поручение.

— Кем?

— Королем.

У Горанфло голова пошла кругом.

— Поручение,— вымолвил он,— поручение от короля... Вы, значит, снова с ним виделись?

— Конечно.

— Как же он вас встретил?

— Восторженно. Он-то помнит друзей, хоть и король.

— Поручение от короля,— пролепетал Горанфло,— а я-то наглец, невежда, грубиян...

— Прощайте,— повторил Шико.

Горанфло даже привстал с кресла и своей широкой дланью задержал уходящего, который, надо признаться, довольно охотно подчинился насилию.

— Послушайте, признаюсь — я неправ. Заботы...

— Вот как!

— Будьте же снисходительны к человеку, занятому столь трудными делами! Ведь это аббатство — целое государство! Подумайте, под моим началом двести душ; я эконом, архитектор, управитель, и ко всему у меня имеются еще духовные обязанности.

— Да, правда, это слишком тяжкое бремя для недостойного служителя божия!

— Ну вот, теперь вы иронизируете,— сказал Горанфло.— Господин Брике, неужто вы утратили христианское милосердие?

— А разве оно у меня было?

— Сдается мне, что тут и не без зависти с вашей стороны; остерегайтесь: зависть — великий грех.

— Зависть с моей стороны? А кому мне завидовать, скажите на милость?

— Гм, вы думаете: «Настоятель дон Модест Горанфло все время идет вверх, движется по восходящей лестнице...»

— А я движусь по нисходящей, не так ли? — насмешливо спросил Шико.

— Это из-за вашего ложного положения, господин Брике.

— Господин настоятель, а вы помните евангельское изречение?

— Какое?

— «Низведу гордых и вознесу смиренных».

— Подумаешь! — сказал Горанфло.

— Вот тебе на! Он берет под сомнение слово божие, еретик! — воскликнул Шико, всплескивая руками.

— Еретик?! — повторил Горанфло.— Это гугеноты — еретики.

— Ну, значит, схизматик![1]

— Что вы хотите сказать, господин Брике? Право, не понимаю.

— Ничего не хочу сказать. Я уезжаю и пришел с вами проститься. Посему прощайте, сеньор дон Модест.

— Вы не покинете меня таким образом?

— Покину, черт побери!

— Вы?

— Да, я.

— Мой друг?

— В величии друзей забывают.

— Шико!

— Я теперь не Шико, вы же сами меня этим попрекнули.

— Я? Когда же?

— Когда упомянули о моем ложном положении.

— «Попрекнул»! Как вы сегодня выражаетесь! — И настоятель опустил свою большую голову, так что все три его подбородка слились воедино.

Шико искоса наблюдал за ним: Горанфло даже слегка побледнел.

— Прощайте и не взыщите за сказанную вам в лицо правду.

И он направился к выходу.

— Говорите все, что пожелаете, господин Шико, но не смотрите на меня таким взглядом!.. И, во всяком случае, нельзя уйти не позавтракав, черт побери! Это вредно!

Шико решил сразу завоевать все позиции.

— Нет, не хочу! — сказал он.— Здесь очень плохо кормят.

[1] Схизматик — раскольник, инаковерующий.

Все прочие нападки Горанфло сносил мужественно. Эти слова его доконали.

— У меня плохо кормят? — пробормотал он в полной растерянности.

— На мой вкус, во всяком случае,— сказал Шико.

— Последний раз, когда вы завтракали, еда была плохая?

— Да,— решительно сказал Шико.

— Но чем, скажите на милость!

— Свиные котлеты гнуснейшим образом подгорели.

— О!

— Фаршированные свиные ушки не хрустели на зубах.

— О!

— Каплун с рисом не имел никакого вкуса.

— Боже праведный!

— Раковый суп был чересчур жирен!

— Шико! Шико! — промолвил дон Модест тоном, каким умирающий Цезарь воззвал к своему убийце: «Брут! Брут!..»

— Да к тому же у вас нет для меня времени.

— У меня?

— Вы мне сказали, что заняты. Говорили вы это, да или нет? Не хватает еще, чтобы вы стали лгуном.

— Дело можно отложить. Ко мне должна прийти одна просительница.

— Ну так и принимайте ее.

— Я не приму ее, хотя это, видимо, очень важная дама. Я буду принимать только вас, дорогой господин Шико. Эта знатная особа хочет у меня исповедаться и прислала мне сто бутылок сицилийского вина. Так вот, если вы потребуете, я откажу ей, велю передать, чтобы она искала другого духовника.

— Вы это сделаете?

— Ради того, чтобы вы со мной позавтракали, господин Шико, и я мог загладить свою вину перед вами.

— Вина эта проистекает от вашей чудовищной гордости, дон Модест.

— Я смирюсь духом, друг мой.

— От вашей беспечности и лени.

— Шико, Шико, с завтрашнего же дня я начну умерщвлять плоть, командуя упражнениями монахов.

— Какими упражнениями? — спросил Шико, вытаращив глаза.

— Боевыми.
— Вы будете обучать монахов военному делу?
— Да.
— А кому пришла в голову эта мысль?
— Кажется, мне самому,— сказал Горанфло.
— Вам? Быть этого не может!
— Но это так, и я уже отдал распоряжение брату Борроме.
— Кто это брат Борроме?
— Казначей.
— У тебя появился казначей, которого я не знаю, ничтожество ты этакое?
— Он попал сюда после вашего последнего посещения.
— А откуда он взялся?
— Мне рекомендовал его монсеньер кардинал де Гиз.
— Лично?
— Письмом, дорогой господин Шико, письмом.
— Не тот ли это, похожий на коршуна монах, который доложил о моем приходе?
— Он самый.
— Ого! — вырвалось у Шико.— Какими же качествами обладает этот казначей, получивший столь горячую рекомендацию кардинала де Гиза?
— Он считает, как сам Пифагор.
— С ним-то вы и порешили заняться военным обучением монахов?
— Да, друг мой.
— А для чего?
— Чтобы вооружить их.
— Долой гордыню, нераскаявшийся грешник! Гордыня — смертный грех: не вам пришла в голову эта мысль.
— Мне или ему, я уж, право, не помню. Нет, нет, определенно мне; кажется, я даже произнес весьма подходящее латинское изречение.
Шико подошел поближе к настоятелю.
— Латинское изречение!.. Вам, дорогой аббат,— сказал он,— не припомните ли вы его?
— «Militat spiritu...»
— «Militat spiritu, militat gladio».
— Точно, точно! — восторженно вскричал дон Модест.
— Ну, ну,— сказал Шико,— невозможно извиняться более чистосердечно, чем вы, дон Модест. Я вас прощаю.
— О! — умиленно произнес Горанфло.

— Вы по-прежнему мой друг, мой истинный друг.
Горанфло смахнул слезу.
— Давайте же позавтракаем; я буду снисходителен к вашим яствам.
— Послушайте! — воскликнул Горанфло вне себя от радости.— Я велю брату повару, чтобы он накормил нас по-царски, иначе будет посажен в карцер.
— Отлично, отлично,— сказал Шико,— вы же здесь хозяин, дорогой мой настоятель.
— И мы разопьем несколько бутылочек, полученных от моей новой духовной дочери.
— Я помогу вам добрым советом.
— Дайте я обниму вас, Шико.
— Не задушите меня... Лучше побеседуем.

XXI. Собутыльники

Горанфло не замедлил отдать нужные распоряжения.
Если достойный настоятель и двигался, как он утверждал, по восходящей линии, то это относилось главным образом к развитию в аббатстве кулинарного искусства.
Дон Модест вызвал повара, брата Эузеба, каковой и предстал не столько перед своим духовным начальником, сколько перед строгим судьей.
— Брат Эузеб,— суровым тоном произнес Горанфло,— прислушайтесь к тому, что вам скажет мой друг, господин Робер Брике. Вы, говорят, пренебрегаете своими обязанностями. Я слышал о серьезных погрешностях в вашем последнем раковом супе, о роковой небрежности в приготовлении свиных ушей... Берегитесь, брат Эузеб, берегитесь: коготок увяз — всей птичке пропасть.
Монах, то бледнея, то краснея, пробормотал какие-то извинения, которые, однако, не были приняты во внимание.
— Довольно! — сказал Горанфло.
Брат Эузеб умолк.
— Что у вас сегодня на завтрак? — спросил достопочтенный настоятель.
— Яичница с петушиными гребешками.
— Еще что?

— Фаршированные шампиньоны.

— Еще?

— Раки под соусом мадера.

— Мелочь все это, мелочь. Назовите что-нибудь более основательное, да поскорее.

— Можно подать окорок, начиненный фисташками.

Шико презрительно фыркнул.

— Простите,— робко вмешался Эузеб,— он сварен в хересе и нашпигован говядиной.

Горанфло бросил на Шико робкий взгляд.

— Недурно, правда, господин Брике? — спросил он.

Шико жестом показал, что доволен, хотя и не совсем.

— А что у вас еще есть? — спросил Горанфло.

— Можно приготовить отличного угря.

— К черту угря! — сказал Шико.

— Полагаю, господин Брике,— продолжал брат Эузеб, понемногу смелея,— что вы не раскаетесь, если отведаете моего угря.

— А как вы его приготовили?

— Да, как вы его приготовили? — повторил настоятель.

— Снял с него кожу, опустил в анчоусовое масло, обвалял в мелко истолченных сухарях, затем десять секунд подержал на огне. После чего я буду иметь честь подать его к столу.

— А соус?

— Да, а соус?

— Соус из оливкового масла, лимонного сока и горчицы.

— Отлично,— сказал Шико.

Брат Эузеб облегченно вздохнул.

— Теперь не хватает сладкого,— справедливо заметил Горанфло.

— Я изобрету десерт, который сеньору настоятелю придется по вкусу.

— Хорошо, полагаюсь на вас,— сказал Горанфло.— Покажите, что вы достойны моего доверия.

Эузеб поклонился.

— Я могу идти? — спросил он.

Настоятель взглянул на Шико.

— Пусть уходит,— сказал Шико.

— Идите и пришлите мне брата ключаря.

Брат ключарь сменил брата Эузеба и получил указания столь же обстоятельные и точные.

Через десять минут сотрапезники уже сидели друг против друга за столом, накрытым тонкой льняной скатертью.

Стол, рассчитанный человек на шесть, был сплошь заставлен — столько всевозможных бутылок с разнообразными наклейками принес брат ключарь.

Эузеб, строго придерживаясь установленного меню, прислал из кухни яичницу, раков и грибы, наполнившие комнату ароматом лучшего сливочного масла, тимьяна и мадеры.

Изголодавшийся Шико набросился на еду.

Настоятель начал есть с видом человека, сомневающегося в самом себе, в своем поваре и сотрапезнике.

Но через несколько минут уже сам Горанфло жадно поглощал пищу, а Шико наблюдал за ним.

Начали с рейнского, перешли к бургундскому 1550 года, пригубили «сен-перре» и, наконец, занялись вином, присланным новой духовной дочерью настоятеля.

— Ну, что вы скажете? — спросил Горанфло, который сделал три глотка, но не решался выразить свое мнение.

— Бархатистое, легкое,— ответил Шико.— А как зовут вашу новую духовную дочь?

— Не знаю.

— Как, не знаете даже ее имени?

— Ей-богу же, нет: мы сносились через посланцев.

Шико опустил веки, словно смакуя вино. На самом деле он размышлял.

— Итак,— сказал он через минут десять,— я имею честь трапезовать в обществе полководца?

— Бог мой, да!

— Как, вы вздыхаете?

— Это будет очень утомительно.

— Разумеется, зато прекрасно, почетно.

— У меня и так много забот. Позавчера, например, пришлось отменить одно блюдо за ужином.

— Отменить блюдо? Почему?

— Потому что монахи нашли недостаточным то блюдо, которое подают в пятницу на третье,— варенье из бургундского винограда.

— Подумайте-ка — «недостаточным»!.. А по какой причине?

— Они заявили, что все еще голодны, и потребовали дополнительно что-нибудь постное — чирка, омара или хорошую рыбу. Как вам нравится такое обжорство?

— Ну, а если монахи были голодны?

— В чем же их тогда заслуга? — спросил брат Модест.— Всякий может хорошо работать, если при этом ест досыта. Черт возьми! Надо умерщвлять плоть во славу божию,— продолжал достойный аббат, кладя себе на тарелку огромные ломти окорока.

— Пейте, Модест, пейте,— сказал Шико,— не то вы подавитесь, любезный друг, вы же побагровели.

— От возмущения,— ответил настоятель, осушая стакан, в который входило не менее полупинты.

И тут, несмотря на протесты Шико, Горанфло затянул свою любимую песенку:

Осла ты с привязи спустил,
Бутылку новую открыл —
Осел копытом звонко бьет,
Вино веселое течет.
Но самый жар и самый пыл,
Когда монах на воле пьет.
Вовек никто б не ощутил
В своей душе подобных сил!

— Да замолчи ты, несчастный! — сказал Шико.— Если невзначай зайдет брат Борроме, он бог знает что подумает.

— Если бы зашел брат Борроме, он стал бы петь вместе с нами.

— Вряд ли.

— А я тебе говорю.

— Молчи и отвечай на мои вопросы.

— Ну говори.

— Да ты меня все время перебиваешь, пьяница!

— Я пьяница?..

— Послушай, от этих воинских учений твой монастырь превратится в настоящую казарму.

— Да, друг мой, правильно сказано — в настоящую казарму, в казарму настоящую. Еще в прошлый четверг... Кажется, в четверг?.. Да, в четверг... Подожди, я уж не помню — четверг или нет?..

— Четверг или пятница — неважно.

— Правильно говоришь. Важен самый факт, верно? Так вот, в четверг или пятницу я обнаружил в коридоре двух послушников, которые бились на саблях, а с ними были два секунданта, тоже желавших сразиться друг с другом.

— Что же ты сделал?

— Я велел принести плетку, чтобы отстегать послушников, которые тотчас же удрали. Но Борроме...

— Так что же Борроме?..

— Борроме догнал их и так обработал плеткой, что бедняги до сих пор лежат.

— Хотел бы я обследовать их лопатки, чтобы оценить силу руки брата Борроме,— заметил Шико.

— Единственные лопатки, которые стоит обследовать,— бараньи. Съешьте лучше абрикосового варенья.

— Да нет же, ей-богу! Я и так задыхаюсь.

— Тогда выпей.

— Нет, нет, мне придется идти пешком.

— Ну и мне придется командовать, однако я пью!

— О, это дело другое... Чтобы давать команду, требуется лишь сила легких.

— Ну, еще стаканчик, всего один стаканчик пищеварительного ликера, секрет которого знает только брат Эузеб.

— Согласен.

— Он чудесно действует: как ни наешься за обедом, через два часа снова хочется есть.

— Какой замечательный рецепт для бедняков! Знаете, будь я королем, я велел бы обезглавить вашего Эузеба: от его ликера во всем королевстве может возникнуть голод... Ого! А это что такое?

— Начинается учение,— сказал Горанфло.

Действительно, со двора донесся гул голосов и лязг оружия.

— Без начальника? — заметил Шико.— Солдаты у вас не очень-то дисциплинированные.

— Без меня? Нет! — сказал Горанфло.— Да и к тому же это невозможно, понимаешь? Ведь командую-то я, учу-то я! А вот и доказательство: ко мне за приказанием идет брат Борроме.

И правда, в тот же миг показался Борроме, устремивший на Шико быстрый взгляд, подобный предательской парфянской стреле.

«Ого! — подумал Шико.— Напрасно ты на меня так посмотрел: это тебя выдает».

— Сеньор настоятель,— сказал Борроме,— пора начинать осмотр оружия и доспехов; мы ждем только вас.

— Доспехов! Ого! — прошептал Шико.— Одну минутку, я пойду с вами.

И он вскочил с места.

— Вы будете присутствовать на учении,— произнес Горанфло, поднимаясь, словно мраморная глыба, у которой выросли ноги.— Дайте мне руку, друг мой, вы увидите замечательные упражнения.

— Должен подтвердить, что сеньор настоятель — прекрасный тактик,— вставил Борроме, вглядываясь в невозмутимое лицо Шико.

— Дон Модест человек во всех отношениях выдающийся,— ответил с поклоном Шико.

Про себя он подумал:

«Ну, мой дорогой орленок, не дремли, не то этот коршун выщиплет тебе перья!»

XXII. Брат Борроме

Когда Шико, поддерживая достопочтенного настоятеля, спустился по парадной лестнице во двор, он увидел, что аббатство весьма напоминает огромную, полную кипучей деятельности казарму.

Монахи, разделенные на два отряда по сто человек в каждом, стояли с алебардами, пиками и мушкетами и ждали, словно солдаты, появления своего командира.

Человек пятьдесят, из числа наиболее сильных и ревностных, были в касках или шлемах, на поясах у них висели длинные шпаги. Иные, горделиво красуясь в выпуклых кирасах, с явным удовольствием постукивали по ним железными перчатками.

Брат Борроме взял из рук послушника каску и надел ее быстрым и точным движением какого-нибудь рейтара или ландскнехта. Пока он прилаживал каску, Шико, казалось, глаз не мог от нее оторвать. Более того, он даже подошел к казначею и провел рукой по металлической поверхности.

— Замечательный у вас шлемик, брат Борроме,— сказал он.— Где вы приобрели такую каску, дорогой настоятель?

Горанфло не мог говорить, ибо в это время его облачали в сверкающую кирасу: по размерам она вполне подошла бы Фарнезскому Геркулесу[1], но жирным телесам достойного настоятеля в ней было порядком тесно.

— Не затягивайте! — кричал Горанфло.— Черт побери, я задохнусь, я совсем лишусь голоса! Довольно! Довольно!

— Вы, кажется, спрашивали у преподобного отца настоятеля,— сказал Борроме,— где он приобрел мою каску?

— Я спросил это у достопочтенного аббата, а не у вас,— продолжал Шико,— ибо полагаю, что у вас в монастыре, как и в других обителях, все делается лишь по приказу настоятеля.

— Разумеется,— сказал Горанфло,— все здесь зависит от моей воли. Что вы спрашиваете, милейший господин Брике?

— Я спрашиваю у брата Борроме, не знает ли он, откуда взялась эта каска?

— Она была в партии оружия, закупленной преподобным отцом настоятелем для монастыря.

— Мною? — переспросил Горанфло.

— Ваша милость, конечно, изволите помнить, что велели доставить сюда каски и кирасы. Ваше приказание и было выполнено.

— Правда, правда,— подтвердил Горанфло.

«Черти полосатые! — заметил про себя Шико.— Моя каска, видно, очень привязана к своему хозяину: я сам снес ее во дворец Гизов, а она, словно заблудившаяся собачонка, разыскала меня и в монастыре Святого Иакова!»

Тут по жесту брата Борроме монахи выстроились, и наступила тишина.

Шико уселся на скамейку, чтобы с удобством наблюдать за учением.

Горанфло продолжал стоять, крепко упершись ногами в землю.

---

[1] Фарнезский Геркулес — античная статуя, изображающая Геркулеса отдыхающим после совершенного подвига.

— Смирно! — шепнул брат Борроме.

Дон Модест выхватил из ножен огромную шпагу и, взмахнув ею, крикнул мощным басом:

— Смирно!

— Ваше преподобие, пожалуй, устанете, подавая команду,— заметил тогда с кроткой предупредительностью брат Борроме.— Нынче утром ваше преподобие себя неважно чувствовали. Если вам угодно позаботиться о драгоценном своем здоровье, я мог бы провести учение.

— Хорошо, согласен,— ответил дон Модест.— И правда, мне что-то не по себе — задыхаюсь. Командуйте вы.

Борроме поклонился и встал перед строем.

— Какой усердный слуга! — сказал Шико.— Этот малый — просто жемчужина. Уверен, что он постоянно выручает тебя.

— О да. Он покорен мне, как раб. Я все время корю его за излишнюю предупредительность... Но смирение — совсем не раболепство,— наставительно добавил Горанфло.

— Так что тебе, по правде говоря, нечего делать, и ты можешь почивать сном праведника: за тебя бодрствует брат Борроме.

— Ну да, бог ты мой!..

— Это мне и нужно было выяснить,— заметил Шико и перенес все свое внимание на брата Борроме.

Зрелище было замечательное. Монастырский казначей выпрямился в своих доспехах, словно вставший на дыбы боевой конь. Глаза его метали молнии, сильная рука делала такие искусные выпады шпагой, что казалось, мастер своего дела фехтует перед взводом солдат.

Каждый раз, когда Борроме показывал какое-нибудь упражнение, Горанфло повторял его жесты, добавляя при этом:

— Борроме прав. Переложите оружие в другую руку, крепче держите пику, чтобы ее острие приходилось на уровне глаз... Да подтянитесь же, ради святого Георгия! Тверже ногу! Равнение налево — то же, что и равнение направо, с той только разницей, что все делается наоборот.

— Клянусь честью,— сказал Шико,— ты ловко умеешь обучать!

— Да, да,— ответил Горанфло, поглаживая свой тройной подбородок,— я довольно хорошо разбираюсь в упражнениях.

— В лице Борроме у тебя очень способный ученик.

— Он отлично схватывает мои указания. Исключительно умный малый.

Монахи упражнялись в военном беге — маневре, весьма распространенном в то время,— бились на шпагах, кололи пиками и перешли, наконец, к огневому бою.

Тут настоятель сказал Шико:

— Сейчас ты увидишь моего маленького Жака.

— А кто это?

— Славный паренек, которого я хотел взять для личных услуг,— у него спокойная повадка, но рука сильная, и живой он, как ртуть.

— Вот как! Где же этот прелестный мальчик?

— Подожди, подожди, я тебе его покажу. Да вон там, видишь: тот, что собирается стрелять из мушкета.

— И хорошо он стреляет?

— Так, что в ста шагах не промахнется по ноблю с розой[1].

— Этот малый будет лихо служить мессу! Но, кажется, теперь моя очередь сказать: подожди, подожди!..

— Что такое? Ты знаешь юного Жака?

— Я? Да ни в малейшей степени.

— Но сперва тебе показалось, что ты его узнаешь?

— Да, мне показалось, но я ошибся — это не он.

Мы вынуждены признаться, что на этот раз слова Шико не вполне соответствовали истине. У него была изумительная память на лица: увидев однажды человека, он уже не забывал его.

Маленький Жак действительно заряжал тяжелый мушкет длиной с него самого; затем он гордо занял позицию в ста шагах от мишени и, отставив правую ногу, прицелился с чисто военной тщательностью.

Раздался выстрел, и пуля попала в середину мишени под восторженные рукоплескания монахов.

— Ей-богу же, отлично! — сказал Шико.— Да и мальчик красив собой.

— Спасибо, сударь,— отозвался Жак, и на бледных щеках его вспыхнул радостный румянец.

— Ты ловко владеешь ружьем, мальчуган,— продолжал Шико.

— Стараюсь научиться, сударь,— сказал Жак.

---

[1] Старинная монета.

С этими словами, отложив ружье, монашек взял пику и сделал мулине[1], по мнению Шико безукоризненно.

Шико снова принялся расточать похвалы.

— Особенно хорошо владеет он шпагой,— сказал дон Модест.— Знатоки ставят его очень высоко. И правда, у этого парня ноги железные, кисти рук — точно сталь, а упражняется он с утра до вечера.

— Любопытно бы поглядеть,— заметил Шико.

— Дело в том,— сказал казначей,— что здесь никто, кроме меня, не может с ним состязаться. У вас-то есть навык?

— Я всего-навсего жалкий горожанин,— ответил Шико, качая головой.— В свое время я орудовал рапирой не хуже всякого другого. Но теперь ноги у меня дрожат, в руке нет уверенности, да и голова уже не та.

— Но вы все же практикуетесь? — спросил Борроме.

— Немножко,— ответил Шико.

Борроме усмехнулся и велел принести рапиры и фехтовальные маски.

Жак, который горел нетерпением под своим холодным и сумрачным обличием, подвернул рясу и крепко уперся сандалиями в песок.

— Право,— сказал Шико,— я не монах и не солдат, к тому же давно не обнажал шпаги... Прошу вас, брат Борроме, дайте урок фехтования брату Жаку... Вы разрешаете, дорогой настоятель?

— Я даже приказываю! — возгласил дон Модест, радуясь, что может вставить свое слово.

Монахи, волнуясь за честь своей корпорации, тесным кольцом окружили ученика и учителя.

— Это так же забавно, как служить вечерню, правда? — шепнул Жак простодушно.

— С тобой согласится любой вояка,— ответил Шико с тем же простодушием.

Противники стали в позицию. Сухой и жилистый Борроме имел преимущество в росте. К тому же он обладал уверенностью и опытом.

Глаза Жака порою загорались огнем, лихорадочный румянец играл на его щеках.

Монашеская личина постепенно спадала с Борроме: с рапирой в руке, увлекшись состязанием в силе и ловкости, он преображался в воина. Каждый удар он сопровождал увещанием, советом, упреком, но зачастую сила, стремительность и пыл Жака торжествовали над качествами учителя, и брат Борроме получал добрый удар прямо в грудь.

Шико пожирал глазами это зрелище и считал удары, наносимые рапирами.

Когда состязание окончилось или, вернее, когда противники сделали передышку, он сказал:

— Жак попал шесть раз, брат Борроме — девять. Для ученика это весьма неплохо, но для учителя — недостаточно.

Из всех присутствующих один Шико заметил молнию, сверкнувшую в глазах Борроме.

«Да он гордец!» — подумал Шико.

— Сударь,— возразил Борроме голосом, которому он с трудом придал слащавые нотки,— бой на рапирах для всех дело нелегкое, а для нас, бедных монахов, и подавно.

— Не в том дело,— сказал Шико, решив оттеснить любезного Борроме на последнюю линию обороны.— Учитель должен быть по меньшей мере вдвое сильнее ученика.

— Ах, господин Брике,— произнес Борроме, бледнея и кусая губы,— вы чересчур требовательны.

«Он еще и гневлив,— подумал Шико.— Это второй смертный грех, а говорят, достаточно одного, чтобы погубить душу. Мне повезло».

Вслух же он сказал:

— Если бы Жак действовал более хладнокровно, полагаю, он сравнялся бы с вами.

— Не думаю,— возразил Борроме.

— А я так уверен в этом.

— Господину Брике следовало бы помериться силами с Жаком,— сказал не без горечи казначей,— тогда ему легче было бы вынести правильное суждение.

— О, я слишком стар! — заметил Шико.

— Зато у вас есть опыт,— сказал Борроме.

«Ты еще и насмехаешься! — подумал Шико.— Погоди, погоди!»

— Не бойтесь, сударь,— продолжал Борроме,— мы будем к вам снисходительны, как предписывает сама церковь.

— Нехристь ты этакий! — прошептал Шико.

[1] Один из фехтовальных приемов.

— Да ну же, господин Брике, одну только схватку!

— Попробуй,— сказал Горанфло,— что тебе стоит, попробуй!

— Я вам не сделаю больно, сударь,— вмешался Жак, становясь на сторону учителя и желая уязвить его обидчика.— Рука у меня легкая.

— Славный мальчик! — прошептал Шико, устремляя на монашка невыразимый взгляд и безмолвно улыбаясь.

— Что ж,— сказал он,— раз всем этого хочется...

— Браво! — вскричали монахи, предвкушая легкую победу Жака.

— Но предупреждаю вас: не более трех схваток,— отозвался Шико.

— Как вам будет угодно, сударь,— сказал Жак.

Медленно поднявшись со скамейки, на которую он уселся во время разговора, Шико приладил куртку, надел кожаную перчатку и маску — все это с ловкостью черепахи, ловящей мух.

— Если ты дашь парировать ему свои удары,— шепнул Борроме Жаку,— я с тобой больше не фехтую, так и знай.

Жак кивнул и улыбнулся, словно желая сказать: «Не беспокойтесь, учитель».

Шико все так же медленно стал в позицию, ловко скрыв свою силу и искусство.

XXIII. Урок

В том веке, о котором мы повествуем, стремясь не только рассказать о событиях, но также о нравах и обычаях, фехтование было не тем, чем оно стало в наше время.

Шпаги оттачивались с обеих сторон, благодаря чему ими рубили почти так же часто, как и кололи. Вдобавок левой рукой, вооруженной кинжалом, можно было не только обороняться, но и наносить удары: все это приводило к многочисленным ранениям или, скорее, царапинам, которые в серьезном поединке особенно разъяряли бойцов.

Искусство фехтования, занесенное к нам из Италии, сводилось к ряду движений, которые вынуждали бойца

постоянно менять место, поэтому из-за малейших неровностей почвы возникали серьезные затруднения.

Нередко можно было видеть, как фехтовальщик вытягивается во весь рост или, наоборот, вбирает голову в плечи, прыгает направо, налево и приседает, упираясь рукой в землю. Одним из первых условий успешного овладения этим искусством были ловкость и быстрота не только руки, но также ног и всего тела.

Казалось, однако, что Шико изучил фехтование не по правилам этой школы. Он словно предугадал современное нам искусство шпаги, все превосходство которого и, в особенности, все изящество состоит в подвижности рук при почти полной неподвижности корпуса.

Ноги его крепко упирались в землю, кисть руки отличалась гибкостью и силой, конец шпаги гнулся, как тростник, но от середины до рукояти она была словно каменная.

Увидев перед собой не человека, а бронзовую статую, у которой двигалась, на первый взгляд, только кисть руки, брат Жак стал порывисто, бурно нападать, но Шико лишь вытягивал руку и выставлял ногу и при малейшей ошибке противника наносил ему удар прямо в грудь, а Жак, багровый от ярости и уязвленного самолюбия, отскакивал назад.

Минут десять мальчик делал все, что мог: он устремлялся вперед, словно леопард, свивался кольцом, как змея, прыгал из стороны в сторону. Но Шико, все так же невозмутимо, выбирал удобный момент и, отклонив рапиру противника, неизменно поражал его в грудь своим грозным оружием.

Брат Борроме бледнел, стараясь подавить досаду.

Наконец Жак в последний раз напал на Шико. Видя, что мальчик нетвердо стоит на ногах, тот оставил открытие, чтобы противник направил в это место всю силу своего удара. Жак не преминул это сделать. Шико так внезапно отпарировал удар, что бедняга потерял равновесие и упал. Шико же, незыблемый как скала, даже не сдвинулся с места.

Брат Борроме до крови искусал себе пальцы.

— Вы скрыли от нас, сударь, что являетесь гением фехтовального искусства,— сказал он.

— Что вы! — удивленно вскричал Горанфло, хотя из вполне понятных дружеских чувств он и разделял торжество приятеля.— Да Брике никогда не практикуется!

— Я всего лишь жалкий буржуа,— сказал Шико,— а не гений фехтовального искусства! Вы смеетесь надо мной, господин казначей!

— Однако же, сударь,— возразил брат Борроме,— если человек владеет шпагой, как вы, он, наверное, без конца работал ею.

— Бог ты мой, сударь,— добродушно ответил Шико,— мне порой приходилось обнажать шпагу. Но, делая это, я никогда не забывал одного обстоятельства.

— Какого?

— Что для человека с обнаженной шпагой в руке гордыня — плохой советчик, а гнев — плохой помощник... Теперь выслушайте меня, братец Жак,— добавил он.— Кисть руки у вас отличная, но с ногами и головой дело обстоит неважно. Подвижности достаточно, но рассудка не хватает. В фехтовальном искусстве имеют значение три вещи: прежде всего голова, затем руки и ноги. Голова помогает защищаться, руки и ноги дают возможность победить. Но, владея и головой, и рукой, и ногами, побеждаешь всегда.

— О сударь,— сказал Жак,— сразитесь с братом Борроме: это будет замечательное зрелище.

Шико хотел пренебрежительно отвергнуть это предложение, но тут ему пришла в голову мысль, что гордец казначей, пожалуй, постарается извлечь выгоду из его отказа.

— Охотно,— сказал он.— Если брат Борроме согласен, я в его распоряжении.

— Нет, сударь,— ответил казначей,— я потерплю поражение. Лучше уж сразу признать это.

— Как он скромен, как мил! — произнес Горанфло.

— Ты ошибаешься,— шепнул ему на ухо беспощадный Шико,— он вне себя, ибо тщеславие его уязвлено. На месте Борроме я на коленях молил бы о таком уроке, какой сейчас получил Жак.

Сказав это, Шико, по своему обыкновению, ссутулился, искривил ноги, сморщил лицо и снова сел на скамью.

Жак подошел к нему — восхищение возобладало у юноши над стыдом поражения.

— Не согласитесь ли вы дать мне уроки, господин Робер? — спросил он.— Сеньор настоятель разрешит... Ведь правда, ваше преподобие?

— Да, дитя мое,— ответил Горанфло,— с удовольствием.

— Я не хочу заступать место, по праву принадлежащее вашему учителю,— молвил Шико, поклонившись Борроме.

— Я не единственный учитель Жака,— сказал тот,— здесь не только я обучаю фехтованию. Не одному мне принадлежит эта честь, пусть же не я один отвечу за поражение.

— А кто же другой преподаватель? — поспешно спросил Шико; он заметил, что Борроме покраснел, опасаясь, что сболтнул лишнее.

— Да нет, никто,— пробормотал он,— никто.

— Как же так? — возразил Шико.— Я отлично слышал, что вы изволили сказать... Кто же ваш другой учитель, Жак?

— Ну да,— вмешался Горанфло,— как зовут того толстячка, которого вы мне представили, Борроме? Он иногда заходит к нам, славный такой и выпивать мастер.

— Не помню его имени,— сказал Борроме.

Добродушный брат Эузеб, с длинным поварским ножом за поясом, глупо вылез вперед.

— А я знаю, как его зовут,— сказал он.

Борроме стал подавать ему знаки, но тот ничего не заметил.

— Это же метр Бюсси-Леклер,— продолжал Эузеб.— Он преподавал фехтование в Брюсселе.

— Вот как! — заметил Шико.— Метр Бюсси-Леклер! Клянусь богом, отличная шпага!

И, произнося эти слова со всем благодушием, на какое он был способен, Шико на лету поймал яростный взгляд, который Борроме метнул на злосчастного Эузеба.

— Скажите, а я и не знал, что его зовут Бюсси-Леклер, мне забыли об этом сообщить,— сказал Горанфло.

— Я не думал, что его имя может иметь для вас значение, ваша милость,— заметил Борроме.

— И правда,— подтвердил Шико,— один учитель или другой — не все ли равно, был бы он хорошим фехтовальщиком.

— И правда, не все ли равно? — подхватил Горанфло.— Был бы он хорошим фехтовальщиком.

С этими словами он направился к лестнице, ведшей в его покои. Монахи с восхищением взирали на своего настоятеля.

Учение было окончено.

У подножия лестницы Жак, к величайшему неудовольствию Борроме, возобновил свою просьбу.

Но Шико ответил:

— Преподаватель я плохой, друг мой, а сам научился, размышляя и практикуясь. Делайте, как я,— ясный ум из всего извлечет пользу.

Борроме дал команду, и монахи, построившись, вошли в здание монастыря.

Опираясь на руку Шико, Горанфло величественно поднялся вверх по лестнице.

— Надеюсь,— горделиво произнес он,— про этот дом все скажут, что здесь верно служат королю.

— Еще бы, черт побери,— сказал Шико,— придешь к вам, достопочтенный настоятель, и чего только не увидишь!

— И все это за какой-нибудь месяц, даже меньше того.

— Да, вы сделали больше, чем можно было ожидать, друг мой, и когда я возвращусь, выполнив свою миссию...

— Да, дорогой друг, поговорим о вашей миссии.

— Это тем более уместно, что до отъезда мне надо послать весточку или, вернее, вестника к королю.

— Вестника, дорогой друг? Вы, значит, постоянно сноситесь с королем?

— Да, с ним лично.

— Хотите кого-либо из братии? Для монастыря было бы великой честью, если бы кто-нибудь из наших братьев предстал пред очи короля.

— Разумеется.

— В вашем распоряжении двое из наших лучших ходоков. Но расскажите мне, Шико, каким образом король, считавший вас умершим...

— Я ведь говорил вам: у меня был летаргический сон; пришло время — и я воскрес.

— И вы снова в милости?

— Более чем когда-либо,— сказал Шико.

— Значит, вы сможете рассказать королю обо всем, что мы здесь делаем для его блага?

— Не премину, друг мой, не премину, будьте покойны.

— О, дорогой Шико! — вскричал Горанфло: он уже видел себя епископом.

— Но у меня к вам две просьбы.

— Какие?

— Прежде всего о небольшой сумме денег, которую король вам возвратит.

— Деньги! — вскричал Горанфло, быстро поднявшись с места.— У меня ими полны сундуки!

— Клянусь богом, вам можно позавидовать,— сказал Шико.

— Хотите тысячу экю?

— Да нет же, дорогой друг, это слишком много. Вкусы у меня простые, желания скромные. Звание королевского посланца не вскружило мне голову; я не только не хвалюсь им, я стараюсь его скрыть. Мне достаточно сотни.

— Возьмите. Ну, а вторая просьба?

— Мне нужен оруженосец.

— Оруженосец?

— Да, спутник в дорогу. Я ведь человек компанейский.

— Ах, друг мой, будь я свободен, как в былые времена...— сказал со вздохом Горанфло.

— Да, но вы не свободны.

— Высокое звание налагает узы,— прошептал Горанфло.

— Увы! — произнес Шико.— Всего сразу не охватишь. Не имея возможности, дражайший настоятель, путешествовать в вашем достопочтенном обществе, я удовлетворюсь братцем Жаком.

— Братцем Жаком?

— Да, юноша пришелся мне по вкусу.

— Он в твоем распоряжении, друг мой.

Настоятель позвонил в колокольчик. Тотчас же появился келейник.

— Позовите брата Жака, а также брата, выполняющего поручения в городе...

— Жак,— сказал Горанфло,— даю вам чрезвычайной важности поручение.

— Мне, господин настоятель? — удивленно спросил юноша.

— Да, вы будете сопутствовать господину Роберу Брике в его далеком путешествии.

— О! — восторженно вскричал юный брат.— Путешествовать на вольном воздухе, на свободе!.. Мы каждый день будем фехтовать, правда, господин Робер Брике?

— Да, дитя мое.

— И мне можно взять аркебуз?

— Да.

Жак выбежал из комнаты, издавая радостные крики.

— Что касается поручения,— сказал Горанфло,— то прошу вас, приказывайте... Подите сюда, брат Панург.

— Панург! — прошептал Шико, у которого это имя вызывало не лишенное приятности воспоминание.— Панург!..

XXIV. Духовная дочь Горанфло

Панург тотчас же явился. Со своими маленькими глазками, острым носом и заостренным подбородком он очень напоминал лису.

Шико смотрел на него одно мгновение, но этого было достаточно, чтобы по достоинству оценить монастырского посланца.

Панург смиренно остановился в дверях.

— Подойдите, господин курьер. Знаете вы Лувр? — спросил Шико.

— Да, сударь.

— А известен ли вам в Лувре некий Генрих де Валуа?

— Король?

— Не знаю, действительно ли он король,— сказал Шико,— но так его называют.

— Мне придется иметь дело с королем?

— Именно. Вы его знаете в лицо?

— Хорошо знаю, господин Брике.

— Вы скажете, что вам необходимо с ним поговорить.

— Меня допустят?

— Да, к его камердинеру. Монашеская ряса послужит вам пропуском. Его величество, как вы знаете, отличается набожностью.

— А что я должен сказать камердинеру его величества?

— Вы скажете, что посланы к нему Тенью.

— Какой тенью?

— Любопытство — большой недостаток, брат мой.

— Простите.

— И что вы пришли за письмом.

— Каким письмом?

— Опять?

— Ах да, правда.

— Вы добавите, что Тень будет ожидать письма на Шарантонской дороге.

— И я должен нагнать вас на этой дороге?

— Совершенно верно.

Панург направился к двери и приподнял портьеру — Шико показалось, что за портьерой кто-то подслушивает.

Шико обладал острым умом и тотчас же решил, что там находится брат Борроме.

«А, ты подслушиваешь,— подумал он.— Тем лучше, нарочно буду говорить погромче».

— Значит, дорогой друг,— сказал Горанфло,— король возложил на вас почетную миссию?

— Да, и притом конфиденциальную.

— Политического характера, полагаю.

— Я тоже так полагаю.

— Как, вы не знаете толком, какая миссия на вас возложена?

— Я знаю, что должен отвезти письмо, вот и все.

— Это, верно, государственная тайна?

— Думаю, что да.

— И вы даже не подозреваете, какая?

— Мы ведь одни — не так ли? — и я могу вам сказать все, что думаю.

— Говорите. Я нем как могила.

— Так вот, король решил наконец оказать помощь герцогу Анжуйскому.

— Вот как?

— Да. Сегодня ночью с этой целью должен был выехать господин де Жуаез.

— Ну, а вы, друг мой?

— Я еду в сторону Испании.

— А каким способом?

— Пешком, верхом, в повозке — как придется.

— Жак будет вам приятным спутником. Вы хорошо сделали, что выбрали его,— он, чертенок, владеет латынью.

— Должен признаться, мне он очень понравился.

— Ваше желание — закон, друг мой. Но я думаю, что он будет для вас и отличным помощником в случае какой-нибудь стычки.

— Благодарю, дорогой друг. Мне остается только проститься с вами.

— Прощайте!

— Что вы делаете?

— Намереваюсь дать вам пастырское благословение.

— Ну вот еще,— сказал Шико,— между нами это лишнее.

— Вы правы,— ответил Горанфло,— благословение хорошо для чужих.

И друзья нежно расцеловались.

— Жак! — крикнул настоятель.— Жак!

Между портьерами показалась лисья физиономия Панурга.

— Как! Вы еще не уехали? — вскричал Шико.

— Простите, сударь.

— Отправляйтесь скорее,— сказал Горанфло,— господин Брике торопится. Где Жак?

В свою очередь появился брат Борроме со слащавой улыбкой на устах.

— Брат Жак ушел,— сказал он.

— Как ушел? — вскричал Шико.

— Разве вы не просили, сударь, послать кого-нибудь в Лувр?

— Но я послал Панурга,— сказал Горанфло.

— Какой же я дурень! А мне послышалось, что вы поручили это Жаку,— сказал Борроме, хлопнув себя по лбу.

Шико нахмурился. Но раскаяние Борроме было, по-видимому, столь искренним, что упрекать его было бы просто жестоко.

— Придется мне подождать Жака,— сказал Шико.

Борроме поклонился, в свою очередь нахмурившись.

— Кстати,— сказал он,— я забыл доложить сеньору настоятелю — а ведь для этого и поднялся сюда,— что неизвестная дама изволила прибыть и просить у вашего преподобия аудиенции.

Шико навострил уши.

— Она одна? — спросил Горанфло.

— Нет, с пажом.

— Молодая? — спросил Горанфло.

Борроме стыдливо опустил глаза.

«Он ко всему и лицемер»,— подумал Шико.

— Друг мой,— обратился Горанфло к мнимому Роберу Брике,— ты сам понимаешь...

— Понимаю,— сказал Шико,— и удаляюсь. Подожду в соседней комнате или во дворе.

— Отлично, любезный друг.

— Отсюда до Лувра далеко, сударь,— заметил Борроме,— и брат Жак может вернуться поздно; к тому же лицо, к которому он послан, не решится доверить важное письмо мальчику.

— Вы поздновато подумали об этом, брат Борроме.

— Бог мой, я же не знал! Если бы мне поручили...

— Хорошо, хорошо, я потихоньку пойду в сторону Шарантона. Посланец, кто бы он ни был, нагонит меня в пути.

И он направился к выходу.

— Не сюда, сударь, простите,— поспешил за ним Борроме,— отсюда должна прийти неизвестная дама, а она не желает ни с кем встречаться.

— Вы правы,— улыбнулся Шико,— я сойду по боковой лестнице.

И он открыл дверь небольшого чулана.

— Дорогу вы знаете? — с беспокойством спросил Борроме.

— Как нельзя лучше.

За чуланом была комната, выходившая на площадку боковой лестницы.

Шико говорил правду: дорогу он знал, но комната была неузнаваема — стены завешаны доспехами и оружием, на столах и консолях сабли, шпаги и пистолеты, все углы забиты мушкетами и аркебузами.

Шико задержался в этом помещении: ему захотелось все хорошенько обдумать.

«От меня прячут Жака, прячут даму, а самого выпроваживают по боковой лестнице. Как хороший стратег, я должен делать обратное тому, к чему меня принуждают. Поэтому я дождусь Жака и займу позицию, которая даст мне возможность увидеть таинственную незнакомку... Ого! Вот здесь в углу валяется прекрасная кольчуга — эластичная, тонкая, отличнейшего закала».

Он поднял кольчугу и залюбовался ею.

«А мне-то как раз нужна такая кольчуга,— сказал он себе.— Она легка, словно полотняная, и слишком узка для настоятеля. Честное слово, можно подумать, что кольчугу изготовили для меня. Позаимствуем же ее у дона Модеста. По возвращении моем он получит ее обратно».

Шико, не теряя времени, сложил кольчугу и спрятал себе под одежду.

Он завязывал последний шнурок куртки, когда на пороге появился брат Борроме.

— Ого! — прошептал Шико.— Опять ты! Но поздновато, друг мой.

Скрестив за спиной свои длинные руки и откинув голову, Шико делает вид, будто любуется трофеями.

— Господин Робер Брике хочет выбрать себе подходящее оружие? — спросил Борроме.

— Я, дорогой друг?.. Боже мой, для чего мне оружие?

— Но вы так хорошо им владеете!

— В теории, любезный брат, в теории. Жалкий буржуа вроде меня ловко действует лишь руками и ногами. Чего ему недостает и всегда будет недоставать — это воинской доблести. Рапира в моей руке сверкает довольно красиво, но вооружите шпагой Жака — и, ей-богу, он заставит меня отступить отсюда до Шарантона.

— Вот как? — удивился Борроме, наполовину убежденный простодушным видом Шико, который к тому же принялся горбиться, кривиться и косить глазом усерднее, чем когда-либо.

— Да мне и дыхания не хватает,— продолжал Шико.— Вы заметили, что я слаб в обороне? Ноги никуда не годятся — это мой главный недостаток.

— Разрешите заметить, сударь, что путешествовать с таким недостатком еще труднее, чем фехтовать.

— А вы знаете, что мне предстоит путешествовать? — небрежно заметил Шико.

— Я слышал это от Панурга,— покраснев, ответил Борроме.

— Вот странно, не припомню, чтобы я говорил об этом Панургу. Но неважно. Скрывать мне нечего. Да, брат мой, я отправляюсь к себе на родину, где у меня есть кое-какое имущество.

— Вы оказываете брату Жаку большую честь, господин Брике.

— Тем, что беру его с собой?

— Да и тем, что даете ему возможность увидеть короля.

— Или камердинера его величества: вероятнее всего, что брат Жак ни с кем другим и не увидится.

— Так вы завсегдатай в Лувре?

— О да, сударь мой. Я поставляю теплые чулки королю и молодым придворным.

— Королю?

— Я имел с ним дело, когда он был всего только герцогом Анжуйским. По возвращении из Польши он вспомнил обо мне и сделал меня придворным поставщиком.

— Это ценнейшее для вас знакомство, господин Брике.

— Знакомство с его величеством?

— Да.

— Не все согласились бы с вами, брат Борроме.

— О, лигисты!

— Теперь все более или менее лигисты.

— Но вы-то, конечно, не лигист?

— А почему вы так думаете?

— Ведь у вас личное знакомство с королем.

— Гм, гм, у меня тоже своя политика,— сказал Шико.

— Да, но ваша политика не расходится с королевской.

— Напрасно вы так полагаете. У нас с ним частенько бывают размолвки.

— Если так, то почему же он возложил на вас какую-то миссию?

— Вы хотите сказать — поручение?

— Миссию или поручение — это несущественно. И для того и для другого требуется доверие.

— Королю важно лишь одно — чтобы у меня был верный глаз.

— Верный глаз?

— Да.

— В делах политических или финансовых?

— Да нет же, верный глаз на ткани.

— Что? — воскликнул ошеломленный Борроме.

— Конечно. Сейчас объясню, в чем дело.

— Слушаю.

— Вы знаете, что король совершил паломничество к богоматери Шартрской?

— Да, молился о ниспослании ему наследника.

— И дал обет поднести Шартрской богоматери такое же одеяние, как у богоматери Толедской,— говорят, это самое красивое и роскошное из всех одеяний пресвятой девы, какие только существуют.

— Так что вы отправляетесь...

— В Толедо, милейший брат Борроме, в Толедо, осмотреть это одеяние и сшить точно такое же.

Борроме, видимо, колебался — верить или не верить словам Шико.

По зрелом размышлении мы должны признать, что он ему не поверил.

— Вы сами понимаете...— продолжал Шико, словно и не догадываясь о том, что происходит в уме брата казначея,— вы сами понимаете, что при таких обстоятельствах мне было бы очень приятно путешествовать в обществе служителей церкви. Но время идет, и брат Жак не замедлит вернуться. Впрочем, не лучше ли будет подождать его вне стен монастыря — например, у Фобенского креста?

— Это было бы действительно лучше,— согласился Борроме.

— Так вы пошлете его ко мне?

— Незамедлительно.

— Благодарю вас, любезный брат Борроме, я в восторге, что с вами познакомился.

Они раскланялись друг с другом. Шико спустился по боковой лестнице. Брат Борроме запер за ним дверь на засов.

«Дело ясное,— подумал Шико,— видимо, им очень важно, чтобы я не увидел этой дамы. Значит, надо ее увидеть».

Дабы осуществить это намерение, Шико вышел из обители Святого Иакова, стараясь, чтобы все его заметили, и направился к Фобенскому кресту по самой середине дороги.

Добравшись до Фобенского креста, он свернул за угол какой-то фермы и, чувствуя, что теперь ему нипочем все аргусы настоятеля, будь у них, как у Борроме, соколиные глаза, спустился в канаву, скрытую живой изгородью, вернулся обратно и, никем не замеченный, проник в густую буковую рощу как раз напротив монастыря.

Это место оказалось прекрасным наблюдательным пунктом. Он сел или, вернее, лег на землю и стал ждать, чтобы брат Жак пришел в монастырь, а дама оттуда вышла.

XXV. В засаде

Шико, как мы знаем, быстро принимал решения.

Итак, он решился ждать, расположившись как можно удобнее.

В чаще молодых буков он проделал отверстие, чтобы видеть всех прохожих, которые могли его заинтересовать.

Но окрестности были безлюдны.

Шико заметил только бедно одетого человека, который с помощью длинной-предлинной заостренной палки что-то измерял на дороге, замощенной иждивением его величества короля Франции.

Шико нечего было делать.

Он крайне обрадовался, что может сосредоточить внимание на этом человеке.

Что он измерял? Для чего? Эти вопросы всецело занимали метра Брике в течение нескольких минут.

К несчастью, когда этот человек, закончив промеры, намеревался поднять голову, более важное открытие привлекло внимание Шико, и он устремил взгляд в другую сторону.

Дверь, выходившая на балкон Горанфло, распахнулась, и глазам наблюдателя предстали достопочтенные округлости дона Модеста, который, выпучив глаза и сияя праздничной улыбкой, любезно вел даму, закутанную в бархатный, обшитый мехом плащ.

«Вот и дама, приехавшая на исповедь,— подумал Шико.— По фигуре и движениям она молода; посмотрим на головку. Так, хорошо, повернитесь немного... Отлично! А вот и ее паж. Тут не может быть никаких сомнений — это Мейнвиль. Да, да, закрученные кверху усы, шпага с чашкой — это он. Но будем трезво рассуждать: если я не ошибся насчет Мейнвиля, то почему бы мне ошибиться насчет госпожи де Монпансье? Ибо эта женщина... ну да, черт побери, эта женщина — герцогиня!»

Легко понять, что с этой минуты Шико перестал обращать внимание на человека, делавшего промеры, и уже не спускал глаз с обеих знатных особ.

Вскоре за ними показалось бледное лицо Борроме, к которому Мейнвиль обратился с каким-то вопросом.

«Черт побери,— подумал Шико,— уж не хочет ли герцогиня, чего доброго, переселиться к дону Модесту, когда у нее в ста шагах отсюда имеется свой дом?»

Но тут Шико насторожился еще больше.

Пока герцогиня беседовала с Горанфло или, вернее, заставляла его болтать, господин де Мейнвиль подал кому-то знак.

Между тем Шико никого не видел, кроме человека, делавшего измерения на дороге.

И действительно, знак был подан именно ему, вследствие чего человек этот приблизился к балкону.

Горанфло продолжал расточать любезности даме, приехавшей на исповедь.

Господин де Мейнвиль что-то сказал на ухо Борроме, и тот сейчас же принялся жестикулировать за спиной у настоятеля. Шико ничего не мог уразуметь, но человек внизу, по-видимому, все отлично понял — он отошел и остановился в другом месте, где, повинуясь новому сигналу Борроме и Мейнвиля, застыл в неподвижности, словно статуя.

По новому знаку брата Борроме этот человек вдруг побежал к воротам аббатства, в то время как господин де Мейнвиль следил за ним с часами в руках.

— Черт возьми! — прошептал Шико.— Все это довольно подозрительно. Задача поставлена нелегкая. Но, как бы она ни была трудна, я, может быть, разрешу ее, если увижу лицо человека, делающего измерения.

В эту минуту человек обернулся, и Шико признал в нем Никола Пулена, чиновника парижского городского суда, того самого, кому он накануне продал свои старые доспехи.

«Да здравствует лига! — подумал он.— Теперь я достаточно видел; если немного пошевелить мозгами, догадаюсь и об остальном».

Между тем балкон опустел. Герцогиня в сопровождении пажа вышла из аббатства и села в крытые носилки, поджидавшие у ворот.

Дон Модест, провожавший их к выходу, без конца отвешивал поклоны.

Герцогиня еще не спускала занавесок, отвечая на любезности настоятеля, когда какой-то монах поравнялся с носилками и устремил внутрь их любопытный взгляд.

В этом монахе Шико узнал брата Жака, который торопливо шел из Лувра и теперь остановился, пораженный красотой госпожи де Монпансье.

«Мне везет,— подумал Шико.— Если бы Жак вернулся раньше, я не увидел бы герцогиню, так как пришлось бы спешить к Фобенскому кресту. А теперь госпожа де Монпансье на моих глазах уезжает. Наступает очередь метра Никола Пулена. С ним я быстро покончу».

В самом деле, герцогиня проехала мимо не замеченного ею Шико и отправилась в Париж; Никола Пулен намеревался последовать за нею.

Ему, как и герцогине, надо было миновать рощицу, где притаился Шико.

Шико следил за ним, как охотник за дичью.

Когда Пулен поравнялся с ним, Шико подал голос:

— Эй, добрый человек, взгляните-ка сюда!

Пулен вздрогнул и повернул голову.

— Вы меня заметили? Отлично! — продолжал Шико.— А теперь сделайте вид, будто ничего не видели, метр Никола... Пулен.

Судейский подскочил, словно лань, услышавшая ружейный выстрел.

— Кто вы такой? — спросил он.— Что вам нужно?

— Я один из ваших недавних друзей. Что мне нужно? Растолковать вам это нелегко.

— Но чего вы желаете? Говорите.

— Чтобы вы спустились в канаву.

— Для чего?

— Узнаете. Сперва спускайтесь.

— Но...

— И садитесь спиной к кустарнику...

— Однако...

— Не глядя в мою сторону, с таким видом, будто вы не подозреваете о моем присутствии.

— Сударь...

— Я требую многого, согласен. Но что поделаешь — метр Робер Брике имеет право быть требовательным.

— Робер Брике! — вскричал Пулен, тотчас же выполняя то, что ему было велено.

— Отлично, присаживайтесь, вот так... Что это мы делаем измерения на Венсенской дороге?

— Я?

— Без всякого сомнения. Впрочем, нет ничего удивительного, если чиновнику городского суда приходится иногда выступать в качестве дорожного смотрителя.

— Верно,— сказал, несколько успокаиваясь, Пулен.— Как видите, я производил измерения.

— Тем более,— продолжал Шико,— что вы работали на глазах у именитейших особ.

— Именитейших особ? Не понимаю.

— Вы не знаете, кто дама и господин, которые стояли там на балконе и только что уехали в Париж?

— Клянусь вам...

— Как же приятно сообщить вам столь замечательную новость! Представьте себе, господин Пулен, что вами, как дорожным смотрителем, любовались госпожа герцогиня де Монпансье и господин граф де Мейнвиль... Пожалуйста, не шевелитесь.

— Сударь,— сказал Никола Пулен, пытаясь протестовать,— ваши слова, ваше обращение...

— Сидите спокойно, дорогой господин Пулен,— продолжал Шико,— иначе придется прибегнуть к крайним мерам.

Пулен вздохнул.

— Ну вот, хорошо,— продолжал Шико.— Итак, поскольку вы работали на глазах у этих особ, вам было бы невыгодно, милостивый государь, чтобы на вас обратила внимание другая весьма именитая особа, а именно — король.

— Король?

— Да, господин Пулен, его величество.

— Господин Брике, сжальтесь.

— Повторяю, дорогой господин Пулен, если вы пошевелитесь, вас ждет смерть. Сидите спокойно, чтобы не случилось беды.

— Но, во имя неба, чего вы от меня хотите?

— Хочу вашего блага. Ведь я же сказал — я вам друг.

— Сударь,— вскричал Никола Пулен в полном отчаянии,— не знаю, право, что я сделал худого его величеству, вам или кому бы то ни было!

— Дорогой господин Пулен, объяснения вы дадите в другом месте — это не мое дело. У меня, видите ли, свои соображения: по-моему, король вряд ли одобрит того судейского чиновника, который повинуется указаниям господина де Мейнвиля. Как знать, может быть, королю не понравится также, что его судейский чиновник в своем ежедневном донесении не отметил, что госпожа де Монпансье и господин Мейнвиль прибыли вчера утром

в славный город Париж? Знаете, господин Пулен, одного этого достаточно, чтобы поссорить вас с его величеством.

— Господин Брике, я попросту забыл сообщить об их прибытии, это не преступление, и, конечно, его величество поймет...

— Дорогой господин Пулен, мне кажется, что вы сами себя обманываете. Я гораздо яснее вижу исход этого дела.

— Что же вы видите?

— Самую настоящую виселицу.

— Господин Брике!

— Дайте же досказать, черт побери!.. На виселице — новая прочная веревка, четыре солдата по бокам; кругом — немалое число парижан, а на конце веревки — один хорошо знакомый мне судейский чиновник.

Никола Пулен дрожал теперь так сильно, что дрожь его передавалась молодым буковым деревцам.

— Сударь! — сказал он, с мольбой сложив руки.

— Но я вам друг, дорогой господин Пулен,— продолжал Шико,— и готов дать вам совет.

— Совет?

— Да, и, слава богу, такой, которому нетрудно последовать. Вы незамедлительно — понимаете? — незамедлительно отправитесь...

— Отправлюсь?..— перебил его испуганный Никола.— Но куда?

— Минуточку, дайте подумать,— сказал Шико.— Отправитесь к господину д'Эпернону...

— Другу короля?

— Совершенно верно. Вы побеседуете с ним с глазу на глаз...

— С господином д'Эперноном?

— Да, и расскажете ему все, касающееся обмера дороги.

— Но это безумие, сударь!

— Напротив, мудрость, высшая мудрость.

— Не понимаю.

— Однако все совершенно ясно. Если я просто-напросто донесу на вас, как на человека, занимавшегося измерениями и скупавшего доспехи, вас вздернут; если, наоборот, вы добровольно все раскроете, вас осыплют наградами и почестями... Похоже, что я вас не убедил...

Отлично, в таком случае мне придется возвратиться в Лувр, но, ей-богу, ради вас я сделаю все, что угодно.

И Никола Пулен услышал, как зашуршали ветки, которые, поднявшись с места, раздвинул Шико.

— Нет, нет! — сказал он.— Оставайтесь, пойду я.

— Вот и отлично. Вы сами понимаете, дорогой господин Пулен: никаких увертоk, ибо завтра я отправлю записочку самому королю, с которым я имею честь находиться в самых дружеских отношениях.

— Иду, сударь! — произнес совершенно уничтоженный Пулен.— Но вы странным образом злоупотребляете...

— Ах, дорогой господин Пулен, вы должны молебны за меня служить. Пять минут назад вы были государственным преступником, а я превратил вас в спасителя отечества. Но бегите скорей, дорогой господин Пулен, ибо я очень тороплюсь, а уйти отсюда раньше вас не могу. Особняк д'Эпернон, не забудьте.

Никола Пулен в полном отчаянии вскочил на ноги и стремительно понесся к Сент-Антуанским воротам.

«Давно пора,— подумал Шико.— Из монастыря кто-то идет ко мне. Но это не маленький Жак. Эге! Кто этот верзила, сложенный, как зодчий Александра Великого, который хотел обтесать Афонскую гору? Черти полосатые! Для шавки вроде меня такой пес — неподходящая компания».

Увидев посланца, Шико поспешил к Фобенскому кресту, где они должны были встретиться. При этом ему пришлось отправиться кружным путем, а верзила монах быстро шел напрямик, что дало ему возможность первым добраться до креста.

Впрочем, Шико потерял время еще и потому, что, шагая, рассматривал монаха, чье лицо не внушало ему никакого доверия.

И правда, этот инок был настоящий филистимлянин.

Из-под небрежно надвинутого клобука выбивались космы волос, еще не тронутых ножницами монастырского цирюльника. Опущенные углы рта придавали ему выражение отнюдь не благочестивое; когда же его ухмылка переходила в смех, во рту обнажались три зуба, похожих на колья палисада за валами толстых губ.

Руки длинные и толстые; плечи такие, что на них можно было бы взвалить ворота Газы[1]; большой кухонный нож за веревочным поясом, сложенная в несколько раз мешковина, закрывавшая грудь наподобие щита,— такова была внешность этого монастырского Голиафа[2].

«Ну и образина! — подумал Шико.— И если к тому же он не несет мне приятных известий, то, на мой взгляд, подобная личность не имеет права на существование».

Когда Шико приблизился, монах, не спускавший с него глаз, приветствовал его почти по-военному.

— Чего вам надобно, друг мой? — спросил Шико.

— Вы господин Робер Брике?

— Собственной особой.

— В таком случае, у меня для вас письмо от преподобного отца настоятеля.

Шико взял письмо. Оно гласило:

«Дорогой друг, после того как мы расстались, я одумался. Поистине я не решаюсь предать хищным волкам, которыми кишит мир, овечку, доверенную мне господом. Как вы понимаете, я говорю о нашем маленьком Жаке Клемане — он был только что принят королем и отлично выполнил ваше поручение.

Вместо Жака, который еще слишком юн и вдобавок нужен здесь, в аббатстве, я посылаю вам доброго и достойного брата из нашей обители. Нравом он кроток и духом невинен: я уверен, что вы охотно примете его в качестве спутника...»

«Да, как бы не так»,— подумал Шико, искоса бросив взгляд на монаха.

«К письму сему я прилагаю свое благословение, сожалея, что не смог дать вам его лично. Прощайте, дорогой друг».

— Какой прекрасный почерк! — сказал Шико, закончив чтение.— Пари держу, что письмо написано казначеем.

— Письмо действительно написал брат Борроме,— ответил Голиаф.

— В таком случае, друг мой,— продолжал Шико, лю-

[1] По библейскому преданию, когда богатырь Самсон пришел во вражеский город Газу, жители города пытались захватить его, заперев ворота. Однако Самсон сломал ворота и унес их с собой.

[2] Голиаф — упоминаемый в Библии великан, отличавшийся колоссальной силой.

безно улыбнувшись высокому монаху,— вы можете возвратиться в аббатство!

— Я?

— Да, вы передадите его преподобию, что мои планы изменились, и я предпочитаю путешествовать один.

— Как, вы не возьмете меня с собой, сударь? — спросил монах тоном, в котором к изумлению примешивалась угроза.

— Нет, друг мой, нет.

— А почему, скажите пожалуйста?

— Потому что я должен соблюдать бережливость: время теперь трудное, а вы, видимо, непомерно много едите.

— Жак ест не меньше моего.

— Да, но Жак — настоящий монах.

— А я что такое?

— Вы, друг мой, ландскнехт или жандарм, а это может оскорбить богоматерь, к которой я послан.

— Что вы тут мелете насчет ландскнехтов и жандармов? — возразил монах.— Я инок из обители Святого Иакова. Разве вы не видите этого по моему облачению?

— Не всяк монах, на ком клобук, друг мой,— ответил Шико.— Зато человек с ножом за поясом явно похож на воина. Передайте это, пожалуйста, брату Борроме.

Шико отвесил великану прощальный поклон, и тот направился обратно в монастырь, ворча, как прогнанный пес.

Наш путешественник подождал, пока тот, кто должен был стать его спутником, исчез за воротами монастыря. Тогда Шико спрятался за живой изгородью, снял куртку и надел под полотняную рубаху уже знакомую нам тонкую кольчугу.

Кончив переодеваться, он напрямик через поле вышел к Шарантонской дороге.

XXVI. Гизы

Вечером того дня, когда Шико отправился в Наварру, мы снова встречаемся с быстроглазым юношей, который попал в Париж на лошади Карменжа и, как мы уже знаем, оказался не кем иным, как прекрасной дамой, явившейся на исповедь к дону Модесту Горанфло.

На этот раз она отнюдь не пыталась скрыть, кто она такая, или переодеться в мужское платье.

Госпожа де Монпансье, в изящном наряде с высоким кружевным воротником и целым созвездием драгоценных камней в прическе по моде того времени, нетерпеливо ждала кого-то, стоя у окна в большом зале дворца Гизов. Сгущались сумерки, и герцогиня с трудом различала ворота парадного подъезда.

Наконец послышался конский топот, и минут через десять привратник, таинственно понизив голос, доложил о прибытии монсеньера герцога Майенского.

Госпожа Монпансье устремилась навстречу брату так поспешно, что забыла ступать на носок правой ноги, чтобы скрыть легкую хромоту.

— Как, брат,— спросила она,— вы одни?

— Да, сестрица,— ответил герцог, целуя руку герцогини и усаживаясь.

— Где же Генрих? Разве вы не знаете, что все его ждут?

— Генриху, сестрица, в Париже пока нечего делать. Зато у него много дел в городах Фландрии и Пикардии. Работать нам приходится медленно, скрытно; зачем же ему все бросать и ехать в Париж, где все уже налажено?

— Да, но все расстроится, если вы не поторопитесь.

— Полноте!

— А я вам говорю, что парижские буржуа хотят видеть своего Генриха Гиза, ждут его, бредят им.

— Придет время, и они его увидят. Разве Мейнвиль им этого не растолковал?

— Растолковал. Но вы ведь знаете, что он не пользуется таким влиянием, как вы?

— Давайте, сестрица, перейдем к самому срочному. Как Сальсед?

— Умер.

— Не проговорился?

— Ни слова не вымолвил.

— Хорошо. Как с вооружением?

— Все готово.

— Париж?

— Разделен на шестнадцать округов.

— И в каждом округе назначенный нами начальник?

— Да.

— Остается спокойно ждать, хвала господу! Это я и скажу нашим славным буржуа.

— Они ничего не станут слушать.

— Полноте!

— Говорю вам, в них точно бес вселился.

— Милая сестрица, вы сами так нетерпеливы, что и другим склонны приписать излишнюю торопливость.

— Вы меня упрекаете?

— Боже сохрани! Но надо слушаться брата Генриха. Он же не хочет поспешных действий.

— Что ж тогда? — нетерпеливо спросила герцогиня.

— Но что вынуждает вас торопиться?

— Да все, если хотите.

— С чего же, по-вашему, начать?

— Прежде всего захватить короля.

— Это у вас навязчивая идея. Не скажу, чтобы она была плоха. Но задумать и выполнить — разные вещи. Припомните-ка, сколько раз наши попытки проваливались.

— Времена изменились. Короля теперь некому защищать.

— Да, кроме швейцарцев, шотландцев, французских гвардейцев.

— Слушайте, брат, он постоянно выезжает в сопровождении всего-навсего двух слуг.

— Я ни разу этого не видел.

— Так увидите, если пробудете в Париже хотя бы три дня.

— У вас опять новый замысел!

— Вы хотите сказать — план?

— Ну так сообщите, в чем он состоит.

— О, это чисто женская хитрость, и вы над ней только посмеетесь.

— Боже меня упаси уязвить ваше авторское самолюбие. Рассказывайте.

— Так вот, коротко говоря...

В это мгновение служитель поднял портьеру:

— Угодно ли вашей светлости принять господина де Мейнвиля?

— Моего сообщника? — сказала герцогиня.— Впустите.

Господин де Мейнвиль вошел и поцеловал руку герцогу Майенскому.

— Одно только слово, монсеньер. Я прибыл из Лувра.

— Ну? — вскричали в один голос Майен и герцогиня.

— Подозревают, что монсеньер в Париже.

— Кто? Каким образом?

— Я разговаривал с начальником поста в Сен-Жермен л'Оксеруа. Мимо нас прошли два гасконца.

— Вы их знаете?

— Нет. На них было новое — с иголочки — обмундирование. «Черт побери,— сказал один,— мундир ваш великолепен. Но ваша вчерашняя кираса послужила бы вам лучше».— «Полноте, как ни остра шпага господина де Майена,— ответил другой,— бьюсь об заклад, что не проколет ни этого мундира, ни той кирасы». Тут гасконец принялся бахвалиться, и я понял из его слов, что вашего прибытия ждут.

— У кого служат эти гасконцы?

— Не имею понятия.

— Они с тем и ушли?

— Нет. Говорили они очень громко. Имя вашей светлости услышали прохожие. Кое-кто остановился, начались расспросы — правда ли, что вы приехали. Гасконцы собирались ответить, но тут к ним подошел какой-то человек. Или я сильно ошибаюсь, монсеньер, или это был Луаньяк.

— Что же дальше?

— Он шепотом сказал несколько слов, и гасконцы покорно последовали за ним.

— Так что...

— Я ничего больше не узнал. Но, полагаю, надо остерегаться.

— Вы за ними не проследили?

— Издали: я опасался, как бы во мне не узнали дворянина из свиты вашей милости. Они направились к Лувру и скрылись за мебельным складом. Но прохожие на разные лады повторяли: «Майен, Майен...»

— Есть простой способ предупредить опасность,— сказал герцог.

— Какой?

— Сегодня же вечером отправиться к королю.

— К королю?

— Конечно. Я приехал в Париж и должен сообщить ему, как обстоят дела в его верных пикардийских городах. Против этого нечего возразить?

— Способ хороший,— сказал Мейнвиль.

— Это неосторожно,— возразила герцогиня.

— Но необходимо, сестра, если известно, что я в Париже. К тому же Генрих считает, что мне следует в дорожном платье явиться в Лувр и передать королю поклон от всей нашей семьи. Выполнив этот долг, я буду свободен и смогу принимать кого мне вздумается.

— Например, членов комитета. Они вас ждут.

— Я приму их во дворце Сен-Дени по возвращении из Лувра,— сказал Майен.— Итак, Мейнвиль, пусть мне дадут того же коня, запыленного после дороги. Вы отправитесь со мною в Лувр... А вы, сестрица, дожидайтесь нашего возвращения.

— Здесь, братец?

— Нет, во дворце Сен-Дени, где находятся мои слуги и пожитки,— предполагается, что я остановлюсь там на ночлег. Мы прибудем туда часа через два.

XXVII. В Лувре

В тот же день король велел позвать господина д'Эпернона.

Было около полудня.

Герцог поспешил явиться к королю.

Стоя в приемной, его величество внимательно разглядывал какого-то монаха из обители Святого Иакова. Тот краснел и опускал глаза под его пронзительным взором.

Король отвел д'Эпернона в сторону.

— Посмотри-ка, герцог,— сказал он, указывая ему на молодого человека,— какой у этого монаха странный вид.

— Чему вы изволите удивляться, ваше величество? — возразил д'Эпернон.— По-моему, вид у него самый обычный.

— Вот как?

И король задумался.

— Как тебя зовут? — спросил он у монаха.

— Брат Жак, государь.

— Другого имени у тебя нет?

— По фамилии Клеман.

— Брат Жак Клеман? — повторил король.

— Может, по мнению вашего величества, и имя у него странное? — молвил, смеясь, герцог.

Король не ответил.

— Ты отлично выполнил поручение,— сказал он монаху, не спуская с него глаз.

— Какое поручение, государь? — спросил герцог с бесцеремонностью, к которой его приучило каждодневное общение с королем.

— Пустяки,— ответил Генрих,— это у меня небольшой секрет с человеком, которого ты позабыл.

— Поистине, государь,— сказал д'Эпернон,— вы так странно смотрите на мальчика, что смущаете его.

— Да, правда. Не знаю, почему я не могу оторвать от него взгляда. Мне кажется, что я уже видел его или когда-нибудь увижу. Кажется, он являлся мне во сне... Ну вот, я начинаю заговариваться. Ступай, монашек, ты хорошо выполнил поручение. Письмо будет послано, не беспокойся... Д'Эпернон!

— Государь?

— Выдать ему десять экю.

— Благодарю,— произнес монах.

— Можно подумать, что ты недоволен подарком! — сказал д'Эпернон. Он не понимал, как это монах может пренебрегать десятью экю.

— Я предпочел бы один из замечательных испанских кинжалов, что висят тут на стене,— ответил Жак.

— Как? Тебе не нужны деньги, чтобы побывать в балаганах на сен-лоранской ярмарке или в вертепах на улице Сент-Маргерит? — спросил д'Эпернон.

— Я дал обет бедности и целомудрия,— ответил Жак.

— Вручи ему один из этих испанских клинков, и пусть идет,— сказал король.

Герцог, порядочный скопидом, выбрал кинжал подешевле и подал его монашку.

Это был каталонский нож с широким, остро наточенным лезвием и прочной роговой рукояткой, украшенной резьбой.

Жак удалился в полном восторге от того, что получил такое прекрасное оружие.

Когда Жак ушел, герцог снова попытался расспросить короля.

— Герцог,— прервал его король,— найдется ли среди твоих Сорока пяти два или три хороших наездника?

— По меньшей мере человек двенадцать, государь, а через месяц все они будут отличными кавалеристами.

— Выбери двух человек, и пусть сейчас же зайдут ко мне.

Герцог поклонился, вышел и вызвал в приемную Луаньяка.

Тот незамедлительно явился на зов.

— Луаньяк,— сказал герцог,— пришлите мне сейчас же двух хороших кавалеристов. Его величество сам даст им поручение.

Быстро пройдя через галерею, Луаньяк открыл дверь помещения, которое мы будем называть отныне казармой Сорока пяти.

— Господин де Карменж! Господин де Биран! — начальническим тоном позвал он.

— Господин де Биран вышел,— сказал дежурный.

— Как, без разрешения?

— Он обследует один из городских округов по поручению герцога д'Эпернона.

— Отлично! Тогда позовите господина де Сент-Малина.

Оба имени громко прозвучали под сводами зала, и двое избранников тотчас же появились.

— Господа,— сказал Луаньяк,— пойдемте к господину д'Эпернону.

Герцог, отпустив Луаньяка, повел их к королю.

Король жестом велел д'Эпернону удалиться и остался наедине с молодыми людьми.

В первый раз им пришлось предстать перед королем. Вид у Генриха был весьма внушительный.

Волнение сказывалось у них по-разному.

У Сент-Малина глаза блестели, усы топорщились, мускулы напряглись.

Карменж был бледен; он не решался смотреть на короля.

— Вы из числа моих Сорока пяти, господа? — спросил король.

— Я удостоен этой чести, государь,— сказал Сент-Малин.

— А вы, сударь?

— Я полагал, что мой товарищ ответил за нас обоих, государь. Я всецело в распоряжении вашего величества, как и любой из нас.

— Хорошо. Вы сядете на коней и поедете по дороге в Тур. Вы ее знаете?

— Спрошу,— сказал Сент-Малин.

— Найду,— сказал Карменж.

— Будете скакать до тех пор, пока не нагоните одинокого путника.

— Ваше величество соблаговолит указать нам его приметы? — спросил Сент-Малин.

— У него очень длинные руки и ноги, на боку — длинная шпага.

— Можно узнать его имя, государь? — спросил Эрнотон де Карменж.

— Его зовут Тень,— сказал Генрих.

— Мы будем спрашивать имена всех путников.

— И обыщем все гостиницы.

— Когда вы встретите нужного вам человека, вы передадите ему это письмо.

Оба молодых человека одновременно протянули руки.

Король колебался.

— Как вас зовут? — спросил он у одного из них.

— Эрнотон де Карменж,— ответил тот.

— А вас?

— Рене де Сент-Малин.

— Господин де Карменж, вы будете хранить письмо, а господин де Сент-Малин передаст его кому следует.

Эрнотон принял от короля драгоценный пакет и уже намеревался спрятать его у себя под мундиром.

Сент-Малин задержал руку Карменжа и, почтительно поцеловав королевскую печать, отдал письмо Карменжу.

Эта лесть вызвала у Генриха III улыбку.

— Хорошо, господа, я вижу, вы верные слуги.

— Больше ничего не угодно, государь?

— Одно последнее указание, господа.

Молодые люди поклонились.

— Письмо это,— сказал Генрих,— важнее человеческой жизни. За сохранность его вы отвечаете головой. Передайте его Тени так, чтобы никто об этом не знал. Тень вручит вам расписку, которую вы мне предъявите. А главное — путешествуйте так, словно вы едете по личным делам. Можете идти.

Молодые люди вышли из королевского кабинета. Эрнотон был вне себя от радости — Сент-Малина мучила

зависть. У первого сверкали глаза — жадный взгляд второго готов был прожечь мундир товарища.

Господин д'Эпернон ждал их, намереваясь расспросить.

— Ваша светлость,— ответил Эрнотон,— король не дал нам разрешения говорить.

Они тут же отправились в королевскую конюшню, где и получили двух прекрасных лошадей.

Господин д'Эпернон, без сомнения, проследил бы за Карменжем и Сент-Малином, если бы не был предупрежден, что с ним желает срочно говорить какой-то незнакомец.

— Что это за человек? — раздраженно спросил герцог.

— Чиновник судебной палаты Иль-де-Франса.

— Да что я, тысяча чертей,— вскричал он,— эшевен, прево или стражник?!

— Нет, монсеньер, но вы друг короля,— послышался чей-то робкий голос.— Умоляю вас, выслушайте меня.

Герцог обернулся.

Перед ним стоял, сняв шляпу и низко опустив голову, жалкий проситель, который то бледнел, то краснел.

— Кто вы такой? — грубо обратился к нему герцог.

— Никола Пулен, к вашим услугам, монсеньер.

— Вы хотите со мной говорить?

— Прошу об этой милости.

— У меня нет времени.

— Даже если речь идет о жизни его величества? — прошептал на ухо д'Эпернону Никола Пулен.

— Хорошо, зайдите ко мне в кабинет.

Никола Пулен вытер потный лоб и последовал за герцогом.

XXVIII. Разоблачение

Проходя через свою приемную, д'Эпернон обратился к одному из дежуривших там дворян.

— Как ваше имя, сударь? — спросил он, увидев незнакомое лицо.

— Пертинакс де Монкрабо, монсеньер,— ответил дворянин.

— Так вот, господин де Монкрабо, станьте к моей двери и никого не впускайте.

— Слушаюсь, ваша светлость.

— Никого, понимаете?

— Так точно.

И господин Пертинакс в роскошном одеянии — оранжевых чулках при синем атласном мундире — скрестил руки и прислонился к стене возле портьеры.

Никола Пулен прошел за герцогом в кабинет. Он видел, как открылась дверь, как она затворилась, как опустилась портьера, и задрожал с головы до ног.

— Послушаем, что у вас там за заговор,— сухо произнес герцог.— Но, клянусь богом, если это окажется шуткой — берегитесь!

— Речь идет об ужасающем злодеянии, ваша светлость,— сказал Никола Пулен.

— Какое еще злодеяние?

— Ваша светлость...

— Меня хотят убить, не так ли? — прервал его д'Эпернон, выпрямившись, словно спартанец.

— Речь идет о короле, монсеньер. Его собираются похитить.

— Опять старые разговоры о похищении! — пренебрежительно сказал д'Эпернон. Когда же намереваются похитить его величество?

— В первый раз, когда его величество отправится в Венсен.

— А как его похитят?

— Умертвив обоих слуг.

— Кто это сделает?

— Госпожа де Монпансье.

Д'Эпернон рассмеялся.

— Бедная герцогиня,— сказал он,— чего только ей не приписывают!

— Меньше, чем она намеревается сделать.

— И она занимается этим в Суассоне?

— Госпожа герцогиня в Париже.

— Вы ее видели?

— Я имел честь с нею беседовать.

— Честь?

— Я хотел сказать, несчастье, ваша светлость!

— Но, дорогой мой, не герцогиня же похитит короля?

— С помощью своих клевретов, конечно.

— А откуда она будет руководить похищением?

— Из окна монастыря Святого Иакова, который, как вы знаете, находится у дороги в Венсен.

— Что за околесицу вы несете?

— Я говорю правду, монсеньер. Все меры приняты к тому, чтобы носилки остановились, поравнявшись с монастырем.

— А кто принял эти меры?

— Увы!

— Да говорите же, черт побери!

— Я, монсеньер.

Д'Эпернон отскочил назад.

— Вы? — сказал он.

Пулен вздохнул.

— Вы участвуете в заговоре, и вы же доносите? — продолжал д'Эпернон.

— Монсеньер,— сказал Пулен,— честный слуга короля должен на все идти ради него.

— Что верно, то верно; но вы рискуете попасть на виселицу.

— Я предпочитаю смерть унижению или гибели короля — вот почему я пришел к вам.

— Чувства эти весьма благородные, но возымели вы их, видимо, неспроста.

— Я подумал, монсеньер, что вы друг короля, что вы меня не выдадите и обратите ко всеобщему благу сделанные мною разоблачения.

Герцог долго всматривался в Пулена, внимательно изучая его бледное лицо.

— За этим что-то кроется...— сказал он.— Как ни решительна герцогиня, она не осмелилась бы одна пойти на такое дело.

— Она ожидает брата,— ответил Никола Пулен.

— Генриха! — вскричал д'Эпернон в ужасе, словно он узнал о приближении льва.

— Нет, не Генриха, монсеньер,— только герцога Майенского.

— А!..— с облегчением вздохнул д'Эпернон.— Но не важно: надо расстроить эти прекрасные замыслы.

— Разумеется, монсеньер,— согласился Пулен,— поэтому я и поторопился.

— Если вы сказали правду, сударь, то будете вознаграждены.

— Зачем мне лгать, монсеньер? Какой в этом толк? Ведь я ем хлеб его величества. Разве я не обязан ему верной службой?.. Предупреждаю: если вы мне не поверите, я дойду до самого короля, я готов умереть, чтобы доказать свою правоту.

— Нет, тысяча чертей, к королю вы не пойдете, слышите, метр Никола? Вы будете иметь дело только со мной.

— Хорошо, монсеньер. Я так сказал только потому, что вы как будто колеблетесь.

— Нет, я не колеблюсь. Для начала я должен вам тысячу экю.

— У меня семья, монсеньер.

— Ну так что ж, я и предлагаю вам тысячу экю!

— Если бы в Лотарингии узнали о том, что я сделал, каждое мое слово стоило бы мне пинты крови.

— К черту ваши объяснения! Итак, тысяча экю ваша.

— Благодарю вас, монсеньер.

Видя, что герцог подошел к сундуку и запустил в него руку, Пулен встал позади него.

Но герцог удовольствовался тем, что вынул из сундука книжечку, в которую записал крупными корявыми буквами: «Три тысячи ливров господину Никола Пулену», так что нельзя было понять, отдал он эти три тысячи ливров или остался должен.

— Считайте, что они у вас в кармане,— сказал он.

Пулен, который протянул было руку и выставил ногу, убрал и то и другое, что было похоже на поклон.

— Значит, договорились? — спросил герцог.

— О чем, монсеньер?

— Вы будете и впредь осведомлять меня.

Пулен колебался: ему навязывали ремесло шпиона.

— Неужели от вашей благородной преданности ничего не осталось?

— Напротив, монсеньер.

— Значит, я могу на вас рассчитывать?

Пулен сделал над собой усилие.

— Да, можете рассчитывать,— сказал он.

— И все будет известно мне одному?

— Так точно, вам одному, монсеньер.

— Ступайте, друг мой, ступайте... Ну, держись теперь, Майен!

С этими словами он поднял портьеру и выпустил Пулена. Затем поспешил к королю.

Король, устав от игры с собачками, играл теперь в бильбоке.

Д'Эпернон напустил на себя озабоченный вид, но король, поглощенный своим важным занятием, не обратил на это ни малейшего внимания.

В конце концов, удивленный упорным молчанием герцога, он поднял голову и окинул его быстрым взглядом.

— Что с тобой опять приключилось, ла Валет? — спросил он.— Умер ты, что ли?

— Дал бы бог мне умереть, государь,— ответил д'Эпернон,— я бы не видел того, что приходится видеть.

— Что? Мое бильбоке?

— Ваше величество, когда королю грозят величайшие опасности, подданный вправе тревожиться.

— Опять опасности! Черт бы тебя побрал, герцог!

И при этих словах король удивительно ловко подхватил шар из слоновой кости острием своего бильбоке.

— Вас окружают злейшие ваши враги, государь.

— Кто же, например?

— Герцогиня де Монпансье.

— Да, правда. Вчера она присутствовала на казни Сальседа.

— Вы знаете об этом?

— Как видишь.

— А о приезде господина Майена тоже знаете?

— Со вчерашнего вечера.

— Значит, это уже не секрет...— протянул неприятно пораженный герцог.

— Разве от короля можно что-нибудь утаить, дорогой мой? — небрежно проронил Генрих.

— Но кто мог вам сообщить?

— Разве тебе не известно, что у нас, помазанников божиих, бывают откровения свыше?

— Или полиция.

— Это одно и то же.

— У вашего величества имеется своя полиция, и вы ничего мне об этом не сказали! — продолжал уязвленный д'Эпернон.

— Кто же, черт побери, обо мне позаботится, кроме меня самого?

— Вы меня обижаете, государь.

— У тебя есть рвение, дорогой мой ла Валет,— это большое достоинство, но ты медлителен, а это крупный недостаток. Вчера твоя новость была бы вполне уместной, но сегодня...

— Что же сегодня, государь?

— Она малость запоздала, признайся.

— Напротив, для нее, видимо, еще слишком рано, раз вам не угодно меня выслушать,— сказал д'Эпернон.

— Мне? Да я уже битый час тебя слушаю.

— Как? Вам угрожают, вам готовят западню, а вы не беспокоитесь?

— А зачем? Ведь ты организовал мне охрану и еще вчера уверял, что обеспечил мое бессмертие. Ты хмуришься? Почему? Разве твои Сорок пять возвратились в Гасконь или же они больше ничего не стоят? Может быть, эти господа что мулы: испытываешь мула — у него жар пышет из ноздрей, купишь — он еле-еле плетется?

— Повремените, ваше величество, сами увидите.

— Буду очень рад. И скоро я увижу?

— Может быть, раньше, чем сами думаете, государь.

— Смотри, еще напугаешь меня!

— Увидите, увидите, государь. Кстати, когда вы едете за город?

— В субботу.

— Мне это и надо было знать, государь.

Д'Эпернон поклонился королю и вышел.

В приемной он вспомнил, что позабыл снять с поста господина Пертинакса. Но господин Пертинакс сам себя снял.

XXIX. Два друга

Теперь, если угодно читателю, мы последуем за двумя молодыми людьми, которых король, радуясь, что и у него есть маленькие тайны, отправил вслед своему посланцу Шико.

Вскочив на коней, Эрнотон и Сент-Малин чуть было не раздавили друг друга в воротах, ибо каждый старался не дать другому опередить себя.

Лицо Сент-Малина побагровело, щеки Эрнотона побледнели.

— Вы, сударь, причинили мне боль! — закричал первый, как только они оказались за воротами.

— Вы тоже сделали мне больно,— ответил Эрнотон.— Только я не жалуюсь.

— Вы, кажется, вознамерились преподать мне урок?

— Вы хотите затеять ссору? — флегматично произнес Эрнотон.— Напрасное старание!

— А почему бы я стал искать с вами ссоры? — презрительно спросил Сент-Малин.

— Во-первых, потому, что у нас на родине мой дом находится в двух лье от вашего, а меня, как человека древнего рода, все вокруг хорошо знают. Во-вторых, потому что вы взбешены, видя меня в Париже,— ведь вы воображали, будто вызвали вас одного. И, наконец, потому что король вручил письмо именно мне.

— Пусть так! — вскричал Сент-Малин, побледнев от ярости.— Согласен. Но из этого следует...

— Что именно?

— Что ваше общество мне неприятно.

— Уезжайте, если вам угодно. Черт побери, не я стану вас удерживать.

— Вы делаете вид, будто не понимаете.

— Напротив, милостивый государь, я отлично понимаю. Вам хотелось бы отнять у меня письмо и самому отвезти его. К сожалению, для этого пришлось бы меня убить.

— А может быть, этого-то мне и хочется!

— От слова до дела далеко.

— Спустимся вместе к реке, и вы увидите, что у меня слово не расходится с делом.

— Милостивый государь, когда король поручает мне доставить письмо...

— Что тогда?

— Я его доставляю.

— Я силой отниму у вас письмо, хвастунишка!

— Не вынуждайте меня размозжить вам череп, словно бешеной собаке!

— Что такое?

— У меня при себе пистолет, а у вас его нет.

— Ну, ты мне заплатишь за это! — пробормотал Сент-Малин, осаживая лошадь.

— Надеюсь, после того, как поручение будет выполнено.

— Каналья!

— Пока же, умоляю вас, сдержитесь, господин де Сент-Малин. Мы имеем честь служить королю, а у народа, если он сбежится, создастся худое мнение о королевских слугах. И кроме того, подумайте, как станут ликовать враги его величества, видя, что среди защитников престола царит вражда.

Сент-Малин в бешенстве рвал зубами свои перчатки.

— Легче, легче, сударь,— сказал Эрнотон.— Поберегите руки — вам же придется держать шпагу на поединке.

Трудно сказать, до чего довела бы Сент-Малина его все возрастающая ярость, но на Сент-Антуанской улице Эрнотон увидел чьи-то носилки, вскрикнул от изумления и остановился, разглядывая сидящую в них женщину, лицо которой было полускрыто вуалью.

— Мой вчерашний паж...— прошептал он.

Дама, по-видимому, не узнала его и проследовала мимо, откинувшись в глубь носилок.

— Помилуй бог, вы, кажется, заставляете меня ждать,— сказал Сент-Малин,— и притом лишь для того, чтобы любоваться дамами!

— Прошу извинить меня, сударь,— сказал Эрнотон, снова трогаясь в путь.

Теперь молодые люди ехали быстрой рысью по предместью Сен-Марсо и не заговаривали даже для перебранки.

Внешне Сент-Малин казался спокойным, но на самом деле дрожал от гнева. В довершение всего Сент-Малин заметил, что лошадь его в мыле и он не может угнаться за Эрнотоном. Это весьма озаботило Сент-Малина, и он принялся понукать ее и хлыстом и шпорами.

Дело происходило на берегу Бьевры.

Лошадь вступила в поединок с всадником, в котором он был побежден.

Сперва она осадила назад, потом встала на дыбы, сделала прыжок в сторону и, наконец, устремилась к Бьевре. Там она бросилась в воду, благодаря чему и освободилась от седока.

Проклятия, которыми осыпал ее Сент-Малин, были

слышны за целое лье в окружности, хотя их наполовину заглушала вода.

Когда ему удалось встать на ноги, глаза его вылезали из орбит, а лицо было в крови, стекавшей из расцарапанного лба.

Он огляделся по сторонам; лошадь уже скакала вверх по откосу. Сент-Малин понимал, что, разбитый усталостью, покрытый грязью, промокший, окровавленный, он не сможет догнать ее: даже попытка сделать это была бы смехотворной.

Тогда он припомнил слова, сказанные им Эрнотону. Если он не пожелал ни минуты ждать своего спутника на Сент-Антуанской улице, можно ли рассчитывать, что тот станет ожидать его два часа на дороге?

При этой мысли Сент-Малин перешел от гнева к беспросветному отчаянию, особенно когда увидел, что Эрнотон молча пришпорил коня и помчался наискось по какой-то дороге, видимо кратчайшей.

У людей, по-настоящему вспыльчивых, кульминация гнева похожа на безумие.

Одни принимаются бредить.

Другие доходят до полного физического и умственного изнеможения.

Сент-Малин машинально вытащил кинжал: у него мелькнула мысль вонзить его себе в грудь по самую рукоятку.

Никто, даже он сам, не мог бы сказать, как невыносимо страдал он в эту минуту.

Он поднялся по береговому откосу, руками и коленями упираясь в землю, и в полной растерянности устремил взгляд на дорогу: на ней никого не было.

В возбужденном мозгу Сент-Малина мысли одна другой мрачнее сменяли друг друга, но тут до его слуха донесся конский топот, и он увидел всадника.

Всадник — это был Карменж — вел под уздцы вторую лошадь. Оказывается, он поскакал наперерез коню Сент-Малина и перехватил его на узкой дороге.

Когда Сент-Малин увидел это, сердце его наполнилось радостью: он ощутил прилив добрых чувств, взор смягчился, но на лицо тотчас же набежала тень — он понял все превосходство Эрнотона, ибо признал в глубине души, что, будь он на месте своего спутника, ему и в голову не пришло бы поступить таким образом.

Благородство этого поступка сразило Сент-Малина; он взвешивал его, оценивал и невыразимо страдал.

Он пробормотал слова благодарности, на которые Эрнотон не обратил внимания, яростно схватил поводья и, несмотря на боль во всем теле, вскочил в седло.

Эрнотон не произнес ни одного слова и шагом поехал вперед, трепля по гриве коня.

Сент-Малин был искусным наездником. Приключившаяся с ним беда объяснялась чистой случайностью. После короткой борьбы он заставил коня подчиниться и перейти в рысь.

Дорога показалась Сент-Малину бесконечной.

Около половины третьего всадники заметили человека, за которым бежал пес. Путник отличался высоким ростом, на боку у него висела шпага. Но это не был Шико, несмотря на длинные руки и ноги.

Сент-Малин увидел, что Эрнотон проехал мимо, не обратив на встречного ни малейшего внимания.

В уме гасконца злобной молнией сверкнула мысль, что он может уличить Эрнотона в нерадении, и он подъехал к незнакомцу:

— Путник,— обратился он к нему,— вы никого не ждете?

Тот окинул взглядом Сент-Малина: надо признаться, вид у всадника был не очень-то располагающий.

Лицо, искаженное недавним приступом ярости, непросохшая одежда, следы крови на щеках, густые нахмуренные брови, дрожащая рука, протянутая скорее угрожающе, чем вопросительно,— все это показалось пешеходу довольно зловещим.

— Если я и жду кого-нибудь, то уж наверное не вас,— ответил он.

— Вы не очень-то вежливы, милейший! — сказал Сент-Малин, злясь при мысли, что ошибся и тем самым усугубил торжество соперника.

При этом он поднял хлыст, чтобы стегнуть путника. Но тот опередил Сент-Малина и ударил его палкой по плечу, потом свистнул своему псу, который вцепился в ногу коню и в бедро всаднику. Лошадь, разъярясь от боли, снова понесла, но на этот раз всадник удержался в седле. Так проскочил он мимо Эрнотона, который, взглянув на потерпевшего, даже не улыбнулся.

Наконец Сент-Малину удалось успокоить лошадь, и,

когда с ним поравнялся господин де Карменж, он сказал, превозмогая свою уязвленную гордость:

— Похоже, что у меня сегодня несчастный день. А ведь незнакомец очень походил по описанию на того, с кем мы должны встретиться.

Эрнотон хранил молчание.

— Я с вами говорю, сударь! — сказал Сент-Малин, выведенный из себя этим молчанием, которое он с полным основанием считал знаком презрения.— Вы что, не слышите?

— У человека, которого описал нам его величество, нет ни палки, ни собаки.

— Это верно,— ответил Сент-Малин.— Поразмысли я лучше, у меня было бы одной ссадиной меньше на плече и двумя укусами — на бедре. Как видно, хорошо быть благоразумным и спокойным.

Эрнотон не ответил. Он поднялся на стременах и приставил руку к глазам, чтобы лучше видеть.

— Вон там стоит и поджидает нас тот, кого мы ищем,— сказал он.

— Черт возьми, сударь,— глухо вымолвил Сент-Малин, завидуя новому успеху своего спутника,— и зоркие же у вас глаза! Я едва различаю какую-то черную точку.

Эрнотон продолжал молча ехать вперед. Вскоре и Сент-Малин увидел человека и узнал его, описанного королем. Опять им овладело дурное чувство, и он пришпорил коня, чтобы подъехать первым.

Эрнотон этого ждал. Он взглянул на него безо всякой угрозы и даже как бы непреднамеренно. Этот взгляд заставил Сент-Малина сдержаться, и он перевел коня на шаг.

XXX. Сент-Малин

Эрнотон не ошибся: указанный им человек был действительно Шико.

Он тоже обладал отличным зрением и слухом и потому издалека увидел и услышал приближение всадников.

Он предполагал, что они ищут именно его, и потому остановился.

Когда у него не осталось на этот счет никаких сомнений, он без всякой аффектации положил руку на рукоять своей длинной шпаги, словно желая придать себе благородную осанку.

Эрнотон и Сент-Малин переглянулись, не произнеся ни слова.

— Говорите, сударь, если вам угодно,— сказал с поклоном Эрнотон своему противнику.

В самом деле, при данных обстоятельствах слово «противник» было гораздо уместнее, чем «спутник».

У Сент-Малина перехватило дыхание: любезность эта была столь неожиданной, что вместо ответа он только опустил голову.

Тогда заговорил Эрнотон.

— Милостивый государь,— обратился он к Шико,— мы с этим господином — ваши покорные слуги.

Шико поклонился с любезной улыбкой.

— Не будет ли нескромным с нашей стороны,— продолжал молодой человек,— спросить ваше имя?

— Меня зовут Тень, сударь,— ответил Шико.

— Вы что-нибудь ждете?

— Да, сударь.

— Не будете ли вы так добры сказать, что именно?

— Я жду письма.

— Вы понимаете, чем вызвано наше любопытство, отнюдь для вас не оскорбительное?

Шико снова поклонился, причем улыбка его стала еще любезнее.

— Откуда вы ждете письма? — продолжал Эрнотон.

— Из Лувра.

— Какая на нем печать?

— Королевская.

Эрнотон сунул руку за пазуху.

— Вы, наверное, узнали бы это письмо? — спросил он.

— Да, если бы мне его показали.

Эрнотон вынул письмо.

— Да, это оно,— сказал Шико.— Вы знаете, конечно, что для пущей верности я должен вам кое-что дать взамен?

— Расписку?

— Вот именно.

— Сударь,— продолжал Эрнотон,— король велел мне отвезти письмо. Но вручить его надлежит моему спутнику.

И с этими словами он передал письмо Сент-Малину, который и вручил его Шико.

— Благодарю вас, господа,— сказал он.

— Как видите, мы точно выполнили поручение. На дороге никого нет, никто не видел, как мы с вами заговорили и передали вам письмо.

— Совершенно верно, сударь, охотно признаю это и, если понадобится, подтвержу. Теперь моя очередь.

— Расписку! — в один голос произнесли молодые люди.

— Кому из вас я должен ее передать?

— Король не сказал на этот счет ничего! — вскричал Сент-Малин, угрожающе глядя на своего спутника.

— Напишите две расписки, сударь,— сказал Эрнотон,— и дайте каждому из нас. Отсюда до Лувра далеко, а по дороге со мной или с господином может приключиться какая-нибудь беда.

При этих словах в глазах Эрнотона тоже загорелся недобрый огонек.

— Вы, сударь, человек рассудительный,— сказал Шико Эрнотону.

Он вынул из кармана записную книжку, вырвал две странички и на каждой написал:

Получено от господина Рене де Сент-Малина письмо, привезенное господином Эрнотоном де Карменжем.

Тень.

— Прощайте, сударь,— сказал Сент-Малин, беря свою расписку.

— Прощайте, сударь, доброго пути! — добавил Эрнотон.— Может быть, вам нужно еще что-нибудь передать в Лувр?

— Нет, господа. Большое вам спасибо,— ответил Шико.

Эрнотон и Сент-Малин повернули коней к Парижу, а Шико пошел своей дорогой таким быстрым шагом, что ему позавидовал бы любой скороход.

Не проехав и ста шагов, Эрнотон резко осадил коня и сказал Сент-Малину:

— Теперь, сударь, можете спешиться, если вам угодно.

— А зачем, милостивый государь? — удивленно спросил Сент-Малин.

— Поручение нами выполнено, а у нас есть о чем поговорить. Место для такого разговора здесь, по-моему, вполне подходящее.

— Извольте, сударь,— сказал Сент-Малин, по примеру своего спутника спрыгнув с лошади.

Эрнотон подошел к нему и сказал:

— Вы сами знаете, сударь, что, пока мы были в пути, вы без всякого повода с моей стороны тяжко оскорбляли меня. Более того: желали, чтобы я скрестил с вами шпагу в самый неподходящий момент, и я вынужден был отказаться. Зато теперь я к вашим услугам.

Сент-Малин выслушал эту речь, насупившись. Но странное дело! Порыв ярости, захлестнувший было Сент-Малина, прошел. Ему уже не хотелось драться. Он поразмыслил, и здравое рассуждение возобладало: он понимал, в каком невыгодном положении находится.

— Сударь,— ответил он после краткой паузы,— когда я оскорблял вас, вы в ответ оказывали мне услуги. Поэтому я уже не могу разговаривать с вами, как тогда.

Эрнотон нахмурился:

— Да, сударь, но вы продолжаете думать то, что еще недавно говорили.

— Откуда вы знаете?

— Ваши слова были подсказаны завистью и злобой. С тех пор прошло два часа, за это время зависть и злоба не могли иссякнуть в вашем сердце.

Сент-Малин покраснел, но не возразил ни слова. Эрнотон выждал немного и продолжал:

— Если король отдал мне предпочтение, значит, мое лицо ему понравилось; если я не упал в Бьевру, значит, лучше вас езжу верхом; если я не принял тогда вашего вызова, значит, я рассудительнее вас; если пес того человека укусил не меня, значит, я оказался предусмотрительнее. Наконец, если я настаиваю сейчас на поединке, значит, у меня больше подлинного чувства чести, чем у вас, а если вы откажетесь — берегитесь: я скажу, что я храбрее вас.

Сент-Малин вздрагивал, глаза его метали молнии. При последних словах, произнесенных его юным спутником, он как бешеный выхватил из ножен шпагу.

Эрнотон уже стоял перед ним со шпагой в руке.

— Послушайте, милостивый государь,— сказал Сент-Малин,— возьмите обратно последнее свое замечание. Достаточно с вас моего унижения. Зачем же бесчестить меня?

— Сударь,— ответил Эрнотон,— я никогда не под-

даюсь гневу и говорю лишь то, что хочу сказать. Поэтому я не стану брать своих слов обратно. Я тоже весьма щекотлив. При дворе я человек новый и не хочу краснеть, встречаясь с вами. Давайте скрестим шпаги не только ради моего, но и ради вашего спокойствия.

— Милостивый государь, я дрался одиннадцать раз,— произнес Сент-Малин с мрачной улыбкой,— двое моих противников были убиты. Полагаю, вам это известно?

— А я, сударь, еще никогда не дрался,— ответил Эрнотон,— не было подходящего случая. Теперь он представился, хотя я и не искал его. Итак, я жду вашего соизволения, милостивый государь.

— Послушайте,— сказал Сент-Малин, тряхнув головой,— мы с вами земляки, оба состоим на королевской службе — не будем же ссориться. Я считаю вас достойным человеком, я протянул бы вам руку, если бы мог себя пересилить. Что поделаешь, я завистлив. Природа создала меня в недобрый час. Ваши достоинства вызвали во мне горькое чувство. Но не беспокойтесь — зависть моя бессильна, к моему величайшему сожалению. Итак, покончим на этом, сударь. По правде говоря, я буду невыносимо страдать, когда вы станете рассказывать о нашей ссоре.

— Никто о ней не узнает, сударь.

— Никто?

— Нет, милостивый государь. Если мы будем драться, я вас убью или погибну сам. Я не из тех, кому не дорога жизнь. Мне двадцать три года; я человек хорошего рода, довольно богат; я надеюсь на свои силы, на будущее и, не сомневайтесь, стану защищаться как лев.

— Ну, а мне, сударь, тридцать лет, и в противоположность вам жизнь мне постыла, ибо я не верю ни в будущее, ни в себя самого. Но, как ни велико мое отвращение к жизни, как ни изверился я в счастье, я предпочел бы с вами не драться.

— Значит, вы готовы извиниться передо мной? — спросил Эрнотон.

— Нет, я и так слишком долго извинялся. Если вам этого мало, тем лучше: вы перестаете быть выше меня.

— Ну, а если, милостивый государь, терпение мое иссякнет и я наброшусь на вас со шпагой?

Сент-Малин судорожно сжал кулаки.

— Что ж,— сказал он,— я брошу оружие.

— Берегитесь, сударь, тогда я ударю вас, но не шпагой!

— Хорошо, ибо в таком случае у меня явится причина для ненависти, и я вас смертельно возненавижу. Затем в один прекрасный день, когда вами овладеет душевная слабость, я поймаю вас, как вы поймали меня сейчас, и убью.

Эрнотон вложил шпагу в ножны.

— Странный вы человек,— сказал он,— и я жалею вас от души.

— Жалеете?

— Да. Вы, должно быть, ужасно страдаете?

— Ужасно.

— И наверное, никогда никого не любили?

— Никогда.

— Но ведь у вас есть же какие-нибудь страсти?

— Только одна.

— Вы уже говорили — зависть.

— Да, а это значит, что я наделен всеми страстями, и притом, к стыду своему, доведенными до крайности: я начинаю обожать женщину, как только она полюбит другого; жаждать золота, когда его трогают чужие руки; стремиться к славе, если она достается не на мою долю. Да, вы верно сказали, господин де Карменж,— я глубоко несчастен.

— И вы не пытались стать лучше? — спросил Эрнотон.

— Мне это никогда не удавалось.

— На что же вы надеетесь? Что намерены делать?

— Что делают медведь, хищная птица? Они кусаются. Но некоторым дрессировщикам удается обучить их себе на пользу. Вот что я такое и чем я, вероятно, стану в руках господина д'Эпернона и господина де Луаньяка. Затем в один прекрасный день они скажут: «Этот зверь взбесился — надо его прикончить».

Эрнотон немного успокоился.

Теперь Сент-Малин уже не вызывал в нем гнева, но стал для него предметом изучения.

— Большая жизненная удача — а вы легко можете ее достичь — исцелит вас,— сказал он.— Развивайте свои дарования, господин де Сент-Малин, и вы преуспеете на войне и в политической интриге. Достигнув власти, вы станете меньше ненавидеть.

— Как бы высоко я ни поднялся, надо мной всегда

будет кто-то выше меня, а снизу станет долетать, раздирая мне слух, чей-нибудь насмешливый хохот.

— Мне жаль вас,— повторил Эрнотон.

Оба всадника поскакали обратно в Париж. Один был молчалив, мрачен от того, что услышал, другой — от того, что поведал.

Внезапно Эрнотон протянул Сент-Малину руку.

— Хотите, я постараюсь излечить вас? — предложил он.

— Нет, не пытайтесь, это вам не удастся,— ответил Сент-Малин.— Наоборот, возненавидьте меня — это лучший способ вызвать мое восхищение.

— Я еще раз скажу вам: мне вас жаль, сударь,— сказал Эрнотон.

Через час оба всадника прибыли в Лувр и направились к казарме Сорока пяти.

Король отсутствовал и должен был возвратиться только вечером.

XXXI. О том, как господин де Луаньяк обратился к Сорока пяти с краткой речью

Все молодые гасконцы расположились у окон, чтобы не пропустить возвращения короля.

При этом каждым из них владели различные помыслы.

Сент-Малин был исполнен ненависти, стыда, честолюбия; сердце его пылало, брови хмурились.

Эрнотон уже позабыл о том, что произошло, и думал об одном — кто та дама, которой он дал возможность проникнуть в Париж под видом пажа и которую неожиданно увидел в роскошных носилках.

Здесь было о чем поразмыслить человеку, более склонному к мечтательности, чем к честолюбивым расчетам.

Поэтому Эрнотон, лишь случайно подняв голову, заметил, что Сент-Малин исчез.

Он мгновенно сообразил, в чем дело.

Сент-Малин не упустил минуты, когда вернулся король, и отправился к нему.

Эрнотон быстро прошел через галерею и явился к королю как раз тогда, когда от него выходил Сент-Малин.

— Смотрите,— радостно сказал он Эрнотону,— что мне подарил король.

И он показал ему золотую цепь.

— Поздравляю вас, сударь,— молвил Эрнотон без малейшего волнения.

И он в свою очередь прошел к королю.

Сент-Малин, ожидавший проявления зависти со стороны господина де Карменжа, был ошеломлен невозмутимостью соперника и стал поджидать его.

Эрнотон пробыл у короля минут десять, которые Сент-Малину показались вечностью.

Наконец он вышел. Сент-Малин окинул товарища быстрым взглядом, и сердце его забилось ровнее: Эрнотон вышел с пустыми руками.

— А вам, сударь,— спросил Сент-Малин,— король что-нибудь пожаловал?

— Он протянул мне руку для поцелуя,— ответил Эрнотон.

Сент-Малин так стиснул полученную им золотую цепь, что сломал одно из ее звеньев.

Оба гасконца направились к казарме.

Когда они входили в общий зал, раздался звук трубы; по этому сигналу все Сорок пять выбежали из своих помещений, словно пчелы, вылетевшие из улья.

По большей части они вырядились роскошно, но довольно безвкусно — блеск заменял изящество.

Впрочем, каждый из них обладал тем, чего требовал д'Эпернон, тонкий политик, хотя и плохой военный,— молодостью, силой или опытом.

Почти у всех оказались длинные шпаги, звенящие шпоры, воинственно закрученные усы, замшевые или кожаные перчатки и сапоги; все это блистало позолотой, благоухало помадой, украшено было бантами, «дабы являть вид», как говорилось в те времена.

Людей хорошего вкуса можно было узнать по темным тонам одежды, расчетливых — по прочности сукна, щеголей — по кружевам, розовому или белому атласу.

Пардикка де Пенкорнэ отыскал у какого-то еврея цепь из позолоченной меди, тяжелую, как цепь каторжника.

Пертинакс де Монкрабо был весь в атласе, шитье и лентах.

Эсташ де Мираду ничем не блистал: ему пришлось одеть Лардиль, Милитора и обоих ребят.

Лардиль выбрала себе самый богатый наряд, который допускался по тогдашним законам, направленным против роскоши. Милитор облачился в бархат и парчу, украсился серебряной цепью, надел шапочку с перьями и вышитые чулки. Таким образом, бедному Эсташу пришлось удовольствоваться мизерной суммой, едва достаточной, чтобы не выглядеть оборванцем.

Господин де Шалабр сохранил свою куртку стального цвета, поручив портному несколько освежить ее. Искусно нашитые там и сям полосы бархата придали новый вид этой неизносимой одежде.

Впрочем, скупец Шалабр все же потратился на пунцовые штаны, сапоги, плащ и шляпу: все это вполне соответствовало друг другу.

Что касается до оружия, то оно было превосходным: старый вояка сумел разыскать отличную испанскую шпагу, кинжал, вышедший из рук искусного мастера, и прекрасный металлический нагрудник.

Все эти господа любовались друг другом, когда, сурово хмуря брови, вошел господин де Луаньяк.

Он велел им образовать круг и стал посередине с видом, не сулившим ничего доброго. Все взгляды устремились на начальника.

— Все в сборе, господа? — спросил он.

— Все! — ответили сорок пять голосов с весьма похвальным единодушием.

— Господа,— продолжал Луаньяк,— вы были вызваны сюда, чтобы стать личными телохранителями короля — звание весьма почетное, но и ко многому обязывающее.

Луаньяк сделал паузу. Послышался одобрительный шепот.

— Не следует воображать, однако, что король принял вас на службу и платит вам жалованье за то, чтобы вы вели себя, как вертопрахи. Необходима дисциплина — ведь вы являетесь собранием дворян, иначе говоря, самыми послушными и преданными людьми в королевстве.

Собравшиеся затаили дыхание: по этому торжественному началу легко было понять, что речь пойдет о вещах очень важных.

— С нынешнего дня вы живете в Лувре — средоточии государственной власти. Вам нередко будут поручать

осуществление важных решений. Таким образом, вы находитесь в положении должностных лиц, которые не только владеют государственной тайной, но и облечены исполнительной властью.

По рядам гасконцев вторично пробежал одобрительный шепот.

Многие высоко подняли голову — казалось, от гордости они выросли на несколько дюймов.

— Предположим теперь,— продолжал Луаньяк,— что одно из таких должностных лиц, скажем офицер, выдало тайное решение совета. Вы понимаете, что он заслуживает смерти?

— Разумеется,— ответили несколько голосов.

— Так вот, господа,— продолжал Луаньяк, и в голосе его зазвучала угроза,— сегодня была выболтана некая государственная тайна.

Гордость Сорока пяти сменилась страхом: они беспокойно и подозрительно переглядывались.

— Двое из вас, господа, судачили на улице, как старые бабы, бросая на ветер слова столь важные, что каждое из них может погубить человека.

Сент-Малин тотчас же подошел к Луаньяку и сказал ему:

— Милостивый государь, полагаю, что я имею честь говорить с вами от имени своих товарищей. Необходимо очистить от подозрения тех слуг короля, которые ни в чем не повинны. Мы просим вас поскорее высказаться.

— Нет ничего легче,— ответил Луаньяк.

Все еще более насторожились.

— Сегодня король получил известие, что его недруг, а именно один из тех людей, с которыми вы призваны вести борьбу, явился в Париж. Имя этого недруга было произнесено тайно, но его услышал часовой, то есть человек, на которого следует рассчитывать, как на каменную стену, ибо, подобно ей, он должен быть непоколебим, глух и нем. Однако он принялся повторять на улице имя королевского врага, да еще с такой громкой похвальбой, что привлек внимание прохожих и вызвал смятение в умах. Я был свидетелем этого, ибо шел той же дорогой и слышал все собственными ушами. Я положил руку на плечо болтуну, и он умолк. Произнеси он еще несколько слов, и были бы поставлены под угрозу интересы столь священные, что я вынужден был бы его заколоть.

При этих словах Луаньяка все увидели, как Пертинакс де Монкрабо и Пардикка де Пенкорнэ побледнели и в полуобморочном состоянии прислонились друг к другу. Монкрабо что-то пробормотал в свое оправдание.

Как только смущение выдало виновных, все взгляды устремились на них.

— Ничто не может служить вам извинением, сударь,— сказал Луаньяк Пертинаксу.— Если бы вы были пьяны, то должны понести наказание за то, что напились; если поступили просто как гордец и хвастунишка, то опять-таки заслуживаете кары.

Воцарилось зловещее молчание.

— Следовательно,— продолжал Луаньяк,— вы, господин де Монкрабо, и вы, господин де Пенкорнэ, будете наказаны.

— Простите, сударь,— взмолился Пертинакс,— но мы прибыли из провинции, при дворе мы новички и не знаем, как надо вести себя в делах, касающихся политики.

— Нельзя было поступать на службу к его величеству, не взвесив тягот этой великой чести.

— Клянемся, что в дальнейшем будем немы как могила.

— Все это хорошо, господа, но загладите ли вы завтра зло, причиненное вами сегодня?

— Постараемся.

— Вы все пользуетесь относительной свободой,— продолжал Луаньяк, не отвечая прямо на просьбу виновных,— но эту свободу я намерен ограничить строжайшей дисциплиной. Слышите, господа? Те, кто найдут свою службу слишком тягостной, могут уйти: на их место найдется немало желающих.

Никто не ответил, но многие нахмурились.

— Итак,— продолжал Луаньяк,— предупреждаю вас: правосудие у нас будет совершаться тайно, быстро, без судебного разбирательства. Предателей постигнет немедленная смерть. Предположим, например, что господин де Монкрабо и господин де Пенкорнэ, вместо того чтобы дружески беседовать на улице о вещах, которые им следовало забыть, повздорили из-за того, о чем они имели право помнить. Разве эта ссора не могла привести к поединку между ними? Во время дуэли нередко случается, что противники одновременно пронзают друг друга шпагой. На другой день после ссоры обоих этих господ находят

мертвыми в Прэ-о-Клере... Итак, все, кто выдаст государственную тайну,— вы хорошо поняли меня, господа? — будут по моему приказу умерщвлены на дуэли или иным способом.

Монкрабо своей тяжестью повалился на товарища, у которого бледность приняла зеленоватый оттенок.

— За менее тяжелые проступки,— продолжал Луаньяк,— я буду налагать и менее суровую кару — например, тюремное заключение. На этот раз я пощажу жизнь господина де Монкрабо, который болтал, и господина де Пенкорнэ, который слушал. Я прощаю их, потому что они могли провиниться по незнанию. Заключением я их наказывать не стану, ибо они мне, вероятно, понадобятся сегодня вечером или завтра. Поэтому я подвергну их третьей каре, которая будет применяться к провинившимся,— штрафу. Вы получили тысячу ливров, господа, из них вы вернете сто. Эти деньги я употреблю как вознаграждение за безупречную службу.

— Сто ливров! — пробормотал Пенкорнэ.— Но, черт побери, у меня их больше нет: они пошли на экипировку.

— Вы продадите свою цепь,— сказал Луаньяк.

— Я готов сдать ее в королевскую казну,— ответил Пенкорнэ.

— Нет, сударь, король не принимает вещей своих подданных в уплату штрафа. Продайте ее сами и уплатите штраф... Еще несколько слов, господа,— продолжал Луаньяк.— Я заметил, что в вашем отряде начались раздоры; обо всякой ссоре должно быть доложено мне — я один буду судить, насколько она серьезна, и разрешать поединок, если найду необходимым. В наши дни что-то слишком часто убивают людей на дуэли, и я не желаю, чтобы мой отряд терял бойцов. За первый же поединок, который последует без моего разрешения, я подвергну виновных строгому аресту, весьма крупному штрафу, а может быть, и более суровой каре... Господа, можете расходиться. Кстати, сегодня вечером пятнадцать человек будут дежурить у лестницы, ведущей в покои его величества, пятнадцать других во дворе — они смешаются со свитой тех, кто прибудет в Лувр,— и, наконец, последние пятнадцать останутся в казарме.

— Милостивый государь,— сказал, подходя к Луаньяку, Сент-Малин,— разрешите мне не то чтобы дать вам совет — упаси меня бог! — но попросить разрешения.

Всякий порядочный отряд должен иметь своего начальника.

— Ну, а я-то кто, по-вашему? — спросил Луаньяк.

— Вы, сударь, наш генерал.

— Не я, сударь, вы ошибаетесь, а герцог д'Эпернон.

— Значит, вы наш полковник? Но и в таком случае каждые пятнадцать человек должны иметь своего командира.

— Правильно,— ответил Луаньяк,— ведь я не могу являться в трех лицах. Кроме того, я не желаю, чтобы среди вас одни были ниже, другие выше, разве что по своей доблести.

— О, что касается этого различия, вы скорее ощутите разницу между нами.

— Поэтому я намерен назначать каждый день сменных командиров,— сказал Луаньяк.— Вместе с паролем я буду называть также имя дежурного командира. Таким образом все будут по очереди подчиняться и командовать. Ведь я еще не знаю способностей каждого из вас: надо, чтобы они проявились,— тогда я сделаю выбор.

Сент-Малин отвесил поклон и присоединился к товарищам.

— Надеюсь, вы меня поняли, господа? — продолжал Луаньяк.— Я разделил вас на три отряда по пятнадцать человек. Свои номера вы знаете: первый отряд дежурит на лестнице, второй во дворе, третий остается в казарме. Бойцы последнего отряда находятся в боевой готовности и выступают по первому же сигналу. Теперь, господа, вы свободны... Господин де Монкрабо, господин де Пенкорнэ, завтра вы уплатите штраф. Казначеем являюсь я. Ступайте.

Все вышли. Остался один Эрнотон де Карменж.

— Вам что-нибудь надобно, сударь? — спросил Луаньяк.

— Да, сударь,— с поклоном ответил Эрнотон.— Состоять на королевской службе весьма почетно, но мне очень хотелось бы знать, как далеко может зайти повиновение приказу.

— Сударь,— ответил Луаньяк,— вопрос ваш весьма щекотливый, и дать на него определенный ответ я не могу.

— Осмелюсь спросить, сударь, почему?

Все эти вопросы задавались Луаньяку с такой утонченной вежливостью, что, вопреки своему обыкновению, он тщетно искал повода для отповеди.

— Потому что я сам зачастую не знаю утром, что мне придется делать вечером.

— Я новый человек при дворе, сударь,— сказал Эрнотон,— у меня нет ни друзей, ни врагов, страсти не ослепляют меня, и потому хоть я и сто́ю не больше других, но могу быть вам полезен.

— Но, полагаю, короля-то вы любите?

— Я обязан его любить, господин де Луаньяк, как слуга, как верноподданный и как дворянин.

— Это основное, и если вы человек сообразительный, то сами распознаете, кто стоит на противоположной точке зрения.

— Отлично, сударь,— ответил с поклоном Эрнотон,— все ясно. Но остается еще одно обстоятельство, сильно меня смущающее.

— Какое, сударь?

— Пассивное повиновение.

— Это первейшее условие.

— Прекрасно понимаю, сударь. Но пассивное повиновение бывает делом нелегким для людей, щекотливых в делах чести.

— Это уж меня не касается, господин де Карменж,— сказал Луаньяк.

— Однако, сударь, если вам какое-нибудь распоряжение не по вкусу?

— Я вижу подпись господина д'Эпернона, и это возвращает мне душевное спокойствие.

— А господин д'Эпернон?

— Господин д'Эпернон видит подпись его величества и тоже, подобно мне, успокаивается.

— Вы правы, сударь,— сказал Эрнотон,— я ваш покорный слуга.

Эрнотон направился к выходу, но Луаньяк окликнул его.

— Вы навели меня на одну мысль,— молвил он,— и вам я скажу то, чего не сказал бы вашим товарищам, ибо никто из них не говорил со мною так мужественно и достойно, как вы.

Эрнотон поклонился.

— Сударь,— сказал Луаньяк, подходя к молодому человеку,— сегодня вечером сюда, вероятно, явится одно

высокое лицо: не упускайте его из виду и следуйте за ним повсюду, куда бы он ни направился по выходе из Лувра.

— Милостивый государь, позвольте сказать вам, что, по-моему, это называется шпионством.

— Шпионством? Вы так полагаете? — холодно произнес Луаньяк.— Возможно, однако же...

И он протянул какую-то бумагу Карменжу. Тот, развернув ее, прочел:

«Если сегодня вечером господин де Майен осмелится появиться в Лувре, прикажите кому-нибудь проследить за ним».

— Чья подпись? — спросил Луаньяк.

— Подписано: «Д'Эпернон»,— прочел Карменж.

— Итак, сударь?

— Вы правы,— ответил Эрнотон, низко кланяясь,— я прослежу за господином де Майеном.

И он удалился.

XXXII. Парижские буржуа

Господин де Майен, вызвавший столько толков в Лувре, о чем он даже не подозревал, вышел из дворца Гизов черным ходом и верхом, в сапогах, не переодевшись с дороги, отправился со свитой из трех дворян в Лувр.

Предупрежденный о его прибытии, господин д'Эпернон велел доложить о нем королю.

В свою очередь господин де Луаньяк вторично отдал тот же приказ Сорока пяти: итак, пятнадцать человек находилось в передней, пятнадцать — во дворе и четырнадцать в казарме.

Мы говорим — четырнадцать, так как Эрнотона, получившего особое поручение, не было среди товарищей.

Но, ввиду того что свита господина Майена не вызывала опасений, второй группе разрешено было возвратиться в казарму.

Господина де Майена ввели к королю; он явился с почтительнейшим визитом и был принят королем с преувеличенной любезностью.

— Итак, кузен,— спросил король,— вы решили посетить Париж?

— Да, государь,— ответил Майен,— от имени братьев

и моего собственного, я счел долгом напомнить вашему величеству, что у вас нет слуг более преданных, чем мы.

— Ей-богу же,— сказал Генрих,— никто в этом не сомневается, и, если бы не удовольствие, которое доставляет мне ваш приезд, вы могли бы не затруднять себя этим небольшим путешествием. Верно, имеется какая-нибудь иная причина!

— Государь, я опасался, как бы странные слухи, которые с некоторых пор распускают наши враги, не повлияли на вашу благосклонность к дому Гизов.

— Какие слухи? — спросил король с добродушием, столь опасным даже для близких ему людей.

— Неужели ваше величество не слышали о нас ничего неблагоприятного? — спросил озадаченный Майен.

— Милый кузен,— ответил король,— да будет вам известно, я не потерпел бы, чтобы здесь плохо отзывались о Гизах. А так как окружающие, видимо, знают это лучше, чем вы, никто не говорит о вас ничего дурного.

— В таком случае, государь,— сказал Майен,— я не жалею, что приехал,— ведь я имел счастье видеть своего короля и убедиться в его расположении. Охотно признаю, однако, что излишне поторопился.

— Париж — славный город, герцог, где всегда полезно побывать,— заметил король.

— Конечно, государь, но и у нас в Суассоне есть дела.

— А какие, герцог?

— Дела вашего величества.

— Что правда, то правда, Майен. Продолжайте же заниматься ими. Я умею ценить услуги.

Герцог, улыбаясь, откланялся.

Король возвратился в опочивальню, потирая руки.

Луаньяк сделал знак Эрнотону, тот что-то сказал своему слуге, который побежал в конюшню. Эрнотон, не теряя времени, последовал пешком за четырьмя всадниками.

Можно было не опасаться, что он упустит из виду господина де Майена: благодаря болтливости Пертинакса де Монкрабо и Пардикки де Пенкорнэ парижане уже знали о прибытии принца из дома Гизов. Услышав эту новость, добрые лигисты выходили на улицу: ведь Майена нетрудно было узнать по его широким плечам, полной фигуре и бороде «ковшом».

Тщетно старался Майен избавиться от наиболее ревностных сторонников, говоря им:

— Умерьте свой пыл, друзья. Клянусь богом, вы навлечете на нас подозрение.

В самом деле, когда герцог прибыл во дворец Сен-Дени, где остановился, у него оказалось не менее двухсот — трехсот провожатых.

Таким образом, Эрнотону легко было следовать за герцогом, не будучи никем замеченным.

Когда у входа во дворец Майен обернулся и ответил на приветствие толпы, Эрнотону показалось, что один дворянин из свиты герцога и есть тот самый всадник, который сопровождал пажа или при котором состоял паж, пробравшийся с его, Эрнотона, помощью в Париж.

После того как Майен скрылся в воротах, на улице показались конные носилки. К ним подошел Мейнвиль. Занавески раздвинулись, и при лунном свете Эрнотону почудилось, что он узнаёт и своего пажа и даму, которую видел у Сент-Антуанских ворот.

Мейнвиль и дама обменялись несколькими словами, экипаж въехал в ворота дворца; Мейнвиль вошел вслед за ним, и ворота тотчас же закрылись.

Спустя минуту Мейнвиль показался на балконе, поблагодарил парижан от имени герцога и предложил им разойтись по домам, дабы злонамеренные люди не истолковали их скопление по-своему.

После этого удалились все, за исключением десяти человек, допущенных во дворец вслед за герцогом.

Эрнотон ушел, как и все прочие, или, вернее, сделал вид, что последовал их примеру.

Десять указанных избранников были представителями лиги, посланными, чтобы поблагодарить господина де Майена за приезд и одновременно упросить его вызвать в Париж брата.

Дело в том, что достойные буржуа, с которыми мы свели беглое знакомство в вечер, когда Пулен скупал кирасы, отнюдь не были лишены воображения: они лелеяли много замыслов, требовавших одобрения и поддержки вождя.

Бюсси-Леклер сообщил, что им обучены военному делу три монастыря и составлены воинские отряды из пятисот буржуа, то есть у него имеется наготове около тысячи человек.

Лашапель-Марто занялся судьями, писцами и стражниками из дворца Правосудия. Он мог предложить и

хороших советчиков, и людей действия: для совета у него было двести чиновников в мантиях, для действия — двести полицейских стражей. В распоряжении Бригара имелись купцы с Ломбардской улицы и рыночные торговцы.

Крюсе, подобно Лашапелю-Марто, располагал судейскими чиновниками и Парижским университетом.

Дельбар предлагал пятьсот моряков и портовых рабочих — все народ весьма решительный.

У Лушара было пятьсот барышников и торговцев лошадьми — все они ярые католики.

Владелец мастерской оловянной посуды, по имени Полар, и колбасник Жильбер представляли полторы тысячи мясников и колбасников города и предместий.

Метр Никола Пулен, приятель Шико, готов был предложить всех и вся.

Выслушав эти новости, герцог Майенский сказал:

— Меня радует, что силы лиги столь внушительны, но я не вижу цели, которую она перед собою ставит.

— Я полагаю,— сказал Бюсси-Леклер с откровенностью, которая в человеке столь низкого происхождения могла показаться дерзостной,— я полагаю, что, поскольку мысль о союзе исходила от наших вождей, это им, а не нам указывать цель.

— Господа,— ответил Майен,— вы глубоко правы: цель должна быть указана теми, кто имеет честь быть вашими вождями. Пользуюсь случаем, чтобы напомнить вам: лишь полководец вправе решать, когда следует дать бой. Пусть даже войска построены, хорошо вооружены и проникнуты воинским духом — сигнал к нападению дается только им.

— Но, монсеньер,— вмешался Крюсе,— лига не хочет больше ждать, мы уже имели честь заявить вам об этом.

— Не хочет ждать чего, господин Крюсе? — спросил Майен.

— Достижения цели.

— Какой цели?

— Нашей. У нас тоже есть план.

— В таком случае я не стану возражать,— сказал Майен.

— Но можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку, монсеньер?

— Без сомнения, если план этот подойдет моему брату и мне.

Лигисты переглянулись, двое или трое из них дали Лашапелю-Марто знак говорить. Он выступил вперед, словно испрашивал у герцога разрешения взять слово.

— Говорите,— сказал герцог.

— Так вот, монсеньер,— сказал Марто.— Придумали его мы — Леклер, Крюсе и я. Он тщательно обдуман и, вероятно, обеспечит нам успех.

— Ближе к делу, господин Марто, ближе к делу!

— В Париже имеется ряд пунктов, связывающих воедино вооруженные силы города: это Большой и Малый Шатле, дворец Тампля, Ратуша, Арсенал и Лувр.

— Правильно,— согласился герцог.

— Во всех пунктах имеются гарнизоны, с которыми нетрудно будет управиться, так как они не ожидают нападения.

— Допускаю,— сказал герцог.

— Кроме того, город обороняет начальник ночной стражи со своими стрелками. И вот что мы решили: захватить начальника на дому — он живет в Кутюр-Сент-Катрин. Это можно сделать без шума, так как место уединенное и малолюдное.

Майен с сомнением покачал головой.

— Нельзя без шума взломать прочную дверь и сделать выстрелов двадцать из аркебузов,— заметил он.

— Мы предвидели это возражение, монсеньер,— сказал Марто.— Один из стрелков ночной стражи — наш человек. Ночью мы постучим в дверь — нас будет человека два-три,— стрелок откроет нам и пойдет доложить начальнику, что ему приказано явиться в Лувр. В этом нет ничего необычного: раз в месяц король вызывает к себе этого офицера. Когда дверь будет открыта, мы впустим десять человек моряков, живущих в квартале Сен-Поль, они покончат с начальником стражи.

— То есть прирежут его?

— Да, монсеньер. Таким образом оборона противника будет расстроена в самом начале. Правда, имеются и другие должностные лица — господин председатель суда, господин прокурор Лагель и прочие. Что ж, мы схватим их в тот же час: Варфоломеевская ночь научила нас этому, и с ними поступят так же, как и с начальником ночной стражи.

— Ого! — произнес герцог, находивший, что дело это нешуточное.

— Тем самым мы получим возможность сразу покончить со всеми ересиархами — и религиозными и политическими.

— Все это чудесно, господа,— сказал Майен,— но вы мне не объяснили, как вы возьмете с одного удара Лувр — это же настоящая крепость, которую непрестанно охраняют гвардейцы и вооруженные дворяне. Король хоть и робок, но его вам не прирезать, как начальника ночной охраны. Он станет защищаться, а ведь он — подумайте хорошенько — король, его присутствие произведет сильнейшее впечатление на горожан, и вас разобьют.

— Для нападения на Лувр мы отобрали четыре тысячи человек, монсеньер. Эти люди не так уж любят Генриха Валуа, и вид короля не произведет на них впечатления, о котором вы говорите.

— Вы полагаете, что четырех тысяч достаточно?

— Разумеется; нас будет десять против одного,— сказал Бюсси-Леклер.

— А швейцарцы? Их тоже четыре тысячи, господа.

— Да, но они в Ланьи, а Ланьи — в восьми лье от Парижа. Даже если король сможет их предупредить, гонцам потребуется два часа, чтобы туда добраться, да швейцарцам — восемь часов, чтобы пешим строем прийти в Париж, итого — десять часов. Они явятся как раз к тому времени, когда их задержат у застав: за десять часов мы станем хозяевами города.

— Что ж, допускаю: начальник ночной стражи убит, должностные лица погибли, городская власть пала — словом, все преграды уничтожены; вы, наверно, уже решили, что тогда предпримете?

— Мы установим правительство честных людей, какими сами являемся,— сказал Бригар,— а дальше нам нужно только одно: преуспеть в своих торговых делах и обеспечить хлебом насущным жен и детей. Кое у кого может явиться честолюбивое желание стать квартальным надзирателем или командиром роты в городском ополчении. Что ж, господин герцог, мы займем эти должности, но тем дело и ограничится. Как видите, мы нетребовательны.

— Господин Бригар, ваши слова — чистое золото. Да, вы честные люди и, уверен, не потерпите в своих делах недостойных.

— О нет, нет! — раздались голоса.— Только доброе вино, без всякого осадка!

— Прекрасно сказано! — молвил герцог.— Но знаете ли вы, заместитель парижского прево, сколько в Иль-де-Франсе бездельников и проходимцев?

Никола Пулен как бы нехотя приблизился к герцогу.

— К сожалению, их очень много, монсеньер.

— Но сколько именно?

Пулен принялся считать по пальцам.

— Воров тысячи три-четыре; бездельников и нищих две — две с половиной; случайных преступников полторы — две; убийц четыреста — пятьсот человек.

— Итак, по меньшей мере шесть — шесть с половиной тысяч мерзавцев и висельников. Какую религию они исповедуют?

— Как вы сказали, монсеньер? — переспросил Пулен.

— Я спрашиваю: они католики или гугеноты?

Пулен рассмеялся.

— Они исповедуют одну религию, монсеньер,— сказал он,— их бог — золото.

— А что вы скажете об их политических убеждениях? Кто они — сторонники дома Валуа, лигисты, политики или друзья короля Наваррского?

— Они разбойники и грабители.

— Не думайте, монсеньер,— сказал Крюсе,— что мы возьмем в союзники подобных людей.

— Конечно, не думаю. Вот это меня и смущает.

— Но почему, монсеньер? — с удивлением спросили члены делегации.

— Поймите же, господа: когда эти люди увидят, что в Париже нет больше начальства, блюстителей порядка, королевской власти — словом, ничего такого, что их обуздывало, они примутся обчищать ваши лавки и ваши дома.

— Черт побери! — сказали, переглядываясь, депутаты.

— Я полагаю, что над этим вопросом стоит поразмыслить, не так ли, господа? — спросил герцог.— Что до меня, то я постараюсь устранить беду, ибо девиз моего брата и мой — «ваши интересы превыше наших интересов».

Послышался одобрительный шепот.

— Теперь, господа, позвольте человеку, проделавшему двадцать четыре лье верхом, поспать несколько часов. В том, чтобы выждать время, опасности нет. Может быть, вы другого мнения?

— Вы правы, господин герцог,— сказал Бригар.

— Отлично.

— Разрешите же нам, монсеньер, откланяться,— продолжал Бригар,— а когда вам угодно будет назначить новую встречу...

— Постараюсь сделать это как можно скорее, господа, будьте покойны,— сказал Майен.— Может быть, завтра, самое позднее — послезавтра.

И, распрощавшись наконец с лигистами, он оставил их изумленными его предусмотрительностью.

Но не успел он скрыться, как потайная дверь в стене отворилась и в зал вошла какая-то женщина.

— Герцогиня! — вскричали депутаты.

— Да, господа,— воскликнула она,— я пришла, чтобы вывести вас из затруднения!

Депутаты, знавшие решительность герцогини, но в то же время несколько опасавшиеся ее пыла, окружили вновь прибывшую.

— Господа,— продолжала она с улыбкой,— Юдифь[1] совершила то, чего не сделали остальные иудеи. Не теряйте надежды — у меня есть свой план.

И, протянув лигистам свои белые ручки, она удалилась в ту же дверь, за которой скрылся Майен.

— Ей-богу,— вскричал Бюсси-Леклер, выходя вслед за герцогиней,— кажется, в их семье она одна настоящий мужчина!

— Уф! — прошептал Никола Пулен, отирая пот, проступивший у него на лбу, когда он увидел госпожу де Монпансье.— Хотел бы я быть в стороне от всего этого...

[1] Юдифь — героиня библейского мифа; когда на ее родину напали враги, она хитростью пробралась в их лагерь и убила полководца Олоферна, что заставило вражеское войско отступить.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Еще раз о брате Борроме

Было около десяти часов вечера, когда господа депутаты стали расходиться, обмениваясь поклонами.

Никола Пулен жил дальше всех; он одиноко шагал домой, размышляя о своем затруднительном положении.

В самом деле, Робер Брике никогда не простит ему, если он утаит план действий, который Лашапель-Марто так простодушно изложил господину де Майену.

Когда Никола Пулен, по-прежнему погруженный в невеселые думы, дошел до середины улицы Пьер-о-Реаль

шириной в каких-нибудь четыре фута, он увидел бегущего ему навстречу монаха в подвернутой до колен рясе. Двоим тут было не разойтись.

Пулен ругался, монах божился, и наконец священнослужитель, более нетерпеливый, чем офицер, обхватил Пулена поперек туловища и прижал его к стене.

И тут они узнали друг друга.

— Брат Борроме! — сказал Пулен.

— Господин Никола Пулен! — воскликнул монах.

— Как поживаете? — спросил Пулен с восхитительным добродушием истого парижского буржуа.

— Отвратительно,— ответил монах, которому, казалось, гораздо труднее было успокоиться, чем мирному Пулену.— Вы меня задержали, а я очень тороплюсь.

— В вас точно бес вселился! — возразил Пулен.— Куда вы спешите в столь поздний час? Монастырь горит, что ли?

— Нет, я тороплюсь к госпоже герцогине, чтобы поговорить с Мейнвилем.

— К какой герцогине?

— Мне кажется, есть только одна герцогиня, у которой можно поговорить с Мейнвилем,— ответил Борроме.

— Но что вам нужно от госпожи де Монпансье? — продолжал расспрашивать Никола Пулен.

— Боже мой, все очень просто,— сказал Борроме, ища подходящего ответа.— Госпожа герцогиня просила нашего уважаемого настоятеля стать ее духовником; он согласился; потом его охватили сомнения, и он отказался. Свидание было назначено на завтра; я должен от имени дона Модеста Горанфло передать герцогине, чтобы она не рассчитывала на него.

— Очень хорошо, но вы направляетесь не ко дворцу Гизов, дорогой брат, а даже кажется, что вы идете в противоположном направлении.

— Мне сказали во дворце, что госпожа герцогиня поехала к герцогу Майенскому, который прибыл сегодня в Париж и остановился в Сен-Дени.

— Правильно,— молвил Пулен.— Только, куманек, зачем хитрить со мной? Не принято посылать монастырского казначея с поручениями.

— Но ведь поручение-то к герцогине!

— Не можете же вы, доверенное лицо Мейнвиля, ве-

рить в разговоры об исповеди госпожи герцогини де Монпансье?

— Почему?

— Черт возьми, дорогой, вам прекрасно известно, каково расстояние от монастыря до середины дороги, раз вы сами заставили меня его измерить. Берегитесь! Вы мне сообщили так мало, что я могу заподозрить слишком многое.

— И напрасно, дорогой господин Пулен; я больше ничего не знаю. А теперь не задерживайте меня, прошу вас, а то я не застану госпожу герцогиню.

— Она вернется к себе домой. Было бы проще всего подождать ее там.

— Боже мой,— сказал Борроме,— я не прочь повидать и господина герцога.

— Вот это дело другое. Теперь, когда мне известно, с кем у вас дела, я вас пропущу; прощайте, желаю удачи!

Борроме, видя, что дорога свободна, помчался дальше.

«Ну и ну, опять что-то новенькое,— подумал Никола Пулен, глядя вслед исчезающей во тьме рясе монаха.— Но на кой черт мне знать, что происходит? Неужели я вхожу во вкус того, что вынужден делать? Тьфу!»

Между тем брат и сестра, основательно обсудив поведение короля и план десяти, убедились в следующем.

Король ничего не подозревает, и напасть на него становится день ото дня легче.

Самое важное — организовать отделения лиги в северных провинциях, пока король не оказал помощи брату и позабыл о Генрихе Наваррском.

Из этих двух врагов следует бояться только герцога Анжуйского с его затаенным честолюбием; что же касается Генриха, то через хорошо осведомленных шпионов известно, что он поглощен пирами и забавами.

— Париж подготовлен,— громко говорил Майен,— но надо подождать ссоры между королем и его союзниками; непостоянный характер Генриха несомненно очень скоро приведет к разрыву. А так как нам нечего спешить, подождем.

— Мне были нужны десять человек, чтобы поднять Париж после намеченного удара,— тихо говорила герцогиня.

В эту минуту внезапно вошел Мейнвиль с сообщением, что Борроме хочет видеть герцога.

— Борроме? — удивленно спросил герцог.— Кто это?

— Монсеньер,— ответил Мейнвиль,— вы послали его из Нанси, когда я просил у вашей светлости направить ко мне умного и деятельного человека.

— Вспоминаю, я послал вам капитана Борровиля. Разве он переменил имя и зовется Борроме?

— Да, монсеньер, он переменил имя и одежду; его зовут Борроме, и он стал монахом монастыря Святого Иакова.

— Почему же он стал монахом? Дьявол, верно, здорово потешается, если узнал его под рясой.

— Это наша тайна, монсеньер,— сказал Мейнвиль,— а пока выслушаем капитана Борровиля, или брата Борроме, как вам будет угодно.

— Да, тем более, что этот визит меня очень беспокоит,— сказала госпожа Монпансье.

— Признаюсь, и меня тоже,— ответил Мейнвиль.

— Впустите его, не теряя ни минуты,— добавила герцогиня.

Дверь открылась.

— А, Борровиль,— сказал герцог, который не мог удержаться от смеха при взгляде на вошедшего.— Это вы так вырядились, друг мой?

— Да, монсеньер, и я весьма неважно себя чувствую в этом чертовском обличье.

— Во всяком случае, не я напялил на вас эту рясу, Борровиль,— сказал герцог,— поэтому прошу на меня не обижаться.

— Нет, монсеньер, это госпожа герцогиня; но я всегда готов служить ей.

— Спасибо, капитан. Ну, а теперь... что вы хотели сообщить нам в столь поздний час?

— Ваша светлость,— сказал Борровиль,— король посылает помощь герцогу Анжуйскому.

— Ба! Старая песня,— ответил Майен,— я слышу ее уже три года.

— Но на этот раз, монсеньер, я даю вам проверенные сведения.

— Гм! — сказал Майен, вскинув голову, как лошадь, встающая на дыбы.— Как это — проверенные?

— Сегодня ночью, в два часа, господин де Жуаез уехал в Руан. Он должен сесть на корабль в Дьеппе и отвезти в Антверпен три тысячи человек.

— Ого! — воскликнул герцог.— Кто же вам это сказал, Борровиль?

— Человек, который отправляется в Наварру, монсеньер.

— В Наварру? К Генриху?

— Да, монсеньер.

— И кто же посылает его?

— Король, монсеньер.

— Кто этот человек?

— Его зовут Робер Брике.

— Дальше.

— Он большой друг отца Горанфло.

— И посланец короля?

— Я в этом совершенно уверен: один из наших монахов ходил в Лувр за охранной грамотой.

— Кто этот монах?

— Наш маленький Жак Клеман, вояка, тот самый, на которого вы соблаговолили обратить внимание, госпожа герцогиня.

— И он не показал вам письма? — спросил Майен.— Вот болван!

— Монсеньер, письма король ему не отдал: он отправил к посланцу своих людей.

— Нужно перехватить письмо, черт возьми!

— Я решил было послать с Робером Брике одного из моих людей, сложенного как Геркулес, но Робер Брике заподозрил недоброе и отослал его.

— Каков из себя Робер Брике? — спросил Майен.

— Высокий, худой, нервный, мускулистый, ловкий и притом насмешник, но умеющий молчать.

— И владеет шпагой?

— Как тот, кто ее изобрел, монсеньер.

— Длинное лицо?

— Монсеньер, лицо у него все время меняется.

— О, я кое-что подозреваю; надо навести справки.

— Побыстрее, монсеньер,— он, должно быть, превосходный ходок.

— Борровиль,— сказал Майен,— вам придется поехать в Суассон к моему брату.

— А как же монастырь, монсеньер?

— Неужели вам трудно выдумать какую-нибудь историю для дона Модеста? — заметил Мейнвиль.— Ведь он всему поверит.

— Вы передадите господину де Гизу,— продолжал Майен,— все, что узнали о поручении, данном де Жуаезу.

— Да, монсеньер.

— Не забывайте Наварру, Майен,— сказала герцогиня.

— Я сам займусь этим делом. Прикажите мне оседлать свежую лошадь, Мейнвиль.— И добавил тихо: — Неужели он жив? Да, должно быть, жив.

II. Шико-латинист

Как помнит читатель, после отъезда двух молодых людей Шико зашагал очень быстро.

Но, едва они скрылись из глаз, Шико, у которого, казалось, как у Аргуса, были глаза на затылке, остановился на вершине пригорка и стал осматривать окрестности — рвы, равнину, кусты, реку. Убедившись, что никто не следит за ним, он сел на краю рва, прислонился к дереву и занялся тем, что он называл исследованием собственной совести.

У него было два кошелька с деньгами, ибо он заметил, что в мешочке, переданном ему Сент-Малином, кроме королевского письма, были еще некие круглые предметы, очень напоминавшие серебряные и золотые монеты.

На королевском кошельке была вышита с обеих сторон буква «Г».

— Красиво,— сказал Шико, рассматривая кошелек.— Очень мило со стороны короля! Его имя, герб... Нельзя быть щедрее и глупее! Нет, его не переделаешь. Честное слово,— продолжал Шико,— меня удивляет только, что этот добрый и великодушный король не велел одновременно вышить на кошельке письмо, которое приказал мне отвезти своему зятю... Посмотрим сначала, сколько денег в кошельке, с письмом можно ознакомиться и после. Сто экю! Как раз та сумма, какую я занял у Горанфло. А вот еще пакетик... Испанское золото, пять квадруплей. Он очень любезен, мой Анрике! Но кошелек мне мешает; так и кажется, что даже птицы, перелетающие над моей головой, принимают меня за королевского посланца и, что еще хуже, собираются указать на меня прохожим.

Шико вытряхнул содержимое кошелька на ладонь, вынул из кармана полотняный мешочек Горанфло и пересыпал туда золото и серебро.

Потом он вытащил письмо и, положив на его место камень, бросил кошелек в Орж, извивавшуюся под мостом.

Раздался всплеск, и два-три круга разбежались по спокойной поверхности воды.

— Это для моей безопасности,— сказал Шико.— Теперь поработаем для Генриха.

Он взял послание, разорвал конверт и с несокрушимым спокойствием сломал печать, словно это было не королевское, а обычное письмо.

— Теперь,— сказал Шико,— насладимся стилем этого послания.

Он развернул письмо и прочитал:

Дражайший брат мой, глубокая любовь, которую питал к вам незабвенный наш брат, ныне покойный король Карл IX, поныне живет под сводами Лувра и неизменно наполняет мое сердце.

Шико поклонился.

Мне неприятно посему говорить с вами о печальных и досадных предметах; но вы проявляете стойкость, несмотря на все превратности судьбы, и я, не колеблясь, сообщаю вам о том, что можно сказать только мужественным и проверенным друзьям.

Шико прервал чтение и снова поклонился.

Кроме того, я, как король, имею заботу о том, чтобы вы прониклись честью моего и вашего имени, брат мой.

Мы с вами оба одинаково окружены врагами, Шико сам это объяснит.

— Chicotus explicabit,— сказал Шико.— Или лучше — evolvet, что гораздо изящнее.

Ваш слуга, господин виконт де Тюренн, является источником постоянных скандалов при Наваррском дворе. Бог не попустит, чтобы я вмешивался в ваши дела, иначе как для блага вашего и чести. Ваша супруга, которую я, к моему великому огорчению, называю сестрой, должна была бы позаботиться об этом вместо меня... но она этого не делает.

— Ого! — сказал Шико, продолжая переводить на латинский.— Quaeque omittit facere. Резко сказано.

Я прошу вас, брат мой, проследить, чтобы отношения между Марго и виконтом де Тюренн не вносили стыда и позора в семью Бурбонов. Начните действовать, как только Шико прочтет вам мое письмо.

Ваша супруга и виконт де Тюренн, которых я выдаю вам, как брат и король, чаще всего встречаются в маленьком замке Луаньяк. Они отправляются туда под предлогом охоты, но замок этот служит очагом интриг, в которых замешаны также герцоги де Гизы.

Обнимаю вас и прошу обратить внимание на мои предупреждения; я готов вам помочь всегда и во всем. Пока же воспользуйтесь советами Шико, которого я вам посылаю.

— Age, auctore Chicoto! Великолепно, вот я и советник королевства Наваррского!

Ваш любящий и т. д. и т. п.

Прочитав письмо, Шико схватился руками за голову.

«Скверное у меня поручение,— подумал он,— видно, убегая от одной беды, можно попасть в худшую. По правде сказать, я предпочитаю Майена. И все же, если не считать вытканного золотом кошелька, которого я не могу простить королю, это письмо написано ловким человеком. Оно может сразу рассорить Генриха Наваррского с женой, с Тюренном, Анжу, Гизами и даже с Испанией. Но, с другой стороны, письмо принесет мне кучу неприятностей, и я проявлю крайнюю неосторожность, если не подготовлюсь. Кое-что припас для меня, если не ошибаюсь, и монах Борроме.

Чего добивался Шико, прося короля Генриха куда-нибудь послать его? Покоя. А теперь Шико поссорит короля Наваррского с женой и приобретет смертельных врагов, которые помешают ему благополучно достичь восьмидесятилетнего возраста. Тем лучше, черт возьми,— хорошо жить только молодым! Но в таком случае следовало подождать, пока господин де Майен пырнет Шико кинжалом... Нет, во всем нужна взаимность — таков девиз Шико. Итак, Шико продолжит путешествие и, как умный человек, примет предосторожности. Поэтому Шико докончит то, что начал,— он переведет это прекрасное послание на латинский язык, запечатлеет его в памяти, а затем купит

лошадь, ибо от Жувизи до По слишком далеко. Но прежде всего Шико разорвет письмо своего друга Генриха Валуа...»

Уничтожив письмо, он продолжал:

«Шико отправится в путь со всеми предосторожностями, но прежде всего пообедает в добром городе Корбейле, как это и надлежит сделать такому едоку, как он».

В приятном городе Корбейле наш смелый посланец не столько знакомился с чудесами Сен-Спира, сколько с чудесами поварского искусства трактирщика, чье заведение насыщало ароматными парами окрестности собора.

Мы не будем описывать ни пиршество, которому он предался, ни лошадь, которую он купил у хозяина постоялого двора, скажем только, что обед был достаточно продолжительным, а лошадь достаточно плохой, чтобы дать нам материал еще на целый том.

III. Четыре ветра

Путешествуя на вновь приобретенной лошади, Шико переночевал в Фонтенебло, сделал на следующий день крюк вправо и достиг маленькой деревни Оржеваль. Ему хотелось проехать в этот день еще несколько лье, но лошадь его начала спотыкаться, и пришлось остановиться на постоялом дворе.

В течение всего пути его проницательный взгляд не обнаружил ничего подозрительного.

Люди, тележки, заставы казались в одинаковой мере безобидными. И хотя все было спокойно, Шико не чувствовал себя в безопасности. Читатели знают, что ему и в самом деле не следовало доверять внешнему спокойствию.

Прежде чем лечь спать и поставить в конюшню лошадь, он пожелал тщательно осмотреть дом.

Шико показали великолепные комнаты с тремя или четырьмя выходами; но, по его мнению, в них было слишком много дверей, причем двери эти недостаточно хорошо запирались.

Хозяин только что отремонтировал большой чулан, имевший только один выход на лестницу. Этот чулан сразу понравился Шико, и он приказал поставить там кровать.

Он несколько раз попробовал задвижки и, удовлетворенный тем, что они достаточно крепки, поужинал, разделся и положил одежду на стул.

Но прежде чем лечь спать, он для большей безопасности вытащил из кармана кошелек или, вернее, мешок с деньгами и положил его вместе со шпагой под подушку.

Потом он мысленно три раза повторил письмо.

Стол служил ему второй линией обороны, но все же он поднял шкаф и придвинул его вплотную к двери.

Итак, между ним и возможным нападением были дверь, шкаф и стол.

Постоялый двор казался необитаемым. У хозяина было добродушное лицо. Весь вечер дул такой ветер, что деревья по соседству громко скрипели, но этот звук мог показаться ласковым и приветливым хорошо укрытому путешественнику, лежащему в теплой постели.

Завершив подготовку к обороне, Шико с наслаждением растянулся. Нужно сказать, что постель была мягкой и удобной: пологом служили широкие занавески из зеленой саржи, а одеяло, толстое, как перина, приятно согревало уставшего путника.

Шико поужинал по рецепту Гиппократа, то есть очень скромно, и выпил только одну бутылку вина; по всему его телу распространилось то блаженное ощущение, проистекающее от сытого желудка, которое заменяет сердце многим так называемым порядочным людям.

Он решил почитать перед сном очень любопытную и совсем новую книгу, принадлежащую перу мэра города Бордо по имени Монтены[1].

Сочинение было напечатано в Бордо как раз в 1581 году и состояло из двух первых частей книги, весьма известной впоследствии под названием «Опыты».

Шико высоко ценил это сочинение и взял его с собой, уезжая из Парижа; он был лично знаком с Монтенем и охотно употреблял «Опыты» вместо молитвенника.

И все же на восьмой главе он крепко заснул.

Лампа горела по-прежнему, дверь, подпертая шкафом и столом, была по-прежнему заперта; шпага и деньги по-прежнему лежали под подушкой. Сам архангел Михаил спал бы как Шико, не думая о сатане, даже если бы тот в образе льва зарычал за дверью.

---

[1] Монтень Мишель (1533—1592) — известный французский писатель, автор моралистического сочинения «Опыты».

Мы уже говорили, что на дворе дул сильный ветер и свист его как-то странно сотрясал воздух; впрочем, ветер умеет подражать человеческому голосу или, вернее, великолепно пародировать его: то он хнычет, как плачущий ребенок, то рычит, как разгневанный муж, ссорящийся с женой.

Шико хорошо знал, что такое буря; ему становилось даже спокойнее от этого шума. Он успешно боролся с проявлениями осенней непогоды: с холодом при помощи одеяла, с ветром — заглушая его храпом. И все же Шико показалось во сне, что буря усиливается.

Внезапно порыв ветра непобедимой силы сорвал задвижки, распахнул дверь, опрокинул и потушил лампу и разбил стол.

Как бы крепко ни спал Шико, просыпаясь, он сразу обретал присутствие духа. Итак, пробудившись, он скользнул за кровать и быстро схватил левой рукой мешочек с деньгами, а правой — рукоять шпаги.

Шико широко раскрыл глаза — непроглядная тьма. Тогда он насторожил уши, и ему показалось, что во тьме буквально свирепствуют четыре ветра, а по полу катаются стулья, сталкиваясь и задевая другую мебель.

Среди этого содома Шико чудилось, что четыре ветра ворвались к нему, так сказать, во плоти, что он имеет дело с Эвром, Нотом, Аквилоном и Бореем, с их толстыми щеками и в особенности с их огромными ногами.

Смирившись, понимая, что с олимпийскими богами ничего не поделаешь, Шико присел в углу за кроватью, подобно сыну Оилея после одного из приступов его ярости, как о том повествует Гомер[1].

Но после нескольких минут самого ужасающего грохота, который когда-либо раздирал человеческий слух, Шико воспользовался затишьем и принялся кричать изо всех сил:

— На помощь!

Наконец стихии успокоились, точно Нептун собствен-

[1] Имеется в виду один из двух неразлучных друзей Аяксов, описанных великим греческим поэтом Гомером в поэме «Илиада». Однако Дюма ошибся — здесь речь идет об Аяксе Большом, сыне Теламона, подверженном приступам неистовой ярости, во время которых он сокрушал все вокруг. Успокоившись, он тяжело переживал случившееся, скрываясь от людей.

ной персоной произнес свое знаменитое «Quos ego!»[1]. Эвр, Нот, Борей и Аквилон, видимо, отступили, и появился хозяин с фонарем.

Комната имела весьма плачевный вид и напоминала поле сражения. За огромным шкафом, поваленным на разбитый стол, висела сорванная с петель дверь, стулья были опрокинуты, и ножки их торчали вверх; фаянсовая посуда лежала разбитая на плиточном полу.

— Да у вас здесь сущий ад! — воскликнул Шико, узнав хозяина при свете фонаря.

— Что случилось, сударь? — воскликнул хозяин, увидев произведенные разрушения. И он поднял к небу руки, а следовательно, и фонарь.

— Сколько же демонов живет у вас, мой друг? — прорычал Шико.

— О Иисусе! Какая непогода! — ответил хозяин с тем же патетическим жестом.

— Что у вас, задвижки не держатся, что ли? — продолжал Шико.— Или дом выстроен из картона? Я лучше уйду отсюда. Предпочитаю ночевать на открытом воздухе.— И Шико вылез из-за кровати со шпагой в руке.— А мое платье? — воскликнул он.— Где платье? Оно лежало на этом стуле!

— Ваше платье, мой дорогой господин,— простодушно сказал хозяин,— если оно было здесь, то тут и осталось.

— Как это «если было»! Уж не хотите ли вы сказать, что я приехал сюда в таком виде? — И Шико напрасно попытался завернуться в свою тонкую рубашку.

— Боже мой! — ответил хозяин, которому трудно было что-либо возразить против подобного аргумента.— Конечно, вы были одеты.

— Хорошо еще, что вы это признаете.

— Но ветер все разбросал.

— И все же, друг мой,— ответил Шико,— внемлите голосу рассудка. Когда ветер куда-нибудь влетает, а он, видимо, влетел сюда, раз учинил такой разгром...

— Без сомнения.

— Так вот, если бы ветер влетел сюда, то принес бы чужие одежды, а он унес мою одежду неизвестно куда.

— Как будто так. И все же мы видим доказательства противного.

[1] Я вас! *(лат.)*

— Куманек,— спросил Шико, пристально оглядев пол,— а откуда явился ко мне ветер?

— С севера, сударь, с севера.

— Ну, значит, он шел по грязи. Видите следы на полу?

И Шико показал свежие следы грязных сапог. Хозяин побледнел.

— Так вот, дорогой мой,— сказал Шико,— разрешите дать вам совет: хорошенько следите за ветрами, которые влетают в гостиницу, проникают в комнаты, срывая двери с петель, и улетают, унося одежду путешественника.

Хозяин отступил к выходу в коридор.

Потом, почувствовав, что отступление обеспечено, он спросил:

— Как вы смеете называть меня вором? — В тоне, каким это было сказано, звучала угроза.

— Я называю вас вором, потому что вы должны отвечать за украденные у меня вещи.

И Шико, как мастер фехтования, прощупывающий противника, сделал угрожающий жест.

— Эй, эй! — крикнул хозяин.— Ко мне!

В ответ на этот зов на лестнице появилось четыре человека, вооруженных палками.

— А вот и они — Эвр, Нот, Аквилон и Борей,— сказал Шико.— Черт возьми! Раз уж представился случай, надо освободить землю от северного ветра: я должен оказать эту услугу человечеству — наступит вечная весна.

И он сделал такой сильный выпад шпагой в направлении первого из нападающих, что если бы тот не отскочил назад с легкостью истинного сына Эола[1], он был бы пронзен насквозь.

На беду свою, он поскользнулся и со страшным шумом скатился по лестнице.

Это послужило сигналом для трех остальных, которые исчезли в лестничном пролете с быстротою призраков, спускающихся в театральный трап.

Однако один из молодцов успел сказать что-то на ухо хозяину.

— Хорошо, хорошо! — проворчал тот, обращаясь к Шико.— Найдется ваше платье.

[1] Эол — легендарный герой, повелитель ветров. В иносказательном смысле «Эол» означает ветер.

— В добрый час. Я не желаю ходить голым, это вполне естественно.

Ему принесли одежду, но явно порванную во многих местах.

— Ого! — сказал Шико.— Чертовские ветры, ей-ей! Но возвращено по-хорошему. Как я мог вас заподозрить? У вас же такое честное лицо.

Хозяин любезно улыбнулся и спросил:

— Но теперь-то ляжете спать?

— Нет, спасибо, я выспался.

— Что же вы будете делать?

— Одолжите мне, пожалуйста, фонарь, и я снова займусь чтением,— ответил так же любезно Шико.

Хозяин подал фонарь и ушел.

Шико снова приставил шкаф к двери и улегся в постель.

Ночь прошла спокойно; ветер утих, точно шпага Шико пронзила мехи, в которых он был запрятан.

На заре посланец короля спросил свою лошадь, оплатил расходы и уехал, бормоча про себя:

— Посмотрим, что будет сегодня вечером.

IV. О том, как Шико продолжал путешествие и что с ним случилось

Все утро Шико хвалил себя за то, что он, как нам удалось убедиться, не потерял спокойствия в эту ночь испытаний.

«Нельзя дважды поймать старого волка в ту же западню,— подумал он,— значит, для меня изобретут какую-нибудь новую чертовщину — будем настороже».

В дороге он даже заключил некий оборонительный союз. Действительно, четыре парижских бакалейщика-оптовика, ехавших с помощниками заказывать варенье в Орлеане и сухие фрукты в Лиможе, удостоили принять в свое общество королевского посланца, который назвался обувщиком из Бордо. А так как Шико был гасконец, то не внушил своим спутникам никаких опасений.

Их отряд состоял, следовательно, из пяти хозяев и четырех приказчиков. И в количественном отношении, и по

своему воинскому духу он заслуживает, чтобы с ним считались, особенно если учесть воинственные привычки, распространявшиеся среди парижских бакалейщиков после организации лиги.

Мы не станем утверждать, что Шико чувствовал чрезмерное уважение к храбрости своих спутников, но права пословица, утверждающая, что на миру и смерть красна.

Шико совсем перестал бояться, как только очутился среди попутчиков; он даже не оглядывался больше, как делал до сих пор, чтобы обнаружить возможных преследователей.

Болтая о политике и отчаянно хвастаясь, путники достигли города, где намеревались поужинать и переночевать.

Поели, крепко выпили и разошлись по комнатам.

Во время пиршества Шико был в ударе, а мускат и бургундское подогревали его остроумие. Торговцы, иначе говоря люди свободные, не слишком почтительно отзывались о его величестве короле Франции и других величествах лотарингских, наваррских и фландрских.

Отправляясь спать, Шико назначил на утро свидание четырем бакалейщикам, которые прямо-таки с триумфом проводили его до опочивальни, расположенной за их комнатами в самом конце коридора.

Надо сказать, что в те времена дороги были ненадежны даже для людей, путешествующих по своим делам, и каждый старался обеспечить себе поддержку соседа.

Теперь Шико оставалось лечь и спокойно уснуть, тем более что он самым тщательным образом осмотрел комнату, запер дверь и закрыл ставни единственного окна.

Но как только он заснул, произошло нечто такое, чего даже сфинкс, этот профессиональный прорицатель, не мог бы предвидеть; в дела Шико действительно постоянно вмешивался дьявол, а дьявол хитрее всех сфинксов на свете.

Около половины десятого в дверь приказчиков, ночевавших совместно в помещении, похожем на чердак, кто-то робко постучался. Один из постояльцев сердито открыл дверь и оказался нос к носу с хозяином гостиницы.

— Господа,— сказал он,— я хочу оказать вам большую услугу. Ваши хозяева слишком разошлись за столом, говоря о политике, и, видимо, кто-то донес на них. Мэр

послал стражников, они схватили ваших хозяев и отвели в Ратушу. Вставайте, братцы, ваши мулы оседланы, а хозяева вас всегда догонят.

Четверо приказчиков кубарем скатились с лестницы, дрожа от страха, вскочили на мулов и отправились обратно в Париж, попросив трактирщика предупредить об их отъезде торговцев, если те вернутся на постоялый двор.

Когда хозяин увидел, как четыре приказчика скрылись за углом, он так же осторожно постучался в первую дверь по коридору.

— Кто там? — крикнул первый торговец громовым голосом.

— Тише, несчастный! Разве вы не узнаете голоса хозяина?

— Боже мой, что случилось?

— За столом вы слишком вольно говорили о короле, какой-то шпион донес об этом мэру, и тот прислал стражников. К счастью, я догадался послать их в комнату ваших приказчиков.

— Что вы говорите? — воскликнул купец.

— Чистую правду! Бегите, пока лестница свободна.

— А мои спутники?

— У вас не хватит времени предупредить их.

— Вот бедняги!

И купец торопливо оделся.

В то же время хозяин, точно вдохновленный свыше, постучал в стенку, отделявшую первого купца от второго.

Второй купец, разбуженный теми же словами, тихонько открыл дверь; третий, разбуженный по примеру второго, позвал четвертого, и все четверо убежали на цыпочках, воздевая руки.

— Несчастный обувщик,— говорили они,— все неприятности обрушатся на него: хозяин не успел предупредить беднягу.

В самом деле, метр Шико, как вы понимаете, ничего не знал и спал глубоким сном.

Убедившись в этом, хозяин спустился в зал нижнего этажа. Там находились шестеро вооруженных людей, из которых один, казалось, был командиром.

— Ну как? — спросил он.

— Я выполнил все в точности, господин офицер.

— Человек, на которого мы указали, не был разбужен?

— Нет.

— Вы знаете, хозяин, какому делу мы служим? Ведь вы сами защитник этого дела.

— Ну конечно, господин офицер; вы же видите, я сдержал клятву, хоть и потерял деньги. Но в клятве говорится: «Я пожертвую имуществом, защищая святую католическую веру!»

— И жизнью! Вы забыли добавить это слово,— надменно заметил офицер.

— Боже мой! — воскликнул хозяин, всплеснув руками.— Неужели вы потребуете моей жизни? У меня жена и дети!

— Ничего от вас не потребуют, но вы должны слепо повиноваться приказаниям.

— Да, да, обещаю, будьте покойны.

— В таком случае, ложитесь спать, заприте двери и, что бы ни случилось, не выходите, даже если дом загорится и обрушится вам на голову.

— Увы! Увы! Я разорен...— пробормотал хозяин.

— Мне поручено оплатить ваши убытки,— сказал офицер.— Вот тридцать экю. Но и ничтожества защищают нашу святую лигу!

Хозяин ушел и заперся, как парламентер, предупрежденный о том, что город отдан на разграбление. Тогда офицер поставил двух хорошо вооруженных людей под окном Шико.

Он сам и трое остальных поднялись к несчастному обувщику, как назвали его сотоварищи, давным-давно выехавшие из города.

— Вам известен приказ? — спросил офицер.— Если он откроет дверь и мы найдем то, что ищем, мы не причиним ему зла; но если он будет сопротивляться, то хороший удар кинжалом — и все! Запомните хорошенько. Ни пистолета, ни аркебуза.

Они подошли к двери.

Офицер постучал.

— Кто там? — спросил Шико, мгновенно проснувшись.

— Ваши друзья-бакалейщики хотят сообщить вам нечто очень важное,— ответил офицер, решивший прибегнуть к хитрости.

— Ого! — сказал Шико.— Ваши голоса сильно огрубели от вина, дорогие мои бакалейщики.

Офицер смягчил тон и вкрадчиво попросил:

— Ну открывайте же, дорогой друг!

— Проклятие! Ваша бакалея что-то пахнет железом! — сказал Шико.

— А, ты не хочешь открыть! — нетерпеливо крикнул офицер.— Тогда вперед, ломайте дверь!

Шико бросился к окну, отворил его и увидел внизу две обнаженные шпаги.

— Я пойман! — воскликнул он.

— Ага, куманек! — сказал офицер, услышавший стук ставня.— Ты боишься прыгать и вполне прав. Ну, открывай, открывай же!

— Нет, черт возьми! — ответил Шико.— Дверь крепка, и мне придут на помощь.

Офицер рассмеялся и приказал солдатам ломать дверь.

Шико громко позвал купцов.

— Дурак! — сказал офицер.— Неужели ты думаешь, что мы оставили твоих помощников? Не обманывайся, ты один, а значит, пойман... Вперед, ребята!

И Шико услышал, как в дверь нанесли три удара прикладами.

— Там три мушкета и офицер, внизу только две шпаги. Высота пятнадцать футов — это пустяки. Я предпочитаю шпаги мушкетам.

И, подвязав мешочек с деньгами к поясу, он влез на подоконник, держа в руке шпагу.

Оба солдата стояли, подняв вверх острия шпаг. Но Шико рассчитал правильно. Ни один человек, будь он силен, как Голиаф, не станет дожидаться, чтобы противник свалился ему на голову.

Солдаты отступили, решив напасть на Шико, как только он упадет.

На это и надеялся гасконец. Он ловко прыгнул на носки. В ту же минуту один из солдат нанес ему сокрушительный удар.

Но Шико даже не потрудился отразить его. Он принял удар с открытой грудью; благодаря кольчуге Горанфло шпага врага сломалась, как стеклянная.

— На нем кольчуга! — пробормотал солдат.

— А ты что думал! — воскликнул Шико и ответным ударом раскроил ему череп.

Второй стражник начал кричать, с трудом отражая

удары нападавшего Шико. На свою беду, в фехтовании он был слабее Жака Клемана. Шико уложил его рядом с товарищем.

И когда, выломав дверь, офицер выглянул в окно, он увидел только двух стражников, плававших в собственной крови.

— Да это демон! — вскричал офицер.— Даже сталь не причиняет ему вреда.

V. Третий день путешествия

Королевскому посланцу пришло в голову, что, убедившись в неудаче своего предприятия, враги вряд ли останутся в городе, и он рассудил, что, по правилам военной тактики, ему следует повременить с отъездом.

Шико решился даже на большее: услышав топот удаляющихся лошадей, он смело вернулся в гостиницу.

Он нашел там хозяина, который не успел прийти в себя: после испытанного потрясения негодяй не помешал ему оседлать на конюшне лошадь, хотя и смотрел на него, как на призрак.

Шико воспользовался этим благоприятным для него оцепенением, чтобы не оплатить ни ужина, ни ночлега.

Потом он отправился провести остаток ночи в другую гостиницу — среди пьяниц, которые даже не заподозрили, что этот высокий, веселый незнакомец, столь любезный в обхождении, только что убил двух человек и едва не был убит сам.

Рассвет застал его уже в пути; он ехал охваченный беспокойством, возраставшим с минуты на минуту. Две попытки убийства, к счастью, не удались, но третья могла оказаться для него гибельной.

Время от времени он давал себе слово, что, добравшись до Орлеана, пошлет к королю курьера с требованием конвоя. Но так как дорога была пустынна и, видимо, безопасна, Шико подумал, что праздновать труса не стоит, ибо король потеряет о нем доброе мнение, а конвой будет очень стеснителен в пути.

Но после Орлеана опасения Шико удвоились: до вечера оставалось еще много времени; дорога шла в гору;

путешественник выделялся на ее сероватом фоне, как мавр, намалеванный на мишени, и кое-кому могла прийти охота настичь его пулей из аркебуза.

Внезапно Шико услышал вдали шум, похожий на топот копыт, когда лошади мчатся галопом.

Он оглянулся — по склону холма, на который он поднялся до половины, во весь опор мчались всадники.

Он сосчитал — их было семь.

Четверо были вооружены аркебузами.

Заходящее солнце бросало на дула кроваво-красный отсвет.

Кони преследователей мчались гораздо быстрее лошади Шико. Да Шико и не думал состязаться в скорости, так как это только бы уменьшило его обороноспособность в случае нападения.

Он только пустил свою лошадь зигзагами, чтобы не дать возможности всадникам взять точный прицел.

В самом деле, когда всадники оказались на расстоянии пятидесяти шагов, они приветствовали Шико четырьмя пулями, которые пролетели прямо над его головой.

Шико, как было сказано, ждал этих выстрелов и заранее обдумал, как поступить. Услышав свист пуль, он отпустил поводья и соскользнул с лошади. Ради предосторожности он заранее вытащил шпагу из ножен и держал в левой руке кинжал, наточенный, как бритва, и заостренный, как игла.

Радостный крик послышался в группе всадников, которые сочли Шико мертвым.

— Я же говорил вам! — воскликнул приближавшийся галопом человек.— Вы погубили все дело, потому что не выполнили в точности моих приказаний. Но теперь он сражен; обыщите его, прикончите, если он еще жив.

— Слушаю, сударь,— почтительно ответил один из всадников.

Два человека подошли к Шико; у них в руках были шпаги.

Они прекрасно понимали, что противник не убит, ибо он стонал.

Но, видя, что тот не двигается, наиболее усердный из двоих имел неосторожность приблизиться, и тотчас кинжал, словно выброшенный пружиной, вошел ему в горло по самую рукоять. Одновременно шпага Шико вонзилась меж ребер другого всадника.

— Предательство! — крикнул командир.— Заряжайте мушкеты, мерзавец еще жив!

— Конечно, я жив,— сказал Шико, глаза которого метали молнии; и, быстрый, как мысль, он бросился на командира, направив острие шпаги на его маску.

Тут два солдата схватили его. Он обернулся, рассек ударом шпаги ляжку одному из них и освободился.

— Болваны! — крикнул командир.— Аркебузы, черт вас дери!..

— Прежде чем они зарядят,— сказал Шико,— я тебе выпущу кишки, разбойник, и сорву маску, чтобы узнать, кто ты.

— Мужайтесь, сударь, я вас в обиду не дам,— сказал голос, точно зазвучавший с неба.

Он принадлежал красивому молодому человеку, ехавшему на прекрасной лошади. Всадник держал два пистолета и кричал Шико:

— Наклонитесь! Наклонитесь, черт возьми! Да наклонитесь же!

Тот повиновался.

Раздался выстрел, и один из нападавших рухнул к ногам Шико, выронив шпагу.

Между тем лошади бились в страхе, и трем оставшимся всадникам никак не удавалось вскочить в седло. Молодой человек выстрелил еще раз, не целясь, и прикончил еще одного человека.

— Два против двух,— сказал Шико.— Великодушный спаситель, займитесь вашим, а я займусь моим!

И он бросился на всадника в маске, который, дрожа от гнева и страха, тем не менее искусно отражал удары.

Со своей стороны молодой человек сбил с ног врага и связал его ремнем, как овцу, предназначенную на убой.

Видя, что перед ним только один противник, Шико обрел хладнокровие, а следовательно, и чувство превосходства.

Он загнал своего врага в придорожный ров и ловким ударом всадил ему шпагу между ребер.

Человек упал.

Шико прижал ногой шпагу побежденного, чтобы он не мог ее схватить, и обрезал кинжалом шнурки маски.

— Господин де Майен! — воскликнул он.— Черт возьми! Я так и думал.

Герцог не отвечал — он был без сознания. Шико почесал нос, как он это всегда делал, перед тем как принять серьезное решение; потом засучил рукава, выхватил кинжал и подошел к герцогу.

Но тут кто-то схватил его за руку, и он услышал голос:

— Потише, сударь. Нельзя убивать поверженного врага.

— Молодой человек,— возразил Шико,— вы спасли мне жизнь, и я благодарю вас от всего сердца. Но позвольте преподать вам небольшой урок, очень полезный в наш век морального упадка. Если за три дня жизнь смельчака трижды подвергалась опасности, он имеет право, верьте мне, совершить то, что я собираюсь сделать.

И Шико схватил врага за шею, чтобы покончить начатое.

Но и на этот раз молодой человек остановил его:

— Вы не сделаете этого, сударь, во всяком случае, пока я здесь. Нельзя безрассудно проливать такую кровь.

— Ба! — удивленно сказал Шико.— Вы знаете этого негодяя?

— Этот негодяй — герцог Майенский, принц крови, равный по рождению многим королям.

— Тем лучше,— мрачно сказал Шико.— Но кто же вы такой?

— Я тот, кто спас вам жизнь,— холодно ответил молодой человек.

— И тот, кто передал мне королевское письмо три дня назад?

— Вот именно!

— Значит, вы слуга короля, сударь?

— Да, имею эту честь,— сказал молодой человек с поклоном.

— И будучи на службе у короля, вы щадите господина де Майена? Черт возьми, сударь, разрешите вам сказать, что это не похоже на поступок доброго слуги.

— Думается мне, что, напротив, я поступаю именно как добрый слуга короля.

— Быть может,— грустно сказал Шико,— но сейчас не время философствовать. Как ваше имя?

— Эрнотон де Карменж, сударь.

— Хорошо, господин Эрнотон! Что мы будем делать с этой падалью, равной по величине всем королям на земле? Ибо, предупреждаю вас, я должен ехать.

— Я позабочусь о господине де Майене, сударь.

— И о его спутнике, который нас подслушивает?

— Этот бедняга ничего не слышит; я так крепко связал его, что он, видимо, потерял сознание.

— Сегодня вы спасли мне жизнь, господин де Карменж, но вы подвергаете ее опасности в будущем.

— Я выполнил свой долг, сударь; бог позаботится о будущем.

— Будь по-вашему. Впрочем, мне самому претит убивать беззащитного, даже если это мой злейший враг. Прощайте, сударь!

Шико отошел, чтобы сесть на свою лошадь, но тут же вернулся.

— У вас семь добрых лошадей. Мне думается, я заработал четыре из них; помогите же мне выбрать хотя бы одну...

— Возьмите мою лошадь,— ответил Эрнотон,— лучше ее не найти.

— Вы слишком щедры, оставьте ее себе.

— Нет, мне не нужно так торопиться, как вам.

Шико не заставил себя просить; он вскочил на коня Эрнотона и исчез.

VI. Эрнотон де Карменж

Эрнотон остался на поле сражения, не зная, что делать с двумя врагами, которым предстояло очнуться у него на руках.

Рассудив, что убежать они не могут, а Тень (ибо под этим именем, как помнит читатель, Эрнотон знал Шико) вряд ли вернется, чтобы их прикончить, молодой человек стал изыскивать какой-нибудь способ перевозки и не замедлил его найти.

На вершине горы показалась тележка, вероятно повстречавшаяся с Шико, и ее силуэт выступил на вечернем фоне неба, покрасневшего в пламени заходящего солнца.

Тележку тащили два быка; правил ими крестьянин.

Эрнотон остановил погонщика, которому, как видно, очень захотелось бросить тележку и спрятаться в кусты, и рассказал, что произошло сражение между гугенотами и католиками: в этом сражении пятеро погибли, но двое еще живы.

Хотя крестьянин и опасался ответственности за доброе дело, которого от него требовали, но еще больше он был напуган воинственным видом Эрнотона. Поэтому он помог молодому человеку перенести в тележку сначала господина де Майена, а затем солдата, лежавшего с закрытыми глазами.

Оставалось пять трупов.

— Сударь,— спросил крестьянин,— эти пятеро католики или гугеноты?

Эрнотон, видевший, как крестьянин крестился, ответил ему:

— Гугеноты.

— В таком случае,— сказал погонщик,— не будет ничего дурного, если я обыщу этих безбожников.

— Ничего дурного,— ответил Эрнотон, предпочитавший, чтобы добром убитых попользовался нужный ему крестьянин, а не первый встречный.

После окончания этой операции морщины на лбу крестьянина разгладились, и он стал подхлестывать быков, чтобы побыстрее приехать в хижину.

В конюшне этого доброго католика, на удобной соломенной подстилке, господин де Майен очнулся и посмотрел на окружающее с вполне понятным изумлением.

Как только господин де Майен открыл глаза, Эрнотон отпустил крестьянина.

— Кто вы? — спросил Майен.

— Вы меня не узнаете, сударь?

— Узнаю,— ответил герцог, нахмурившись,— вы тот, кто пришел на помощь моему врагу.

— Да,— ответил Эрнотон,— но я также и тот, кто помешал вашему врагу убить вас.

— Должно быть, это так, раз я жив,— сказал Майен.— Конечно, если только он не счел меня мертвым. Но почему, сударь, вы помогли этому человеку убить моих людей, а затем помешали ему убить меня?

— Странно, сударь, что дворянин — а вы, по-видимому, дворянин — не понимает моего поведения. Случай привел меня на дорогу, по которой вы ехали; я увидел, что несколько человек напали на одного, и встал на его защиту; потом, убедившись, что этот храбрец может злоупотребить своей победой, я помешал ему прикончить вас.

— Вы меня знаете? — спросил Майен, испытующе глядя на него.

— Мне нет надобности знать вас, сударь, вы ранены, и этого достаточно.

— Будьте искренни, сударь,— настаивал Майен,— вы меня знаете?

— Странно, сударь, что вы не хотите меня понять. Я не считаю благородным ни убивать поверженного, ни нападать всемером на одного.

— На все могут быть причины.

Эрнотон поклонился, но не ответил.

— Этот человек — мой смертельный враг.

— Верю, ибо то же сказал он и про вас.

— А если я выздоровлю?

— Это меня не касается: вы поступите, как вам заблагорассудится, сударь.

— Вы считаете, что я тяжело ранен?

— Я осмотрел вашу рану, сударь,— она серьезна, но не смертельна. Лезвие, как мне кажется, только скользнуло по ребрам. Вздохните, и, полагаю, вы не почувствуете боли в груди.

— Это правда,— сказал Майен, с трудом вздохнув.— А люди, которые были со мной?

— Мертвы, за исключением одного.

— Их оставили на дороге? — спросил Майен.

— Да.

— Их обыскивали?

— Да, крестьянин, которого вы, вероятно, видели, когда открывали глаза.

— Что он нашел?

— Немного денег.

— И бумаги?

— Не знаю.

— А!..— сказал Майен с явным удовольствием.

— Вы можете спросить об этом у того, кто остался жив.

— Где он?

— В сарае, в двух шагах отсюда.

— Приведите его ко мне и, если вы честный человек, поклянитесь, что не будете задавать ему никаких вопросов.

— Я не любопытен, сударь, к тому же знаю об этой истории все, что мне важно знать.

Герцог все еще с беспокойством смотрел на молодого человека.

— Сударь,— сказал Эрнотон,— я был бы рад, если бы вы дали ваше поручение кому-нибудь другому.

— Я неправ, сударь, признаю это,— сказал Майен,— но будьте столь любезны и окажите мне услугу, о которой я вас прошу.

Через пять минут солдат входил в конюшню.

Он вскрикнул, увидев герцога Майенского, но у того хватило сил приложить палец к губам. Солдат тотчас же замолчал.

— Сударь,— сказал Майен Эрнотону,— я вам благодарен навеки, и, конечно, когда-нибудь мы встретимся при более благоприятных обстоятельствах; могу ли я спросить, с кем имею честь говорить?

— Я виконт Эрнотон де Карменж, сударь.

Майен ждал более подробного объяснения, но молодой человек в свою очередь оказался весьма сдержанным.

— Вы следовали по дороге в Божанси, сударь? — продолжал Майен.

— Да.

— Я вам помешал, и вы, вероятно, не продолжите свой путь сегодня?

— Напротив, сударь, я надеюсь тотчас же выехать.

— В Божанси?

Эрнотон посмотрел на Майена, весьма раздраженный его настойчивостью.

— В Париж,— ответил он.

— Простите,— возразил Майен,— но как же так? Вы, направляясь в Божанси, без всяких серьезных причин отказываетесь от путешествия?

— Ничего нет проще, сударь,— ответил Эрнотон,— я ехал на свидание. Случай с вами задержал меня, и я опоздал: мне остается только вернуться.

Майен тщетно пытался прочесть что-либо на бесстрастном лице Эрнотона.

— Почему бы вам не остаться со мной несколько дней, сударь! — сказал он наконец.— Я пошлю в Париж солдата, чтобы он привез мне врача. Вы же понимаете, я не могу остаться здесь один с незнакомыми мне крестьянами.

— А почему бы, сударь,— возразил Эрнотон,— с вами не остаться солдату? Врача пришлю я.

Майен колебался.

— Знаете ли вы имя моего недруга? — спросил он.

— Нет, сударь!

— Как, вы спасли ему жизнь, а он не сказал вам своего имени?

— Вам я тоже спас жизнь, сударь, а разве я пытался узнать ваше имя? Зато вы оба знаете мое. Пусть лучше спасенный знает имя своего спасителя.

— Я вижу, сударь,— сказал Майен,— что вы столь же скрытны, сколь доблестны.

— А я, сударь, чувствую в ваших словах упрек и очень сожалею об этом. Ведь если я скрытен с вами, то и с другим не слишком разговорчив.

— Вы правы; вашу руку, господин де Карменж.

Эрнотон протянул руку, но по его манере нельзя было судить, знает ли он, что подает руку герцогу.

— Вы осудили мое поведение,— продолжал Майен.— Я не могу лучше оправдаться, не открыв важной тайны, поэтому мне лучше воздержаться от признаний.

— В вашей воле говорить или молчать, сударь.

— Благодарю вас, сударь. Знайте, что я дворянин из хорошей семьи и могу доставить вам все, что пожелаю.

— Не будем говорить об этом, сударь,— ответил Эрнотон.— Благодаря господину, которому я служу, я ни в чем не нуждаюсь.

— Вашему господину? — с беспокойством спросил Майен.— Какому господину, скажите, пожалуйста.

— О, довольно признаний — вы сами это сказали, сударь,— ответил Эрнотон.

— Вы правы... Как мне нужен мой лекарь!

— Я возвращаюсь в Париж, как уже имел честь вам сообщить; дайте мне его адрес.

Майен сделал знак солдату, и они заговорили вполголоса. Эрнотон, верный своей обычной скромности, отошел. Наконец, после минутного совещания, герцог снова повернулся к Эрнотону.

— Господин де Карменж, дайте слово, что мое письмо будет доставлено вами по назначению.

— Даю слово, сударь.

— Верю вам — вы благородный человек.

Эрнотон поклонился.

— Я доверю вам часть своей тайны,— сказал Майен.— Я принадлежу к охране герцогини Монпансье.

— Неужели у герцогини Монпансье есть охрана? — простодушно спросил Эрнотон.— Я не знал этого.

— В наше смутное время, сударь,— продолжал Майен,— все стараются обезопасить себя, а семья Гизов, одна из знатнейших семей...

— Я не прошу объяснений, сударь.

— Итак, я продолжаю: мне нужно было совершить поездку в Амбуаз, но по дороге я встретил своего врага... Остальное вам известно.

— Да,— подтвердил Эрнотон.

— Из-за полученной мною раны я не выполнил поручения и должен сообщить об этом герцогине. Не согласитесь ли вы отдать ей в собственные руки письмо, которое я буду иметь честь написать?

— Если здесь есть бумага и чернила,— ответил Эрнотон и встал, чтобы поискать требуемые предметы.

— Не стоит,— сказал Майен,— у моего солдата, наверно, есть все, что требуется.

Действительно, солдат вытащил из кармана две сложенные записные дощечки. Майен повернулся к стене, нажал какую-то пружину, и дощечки открылись; он написал несколько строчек и снова сложил дощечки.

Теперь тот, кто не знал секрета, не мог разъединить их, не сломав.

— Сударь,— сказал молодой человек,— через три дня это послание будет доставлено герцогине де Монпансье.

Герцог пожал руку своему доброжелателю и, утомленный, упал на солому, обливаясь потом.

— Сударь,— сказал Эрнотону солдат тоном, который плохо вязался с его одеждой,— вы связали меня, как теленка, но, хотите вы этого или нет, я рассматриваю эти путы как узы дружбы и докажу вам это, когда придет время.

И он протянул молодому человеку руку, белизну которой тот уже успел заметить.

— Превосходно,— улыбаясь, сказал Карменж,— значит, у меня стало двумя друзьями больше!

— Не смейтесь, сударь,— сказал солдат,— друзей не может быть слишком много.

— Правильно, друг,— ответил Эрнотон.

И он уехал.

VII. Конный двор

Эрнотон тотчас же отправился в путь, и так как он взял лошадь герцога, то ехал быстро и к середине третьего дня прибыл в Париж.

В три часа дня он остановился у казармы Сорока пяти в Лувре.

Гасконцы, увидев его, разразились удивленными восклицаниями.

Господин де Луаньяк вышел на крики и, заметив Эрнотона, грозно нахмурился, что не помешало молодому человеку направиться прямо к нему.

Господин де Луаньяк сделал Эрнотону знак пройти в небольшой кабинет, где этот неумолимый судья произносил свои приговоры.

— Можно ли так вести себя, сударь? — спросил он.— Вы отсутствуете уже пять дней и пять ночей... И это вы, сударь, которого я считал человеком рассудительным.

— Сударь,— ответил Эрнотон, кланяясь,— я выполнял приказ.

— А что вам приказали?

— Следовать за герцогом Майенским.

— Значит, герцог уехал из Парижа?

— В тот же вечер, и это показалось мне подозрительным.

— Вы правы, сударь. Дальше?

Тут Эрнотон рассказал кратко, но с пылом и энергией смелого человека о дорожном приключении и о последствиях, которое оно имело. Пока он говорил, на подвижном лице Луаньяка отражались все впечатления, которые рассказчик вызвал в его душе.

Но как только Эрнотон дошел до письма герцога Майенского, Луаньяк воскликнул:

— Письмо при вас?

— Да, сударь.

— Черт возьми! Прошу вас, сударь, следуйте за мной.

И Эрнотон последовал за Луаньяком на луврский конный двор.

Там готовились к выезду короля, и господин д'Эпернон смотрел, как пробуют двух лошадей, только что прибывших из Англии в подарок Генриху от Елизаветы; лошадей этих, отличавшихся необыкновенной красотой, собирались в этот день впервые запрячь в карету короля.

Господин де Луаньяк подошел к герцогу д'Эпернону и притронулся к подолу его плаща.

— Важные новости, ваша светлость,— сказал он.

— В чем дело, господин де Луаньяк?

— Господин де Карменж приехал из-под Орлеана; герцог Майенский лежит там раненый в деревне.

— Раненый?!

— Более того, — продолжал Луаньяк, — он написал госпоже де Монпансье письмо, которое находится у господина де Карменжа.

— Тысяча чертей! — воскликнул д'Эпернон.— Позовите господина де Карменжа, я сам с ним поговорю.

Луаньяк подошел к Эрнотону, который почтительно держался в стороне.

— Насколько мне известно, у вас имеется письмо господина де Майена,— обратился д'Эпернон к де Карменжу.

— Да, монсеньер.

— Оно адресовано госпоже де Монпансье...

— Да, монсеньер.

— Будьте любезны передать мне это письмо.

И герцог протянул руку со спокойной небрежностью человека, которому достаточно выразить свою волю, чтобы ей тотчас же повиновались.

— Ваша светлость забываете, что письмо доверено мне.

— Какое это имеет значение?

— Для меня огромное, монсеньер; я дал слово господину герцогу, что письмо будет передано лично герцогине.

— Кому вы служите — королю или герцогу Майенскому?

— Я служу королю, монсеньер.

— Отлично. Король хочет получить это письмо.

— Но вы — не король, монсеньер.

— Вы забываете, с кем говорите, господин де Карменж! — сказал д'Эпернон, бледнея от гнева.

— Напротив, монсеньер, вот почему я и отказываюсь.

— Отказываетесь? Вы сказали, что отказываетесь, господин де Карменж?

— Да, сказал.

— Господин де Карменж, вы забываете вашу клятву верности!

— Монсеньер, насколько я помню, я клялся в верности только одной особе — его величеству. Если король потребует от меня письмо, он его получит, но короля здесь нет.

— Господин де Карменж,— сказал герцог, который все больше раздражался, в то время как Эрнотон, напротив, становился все холоднее,— вы, как все ваши земляки, легко теряете голову от успеха; вы опьянены удачей, любезный дворянчик; обладание государственной тайной ошеломило вас, как удар дубиной.

— Меня ошеломляет ваша немилость, господин герцог, но я поступаю так, как велит мне совесть, и никто не получит письма, за исключением короля или той особы, которой оно адресовано.

Господин д'Эпернон сделал угрожающий жест.

— Луаньяк,— сказал он,— прикажите сейчас же отвести господина де Карменжа в тюрьму.

— В таком случае,— улыбаясь, сказал Карменж,— я не смогу передать герцогине де Монпансье это письмо, во всяком случае, пока нахожусь в тюрьме; но как только я выйду...

— Если вы из нее выйдете,— сказал д'Эпернон.

— Я выйду, сударь, разве только вы прикажете меня убить,— сказал Эрнотон со все возрастающей решимостью.— Да, я выйду — тюремные стены не так крепки, как моя воля. И как только я выйду, монсеньер...

— Что же тогда?

— Я обращусь к королю.

— В тюрьму! В тюрьму! — зарычал д'Эпернон, теряя самообладание.— И отнять у него письмо!

— Никто до него не дотронется! — воскликнул Эрнотон, отскочив назад и вытащив из нагрудного кармана дощечки Майена.— Я уничтожу письмо: герцог Майенский одобрит мое поведение, а его величество мне простит.

В эту минуту чья-то рука мягко удержала его. Молодой человек оглянулся и воскликнул:

— Король!

В самом деле, король только что спустился с лестницы, он слышал конец спора и остановил Карменжа.

— Что случилось, господа? — спросил он голосом, которому умел придавать ни с чем не сравнимую властность.

— Государь! — воскликнул д'Эпернон, даже не стараясь скрыть свой гнев.— Этот человек принадлежал к вашим Сорока пяти, но теперь он уже не будет в их числе. Я велел ему от вашего имени следить за герцогом Майенским, пока тот будет в Париже. Молодой человек последовал за герцогом до Орлеана и там получил от него письмо, адресованное госпоже де Монпансье!

— Вы получили от господина де Майена письмо к госпоже де Монпансье?

— Да, государь,— ответил Эрнотон,— но его светлость не говорит, при каких обстоятельствах.

— Где же это письмо? — спросил король.

— В этом и заключается причина спора, государь. Господин де Карменж наотрез отказался отдать мне письмо и собирается отнести его по адресу — поступок, как мне кажется, недостойный королевского слуги.

Молодой человек опустился на одно колено.

— Государь,— сказал он,— я бедный дворянин, но человек чести. Я спас жизнь вашего посланца, которого собирались убить герцог Майенский и шесть его приверженцев.

— А с герцогом Майенским ничего не случилось? — спросил король.

— Он ранен, государь, и даже тяжело.

— Так! — молвил король.— А потом?

— Ваш посланец, у которого, мнится мне, имеются особые причины ненавидеть герцога Майенского...

Король улыбнулся.

— Ваш посланец, государь, хотел прикончить врага, но я подумал, что в моем присутствии эта месть будет походить на политическое убийство, и...

Эрнотон колебался.

— Продолжайте,— сказал король.

— И я спас жизнь герцога Майенского, как я спас жизнь вашего посланца.

Д'Эпернон пожал плечами. Луаньяк закусил свой длинный ус, король оставался бесстрастным.

— Продолжайте,— молвил он.

— Герцог Майенский, у которого остался только один солдат — пятеро других были убиты — не пожелал с ним расстаться и, не зная, что я верный слуга вашего величества, поручил мне отвезти письмо своей сестре. Вот это письмо; я вручаю его вашему величеству, дабы вы могли располагать им, как располагаете мной. Честь мне дорога, государь, но теперь порукой мне королевская воля, и я отказываюсь от своей чести — она в хороших руках.

Эрнотон, по-прежнему на коленях, протянул дощечки королю.

Король мягко отстранил его руку.

— Что вы такое говорили, д'Эпернон? Господин де Карменж честный человек и верный слуга.

— Я, государь? — сказал д'Эпернон.

— Да, разве я не слышал, спускаясь по лестнице, слова «тюрьма»? Черт возьми! Напротив, когда встречается такой человек, как господин де Карменж, нужно говорить, как у древних римлян, о венках и наградах. Письмо принадлежит либо тому, кто его передает, либо тому, кому оно адресовано.

Д'Эпернон, ворча, поклонился.

— Вы отнесете письмо, господин де Карменж.

— Но, государь, подумайте о том, что там может быть написано,— сказал д'Эпернон.— Не надо излишней щепетильности, когда дело идет о жизни вашего величества.

— Вы отвезете письмо, господин де Карменж...— повторил король, не отвечая своему фавориту.

— Благодарю, государь,— ответил Карменж.

— Но по какому адресу? Во дворец Гизов, во дворец Сен-Дени или в Бель...

Взгляд д'Эпернона остановил короля.

— Я отвезу письмо во дворец Гизов и узнаю там, где найти герцогиню де Монпансье.

— А когда вы ее найдете?

— Я отдам ей письмо.

Король пристально посмотрел на молодого человека.

— Скажите, господин де Карменж, обещали вы что-нибудь еще господину де Майену?

— Нет, государь.

— Ну, например,— настаивал король,— хранить в тайне местопребывание герцогини?

— Нет, государь, я не обещал ничего подобного.

— Тогда я ставлю вам одно условие, сударь.

— Я раб вашего величества.

— Вы отдадите письмо герцогине Монпансье и тотчас же приедете ко мне в Венсен, где я буду сегодня вечером.

— Слушаюсь, государь.

— И там вы мне дадите отчет в том, где вы нашли герцогиню.

— Ваше величество может на меня рассчитывать.

— Какая неосторожность, государь! — сказал герцог д'Эпернон.

— Вы не разбираетесь в людях, герцог. Он честен в отношении Майена — будет честен и в отношении меня.

— Не только честен, но и бесконечно предан, государь! — воскликнул Эрнотон.

— Итак, теперь, когда все кончено, господа, едем! — сказал Генрих.

Д'Эпернон поклонился.

— Вы едете со мной, герцог?

— Я буду сопровождать ваше величество верхом — мне кажется, таков был приказ.

— Да, кто будет с другой стороны?

— Преданный слуга вашего величества,— сказал д'Эпернон,— господин де Сент-Малин.

И он посмотрел, какое впечатление его слова произвели на Эрнотона.

Но тот остался невозмутимым.

— Луаньяк,— добавил д'Эпернон,— позовите господина де Сент-Малина.

— Господин де Карменж,— сказал король, понявший умысел д'Эпернона,— как только выполните поручение, вы приедете в Венсен.

— Да, государь.

И Эрнотон, несмотря на свое философское отношение к жизни, уехал довольный тем, что не увидит триумфа Сент-Малина.

VIII. Семь грехов Марии-Магдалины

Король бросил взгляд на лошадей и, увидев, какие они горячие, не пожелал ехать в карете один и знаком пригласил сесть рядом с ним герцога.

Луаньяк и Сент-Малин заняли места по бокам кареты, форейтор — впереди.

Герцог поместился один на переднем сиденье, а король со своими собаками уселся на подушках в глубине громоздкого экипажа.

Любимый пес Генриха III, тот самый, которого мы видели у него на руках в ложе Ратуши, сладко дремал на особой подушке. Справа от короля находился стол, вделанный в пол кареты; на столе лежали раскрашенные картинки, которые его величество вырезал необыкновенно ловко, несмотря на тряску.

То были главным образом картинки религиозного содержания, но, по обычаю того времени, к образам христианской мифологии примешивалось немало языческого.

Методичный во всем, Генрих распределил рисунки по темам и занялся «Житием Марии-Магдалины».

Грешница была изображена молодой, красивой, окруженной поклонниками; роскошные бани, пиршества, всевозможные удовольствия нашли отражение в этой серии рисунков.

Художник возымел остроумную мысль прикрыть капризы своей фантазии церковным авторитетом. Вот почему подпись под каждым рисунком была посвящена одному из смертных грехов:

«Магдалина предается греху гнева»;
«Магдалина предается греху чревоугодия»;
«Магдалина предается греху гордыни».

И так далее, вплоть до седьмого, и последнего, смертного греха.

Картинка, которую король вырезал, проезжая через Сент-Антуанские ворота, изображала грешницу, впадающую в гнев.

Мария-Магдалина полулежала на подушках, закрытая, как плащом, своими роскошными золотыми волосами, которыми она оботрет впоследствии ноги Христа. Прекрасная грешница только что велела бросить раба, разбившего драгоценную вазу, в садок с муренами, которые высовывали из воды змеевидные головы, в то время как служанку бичевали по приказу Магдалины, ибо, причесывая свою госпожу, она нечаянно вырвала у нее несколько золотых волосков.

На заднем плане картины были изображены собаки, которых избивали за то, что они пропустили в дом нищих.

Доехав до Фобенского креста, король уже приступил к другой картинке под названием «Магдалина предается греху чревоугодия».

Прекрасная грешница возлежала на пурпурно-золотом ложе: самые изысканные блюда, известные римским гастрономам, от соней в меду до краснобородок в фалернском вине, украшали стол. На земле собаки дрались из-за фазана, а воздух кишел птицами, уносившими с пиршества фиги, землянику и вишни; птицы иногда роняли ягоды стаям мышей, которые, подняв носы, ожидали этой манны небесной.

Поглощенный своим серьезным делом, король едва поднял глаза, проезжая мимо аббатства Святого Иакова, где колокола вовсю трезвонили к вечерне.

Двери и окна вышеуказанного монастыря были закрыты и, если бы не звон колокола, могло показаться, что он необитаем. Но шагов через сто наблюдатель заметил бы, что король бросил уже более внимательный взгляд на красивый дом, стоявший слева от дороги, в очаровательном саду, огороженном железной решеткой с золочеными остриями. Эта усадьба называлась Бель-Эба.

В отличие от монастыря Святого Иакова, в Бель-Эба окна были растворены, кроме одного, скрытого за жалюзи.

Когда король поравнялся с домом, жалюзи неприметно дрогнули.

Король обменялся с д'Эпернoном многозначительным взглядом и приступил к следующему смертному греху.

Картинка до того поглотила внимание короля, что он не заметил тщеславия, расцветшего с левой стороны его кареты, где пыжился от гордости Сент-Малин, гарцевавший на коне.

Подумать только, он, младший сын гасконской семьи, едет так близко от христианнейшего короля, что может слышать, как его величество говорит своему псу: «Тубо, мастер Лов, вы мне надоели!» — или же обращается к генерал-полковнику от инфантерии д'Эпернону со словами: «Похоже, герцог, что лошади эти сломают мне шею».

Медленность езды отнюдь не оправдывала опасений короля, зато продлевала радость Сент-Малина; в самом деле, английские лошади в тяжелой сбруе, расшитой серебром и позументом, не слишком быстро продвигались в направлении Венсена.

Но когда Сент-Малин чересчур загордился, нечто похожее на предупреждение свыше умерило его восторг: он услышал, что король произнес имя Эрнотона.

Два или три раза в течение двух-трех минут король назвал это имя. Но, как назло, слова, относящиеся к Эрнотону, постоянно заглушались каким-нибудь шумом.

То король издавал возглас огорчения, ибо резкое движение ножниц портило картинку, то с величайшей нежностью убеждал замолчать Лова, который тявкал с необоснованной, но явно выраженной претензией лаять не хуже какого-нибудь здоровенного дога.

Наконец путешественники прибыли в Венсен.

Королю оставалось вырезать еще три греха. И под предлогом этого важного занятия его величество, едва сойдя с коляски, заперся у себя в опочивальне.

Дул холоднющий северный ветер.

Сент-Малин едва успел устроиться у большого камина, чтобы согреться и поспать, когда Луаньяк положил ему руку на плечо.

— Сегодня вы в наряде,— сказал он отрывисто, как человек, привыкший приказывать.— Вы поспите в другой раз, вставайте, господин де Сент-Малин.

— Я готов бодрствовать хоть пятнадцать суток подряд, сударь,— ответил тот.

— Мы не столь требовательны. Успокойтесь!

— Чем могу служить, сударь?

— Вы немедленно вернетесь в Париж.

— Слушаюсь. Мой конь стоит оседланный на конюшне.

— Хорошо. Отправитесь прямиком в казарму Сорока пяти.

— Да, сударь.

— Всех разбудите, но, кроме трех начальников, которых я вам укажу, никто не должен знать, куда и зачем отправляется.

— В точности выполню ваши приказания, сударь.

— Вы оставите четырнадцать человек у Сент-Антуанских ворот, пятнадцать человек на полдороге и вернетесь сюда с четырнадцатью остальными.

— Все будет выполнено в точности, господин де Луаньяк. В котором часу следует выехать из Парижа?

— В сумерки.

— Оружие?

— Кинжал, шпага, пистолет.

— В доспехах?

— Да.

— Будут ли еще приказания, сударь?

— Вот три письма, адресованных господину де Шалабру, господину де Бирану и вам. Шалабр будет командовать первым отрядом, Биран — вторым, вы — третьим.

— Слушаюсь, сударь.

— Письма следует вскрыть по прибытии на место ровно в шесть часов. Господин де Шалабр вскроет письмо у Сент-Антуанских ворот, господин де Биран — у Фобенского креста, вы — у Венсенской сторожевой башни.

— Ехать надо быстро?

— Как можно быстрее, но так, чтобы не вызвать подозрений.

— Слушаюсь, сударь.

— Дополнительные инструкции находятся в письмах. Отправляйтесь.

Сент-Малин поклонился и сделал шаг к выходу.

— Кстати,— сказал Луаньяк,— отсюда до Фобенского креста скачите во весь опор; но оттуда до заставы поезжай-

те шагом. До наступления ночи еще два часа — у вас больше времени, чем нужно.

— Прекрасно, сударь.

— Доброго пути, господин де Сент-Малин.

И Луаньяк, звеня шпорами, ушел в свои покои.

«Четырнадцать в первом отряде, пятнадцать во втором и пятнадцать в третьем,— размышлял Сент-Малин,— ясно, что Эрнотон больше не состоит в числе Сорока пяти».

Через полчаса после отъезда из Венсена Сент-Малин проехал заставу, а еще через четверть часа был в казарме Сорока пяти.

Большая часть этих господ нетерпеливо ожидала ужина, дымившегося в кухне. Все блюда обычно щедро орошались винами лучших марок — вроде малаги, кипрского и сиракузского.

Тем не менее, как только начинал трубить горн, сотрапезники превращались в солдат, подчиненных железной дисциплине.

Зимой ложились в восемь, летом в десять; но спали только пятнадцать человек, другие пятнадцать дремали, а остальные бодрствовали.

Прибыв в казарму в половине шестого, Сент-Малин застал всех гасконцев на ногах и одним словом опрокинул их надежды на вкусный ужин.

— На коней, господа! — сказал он.

И, оставив сотоварищей в полном недоумении, он дал объяснения лишь господам де Бирану и де Шалабру.

Сделали перекличку.

Только сорок четыре человека, включая Сент-Малина, ответили на нее.

— Господин Эрнотон де Карменж отсутствует,— сказал господин де Шалабр, так как была его очередь исполнять обязанности дежурного.

Глубокая радость наполнила сердце Сент-Малина, и губы его невольно сложились в подобие улыбки, что с этим мрачным и завистливым человеком случалось редко.

Действительно, в глазах Сент-Малина Эрнотон безнадежно проигрывал из-за своего необъяснимого отсутствия во время такой важной экспедиции.

Сорок пять или, вернее, сорок четыре человека уехали — каждый отряд по той дороге, которая ему была указана.

IX. Бель-Эба

Излишне говорить, что Эрнотон, которого Сент-Малин считал погибшим, следовал по пути, неожиданно указанному ему фортуной.

Сначала он направился во дворец Гизов и постучался у главного входа.

Тотчас же открыли, но швейцар расхохотался ему прямо в лицо, когда он попросил о чести видеть госпожу герцогиню де Монпансье.

Эрнотон ждал подобного приема и ничуть не смутился.

— Какая досада,— сказал он,— мне необходимо передать ее светлости известия исключительной важности от господина герцога Майенского.

— От герцога Майенского? — воскликнул швейцар.— Кто же поручил вам передать эти известия?

— Сам герцог Майенский.

— Герцог? — переспросил швейцар с хорошо разыгранным удивлением.— Господина герцога, так же как госпожи герцогини, нет в Париже!

— Мне это прекрасно известно,— ответил Эрнотон,— но ведь я мог встретить господина герцога где-нибудь в другом месте — например, по дороге в Блуа.

— В Блуа? — повторил швейцар.

— Вот именно.

Выражение беспокойства появилось на лице служителя, который от избытка усердия держал дверь приотворенной.

— Где же это послание? — спросил он.

— Тут,— сказал Эрнотон, хлопнув себя по мундиру.

Верный слуга устремил на Эрнотона испытующий взгляд.

— Вы говорите, что послание очень важное?

— Величайшей важности.

— Дайте мне взглянуть на него.

Эрнотон вытащил спрятанное на груди письмо герцога Майенского.

— Какие странные чернила! — воскликнул швейцар.

— Это кровь,— бесстрастно ответил Эрнотон.

Слуга побледнел при мысли, что это кровь герцога.

— Сударь,— торопливо сказал слуга,— я не знаю, найдете ли в Париже вы госпожу герцогиню де Монпансье. Но отправляйтесь немедля в Сент-Антуанское предместье, в усадьбу Бель-Эба, принадлежащую госпоже герцогине; вы сразу узнаете этот дом — он стоит первый слева по дороге в Венсен, после монастыря Святого Иакова. Очень может быть, что там вы встретите какого-нибудь доверенного человека, который сообщит вам, где находится госпожа герцогиня.

— Очень хорошо,— сказал Эрнотон, понявший, что слуга не может или не хочет сказать больше,— спасибо!

Ему ничего не стоило найти усадьбу Бель-Эба, расположенную рядом с монастырем Святого Иакова.

Он дернул звонок, и ворота открылись.

Во дворе, видимо, некоторое время ждали от него пароля; но так как он молча осматривался, лакей спросил, что ему угодно.

— Я хочу говорить с госпожой герцогиней,— ответил молодой человек.

— Госпожи герцогини уже нет ни в Бель-Эба, ни в Париже,— ответил лакей.

— В таком случае,— сказал Эрнотон,— придется отложить поручение господина герцога Майенского.

— Поручение к госпоже герцогине?

— Да.

Лакей на минуту задумался.

— Сударь,— сказал он,— здесь есть один человек, которого мне надлежит спросить. Будьте любезны подождать.

«Вот кому хорошо служат, черт возьми! — подумал Эрнотон.— Какой порядок, повиновение, точность! Нечего и говорить, что к де Гизам не войдешь запросто, как в Лувр. Я начинаю думать, что служу не настоящему королю Франции».

Он оглянулся: двор был пуст, но двери всех конюшен открыты, словно здесь ожидали прибытия конного отряда.

Наблюдения Эрнотона были прерваны вошедшим лакеем, за ним следовал другой служитель.

— Доверьте мне вашу лошадь, сударь, и следуйте за моим товарищем,— сказал лакей.

Эрнотона ввели в маленькую гостиную, где спиной к

нему сидела за вышиванием женщина, одетая скромно, но элегантно.

— Вот всадник, прибывший от господина де Майена, сударыня,— сказал лакей.

Она обернулась.

Эрнотон вскрикнул от изумления, узнав и своего пажа и незнакомку в носилках.

— Вы! — в свою очередь воскликнула дама, выронив работу и глядя на Эрнотона.

Она знаком приказала служителю удалиться.

— Вы принадлежите к свите госпожи герцогини де Монпансье, сударыня? — с изумлением воскликнул Эрнотон.

— Да,— ответила незнакомка,— но вы, сударь, каким образом вы оказались посланцем господина де Майена?

— Это слишком долго рассказывать, сударыня,— уклончиво ответил Эрнотон.

— Вы скрытны, сударь,— молвила дама, улыбаясь.

— Да, сударыня, когда это необходимо.

— Но я не вижу здесь повода для скрытности,— сказала незнакомка.— Ведь, памятуя о нашем знакомстве, хотя и мимолетном, вы сообщите мне, что это за послание.

Дама вложила в последние слова все кокетство, все очарование, которое может вложить хорошенькая женщина в свою просьбу.

— У меня нет устных поручений, сударыня; моя миссия состоит в том, чтобы передать письмо ее светлости.

— Где же это письмо? — спросила незнакомка, протягивая руку.

— Сударыня, я уже имел честь сообщить вам, что письмо адресовано госпоже герцогине де Монпансье.

— Но поскольку герцогиня отсутствует,— нетерпеливо сказала дама,— вы можете, следовательно...

— Нет, не могу.

— Вы не доверяете мне, сударь?

— Должен был бы не доверять, сударыня,— ответил молодой человек.— Но, несмотря на таинственность вашего поведения, вы внушили мне, признаюсь, совсем не те чувства, о которых говорите.

— Правда? — воскликнула дама, чуть покраснев от пламенного взора Эрнотона.

Эрнотон поклонился.

— Будьте осторожны, господин посланец,— сказала она, смеясь,— вы объясняетесь мне в любви.

— Вы правы, сударыня,— молвил Эрнотон.— Не знаю, увижусь ли с вами опять, этот случай слишком драгоценен, чтобы я мог его упустить.

— Понимаю: желая меня видеть, вы нашли предлог, чтобы пробраться сюда.

— Чтобы я, сударыня, искал предлог?! Вы меня плохо знаете. Я странный человек, согласен, и не поступаю так, как все.

— Вижу, вы рассудительный и осторожный влюбленный,— смеясь, сказала дама.

— Можно ли удивляться, что вы внушили мне некоторые сомнения, сударыня,— возразил Эрнотон.— Разве принято, чтобы женщина одевалась мужчиной, прорывалась через заставу и шла смотреть, как будут четвертовать на Гревской площади какого-то несчастного, и при этом делала ему непонятные знаки?

Дама слегка побледнела, но тут же улыбнулась:

— Вам не хватает проницательности, сударь! Достаточно иметь чуточку здравого смысла, и все, что вам кажется темным, тотчас же объяснится. Разве не естественно, что госпожа де Монпансье интересовалась судьбой господина де Сальседа, его признаниями, истинными или ложными,— ведь они могли скомпрометировать весь лотарингский дом! А если это естественно, сударь, то почему бы герцогине не послать верного, близкого друга с поручением присутствовать на четвертовании и видеть воочию, как говорят во дворце Правосудия, малейшие подробности казни? Этим другом, сударь, оказалась я, доверенное лицо ее светлости. Теперь подумайте, могла я появиться на Гревской площади в женской одежде и остаться равнодушной к страданиям этого мученика, к его попыткам сделать признание?

— Вы совершенно правы, сударыня,— промолвил Эрнотон с поклоном.— Клянусь, я восхищаюсь вашим умом не менее, чем вашей красотой.

— Благодарю вас, сударь. Значит, теперь, когда мы познакомились и объяснились, вы дадите мне письмо?

— Невозможно, сударыня, ибо я поклялся герцогу Майенскому, что передам его в собственные руки госпожи де Монпансье.

— Скажите лучше,— воскликнула дама, не в силах сдержать раздражения,— что письма не существует, что это предлог, изобретенный вами, дабы проникнуть сюда!.. Прекрасно, сударь, можете быть довольны: вы не только проникли сюда, но увидели меня и даже признались мне в любви.

— И в этом, как и во всем остальном, сударыня, я говорил чистую правду.

— Хорошо! Пусть будет так! Вы меня видели, я доставила вам это удовольствие в оплату за прежнюю услугу. Мы квиты, прощайте.

— Я повинуюсь вам, сударыня,— сказал Эрнотон,— и ухожу, раз вы меня прогоняете.

На этот раз дама рассердилась всерьез.

— Вот как! — воскликнула она.— Вы полагаете, что достаточно проникнуть сюда под любым предлогом к знатной даме, а затем сказать: «Мне удалась моя хитрость, и я ухожу»? Сударь, так благородные люди не поступают.

— Я не стану отвечать на ваши жестокие слова, сударыня, и постараюсь забыть обо всем, что говорил вам пылкого и нежного, раз вы так дурно ко мне расположены. Но я не уйду под тяжестью ваших суровых обвинений. У меня действительно есть письмо господина де Майена, адресованное госпоже де Монпансье, и вот это письмо.

Эрнотон протянул даме письмо, не выпуская его, однако, из рук.

Незнакомка бросила взгляд на письмо и воскликнула:

— Это его почерк! И кровь!

Ничего не отвечая, Эрнотон спрятал письмо, еще раз вежливо поклонился и, смертельно бледный, направился к выходу из гостиной.

На этот раз дама побежала за ним и схватила его за плащ.

— Ради бога, сударь, простите! — воскликнула она.— Неужели с герцогом случилось несчастье?

— Прощаю я или нет, сударыня,— сказал Эрнотон,— это безразлично: ведь вы просите прощения только для того, чтобы получить письмо, но читать его будет одна госпожа де Монпансье.

— Безумец несчастный! — воскликнула дама с гне-

вом, исполненным величия.— Неужели ты считаешь, что перед тобой служанка? Я герцогиня де Монпансье! Отдай мне письмо!

— Вы — герцогиня! — воскликнул Эрнотон, отступая в ужасе.

— Конечно. Разве ты не видишь, что я хочу поскорее узнать, что пишет мой брат?

Но вместо того, чтобы повиноваться, как ожидала герцогиня, молодой человек скрестил руки на груди.

— Могу ли я верить вашим словам,— сказал он,— если вы уже дважды мне солгали?

Глаза герцогини метали молнии, но Эрнотон храбро выдержал их пламень.

— Вы сомневаетесь! Вам нужны доказательства! — властно молвила молодая женщина, в гневе разрывая свои кружевные манжеты.

— Да, сударыня,— холодно ответил Эрнотон.

Незнакомка схватила звонок.

Пронзительный звон раздался по всем комнатам, и, раньше чем он затих, появился слуга.

— Что угодно, сударыня? — спросил лакей.

Незнакомка гневно топнула ногой.

— Пусть сейчас же придет Мейнвиль!

Лакей выбежал из комнаты. Минуту спустя торопливо вошел Мейнвиль.

— К вашим услугам, сударыня,— сказал он.

— С каких это пор вы величаете меня «сударыня», господин де Мейнвиль? — раздраженно спросила герцогиня.

— Я к услугам вашей светлости,— повторил Мейнвиль, совершенно ошалев от изумления.

— Прекрасно! — сказал Эрнотон.— Передо мной дворянин, и, если он солгал, клянусь небом, я буду знать, по крайней мере, кто мне за это ответит.

— Вы верите, наконец? — спросила герцогиня.

— Да, сударыня, верю.

И молодой человек с поклоном вручил госпоже де Монпансье письмо, о котором шел такой долгий спор.

X. Письмо господина де Майена

Герцогиня схватила письмо, открыла его и жадно прочла, не пытаясь скрывать чувств, сменявшихся на ее лице, как облака на грозовом небе.

Окончив чтение, она протянула письмо взволнованному Мейнвилю. Оно гласило:

Сестра, я пожелал совершить то, что прекрасно мог сделать любой офицер или учитель фехтования, и наказан за это.

Я получил добрый удар шпагой от известного вам человека, с которым у меня давние счеты. Хуже всего, что он убил пятерых моих людей, после чего скрылся.

Нужно сказать, что его победе помог податель сего письма, весьма приятный молодой человек. Я вам горячо его рекомендую, он — сама скрытность.

Думаю, дорогая сестра, что его заслугой в ваших глазах явится то, что он помешал победителю отрезать мне голову.

Прошу вас, сестра, узнать имя и занятие этого молодого человека: он внушает подозрения и вместе с тем очень занимает меня. На все мои предложения он отвечал, что ни в чем не нуждается благодаря господину, которому служит.

Я очень страдаю, но думаю, что жизнь моя вне опасности. Побыстрее пришлите мне лекаря; я лежу, как лошадь, на соломе. Податель письма сообщит вам, где именно.

Ваш любящий брат
М а й е н.

Прочитав письмо, герцогиня и Мейнвиль удивленно переглянулись.

Герцогиня первая нарушила молчание, которое могло быть дурно истолковано Эрнотоном.

— Кому мы обязаны столь большой услугой, сударь?— спросила она.

— Тому, кто всегда старается прийти на помощь слабому против сильного, сударыня.

И Эрнотон рассказал все, что знал о ране и местопребывании герцога.

Когда он кончил, герцогиня спросила:

— Могу я надеяться, сударь, что вы продолжите так хорошо начатую службу и станете приверженцем нашего дома?

Хотя эти слова были полны весьма лестного смысла, молодой человек увидел в них лишь выражение любопытства.

Различные побуждения боролись в нем: соблазн был велик, ибо, открыв герцогине свое положение у короля, он приобрел бы огромный вес в ее глазах, а это было делом немаловажным для молодого человека, прибывшего из Гаскони.

Герцогиня ждала ответа.

— Сударыня,— сказал наконец Эрнотон,— я уже имел честь сказать господину де Майену, что служу хорошему хозяину и мне нет нужды искать лучшего.

— Брат пишет, сударь, что вы, по-видимому, его не узнали. Как же вы воспользовались его именем, чтобы проникнуть ко мне?

— Господин де Майен, казалось, хотел сохранить инкогнито, сударыня; я считал, что не должен его узнавать, и действительно, крестьянам, у которых он живет, вовсе незачем было знать, какому высокородному человеку они предоставили приют. Здесь положение другое: имя господина де Майена могло мне открыть дорогу к вам, и я его назвал.

Герцогиня, улыбаясь, посмотрела на Эрнотона.

— Никто не мог бы лучше ответить на мой коварный вопрос,— сказала она.— Должна признаться, вы остроумный человек.

— Я не вижу ничего остроумного в том, что я имел честь сказать вам, сударыня,— ответил Эрнотон.

— В конце концов, сударь,— нетерпеливо молвила герцогиня,— я ясно вижу одно: вы ничего не хотите сказать о себе. Но не думаете ли вы, что при желании нетрудно узнать ваше имя или, вернее, кто вы?..

— Несомненно, сударыня, но вы это узнаете не от меня.

— Он всегда прав,— сказала герцогиня, устремив на Эрнотона взор, который доставил бы огромное удовольствие молодому человеку, если бы он понял его скрытый смысл.

Эрнотон поклонился и попросил у герцогини разрешения удалиться.

— И это все, сударь, что вы хотели мне сказать? — спросила герцогиня.

— Я выполнил свой долг,— ответил Эрнотон,— и мне

остается выразить глубочайшее почтение вашей светлости.

Когда дверь за ним закрылась, герцогиня сказала, топнув ногой:

— Мейнвиль, прикажите проследить за этим молодым человеком!

— Невозможно, сударыня,— ответил тот,— все наши люди поставлены на ноги; я сам жду событий: сегодня не такой день, чтобы делать что-нибудь, кроме того, что мы решили раньше.

— Вы правы, Мейнвиль, я сошла с ума, но потом...

— О, потом — другое дело, сударыня.

— Да, мне он тоже показался подозрительным, как и брату.

— Во всяком случае,— возразил Мейнвиль,— он честный юноша, а честные люди сейчас редкость. Нам повезло: неизвестный нам человек падает с неба, чтобы сослужить такую службу!

— Но по крайней мере проследите за ним позже, Мейнвиль.

— Надеюсь, сударыня,— ответил Мейнвиль,— нам скоро не будет необходимости следить за кем бы то ни было.

— Вы правы, Мейнвиль, я потеряла голову.

— Полководцу вроде вас, сударыня, дозволяется быть озабоченным накануне решающей битвы.

— Да, наступила ночь, Мейнвиль, а Валуа вернется из Венсена ночью.

— Еще рано, сударыня, нет восьми часов, да и наши солдаты не прибыли.

— Это надежные люди?

— Проверенные, сударыня.

— Каким образом они прибудут?

— Поодиночке, как случайные путники.

— Сколько человек вы ждете?

— Пятьдесят; этого более чем достаточно: ведь, кроме того, у нас имеется две сотни монахов, стоящих, пожалуй, побольше, чем солдаты.

— Как только наши люди прибудут, вы выстройте монахов на дороге.

— Они уже предупреждены, сударыня; они загородят дорогу, ворота монастыря будут открыты, и наши люди втолкнут в них карету.

— Мейнвиль, мой бедный брат просит прислать лекаря; лучшим лекарством для Майена будет прядь волос с головы Валуа, и человек, который отвезет ему этот подарок, будет хорошо встречен.

— Через два часа, сударыня, гонец поскачет к нашему дорогому герцогу. Он уехал из Парижа как беглец, а вернется как триумфатор.

— Еще одно слово, Мейнвиль,— сказала герцогиня.— Наши друзья предупреждены?

— Какие друзья?

— Члены лиги.

— Боже упаси, сударыня! Предупредить буржуа — это значит бить в набат с колокольни собора Парижской богоматери. Когда пленник будет надежно заперт в монастыре, мы, ничем не рискуя, раструбим повсюду: Валуа в наших руках!

— Хорошо, вы ловкий и осторожный человек, Мейнвиль! Известно ли вам, что никогда ни одна женщина не предприняла и не завершила дела, подобного тому, о котором мечтаю я?

— Я это хорошо знаю, сударыня, и потому трепещу, давая вам советы.

— Прежде всего прикажите убить двух болванов, которые ехали по обеим сторонам кареты, это даст нам возможность рассказывать о событии так, как будет выгоднее для нас.

— Убить этих бедняков! — сказал Мейнвиль.— Вы считаете, что это необходимо, сударыня?

— Например, Луаньяка?.. Нечего сказать, потеря!

— Это доблестный воин.

— Негодяй, сделавший себе карьеру; точно так же, как другой верзила, который ехал слева,— чернявый, со сверкающими глазами.

— Ну, этого мне не так жаль, я его не знаю; но согласен с вами, сударыня, у него пренеприятный вид.

— Значит, вы отдаете его мне? — спросила, смеясь, герцогиня.

— Охотно, сударыня.

— Нам известно, Мейнвиль, что вы человек добродетельный. К этому делу вы не будете иметь никакого касательства — оба телохранителя короля падут, защищая его. Но я поручаю вашему вниманию молодого человека.

— Какого молодого человека?

— Который только что был здесь. Посмотрите, действительно ли он ушел, не шпион ли это, подосланный нашими врагами?

Мейнвиль подошел к балкону, приоткрыл ставни и высунулся наружу, стараясь что-нибудь разглядеть.

— Какая темнота!

— Чем темнее ночь, тем для нас лучше. Бодритесь, генерал.

— Да, но мы ничего не увидим.

— Бог, чье дело мы защищаем, видит за нас, Мейнвиль.

Мейнвиль, по всей вероятности, не был так уверен, как госпожа де Монпансье в том, что бог помогает людям в подобных вещах. Он снова стал вглядываться во мрак.

— Видите ли вы кого-нибудь? — спросила герцогиня, потушив из предосторожности свет.

— Нет, слышу только конский топот.

— Это они, Мейнвиль. Все идет хорошо.

И герцогиня мельком взглянула, висят ли у ее пояса знаменитые золотые ножницы, которым предстояло сыграть в истории такую большую роль.

XI. Как дон Модест Горанфло благословил короля при его проезде мимо монастыря Святого Иакова

Эрнотон вышел из дворца опечаленный, но совесть его была спокойна. Ему повезло: он признался в любви принцессе крови, а затем последовала важная беседа, благодаря которой она сразу забыла об этом признании, но не настолько, впрочем, чтобы оно не сослужило ему службы впоследствии.

Эрнотону повезло и в том, что он не предал ни короля, ни господина де Майена и сам себя не погубил. Теперь оставалось поскорее возвратиться в Венсен и сообщить обо всем королю. А затем лечь и поразмыслить.

Размышлять — высшее счастье для людей действия, единственный отдых, который они себе разрешают.

Поэтому, едва очутившись за воротами Бель-Эба, Эрнотон пустил своего коня вскачь. Но не успел он проехать и сотни шагов, как был остановлен.

Какие-то всадники устремились на него с обеих сторон, так что он оказался окруженным, и в грудь ему направлено было около полудюжины шпаг и столько же пистолетов и кинжалов.

— Ого! — сказал Эрнотон.— Грабят на дороге в одном лье от Парижа. Ну и порядки! У короля никуда не годный прево. Надо посоветовать, чтобы он сменил его.

— Молчать! — произнес чей-то как будто знакомый голос.— Вашу шпагу, оружие, да поживей!

Один из всадников взял под уздцы лошадь Эрнотона, два других отобрали у него оружие.

— Черт! Ну и ловкачи! — пробормотал Эрнотон. Затем он обратился к тем, кто его задержал: — Господа, сделайте милость и объясните...

— Э, да это господин де Карменж! — сказал самый расторопный из напавших, отобравший у него шпагу.

— Господин де Пенкорнэ! — вскричал Эрнотон.— Неблаговидным же делом вы тут занимаетесь...

— Я сказал — молчать! — повторил в нескольких шагах от них тот же громкий голос.— Отвести его в караульное помещение!

— Но, господин де Сент-Малин,— возразил Пардикка де Пенкорнэ,— человек, которого мы задержали...

— Ну?

— Это наш товарищ, Эрнотон де Карменж.

— Эрнотон здесь! — вскричал Сент-Малин, побледнев от ярости.— Что он тут делает?

— Добрый вечер, господа,— спокойно сказал Карменж,— признаюсь, я и не думал, что попаду в такое хорошее общество.

Сент-Малин не мог произнести ни слова.

— Я, видимо, арестован,— продолжал Эрнотон.— Ведь не грабить же вы меня собрались?

— Вот незадача...— проворчал Сент-Малин.— Что вы делаете тут на дороге?

— Если бы я задал вам тот же вопрос, вы ответили бы мне, господин де Сент-Малин?

— Нет.

— Примиритесь же с тем, что и я промолчу.

— Значит, вы не хотите сказать, что вы делали на дороге?

Эрнотон улыбнулся, но не ответил.

— И куда направляетесь, тоже не скажете?

Молчание.

— В таком случае, сударь,— сказал Сент-Малин,— я вынужден поступить с вами, как с первым встречным.

— Пожалуйста, милостивый государь. Но предупреждаю, что вам придется держать ответ за все, что вы делаете.

— Перед господином де Луаньяком?

— Берите выше.

— Перед господином д'Эпернoном?

— Еще выше.

— Ну что ж, мне даны указания, и я отвезу вас в Венсен.

— В Венсен? Отлично! Я туда и направлялся, сударь!

— Очень счастлив, сударь,— ответил Сент-Малин,— что эта небольшая поездка соответствует вашим намерениям.

Два человека с пистолетами в руках завладели пленником и подвели его к двум другим, стоявшим на расстоянии пяти шагов от них. Те двое сделали то же самое — таким образом, Эрнотон не расставался со своими товарищами до караульной башни.

Во дворе замка он увидел пятьдесят обезоруженных всадников, понурых и бледных,— они оплакивали свою неудачу, ожидая печальной развязки.

Всех этих людей захватили наши Сорок пять, начав таким образом свою деятельность. При этом они применяли и хитрость и силу: то объединялись в количестве десяти человек против двоих или троих, то с любезными словами подъезжали к всадникам, которые казались им опасными противниками, и внезапно наводили на них пистолет.

Поэтому дело обошлось без кровопролития, без крика, а когда один из вождей лигистов схватился за кинжал и хотел было закричать, ему заткнули рот, и Сорок пять бесшумно захватили его с ловкостью корабельной команды, тянущей канат.

Все это очень обрадовало бы Эрнотона, если бы он понимал, что происходит вокруг.

Однако, разобравшись, кто такие пленники, к которым его причислили, он обратился к Сент-Малину:

— Милостивый государь, я вижу, что вас предупредили, насколько важно данное мне поручение, и что в качестве любезности вы распорядились дать мне провожатых. Вы были совершенно правы: меня ждет сам король, и я должен сообщить ему очень важные сведения. Я буду иметь честь доложить королю, что вы предприняли для пользы дела, позаботившись обо мне.

Сент-Малин вспыхнул до корней волос. Но, как человек не глупый, он понял, что Эрнотон говорит правду. С де Луаньяком и д'Эперноном шутки были плохи. Поэтому он ответил:

— Вы свободны, господин Эрнотон. Очень рад, что оказался вам полезен.

Эрнотон быстро поднялся по лестнице, которая вела в покои короля.

Следя за ним глазами, Сент-Малин увидел, что на полпути господина де Карменжа встретил Луаньяк, сделавший ему знак идти дальше.

Сам Луаньяк сошел вниз, чтобы присутствовать при обыске пленных.

При виде пятидесяти арестованных он решил, что дорога на Париж свободна: ведь время, когда лигисты должны были съехаться в Бель-Эба, уже истекло. Никакая опасность не подстерегает, следовательно, короля на его пути в Париж.

Но Луаньяк не принял во внимание монастырь Святого Иакова, не подумал о мушкетах и пищалях преподобных отцов.

Зато д'Эпернон отлично знал о них из сообщения Пулена. И когда Луаньяк доложил начальнику: «Сударь, дорога свободна!»

Д'Эпернон ответил ему:

— Хорошо. Король повелел, чтобы Сорок пять построились тремя отрядами: один впереди, два других по бокам кареты. Всадники должны держаться как можно ближе друг к другу, чтобы возможные выстрелы не задели кареты.

— Слушаюсь,— сказал Луаньяк со свойственной ему солдатской невозмутимостью.

— А у монастыря, сударь, прикажите еще теснее сомкнуть ряды.

Их разговор был прерван шумом на лестнице.

Это спускался готовый к отъезду король; за ним следовало несколько дворян. Среди них Сент-Малин узнал Эрнотона.

— Господа,— спросил король,— мои храбрые Сорок пять в сборе?

— Так точно, государь,— ответил д'Эпернон, указывая на группу всадников в воротах.

— Распоряжения отданы?

— Да, государь.

— В таком случае, едем,— промолвил его величество.

Луаньяк велел дать сигнал «по коням».

Произведенная тихим голосом перекличка показала, что все Сорок пять налицо.

Рейтарам было поручено стеречь людей Мейнвиля и герцогини. Король сел в карету и положил возле себя обнаженную шпагу.

Господин д'Эпернон произнес свое «тысяча чертей» и лихим жестом проверил, легко ли его шпага вынимается из ножен.

На башне пробило девять. Карета и ее конвой тронулись.

Через час после отъезда Эрнотона господин де Мейнвиль все еще стоял у окна. Но теперь он был уже не так спокоен, а главное, подумывал о боге, ибо видел, что от людей помощи не будет.

Ни один лигист не появился: лишь изредка доносился с дороги топот коней, галопом мчавшихся в сторону Венсена.

Заслышав его, господин де Мейнвиль и герцогиня пытливо вглядывались в ночной мрак, но топот затихал, и вновь наступала тишина.

Все это так взволновало Мейнвиля, что он велел одному из людей герцогини выехать верхом на дорогу и расспросить первый же кавалерийский взвод, который ему повстречается.

Гонец не возвратился.

Видя это, нетерпеливая герцогиня послала другого, но он тоже не вернулся.

— Мейнвиль, что, по-вашему, могло случиться? — спросила герцогиня.

— Я сам поеду, и мы все узнаем, сударыня.

И Мейнвиль направился было к двери.

— Я вам запрещаю уходить! — вскричала, удерживая его, герцогиня.— А кто же останется со мной? Нет,

нет, Мейнвиль, останьтесь! Когда речь идет о такой важной тайне, возникают всякие опасения. Но, по правде говоря, план был так хорошо обдуман и держался в столь строгом секрете, что должен удаться.

— Девять часов,— сказал Мейнвиль скорее в ответ на собственные мысли, чем на слова герцогини.— Э, вот и монахи выходят из монастыря и выстраиваются вдоль стен; может быть, они получили какие-нибудь известия?

— Тише, слушайте! — вскричала вдруг герцогиня.

Издали донесся заглушенный расстоянием грохот, похожий на гром.

— Конница! — воскликнула герцогиня.— Его везут, везут сюда! — И, перейдя, по своему пылкому характеру, от жесточайшей тревоги к неистовой радости, она захлопала в ладоши и закричала: — Он у меня в руках!

Мейнвиль прислушался.

— Да,— сказал он,— это едет карета и скачут верховые.— И он во весь голос скомандовал: — За ворота, святые отцы, за ворота!

Высокие решетчатые ворота аббатства тотчас же распахнулись, и из них вышли в боевом порядке сто вооруженных монахов во главе с Борроме.

Они выстроились поперек дороги.

Тут послышался громкий крик Горанфло:

— Подождите меня, да подождите же! Мне необходимо возглавить братию, чтобы достойно встретить его величество.

— На балкон, ваше преосвященство, на балкон! — закричал Борроме.— Вы же знаете, что должны возвышаться над нами! В писании сказано: «Ты возвысишься над ними, яко кедр над иссопом».

— Верно,— сказал Горанфло,— верно; я и забыл, что сам выбрал это место. Хорошо, что вы мне напомнили об этом, брат Борроме, очень хорошо.

Борроме тихим голосом отдал какое-то приказание, и четыре брата, якобы для того, чтобы оказать почет настоятелю, отвели достойного Горанфло на балкон.

Вскоре дорога осветилась факелами, и герцогиня с Мейнвилем увидели блеск кирас и шпаг.

Уже не владея собой, она закричала:

— Спускайтесь вниз, Мейнвиль, и приведите мне его связанного, под стражей!

— Да, да, сударыня...— ответил он, думая о другом.— Меня беспокоит одно обстоятельство.

— Что такое?

— Я не слышал условного сигнала.

— А к чему сигнал, раз король в наших руках?

— Я не вижу нашего офицера.

— А я вижу.

— Где?

— Вон то красное перо.

— Это же господин д'Эпернон со шпагой в руке.

— Ему оставили шпагу?

— Разрази меня гром, он командует...

— Нашими?

— Нет же, сударыня, это не наши.

— Вы с ума сошли, Мейнвиль!

В ту же минуту Луаньяк во главе первого отряда Сорока пяти взмахнул шпагой и крикнул:

— Да здравствует король!

— Да здравствует король! — восторженно отозвались с явным гасконским акцентом все Сорок пять.

Герцогиня побледнела и склонилась на подоконник почти без чувств.

Мейнвиль мрачно и решительно положил руку на эфес шпаги.

Шествие приближалось, подобное грозному, сверкающему смерчу. Оно поравнялось с Бель-Эба, еще немного — и достигнет монастыря.

Борроме сделал три шага вперед. Луаньяк направил коня прямо на монаха, который, несмотря на свою рясу, стоял перед ним в вызывающей позе.

— Сторонись, сторонись! — властно кричал Луаньяк.— Дорогу королю!

Борроме, обнаживший под рясой шпагу, так же незаметно спрятал ее в ножны.

Возбужденный криками и бряцанием оружия, ослепленный светом факелов, Горанфло простер свою мощную десницу и, сложив указательный и средний пальцы, благословил со своего балкона короля.

Генрих, выглянувший из кареты, увидел его и с улыбкой наклонил голову.

Улыбка эта — явное доказательство милости двора к настоятелю монастыря Святого Иакова — так вдохновила Горанфло, что он в свою очередь возопил:

— Да здравствует король!

Но остальные монахи безмолвствовали. По правде говоря, они ожидали, что их военное обучение и сегодняшний выход в полном вооружении за стены монастыря приведут к иному исходу.

Борроме, как настоящий рейтар, с одного взгляда отдал себе отчет, сколько защитников у короля, и оценил их воинскую выправку. Отсутствие сторонников герцогини показало ему, что предприятие потерпело крах: медлить с подчинением силе означало бы погубить все и вся.

Он перестал колебаться, и в тот миг, когда Луаньяк едва не наехал на него, крикнул:

— Да здравствует король! — почти так же громко, как Горанфло.

Тогда и все монахи, потрясая оружием, завопили:

— Да здравствует король!

— Благодарю вас, преподобные отцы, благодарю! — ответил король своим скрипучим голосом.

Как ураган света и славы, промчался он мимо монастыря, где должна была завершиться его поездка, и оставил позади себя погруженный во мрак Бель-Эба.

С высоты своего балкона герцогиня видела лица, озаренные мерцающим светом факелов, вопрошала эти лица, пожирала их взглядом.

— Смотрите, Мейнвиль, смотрите! — воскликнула она, указывая на одного из всадников королевского конвоя.

— Посланец герцога Майенского на королевской службе! — вскричал тот в свою очередь.

— Мы погибли! — прошептала герцогиня.

— Надо бежать, и немедля, сударыня,—сказал Мейнвиль.— Сегодня Валуа победил — завтра он злоупотребит своей победой!

— Нас предали! — закричала герцогиня.— Этот молодой человек предал нас. Он все знал!

Король был уже далеко: он скрылся со всей своей охраной за Сент-Антуанскими воротами, которые распахнулись перед ним и, пропустив его, снова закрылись.

XII. О том, как Шико благословлял короля Людовика XI за изобретение почты и как он решил воспользоваться этим изобретением

Теперь, с разрешения читателей, мы вернемся к Шико. После важного открытия, которое он сделал, развязав шнурки от маски господина де Майена, Шико решил, не теряя времени, убраться подальше от мест, где это приключение могло иметь нежелательные для него последствия.

Легко понять, что теперь между ним и герцогом борьба завязалась не на жизнь, а на смерть. Майен, который получил от Шико удар шпагой, уже никогда ему не простит.

— Вперед! Вперед! — вскричал храбрый гасконец, мчась по направлению к Божанси.— Настало время истратить на почтовых лошадей все, что я получил от трех знаменитых личностей: Генриха де Валуа, дона Модеста Горанфло и Себастьена Шико.

Прекрасно изображая человека любого звания, Шико принял облик вельможи, как раньше он принимал облик доброго буржуа. И, надо сказать, ни одному принцу не служили с таким рвением, как метру Шико, стоило ему сказать два слова станционному смотрителю.

Шико решил не останавливаться до тех пор, пока не сочтет, что находится в безопасности; поэтому он ехал так быстро, как позволяли силы лошадей, которых ему предстояло сменить тридцать раз. Что до него самого, то он, видимо, был человеком железным, ибо, сделав шестьдесят лье в сутки, не чувствовал никакой усталости.

Достигнув за три дня города Бордо, Шико решил, что может перевести дух.

В дороге не остается ничего другого, как размышлять. Поэтому Шико много думал, и возложенная на него миссия представлялась ему все более важной, по мере того как он приближался к цели своего путешествия.

Какого государя он найдет в лице загадочного Генриха Наваррского, которого одни считали дураком, другие — трусом, третьи — ничтожным ренегатом?

После того как Генрих обосновался у себя в Наварре, характер его несколько изменился. Ведь ему удалось обес-

печить достаточное расстояние между королевскими когтями и своей драгоценной шкурой, и теперь он мог их не опасаться.

Однако политика его оставалась прежней — он старался не обращать на себя внимания и жил беззаботно, попросту радуясь жизни.

Заурядные люди видели тут повод к насмешке.

Шико же нашел основание для глубоких раздумий.

Сам Шико так не похож был на того, кем казался, что и в других умел разглядывать сущность за оболочкой. Поэтому для него Генрих Наваррский был загадкой.

Знать, что Генрих Наваррский — загадка, означало уже знать довольно много. Поэтому Шико, сознавая, подобно греческому мудрецу, что он ничего не знает, знал гораздо больше других.

И, в то время как на его месте многие бы высоко подняли голову и говорили все, что вздумается, с душой нараспашку, Шико понимал, что ему надо внутренне сжаться, обдумывая каждое свое слово и по-актерски наложить грим на лицо.

Очутившись в пределах маленького Наваррского княжества, чья бедность вошла у французов в поговорку, Шико, к своему величайшему изумлению, не обнаружил следов гнусной нищеты, поразившей богатейшие провинции гордой Франции, которую он только что покинул.

Дровосек проходил мимо него, положив руку на ярмо сытого вола; девушка шла легкой походкой с кувшином на голове, подобно хоэфорам[1] античной Греции; встречный старик что-то напевал себе под нос, качая седой головой; загорелый парнишка, худощавый, но сильный, играл на ворохе кукурузных листьев. И все это словно говорило Шико: «Смотри, здесь все счастливы!»

Иногда, внимая скрипу колес, Шико испытывал внезапное чувство ужаса: ему вспоминались тяжелые лафеты, проложившие глубокие колеи по дорогам Франции. Но из-за поворота возникала телега виноградаря, груженная полными бочками, на которых громоздились ребятишки, с лицами, измазанными виноградным соком. Видя дуло аркебуза за изгородью смоковниц и виноградных лоз, Шико вспоминал о трех засадах, которых он так удачно избежал. Но аркебуз принадлежал охотнику, ибо поля и леса изобиловали здесь зайцами, куропатками и тетеревами.

[1] Хоэфоры — в Древней Греции девушки, совершавшие возлияния на могилах.

Хотя была поздняя осень и Шико оставил Париж в тумане, здесь стояла теплая погода. Одетые багряным, деревья отбрасывали тени на меловую почву. В лучах солнца четко вырисовывались окрестности с раскиданными там и сям белыми домиками деревень.

Беарнский крестьянин в берете на одном ухе подгонял низкорослых, не знающих устали лошадок, которые делают одним духом двадцать лье. Их никогда не чистят, не покрывают попонами, и, доехав до места, они только встряхиваются и тотчас же начинают пощипывать первый попавшийся кустик вереска — единственную и вполне достаточную для них пищу.

— Черти полосатые! — бормотал Шико. — Никогда я не видел Гасконь такой богатой. Генрих, видно, как сыр в масле катается. Раз он счастлив, есть все основания полагать, что он... благодушно настроен. По правде говоря, королевское письмо даже в переводе на латинский язык очень меня смущает.

И, рассуждая таким образом про себя, Шико вслух наводил справки о местопребывании короля Наваррского.

Король оказался в Нераке, и Шико свернул на дорогу в Нерак, по которой шло много народа, возвращавшегося с рынка.

Как помнит читатель, Шико, весьма немногословный, когда надо было отвечать на чьи-либо вопросы, сам очень любил расспрашивать. Он узнал таким образом, что король Наваррский ведет жизнь веселую и беспечную.

На дорогах Гаскони Шико посчастливилось встретить молодого католического священника, продавца овец и офицера, которые путешествовали вместе, болтая и бражничая.

Эта случайная компания отлично представляла в глазах Шико просвещенное, деловое и военное сословия Наварры. Духовный отец прочитал ему известные сонеты о любви короля Наваррского к красавице Фоссез, дочери Рене де Монморанси, барона де Фоссе.

— А что говорит по этому поводу королева? — спросил Шико.

— Королева очень занята, сударь,— ответил священник.

— Чем же, скажите на милость?

— Общением с господом богом,— проникновенно ответил священнослужитель.

— Так, значит, королева набожна?

— И даже очень.

— Однако, я полагаю, во дворце не служат мессы? — заметил Шико.

— И очень ошибаетесь, сударь. Что же мы, по-вашему, язычники? Знайте же, милостивый государь, хотя король с дворянами из своей свиты ходит на проповеди протестантского пастора, для королевы служат обедню в ее личной капелле.

— Для королевы Маргариты?

— Да. И я, недостойный служитель божий, получил два экю за то, что дважды служил в этой капелле. Я даже произнес там выдающуюся проповедь на текст: «Господь отделил плевелы от пшеницы». В Евангелии сказано «отделит», но я полагал, что, поскольку Евангелие давно написано, это дело можно уже считать завершенным.

— Король знал об этой проповеди? — спросил Шико.

— Он ее прослушал.

— И не разгневался?

— Наоборот, он очень восхищался ею.

— Вы меня просто ошеломили,— заметил Шико.

— Надо прибавить,— сказал офицер,— что при дворе не только ходят на проповеди и обедни. В замке отлично угощаются, не говоря уже о прогулках: нигде во Франции бравые военные не прогуливаются так часто, как в аллеях Нерака.

Шико собрал больше сведений, чем ему было нужно, чтобы выработать план действий.

Он знал Маргариту, у которой в Париже был свой двор, и понимал, что если она не проявляет проницательности в делах любви, то лишь потому, что у нее имеются причины носить на глазах повязку.

— Черти полосатые! — бормотал он себе под нос.— Меня тут разорвут на части за попытку расстроить эти очаровательные прогулки. К счастью, мне известно философическое умонастроение короля, на него вся моя надежда. К тому же я посол, лицо неприкосновенное. Итак, смело вперед!

И Шико продолжал свой путь.

На исходе дня он въехал в Нерак, как раз к тому времени, когда начинались прогулки, так смущавшие его.

Впрочем, Шико мог убедиться в простоте нравов, царивших при Наваррском дворе, по тому, как он был допущен к королю.

Простой лакей открыл перед ним дверь в скромно обставленную гостиную. Над гостиной находилась приемная короля, где он любил давать непритязательные аудиенции, на которые отнюдь не скупился.

Когда в замок являлся посетитель, какой-нибудь офицер, а то и просто паж, докладывали королю о нем, и Генрих тотчас принимал посетителя.

Шико был глубоко тронут этой доступностью. Он решил, что король добр и простосердечен.

Это мнение только укрепилось, когда в конце извилистой аллеи, обсаженной цветущими олеандрами, появился в поношенной фетровой шляпе, светло-коричневой куртке и серых сапогах король Наваррский: лицо его горело румянцем, в руке он держал бильбоке.

На лбу у Генриха не было морщин, словно заботы не осмеливались коснуться его своими темными крылами, губы улыбались, глаза сияли беспечностью и здоровьем. На ходу он срывал левой рукой цветы, окаймлявшие дорожку.

— Кто хочет меня видеть? — спросил он пажа.

— Государь,— ответил тот,— какой-то человек, не то дворянин, не то военный.

Услышав эти слова, Шико несмело выступил вперед.

— Это я, государь,— сказал он.

— Вот тебе на! — вскричал король, воздевая руки.— Господин Шико в Наварре, господин Шико у нас! Помилуй бог! Добро пожаловать, дорогой господин Шико.

— Почтительнейше благодарю вас, государь.

— Вы живехоньки, слава богу!

— Как будто так, ваше величество,— сказал Шико вне себя от радости.

— В таком случае,— воскликнул Генрих,— мы с вами выпьем доброго винца из погребов Лиму! Я очень рад видеть вас, господин Шико; садитесь-ка сюда.

И он указал на садовую скамейку.

— Ни за что, государь,— сказал Шико, отступая.

— Вы проделали двести лье, чтобы повидаться со мною, и я не позволю вам стоять! Садитесь, господин Шико, садитесь, только сидя можно поговорить по душам.

— Но, государь, этикет!..

— Этикет у нас, в Наварре!.. Да ты рехнулся, бедняга Шико! Кто тут думает об этикете?

— Нет, государь, не рехнулся,— ответил Шико,— я прибыл в качестве посла.

На ясном челе короля образовалась едва заметная складка, но она так быстро исчезла, что Шико при всей своей наблюдательности не заметил ее.

— Посла? — спросил Генрих с деланным простодушием.— Но от кого?

— От короля Генриха Третьего. Я прибыл из Парижа, прямо из Лувра, государь.

— Ну, тогда дело другое,— сказал король. Он вздохнул и встал со скамейки.— Паж, оставьте нас и подайте вина наверх, в мою комнату... нет, лучше в рабочий кабинет. Идемте, Шико, я сам буду вашим провожатым.

Шико последовал за королем Наваррским. Генрих шагал теперь быстрее, чем когда шел среди цветущих олеандров.

«Какая жалость,— подумал Шико,— смущать этого славного человека, живущего в покое и неведении... Полно, уверен, что он отнесется ко всему философически!»

XIII. О том, как король Наваррский догадался, что Turennius значит Тюренн, а Margota — Марго

Легко понять, что кабинет короля Наваррского не блистал роскошью. Его беарнское величество был небогат и не швырял на ветер то немногое, чем обладал. Королевский кабинет вместе с парадной спальней занимал все правое крыло замка.

Из кабинета, обставленного довольно хорошо, хотя и без всякой роскоши, открывался вид на великолепные луга по берегам реки.

Густые деревья — ивы и платаны — скрывали ее течение, однако же время от времени она вырывалась, словно мифологическое божество, из затенявшей ее листвы, и на полуденном солнце отливали золотом водяные струи или в лунном свете серебрилась ее гладкая поверхность.

С другой стороны окна кабинета выходили во двор замка. Освещенный, таким образом, с востока и с запада, он был весьма красив и при первых лучах солнца, и в перламутровом сиянии восходящей луны.

Но, надо признаться, красоты природы занимали Шико меньше, чем обстановка кабинета. В каждом ее предмете проницательный взор посла, казалось, искал разгадку тайны, которая занимала его в пути.

Со своим обычным благодушием и с неизменной улыбкой на устах Генрих уселся в глубокое кожаное кресло, украшенное золочеными гвоздиками и бахромой. Повинуясь ему, Шико пододвинул для себя табурет под стать королевскому креслу.

Генрих так внимательно смотрел на Шико, что любой придворный почувствовал бы себя неловко.

— Вы найдете, наверно, что я не в меру любопытен, дорогой мой господин Шико,— начал король,— но ничего не могу поделать с собою. Я так долго считал вас покойником, что, несмотря на всю радость, которую доставило мне ваше воскрешение, никак не свыкнусь с мыслью, что вы живы... Почему вы так внезапно исчезли?

— Но ведь вы, государь, столь же внезапно исчезли из Венсена,— ответил Шико с присущей ему непринужденностью.— Каждый скрывается как умеет и прежде всего наиболее удобным для себя способом.

— Вы, как всегда, остроумны, дорогой господин Шико,— сказал Генрих,— это и убеждает меня окончательно, что я беседую не с призраком. Но, если вам угодно, покончим с остротами и поговорим о делах.

— Не будет ли это слишком утомительно для вашего величества?

Глаза короля сверкнули.

— Это правда, я покрываюсь здесь ржавчиной,— сказал он спокойно,— но мне не с чего уставать, ибо я ничего не делаю. Сегодня Генрих Наваррский немало побегал, но ему еще не пришлось шевелить мозгами.

— Рад это слышать, государь,— ответил Шико,— ибо, как посол короля Генриха Третьего, вашего родственника

и друга, имею к вашему величеству поручение весьма щекотливого свойства.

— Ну так не медлите, ибо разожгли мое любопытство.

— Государь...

— Предъявите сперва свои верительные грамоты. Конечно, поскольку речь идет о вас, это излишняя формальность. Но я хочу показать вам, что хоть я и не более как беарнский крестьянин, а свои королевские обязанности знаю.

— Прошу прощения у вашего величества,— ответил Шико,— будь даже у меня верительные грамоты, мне пришлось бы их уничтожить.

— Почему так, дорогой господин Шико?

— Когда на тебя возложена опасная честь везти королевские письма, рискуешь доставить их только в царство небесное.

— Верно,— согласился Генрих все так же благодушно,— на дорогах неспокойно, и по недостатку средств мы в Наварре вынуждены доверяться честности простолюдинов... Впрочем, они у нас не очень вороватые.

— Что вы, помилуйте! — вскричал Шико.— Они просто агнцы, государь! Правда, только в Наварре.

— Вот как?! — заметил Генрих.

— Да, за пределами Наварры встречается немало коршунов и волков! Я сам был их добычей, государь.

— С радостью убеждаюсь, что они вас не до конца съели.

— Это уж не по их вине, государь. Я оказался для них жестковат, и шкура моя уцелела. Но, если вам угодно, не станем вдаваться в подробности моего путешествия — они несущественны — и вернемся к верительным грамотам.

— Но раз у вас их нет, дорогой господин Шико,— сказал Генрих,— бесполезно, мне кажется, к ним возвращаться.

— У меня их нет, но одно письмо при мне было.

— А, отлично, давайте его сюда, господин Шико.

И Генрих протянул руку.

— Вот тут-то и случилась беда, государь,— продолжал Шико,— я уничтожил письмо, ибо господин де Майен мчался за мной, чтобы его отнять.

— Кузен Майен?

— Собственной персоной.

— К счастью, он не очень поворотлив. Все продолжает толстеть?

— Вряд ли, ибо он имел несчастье меня настичь и при встрече получил славный удар шпагой.

— А письмо?

— Письма он не увидел как своих ушей благодаря принятым мною мерам предосторожности.

— Браво! Напрасно вы не пожелали мне рассказать о своем путешествии, господин Шико; оно меня очень занимает.

— Ваше величество бесконечно добры.

— Но меня смущает один вопрос.

— Какой именно?

— Если письма нет для господина де Майена, его нет и для меня. Значит, я не узнаю, что написал мне мой добрый брат Генрих.

— Простите, государь, но, прежде чем уничтожить письмо, я выучил его наизусть.

— Прекрасная мысль, господин Шико, прекрасная, узнаю ум земляка. Итак, вы прочитаете его вслух?

— Охотно, государь, я изложу все в точности: язык, правда, мне незнаком, но память у меня превосходная.

— Какой язык?

— Латинский.

— Я вас что-то не понимаю,— сказал Генрих, устремляя на Шико свой ясный взгляд.— Разве письмо моего брата написано по-латыни?

— Ну да, государь.

— Почему по-латыни?

— Наверно, потому, что латынь — язык, на котором все можно высказать, на котором Персий и Ювенал[1] увековечили безумие и грехи королей.

— Королей?

— И королев, государь.

Брови короля нахмурились.

— Я хотел сказать — императоров и императриц,— поправился Шико.

— Значит, вы знаете латынь, господин Шико? — холодно спросил Генрих.

---

[1] Персий (34—62 гг. н. э.) — древнеримский поэт-сатирик. Ювенал (60—127 гг. н. э.) — известный древнеримский поэт-сатирик.

— И да, и нет, государь.

— Ваше счастье, если вы ее знаете: у вас огромное преимущество передо мной — я ведь не знаю латыни. Из-за этого я и мессу-то перестал слушать.

— Меня научили читать по-латыни, государь, равно как и по-гречески и по-древнееврейски.

— Это очень удобно, господин Шико, вы просто ходячая книга.

— Ваше величество нашли верное определение. В памяти у меня запечатлеваются целые страницы, и, когда я прибываю с поручением, меня прочитывают и понимают.

— Или же не понимают.

— Почему, государь?

— Ясное дело: если не понимают языка, на котором вы напечатаны.

— Короли ведь все знают, государь.

— Это говорят народу, господин Шико, и то же самое льстецы говорят королям.

— В таком случае мне незачем читать письмо вашему величеству.

— Кажется, латинский язык схож с итальянским?

— Так утверждают, государь.

— И с испанским?

— Да.

— Раз так, попытаемся: я немного знаю по-итальянски, а мое гасконское наречие весьма походит на испанский.

Шико поклонился.

— Итак, ваше величество, изволите приказать?..

— Я прошу вас, дорогой господин Шико.

Шико начал читать:

— «Frater carissime! Sincerus amor quo te prosequebatur germanus noster Carolus nonus, functus nuper, colet usque regiam nostram et pectori meo percinaciter adhaeret».

Генрих и бровью не повел, но в конце фразы жестом остановил Шико.

— Или я сильно ошибаюсь,— сказал он,— или здесь говорится о любви, об упорстве и о моем брате Карле Девятом?

— Не стану отрицать,— сказал Шико.— Латынь такой замечательный язык, что все это может вполне уместиться в одной фразе.

— Продолжайте,— приказал король.

Беарнец с той же невозмутимостью прослушал то, что говорилось в письме о его жене и виконте де Тюренне. Но когда Шико произнес это имя, он спросил:

— Turennius, вероятно, значит Тюренн?

— Думаю, что так, государь.

— А Margota — уменьшительное, которым мои братья, Карл Девятый и Генрих Третий, называли свою сестру и мою возлюбленную супругу Маргариту?

— Не вижу в этом ничего невозможного,— ответил Шико.

И он прочел письмо до конца, причем выражение лица Генриха ни разу не изменилось.

— Все? — спросил он.

— Так точно, государь.

— Звучит очень красиво.

— Не правда ли, государь?

— Вот беда, что я понял всего два слова — Turennius и Margota, да и то с грехом пополам!

— Непоправимая беда, государь, разве что ваше величество прикажете какому-нибудь ученому мужу перевести письмо.

— Ни в коем случае,— поспешно возразил Генрих,— да и вы сами, господин Шико, так заботливо охраняли доверенную вам тайну, что вряд ли посоветовали бы мне дать этому письму огласку.

— Нет, разумеется.

— Но вы думаете, что это следовало бы сделать?

— Раз ваше величество изволит спрашивать меня, я скажу, что письмо, вероятно, содержит какие-нибудь добрые советы, и ваше величество могли бы извлечь из них пользу.

— Да, но доверить эти полезные советы я мог бы не всякому.

— Разумеется.

— Ну, так я попрошу вас сделать следующее,— сказал Генрих, словно осененный внезапной мыслью.

— Что именно?

— Пойдите к моей жене Марго. Она женщина ученая. Прочитайте ей письмо, она уж наверняка в нем разберется и все мне растолкует.

— Как вы великолепно придумали, ваше величество! — вскричал Шико.— Это же золотые слова!

— Правда? Ну, так иди.

— Бегу, государь.

— Только не измени в письме ни единого слова.

— Да я и не могу этого сделать: я должен был бы знать латынь, а я ее не знаю.

— Иди же, друг мой, иди.

Шико осведомился, как ему найти госпожу Маргариту, и оставил короля, более чем когда-либо убежденный в том, что Генрих Наваррский — личность загадочная.

XIV. Аллея в три тысячи шагов

Королева жила в противоположном крыле замка. Оттуда постоянно доносилась музыка, а под окнами постоянно прогуливался какой-нибудь кавалер в шляпе с пером.

Знаменитая аллея в три тысячи шагов начиналась под окнами Маргариты, и взгляд королевы с удовольствием останавливался на цветочных клумбах и увитых зеленью беседках.

Рожденная у подножия трона, дочь, сестра и жена короля, Маргарита много страдала в жизни. Поэтому, как ни философично старалась она относиться к жизни, время и горести наложили отпечаток на ее лицо.

И все же Маргарита оставалась необыкновенно красивой, особой, одухотворенной красотой. На лице королевы всегда играла приветливая улыбка, у нее были блестящие глаза, легкие, женственные движения. Недаром ее боготворили в Нераке, куда она внесла изящество, веселье, жизнь.

Хотя Маргарита и привыкла жить в Париже, она терпеливо сносила жизнь в провинции — уже одно это казалось добродетелью, за которую жители Наварры были ей благодарны.

Двор ее был не просто собранием кавалеров и дам: все любили ее — и как королеву и как женщину. Она умела так использовать время, что каждый прожитый день приносил что-нибудь ей самой и не был потерян для окружающих.

В ней накопилось много горечи против недругов, но она терпеливо ждала возможности отомстить. Она смутно ощущала, что под маской беззаботной снисходительности Генрих Наваррский таил недружелюбное чувство к ней и отмечал каждый ее поступок. Но никто, кроме Екатерины Медичи и, быть может, Шико, не мог бы сказать, почему так бледны щеки Маргариты, почему взгляд ее часто туманит неведомая грусть, почему, наконец, ее сердце, способное на глубокое чувство, обнаруживает царящую в нем пустоту, которая отражается даже во взгляде, некогда столь выразительном.

У Маргариты не было никого, кому она могла довериться.

Она была по-настоящему одинока, и, может быть, именно это придавало в глазах наваррцев особое величие всему ее облику.

Что касается Генриха, то он щадил в жене принцессу из французского королевского дома и обращался с ней с подчеркнутой вежливостью или изящной непринужденностью. Поэтому при наракском дворе все казалось на первый взгляд вполне благополучным.

Итак, по совету Генриха, Шико, самый наблюдательный и дотошный человек на свете, явился на половину Маргариты, но никого там не нашел.

— Королёва,— сказали ему,— находится в конце знаменитой аллеи в три тысячи шагов.

И он отправился туда.

В конце аллеи он заметил под кустами испанского жасмина и терна группу кавалеров и дам в бархате, лентах и перьях. Может быть, все это убранство могло показаться несколько старомодным, но для Нерака в нем было великолепие и даже блеск.

Так как впереди Шико шел королевский паж, Маргарита, взгляд которой меланхолично блуждал по сторонам, узнала цвета Наварры и подозвала его.

— Чего тебе надобно, д'Обиак? — спросила она.

Молодой человек, вернее, мальчик, ибо ему было не более двенадцати лет, покраснел и преклонил колено.

— Государыня,— сказал он по-французски, ибо королева строго запретила употреблять местное наречие при дворе,— некий дворянин, прибывший из Лувра к его

величеству королю, просит ваше величество принять его.

Красивое лицо Маргариты вспыхнуло. Она быстро обернулась с тем неприятным чувством, которое при любой неожиданности испытывают люди, привыкшие к огорчениям.

В двадцати шагах от нее неподвижно стоял Шико, и фигура гасконца отчетливо вырисовывалась на оранжевом фоне вечернего неба. Вместо того чтобы подозвать к себе вновь прибывшего, королева сама покинула круг придворных.

Но, повернувшись к ним, чтобы проститься, она послала прощальный привет одному наиболее роскошно одетому и красивому кавалеру.

Несмотря на этот знак, сделанный с тем, чтобы успокоить кавалера, тот явно волновался. Маргарита уловила это проницательным взором женщины и потому добавила:

— Господин де Тюренн, соблаговолите сказать дамам, что я скоро вернусь.

Красивый кавалер, одетый в белое и голубое, поклонился более поспешно, чем это сделал бы равнодушно настроенный придворный.

Королева быстрым шагом подошла к Шико, неподвижному наблюдателю этой сцены, так соответствовавшей тому, о чем гласило привезенное им письмо.

— Господин Шико?! — удивленно вскричала Маргарита, вплотную подходя к гасконцу.

— Я у ног вашего величества,— ответил Шико,— и вижу, что ваше величество по-прежнему добры и прекрасны и царите в Нераке, как царили в Лувре.

— Да это же просто чудо — видеть вас так далеко от Парижа!

— Простите, государыня, не бедняге Шико пришло в голову совершить это чудо.

— Охотно верю, но вы же скончались.

— Я изображал покойника.

— С чем же вы к нам пожаловали, господин Шико? Неужели, на мое счастье, во Франции еще помнят королеву Наваррскую?

— О, ваше величество,— с улыбкой сказал Шико,— у нас не забывают королев, когда они молоды и прекрасны, как вы!

— Значит, в Париже по-прежнему любезны?

— Король французский,— добавил Шико, не отвечая на последний вопрос,— даже написал об этом королю Наваррскому.

Маргарита покраснела.

— И вы доставили письмо?

— Нет, не доставил, по причинам, которые сообщит вам король Наваррский, но выучил наизусть.

— Понимаю. Письмо было очень важным, и вы опасались, что потеряете его или оно будет украдено?

— Именно так, ваше величество. Но, прошу прощения, письмо было написано по-латыни.

— Отлично! — вскричала королева.— Я знаю латынь.

— А король Наваррский,— спросил Шико,— этот язык знает?

— Дорогой господин Шико,— ответила Маргарита,— что знает и чего не знает король Наваррский, установить очень трудно.

— Вот как! — заметил Шико, чрезвычайно довольный тем, что не ему одному приходится разгадывать загадку.

— Вы прочли королю письмо? — спросила Маргарита.

— Оно ему предназначалось.

— И он понял, о чем идет речь?

— Только два слова.

— Какие?

— Turennius и Margota.

— Что же он сделал?

— Послал меня к вам, ваше величество.

— Ко мне?

— Да, он сказал, что в письме, видимо, говорится о вещах весьма важных и лучше всего, если перевод сделаете вы — прекраснейшая среди ученых женщин и ученейшая из прекрасных.

— Раз король так повелел, господин Шико, я готова вас выслушать.

— Благодарю, ваше величество. Где же вам угодно выслушать письмо?

— Здесь. Впрочем, нет, лучше у меня. Пойдемте в мой кабинет, прошу вас.

Маргарита внимательно поглядела на Шико, который приоткрыл ей истину, по-видимому, из жалости.

Бедная женщина чувствовала необходимость в поддержке, и, может быть, перед угрожающим ей испытанием она захотела найти опору в любви.

— Виконт,— обратилась она к господину де Тюренну,— дайте мне руку и проводите до замка... Прошу вас, господин Шико, пройдите вперед.

XV. Кабинет Маргариты

Кабинет Маргариты, обставленный в тогдашнем вкусе, был полон картин, эмалей, фаянсовой посуды, дорогого оружия; столы завалены книгами и рукописями на греческом, латинском и французском языках; в просторных клетках щебетали птицы, на коврах спали собаки — словом, это был особый мирок, живущий одной жизнью с Маргаритой, которая умела так хорошо наполнить свое время, что из тысячи горестей создавала для себя радость.

Она усадила Шико в удобное и красивое кресло, обитое гобеленом с изображением Амура, который рассеивает вокруг себя облако цветов. Паж — не д'Обиак, но мальчик еще красивее лицом и еще богаче одетый — поднес королевскому посланцу вина.

Шико отказался и, после того как виконт де Тюренн вышел, стал читать наизусть письмо милостью божией короля Франции и Польши.

Произнося латинские слова, Шико ставил самые диковинные ударения, чтобы королева подольше не проникала в их смысл. Но, как ловко ни коверкал он свое собственное творение, Маргарита схватывала все на лету, ни в малейшей степени не пытаясь скрыть обуревавшие ее негодование и ярость.

Чем дальше читал Шико, тем мучительнее ощущал неловкость положения, в которое сам себя поставил. В некоторых местах он опускал голову, как исповедник, смущенный тем, что слышит.

Маргарита хорошо знала утонченное коварство своего брата, имея тому достаточно доказательств. Знала она также, ибо не принадлежала к числу женщин, склонных себя обманывать, как шатки были бы оправдания, которые

она могла придумать. Вот почему в ее душе законный гнев боролся с вполне обоснованным страхом.

Шико поглядывал время от времени на королеву и видел, что она понемногу успокаивается и приходит к какому-то решению.

Поэтому он уже гораздо более твердым голосом произнес завершающие королевское письмо формулы вежливости.

— Клянусь святым причастием,— сказала королева, когда Шико умолк,— братец мой прекрасно пишет по-латыни. Какой стиль, какая сила выражений! Я никогда не думала, что он такой искусник.

Шико возвел очи горе и развел руками, как человек, который готов согласиться из любезности, хотя и не понимает существа дела.

— Вы не поняли? — спросила королева, знавшая все языки, в том числе и язык мимики.— А я-то думала, сударь, вы знаток латыни.

— Ваше величество, я все позабыл. Вот единственное, что сохранилось у меня в памяти: латинский язык лишен грамматического члена, имеет звательный падеж, и слово «голова» в нем среднего рода.

— Вот как! — раздался чей-то веселый и громкий голос.

Шико и королева одновременно обернулись.

Перед ними стоял король Наваррский.

— Неужели по-латыни голова среднего рода, господин Шико? — спросил Генрих, подходя ближе.— А почему не мужского?

— Это удивляет меня так же, как и ваше величество,— ответил Шико.

— Я тоже этого не понимаю,— задумчиво проговорила Маргарита.

— Наверно, потому,— заметил король,— что головою могут быть и мужчина и женщина, в зависимости от свойств их натуры.

Шико поклонился.

— Объяснение самое подходящее, государь.

— Тем лучше. Очень рад, что я оказался человеком более глубоким, чем думал... А теперь вернемся к письму. Горю желанием, сударыня, услышать, что нового при французском дворе. К сожалению, наш славный господин Шико привез новости на языке, мне неизвестном...—

И Генрих Наваррский сел, потирая руки, словно его ожидало нечто весьма приятное.— Ну как, господин Шико, прочитали вы моей жене это знаменитое письмо? — продолжал он.

— Да, государь.

— Расскажите же мне, дорогая, что в нем содержится?

— А не опасаетесь ли вы, государь,— сказал Шико,— что латинский язык послания является признаком неблагоприятным?

— Но почему? — спросил король.

Маргарита на мгновение задумалась, словно припоминая одну за другой все услышанные ею фразы.

— Наш любезный посол прав,— сказала она,— латынь в данном случае — плохой признак.

— Неужели? — удивился Генрих.— Разве в письме есть что-нибудь порочащее нас? Будьте осторожны, дорогая, ваш венценосный брат пишет весьма искусно и всегда проявляет изысканную вежливость.

— Это коварное письмо, государь.

— Быть этого не может!

— Да, да, в нем больше клеветы, чем нужно, чтобы поссорить не только мужа с женой, но и друга со всеми его друзьями.

— Ого! — протянул Генрих, выпрямляясь и нарочно придавая своему лицу, обычно столь открытому и благодушному, недоверчивое выражение.— Поссорить мужа с женой, то есть меня с вами?

— Да, государь.

— А по какому случаю, дорогая?

Шико сидел как на иголках.

— Быть беде,— шептал он,— быть беде...

— Государь,— продолжала королева,— если бы вы знали латынь, то обнаружили бы в письме много комплиментов по моему адресу.

— Но каким же образом,— продолжал Генрих,— относящиеся к вам комплименты могут нас поссорить? Ведь пока брат мой Генрих будет вас хвалить, мы с ним во мнениях не разойдемся. Вот если бы в этом письме о вас говорилось дурно, тогда, сударыня, дело другое: я понял бы политический расчет моего брата.

— Если бы Генрих говорил обо мне дурно, вам была бы понятна его политика?

— Да, мне известны причины, по которым Генриху де Валуа хотелось бы нас поссорить.

— Дело в том, сударь, что комплименты — лишь коварное вступление, за которым следует злостная клевета на ваших и моих друзей.

Смело бросив королю эти слова, Маргарита стала ждать возражений.

Шико опустил голову. Генрих пожал плечами.

— Подумайте, дорогая,— сказал он,— может быть, вы недостаточно хорошо поняли всю эту латынь и письмо моего брата не столь уж злонамеренно.

Как ни кротко, как ни мягко произнес Генрих эти слова, королева Наваррская бросила на него недоверчивый взгляд.

— Поймите меня до конца, государь,— сказала она.

— Бог свидетель, только этого я и желаю, сударыня,— ответил Генрих.

— Нуждаетесь ли вы в своих слугах, скажите?

— Нуждаюсь ли я, дорогая? Что я стал бы делать без них, бог ты мой?!

— Так вот, государь, король хотел бы отдалить от вас лучших ваших слуг.

— Это ему не удастся.

— Браво, государь,— прошептал Шико.

— Ну, разумеется,— заметил Генрих с тем изумительным добродушием, которое до конца его жизни сбивало всех с толку,— ведь слуг привязывает ко мне чувство, а не выгода. Я ничего им дать не могу.

— Вы им отдаете свое сердце, свое доверие, государь,— это лучший дар короля.

— Да, дорогая, и что же?

— Я ничего не могу вам сказать, государь,— продолжала Маргарита,— не поставив под угрозу...

Шико понял, что он лишний, и отошел.

— Дорогой посол,— обратился к нему король,— соблаговолите подождать в моем кабинете: королева хочет сказать мне что-то наедине.

Видя, что супруги рады от него отделаться, Шико вышел из комнаты, отвесив обоим поклон.

XVI. Перевод с латинского

Итак, Генрих с супругой остались, к их обоюдному удовольствию, наедине.

На лице короля не было ни тени беспокойства или гнева. Он явно не понимал латыни.

— Сударь,— сказала Маргарита,— я жду ваших вопросов.

— Письмо, видно, очень беспокоит вас, дорогая,— сказал король.— Не надо так волноваться.

— Такое письмо, государь, целое событие. Король не посылает вестника к другому монарху, не имея на это важных причин.

— Полноте, довольно говорить об этом... Кажется, сегодня вечером вы даете бал?

— Да, государь,— удивленно ответила Маргарита.— Вы же знаете, что у нас почти каждый вечер танцы.

— А у меня завтра охота, облава на волков.

— У каждого свои развлечения, государь. Вы любите охоту, я — танцы. Вы охотитесь, я пляшу.

— Да, друг мой,— вздохнул Генрих.— И, по правде говоря, ничего дурного тут нет. Но меня тревожит один слух.

— Слух?.. Ваше величество беспокоит какой-то слух?

— А вы-то сами ничего не слышали? — продолжал Генрих.

Маргарита начала всерьез опасаться, что все это лишь способ нападения, избранный ее мужем.

— Я не любопытна, государь,— сказала она.— К тому же не придаю значения слухам.

— Так вы считаете, сударыня, что слухи надо презирать?

— Безусловно, государь.

— Я вполне с этим согласен, дорогая, и дам вам отличный повод применить свою философию.

Маргарита подумала, что наступает решительный момент. Она собрала все свое мужество и спокойно ответила:

— Хорошо, государь. Охотно сделаю это.

Генрих начал тоном кающегося грешника:

— Вы знаете, как я забочусь о бедняжке Фоссез?

— О моей фрейлине?

— Да.

— О вашей любимице, от которой вы без ума?

— Ах, дорогая, вы заговорили на манер одного из слухов, которые только что осуждали.

— Вы правы, государь,— улыбнулась Маргарита,— смиренно прошу у вас прощения.

— Итак, Фоссез больна, дорогая, и врачи не могут определить, что с ней.

— Как вы сказали? — воскликнула королева злорадно, ибо самая умная и великодушная женщина не может удержаться от удовольствия пустить стрелу в другую женщину,— Фоссез, этот цветок чистоты и невинности, больна? И врачи должны разбираться в ее радостях и горестях?

— Да,— сухо ответил Генрих.— Я говорю, что моя доченька Фоссез больна и скрывает свою болезнь.

— В таком случае, государь,— сказала Маргарита, которая по обороту, принятому разговором, решила, что ей предстоит даровать прощение, а вовсе не вымаливать его,— я не знаю, что угодно вашему величеству, и жду объяснений.

— Следовало бы...— продолжал Генрих.— Но я, пожалуй, слишком много требую от вас, дорогая...

— Скажите все же.

— Вам следовало бы сделать мне великое одолжение и посетить мою доченьку Фоссез.

— Чтобы я навестила эту девицу, о которой говорят, будто она имеет честь быть вашей возлюбленной?

— Не волнуйтесь, дорогая,— молвил король.— Честное слово, вы так громко говорите, что, чего доброго, вызовете скандал, а я не поручусь, что подобный скандал не обрадует Французский двор, ибо в письме короля, прочитанном Шико, стояло «quotidie scandalum», то есть «каждодневный скандал»,— это понятно даже такому жалкому латинисту, как я.

Маргарита вздрогнула.

— К кому же относятся эти слова, государь? — спросила она.

— Вот этого я и не понял. Но вы знаете латынь и поможете мне разобраться...

Маргарита покраснела до ушей. Между тем Генрих опустил голову и слегка приподнял руку, словно простодушно раздумывая над тем, к кому при его дворе могло относиться это выражение.

— Хорошо, государь,— проговорила королева,— вы хотите, во имя нашего согласия, принудить меня к унизительному поступку. Я повинуюсь.

— Благодарю вас, дорогая,— сказал Генрих,— благодарю.

— Но какова будет цель моего посещения?

— Вы найдете Фоссез среди других фрейлин, ибо они спят в одном помещении. Вы сами знаете, как эти особы любопытны и нескромны, трудно себе представить, до чего они могут довести Фоссез. Ей надо покинуть помещение фрейлин.

— Если она хочет прятаться, пусть на меня не рассчитывает. Я не стану ее сообщницей.

И Маргарита умолкла, ожидая, как будет принят ее отказ.

Но Генрих словно ничего не слышал. Голова его снова опустилась, и он вновь принял тот задумчивый вид, который только что поразил королеву.

— Margota...— пробормотал он.— Margota cum Turennio... Вот те слова, которые я все время искал.

На этот раз Маргарита побагровела.

— Клевета, государь! — вскричала она.— Неужели вы станете повторять мне клеветнические наветы?

— Какая клевета? — спросил Генрих невозмутимо.— Разве вы обнаружили в этих словах клевету, сударыня? Я просто вспомнил одно место из письма моего брата: «Margota çum Turennio conveniunt in castello nomine Loignac»[1]. Право же, надо, чтобы какой-нибудь латинист перевел мне письмо.

— Хорошо, прекратим эту игру, государь,— продолжала Маргарита, вся дрожа,— и скажите без обиняков, чего вы от меня желаете?

— Я хотел бы, чтобы вы перевели Фоссез в отдельную комнату и прислали к ней лекаря, способного держать язык за зубами,— например, вашего придворного лекаря.

— Понимаю! — вскричала королева.— Но есть жертвы, которых не может требовать даже король. Покрывайте сами грехи Фоссез, государь. Это ваше дело: страдать должен виновный, а не невинный.

— Правильно, виновный. Вот вы опять напомнили мне выражение из этого загадочного письма.

[1] Марго и Тюренн встречаются в замке Луаньяк *(лат.)*.

— Каким образом?

— Виновный — по-латыни, кажется, nocens?

— Да, сударь.

— Так вот, в письме стоит: «Margota cum Turennio ambo nocentes, conveniunt in castello nomine Loignac». Боже, как жаль, что при такой хорошей памяти я так плохо образован!

— «Ambo nocentes...»[1] — тихо повторила Маргарита, становясь белее своего крахмального кружевного воротника.— Он понял, понял!

— Что же, черт побери, хотел сказать мой братец? — безжалостно продолжал Генрих Наваррский.— Помилуй бог, дорогая, удивительно, что вы, так хорошо знающая латынь, еще не разъяснили мне этой фразы.

— Государь, я уже имела честь говорить вам...

— Э, черт возьми,— прервал ее король,— вот и сам Turennius бродит под вашими окнами и глядит наверх, словно дожидается вас, бедняга. Я дам ему знак подняться сюда. Он человек весьма ученый и скажет мне то, что я хочу знать.

— Государь, государь! — вскричала Маргарита, приподнимаясь в кресле и складывая с мольбою руки.— Будьте великодушнее, чем все сплетники и клеветники Франции!

— Э, мой друг, сдается мне, что у нас в Наварре народ не более снисходительный, чем во Франции. Вы только что... проявили большую строгость к бедняжке Фоссез.

— Строгость? Я? — вскричала Маргарита.

— А как же, припомните. Однако нам подобает быть снисходительными, сударыня. Мы ведем такую мирную жизнь: вы даете балы, я езжу на охоту.

— Да, да, государь,— сказала Маргарита,— вы правы, будем снисходительны друг к другу.

— Так вы проведаете Фоссез, не правда ли?

— Да, государь.

— Отделите ее от других фрейлин?

— Да, государь.

— Поручите ее своему лекарю?

— Да, государь.

— И если то, о чем говорят, правда и бедняжка под-

[1] Оба виновные *(лат.)*.

далась искушению...— Генрих возвел очи горе.— Это возможно,— продолжал он.— Женщина — существо слабое, как говорится в Евангелии.

— Я женщина, государь, и знаю, что должна быть снисходительной к другим женщинам.

— Вы все знаете, дорогая. Вы поистине образец совершенства и...

— И что же?

— И я целую ваши ручки.

— Но поверьте, государь,— продолжала Маргарита,— жертву эту я приношу лишь из добрых чувств к вам.

— О,— сказал Генрих,— я вас отлично знаю, сударыня, и мой брат, король Франции, тоже: он говорит о вас в этом письме столько хорошего, помните? «Fiat sanum exemplum statim, atque res certior eveniet»[1]. Хороший пример, о котором здесь идет речь, без сомнения, тот, который подаете вы.

И Генрих поцеловал холодную, как лед, руку Маргариты.

— Передайте от меня тысячу нежных слов Фоссез, сударыня. Займитесь ею, как вы обещали. Я еду на охоту. Может быть, я увижу вас лишь по возвращении; может быть, не увижу никогда... Волки — звери опасные. Дайте я поцелую вас, дорогая.

Он почти с нежностью поцеловал Маргариту и вышел, оставив ее ошеломленной всем, что она услышала.

XVII. Испанский посол

Король вернулся в свой кабинет, где его ожидал Шико.

— Знаешь, Шико, что говорит королева?

— Нет.

— Она говорит, что твоя проклятая латынь разрушит наше семейное счастье.

— Ради бога, государь, забудем всю эту латынь! — вскричал Шико.

— Я и не думаю больше о письме, черт меня побери,— сказал Генрих.— У меня есть дела поважнее.

[1] Надо дать немедленно хороший пример, и дело станет ясным *(лат.)*.

— Ваше величество, предпочитаете развлекаться?

— Да, сынок,— сказал Генрих, недовольный тоном, которым Шико произнес эти слова.— Да, мое величество предпочитает развлекаться.

— Простите, но, может быть, я мешаю вашему величеству?

— Э, сынок,— продолжал Генрих, пожимая плечами,— я уже говорил тебе — у нас здесь не то что в Лувре. И охотой, и войной, и политикой мы занимаемся на глазах у всех.

В эту минуту дверь отворилась, и д'Обиак громким голосом доложил:

— Господин испанский посол.

Шико так и подпрыгнул в кресле, что вызвало у короля улыбку.

— Ну вот,— сказал Генрих,— и внезапное опровержение моих слов. Испанский посол!.. Что ему от нас нужно?

— Я удаляюсь,— смиренно сказал Шико.— Его величество Филипп Второй[1], наверно, направил к вам настоящего посла, а я ведь...

— Чтобы французский посол отступил перед испанским, да еще в Наварре! Помилуй бог, этого не будет. Открой вон тот книжный шкаф и расположись в нем.

— Но я даже невольно все услышу, государь.

— Ну и услышишь, черт побери, мне-то что? Я ничего не скрываю. Кстати, король, ваш повелитель, больше ничего не велел мне передать, господин посол?

— Решительно ничего, государь.

— Ну и прекрасно, теперь тебе остается только смотреть и слушать, как делают все послы на свете. В этом шкафу ты отлично выполнишь свою миссию, дорогой Шико.

Шико поспешил влезть в шкаф и старательно опустил тканый занавес с изображением человеческих фигур.

Раздались чьи-то медленные, размеренные шаги, и в комнату вошел посол его величества Филиппа II.

Когда все предварительные формальности были выполнены, причем Шико из своего укрытия мог убедиться, что

[1] Филипп II (1527—1598) — испанский король с 1556 по 1598 год.

Генрих отлично умеет давать аудиенции, посол перешел к делу.

— Могу ли я без стеснения говорить с вашим величеством? — спросил он по-испански, ибо этот язык так похож на наваррское наречие, что любой гасконец отлично его понимает.

— Можете говорить, сударь,— ответил король.

— Государь,— сказал посол,— я доставил вам ответ его католического величества.

— Знаете, я очень забывчив,— молвил Генрих.— Соблаговолите напомнить, о чем шла речь, господин посол.

— По поводу захватов, которые производят во Франции лотарингские принцы.

— Да, особенно по поводу захватов моего куманька де Гиза. Отлично! Припоминаю, продолжайте, сударь, продолжайте.

— Государь, хотя король, мой повелитель, и получил предложение заключить союз с Лотарингией, он считает союз с Наваррой более честным и, скажем прямо, более выгодным. Король, мой повелитель, ни в чем не откажет Наварре.

Шико припал ухом к занавесу и даже укусил себя за палец, чтобы проверить, не спит ли он.

— Если мне ни в чем не откажут,— сказал Генрих,— поглядим, чего ж я могу просить.

— Всего, чего угодно будет вашему величеству.

— Помилуй бог — всего, чего угодно! Да я просто теряюсь.

— Его величество король Испании хочет, чтобы его новый союзник был доволен. Доказательством служит предложение, которое я уполномочен сделать вашему величеству.

— Я вас слушаю,— сказал Генрих.

— Король Франции относится к королеве Наваррской, как к заклятому врагу, и для вашего величества теперь нетрудно отвергнуть как супругу ту, кого даже родной брат перестал считать сестрой.

Генрих бросил взгляд на занавес, за которым Шико с расширенными от изумления глазами ожидал, к чему приведет это начало.

— Когда брак ваш будет расторгнут,— сказал посол,— союз между королями наваррским и испанским...

Генрих поклонился.

— Союз этот,— продолжал посол,— можно уже считать заключенным, ибо король Испании отдает инфанту, свою дочь, в жены королю Наваррскому, а сам женится на госпоже Екатерине Наваррской, сестре вашего величества.

Трепет удовлетворенной гордости пробежал по телу Генриха, дрожь ужаса охватила Шико: первый увидел, как на горизонте восходит во всем блеске солнце его счастливой судьбы, второй — как никнут и рассыпаются в прах скипетр и счастье дома Валуа.

Что касается невозмутимого испанца, то он не видел ничего, кроме инструкций, полученных от своего повелителя.

На мгновение воцарилась глубокая тишина, затем король Наваррский заговорил:

— Предложение, сударь, великолепно, и мне оказана высокая честь.

— Его величество, король Испании,— поспешил добавить гордый посол,— не сомневается, что предложение будет восторженно принято, но он намерен поставить вашему величеству одно условие.

— А, условие! — сказал Генрих.— Что ж, это справедливо. В чем оно состоит?

— Оказывая вашему величеству помощь против лотарингских принцев, то есть открывая вашему величеству дорогу к престолу Франции, мой повелитель желал бы сохранить за собой Фландрию, в которую мертвой хваткой вцепился монсеньер герцог Анжуйский. Итак, его величество король Испании поможет вам (тут посол замялся, ища подходящего выражения)... стать преемником французского короля; вы же гарантируете ему Фландрию. Зная мудрость вашего величества, я считаю свою миссию благополучно завершенной.

За этими словами последовало молчание, еще более глубокое, чем раньше.

Генрих Наваррский прошелся по кабинету.

— Так вот, сударь,— проговорил он наконец,— я отказываюсь от предложения его величества короля Испании.

— Вы отвергаете руку инфанты! — вскричал испанец. Ответ ошеломил его, словно внезапно полученный удар.

— Честь высока, сударь,— ответил Генрих, поднимая

голову,— однако она не выше чести иметь супругой дочь короля Франции.

— Да, но первый брак влечет вас к могиле, государь. Второй же приближает к престолу.

— Я знаю, сударь, что вы сулите мне головокружительную судьбу, но я не стану покупать ее ценою крови и чести моих будущих подданных. Неужто, сударь, я обнажу меч против короля Франции, моего зятя, ради испанцев, иноземцев?! Неужто я остановлю победное шествие французского знамени? Неужто допущу, чтобы брат пошел на брата, и приведу иноземцев в свое отечество?! Сударь, выслушайте меня: я просил у моего соседа, короля Испании, помощи против господ де Гизов, смутьянов, посягающих на мое наследие, но не против герцога Анжуйского, моего зятя, не против короля Генриха Третьего, моего друга, не против моей супруги, сестры короля, моего сюзерена. Король испанский хочет вновь завладеть ускользающей от него Фландрией? Пусть он поступит, как его отец, Карл Пятый; пусть попросит у короля Франции пропустить его через французские владения и явится во Фландрию с требованием, чтобы ему возвратили звание первого гражданина города Гента. Готов поручиться, что король Генрих Третий пропустит его, так же как это сделал в свое время король Франциск Первый... Я домогаюсь французского престола? Так, видимо, считает его католическое величество. Быть может. Но я не нуждаюсь в его помощи, чтобы завладеть этим престолом. Если престол окажется пустым, я сам возьму его, вопреки всем величествам на свете. Прощайте же, сударь! Передайте брату моему Филиппу, что я благодарю его за сделанное мне предложение. Но я счел бы себя смертельно обиженным, если бы он хоть на мгновение мог подумать, что я способен принять его. Прощайте, сударь!

Посол не мог прийти в себя от изумления. Он пробормотал:

— Остерегитесь, сударь: доброе согласие между соседями легко можно нарушить одним неосторожным словом.

— Господин посол,— продолжал Генрих,— запомните, что я вам скажу. Быть или не быть королем Наварры, для меня одно и то же. Венец мой так невесом, что я не замечу, если он упадет с моей головы. Передайте вашему повелителю, что я претендую на большее, чем на то, что он мне посулил. Прощайте.

И Генрих, вновь становясь не самим собою, не тем человеком, которого все в нем видели, с любезной улыбкой проводил посла до порога.

XVIII. Король Наваррский раздает милостыню

Шико был так изумлен, что даже не подумал вылезти из книжного шкафа, когда Генрих остался один. Король сам поднял занавес и хлопнул его по плечу.

— Ну, как, по-твоему, я вышел из положения, метр Шико?

— Замечательно, государь. Для короля, не часто принимающего послов, вы прекрасно умеете это делать.

— А ведь такие послы являются ко мне по вине моего брата Генриха.

— Как так, государь?

— Э, друг мой, слишком очевидно, что поссорить нас с женой кое-кому очень выгодно.

— Признаюсь, государь, что я не так проницателен, как вы думаете.

— Ну конечно, брат мой Генрих только и мечтает о том, чтобы я развелся с его сестрой.

— Почему же? Растолкуйте мне. Черт побери, я и не думал, что найду такого хорошего учителя!

— Ты знаешь, Шико, что мне позабыли выплатить приданое?

— Я этого не знал, государь, но подозревал.

— Что приданое состояло из трехсот тысяч золотых экю?

— Сумма неплохая.

— И нескольких крепостей, в том числе Кагора?

— Отличный, черт возьми, город!

— Я потребовал не денег (как я ни беден, я считаю себя богаче короля Франции) — крепость Кагор.

— Клянусь богом, вы правильно поступили, государь.

— Вот потому-то...— сказал король со своей тонкой улыбкой.— Теперь понимаешь?

— Нет, черт меня побери!

— Потому-то меня и пытаются поссорить с женой, да так основательно, чтобы я потребовал развода. Нет

жены — нет и приданого: трехсот тысяч экю, крепостей и, главное, Кагора. Неплохой способ нарушить данное слово, а мой братец Валуа искусник расставлять подобные ловушки.

— Вам бы очень хотелось получить эту крепость, государь? — спросил Шико.

— Конечно! Что такое мое беарнское королевство? Несчастное маленькое княжество, которое жадность моего зятя и тещи до того обкорнали, что связанный с ним королевский титул звучит насмешкой.

— Да, тогда как Кагор...

— Кагор стал бы моим крепостным валом, оплотом моих единоверцев.

— Кагор неприступен, государь.

Генрих словно заключил свое лицо в броню простодушия.

— Неприступен, неприступен,— молвил он,— но если бы у меня было войско, которого я не имею!..

— Давайте говорить начистоту, государь. Вы сами знаете, гасконцы народ откровенный. Чтобы взять Кагор, где командует господин де Везен, надо быть Ганнибалом или Цезарем[1], а ваше величество...

— Что же мое величество? — спросил Генрих с насмешливой улыбкой.

— Ваше величество *сами признали*, что воевать не любите.

Генрих вздохнул. Взор его, полный меланхолии, вдруг вспыхнул огнем, но он подавил этот невольный порыв и погладил загорелой рукой свою темную бороду.

— Это правда,— молвил он,— я никогда не обнажал шпаги и никогда не обнажу ее. Я соломенный король, человек мирных наклонностей. Однако я люблю поговорить о военном деле: это у меня в крови. Мой предок — Святой Людовик[2] — был воспитан в благочестии и кроток от природы, но при случае ловко метал копье и смело орудовал мечом... Если не возражаешь, Шико, поговорим о господине де Везене, его-то можно сравнить с Ганнибалом и с Цезарем.

[1] Ганнибал (около 247—183 гг. до н. э.) — выдающийся карфагенский полководец. Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.) — известный римский полководец, политический деятель и писатель.

[2] Людовик IX, прозванный Святым (1226—1270),— французский король, совершил крестовые походы в Египет и Тунис.

— Простите, государь,— сказал Шико,— если я вас обидел, обеспокоил. Я упомянул о господине де Везене для того, чтобы погасить пламя, которое, по молодости лет и неопытности в делах государственных, могло вспыхнуть в вашем сердце. Видите ли, Кагор так усиленно охраняют потому, что это ключ ко всему Югу.

— Увы! — сказал Генрих, вздыхая еще глубже.— Я хорошо это знаю!

— Обладать Кагором,— продолжал Шико,— значит иметь полные амбары, погреба и сундуки. Кто обладает Кагором — за того все; кто им не обладает — все против того.

— Клянусь богом,— пробормотал король Наваррский,— я так сильно хотел обладать Кагором, что выставил его как условие sine qua non[1] нашего с Маргаритой брака... Смотри-ка, я заговорил по-латыни!.. Кагор был приданым моей жены, мне его обещали.

— Государь, быть должным — и платить...— заметил Шико.

— Что же, по-твоему, со мной так и не расплатятся?

— Боюсь, что так. И, говоря откровенно, это правильно, государь.

— Правильно? Почему, друг мой?

— Потому что, женившись на принцессе из французского дома, вы не сумели добиться, чтобы вам выплатили приданое сполна.

— Несчастный! — сказал Генрих с горькой улыбкой.— Ты что же, забыл о набате Сен-Жермен л'Оксеруа?![2] Сдается мне, что любой новобрачный, которого намереваются зарезать в его брачную ночь, станет больше заботиться о спасении жизни, чем о приданом.

— Да. Но сейчас у нас мир. Вам следовало бы воспользоваться мирным временем и заняться делами. Говоря так, я имею в виду не только ваши интересы, но и интересы короля, моего повелителя. Если бы в вашем лице Генрих Третий имел могучего союзника, он был бы сильнее всех, и оба Генриха приводили бы в трепет мир.

— Я вовсе не стремлюсь приводить кого-либо в трепет,— смиренно сказал Генрих,— лишь бы мне самому

[1] Непременное *(лат.)*.

[2] Звон колоколов церкви Сен-Жермен л'Оксеруа послужил условным сигналом для начала избиения гугенотов во время Варфоломеевской ночи.

не дрожать... Ну что ж, обойдусь без Кагора, раз ты полагаешь, что Генрих мне его никогда не отдаст.

— Я уверен в этом, государь, по трем причинам.

— Изложи их, Шико.

— Охотно. Первая состоит в том, что Кагор — город богатый и король Франции предпочтет оставить его себе.

— Это не очень-то честно, Шико.

— Зато по-королевски, государь.

— Я запомню твои слова, Шико, на случай, если стану когда-нибудь королем. Ну, а вторая причина?

— Госпожа Екатерина желала бы видеть дочь в Париже, а не в Нераке.

— Ты так думаешь? Однако она не испытывает к дочери особо пылкой любви.

— Вы правы, но госпожа Маргарита является при вас как бы заложницей.

— Ты тончайший политик, Шико. Черт меня побери, если мне это приходило в голову. Да, да, принцесса из французского королевского дома может оказаться заложницей. Так что же?

— Чем меньше денег, тем меньше удовольствий, государь. Нерак очень приятный город, с прелестным парком. Но без денег госпожа Маргарита соскучится в Нераке и начнет жалеть о Лувре.

— Первая твоя причина мне больше по душе, Шико,— сказал король, тряхнув головой.

— В таком случае я назову вам третью. Герцог Анжуйский добивается какого-нибудь трона и мутит Фландрию; господа де Гизы тоже хотят выковать себе корону и мутят Францию; его величество король Испании жаждет всемирной монархии и баламутит весь свет. Среди них вы, король Наваррский, обеспечиваете известное равновесие.

— Что ты! Я, не имеющий никакого веса?..

— Вот именно. Если вы станете могущественны, то есть приобретете вес, все нарушится, вы уже не будете служить противовесом.

— Эта причина мне очень нравится, Шико, удивительно логично она у тебя выведена. Ты и вправду ученейший человек. А я-то ничего этого не разумел, Шико, я-то все время надеялся!

— Разрешите дать вам совет, государь: перестаньте надеяться!

Генрих вздохнул.

— Так я и сделаю, Шико,— сказал он.— Впрочем, как видишь, в Беарне можно жить, а Кагор мне не так уж необходим.

— Вижу, что вы король-философ, исполненный мудрости... Но что это за шум?

— Шум? Где?

— Во дворе как будто.

— Выгляни в окно, мой друг, выгляни.

Шико подошел к окну.

— Государь,— сказал он,— там внизу человек двенадцать каких-то оборванцев.

— А, это мои нищие ждут милостыни,— заметил, вставая, король Наваррский.

— У вашего величества есть нищие?

— Конечно, разве бог не велит помогать бедным? Я хоть и не католик, Шико, но христианин.

— Браво, государь!

— Пойдем, Шико, спустимся вниз. Мы вместе с тобой раздадим милостыню, а затем поужинаем.

— Следую за вами, государь.

— Возьми кошель там, на маленьком столике, рядом с моей шпагой, видишь?

Они сошли вниз. Уже стемнело; у короля был задумчивый, озабоченный вид.

Во дворе король Наваррский подошел к группе нищих, на которую ему указал Шико.

Их было действительно человек двенадцать. Они отличались друг от друга наружностью, осанкой, одеждой, и неискушенный человек принял бы их за цыган, чужестранцев, но подлинный наблюдатель сразу признал бы в них переодетых дворян.

Генрих взял из рук Шико кошель и подал знак.

Нищие, видимо, хорошо его поняли.

Они стали по очереди подходить к королю, смиренно приветствуя его. Но на обращенных к нему лицах, умных и смелых, король мог прочесть:

«Под лохмотьями бьются горячие сердца».

Генрих опустил руку в кошель и достал монету.

— Да это золото, государь! — заметил Шико.

— Знаю, друг мой.

— Вы, оказывается, богач.

— Разве ты не видишь, друг мой,— с улыбкой возра-

зил Генрих,— что одна монета предназначается для двоих? Я беден, Шико, и вынужден разрезать каждую пистоль надвое.

— И правда,— сказал Шико со все возрастающим удивлением,— это монеты-половинки, но я не стал бы тратить время и разрезать каждую монету надвое. Я давал бы целую, говоря при этом: «На двоих!»

— Да они подрались бы, дорогой мой, и, желая совершить доброе дело, ты, наоборот, ввел бы их в искушение.

Генрих вынул из кошеля половинку золотой монеты и, остановившись перед первым нищим, спокойно и ласково посмотрел на него.

— Ажан,— произнес тот с поклоном.

— Сколько? — спросил король.

— Пятьсот.

— Кагор.

Он отдал ему монету и вынул из кошелька другую.

Нищий поклонился еще ниже и отошел.

За ним последовал другой.

— Ош,— произнес он.

— Сколько?

— Триста пятьдесят.

— Кагор.

Он отдал ему вторую монету и достал из кошелька еще одну.

И так нищие подходили, кланялись, называли какой-нибудь город и цифру. Общий итог составил восемь тысяч.

Каждому из них Генрих неизменно отвечал: «Кагор». Раздача кончилась. В кошеле не было больше монет; нищие разошлись.

Шико тронул короля за рукав:

— Разрешите полюбопытствовать, государь.

— Ну что ж, любопытство вещь законная.

— Скажите, что вам говорили нищие и что вы им отвечали?

Генрих улыбнулся.

— Вы знаете, здесь все сплошная тайна,— продолжал Шико.

— Да нет же, разрази меня гром! Все очень просто. Люди, которых ты видел, бродят по стране и собирают подаяние. Но все они из разных мест.

— Так что ж, государь?

— Они называют мне свой родной город, и я поровну раздаю им милостыню, помогая нищим всех городов своего государства.

— Но почему вы всем отвечали «Кагор»?

— Что ты говоришь? — вскричал Генрих, с отлично разыгранным удивлением.— Я отвечал им «Кагор»?

— Я в этом уверен.

— Вот видишь, с тех пор как мы поговорили с тобой о Кагоре, это слово так и вертится у меня на языке.

— Ну, а цифра, которую произносил каждый из них?.. Если сложить их, получится восемь тысяч.

— Насчет цифр я тоже ничего не понял. Но вот что пришло мне в голову: нищие составляют различные союзы и, может быть, каждый из них называл количество членов того союза, к которому принадлежит. Это весьма вероятно.

— Полноте, государь!

— Идем ужинать, друг мой. На мой взгляд, ничто так не проясняет ум, как еда и питье. Мы обдумаем все это за столом, и ты убедишься, что хотя пистоли мои разрезаны, зато бутылки полны.

При этих словах король без всяких церемоний взял Шико под руку, и поднялся вместе с ним в кабинет, где уже был сервирован ужин.

Проходя мимо покоев королевы, он взглянул на окна и увидел, что они не освещены.

— Паж,— спросил он,— ее величества королевы нет дома?

— Ее величество,— ответил паж,— пошла проведать мадемуазель де Монморанси, которая, говорят, тяжело больна.

— Бедняжка Фоссез! — сказал Генрих.— Но какое у королевы доброе сердце!.. Идем ужинать, Шико, идем.

XIX. С кем действительно проводил ночь король Наваррский

Ужин прошел очень весело; Генрих отбросил все докуки, все тревоги, а в таком расположении духа он был приятнейшим сотрапезником.

Что касается Шико, то он постарался скрыть смутное

беспокойство, которое охватило его при появлении испанского посла и еще усилилось при раздаче золота нищим.

Генрих пожелал отужинать наедине с куманьком Шико. При дворе короля Генриха III он всегда питал слабость к Шико, довольно обычную слабость умного человека к другому умному человеку. Шико со своей стороны издавна относился с симпатией к королю Наваррскому.

Король пил не пьянея и умел увлекать за собою собутыльников. Однако у господина Шико голова была крепкая, а Генрих Наваррский уверял, что привык пить местные вина, как молоко.

Трапеза была приправлена любезностями, которые без конца говорили друг другу собутыльники.

— Как я вам завидую,— сказал королю Шико,— какой у вас приятный двор и веселая жизнь, государь! Сколько добродушных лиц я вижу в этом славном доме и как благоденствует прекрасная Гасконь!

Генрих откинулся на спинку кресла и, смеясь, погладил бороду.

— Да, да, не правда ли? — молвил он.— Утверждают, однако, что я царствую главным образом над подданными женского пола.

— Да, государь, и это меня удивляет.

— Почему, куманек?

— Потому, государь, что в вас гнездится беспокойный дух, присущий великим монархам.

— Ты ошибаешься, Шико,— сказал Генрих.— Лени во мне больше, чем беспокойства, доказательство тому — вся моя жизнь.

— Благодарю за честь, государь,— ответил Шико, осушая стакан до последней капли, ибо король следил за ним острым взглядом, читавшим, казалось, самые потаенные его мысли.

— Я хочу получить Кагор, это верно,— проговорил король,— но лишь потому, что он тут, рядом. Я честолюбив, пока сижу в кресле. Стоит мне встать, и я уже ни к чему не стремлюсь.

— Клянусь богом, государь,— ответил Шико,— ваше стремление заполучить то, что находится под рукой, очень напоминает Цезаря Борджиа[1]: он составил свое королевство, беря город за городом, и утверждал, что Италия — артишок, который едят по листочкам.

[1] Цезарь Борджиа (ок. 1476—1507) — итальянский политический деятель, который пытался подчинить себе всю Италию, прибегая для этой цели к подкупам и убийствам.

— Этот Цезарь Борджиа, сдается мне, куманек, был не такой уж плохой политик,— сказал Генрих.

— Да, но опасный сосед и плохой брат.

— Уж не сравниваете ли вы меня, гугенота, с сыном папы? Осторожнее, господин посол!

— Государь, я ни с кем не стал бы вас сравнивать.

— Почему?

— Потому что, на мой взгляд, каждый, кто сравнит вас с кем-либо, ошибется. Вы, государь, честолюбивы.

— Странное дело,— заметил Генрих,— вот человек, который изо всех сил старается заставить меня к чему-то стремиться!

— Упаси боже, государь! Как раз наоборот, я всем сердцем желаю, чтобы ваше величество ни к чему не стремились.

— Послушайте, Шико,— сказал король,— вам ведь незачем торопиться в Париж?

— Незачем, государь.

— Ну так проведите со мной несколько дней.

— Если ваше величество оказывает мне такую честь, я с величайшей охотой проведу у вас неделю.

— Неделю? Отлично, куманек: через неделю вы будете знать меня, как родного брата. Выпьем, Шико.

— Государь, мне больше не хочется пить,— сказал Шико, отказываясь от попытки напоить короля, на что сперва покушался.

— В таком случае, куманек, я вас покину,— сказал Генрих.— Не к чему сидеть за столом без дела. Выпьем, говорю я вам!

— Зачем?

— Чтобы крепче спать. Здешнее винцо нагоняет такой сладкий сон... Любите вы охоту, Шико?

— Не слишком, государь. А вы?

— Я просто обожаю ее, с тех пор как жил при дворе короля Карла Девятого.

— А почему вы спрашиваете, ваше величество, люблю ли я охоту?

— Потому что завтра у меня охота, и я намерен взять вас с собой.

— Государь, для меня это большая честь, но...

— Э, куманек, будьте покойны: эта охота будет радостью для глаз и для сердца каждого военного. Я хороший охотник и хочу, чтобы вы, черт побери, видели меня в самом выгодном свете. Вы же говорили, что хотите меня получше узнать?

— Признаюсь, государь, это мое величайшее желание.

— Хорошо. Значит, мы договорились? А вот и паж; нам помешали.

— Что-нибудь важное, государь?

— Какие могут быть дела, когда я сижу за столом? Вы, дорогой Шико, просто удивляете меня: вам все представляется, будто вы при французском дворе. Шико, друг мой, знайте одно: в Нераке после хорошего ужина ложатся спать.

— А этот паж?..

— Да разве паж докладывает только о делах?

— Я понял, государь, и иду спать.

Шико встал, король последовал его примеру и взял своего гостя под руку. Шико показалась подозрительной поспешность, с которой его выпроваживали, и он решил выйти из кабинета как можно позже.

— Ого! — сказал он, шатаясь.— Странное дело, государь!

Король улыбнулся:

— Что случилось, куманек?

— Помилуй бог, у меня голова кружится. Пока я сидел, все шло отлично, а когда встал... брр!

— Шико, друг мой,— сказал Генрих, стараясь удостовериться, действительно ли Шико пьян или только притворяется,— по-моему, лучшее, что ты можешь сделать,— это отправиться спать.

— Да, государь. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Шико. До завтра!

— Да, государь. Ваше величество вполне правы: лучшее — это пойти спать.

И Шико разлегся на полу.

Видя, что его собутыльник решительно не желает уходить, Генрих бросил быстрый взгляд на дверь. Каким беглым ни был этот взгляд, Шико его уловил.

— Ты так пьян, бедняга Шико, что принял половики моего кабинета за постель.

— Шико человек военный. Шико это безразлично.

— Помилуй бог,— вскричал Генрих,— как это тебя

сразу развезло, куманек! Да убирайся ты, черт побери, или ты не понимаешь, что она ждет!

— Она? — сказал Шико.— Кто такая?

— Э, черт возьми, женщина, которая ко мне пришла и стоит там за дверью.

— Женщина! Что же ты сразу не сказал, Анрике!.. Ах, простите,— спохватился Шико,— я думал... думал, что говорю с французским королем. Он меня, видите ли, совсем избаловал, добряк Анрике... Что ж вы сразу не сказали, сударь? Я ухожу.

— Ну и прекрасно. Ты настоящий рыцарь, Шико.

Шико встал и, пошатываясь, направился к двери.

— Прощай, друг мой, прощай, спи хорошенько.

Шико открыл дверь.

— В галерее ты найдешь пажа. Он проводит тебя в опочивальню. Ступай.

— Благодарю вас, государь.

И Шико вышел, отвесив такой низкий поклон, на какой был способен выпивший человек.

Но едва дверь за ним закрылась, все следы опьянения исчезли. Он сделал шага три, а затем вернулся и приставил глаз к широкой замочной скважине.

Генрих уже открыл противоположную дверь, но вместо женщины вошел мужчина.

Как только этот человек снял шляпу, Шико узнал благородные и строгие черты Дюплесси-Морне, сурового и бдительного советника короля Наваррского.

— О, черт! — пробормотал Шико.— Этот человек, наверно, помешал королю больше, чем я.

Но при появлении Дюплесси-Морне лицо Генриха просияло от радости. Он пожал вновь прибывшему руки, пренебрежительно оттолкнул накрытый стол и усадил Морне подле себя.

Король, видимо, с нетерпением ждал первых слов своего советника. Но прежде всего он подошел к двери и закрыл ее на задвижку, проявляя осмотрительность, которая заставила Шико серьезно призадуматься.

Затем Генрих устремил пылающий взор на карты, планы и письма, которые передавал ему министр, и принялся писать и делать пометки на географических картах.

— Так вот как проводит ночи Генрих Наваррский! — прошептал Шико.— Помилуй бог, если все они такие,— Генрих Валуа рискует провести немало скверных минут.

Тут он услышал за спиной шаги. Это был паж, ожидавший его по приказу короля.

Боясь, как бы его не застали за подглядыванием, Шико выпрямился во весь свой рост.

— Следуйте, пожалуйста, за мной,— сказал ему д'Обиак.

И он проводил Шико на третий этаж, где для гостя была приготовлена опочивальня.

У Шико не оставалось больше сомнений. Он расшифровал половину ребуса, именуемого королем Наваррским. Поэтому, вместо того чтобы лечь спать, он в мрачной задумчивости уселся на кровать. Луна, спускаясь к остроконечной крыше, словно из серебряного кувшина лила свой голубоватый свет на поля и реку.

«Да,— думал Шико,— Генрих — настоящий король, Генрих — заговорщик. Этот дворец, парк, город — все служит очагом заговора. Генрих лукав, ум его граничит с гениальностью. Он поддерживает отношения с Испанией, страной коварных замыслов. Как знать — может быть, за его благородным ответом послу скрываются противоположные намерения, может быть, он подмигнул ему или подал другой знак, которого я из своего укрытия не заметил... Эти нищие — не более и не менее как переодетые дворяне. Искусно вырезанные золотые монеты — вещественный, осязаемый пароль. Генрих разыгрывает влюбленного безумца, а по ночам работает с Морне. Я увидел то, что должен был увидеть. У королевы Маргариты есть поклонники, и королю это известно. Он знает, кто они, и терпит их. Ведь он человек не военный, и ему нужны полководцы, а так как у него денег мало, приходится на многое закрывать глаза. Генрих Валуа сказал мне, что не может спать. Клянусь богом! Он хорошо делает, что не спит. К счастью, этот коварный Беарнец — добрый дворянин, которого бог наделил способностью к интригам, позабыв даровать ему силу и напористость. Говорят, Генрих боится мушкетных выстрелов, а когда его юношей взяли на войну, он не смог высидеть в седле более четверти часа... К счастью,— повторил про себя Шико,— ибо человек, искусный в интригах и к тому же сильный и смелый, может стать в наше время повелителем мира. Да, имеется еще герцог де Гиз, обладающий обоими качествами: и даром интриги, и сильной рукой. Но плохо для него то, что

его мужество и ум всем известны, а Беарнца никто не опасается. Один я его разгадал».

И Шико потер руки.

«Что ж? — продолжал он.— Теперь, когда Генрих разгадан, мне здесь больше делать нечего. Поэтому, пока король работает или спит, я потихоньку-полегоньку выберусь из города. Мало, думается мне, послов, которые могут похвастать, что за один день выполнили свою миссию. Я же это сделал. Итак, я выберусь из Нерака и, очутившись за его пределами, поскачу что есть духу в Париж».

XX. Об удивлении, испытанном Шико, когда он убедился, как хорошо его знают в Нераке

Приняв твердое решение незаметно оставить двор короля Наваррского, Шико приступил к укладке своего дорожного узла.

Он постарался, чтобы вещей было как можно меньше, следуя тому правилу, что чем легче весишь, тем быстрее идешь.

Самым тяжелым предметом багажа была, конечно, шпага.

«Поразмыслим, сколько времени понадобится мне,— говорил про себя Шико, завязывая узелок,— чтоб доставить королю сведения о том, что я видел и чего, следовательно, опасаюсь... Два дня придется добираться до какого-нибудь города, откуда расторопный губернатор сумеет отправить курьеров, которые мчались бы во весь опор. Скажем, городом этим будет Кагор, которому король Наваррский справедливо придает такое большое значение. Там я отдохну, ибо выносливость человеческая имеет пределы. Не воображай, друг Шико, что ты выполнил свою миссию,— нет, болван, дело сделано наполовину, да и то еще неизвестно!»

С этими словами Шико потушил свет и как можно тише открыл дверь. Но не успел он сделать и четырех шагов, как натолкнулся на какого-то человека.

То был паж, лежавший на циновке за дверью.

— Добрый вечер, господин Шико, добрый вечер! — сказал юноша.

Шико узнал д'Обиака.

— Добрый вечер, господин д'Обиак,— ответил он.— Пропустите меня, пожалуйста, я хочу прогуляться.

— Вот как? Но разгуливать по ночам в замке не разрешается, господин Шико.

— Почему это, господин д'Обиак?

— Потому что король опасается воров, а королева — поклонников. Ведь по ночам разгуливают только воры да влюбленные.

— Поверьте, дорогой господин д'Обиак,— сказал Шико с самой любезной улыбкой,— я не вор и не влюбленный. Я посол, и к тому же меня очень утомили и беседа по-латыни с королевой и ужин с королем. Пропустите же меня, друг мой, мне очень хочется прогуляться.

— По городу, господин Шико?

— О нет, по саду.

— Вот беда, господин Шико, это запрещено еще строже.

— Дружок мой,— сказал Шико,— хочу вас похвалить: для своего возраста вы весьма бдительны.

Он стал шарить по карманам. Паж не спускал с него глаз.

— Поройтесь у себя в памяти, милый друг,— сказал Шико,— и, бьюсь об заклад, вы обнаружите какую-нибудь прелестницу. Я попрошу вас накупить ей побольше лент и дать хорошую скрипичную серенаду.

И Шико сунул пажу десять пистолей.

— Сразу видно, господин Шико,— сказал паж,— что вы привыкли жить при французском дворе. Вы так обходительны, что вам ни в чем не откажешь. Хорошо, ступайте, только, пожалуйста, не шумите.

Шико как тень выскользнул в коридор, из коридора на лестницу. Но, дойдя до прихожей, он нашел там офицера дворцовой стражи, который спал на стуле, заслоняя собою дверь. О том, чтобы выйти из дворца, нечего было и думать.

— Ну и негодник этот паж! — прошептал Шико.— Он все знал, но не сказал мне ни слова.

Шико осмотрелся, нет ли какого отверстия, через которое он мог бы выбраться наружу.

Наконец он заметил то, что искал. Это было одно из тех сводчатых окон, которые называются импостами. Оно оставалось открытым, то ли для доступа свежего воздуха, то ли потому, что король Наваррский, хозяин не слишком рачительный, не позаботился вставить стекло.

Но импост был непомерно узок. Поэтому, когда Шико просунул в него голову и одно плечо, он повис между небом и землей, не имея возможности податься ни вперед, ни назад.

Положение усугублялось еще тем, что рукоять шпаги никак не проходила. Шико собрал все свои силы, проявил всю свою ловкость и под конец запустил руку за спину и вытащил шпагу из ножен. Шпага первая упала за окно, она зазвенела на каменных плитах, извиваясь, словно угорь. Шико проскользнул в окошко и последовал за шпагой; чтобы ослабить силу удара, он при падении уперся в землю.

Поднявшись на ноги, Шико очутился лицом к лицу с каким-то солдатом.

— Боже мой, уж не расшиблись ли вы, господин Шико? — спросил тот.

Тронутый вниманием этого человека, Шико ответил:

— Нет, друг мой, нисколько.

— Какое счастье,— сказал солдат.— Пари держу, никто другой не выкинул бы подобной штуки, не раскроив себе черепа, господин Шико.

— Но откуда, черт побери, ты знаешь мое имя? — удивился Шико.

— Я видел вас сегодня во дворце и даже спросил: «Кто этот вельможа, который беседует с королем?» Мне ответили: «Это господин Шико».

— Очень любезно с твоей стороны,— сказал Шико,— но я очень тороплюсь, друг мой, и, с твоего позволения...

— Но из дворца ночью запрещено выходить.

— Сам видишь, что я вышел.

— Но вы возвратитесь обратно, господин Шико.

— Ну нет!

— Будь я не солдат, а офицер, я спросил бы вас, почему вы вышли таким путем, но это не мое дело. Мое дело — вернуть вас обратно. А потому возвращайтесь, господин Шико, прошу вас.

Солдат произнес эту просьбу так выразительно, что

Шико был тронут. Он порылся в кармане и извлек оттуда десять пистолей.

— Ты, друг мой, верно, понимаешь, что раз мое платье пострадало оттого, что я вылез в окно, ему придется еще хуже, если я полезу обратно. Поэтому пропусти меня, друг мой, дай мне сходить к портному.

Он сунул ему в руку десять пистолей.

— В таком случае проходите скорей, господин Шико.— И солдат положил деньги в карман.

Шико очутился на улице и, оглядевшись, нашел нужное направление.

Ночь, лунная и безоблачная, не слишком способствовала побегу. Шико пожалел о туманах Франции, благодаря которым ночью в Париже прохожие на расстоянии четырех шагов не различают друг друга. Вдобавок его подбитые гвоздями сапоги звенели на булыжниках мостовой, как лошадиные подковы.

Злополучный посол не успел завернуть за угол, как ему повстречался патруль.

— Добрый вечер, господин Шико,— сказал командир патруля, в знак приветствия сделав шпагой на караул.— Не разрешите ли проводить вас до дворца? У вас такой вид, словно вы заблудились.

— Оказывается, здесь меня все знают? — прошептал Шико.— Как это странно, черт возьми! — Затем он произнес вслух самым непринужденным тоном: — Вы ошибаетесь, сударь, я направляюсь не во дворец.

— Напрасно, господин Шико,— внушительно заметил офицер.

— А почему, сударь мой?

— Потому что строжайший указ запрещает жителям Нерака выходить по ночам без особого разрешения и без фонаря.

— Извините, сударь,— сказал Шико,— но на меня этот указ распространиться не может: я не житель Нерака.

— Да, но сейчас-то вы находитесь в Нераке... Житель — означает не гражданин такого-то города, а человек, живущий в нем. Вы же не станете отрицать, что живете в Нераке, раз я встречаю вас на улицах Нерака.

— Вы, сударь, рассуждаете логично. Но я, к сожалению, тороплюсь. Допустите же небольшое нарушение правил и дайте мне пройти.

— Да вы заблудитесь, господин Шико! Без проводников вам не обойтись. Разрешите троим из моих людей проводить вас до дворца.

— Но я же сказал, что вовсе не иду во дворец.

— Куда же, в таком случае?

— По ночам у меня бессонница, и я гуляю. Нерак — очаровательный город, полный, как мне показалось, всяких неожиданностей. Я хочу осмотреть его, ознакомиться с ним.

— Вас проведут куда вам будет угодно, господин Шико... Эй, ребята, кто пойдет?

— Умоляю вас, сударь, не лишайте меня всей прелести прогулки: я люблю ходить один.

— Вас, чего доброго, убьют грабители.

— Я при шпаге.

— Да, правда, а я и не заметил. Тогда вас задержит прево за то, что вы вооружены.

Шико отвел офицера в сторону.

— Послушайте, сударь,— сказал он,— вы молоды, привлекательны, вы знаете, что такое любовь.

— Разумеется, господин Шико, разумеется.

— Так вот, любовь сжигает меня, и я спешу на свидание.

— Поздравляю вас, господин Шико.

— Так, значит, вы меня пропустите?

— Проходите.

— Но один, не так ли? Вы понимаете, не могу же я скомпрометировать даму...

— Ну конечно!.. Проходите, господин Шико, проходите.

— Вы любезнейший человек, господин офицер. Но откуда вы меня знаете?

— Я вас видел во дворце, в обществе короля.

«Вот что значит маленький город! — подумал Шико.— Если бы меня так же хорошо знали в Париже, мою шкуру уже не раз продырявили бы!»

И Шико весело устремился вперед.

Но не успел он сделать и ста шагов, как столкнулся нос к носу с ночным дозором.

— Прохода нет! — раздался громовой голос прево.

— Но, сударь,— возразил Шико,— я хотел бы...

— Как, господин Шико, это вы?! Почему вы разгуливаете по городу, да еще в такую холодную ночь? — спросил прево.

«Ну это просто сговор какой-то»,— подумал крайне встревоженный королевский посол.

Он поклонился и вознамерился продолжать путь.

— Вы ошиблись, дорогой, вы идете по направлению к воротам,— сказал прево.

— Мне туда и надо.

— Тогда я должен вас задержать.

— Подойдите поближе, господин прево, чтобы ваши солдаты не расслышали, что я вам скажу.

Прево приблизился.

— Я вас слушаю,— сказал он.

— Король послал меня с поручением к лейтенанту, командующему постом у Ажанских ворот.

— Вот как? — с удивлением спросил прево.

— Это не должно бы удивлять вас, раз вы меня знаете.

— Я вас знаю, ибо видел, как вы беседовали во дворце с королем.

Шико топнул ногой, он начинал раздражаться.

— В таком случае, вы должны были убедиться, какое доверие питает ко мне его величество.

— Конечно, конечно, идите, выполняйте поручение его величества, я вас больше не задерживаю.

«Забавно,— подумал Шико,— на пути у меня встречаются всевозможные препятствия, но я все же иду дальше. Черти полосатые! Вот и ворота, верно, Ажанские: через пять минут я буду за пределами города».

Он подошел к воротам, возле которых расхаживал часовой с мушкетом на плече.

— Друг мой,— сказал Шико,— прикажите, пожалуйста, чтобы мне отворили ворота.

— Я не могу приказывать, господин Шико,— чрезвычайно любезно ответил часовой,— я ведь простой солдат.

— И ты меня знаешь! — вскричал Шико, доведенный до белого каления.

— Имею честь, господин Шико: сегодня я дежурил во дворце и видел, как вы беседовали с королем.

— Так вот, друг мой, король посылает меня с весьма срочным поручением в Ажан. Выпусти меня хотя бы потайным ходом.

— С величайшим удовольствием, господин Шико, но ключей у меня нет. Они у дежурного офицера.

Солдат потянул за звонок и разбудил офицера, уснувшего в помещении поста.

— Что случилось? — спросил тот, просовывая голову в окошко.

— Господин лейтенант, этот господин желает, чтобы его выпустили за ворота.

— Ах, господин Шико,— вскричал офицер,— простите, что мы заставляем вас ждать! Сейчас я спущусь и буду к вашим услугам.

«Да есть ли здесь кто-нибудь, кто бы меня не знал! — в ярости подумал Шико.— Этот Нерак — стеклянный фонарь, а я в нем — свечка!»

В дверях караулки появился офицер.

— Извините, господин Шико,— сказал он,— но я уснул.

— Помилуйте, сударь,— возразил Шико,— на то и ночь! Будьте так добры, прикажите открыть мне ворота. Король... Да вам, наверно, тоже известно, что король меня знает?

— Я видел сегодня во дворце вас, как вы беседовали с его величеством.

— Так вот, король велел мне отправиться с поручением в Ажан. А эти ворота ведь Ажанские, не правда ли?

— Да, господин Шико.

— Прикажите же, чтобы мне их отворили, прошу вас.

— Слушаюсь, господин Шико!.. Атенас, Атенас, отворите ворота господину Шико, да поживей!

Шико вздохнул, словно пловец, вынырнувший из воды.

Ворота заскрипели — то были ворота Эдема для бедняги Шико, уже предвкушавшего за ними блаженную свободу.

Он дружески распрощался с офицером и направился к воротам.

— Какой же я безмозглый! — крикнул вдруг офицер, нагоняя Шико и хватая его за рукав.— Я забыл, дорогой господин Шико, спросить у вас пропуск.

— Какой пропуск?

— Вы человек военный, господин Шико, и хорошо знаете, что такое пропуск, не так ли? Вы же понимаете, что из такого города, как Нерак, не выходят без пропуска.

— А кем он должен быть подписан?

— Самим королем. Если вас послал король, он уж наверно не забыл дать вам пропуск.

— Вы, значит, сомневаетесь в том, что меня послал король? — спросил Шико. Гнев пробуждал в нем недобрые

мысли — заколоть офицера, привратника и бежать через раскрытые уже ворота, не посчитавшись с тем, что вдогонку ему пошлют сотню выстрелов.

— Я ни в чем не сомневаюсь, господин Шико, но раз король дал вам поручение...

— Собственнолично, сударь!

— Мне придется, следовательно, предъявить утром пропуск господину губернатору.

— А кто здесь губернатор? — спросил Шико.

— Господин де Морне, который шутить не любит, господин Шико. И если я не выполню данного мне приказа, он просто-напросто велит меня расстрелять.

Шико начал было с недоброй улыбкой поглаживать рукоять шпаги, но, обернувшись, заметил, что в воротах остановился отряд, несомненно находившийся тут для того, чтобы помешать ему уйти, даже если бы он убил офицера, часового и привратника.

Он пошел той же дорогой обратно, но мучения его на этом не кончились.

Он встретил прево, который сказал ему:

— Ого, господин Шико, вы уже выполнили королевское поручение? Чудеса!

Дальше за углом его схватил за руку офицер со словами:

— Добрый вечер, господин Шико! Как та дама, о которой вы говорили?.. Довольны вы Нераком, господин Шико?

Наконец, часовой, стоявший на том же месте у стены дворца, пустил в него последний заряд:

— Клянусь богом, господин Шико, портной плохо починил вам одежду: вы, прости господи, еще оборваннее, чем раньше.

Шико на этот раз не пожелал лезть в окно. Он уселся подле двери и сделал вид, что заснул. Но случайно или, вернее, из милосердия дверь приоткрыли, и Шико вернулся во дворец.

Его смущенный вид тронул пажа, все еще находившегося на своем посту.

— Дорогой господин Шико,— сказал он ему,— хотите, я открою вам, в чем тут секрет?

— Открой, змееныш, открой,— прошептал Шико.

— Ну так знайте: король вас так полюбил, что не пожелал с вами расстаться.

— Ты это знал, разбойник, и не предупредил меня!

— О, господин Шико, разве я мог? Это же государственная тайна.

— Но я тебе заплатил, негодник!

— Тайна-то, наверно, стоила дороже десяти пистолей, согласитесь сами, дорогой господин Шико.

Шико вошел в свою комнату и со злости уснул.

XXI. Обер-егермейстер короля Наваррского

Генрих, не имевший тех оснований спокойно спать, какие были у Шико, вовсе не сомкнул глаз. Проработав около часу с Морне и отдав необходимые распоряжения насчет охоты, он поднялся к Шико, улыбаясь свойственной ему насмешливой улыбкой.

Король приказал отпереть дверь и, подойдя к постели, принялся расталкивать спящего, приговаривая:

— Эй, эй, куманек, вставай, уже два часа утра!

— Черт возьми! — пробурчал Шико.— Государь, вы зовете меня кумом, уж не принимаете ли вы меня за герцога де Гиза?

В самом деле, говоря о герцоге Гизе, Генрих обычно называл его кумом.

— Я принимаю тебя за своего друга,— ответил король.

— И меня, посла, вы держите в плену! Государь, вы попираете принципы международного права!

Генрих рассмеялся. Шико, человек остроумный, не мог не посмеяться вместе с ним.

— Ты и впрямь сумасшедший! Какого дьявола ты хотел удрать отсюда? Разве с тобой плохо обходятся?

— Слишком хорошо, тысяча чертей! Я чувствую себя, словно гусь, которого откармливают в птичнике. Но мне подрезали крылья, передо мной запирают двери.

— Шико, сыночек,— сказал Генрих, качая головой,— ты недостаточно жирен для моего стола!

— Эге-ге! Вижу, государь, вы очень уж веселы нынче,— молвил Шико, приподымаясь.— Вы получили хорошие вести?

— Ведь я еду на охоту, а когда мне предстоит охотиться, я всегда бываю весел. Ну, вставай, вставай, куманек!

— Как, государь! Вы берете меня с собой?

— Ты будешь моим летописцем, Шико!

— Я буду вести счет выстрелам?

— Вот именно!

Шико покачал головой.

— Что это на тебя нашло? — спросил король.

— Такая веселость всегда внушает мне опасения.

— Полно!

— Да, это как солнце: когда оно...

— То, стало быть...

— Стало быть, дождь, гром и молния не за горами.

С улыбкой поглаживая бороду, Генрих ответил:

— Если будет гроза, Шико, плащ у меня широкий, я тебя укрою.

С этими словами он направился в прихожую, а Шико начал одеваться, что-то бормоча себе под нос.

— Подать мне коня,— вскричал король,— и сказать господину де Морне, что я готов!

— Вот оно что! Господин де Морне — обер-егермейстер этой охоты? — спросил Шико.

— Господин де Морне — у нас все, Шико,— объяснил Генрих.— Король Наваррский так беден, что делить придворные должности ему не по карману. У меня один человек на все дела!

XXII. О том, как в Наварре охотились на волков

Бросив беглый взгляд на приготовления к отъезду, Шико вполголоса сказал себе, что охота короля Генриха Наваррского отнюдь не отличается той пышностью, какою славились охоты короля Генриха Французского.

Вся свита его величества состояла из двенадцати — пятнадцати придворных, среди которых Шико увидел и виконта де Тюренна.

Почти все эти господа явились не в охотничьих костюмах, а в шлемах и латах, что побудило Шико спросить, не обзавелись ли гасконские волки мушкетами и артиллерией.

Генрих услыхал этот вопрос, хотя и обращенный не прямо к нему; подойдя к Шико, он коснулся его плеча и сказал:

— Нет, сынок, гасконские волки не обзавелись ни артиллерией, ни мушкетами; однако это опасные звери, у них острые зубы и когти, и они завлекают охотников в такие дебри, где легко разодрать одежду, латы же всегда останутся целехоньки.

— Это, конечно, объяснение,— проворчал Шико,— но не очень убедительное.

— Что поделаешь,— сказал Генрих,— другого у меня нет.

— Пусть так!

— В этом «пусть так» звучит скрытое порицание,— заметил, смеясь, Генрих.— Ты сердишься на меня за то, что я тебя растормошил, чтобы взять с собой на охоту?

— Правду сказать, да.

— И ты отпускаешь остроты?

— Разве это запрещено?

— Нет, нет, дружище, в Гаскони острословие — ходячая монета.

— Понимаете, государь, я же не охотник,— ответил Шико,— а вы усы облизываете, учуяв запах несчастных волков, которых все вы, сколько вас тут есть, двенадцать или пятнадцать, дружно травите!

— Так, так! — воскликнул король, снова расхохотавшись после этого язвительного выпада.— Сперва ты высмеял нашу одежду, а теперь — нашу малочисленность. Потешайся, потешайся, любезный друг Шико!

— О! Государь!

— Согласись, однако, сын мой, что ты недостаточно снисходителен. Беарн не так обширен, как Франция; там короля всегда сопровождают двести ловчих, а у меня их нет, как видишь, всего-навсего двенадцать. Но слушай,— продолжал Генрих.— Здесь поместные дворяне, узнав, что я выехал на охоту, покидают свои дома, замки и присоединяются ко мне — таким образом у меня иногда получается довольно внушительная свита.

Охотники миновали городские ворота, оставили Нерак далеко позади и уже с полчаса скакали по большой дороге, как вдруг Генрих, заслонив глаза рукой, сказал Шико:

— Погляди, да погляди же! Мне кажется, я не ошибаюсь...

— Что там такое? — спросил Шико.

— Видишь, вон там, у заставы местечка Муарас, сдается мне, скачут всадники.

Шико привстал на стременах.

— Право слово, ваше величество, похоже, что так.

— А я в этом уверен.

— Да, это всадники,— подтвердил Шико, всматриваясь,— но никак не охотники.

— Почему ты так решил?

— Потому что они вооружены, как Роланды[1] и Амадисы,— ответил Шико.

— Дело не в обличье, любезный Шико; ты, наверно, уже приметил, глядя на нас, что об охотнике не следует судить по платью.

— Эге! — воскликнул Шико.— Да, я там вижу по меньшей мере две сотни всадников!

— Ну и что же из этого, сын мой? Просто Муарас выставляет мне много людей.

Шико чувствовал, что его любопытство разгорается все сильнее.

Отряд, численность которого Шико преуменьшил в своих предположениях, состоял из двухсот пятидесяти всадников, которые безмолвно присоединились к королевской свите; у них были хорошие кони, добротное оружие, и командовал ими человек весьма благообразный, который с учтивым и преданным видом поцеловал Генриху руку.

Жер перешли вброд; в ложбине, между рекой Жер и Гаронной, оказался второй отряд, насчитывавший около сотни всадников.

Продолжая путь, достигли Гаронны и стали переходить ее, но Гаронна намного глубже Жера — неподалеку от противоположного берега дно ушло из-под ног лошадей, и переправу пришлось завершить вплавь; все же, вопреки ожиданию, благополучно добрались до берега.

— Боже правый! — воскликнул Шико.— Что за странные учения устраивает ваше величество! Ведь есть у вас мосты и выше и ниже Ажана.

— Друг мой Шико,— сказал в ответ Генрих,— мы ведь дикари, поэтому нам многое простительно; ты отлично знаешь, что мой брат, покойный король Карл, называл

[1] Роланд — французский легендарный герой эпохи средневековья.

меня своим кабаном, а кабан всегда идет напролом. Вот я и подражаю ему, раз я ношу эту кличку. Если путь мне преграждает река, я переплываю ее; если передо мной встает город — гром и молния! — я его проглатываю, словно пирожок!

Эта шутка Беарнца вызвала дружный хохот.

Один только господин де Морне, все время ехавший рядом с королем, не рассмеялся, а лишь закусил губу, что у него было признаком необычайной веселости.

После переправы через Гаронну, приблизительно в полулье от реки, Шико заметил сотни три всадников, укрывавшихся в сосновом лесу.

— Ого-го!.. Ваше величество,— тихонько сказал он Генриху,— уж не завистники ли это, намеренные помешать вашей охоте?

— Отнюдь нет,— ответил Генрих,— ты снова ошибся, сынок, это друзья, выехавшие навстречу нам из Пюимироля.

— Тысяча чертей! Государь, в вашей свите скоро будет больше людей, чем деревьев в лесу!

— Шико, дитя мое,— молвил Генрих,— я думаю — да простит мне бог! — что весть о твоем прибытии успела разнестись повсюду и что люди сбегаются со всех концов страны, желая почтить в твоем лице короля Франции, послом которого ты являешься.

Шико, человек сметливый, прекрасно понял, что с некоторых пор над ним насмехаются. Это не рассердило его, но заставило быть настороже...

День закончился в Монруа, где местные дворяне, собравшиеся в таком множестве, словно их заранее предупредили о том, что король Наваррский проездом посетит их город, предложили ему роскошный ужин, в котором Шико с восторгом принял участие.

Генриху отвели лучший дом в городе; половина свиты расположилась на той улице, где ночевал король, другая половина — в поле за городскими воротами.

— Когда же мы начнем охотиться? — спросил Шико у Генриха в ту минуту, когда слуга снимал с короля сапоги.

— Мы еще не прибыли в лес, где водятся волки, любезный Шико,— ответил Генрих.

— А когда мы туда попадем, государь?

— Любопытствуешь?

— Нет, государь, но, сами понимаете, хочется знать, куда направляешься.

— Завтра узнаешь, сынок, а покамест ложись сюда, на эти подушки, слева от меня; Морне уже храпит справа, слышишь?

— Черт возьми! — воскликнул Шико.— Он и во сне более красноречив, чем наяву.

— Верно,— согласился Генрих.— Морне не болтлив; но его надо видеть на охоте!

День едва занялся, когда топот множества коней разбудил и Шико и короля Наваррского.

Старый дворянин, пожелавший самолично прислуживать королю за столом, принес Генриху завтрак — горячее, обильно приправленное пряностями вино и ломти хлеба, намазанные медом. Спутникам короля — Морне и Шико — завтрак подали слуги этого дворянина.

Тотчас после завтрака протрубили сбор.

— Пора, пора,— воскликнул Генрих,— сегодня нам предстоит долгий путь! По коням, господа, по коням!

Шико с изумлением увидел, что королевская свита увеличилась еще на пятьсот человек. Эти пятьсот всадников прибыли ночью.

— Чудеса, да и только! — воскликнул он.— Ваше величество, это уже не свита и даже не отряд, а целое войско!

В Лозерте к коннице присоединились шестьсот пехотинцев.

— Пехота! — вскричал Шико.

— Всего-навсего загонщики,— пояснил король.

Шико насупился и с этой минуты хранил упорное молчание. Раз двадцать устремлял он взгляд на поля — иными словами, раз двадцать у него мелькала мысль о побеге. Но, по-видимому, было приказано охранять Шико как посла Генриха III, вследствие чего каждое его движение сразу повторяло несколько человек.

Это не понравилось Шико, и он выразил королю свое недовольство.

— Что ж,— ответил Генрих,— пеняй на себя, сынок; ты хотел бежать из Нерака, и я боюсь, как бы на тебя опять не нашла эта блажь.

— Даю вам честное слово дворянина, государь, что не попытаюсь бежать,— сказал Шико,— потому что, сдается мне, я увижу здесь кое-что любопытное.

— Ну что ж! Я очень рад, что таково твое мнение, любезный мой Шико, потому что я тоже придерживаюсь его.

Во время этого разговора они проезжали по городу Монкюк, и к войску прибавилось четыре полевые пушки.

— Видно, здешние волки совсем особенные, государь,— заметил Шико,— против них выставляют даже артиллерию!

— А! Ты это заметил? — воскликнул Генрих.— Такая у жителей Монкюка причуда! С тех пор как я им подарил для учений эти четыре пушки, купленные в Испании по моему приказу и тайком вывезенные оттуда, они всюду таскают их за собой.

— Но все-таки, государь,— негромко спросил Шико,— когда мы прибудем на место? Сегодня?

— Нет. Завтра.

— Стало быть,— не унимался Шико,— мы будем охотиться вблизи Кагора?

— Да, в тех местах,— ответил король.

— Как же так, государь? Вы взяли с собой, чтобы охотиться на волков, пехоту, конницу и артиллерию, а королевское знамя не захватили? Вот тогда этим достойным зверям был бы оказан полный почет!

— Гром и молния! Знамя не забыли, Шико,— мыслимое ли это дело! Только его держат в чехле, чтобы не запачкать! Ты увидишь его в свое время и на своем месте.

Вторую ночь провели в Катюсе. После того как Шико дал слово, что не попытается бежать, за ним перестали следить.

Шико прогулялся по городу и дошел до передовых постов. Со всех сторон к войску короля Наваррского стекались отряды численностью в сто, полтораста, двести пятьдесят человек. В ту ночь отовсюду прибывала пехота.

«Какое счастье, что мы не держим путь в Париж,— подумал Шико,— туда мы явились бы со стотысячной армией!»

Наутро, в восемь часов, Генрих и его войско — тысяча пехотинцев и две тысячи конников — были в виду Кагора. Город оказался готовым к обороне. Дозорные успели поднять тревогу, и господин де Везен заранее принял меры предосторожности.

— А! Вот оно что! — воскликнул король, когда Морне сообщил ему эту новость.— Нас опередили! Какая досада!

— Придется вести осаду по всем правилам, ваше величество,— сказал Морне.— Мы ждем еще тысячи две людей; этого достаточно, чтобы уравновесить силы.

— Соберем совет,— предложил де Тюренн.

Шико внимательно наблюдал за всем и прислушивался к разговорам. Задумчивое, словно пришибленное выражение лица короля Наваррского подтверждало его подозрение, что Генрих неважный полководец, и только эта мысль придавала ему некоторую бодрость.

Генрих дал высказаться всем командирам, а сам между тем оставался нем как рыба.

Внезапно он очнулся от раздумья, поднял голову и повелительно сказал:

— Вот что нужно сделать, господа. У нас три тысячи человек, и, по вашим словам, Морне, вы ждете еще две тысячи?

— Да, государь.

— Это составит пять тысяч; при правильной осаде у нас за два месяца перебьют тысячи полторы; их гибель внесет уныние в ряды уцелевших; нам придется снять осаду и отступить, а отступая, мы потеряем еще тысячу, то есть, в общей сложности, половину наших сил. Так вот, пожертвуем немедленно пятьюстами солдатами и возьмем Кагор.

— Каким образом, ваше величество? — спросил де Морне.

— Любезный друг, мы направимся к ближайшим воротам; на пути нам встретится ров; мы заполним его фашинами; мы потеряем человек двести убитыми и ранеными, но пробьемся к воротам.

— Что дальше, ваше величество?

— Пробившись к воротам, мы взорвем их петардами и займем город. Не так уж это трудно.

Шико в ужасе глядел на Генриха.

— Да,— проворчал он,— вот уж истый гасконец — и труслив и хвастлив!

В ту же минуту, словно в ответ на тихое брюзжание Шико, Генрих прибавил:

— Не будем терять времени понапрасну, господа! Вперед! Кто меня любит, за мной!

XXIII. О том, как вел себя король Генрих Наваррский, когда впервые пошел в бой

Небольшое войско Генриха подошло к городу на расстояние двух пушечных выстрелов; затем расположились отдыхать.

В три часа пополудни, то есть когда до сумерек оставалось каких-нибудь два часа, король призвал всех командиров в свою палатку.

Генрих был очень бледен, руки у него сильно дрожали.

— Господа,— сказал он,— мы пришли сюда, чтобы взять Кагор, но взять его мы должны силой. Слышите? Силой!.. Маршал де Бирон, поклявшийся перевешать гугенотов всех до единого, стоит со своим войском в сорока пяти лье отсюда. По всей вероятности, господин де Везен уже послал к нему гонца. Через четыре-пять дней маршал окажется у нас в тылу с десятью тысячами солдат; мы будем зажаты в клещи. Стало быть, нам необходимо взять Кагор, прежде чем придет подкрепление. Итак, вперед, вперед, господа! Я возглавляю вас, рубите не щадя сил, черт возьми! Пусть удары сыплются градом!

Вот и вся королевская речь; но, по-видимому, этих немногих слов было достаточно — солдаты ответили на них восторженным гулом, командиры — неистовыми криками «Браво!».

«Краснобай! Всегда и во всем гасконец! — подумал Шико.— Увидим, каков он в деле!»

Под начальством де Морне небольшое войско выступило, чтобы разместиться на позициях.

В ту же минуту король подошел к Шико и сказал ему:

— Прости меня: я тебя обманывал, говоря об охоте, волках и прочей ерунде; но я не мог поступить иначе. Король Генрих Французский положительно не склонен передать мне владения, составляющие приданое его сестры Марго, а Марго с криком и плачем требует любимый свой город Кагор. Если хочешь спокойствия в доме, надо делать то, чего требует жена; вот почему, любезный мой Шико, я хочу попытаться взять Кагор!

— Что же она не попросила у вас луну, государь, раз вы такой покладистый муж? — спросил Шико, задетый за живое королевскими шутками.

— Я постарался бы достать и луну, Шико,— ответил Беарнец,— я так люблю ее, милую мою Марго!

— Ладно уж! С вас вполне хватит Кагора; посмотрим, как вы с ним справитесь.

— Ага! Вот об этом-то я и хотел поговорить; послушай, Шико, дружище, не насмехайся чрезмерно над несчастным Беарнцем, твоим соотечественником и другом; если я струхну и ты это заметишь — не проболтайся!

— Значит, вы боитесь, что струхнете?

— Разумеется.

— Но тогда — гром и молния! — какого черта вы впутываетесь во все эти передряги?

— Что поделаешь, раз это нужно!

— Господин де Везен — страшный человек! Он никого не пощадит.

— Ты думаешь, Шико?

— Уверен в этом: белые ли перед ним перья, красные ли, он все равно крикнет пушкарям: «Огонь!»

— Ты имеешь в виду мой белый султан, Шико?

— Да, государь, ни у кого, кроме вас, нет такого султана.

— Ну и что же?

— Я бы посоветовал вам снять его, государь.

— Но, друг мой, я ведь надел его, чтобы меня узнавали...

— Значит, государь, вы, презрев мой совет, не снимете его?

— Не сниму.

Произнося эти два слова, выражавшие непоколебимую решимость, Генрих дрожал еще сильнее, чем когда говорил речь командирам.

— Послушайте, ваше величество,— сказал Шико, совершенно сбитый с толку несоответствием между словами короля и всем его поведением,— время еще не ушло! Не действуйте безрассудно, вы не можете сесть на коня в таком состоянии!

— Стало быть, я очень бледен, Шико? — спросил Генрих.

— Бледны как смерть, государь.

— Отлично! — воскликнул король.

— Как так отлично?

— Да уж я-то знаю!

В эту минуту прогремел пушечный выстрел, сопровождаемый неистовой пальбой из мушкетов,— так господин де Везен ответил на требование сдать крепость, которое ему предъявил Дюплесси-Морне.

— Что вы скажете об этой музыке? — спросил Шико.

— Скажу, что она леденит мне кровь,— ответил Генрих.— Эй! Коня мне! Коня! — крикнул он срывающимся голосом.

Шико смотрел на Генриха и слушал его, ничего не понимая. Генрих хотел сесть в седло, но это удалось ему не сразу.

— Эй, Шико,— сказал Беарнец,— садись и ты на коня; ты ведь тоже не военный человек, верно?

— Верно, ваше величество.

— Едем, Шико, давай бояться вместе! Едем туда, где бой, дружище!.. Эй, хорошего коня господину Шико!

Шико пожал плечами и, глазом не моргнув, сел на прекрасного испанского коня, которого ему тотчас же подвели. Генрих пустил своего коня в галоп; Шико поскакал за ним следом. Доехав до передовой линии, Генрих поднял забрало.

— Знамя! Новое знамя! — крикнул он с дрожью в голосе.

Сбросили чехол, и новое знамя с двумя гербами — Наварры и Бурбонов — величественно развернулось в воздухе; оно было белое: на одной стороне на голубом поле красовались золотые цепи, на другой — золотые лилии с геральдической перевязью в форме сердца.

«Боюсь,— размышлял Шико,— что боевое крещение этого знамени будет весьма печальным».

В ту же секунду, словно отвечая на его мысль, крепостные пушки дали такой залп, который вывел из строя целую шеренгу пехоты в десяти шагах от короля.

— Гром и молния! — воскликнул Генрих.— Ты видишь, Шико? Похоже, что дело нешуточное! — Зубы у него отбивали дробь.

«Ему вот-вот станет дурно»,— подумал Шико.

— А! Ты боишься, проклятое тело,— бормотал Генрих,— ты трясешься, дрожишь; погоди же, погоди! Уж раз ты дрожишь, пусть это будет не зря!

И, яростно пришпорив своего белого скакуна, он обогнал конницу, пехоту, артиллерию и очутился в ста шагах от крепости, весь багровый от вспышек пламени.

Он придержал коня и крикнул:

— Подать фашины! Гром и молния! Фашины!

Морне с поднятым забралом, со шпагой в руке присоединился к нему.

Шико тоже надел кирасу, но шпагу из ножен не вынул.

Воодушевясь его примером, уже мчались вперед юные дворяне-гугеноты с кличем: «Да здравствует Наварра!»

Во главе этого отряда ехал виконт де Тюренн; на шее его лошади лежала фашина.

Каждый всадник, подъезжая, сбрасывал свою фашину; в мгновение ока ров под подъемным мостом был заполнен.

Тогда ринулись вперед артиллеристы; теряя по тридцать человек из сорока, они все же ухитрились заложить под ворота петарды.

Картечь и пули огненным смерчем бушевали вокруг Генриха и косили людей у него на глазах.

Восклицая: «Вперед! Вперед!» — он очутился на краю рва в ту минуту, когда взорвалась первая петарда.

Ворота дали две трещины. Артиллеристы зажгли вторую петарду.

Образовалась еще одна трещина; но тотчас во все три бреши просунулось десятка два аркебузов, и пули градом посыпались на солдат и офицеров.

Люди падали вокруг короля, как срезанные колосья.

— Государь, ради бога, уйдите отсюда! — повторял Шико, нимало не думая о себе.

Морне не говорил ни слова; он гордился своим учеником и время от времени пытался заслонить его собою, но всякий раз Генрих судорожно отстранял его.

Вдруг Генрих почувствовал, что на лбу у него выступила испарина и туман застлал глаза.

— А! Треклятое естество! — вскричал он.— Нет, никто не посмеет сказать, что ты одолело меня!..— Соскочив с коня, он крикнул: — Секиру! Живо секиру! — и принялся мощной рукой сшибать стволы аркебузов, обломки дубовых досок и бронзовые гвозди.

Наконец рухнула одна балка, за ней — створка ворот, затем — кусок стены, и человек сто ворвалось в пролом, дружно крича:

— Наварра! Наварра! Кагор наш! Да здравствует Наварра!

Шико ни на минуту не расставался с королем: он был рядом с ним, когда Генрих одним из первых вбежал в ворота, и видел, как при каждом залпе он вздрагивает и низко опускает голову.

— Гром и молния! — в бешенстве воскликнул Генрих.— Видал ли ты когда-нибудь такого труса, как я, Шико?

В эту минуту солдаты господина де Везена попытались отбить у Генриха и его передового отряда городские ворота и окрестные дома.

Генрих встретил их со шпагой в руке.

Но осажденные оказались сильнее — им удалось отбросить Генриха и его солдат за крепостной ров.

— Гром и молния! — воскликнул король.— Кажется, мое знамя отступает! Раз так, я понесу его сам!

Сделав над собой героическое усилие, он вырвал знамя из рук знаменосца, высоко поднял его и, наполовину скрытый его развевающимися складками, первым снова ворвался в крепость, приговаривая:

— Бойся! Дрожи теперь, трус!

Тюренн, Морне и множество других вслед за королем ринулись в открытые ворота.

Пушкам пришлось замолчать; теперь нужно было сражаться лицом к лицу, врукопашную.

Покрывая своим властным голосом грохот оружия, трескотню выстрелов, лязг железа, де Везен кричал:

— Баррикадируйте улицы! Копайте рвы! Укрепляйте дома!

— Да ведь город взят, бедняга Везен! — воскликнул де Тюренн, находившийся неподалеку.

И, как бы в подкрепление своих слов, он выстрелом из пистолета ранил де Везена в руку.

— Ошибаешься, Тюренн, ошибаешься,— ответил де Везен,— потребуется двадцать штурмов, чтобы взять Кагор!

Господин де Везен защищался пять дней и пять ночей, стойко обороняя каждую улицу, каждый дом.

К великому счастью для восходящей звезды Генриха Наваррского, де Везен, чрезмерно полагаясь на крепкие стены и гарнизон Кагора, не счел нужным известить господина де Бирона.

Пять дней и пять ночей подряд Генрих командовал как полководец и дрался как солдат.

На пятую ночь враг, вконец изму́ченный, вынужден был дать протестантской армии передышку. Воспользовавшись этим, Генрих атаковал кагорцев и взял приступом последнее укрепление. Почти все его доблестные командиры получили ранения: де Тюренну пуля угодила в плечо; де Морне едва не был убит камнем, брошенным ему в голову.

Один лишь король остался невредим; страх, который он так геройски преодолел, сменился лихорадочным возбуждением, почти безрассудной отвагой, он разил так мощно, что не наносил противникам ран, а убивал их.

Когда последнее укрепление было взято, король в сопровождении неизменного Шико въехал во внутренний двор крепости; мрачный, молчаливый Шико с отчаянием наблюдал, как рядом с ними вырастает грозный призрак новой монархии, которой суждено задушить монархию Валуа.

— Ну как? Что ты об этом думаешь? — спросил король, приподымая забрало и глядя на Шико так проницательно, словно он читал в душе злополучного посла.

— Я думаю, государь, что вы — настоящий король! — с грустью промолвил Шико.

В ту же минуту короля окружил десяток стрелков из личного отряда губернатора.

Лошадь Генриха была убита под ним, лошади господина де Морне пуля перебила ногу.

Король упал; тотчас на него был направлен десяток шпаг.

Один только Шико удержался в седле; он мгновенно соскочил с коня, загородил собою Генриха и принялся вращать шпагой с такой быстротой, что нападавшие попятились.

Затем он помог встать королю, запутавшемуся в сбруе, подвел ему своего коня и сказал:

— Ваше величество, вы засвидетельствуете королю Франции, что если я и обнажил шпагу против него, то все же никого не ранил.

Генрих обнял Шико и со слезами на глазах поцеловал.

— Гром и молния! — воскликнул он.— Ты будешь жить со мной и умрешь со мной, Шико, согласен? Служить мне хорошо, у меня доброе сердце!

— Ваше величество,— ответил Шико,— я могу служить только одному человеку — моему государю. Увы! Сияние, которым он окружен, меркнет, но я буду верен ему в несчастье. Не пытайтесь отнять у него последнего слугу!

— Шико,— проговорил Генрих,— я запомню ваше обещание, слышите? Вы мне дороги, вы для меня неприкосновенны, и после Генриха Французского лучшим вашим другом будет Генрих Наваррский.

— Да, ваше величество,— бесхитростно сказал Шико, почтительно целуя руку короля.

— Теперь вы видите, друг мой,— продолжал король,— что Кагор наш, я скорее дам перебить все свое войско, нежели отступлю.

Угроза оказалась излишней, Генриху не пришлось продолжать борьбу. Под предводительством де Тюренна его войска окружили гарнизон; господин де Везен был взят в плен.

Город сдался.

Генрих привел Шико в обгорелый, изрешеченный пулями дом, где находилась главная квартира, и там продиктовал господину де Морне письмо, которое Шико должен был отвезти королю французскому.

Письмо было написано на плохом латинском языке и заканчивалось словами:

«Quod mihi dixisti, profuit multum. Cognosco meos devotos, nosce tuos. Chicotus coetera expediet», что, приблизительно, значило: «То, что вы мне сообщили, было весьма полезно для меня. Я знаю тех, кто мне предан, познайте и вы своих слуг. Шико передаст вам остальное».

— А теперь, друг мой, Шико,— сказал Генрих,— поцелуйте меня. Только смотрите не запачкайтесь, ведь я — да простит меня бог! — весь в крови, словно мясник! Вот мое кольцо: возьмите его, я так хочу; а затем — прощайте, Шико, больше я вас не задерживаю. Возвращайтесь поскорее во Францию; ваши рассказы о том, что вы видели, будут иметь успех при дворе.

Шико согласился принять подарок и уехал. Ему потребовалось трое суток, дабы убедить себя, что все это не было сном.

XXIV. О том, что происходило в Лувре в то время, когда Шико вступал в Нерак

Настоятельная необходимость следовать за нашим другом Шико вплоть до завершения его миссии надолго отвлекла нас от Лувра, в чем мы чистосердечно просим извинения у читателя.

Было бы, однако, несправедливо еще дольше оставлять без внимания события, последовавшие за Венсенским заговором.

Король, проявивший такое мужество в опасную минуту, ощутил затем то запоздалое волнение, которое нередко обуревает самые стойкие сердца, после того как опасность миновала. По этой причине он, возвратившись в Лувр, не проронил ни слова и даже забыл поблагодарить бдительных командиров и преданную стражу, помогших ему избегнуть гибели.

Поэтому д'Эпернон, дольше всех остававшийся в королевской спальне, удалился оттуда в прескверном расположении духа.

Увидев, что д'Эпернон прошел мимо него в полном молчании: Луаньяк повернулся к Сорока пяти и сказал:

— Господа, вы больше не нужны королю, идите спать.

В два часа утра все спали в Лувре. Тайна была строго соблюдена. Почтенные жители Парижа даже не подозревали, что в ту ночь королевский престол чуть было не перешел к новой династии.

Господин д'Эпернон тотчас велел снять с себя сапоги и, вместо того чтобы разъезжать по городу с тремя десятками всадников, последовал примеру своего августейшего повелителя и лег спать, никому не сказав ни слова.

Один только Луаньяк, которого даже крушение мира не могло бы отвратить от исполнения обязанностей, обошел караулы швейцарцев и французской стражи, несших службу добросовестно, но без особого рвения.

На другое утро Генрих, пробудившись, выпил в постели четыре чашки крепчайшего бульона вместо двух и велел передать статс-секретарю де Виллекье и д'О, чтобы они явились к нему в опочивальню для составления нового эдикта, касающегося государственных финансов.

Оба государственных мужа тревожно переглядывались.

Король был настолько рассеян, что даже чудовищные налоги, которые они намеревались установить, не вызвали у его величества и тени улыбки.

Зато Генрих все время играл с мастером Ловом, и всякий раз, когда собачка сжимала его изнеженные пальцы своими острыми зубами, приговаривал:

— Ах ты бунтовщик, ты тоже хочешь меня укусить? Ах ты подлая собачонка, ты тоже покушаешься на твоего государя?

Затем Генрих, притворяясь, что для этого нужны такие же усилия, какие потребовались Геркулесу, сыну Алкмены, для укрощения немейского льва, укрощал мнимое чудовище, которое и было-то всего величиной с кулак, с неописуемым удовольствием повторяя:

— А! Ты побежден, мастер Лов, побежден, гнусный лигист, побежден! Побежден! Побежден!..

Это было все, что смогли уловить господа де Виллекье и д'О, два великих дипломата, уверенных, что ни одна тайна человеческая не может быть скрыта от них. За исключением этих речей, обращенных к мастеру Лову, Генрих все время хранил молчание.

Наконец пробило три часа пополудни.

Король потребовал к себе господина д'Эпернона.

Ему ответили, что герцог производит смотр легкой коннице.

Он велел позвать Луаньяка.

Ему ответили, что Луаньяк занят отбором лимузинских лошадей.

Полагали, что король будет раздосадован, но, вопреки ожиданию, он принялся насвистывать охотничью песенку — развлечение, которому он предавался только тогда, когда был вполне доволен собой.

Затем Генрих спросил полдник и приказал, чтобы во время еды ему читали вслух назидательную книгу. Вдруг он прервал чтение вопросом:

— Жизнь Суллы написал Плутарх, не так ли?[1]

Чтец читал книгу духовно-нравственного содержания; когда его прервали вопросом, касавшимся мирских дел, он с удивлением воззрился на короля.

Тот повторил свой вопрос.

[1] Сулла (138—78 гг. до н. э.) — римский полководец. Древнегреческий писатель Плутарх рассказал о жизни Суллы в «Сравнительных жизнеописаниях».

— Да, государь,— ответил чтец.

— Помните ли вы то место, где историк рассказывает, как Сулла избег смерти?

Чтец смутился.

— Не очень хорошо помню, государь,— ответил он,— я давно не перечитывал Плутарха.

В эту минуту доложили о его преосвященстве кардинале де Жуаезе.

— А! Вот кстати,— воскликнул король,— явился ученый человек, наш друг; уж он-то скажет нам это без запинки!

— Государь,— молвил кардинал,— неужели мне посчастливилось прийти кстати?

— Право слово, очень кстати; вы слышали мой вопрос?

— Ваше величество, Сулле, погубившему множество людей, опасность лишиться жизни угрожала только в сражениях.

— Да, припоминаю: в одном из этих сражений он был на волосок от смерти... Прошу вас, кардинал, раскройте Плутарха и прочтите место, где повествуется о том, как благодаря быстроте своего белого коня римлянин Сулла спасся от вражеских дротиков[1].

— Государь, излишне раскрывать Плутарха; это событие произошло во время битвы, которую он дал самниту Телезину и луканцу Лампонию...

— Теперь объясните мне, почему враги никогда не покушались на столь жестокого Суллу? — спросил король после недолгого молчания.

— Ваше величество,— молвил кардинал,— я отвечу вам словами того же Плутарха.

— Отвечайте, Жуаез, отвечайте!

— Карбон, заклятый враг Суллы, зачастую говорил: «Мне приходится одновременно бороться со львом и с лисицей, живущими в сердце Суллы; но лисица доставляет мне больше хлопот».

— И он прав, кардинал,— заявил король,— он прав. Кстати, раз уж речь зашла о битвах, имеете ли вы какие-нибудь вести о вашем брате?

[1] Сражаясь против Телезина, Сулла восседал на белом коне. Он не заметил, как враги направили на него копья, но конюх успел хлестнуть коня и заставил его отскочить как раз настолько, чтобы копья воткнулись в землю.

— О котором из них? Вашему величеству ведь известно, что у меня их четыре!

— Разумеется, о герцоге д'Арке, друг мой...

— Нет еще, государь.

— Только бы герцог Анжуйский, до сих пор так хорошо умевший прикидываться лисицей, сумел бы хоть ненадолго стать львом!

Кардинал ничего не ответил, ибо на сей раз Плутарх ничем не мог ему помочь: многоопытный придворный опасался, как бы его ответ, если он скажет что-нибудь лестное для герцога Анжуйского, не был неприятен королю.

Убедившись, что кардинал намерен молчать, Генрих снова занялся мастером Ловом; затем, сделав кардиналу знак остаться, он встал, облекся в роскошную одежду и прошел в свой кабинет, где его ждал двор.

При дворе, где люди обладают таким же тонким чутьем, как горцы, которые остро ощущают приближение и окончание бурь, настроение соответствовало обстоятельствам.

Обе королевы были, по-видимому, сильно встревожены.

Екатерина, бледная и взволнованная, раскланивалась на все стороны, говорила отрывисто и немногословно.

Луиза де Водемон ни на кого не смотрела и никого не слушала.

Вошел король.

Взгляд у него был живой, на щеках играл румянец; выражение лица, казалось, говорило о хорошем расположении духа, и на хмурых придворных, дожидавшихся королевского выхода, вид Генриха подействовал, как луч осеннего солнца на купу деревьев, листва которых уже пожелтела.

В одно мгновение все стало золотистым, багряным, все засияло.

Король поцеловал руку сначала матери, затем жене. Он наговорил множество комплиментов дамам, уже отвыкшим от такой любезности с его стороны, и даже простер ее до того, что попотчевал их конфетами.

— О вашем здоровье тревожились, сын мой,— сказала Екатерина, пытливо глядя на короля, словно желая увериться, что его румянец — не поддельный, а веселость — не маска.

— И совершенно напрасно, государыня,— отве-

тил король.— Я никогда еще не чувствовал себя так хорошо.

Эти слова сопровождались улыбкой, которая тотчас передалась всем устам.

— И какому благодетельному влиянию, сын мой,— спросила королева-мать, с трудом скрывая свое беспокойство,— вы приписываете улучшение вашего здоровья?

— Тому, что я много смеялся, государыня,— ответил король.

Все переглянулись с таким глубоким изумлением, словно король сказал какую-то нелепость.

— Много смеялись! Вы способны много смеяться, сын мой? — спросила Екатерина с обычным своим суровым видом.— Значит, вы счастливый человек!

— Так оно и есть, государыня.

— И какой же у вас нашелся повод для столь бурной веселости?

— Нужно вам сказать, матушка, что вчера вечером я ездил в Венсенский лес.

— Я это знаю.

— Итак, я поехал в Венсенский лес. На обратном пути дозорные обратили мое внимание на неприятельское войско, мушкеты которого блестели на дороге.

— Где же это?

— Против рыбного пруда монахов, возле дома милой нашей кузины.

— Возле дома госпожи де Монпансье! — воскликнула Луиза де Водемон.

— Совершенно верно, государыня, возле Бель-Эба; я храбро подошел к неприятелю вплотную, чтобы дать сражение, и увидел...

— Боже мой! Продолжайте, государь,— с непритворным испугом воскликнула молодая королева.

Екатерина выжидала в мучительной тревоге, но ни словом, ни жестом не выдавала своих чувств.

— Я увидел,— продолжал король,— множество благочестивых монахов, которые с воинственными возгласами отдавали мне честь своими мушкетами!

Кардинал де Жуаез рассмеялся; весь двор тотчас с превеликим усердием последовал его примеру.

— Смейтесь, смейтесь! — воскликнул король.— Во Франции десять тысяч монахов, из которых я в случае

надобности сделаю десять тысяч мушкетеров; тогда я создам должность великого магистра мушкетеров-постригников его христианнейшего величества и пожалую этим званием вас, кардинал.

— Я согласен, ваше величество; для меня всякая служба хороша, если только она угодна вашему величеству.

Во время беседы короля с кардиналом вельможные дамы, соблюдая этикет того времени, встали и одна за другой, поклонившись королю, вышли. Королева со своими фрейлинами последовала за ними.

В кабинете осталась только одна королева-мать; за необычной веселостью короля чувствовалась какая-то тайна, которую она решила разведать.

— Кстати, кардинал,— неожиданно сказал Генрих прелату,— что поделывает ваш братец дю Бушаж?

— Не знаю, ваше величество: я очень редко вижу его,— ответил кардинал.

Из глубины кабинета донесся тихий, печальный голос:

— Я здесь, ваше величество.

— А! Это он! — воскликнул Генрих.— Подите сюда, граф, подите сюда!

Молодой человек тотчас повиновался.

— Боже правый! — воскликнул король, в изумлении глядя на него.— *Честное слово дворянина, это не человек*, а призрак!

— Ваше величество, он много работает,— пролепетал кардинал, сам поражаясь той перемене, которая за одну неделю произошла в лице и осанке его брата.

Действительно, дю Бушаж был бледен, как восковая фигура, а его тело, едва обозначавшееся под шелком и вышивками, и впрямь казалось невещественным, призрачным.

— Подойдите поближе, молодой человек,— приказал король.— Благодарю вас, кардинал, за цитату из Плутарха; обещаю, что в подобных случаях всегда буду прибегать к вашей помощи.

Кардинал понял, что король хочет остаться наедине с его братом, и бесшумно удалился.

Теперь в кабинете не было никого, кроме королевы-матери, д'Эпернона, рассыпавшегося перед ней в любезностях, и дю Бушажа.

У двери стоял Луаньяк, полусолдат-полупридворный, всецело занятый исполнением своих обязанностей.

Король сел, знаком велел дю Бушажу приблизиться и спросил его:

— Граф, почему вы прячетесь за дамами? Неужели вы не знаете, что мне приятно видеть вас?

— Эти милостивые слова — великая честь для меня, государь,— сказал молодой человек, отвешивая поклон.

— Если так, почему же, граф, я с некоторых пор не вижу вас в Лувре?

— Если вы, ваше величество,— сказал Анри дю Бушаж,— не видите меня, то лишь потому, что не изволите хотя бы мельком бросить взгляд в уголок этого покоя, где я всегда нахожусь в положенный час, при вечернем выходе вашего величества. Я никогда не уклонялся от выполнения своих обязанностей — для меня это священный долг!

— Да, твой брат и ты, вы меня любите.

— Государь!

— И я вас тоже люблю. К слову сказать, бедняга Анн прислал мне письмо из Дьеппа. Он утверждает, что есть человек, который еще сильнее сожалел бы о Париже, чем он, и что, будь такой приказ дан тебе, ты умер бы или ослушался меня. Так ли это?

— Государь, ослушаться вас было бы для меня тягостнее смерти, но все же,— молвил молодой человек и, как бы желая скрыть смущение, опустил голову,— но все же я ослушался бы.

Скрестив руки, король внимательно взглянул на дю Бушажа и сказал:

— Вот оно что! Да ты, бедный мой граф, видно, слегка повредился в уме? Расскажи мне, что случилось. Хорошо?

Героическим усилием воли молодой человек заставил себя улыбнуться.

— Такому великому государю, как вы, ваше величество, не пристало выслушивать подобные признания.

— Что ты, что ты, Анри,— возразил король,— говори, рассказывай, этим ты развлечешь меня.

— Государь,— с достоинством ответил молодой человек,— вы ошибаетесь; должен сказать, в моей печали нет ничего, что могло бы развлечь благородное сердце.

— Полно, полно, не сердись, дю Бушаж,— сказал король, взяв его за руку,— я могу оказать тебе помощь,

дитя мое. Ты будешь счастлив, или я перестану именоваться королем Франции.

— Счастлив? Я? Увы, государь, это невозможно,— ответил молодой человек с улыбкой, исполненной неизъяснимой горечи.

— Уверяю вас, дю Бушаж,— настойчиво продолжал король,— мое могущество и мое расположение к вам найдут средство против всего, кроме смерти.

— Ваше величество,— воскликнул молодой человек, бросаясь к ногам короля,— не смущайте меня изъявлениями доброты, на которые я не могу должным образом ответить! Моему горю нельзя помочь, ибо в нем единственная моя отрада.

— Дю Бушаж, вы безумец и, помяните мое слово, погубите себя своими несбыточными мечтаниями.

— Я это прекрасно знаю, государь,— спокойно ответил молодой человек.

— Так скажите же наконец,— воскликнул король с раздражением,— чего вы хотите? Жениться или приобрести влияние?

— Ваше величество, я хочу снискать любовь... Вы видите, никто не в силах помочь мне.

— Попытайся, сын мой, попытайся; ты богат, ты молод — какая женщина устоит против тройного очарования: красоты, любви и молодости?

— Сколько людей на моем месте благословляли бы вас, государь! Быть любимым монархом, как ваше величество,— это ведь почти то же, что быть любимым самим богом.

— Вот и отлично; не говори мне ничего, если хочешь ревниво хранить свою тайну: я велю добыть сведения, предпринять некоторые шаги. Ты знаешь, что я сделал для твоего брата? Для тебя я сделаю то же самое: расход в сто тысяч экю меня не смущает.

Дю Бушаж схватил руку короля и прижал ее к своим губам.

— Ваше величество,— воскликнул он,— потребуйте, когда вам будет угодно, мою кровь — и я пролью ее всю, до последней капли в доказательство того, сколь я признателен вам за покровительство, от которого отказываюсь!

Генрих III досадливо повернулся к нему спиной.

— Поистине,— воскликнул он,— эти Жуаезы еще более упрямы, чем Валуа!

— Ваше величество дозволит мне удалиться? — спросил дю Бушаж.

— Да, дитя мое, ступай и постарайся быть мужчиной.

Молодой человек поцеловал руку короля, отвесил почтительнейший поклон королеве-матери, горделиво прошел мимо д'Эпернона, который ему не поклонился, и вышел.

Как только он переступил порог, король вскричал:

— Закройте двери, Намбю!

Придворный, которому было дано это приказание, тотчас громогласно объявил, что король больше никого не примет.

Затем Генрих подошел к д'Эпернону, хлопнул его по плечу и сказал:

— Ла Валет, сегодня вечером ты прикажешь раздать твоим Сорока пяти деньги, которые тебе вручат, и отпустишь их на целые сутки. Я хочу, чтобы они повеселились вволю. Клянусь мессой, они спасли меня, негодники, спасли, как Суллу — его белый конь!

— Спасли вас? — удивленно переспросила Екатерина.

— Да, государыня. Дражайшая наша кузина, сестра вашего доброго друга господина де Гиза... О! Не возражайте — разумеется, он ваш добрый друг...

Екатерина улыбнулась, как улыбается женщина, говоря себе: «Он этого никогда не поймет».

Король заметил эту улыбку, поджал губы и, продолжая начатую фразу, сказал:

— Сестра вашего доброго друга де Гиза вчера устроила против меня засаду, меня намеревались схватить, быть может лишить жизни...

— И вы вините в этом де Гиза? — воскликнула Екатерина.

— Вы этому не верите?

— Признаться, не верю,— сказала Екатерина.

— Д'Эпернон, друг мой, ради бога, расскажите ее величеству королеве-матери эту историю со всеми подробностями.— И, обратясь к Екатерине, он добавил: — Прощайте, государыня, прощайте, любите господина де Гиза так нежно, как вам будет угодно; в свое время я уже велел четвертовать де Сальседа, вы это помните?

— Разумеется!

— Превосходно! Пусть господа де Гизы берут пример с вас — пусть и они этого не забывают!

С этими словами король направился в свои покои в сопровождении мастера Лова, которому пришлось бежать вприпрыжку, чтобы поспеть за ним.

XXV. Белое перо и красное перо

После того как мы вернулись к людям, от которых временно отвлеклись, вернемся к их делам.

Было восемь часов вечера; дом Робера Брике, пустынный, печальный, темным треугольником вырисовывался на облачном небе, явно предвещавшем ночь скорее дождливую, чем лунную.

Этот унылый дом вполне соответствовал высившемуся против него таинственному дому, о котором мы уже говорили читателю. Философы, утверждающие, что у неодушевленных предметов есть своя жизнь, свой язык, свои чувства, сказали бы про эти два дома, что они зевают, глядя друг на друга.

Неподалеку было очень шумно: металлический звон сливался с гулом голосов, с каким-то клокотанием и шипением, с резкими выкриками и пронзительным визгом.

По всей вероятности, именно этот содом привлекал к себе внимание прохаживавшегося по улице молодого человека в высокой фиолетовой шапочке с красным пером и в сером плаще; красавец кавалер часто останавливался на несколько минут перед домом, откуда исходил весь этот шум, после чего, опустив голову, с задумчивым видом возвращался к дому Робера Брике.

Из чего же слагалась эта симфония?

Металлический звон издавали передвигаемые на плите кастрюли; клокотали котлы, кипевшие на раскаленных угольях; шипело жаркое, насаженное на вертела, которые приводились в движение собаками; кричал метр Фурнишон, хозяин гостиницы «Гордый рыцарь», хлопотавший у очагов; визжала его жена, надзиравшая за служанками, которые убирали покои в башенках.

Вдохнув аромат жаркого и пытливо вглядевшись в занавески окон, кавалер в фиолетовой шапочке снова принимался расхаживать, но он никогда не переступал определенной черты, а именно: сточной канавы у дома Робера Брике.

Нужно сказать, что всякий раз, как он доходил до этой черты, перед ним представал, словно бдительный страж, молодой человек примерно одного с ним возраста, в высокой черной шапочке с белым пером и в фиолетовом плаще. Озабоченный, нахмуренный, он крепко сжимал рукой эфес своей шпаги, но обладателю красного пера в голову не приходило беспокоиться о чем-либо, кроме того, что происходило в гостинице «Гордый рыцарь».

Другой же — с белым пером — при каждом новом появлении красного пера делался все мрачнее; наконец его досада стала настолько явной, что привлекла внимание обладателя красного пера.

Он поднял голову, и на лице молодого человека, не сводившего с него глаз, прочел живейшую неприязнь.

Это обстоятельство, разумеется, навело его на мысль, что он мешает кавалеру с белым пером; однажды возникнув, эта мысль вызвала желание узнать, чем, собственно, он ему мешает. Движимый этим желанием, он принялся внимательно глядеть на дом Робера Брике, а затем на тот, что стоял напротив.

Наконец, вволю насмотревшись и на то и на другое строение, он спокойно повернулся к молодому незнакомцу спиной и снова направился туда, где ярким огнем пылали очаги метра Фурнишона.

Обладатель белого пера, счастливый тем, что обратил красное перо в бегство, зашагал в своем направлении, то есть с востока на запад, тогда как красное перо двигалось с запада на восток.

Но каждый из них, достигнув предела, мысленно назначенного им самим, остановился и повернул обратно, так что, не будь между ними нового Рубикона — канавы, они неминуемо столкнулись бы.

Обладатель белого пера принялся с явным нетерпением крутить ус.

Обладатель красного пера сделал удивленную мину; затем снова бросил взгляд на таинственный дом.

Тогда белое перо двинулось вперед, чтобы перейти Рубикон, но красное перо уже повернулось назад, и прогулка возобновилась.

Наконец обладатель белого пера, человек, видимо, порывистый, перепрыгнул через канаву и этим заставил отпрянуть противника, который едва не потерял равновесие.

— Что же это такое, сударь! — воскликнул кавалер с красным пером.— Вы с ума сошли или намерены оскорбить меня?

— Сударь, я намерен дать вам понять, что вы изрядно мешаете мне, вы и сами это заметили без моих слов!

При этом обладатель белого пера сбросил плащ и выхватил шпагу, блеснувшую при свете луны, как раз выглянувшей из-за туч.

Кавалер с красным пером не шелохнулся.

— Можно подумать, сударь,— заявил он, передернув плечами,— что вы никогда не вынимали шпагу из ножен: уж очень вы торопитесь обнажить ее против человека, который не защищается.

— Но, надеюсь, будет защищаться.

Обладатель красного пера улыбнулся и спросил:

— Какое право имеете вы мешать мне гулять при луне?

— А почему вы гуляете именно по этой улице?

— Вы-то гуляете по ней! Одному вам, что ли, дозволено расхаживать по улице Бюсси?

— Дозволено или не дозволено, вас это не касается.

— Вы ошибаетесь, это меня очень касается. Я верноподданный его величества и ни за что не хотел бы нарушить его волю.

— Да вы, кажется, смеетесь надо мной!

— А хотя бы и так! Вы-то угрожаете мне?

— Сударь,— заявил кавалер с белым пером, рассекая шпагой воздух,— я граф дю Бушаж, брат герцога де Жуаеза; в последний раз спрашиваю вас, согласны ли вы уступить мне первенство и удалиться?

— Сударь,— ответил кавалер с красным пером,— я виконт Эрнотон де Карменж; вы нисколько мне не мешаете, и я ничего не имею против того, чтобы вы здесь остались.

Дю Бушаж подумал минуту-другую и вложил шпагу в ножны, сказав:

— Извините меня, сударь, я влюблен и по этой причине наполовину потерял рассудок.

— Я тоже влюблен,— ответил Эрнотон,— но из-за этого отнюдь не считаю себя сумасшедшим.

Анри побледнел.

— Влюблены в особу, живущую на этой улице?

— В настоящую минуту она находится здесь.

— Ради бога, сударь, скажите мне, кого вы любите?

— О! Господин дю Бушаж, вы задали мне вопрос не подумав; вы отлично знаете, что дворянин не может открыть тайну, принадлежащую ему лишь наполовину.

— Верно! Простите, господин де Карменж,— право же, нет человека несчастнее меня на свете!

В этих немногих словах, сказанных молодым человеком, было столько подлинного горя, что они глубоко тронули Эрнотона.

— Хорошо,— молвил он.— Я буду с вами откровенен.

Жуаез побледнел и провел рукой по лбу.

— Мне назначено свидание,— продолжал Эрнотон.

— На этой улице?

— На этой улице.

— Письменно?

— Да, и очень красивым почерком.

— Женским?

— Нет, мужским.

— Мужским? Что вы хотите сказать?

— То, что я сказал,— ничего дурного. Свидание мне назначила женщина, но записку писал мужчина. Это не столь таинственно, но более изысканно; по всей вероятности, у дамы есть секретарь.

— Договаривайте, сударь, ради бога! — воскликнул Анри.

— Вы так просите меня, сударь, что я не могу вам отказать. Итак, я сообщу вам содержание записки.

Эрнотон вынул из кошелька листочек бумаги и прочел:

«Господин Эрнотон, мой секретарь уполномочен передать вам, что мне очень хочется побеседовать с вами часок; ваши достоинства тронули меня».

— И вас ждут?

— Вернее сказать, я жду.

— Стало быть, вам должны открыть дверь?

— Нет, трижды свистнуть из окна.

Весь дрожа, Анри указал на таинственный дом.

— Отсюда? — спросил он.

— Вовсе нет,— ответил Эрнотон, указывая на башенки «Гордого рыцаря»: — Оттуда!

Анри издал радостное восклицание.

— О, да благословит вас господь! — сказал он, пожимая Эрнотону руку.— Простите мою неучтивость, мою глупость. Увы! Для человека, который любит истинной любовью, существует только одна женщина, и вот, видя,

что вы постоянно возвращаетесь к этому дому, я подумал, что вас ждет именно она.

— Мне нечего вам прощать,— с улыбкой сказал Эрнотон,— ведь, правду сказать, и у меня мелькнула такая мысль.

— И у вас хватило выдержки ничего мне не сказать! Это просто невероятно! О! Вы не любите, не любите!

— Да послушайте же! Мои права еще совсем невелики. Я дожидаюсь какого-нибудь разъяснения, прежде чем начать сердиться. У этих знатных дам бывают странные капризы, а мистифицировать — так забавно!

— Господин де Карменж,— сказал Жуаез,— вот уже три месяца я безумно влюблен в ту, которая здесь обитает, и я еще не имел счастья услышать звук ее голоса!

— Вот дьявольщина! Не много же вы успели! Но... погодите!

— Что такое?

— Как будто свистят?

Молодые люди прислушались; вскоре со стороны «Гордого рыцаря» снова донесся свист.

— Граф,— сказал Эрнотон,— простите, что я вас покидаю, но мне думается, это и есть сигнал, которого я жду.

Свист раздался третий раз.

— Идите, сударь, идите,— воскликнул Анри,— желаю вам удачи!

Эрнотон быстро удалился, и собеседник увидел, как он исчез во мраке улицы.

Сам же Анри, еще более хмурый, чем до разговора с Эрнотоном, сказал себе:

— Ну что ж! Вернусь к обычному своему занятию — пойду, как всегда, стучать в проклятую дверь, которая никогда не отворяется.

С этими словами он нетвердой поступью направился к таинственному дому.

XXVI. Дверь отворяется

Подойдя к двери, несчастный Анри снова исполнился обычной своей нерешительности.

— Смелее! — твердил он себе и сделал еще один шаг.

Но прежде чем постучать, он в последний раз оглянулся и увидел на мостовой отблески огней, горевших в окнах гостиницы.

«Туда,— подумал он,— входят, чтобы насладиться радостями любви. Почему же спокойное сердце и беспечная улыбка — не мой удел?»

В эту минуту с колокольни церкви Сен-Жермен-де-Пре донесся печальный звон.

— Вот уже десять часов пробило,— со вздохом прошептал Анри.

И он поднял дверной молоток.

«Ужасная жизнь! — размышлял он.— Жизнь дряхлого старца! О! Скоро ли настанет день, когда я смогу сказать: «Привет тебе, прекрасная, радостная смерть, привет, желанная могила!»

Он постучал во второй раз.

«Все то же,— продолжал он, прислушиваясь.— Вот открылась внутренняя дверь, под тяжестью шагов заскрипела лестница, шаги приближаются; и так всегда, всегда!»

— Постучу еще раз,— промолвил он.— Последний раз. Да, так я и знал: поступь становится более осторожной, слуга смотрит сквозь чугунную решетку, видит мое бледное, мрачное, постылое лицо — и, как всегда, уходит, не открыв мне!

Водворившаяся вокруг тишина, казалось, оправдывала слова несчастного.

— Прощай, жестокосердый дом, прощай, до завтра! — воскликнул он.

Но едва Анри отошел на несколько шагов, как, к величайшему его изумлению, загремел засов, дверь отворилась, и стоявший на пороге слуга низко поклонился.

Это был тот самый человек, наружность которого мы описали во время его разговора с Робером Брике.

— Добрый вечер, сударь,— сказал он резким голосом, который, однако, показался дю Бушажу слаще тех ангельских голосов, что иной раз слышатся нам в детстве, когда во сне перед нами отверзаются небеса.

Оторопев, дрожа всем телом, молитвенно сложив руки, Анри поспешно вернулся; у порога дома он зашатался и неминуемо упал бы, если бы его не поддержал слуга.

— Я здесь, перед вами, сударь,— заявил слуга.— Скажите, прошу вас, чего вы желаете?

— Я так страстно любил,— ответил молодой человек,— что уже не знаю, люблю ли я еще.

— Не соблаговолите ли вы, сударь, сесть вот сюда, рядом со мной, и побеседовать?

Анри повиновался этому приглашению с такой готовностью, словно его сделал французский король или римский император.

— Говорите же, сударь,— сказал слуга,— поверьте мне ваше желание.

— Друг мой,— ответил дю Бушаж,— мы с вами встречаемся и говорим не впервые. Помните, я не раз подстерегал вас в пустынных закоулках и заговаривал с вами — вы никогда не соглашались выслушать меня. Сегодня вы советуете поверить вам мои желания. Что же случилось, великий боже? Какое новое несчастье таится за снисхождением, которое вы мне оказываете?

Слуга вздохнул. По-видимому, под его суровой оболочкой билось сострадательное сердце.

Ободренный этим вздохом, Анри продолжал.

— Вы знаете,— сказал он,— что я люблю, горячо люблю; вы видели, как я разыскивал одну особу и сумел ее найти, несмотря на усилия, которые она прилагала, чтобы избежать встречи со мной. При самых мучительных терзаниях у меня никогда не вырывалось ни единого слова горечи; никогда я не прибегал к насильственным действиям.

— Это правда, сударь,— сказал слуга.— Моя госпожа и я отдаем вам должное.

— Наконец,— продолжал молодой граф с неизъяснимой грустью,— я кое-что значу в этом мире; у меня знатное имя, крупное состояние, я пользуюсь большим влиянием, мне покровительствует сам король. Не далее, как сегодня, король настаивал, чтобы я поверил ему свои горести, предлагал мне свое содействие.

— Боже милостивый! — воскликнул слуга, явно встревоженный.

— Но я не согласился,— поспешно прибавил молодой человек.— Нет, нет, я все отверг, от всего отказался, чтобы снова прийти сюда и, молитвенно сложив руки, упрашивать вас открыть мне эту дверь, которая — я это знаю — никогда не открывается.

— Граф, у вас поистине благородное сердце, и вы достойны любви.

— И что же? — с глубокой тоской воскликнул Анри.— На какие муки вы обрекли человека, который, даже на ваш взгляд, достоин любви! Каждое утро мой паж приносит сюда письмо, которое никогда не принимают; каждый вечер я сам тщетно стучусь в эту дверь. Нет у этой женщины сердца! Будь у нее сердце, она сама убила бы меня отказом, ею произнесенным, или велела бы убить меня ударом кинжала — мертвый, я бы по крайней мере не страдал!

— Граф,— ответил слуга, чрезвычайно внимательно выслушав молодого человека,— верьте мне, дама, которую вы яростно обвиняете, отнюдь не так бесчувственна и не так жестока, как вы полагаете; она исполнена живейшего сочувствия к вам.

— О! «Сочувствия»! «Сочувствия»! — воскликнул молодой человек.— Пусть ее сердце познает любовь — такую, какой исполнен я,— и если в ответ ей предложат сочувствие, я буду отмщен!

— Граф, граф, иной раз женщина отвергает любовь не потому, что не способна любить; быть может, та, о которой идет речь, знала страсть более сильную, чем дано изведать вам!

Анри воздел руки к небу.

— Кто так любил, тот любит вечно! — вскричал он.

— А разве я вам сказал, граф, что она перестала любить? — спросил слуга.

Анри тяжко застонал и, словно его смертельно ранили, рухнул наземь.

— Она любит! — вскричал он.— Любит! О боже! Боже!

— Да, граф, она любит; но не ревнуйте ее к тому, кого уже нет в живых. Моя госпожа вдовствует,— прибавил сострадательный слуга, надеясь утешить молодого человека.

Действительно, эти слова как бы неким волшебством вернули ему жизнь, силы и надежду.

— Ради всего святого,— сказал он,— не оставляйте меня на произвол судьбы! Она вдовствует, сказали вы; стало быть, источник ее слез иссякнет. Печаль по усопшим то же, что болезнь: тот, кто переживет кризис, станет лишь более сильным и стойким, чем прежде.

Слуга покачал головой.

— Граф,— ответил он,— эта дама поклялась вечно хранить верность умершему; я хорошо ее знаю — она свято сдержит свое слово.

— Я буду ждать, я прожду десять лет, если нужно! — воскликнул Анри.— Господь не допустит, чтобы она умерла с горя или насильственно оборвала нить своей жизни; вы сами понимаете: раз она не умерла, значит, хочет жить; раз она продолжает жить, значит, я могу надеяться.

— Ах, молодой человек, молодой человек! — зловещим голосом возразил слуга.— Она уже прожила одна не день, не месяц, не год, а целых семь лет!

Дю Бушаж вздрогнул.

— Она утешится, надеетесь вы. Никогда, граф, никогда! Я тоже никогда не утешусь, хотя был только смиренным слугой умершего,— тоже никогда не утешусь!

— Этот человек, которого так оплакивают,— прервал его Анри,— этот счастливый усопший, этот супруг...

— Он был любим, а женщина такого склада, как та, которую вы имели несчастье полюбить, за всю свою жизнь имеет лишь одного супруга.

— Друг мой, друг мой,— воскликнул дю Бушаж, устрашенный мрачным величием слуги,— друг мой, заклинаю вас, будьте моим ходатаем!

— Я!..— воскликнул слуга.— Я!.. Слушайте, граф, если б я считал вас способным применить к моей госпоже насилие, я бы своей рукой умертвил вас!

И он высвободил из-под плаща сильную, мускулистую руку; казалось, то была рука молодого человека лет двадцати пяти, тогда как по седым волосам и согбенному стану ему можно было дать все шестьдесят.

— Но если бы, наоборот,— продолжал он,— моя госпожа полюбила вас, то умереть пришлось бы ей! Теперь, граф, я сказал вам все, что мне надлежало сказать.

Анри встал совершенно подавленный.

— Благодарю вас,— сказал он,— за то, что вы сжалились над моими страданиями. Я принял решение.

— Значит, граф, вы отдалитесь от нас и предоставите нас участи более тяжкой, чем ваша, верьте мне!

— Да, я действительно отдалюсь от вас,— молвил молодой человек,— будьте покойны, отдалюсь навсегда!

— Вы хотите умереть — я вас понимаю.

— Зачем мне таиться от вас? Я не могу жить без нее

и, следовательно, должен умереть, раз она не может быть моею.

— Граф, мы зачастую говорили с моей госпожой о смерти. Верьте мне: смерть, принятая от собственной руки,— дурная смерть.

— Поэтому я и не изберу ее: человек моих лет, обладающий знатным именем и высоким званием, может умереть смертью, прославляемой во все времена,— пасть на поле брани за своего короля, за свою страну... Прощайте, благодарю вас! — сказал граф, протягивая руку неизвестному слуге.

Затем он быстро удалился, бросив к ногам своего собеседника, растроганного этим глубоким горем, кошель, набитый червонцами.

На часах церкви Сен-Жермен-де-Пре пробило полночь.

XXVII. О том, как знатная дама любила в 1586 году

Свист, трижды раздавшийся в ночной тиши, действительно был тем сигналом, которого дожидался счастливец Эрнотон.

Подойдя к гостинице «Гордый рыцарь», молодой человек застал на пороге госпожу Фурнишон. Она вертела в пухлых руках золотой, который только что украдкой опустила туда рука гораздо более нежная и белая, чем ее собственная.

Она взглянула на Эрнотона и, упершись руками в бока, заполнила всю дверь, преграждая доступ в гостиницу.

— Что вы желаете, сударь? — спросила она.— Что вам угодно?

— Не свистали ли трижды совсем недавно из окна этой башенки, милая женщина?

— Совершенно верно!

— Так вот, этим свистом призывали меня.

— Ну, тогда другое дело, если только вы дадите мне честное слово, что вы тот самый человек.

— Честное слово дворянина, любезная госпожа Фурнишон.

— Я вам верю; входите, прекрасный кавалер, входите!

И хозяйка гостиницы, обрадованная тем, что наконец заполучила одного из тех посетителей, о которых некогда так мечтала для незадачливого «Розового куста любви», вытесненного «Гордым рыцарем», указала Эрнотону винтовую лестницу, которая вела к самому укромному из башенных помещений, где все убранство — мебель, обои, ковры — отличалось большим изяществом, чем можно было ожидать в этом глухом уголке Парижа; надо сказать, что госпожа Фурнишон весьма заботливо обставляла свою любимую башенку, а то, что делаешь любовно, почти всегда удается.

Войдя в прихожую башенки, молодой человек ощутил сильный запах росного ладана и алоэ. По всей вероятности, утонченная особа, ожидавшая Эрнотона, воскуряла их, чтобы этими благовониями заглушить кухонные запахи, подымавшиеся от вертелов и кастрюль.

Правой рукой приподняв ковровую завесу, левой взявшись за скобу двери, Эрнотон согнулся почти вдвое в почтительнейшем поклоне. Он успел уже различить в загадочном полумраке башенки, освещенной лишь розовой восковой свечой, пленительные очертания женщины, несомненно принадлежавшей к числу тех, что вызывают если не любовь, то во всяком случае внимание.

Откинувшись на подушки, свесив крохотную ножку с края своего ложа, дама, закутанная в шелка и бархат, жгла на огне веточку алоэ.

По тому, как она бросила остаток веточки в огонь, как оправила платье и опустила капюшон на лицо, покрытое маской, Эрнотон догадался, что она слышала, как он вошел.

Однако она не обернулась.

Эрнотон выждал несколько минут; она не изменила позы.

— Сударыня,— сказал он нежнейшим голосом, чтобы выразить этим свою глубокую признательность,— сударыня, вам угодно было позвать вашего смиренного слугу... он здесь.

— Прекрасно,— проговорила дама.— Садитесь, прошу вас, господин Эрнотон.

— Сударыня,— молвил молодой человек, прибли-

жаясь,— лицо ваше скрыто маской, руки — перчатками; я не вижу ничего, что дало бы мне возможность узнать вас.

— И вы догадываетесь, кто я?

— Вы — та, которая владеет моим сердцем, которая в моем воображении молода, прекрасна, могущественна, богата, даже слишком богата и могущественна!.. Вот почему мне трудно поверить, что все это явь, а не сон.

— Стало быть, вы утверждаете, что я именно та, кого вы думали здесь найти?

— Вместо глаз мне это говорит сердце.

— И по каким признакам вы меня узнали?

— По вашему голосу, вашему изяществу, вашей красоте.

— По голосу — это мне понятно, я не могу его изменить; по изяществу — я могу это счесть за комплимент; но что касается красоты, я могу принять этот ответ лишь как предположение.

— Почему, сударыня?

— Вы уверяете, что узнали меня по красоте, а ведь она скрыта от ваших глаз.

— Она была не столь скрыта, сударыня, в тот день, когда, чтобы провести вас в Париж, я крепко прижимал вас к себе.

— Значит, получив записку, вы догадались, что речь идет обо мне?

— О! Нет, нет, не думайте этого, сударыня! Эта мысль не приходила мне в голову; я вообразил, что со мной сыграли шутку, что я жертва недоразумения, и только несколько минут назад, увидев вас...— Эрнотон хотел было завладеть рукой дамы, но она отняла ее, сказав при этом:

— Довольно! Бесспорно, я совершила неосторожность.

— В чем же она заключается, ваша светлость?

— Бога ради, извольте замолчать, сударь! Уж не обидела ли вас природа умом?

— Чем я провинился? Скажите, умоляю вас,— в испуге спросил Эрнотон.

— Если я надела маску, значит, не хочу быть узнанной, а вы называете меня светлостью. Почему бы вам не открыть окно и не выкрикнуть на всю улицу мое имя?

— О, простите, простите,— воскликнул Эрнотон,— но я был уверен, что эти стены умеют хранить тайны!

— Видно, вы очень доверчивы!

— Увы, сударыня, я влюблен.

— И вы убеждены, что я тотчас же отвечу на эту любовь взаимностью?

Задетый за живое ее словами, Эрнотон встал и сказал:

— Нет, сударыня!

— А тогда что же вы думаете?

— Я думаю, что вы намерены сообщить мне нечто важное; что вы не пожелали принять меня во дворце Гизов, в Бель-Эба, и предпочли беседу с глазу на глаз, в уединенном месте.

— Вы так думаете?

— Да.

— Что же, по-вашему, я намерена была сообщить вам? Скажите, наконец; я была бы рада случаю оценить вашу проницательность.

Под напускной беспечностью дамы несомненно таилась тревога.

— Быть может, вы хотели расспросить меня о событиях, разыгравшихся прошлой ночью?

— Какие события? О чем вы говорите? — спросила дама. Ее грудь то вздымалась, то опускалась.

— О действиях господина д'Эпернона и о том, как были взяты под стражу некие лотарингские дворяне.

— Как! Лотарингские дворяне взяты под стражу?

— Да, человек двадцать; они не вовремя оказались на дороге в Венсен.

— Дорога ведет также в Суассон, где, как мне кажется, гарнизоном командует герцог де Гиз. Да, господин Эрнотон, вы, конечно, могли бы сказать мне, почему этих дворян заключили под стражу, ведь вы состоите при дворе.

— Я? При дворе?

— Несомненно!

— Вы в этом уверены, сударыня?

— Разумеется! Чтобы разыскать вас, мне пришлось собирать сведения, наводить справки. Но, ради бога, бросьте наконец ваши увертки: у вас несносная привычка отвечать на вопрос вопросом. Какие же последствия имела эта стычка?

— Решительно никаких, сударыня, во всяком случае, мне об этом ничего не известно.

— Так почему же вы думали, что я стану говорить о событии, не имевшем никаких последствий?

— Я в этом ошибся, сударыня, как и во всем остальном, и признаю свою ошибку.

— Вот как, сударь? А откуда же вы родом?

— Из Ажана.

— Вы, сударь, гасконец и не настолько тщеславны, чтобы просто-напросто предположить, что, увидев вас в день казни Сальседа у Сент-Антуанских ворот, я заметила вашу благородную осанку?

Эрнотон смутился, краска бросилась ему в лицо.

Дама с невозмутимым видом продолжала:

— Что, однажды встретившись с вами на улице, я сочла вас красавцем...

Эрнотон багрово покраснел.

— Что, наконец, когда вы пришли ко мне с поручением от моего брата, герцога Майенского, вы чрезвычайно мне понравились?..

Умоляюще сложив руки, Эрнотон воскликнул:

— Сударыня! Сударыня! Неужели вы насмехаетесь надо мной?

— Николько,— ответила она все так же непринужденно,— я говорю, что вы мне понравились, и это правда!

Эрнотон опустился на колени.

— Говорите, сударыня, говорите,— молвил он,— дайте мне убедиться, что все это — не игра.

— Хорошо. Вот какие у меня намерения в отношении вас,— сказала дама, отстраняя Эрнотона.— Вы мне нравитесь, но я еще не знаю вас. Я не имею привычки противиться своим прихотям, и вместе с тем я не столь безрассудна, чтобы совершать ошибки. Будь вы ровней мне, я принимала бы вас у себя и основательно изучила бы, прежде чем вы догадались бы о моих замыслах. В нашем положении это невозможно; вот почему мне пришлось действовать иначе и ускорить свидание. Теперь вы знаете, на что можете надеяться. Старайтесь стать достойным меня — вот все, что я вам посоветую.

Эрнотон начал было рассыпаться в изъявлениях чувств, но дама прервала его, сказав небрежным тоном:

— О, прошу вас, господин де Карменж, поменьше жару, не стоит тратить его зря. Я уверена, что с моей стороны это не более чем каприз, который недолго продлится. Но не отчаивайтесь. Я обожаю людей, беззаветно мне преданных. Разрешаю вам твердо запомнить это, прекрасный кавалер!

Эрнотон терял самообладание. Эти надменные речи, эти полные неги движения, это горделивое сознание своего превосходства, наконец доверие, оказанное ему столь знатной особой,— все это вызвало в нем бурный восторг и вместе с тем живейший страх.

Он сел рядом со своей прекрасной, надменной повелительницей.

— Сударь,— воскликнула она,— вы, очевидно, не поняли того, что я вам говорила! Никаких вольностей, прошу вас; остаемся каждый на своем месте.

Бледный, раздосадованный, Эрнотон встал.

— Простите, сударыня,— сказал он,— по-видимому, я делаю одни только глупости, но я еще не освоился с парижскими обычаями. Что поделать! Все это так неприятно для меня, но привычка придет.

Дама слушала молча. Она, видимо, внимательно наблюдала за Эрнотоном, чтобы знать, перешла ли его досада в ярость.

— А! Вы, кажется, рассердились,— сказала она надменно.

— Да, я действительно сержусь, сударыня, но на самого себя, ибо питаю к вам подлинную, чистую любовь. Разрешите мне, сударыня, ждать ваших приказаний.

— Полноте, полноте, господин де Карменж,— ответила дама.— Только что вы пылали страстью, а теперь от вас веет холодом.

— Мне думается, однако, сударыня...

— Ах, сударь, никогда не говорите женщине, что вы будете любить ее так, как вам заблагорассудится,— это неумно; докажите, что вы будете любить ее именно так, как заблагорассудится ей,— вот путь к успеху!

— Я смиренно склоняюсь перед вашим превосходством, сударыня.

— Довольно рассыпаться в любезностях. Вот вам моя рука, возьмите ее,— это рука простой женщины, только более горячая и более трепетная, чем ваша.

Эрнотон принялся целовать руку герцогини с таким рвением, что она тотчас снова высвободила ее.

— Вот видите,— воскликнул Эрнотон,— опять мне дан урок!

— Стало быть, я неправа?

— Разумеется! Вы заставляете меня переходить из одной крайности в другую; кончится тем, что страх убьет страсть. Правда, я буду по-прежнему коленопреклоненно обожать вас, но у меня уже не будет ни любви, ни доверия к вам.

— О! Этого я не хочу,— игривым тоном сказала дама,— тогда вы будете унылым возлюбленным, а такие мне не по вкусу, предупреждаю вас. Нет, оставайтесь самим собой, будьте Эрнотоном де Карменжем и никем другим... Я не без причуд, боже мой!.. Разве вы не говорили, что я красива? У всякой красивой женщины есть причуды; уважайте многие из них, оставляйте другие без внимания, а главное, не бойтесь меня, и всякий раз, когда я скажу не в меру пылкому Эрнотону «успокойтесь», пусть он повинуется моим глазам, а не моему голосу.— С этими словами герцогиня встала.— Итак, мы еще увидимся! — сказала она.— Положительно, вы мне нравитесь, господин де Карменж.

Молодой человек поклонился.

— Когда вы бываете свободны? — небрежно спросила герцогиня.

— Увы! Довольно редко, сударыня,— ответил Эрнотон.

— Ах да! Понимаю, эта служба весьма утомительна, не так ли?

— Какая служба?

— Да та, которую вы несете при короле. Разве вы не принадлежите к одному из отрядов стражи его величества?

— То есть... я состою в одном из дворянских отрядов, сударыня.

— Вот это я и хотела сказать; и все эти дворяне, кажется, гасконцы?

— Да, сударыня, все.

— Сколько же их? Мне говорили, но я забыла.

— Сорок пять.

— И эти сорок пять дворян, говорите вы, неотлучно находятся при короле?

— Я не говорил, сударыня, что мы неотлучно находимся при его величестве.

— Ах, простите, мне послышалось. Во всяком случае, вы сказали, что редко бываете свободны.

— Верно, я редко бываю свободен, сударыня, потому что днем мы дежурим при выездах и охотах его величества, а вечером нам приказано безвыходно пребывать в Лувре.

— И так все вечера?

— Почти все.

— Подумайте только, что могло случиться, если бы, например, сегодня вечером этот приказ помешал вам прийти! Не зная причин вашего отсутствия, я вообразила бы, что вы пренебрегли моим приглашением!

— О, сударыня, клянусь, отныне, чтобы увидеться с вами, я с радостью пойду на все!

— Исполняйте вашу службу; устраивать наши встречи — мое дело: я всегда свободна и распоряжаюсь своей жизнью как хочу.

— О! Как вы добры, сударыня!

— Но как же случилось, что нынче вечером вы оказались свободны и пришли?

— Нынче вечером, сударыня, я уже хотел обратиться к нашему капитану, господину де Луаньяку, дружески ко мне расположенному, с просьбой на несколько часов освободить меня от службы, как вдруг был дан приказ отпустить отряд Сорока пяти на всю ночь.

— И по какому поводу эта нежданная милость?

— Мне думается, сударыня, в награду за довольно утомительную службу, которую нам вчера пришлось нести в Венсене.

— А! Прекрасно! — воскликнула герцогиня.

— Вот, сударыня, благодаря какому обстоятельству я имел счастье провести сегодняшний вечер с вами.

— Слушайте, Карменж,— сказала герцогиня с ласковой простотой, несказанно обрадовавшей молодого человека,— вот как вам надо действовать впредь: всякий раз, когда у вас будет надежда на свободный вечер, предупреждайте об этом запиской хозяйку этой гостиницы, а к ней каждый день будет заходить преданный мне человек.

— Боже мой! Вы слишком добры, сударыня.

Герцогиня положила свою руку на руку Эрнотона.

— Постойте,— сказала она.

— Что случилось, сударыня?

— Что это за шум, откуда?

Действительно, снизу, из большого зала гостиницы, словно эхо буйного вторжения, доносились самые различные звуки: звон шпор, гул голосов, хлопанье дверей, радостные крики...

Эрнотон выглянул в дверь, которая вела в прихожую, и сказал:

— Это мои товарищи, они пришли сюда отпраздновать отпуск, данный им господином де Луаньяком.

Вдруг на винтовой лестнице, которая вела в башенку, послышались шаги, а затем раздался голос госпожи Фурнишон, кричавшей снизу:

— Господин де Сент-Малин! Господин де Сент-Малин!

— Что такое? — отозвался молодой человек.

— Не ходите наверх, господин де Сент-Малин, умоляю вас!

— Почему так, милейшая госпожа Фурнишон? Разве сегодня вечером ваш дом не принадлежит нам?

— Это Сент-Малин! — тревожно прошептал Эрнотон, знавший, какие у этого человека дурные наклонности и как он дерзок.

— Ради всего святого!..— молила хозяйка гостиницы.

— Госпожа Фурнишон,— сказал Сент-Малин,— сейчас уже полночь; в десять часов все огни должны быть потушены, а я вижу в вашей башенке свет; только дурные слуги короля нарушают королевские законы. Я хочу знать, кто они.

И Сент-Малин продолжал подыматься по винтовой лестнице; следом за ним шли еще несколько человек.

— О боже! — вскричала герцогиня.— О боже! Господин де Карменж, неужели эти люди посмеют войти сюда?

— Если даже посмеют, сударыня, я здесь, и вам нечего бояться.

— О сударь, да ведь они ломают дверь!

Действительно, Сент-Малин, зашедший слишком далеко, чтобы отступать, так яростно колотил в дверь, что она раскололась пополам.

XXVIII. О том, как Сент-Малин вошел в башенку и к чему это привело

Услышав, что дверь прихожей подалась под ударами Сент-Малина, Эрнотон первым делом потушил свечку, горевшую в башенке.

Тут госпожа Фурнишон, исчерпав все свои доводы, воскликнула:

— Господин де Сент-Малин, предупреждаю вас: те, кого вы тревожите, принадлежат к числу ваших друзей!

— Кто же эти друзья? Нужно на них поглядеть! — вскричал Сент-Малин.

— Да, нужно! Нужно! — подхватил Эсташ де Мираду.

Добрая хозяйка, все еще надеявшаяся предупредить столкновение, пробралась сквозь ряды гасконцев и шепнула на ухо имя — Эрнотон.

— Эрнотон! — зычно повторил Сент-Малин, на которого это разоблачение подействовало как масло, вылитое вместо воды на огонь.— Эрнотон! Эрнотон!.. Быть не может!

С этими словами он подошел ко второй двери, но вдруг она распахнулась, и на пороге появился Эрнотон; он стоял неподвижно, выпрямясь во весь рост, и по лицу его было видно, что долготерпение вряд ли входит в число его добродетелей.

— По какому праву,— спросил он,— господин де Сент-Малин взломал первую дверь и, учинив это, намерен еще взломать вторую?

— Да ведь это и впрямь Эрнотон! — воскликнул Сент-Малин.— Узнаю его по голосу, а что до остального, то здесь, черт побери, слишком темно!

— Вы не отвечаете на мой вопрос, сударь,— твердо сказал Эрнотон.

Сент-Малин расхохотался. Это несколько успокоило его товарищей, которые, услыхав угрожающий голос Эрнотона, сочли благоразумным спуститься на две ступеньки ниже.

— Вот что, господа,— надменно заявил Эрнотон,— я допускаю, что вы пьяны, и извиняю вас. Но есть предел даже тому терпению, которое надлежит проявлять к людям, утратившим здравый смысл; запас шуток исчерпан, не правда ли? Итак, будьте любезны удалиться.

К несчастью, Сент-Малин как раз находился в том состоянии, когда злобная зависть подавляла в нем все другие чувства.

— Ого-го! — вскричал он.— Удалиться?.. Уж больно решительно вы это заявляете, господин Эрнотон!

— Я вам говорю это, чтобы вы ясно поняли, чего я от вас хочу, господин де Сент-Малин... Удалитесь, господа, прошу вас.

— Ого-го! Не раньше, чем мы удостоимся чести приветствовать особу, ради которой вы отказались от нашего общества.

Видя, что Сент-Малин решил поставить на своем, сотоварищи, уже готовые было отступить, снова окружили его.

— Господин де Монкрабо,— властно сказал Сент-Малин,— сходите вниз и принесите свечу.

— Господин де Монкрабо,— крикнул Эрнотон,— если вы это сделаете, помните, что нанесете оскорбление лично мне!

Услышав угрожающий тон, которым это было сказано, Монкрабо застыл в нерешительности.

— Все мы связаны присягой,— ответил за него Сент-Малин,— и господин де Карменж так свято соблюдает дисциплину, что не захочет ее нарушить: мы не вправе обнажать шпаги друг против друга. Итак, посветите нам, Монкрабо!

Монкрабо сошел вниз и минут через пять вернулся со свечой, которую хотел было передать Сент-Малину.

— Нет, нет,— воскликнул тот,— подержите ее, мне, возможно, понадобятся обе руки!

И Сент-Малин сделал шаг вперед, намереваясь войти в башенку.

— Всех вас,— сказал Эрнотон,— я призываю в свидетели того, что меня недостойнейшим образом оскорбляют, а посему (тут Эрнотон в мгновение ока обнажил шпагу) я всажу этот клинок в грудь первому, кто сделает шаг вперед.

Взбешенный Сент-Малин тоже решил взяться за шпагу, но не успел он и наполовину вытащить ее из ножен, как у самой его груди сверкнул клинок Эрнотона.

Сент-Малин побледнел: стоило Эрнотону слегка нажать шпагу, и он был бы пригвожден к стене.

Сент-Малин медленно вложил свою шпагу в ножны.

— Вы, сударь, заслуживаете тысячу смертей за вашу дерзость,— сказал Эрнотон.— Но меня связывает присяга, о которой вы только что упомянули. Дайте мне дорогу.— Он отступил на шаг, чтобы удостовериться, выполнен ли его приказ, и сказал, сопровождая свои слова величественным жестом, который сделал бы честь даже королю: — Расступитесь, господа!.. Идемте, сударыня! Я отвечаю за вас!

Тогда на пороге башенки показалась женщина в капюшоне, под густой вуалью; вся дрожа, она взяла Эрнотона под руку.

Молодой человек, видимо уверенный, что ему нечего больше опасаться, гордо прошел по прихожей, где теснились его товарищи, встревоженные и в то же время любопытствующие.

Сент-Малин, которому острие шпаги слегка задело грудь, отступил до площадки лестницы; он задыхался — так распалило его заслуженное оскорбление, только что нанесенное ему в присутствии товарищей и незнакомой дамы.

Он понял, что все, и пересмешники и серьезные люди, объединятся против него, если спор между ним и Эрнотоном останется неразрешенным; уверенность в этом толкнула его на отчаянный шаг.

В ту минуту, когда Эрнотон проходил мимо него, он выхватил кинжал.

Собирался ли он убить Эрнотона? Или же хотел содеять именно то, что содеял?

Как бы то ни было, он направил свой кинжал на поравнявшуюся с ним чету; но, вместо того чтобы вонзиться в грудь Эрнотона, лезвие рассекло шелковый капюшон герцогини и перерезало шнурок ее маски.

Маска упала наземь.

Сент-Малин действовал так быстро, что в полумраке никто не мог уловить его движения, никто не мог ему помешать.

Герцогиня вскрикнула. Она осталась без маски и к тому же почувствовала, как вдоль ее шеи скользнуло лезвие кинжала.

Встревоженный криком герцогини, Эрнотон оглянулся; тем временем Сент-Малин успел поднять маску, вернуть ее незнакомке и при свете свечи, которую держал Монкрабо, увидел ее лицо.

— Так,— протянул он насмешливо и дерзко,— оказывается, это та красавица, которая сидела в носилках; поздравляю, Эрнотон, вы малый не промах!

Эрнотон остановился и уже выхватил было шпагу, сожалея о том, что слишком рано вложил ее в ножны, но герцогиня увлекла его за собой к лестнице, шепча ему на ухо:

— Идемте, идемте, господин де Карменж, умоляю вас!

— Я еще увижусь с вами, господин де Сент-Малин,— сказал Эрнотон, удаляясь,— и будьте спокойны, вы поплатитесь за эту подлость, как и за все прочее.

— Ладно! Ладно! — ответил Сент-Малин.— Ведите ваш счет — я веду свой. Когда-нибудь мы подведем итог.

Карменж слышал эти слова, но даже не обернулся — он был всецело занят герцогиней.

Внизу никто уже не помешал ему пройти: те из его товарищей, которые не поднялись в башенку, втихомолку несомненно осуждали насильственные действия Сент-Малина.

Эрнотон подвел герцогиню к ее носилкам, возле которых стояли на страже двое ее слуг.

Почувствовав себя в безопасности, герцогиня пожала Эрнотону руку со словами:

— Сударь, после оскорбления, от которого, несмотря на всю вашу храбрость, вы не смогли меня оградить, нам нельзя больше встречаться в этом месте. Прошу вас, поищите поблизости дом, который можно было бы купить или нанять весь, целиком; в скором времени, будьте покойны, я дам знать о себе.

— Прикажете проститься с вами, сударыня? — спросил Эрнотон, почтительно кланяясь в знак повиновения данным ему приказаниям, слишком лестным для его самолюбия, чтобы он стал возражать против них.

— Еще нет, господин де Карменж; проводите мои носилки до Нового моста, а то я боюсь, как бы этот негодяй не пошел за мной следом и не узнал таким образом, где я живу.

У Нового моста, тогда вполне заслуживавшего это название, так как еще семи лет не прошло с того времени, как зодчий Дюсерсо перебросил его через Сену,— у Нового моста герцогиня поднесла свою руку к губам Эрнотона и сказала:

— Теперь, сударь, ступайте.

— Осмелюсь ли спросить, сударыня, когда я снова увижу вас?

— Это зависит от быстроты, с которой вы выполните мое поручение, и самая эта быстрота будет для меня мерилом вашего желания снова увидеть меня.

— О! Сударыня, в таком случае надейтесь на меня!

— Отлично! Ступайте, мой рыцарь!

И герцогиня вторично протянула Эрнотону свою руку для поцелуя.

«Как странно,— подумал молодой человек, поворачиваясь назад,— я несомненно нравлюсь этой женщине, и, однако, она нимало не тревожится о том, убьет или не убьет меня головорез Сент-Малин».

Эрнотон вернулся в гостиницу, дабы никто не имел права предположить, будто он испугался возможных последствий своего столкновения с Сент-Малином.

Разумеется, он твердо решил нарушить все приказы, все клятвы и при первом грубом слове Сент-Малина уложить его на месте.

Любовь и самообладание, оскорбленные одновременно, пробудили в нем такую безудержную отвагу, что он чувствовал себя в силе бороться с десятью противниками сразу.

Эта решимость сверкала в его глазах, когда он ступил на порог «Гордого рыцаря».

Госпожа Фурнишон, которая со страхом ожидала его возвращения, вся дрожа, стояла у двери.

Увидев Эрнотона, она утерла слезы, словно долго плакала перед тем, и, обхватив молодого человека за шею, принялась просить у него прощения.

Славная трактирщица была не так уж непривлекательна, чтобы Эрнотон мог долго на нее сердиться. Поэтому он заверил госпожу Фурнишон, что не питает к ней никакой злобы и что только ее вино всему причиной.

Пока это объяснение происходило на пороге гостиницы, гасконцы горячо обсуждали за ужином событие, в тот вечер бесспорно сосредоточившее на себе всеобщее внимание. Многие порицали Сент-Малина с прямотой, столь характерной для гасконцев, когда они среди своих.

Некоторые воздержались от суждения, видя, что их товарищ сидит насупясь, плотно сжав губы, погруженный в глубокое раздумье.

— Что до меня,— во всеуслышание заявил Гектор де Биран,— я считаю, что господин де Сент-Малин кругом неправ, и, будь я на месте Эрнотона де Карменжа, Сент-Малин сейчас лежал бы под этим столом, а не сидел бы за ним.

Сент-Малин поднял голову и посмотрел на Гектора де Бирана.

— Я знаю, что говорю,— сказал тот,— и поглядите-ка — вон там, на пороге, стоит некто, видимо разделяющий мое мнение.

Все посмотрели туда, куда указывал молодой дворянин, и увидели бледного как смерть Эрнотона, неподвижно стоявшего в дверях.

Эрнотон сошел с порога, словно статуя командора со своего пьедестала, и направился прямо к Сент-Малину.

Видя, что он приближается, все наперебой стали кричать:

— Подите сюда, Эрнотон!.. Садитесь сюда, Карменж, возле меня есть свободное место!..

— Благодарю,— ответил молодой человек,— я хочу сесть рядом с господином де Сент-Малином.

Сент-Малин поднялся со своего места. Все впились в него глазами. Но выражение его лица мгновенно изменилось.

— Я подвинусь, сударь,— сказал он без всякого раздражения,— вы сядете там, где вам будет угодно, и вместе с тем я искренне, чистосердечно прошу извинить меня за мое нелепое поведение; я был пьян, вы сами это сказали. Простите меня!

Заявление Сент-Малина нисколько не удовлетворило Эрнотона, хотя было ясно, что сорок три гасконца, в живейшей тревоге ожидавших, чем кончится эта сцена, ни одного слова не пропустили мимо ушей.

Но, услышав радостные крики, тотчас же раздавшиеся со всех сторон, Эрнотон понял, что ему следует притвориться, будто он полностью отомщен.

В то же время взгляд, брошенный им на Сент-Малина, убедил его, что следует быть настороже.

«Как-никак этот негодяй храбр,— подумал Эрнотон,— и если он сейчас идет на уступки, значит, вынашивает какой-то злодейский замысел».

Стакан Сент-Малина был полон до краев. Он налил вина Эрнотону.

— Мир! Мир! — воскликнули все, как один.— Пьем за примирение Карменжа и Сент-Малина!

Карменж воспользовался тем, что звон стаканов и шум общей беседы заглушали его голос, и, наклонясь к Сент-Малину, сказал ему, любезно улыбаясь, дабы никто не мог догадаться о значении его слов:

— Господин де Сент-Малин, вот уже второй раз вы меня оскорбляете и не даете мне удовлетворения; берегитесь: при третьем оскорблении я вас убью, как собаку.

— Сделайте милость, сударь,— ответил Сент-Малин,— ибо — слово дворянина! — на вашем месте я поступил бы совершенно так же.

И два смертельных врага чокнулись, словно лучшие друзья.

XXIX. О том, что происходило в таинственном доме

В то время как сквозь ставни гостиницы «Гордый рыцарь» струился свет и вырывалось шумное веселье, в таинственном доме, который до сих пор наши читатели знали только с виду, происходило необычное движение.

Слуга с лысой головой сновал взад и вперед, перенося тщательно завернутые вещи, которые он укладывал в чемодан.

Окончив эти приготовления, он зарядил пистолет и проверил, легко ли вынимается из бархатных ножен кинжал с широким лезвием, который он затем привесил к цепи, заменявшей ему пояс; к этой цепи он прикрепил также свой пистолет, связку ключей и молитвенник, переплетенный в черную шагреневую кожу.

Пока он занимался этим, чьи-то шаги, легкие, как поступь тени, послышались в комнатах верхнего этажа и скользнули по лестнице.

На пороге появилась бледная, похожая на призрак женщина в белом покрывале. Голосом нежным, как пение птички в лесной чаще, она спросила:

— Реми, вы готовы?

— Да, сударыня, и я дожидаюсь только вашего чемодана.

— О, Реми, мне не терпится быть с отцом! Я целый век не видала его.

— Да ведь, сударыня, вы покинули его всего три месяца назад,— возразил Реми.— Разлука не более продолжительна, чем обычно.

— Реми, вы такой искусный врач, разве вы не признались, что моему отцу недолго осталось жить?

— Я только выражал опасение, а не предсказывал будущее; иногда господь бог забывает о стариках, и они — странно сказать! — продолжают жить по привычке.

Реми умолк, так как, по совести, не мог сказать ничего успокоительного.

Собеседники предались унылому раздумью.

— На какой час вы заказали лошадей? — спросила наконец таинственная дама.

— К двум часам пополуночи.

— Только что пробило час.

— Да, сударыня.

— Никто нас не подстерегает на улице, Реми?

— Никто.

— Даже этот несчастный молодой человек?

— Даже он отсутствует.

Реми вздохнул.

— Вы это говорите как-то странно, Реми.

— Дело в том, что и он принял решение.

— Какое? — встрепенувшись, спросила дама.

— Больше не видеться с нами или по крайней мере уже не искать встреч...

— Куда же он намерен идти?

— Туда же, куда идем мы все,— к покою.

— Даруй ему, господи, вечный покой,— ответила дама голосом холодным и мрачным, как погребальный звон.— И однако...— Она умолкла.

— И однако?..— вопросительно повторил Реми.

— Человек его возраста, с его именем и положением должен надеяться на будущее!

— А надеетесь ли вы на будущее, сударыня, чей возраст, имя, положение столь же завидны?

В глазах дамы вспыхнул зловещий огонек.

— Да, Реми,— ответила она,— надеюсь, раз я живу, но погодите...— Она насторожилась: — Мне кажется, я слышу конский топот.

— И мне тоже кажется.

— Подъехали к двери, Реми.

Реми сбежал по лестнице и подошел к входной двери в ту минуту, когда кто-то трижды громко стукнул дверным молотком.

— Кто тут? — спросил Реми.

— Я,— ответил дрожащий, надтреснутый голос,— я, Граншан, камердинер барона.

— О боже! Граншан, вы в Париже! Сейчас вам отопру.

Он открыл дверь и шепотом спросил:

— Откуда держите путь?

— Из Меридора.

— Входите, входите скорей! О боже!

Сверху донесся голос дамы:

— Ну что, Реми, подали лошадей?

— Нет, сударыня,— ответил Реми и, снова обратясь к старику, спросил: — Что случилось, Граншан?

— Вы не догадываетесь? — спросил верный слуга.

— Увы, догадываюсь; но, ради всего святого, не сообщайте ей это печальное известие сразу!

— Реми, Реми,— сказал тот же голос,— вы, кажется, с кем-то разговариваете?

— Да, сударыня.

Дама сошла вниз и появилась в конце коридора, который вел к входной двери.

— Кто здесь? — спросила она.— Никак, Граншан?

— Да, сударыня, это я,— печально, смиренно ответил старик, обнажая седую голову.

— Граншан, ты! О боже! Предчувствие не обмануло меня — отец мой умер!

— Да, сударыня,— ответил Граншан, забыв все предупреждения Реми.— Да, Меридор остался без хозяина.

Бледная дама сохранила, однако, спокойствие и твердость: тяжкий удар не сломил ее.

Видя ее столь покорной судьбе и столь мрачной, Реми подошел к ней и ласково коснулся ее руки.

— Как он умер? — спросила дама.— Скажите мне все, друг мой!

— Сударыня, господин уже некоторое время не вставал со своего кресла, а неделю назад с ним приключился

третий удар. Он в последний раз с трудом произнес ваше имя, затем лишился речи и в ночь скончался...

Диана (так звали даму) знаком поблагодарила старого слугу и, не сказав более ни слова, поднялась в свою спальню.

— Наконец-то она свободна,— прошептал Реми, еще более мрачный и бледный, чем она.— Идемте, Граншан, идемте!

Спальня дамы помещалась на втором этаже и освещалась только небольшим оконцем, выходившим во двор.

Обставлена эта комната была богато, но от всего в ней веяло мрачностью. Ни цветка, ни драгоценностей, ни позолоты; вместо золота и серебра — всюду дерево и вороненая сталь; в углу комнаты висел портрет мужчины в раме черного дерева, на него падал свет из окна, очевидно прорубленного для этой цели.

Перед портретом дама опустилась на колени; ее сердце теснила скорбь, но глаза оставались сухими.

На этот благородный лик Диана устремила взор, полный неизъяснимой любви и нежности, словно надеясь, что он оживет и откликнется.

Художник изобразил молодого человека лет двадцати восьми — тридцати; он лежал на софе полураздетый, из раны на обнаженной груди сочилась кровь, правая, изувеченная рука свесилась с ложа, но еще сжимала обломок шпаги.

Вместо имени на раме, под портретом, красными как кровь буквами были начертаны слова:

«Aut Caesar, aut nihil»[1].

Дама простерла к портрету руки и заговорила с ним так, как обычно говорят с богом.

— Я умоляла тебя ждать,— сказала она,— хотя твоя возмущенная душа алкала мести; но ведь мертвые видят все, и ты, любовь моя, видел, что я осталась жить лишь для того, чтобы не стать отцеубийцей; мне надлежало умереть вместе с тобой, но моя смерть убила бы отца. Ты ведь знаешь, у твоего окровавленного, бездыханного тела я дала священный обет: я поклялась воздать кровью за кровь, смертью за смерть... Ты ждал, мой любимый, ты ждал — благодарю тебя! Теперь я свободна; теперь последнее звено, приковывавшее меня к земле, разорвано

[1] Или Цезарь, или ничто *(лат.)*.

господом — да будет благословенно имя его! Ныне я вся твоя; прочь сокрытие, прочь тайные козни! Я могу действовать совершенно явно, ибо теперь я никого не оставлю после себя на земле и вправе ее покинуть.— Она привстала и поцеловала руку, казалось свесившуюся за край рамы.— Скоро я приду к тебе, и ты наконец ответишь мне, дорогая тень, с которой я столько говорила, никогда не получая ответа.

Умолкнув, Диана поднялась с колен так почтительно, словно кончила беседовать с самим богом, и села на дубовую скамейку.

— Бедный отец! — прошептала она бесстрастным голосом, который, казалось, уже не принадлежал человеческому существу.

Затем она погрузилась в глубокое раздумье, по-видимому дававшее ей забвение тяжкого горя в настоящем и несчастий, пережитых в прошлом. Вдруг она выпрямилась и молвила:

— Да, так будет лучше... Реми!

Верный слуга, вероятно, сторожил у двери, так как явился в ту же минуту.

— Я здесь, сударыня,— сказал он.

— Достойный друг мой, брат мой,— молвила Диана,— проститесь со мной, потому что нам пришло время расстаться.

— Расстаться! — воскликнул молодой человек с такой скорбью в голосе, что его собеседница вздрогнула.— Что вы говорите, сударыня!

— Да, Реми, теперь, когда исполнение близится, теперь, когда препятствие отпало, я не отступаю, нет; но я не хочу увлечь за собой на путь преступления душу возвышенную и незапятнанную, поэтому, друг мой, вы оставите меня.

Реми выслушал слова графини Монсоро с видом мрачным и почти надменным.

— Сударыня,— ответил он,— неужели вы воображаете, что перед вами расслабленный старец? Сударыня, мне двадцать шесть лет, я полон кипучей жизненной силы, лишь по видимости иссякшей во мне. Если я, труп, извлеченный из могилы, еще живу, то лишь для того, чтобы совершить некое ужасное деяние. Не отделяйте же свой замысел от моего, сударыня, раз эти два мрачных замысла так долго обитали под одной кровлей; куда бы вы ни на-

правлялись, я пойду с вами; что бы вы ни предприняли, я помогу вам; если же, сударыня, несмотря на мои мольбы, вы будете упорствовать в решении прогнать меня...

— О,— прошептала молодая женщина,— прогнать вас! Какое слово вы произнесли, Реми!

— Если вы будете упорствовать в этом решении,— продолжал Реми, словно она ничего не ответила,— я-то знаю, что мне делать, и наши долгие изыскания, отныне бесполезные, завершатся для меня двумя ударами кинжала: один из них поразит сердце известного вам лица, другой — мое собственное.

— Реми! Реми! — вскрикнула Диана, приближаясь к молодому человеку и повелительно простирая руку над его головой.— Реми, не говорите так! Жизнь того, кому вы угрожаете, не принадлежит вам, она — моя. Вы знаете, что произошло, Реми, и это не сон. Клянусь вам, в день, когда я пришла поклониться уже охладевшему телу того, кто...— Она указала на портрет.— В тот день — говорю я вам — я прильнула устами к отверстой ране, и тогда из глубины ее ко мне воззвал голос, его голос, говоривший: «Отомсти за меня, Диана, отомсти за меня!»

Верный слуга опустил голову.

— Стало быть, мщение принадлежит мне, а не вам,— продолжала Диана.— К тому же, ради кого он умер? Ради меня и из-за меня.

— Я должен повиноваться вам, сударыня,— ответил Реми.— Кто велел разыскать меня среди трупов, которыми эта комната была усеяна? Вы! Кто исцелил мои раны? Вы!.. Кто меня скрывал? Вы, вы, иными словами — вторая половина души того, за кого я с такой радостью умер бы! Итак, приказывайте, и я буду повиноваться вам, только не велите покинуть вас!

— Пусть так, Реми: разделите мою судьбу; вы правы, уже ничто не разлучит нас.

Реми указал на портрет и сказал решительно:

— Сударыня, его убили вероломно, и посему отомстить за него тоже надлежит вероломно... Да, вы еще не знаете, что сегодня ночью я нашел секрет aqua tofana[1] — этого яда Медичи.

— Правда?

— Идемте, идемте, сударыня, сами увидите!

[1] Аква тофана *(лат.)* — один из сильнейших ядов, широко применявшихся в Италии в XVI—XVII веках.

XXX. Лаборатория

Реми повел Диану в соседнюю комнату, нажал пружину, скрытую под паркетом, и открыл потайной люк.

В отверстие была видна крутая и узкая лестница. Реми первый спустился на несколько ступеней и протянул Диане руку; опираясь на нее, Диана последовала за ним. Двадцать ступенек этой лестницы вели в подземелье, вся обстановка которого состояла из печи с огромным очагом, квадратного стола, двух плетеных стульев и, наконец, множества стеклянных и металлических сосудов.

Единственными обитателями этого мрачного тайника были безгласная коза и безмолвные птицы, но они казались призраками тех живых существ, обличье которых носили.

В печи, едва тлея, догорал огонь.

Из змеевика перегонного куба, стоявшего на очаге, медленно стекала золотистая жидкость. Капли падали во флакон, сделанный из белого стекла толщиной в два пальца и вместе с тем изумительно прозрачного.

Очутившись среди всех этих предметов странного вида и назначения, Диана не выказала ни изумления, ни страха; видимо, обычные житейские впечатления нимало не трогали эту женщину, уже пребывавшую вне жизни.

Молодой человек зажег лампу, приблизился к глубокому колодцу, вырытому у одной из стен подземелья, взял ведро и, привязав его к длинной веревке, опустил в воду, зловеще черневшую в глубине; послышался глухой всплеск, и минуту спустя Реми вытащил ведро, до краев полное воды, ледяной и чистой, как кристалл.

— Подойдите, сударыня,— сказал Реми.

В это внушительное количество воды он уронил одну-единственную каплю жидкости, содержавшейся во флаконе, и вода мгновенно окрасилась в желтый цвет; затем желтизна исчезла, и вода спустя десять минут снова стала совершенно прозрачной.

Лишь неподвижность взгляда Дианы свидетельствовала о глубоком внимании, с которым она следила за этими превращениями.

— Что же дальше? — спросила она.

— Что дальше? Окуните в эту воду, не имеющую ни цвета, ни вкуса, ни запаха, цветок, перчатку, носовой платок; пропитайте ею мыло, налейте в кувшин, из кото-

рого ее будут брать, чтобы мыть руки или лицо,— и вы увидите, как это видели при дворе Карла Девятого, что цветок погубит жертву своим ароматом, перчатка отравит соприкосновением с кожей, мыло убьет, проникая в поры.

— Вы уверены в том, что говорите, Реми? — спросила Диана.

— Все эти опыты проделал я, сударыня; поглядите на птиц — они уже не могут спать и не хотят есть; они отведали отравленной воды. Поглядите на козу, которая поела травы, политой такой водой: коза обречена, если только не обретет на приволье какого-нибудь противоядия, которое животные умеют находить чутьем, а люди не знают.

— Можно посмотреть этот флакон, Реми? — спросила Диана.

— Да, сударыня, но погодите немного!

С бесконечными предосторожностями Реми отъединил флакон от змеевика, закупорил горлышко кусочком мягкого воска, закрыл сверху обрывком шерсти и подал флакон своей спутнице.

Диана взяла его без малейшего волнения и, поглядев на густую жидкость, которой он был наполнен, сказала:

— Прекрасно; когда придет время, мы сделаем выбор между букетом, перчатками и кувшином с водой. А хорошо ли эта жидкость сохраняется в металле?

— Она его разъедает.

— Но ведь флакон может разбиться?

— Не думаю: вы видите, какой толщины стекло; впрочем, мы заключим его в золотой футляр.

— Стало быть, вы довольны, Реми? — спросила Диана, и на губах ее заиграла бледная улыбка.

— Доволен, как никогда, сударыня,— ответил Реми.— Наказывать злодеев — значит применять священное право самого господа бога.

— Слушайте, Реми, слушайте...— Диана насторожилась.

— Вы что-нибудь услыхали?

— Да... как будто стук копыт, Реми; это, наверно, наши лошади.

— Весьма возможно, сударыня. Ведь назначенный час уже близок, но теперь я их отошлю.

— Почему? Вместо того чтобы ехать в Меридор, Реми, мы поедем во Фландрию. Оставьте лошадей!

— А! Понимаю.

Теперь в глазах слуги сверкнул луч радости, который можно было сравнить только с улыбкой, скользнувшей по губам Дианы.

— Но Граншан...— тотчас прибавил он.— Что делать с Граншаном?

— Граншан останется в Париже и продаст этот дом, который нам уже не нужен. Но вы должны вернуть свободу несчастным, ни в чем не повинным животным, которых в силу необходимости заставили страдать.

— Вы правы, сударыня: если кто-нибудь и откроет теперь тайну нашего подземелья, он подумает, что здесь жил алхимик. В наши дни колдунов еще жгут, но алхимиков уважают.

Реми взял флакон из рук Дианы и тщательно завернул его. В эту минуту в наружную дверь постучали.

— Это ваши люди, сударыня, вы не ошиблись. Подите скорее наверх, а я тем временем закрою люк.

Диана застала Граншана у двери — разбуженный шумом, он пошел открыть ее. Старик немало удивился, услышав о предстоящем отъезде своей госпожи; она сообщила ему об этом, не сказав, куда держит путь.

— Граншан, друг мой,— молвила она,— Реми и я, мы отправляемся в паломничество по обету, данному уже давно; никому не говорите об этом путешествии и решительно никому не открывайте моего имени.

— Все исполню, сударыня, клянусь вам,— ответил старый слуга.— Но ведь я еще увижусь с вами?

— Разумеется, Граншан, разумеется... Да, к слову сказать, этот дом нам больше не нужен.

Диана вынула из шкафа связку бумаг.

— Вот все документы на право владения им; вы его сдадите внаймы или продадите, а сами возвратитесь в Меридор.

— А если я найду покупщика, сударыня, то сколько взять за дом?

— Сколько хотите.

— И деньги привезти в Меридор?

— Оставьте их себе, славный мой Граншан.

— Что вы, сударыня! Такую большую сумму?

— Конечно! Разве не моя святая обязанность вознагра-

дить вас за верную службу, Граншан? И разве, кроме моего долга вам, я не должна также уплатить по обязательствам моего отца?

— Но, сударыня, без купчей, без доверенности я ничего не могу сделать.

— Он прав,— заметил Реми.

— Найдите способ все уладить,— сказала Диана.

— Нет ничего проще: дом куплен на мое имя, я подарю его Граншану, и тогда он будет вправе продать его кому захочет.

Реми взял перо и под купчей проставил дарственную запись.

— А теперь прощайте,— сказала графиня Монсоро Граншану, сильно расстроенному тем, что он остается в доме совершенно один,— прощайте, Граншан; велите подать лошадей к крыльцу, а я пока закончу приготовления.

Диана поднялась к себе, кинжалом вырезала портрет из рамы, завернула в шелковую ткань и положила в свой чемодан. Зиявшая пустотой рама, казалось, еще красноречивее прежнего повествовала о скорби, свидетельницей которой она была в этом доме.

XXXI. О том, что делал во Фландрии монсеньер Франсуа, принц Французский, герцог Анжуйский и Брабантский, граф Фландрский

Теперь читатель разрешит нам перенестись во Фландрию, к его светлости герцогу Анжуйскому, который недавно получил титул герцога Брабантского и на помощь которому, как известно, выступил главный адмирал Франции Анн Дэг, герцог де Жуаез.

За восемьдесят лье к северу от Парижа, над лагерем, раскинувшимся на берегу Шельды, развевались французские знамена. Дело было ночью; бесчисленные бивачные огни огромным полукругом окаймляли Шельду, такую полноводную у Антверпена, и отражались в ее глади.

С высоты городских укреплений часовые видели, как поблескивают мушкеты французских часовых — столь же неопасные благодаря ширине реки, отдалявшей вражескую армию от города, как те зарницы, что сверкают на горизонте в теплый летний вечер.

То было войско герцога Анжуйского.

Герцог Анжуйский слыл человеком завистливым, честолюбивым и порывистым; рожденный у подножия престола, он не способен был терпеливо ждать, покуда смерть расчистит ему дорогу. При Карле IX он стремился получить наваррский престол, затем престол самого Карла IX и, наконец, престол, занятый его братом Генрихом, бывшим королем Польским, чело которого венчали две короны, что вызывало жгучую зависть герцога Анжуйского, не сумевшего завладеть хотя бы одной.

Тогда он ненадолго обратил свои взоры на Англию, где властвовала женщина, и, чтобы получить престол, он просил руки этой женщины, хотя она звалась Елизаветой и была на двадцать лет старше его. Судьба улыбнулась ему, и этот пасынок счастья внезапно увидел себя взысканным милостью могущественной королевы, до того времени недосягаемой для смертных,— Елизавета обручилась с ним. Фландрия предлагала ему корону.

Мы не притязаем на звание историка; если мы иной раз становимся им, то лишь тогда, когда роман возвышается до уровня истории. Настало время проникнуть нашим пытливым взором в жизнь герцога Анжуйского, постоянно соприкасавшуюся с величественными путями королей и поэтому полную то мрачных, то блистательных событий, которые обычно отмечают лишь судьбу коронованных особ.

Итак, расскажем в немногих словах эту жизнь. Увидев, что его брат, Генрих III, запутался в своей распре с Гизами, герцог Анжуйский перешел на сторону Гизов, но вскоре убедился, что они, в сущности, преследуют одну лишь цель — заменить собою династию Валуа на французском престоле. Он порвал с Гизами, но этот разрыв для него был сопряжен с опасностью, и казнь Сальседа показала, какое значение самолюбивые герцоги Лотарингские придавали дружеским чувствам герцога Анжуйского.

Тогда-то к нему обратились фламандцы; измученные владычеством Испании, ожесточенные кровавыми зверствами герцога Альбы[1], обманутые лжемиром, который с ни-

[1] Герцог Альба (1508—1582) — испанский полководец, наместник Нидерландов, где вызвал всеобщую ненависть своей жестокостью.

ми заключил дон Хуан Австрийский[1], воспользовавшийся этим миром, чтобы вновь захватить Намюр и Шарлемон, фламандцы призвали к себе на помощь Вильгельма Нассауского, принца Оранского[2], и назначили его генерал-губернатором Брабанта.

Два слова об этом новом персонаже, который занимает значительное место в истории, а в нашем рассказе появляется лишь ненадолго.

Вильгельму Нассаускому, принцу Оранскому, в ту пору минуло пятьдесят лет. С раннего детства он воспринял суровые принципы Реформации[3] и юношей уяснил себе величие своей миссии. Эта миссия, по глубокому убеждению Вильгельма, вверенная ему свыше, заключалась в создании Голландской республики, которую он и создал впоследствии. В молодости он был призван ко двору Карла V. Старик император отлично знал людей; он по достоинству оценил Вильгельма, и нередко этот монарх, владевший самой обширной державой, когда-либо объединенной под одним скипетром, советовался с юношей по самым сложным вопросам, касавшимся Нидерландов. Более того, молодому человеку не было и двадцати четырех лет, когда Карл V в отсутствие знаменитого Филибера — Эммануила Савойского — поручил ему командование армией, воевавшей во Фландрии. Вильгельм показал себя достойным этого доверия: он держал в страхе герцога Неверского и Колиньи[4] — двух наиболее выдающихся полководцев того времени — и на глазах у них укрепил Филиппвиль и Шарлемон. На плечо Вильгельма Нассауского опирался Карл V, сходя со ступенек трона в день своего отречения от престола.

Тогда на сцену выступил Филипп II, и, хотя Карл просил своего сына относиться к Вильгельму, как к брату, Вильгельм вскоре понял, что Филипп — один из тех государей, которые предпочитают не иметь родичей. В сознании Вильгельма укоренилась великая мысль об освобождении Голландии и раскрепощении Фландрии[1] — мысль, которая, быть может, навсегда осталась бы сокрытой от всех, если бы Карл V не вздумал сменить императорскую мантию на монашескую рясу.

С этого дня Вильгельм взял на себя ту роль, в которой прославился как один из величайших актеров драмы, именуемой мировой историей. Постоянно побеждаемый в борьбе против подавляющего могущества Филиппа II, он постоянно возобновлял эту борьбу, усиливаясь после каждого поражения; всякий раз он набирал новое войско взамен прежнего, обращенного в бегство или разгромленного, и появлялся со свежими силами, всегда приветствуемый как освободитель.

Среди этих непрестанно чередовавшихся нравственных побед и вещественных поражений Вильгельм, находясь в Монсе, узнал о кровавых ужасах Варфоломеевской ночи.

То был жестокий удар, поразивший Нидерланды. Голландия и кальвинистская[2] часть Фландрии потеряли в этой ужасающей резне наиболее отважных своих союзников — французских гугенотов.

Вильгельм отступил; из Монса он отвел войско к Рейну и стал выжидать, как события обернутся в дальнейшем.

События редко предают правое дело.

Внезапно разнеслась весть, всех поразившая своей неожиданностью. Противный ветер погнал морских гезов[3] — были гезы морские и гезы лесные — к порту Бриль. Видя, что нет никакой возможности вернуться в открытое море, гезы покорились стихии, вошли в гавань и, движимые отчаянием, приступом взяли город, уже соорудивший для них виселицы. Овладев городом, они прогнали из его окрестностей испанские гарнизоны и, не находя в своей

---

[1] Дон Хуан Австрийский (1547—1578) — испанский полководец, наместник в Нидерландах (1576—1578).

[2] Вильгельм Оранский (1533—1584) — видный деятель нидерландской буржуазной революции.

[3] Реформация — широкое общественно-политическое движение, направленное против католической церкви; Реформация распространилась в XVI веке на Германию, Швейцарию, Англию, Францию и другие страны.

[4] Колиньи (1519—1572) — адмирал, один из руководителей партии гугенотов, был убит в Варфоломеевскую ночь.

[1] Фландрия входила в состав владений испанского короля Филиппа II. В начале 60-х годов XVI века во Фландрии развернулось народное движение, направленное против королевской власти и католической церкви.

[2] Кальвинисты — сторонники Жана Кальвина (1509—1564), основателя протестантского вероучения в Швейцарии, позже распространившегося и в других странах.

[3] Гезы — нищие. В период нидерландской революции прозвище народных повстанцев, которые на суше (лесные гезы) и на море (морские гезы) вели борьбу с господствовавшими в Нидерландах испанцами (XVI в.).

среде человека, достаточно сильного, чтобы извлечь пользу из успеха, которым были обязаны случаю, призвали принца Оранского; Вильгельм тотчас явился: нужно было вовлечь в борьбу всю Голландию и навсегда уничтожить возможность примирения с Испанией.

По настоянию Вильгельма был издан эдикт, запрещавший в Голландии католический культ, подобно тому как протестантский культ был запрещен во Франции.

С обнародованием этого эдикта снова началась война; герцог Альба выслал против восставших своего собственного сына, герцога Толедского, который отнял у них несколько городов; но эти поражения не только не лишили голландцев мужества, а, казалось, придали им силы; взялись за оружие все от Зейдер-Зе до Шельды; Испания струхнула, отозвала Альбу и на его место назначила дона Луиса де Реквезенс, одного из победителей при Лепанто.

Тут для Вильгельма начался ряд новых несчастий. Испанцы вторглись в Голландию, осадили Лейден и разграбили Антверпен. Казалось, все было потеряно, как вдруг провидение вторично пришло на помощь только что возникшей республике: Реквезенс умер в Брюсселе.

Восьмого ноября 1576 года, то есть спустя четыре дня после разгрома Антверпена, соединенные провинции подписали договор, известный под названием «Гентский мир», обязавшись оказывать друг другу помощь в деле освобождения страны «от гнета испанцев и других иноземцев».

Вернулся дон Хуан, и с его появлением возобновились бедствия нидерландцев. Не прошло и двух месяцев, как Намюр и Шарлемон были взяты.

Фламандцы ответили на эти два поражения тем, что избрали принца Оранского генерал-губернатором Брабанта.

Пришел и дону Хуану черед умирать. Положительно, господь бог действовал в пользу освобождения Нидерландов. Преемником дона Хуана стал Александр Фарнезе[1].

То был государь весьма искусный, очаровательный в обращении с людьми, кроткий и сильный одновременно, мудрый политик, хороший полководец; Фландрия встрепенулась, когда он впервые назвал ее другом, вместо того чтобы поносить ее как бунтовщицу.

[1] Александр Фарнезе (1545—1592) — полководец и наместник Испании в Нидерландах (1578—1592).

Вильгельм понял, что Фарнезе своими обещаниями достигнет для Испании большего, нежели герцог Альба своими зверствами.

По его настоянию провинции 29 января 1579 года заключили Утрехтскую унию, ставшую основой государственного строя Голландии. Тогда же, опасаясь, что он один не в силах будет осуществить освобождение, Вильгельм добился того, что герцогу Анжуйскому было предложено владычество Нидерландами с условием оставить в неприкосновенности привилегии голландцев и фламандцев и уважать свободу вероисповедания. Этим был нанесен тягчайший удар Филиппу II. Он ответил на него тем, что назначил награду в двадцать пять тысяч экю тому, кто убьет Вильгельма. Генеральные штаты, собравшиеся в Гааге, немедленно объявили Филиппа II лишенным нидерландского престола.

Однако посулы Филиппа II принесли свои плоды. Во время празднества, устроенного в честь прибытия герцога Анжуйского, грянул выстрел, и Вильгельм зашатался — он был ранен.

Под влиянием всех этих событий Вильгельм проникся глубокой грустью, которую лишь изредка просветляла задумчивая улыбка. Фламандцы и голландцы почитали этого замкнутого человека, как самого бога,— ведь они сознавали, что в нем, в нем одном все их будущее; когда он медленно шел, закутанный в просторный плащ, надвинув на лоб широкополую шляпу, мужчины сторонились, давая ему дорогу, а матери с суеверным благоговением указывали на него детям, говоря: «Смотри, сын мой, вот идет Молчаливый!»

Итак, по предложению Вильгельма фламандцы избрали Франсуа Валуа герцогом Брабантским, графом Фландрским — иначе говоря, своим верховным властителем. Это не мешало, а, напротив, даже способствовало тому, что Елизавета по-прежнему подавала ему надежду на брачный союз с ней. В этом союзе она усматривала возможность присоединить к английским кальвинистам кальвинистов фландрских и французских; быть может, мудрая Елизавета грезила о тройной короне.

Принц Оранский как будто относился к герцогу Анжуйскому благожелательно и временно облек его покро-

вом своей собственной популярности, но был готов лишить его этого блага, как только, по его, Вильгельма, мнению, придет пора свергнуть власть Француза, так же как в свое время он свергнул тиранию Испанца.

Едва только французский принц совершил свой въезд в Брюссель, Филипп II предложил герцогу Гизу продолжить заключенный в свое время с дон Хуаном договор, согласно которому Лотарингец обязывался поддерживать испанское господство во Фландрии, взамен чего Испанец обещал помочь Лотарингцу осуществить мечту семейства Гизов, а именно: ни на минуту не прекращать усилий, дабы завладеть французским королевством.

Гиз согласился, да он и не мог поступить иначе: Филипп II грозил, что препроводит копию договора Генриху Французскому; вот тогда Испанец и Лотарингец подослали к герцогу Анжуйскому, победоносному властелину Фландрии, испанца Сальседа, приверженца Лотарингского дома, чтобы убить его из-за угла. Действительно, убийство завершило бы все, к полному удовольствию как испанского короля, так и герцога Лотарингского. Со смертью герцога Анжуйского не осталось бы ни претендента на престол Фландрии, ни наследника французской короны. Сальсед не успел выполнить свой замысел — его схватили и четвертовали на Гревской площади.

Итак, герцог Анжуйский и Молчаливый — оба остались в живых; внешне — добрые друзья, на деле — соперники, еще более непримиримые, чем те, кто подсылал к ним убийц.

Мы уже упоминали, что герцога Анжуйского приняли недоверчиво. Брюссель раскрыл ему свои ворота, но Брюссель был ни Фландрией, ни Брабантом.

Поэтому, действуя то убеждением, то силой, герцог начал постепенно, город за городом, занимать строптивое Нидерландское королевство.

Фламандцы со своей стороны сопротивлялись не слишком упорно, сознавая, что герцог Анжуйский победоносно защищает их от испанцев; они не спешили принять своего освободителя, но все же принимали его.

Кончилось тем, что герцог, от природы крайне самолюбивый и поэтому воспринимавший медлительность фламандцев как поражение, стал брать силою города, которые не покорялись ему так быстро, как он того желал.

Этого-то и ждали как его союзник Вильгельм Молчаливый, принц Оранский, так и самый лютый его враг Филипп II, неусыпно следившие друг за другом.

Одержав кое-какие победы, герцог Анжуйский расположился лагерем напротив Антверпена: он решил взять этот город, который герцог Альба, Реквезенс, дон Хуан и герцог Пармский один за другим подчиняли своему игу, но который никто из них не мог поработить хотя бы на время.

Антверпен призвал герцога Анжуйского на помощь против Александра Фарнезе, но когда герцог Анжуйский вознамерился, в свою очередь, занять Антверпен, город обратил свои пушки против него.

Таково было положение, в котором Франсуа Французский находился в ту пору, когда он снова появляется в нашем повествовании,— через два дня после того, как к нему присоединился адмирал Жуаез со своим флотом.

XXXII. О том, как готовились к битве

Лагерь новоявленного герцога Брабантского раскинулся по обоим берегам Шельды; армия была хорошо дисциплинированна, но в ней царило вполне понятное волнение.

Оно было вызвано тем, что на стороне герцога Анжуйского сражалось много кальвинистов, примкнувших к нему отнюдь не из симпатии к его особе, а из желания как можно сильнее досадить испанцам и — еще более — французским и английским католикам; следовательно, воевать этих людей побудило честолюбие, а не убежденность или преданность; чувствовалось, что тотчас по окончании похода они покинут полководца или поставят ему свои условия.

На другой же стороне, то есть у неприятеля, имелись твердые, ясные принципы, существовала вполне определенная цель, а честолюбие и злоба отсутствовали.

Антверпен не отвергал Франсуа, но, уверенный в храбрости и боевом опыте своих жителей, оставлял за собой право повременить; к тому же антверпенцы знали, что стоит им протянуть руку, и, кроме герцога Гиза, внимательно наблюдавшего из Лотарингии за ходом событий,

они найдут в Люксембурге Александра Фарнезе. Почему бы не воспользоваться поддержкой Испании против герцога Анжуйского, так же как герцога призвали ранее на помощь против Испании? А уже после того, как при содействии Испании будет дан отпор герцогу Анжуйскому, можно разделаться и с Испанией.

За республиканцами стояла великая сила — железный здравый смысл.

Но вдруг они увидели, что в устье Шельды появился флот, и узнали, что этот флот приведен самым главным адмиралом Франции на помощь их врагу.

С тех пор как герцог Анжуйский осадил Антверпен, он, естественно, стал врагом его жителей.

Узнав о прибытии Жуаеза, кальвинисты герцога Анжуйского состроили почти такую же кислую мину, как сами фламандцы. Кальвинисты были весьма храбры, но и весьма ревниво оберегали свою воинскую славу; они были довольно покладисты в денежных вопросах, но терпеть не могли, когда другие пытались окорнать их лавры, да еще теми шпагами, которые в Варфоломеевскую ночь умертвили такое множество гугенотов.

Отсюда бесчисленные споры, которые начались в тот самый вечер, когда флот прибыл, и с превеликим шумом продолжались оба следующих дня.

С крепостных стен антверпенцы каждый день видели десять — двенадцать поединков между католиками и гугенотами. Происходили они на польдерах, и в реку бросали гораздо больше жертв этих дуэлей, чем французы потеряли бы людей при схватке с неприятелем.

Во всех этих столкновениях Франсуа играл роль примирителя, что было сопряжено с огромными трудностями. Он взял на себя определенные обязательства в отношении французских гугенотов; оскорблять их — значило лишить себя моральной поддержки фламандских гугенотов, которые могли оказать французам важные услуги в Антверпене.

С другой стороны, для герцога Анжуйского раздражить католиков, посланных королем, значило бы не только совершить политический провал, но и запятнать свое имя.

Прибытие этого мощного подкрепления, на которое не рассчитывал и сам герцог, вызвало смятение испанцев, а Гизов привело в неописуемую ярость. Но необходимость

считаться в лагере под Антверпеном со всеми партиями пагубно отражалась на дисциплине.

Жуаезу было не по себе среди всех этих людей, движимых столь различными чувствами; он смутно сознавал, что время успехов прошло. Предчувствие какой-то огромной неудачи носилось в воздухе, и молодой адмирал, ленивый, как истый придворный, и честолюбивый, как истый военачальник, горько сожалел о том, что явился из такой дали, дабы разделить поражение.

Он искренне думал и говорил, что решение осадить Антверпен было крупной ошибкой герцога Анжуйского. Принц Оранский, давший ему этот коварный совет, исчез, как только этому совету последовали, и никто не знал, куда он девался. Его армия стояла гарнизоном в Антверпене, он обещал герцогу Анжуйскому ее поддержку, а между тем не слышно было ни о каких раздорах между солдатами Вильгельма и антверпенцами.

Возражая против осады, Жуаез особенно настаивал на том, что Антверпен по своему значению был почти столицей: овладеть большим городом с согласия жителей было бы несомненно крупным успехом; но взять приступом вторую столицу своего будущего государства значило бы для герцога Анжуйского утратить доброе расположение фламандцев.

Свое мнение Жуаез излагал в шатре герцога в ту самую ночь, о которой мы повествуем читателю.

Пока полководцы совещались, герцог сидел или, вернее, лежал в удобнейшем кресле, которое можно было при желании превратить в диван, и слушал отнюдь не советы главного адмирала Франции, а шепот музыканта Орильи, обычно игравшего ему на лютне.

Своей подлой угодливостью, своей низкой лестью, своей готовностью оказывать самые позорные услуги Орильи прочно вошел в милость герцога.

Играя на лютне, искусно выполняя любые поручения, сообщая подробнейшие сведения о придворных и их интригах и, наконец, с изумительной ловкостью улавливая в сети любую намеченную герцогом жертву, Орильи исподволь составил себе огромное состояние, которым искусно распорядился на случай опалы; но с виду он оставался все тем же нищим музыкантом, гоняющимся за каждым экю и, как соловей, распевающим, чтобы не умереть с голоду.

Этот человек имел огромное влияние именно потому, что оно было скрыто.

Заметив, что музыкант мешает слушать важные стратегические соображения и отвлекает внимание герцога, Жуаез круто оборвал свою речь; недовольство вновь прибывшего не ускользнуло от Франсуа, который на самом деле не пропустил ни слова, сказанного Жуаезом. Он тотчас спросил:

— Что с вами, адмирал?

— Ничего, монсеньер; я жду, когда ваша светлость удосужится выслушать меня.

— Да я вас слушаю, Жуаез, я вас слушаю,— весело ответил герцог.— Видно, вы, парижане, воображаете, что, сражаясь во Фландрии, я изрядно отупел, коль скоро вы решили, что я не могу слушать двух человек одновременно. А ведь Цезарь диктовал по семи писем сразу!

— Монсеньер,— ответил Жуаез, метнув на бедного музыканта взгляд, под которым тот склонился со своим обычным притворным смирением,— я не певец и, следовательно, не нуждаюсь в аккомпанементе, когда говорю.

— Ладно, ладно! Замолчите, Орильи!.. Итак,— продолжал Франсуа,— вы, Жуаез, не одобряете моего решения приступом взять Антверпен?

— Нет, монсеньер.

— Однако этот план был одобрен военным советом!

— Потому-то я и высказываюсь так осторожно, монсеньер, что говорю после многоопытных полководцев.

И Жуаез, по придворному обычаю, раскланялся на все стороны.

Некоторые командиры тотчас заявили главному адмиралу, что согласны с ним. Другие промолчали, но знаками выразили ему свое одобрение.

— Граф де Сент-Эньян,— обратился герцог к одному из храбрейших своих военачальников,— вы-то ведь не разделяете мнения господина де Жуаеза?

— Напротив, ваше высочество, разделяю.

— Так! А я подумал, по вашей гримасе...

Все рассмеялись. Жуаез побледнел, Сент-Эньян покраснел.

— Если граф де Сент-Эньян,— сказал Жуаез,— имеет привычку таким способом выражать свое мнение, значит, он недостаточно учтивый советчик, вот и все.

— Господин де Жуаез,— взволнованно возразил де Сент-Эньян,— его высочество напрасно попрекает меня увечьем, которое я получил, служа ему; при взятии Като-Камбрези я был ранен пикой в голову и с тех пор страдаю нервными судорогами; они-то и вызывают гримасы, на которые сетует его высочество... Но то, что я сейчас сказал, господин де Жуаез не извинение, а объяснение,— гордо закончил граф, поворачиваясь к адмиралу лицом.

— Нет, сударь,— сказал Жуаез, протягивая ему руку,— это упрек с вашей стороны, и вполне справедливый.

— В чем же Сент-Эньян может упрекать вас, господин де Жуаез? Ведь он вас совсем не знает!

— В том, что я хоть на минуту мог вообразить, что господин де Сент-Эньян так мало привержен вашему высочеству, что дал вам совет взять Антверпен приступом.

— Но должно же, наконец,— воскликнул герцог,— мое положение в этой стране определиться! Я герцог Брабантский и граф Фландрский по имени и, следовательно, я должен повелевать здесь на деле! Молчаливый, который неизвестно где скрывается, сулил мне королевскую власть. Где же она? В Антверпене? А где Молчаливый? Вероятно, тоже в Антверпене. Значит, нужно взять Антверпен; тогда мы будем знать, как нам действовать дальше.

— Ах, монсеньер, кто вам дал совет штурмовать Антверпен? Принц Оранский, который исчез в ту минуту, когда нужно было выступить в поход; принц Оранский, который, предоставив вашему высочеству титуловаться герцогом Брабантским, оставил за собой управление герцогством. Монсеньер, до сих пор вы, следуя советам принца Оранского, лишь восстанавливали фламандцев против себя. Стоит вам потерпеть поражение — и все те, кто теперь не смеет взглянуть вам прямо в лицо, погонятся за вами, как трусливые псы.

— Как! Вы полагаете, что меня могут победить эти торговцы шерстью, эти пивовары?

— Эти торговцы шерстью и пивовары причинили много хлопот королю Филиппу Валуа, императору Карлу Пятому и королю Филиппу Второму — трем государям династий, достаточно славных, чтобы сравнение с ними было не так уж нелестно для вас, ваше высочество.

— Стало быть, вы опасаетесь поражения?

— Да, монсеньер.

— Пусть так, но я не отступлю!

— Ваше высочество поступит так, как ему будет угодно,— с поклоном сказал Жуаез,— и мы, со своей стороны, будем действовать так, как вы прикажете.

— Это не ответ, герцог.

— И, однако, это единственный ответ, который я могу дать вашему высочеству.

— Ну что ж, докажите мне, что я неправ; я буду очень рад, если вы меня переубедите.

— Монсеньер, поглядите на армию принца Оранского — она ведь была вашей, не так ли? И что же? Теперь, вместо того чтобы находиться рядом с вашими войсками под Антверпеном, она в Антверпене; взгляните на Молчаливого, как вы сами его называете: он был вашим другом и вашим советчиком, а теперь вы сами уверены, что он превратился в недруга; взгляните на фламандцев: когда вы были во Фландрии, они при вашем приближении вывешивали флаги на домах и лодках — теперь, завидев вас, они запирают городские ворота и направляют на вас жерла пушек, ни дать ни взять, словно вы герцог Альба. Так вот, я заявляю вам: фламандцы и голландцы, Антверпен и принц Оранский только и ждут случая объединиться против вас, и они сделают это в ту минуту, когда вы прикажете начальнику вашей артиллерии открыть огонь.

— Ну что ж,— ответил герцог Анжуйский,— стало быть, одним ударом мы побьем Антверпен и Оранского, фламандцев и голландцев.

— Нет, монсеньер, потому что у нас ровно столько людей, сколько нужно, чтобы штурмовать Антверпен, при условии, что мы будем иметь дело с одними только антверпенцами, тогда как на самом деле на вас без всякого предупреждения нападет Молчаливый.

— Итак, вы упорствуете в своем мнении?

— Каком именно?

— Что мы будем разбиты?

— Неминуемо!

— Ну что ж! Этого легко избежать, по крайней мере лично вам, господин де Жуаез,— язвительно продолжал герцог.— Мой брат послал вас сюда, чтобы оказать мне поддержку; вас не призовут к ответу, если я отпущу вас, заявив, что в поддержке не нуждаюсь.

— Вы, ваше высочество, можете меня отпустить,— сказал Жуаез,— но согласиться на это накануне боя было бы позором для меня.

Долгий гул одобрения был ответом на слова Жуаеза; герцог понял, что зашел слишком далеко.

— Любезный адмирал,— сказал он, встав со своего ложа и обнимая молодого человека,— вы не хотите меня понять. Ошибка уже совершена — неужели надобно усугублять ее? Теперь мы стоим лицом к лицу с вооруженными людьми, которые оспаривают у нас то, что сами предложили. Так неужели вы хотите, чтобы я уступил им? Тогда завтра они город за городом отберут все, что я завоевал; нет, меч обнажен — нужно разить им, не то они сразят нас.

— Раз ваше высочество так рассуждает,— ответил Жуаез,— я ни слова больше не скажу; я нахожусь здесь, чтобы повиноваться вам, монсеньер, и, верьте мне, с радостью пойду за вами, куда бы вы меня ни повели — к гибели или к победе. Однако... но нет, монсеньер...

— В чем дело?

— Я могу сказать это только вам, монсеньер.

Все присутствующие встали и отошли в глубь просторного шатра герцога.

— Говорите,— сказал он.

— Монсеньер, герцог де Гиз пытался подстроить ваше убийство; Сальсед не признался в этом на эшафоте, но признался на дыбе. Так вот, Лотарингец, играющий очень важную роль в этом деле, будет безмерно рад, если благодаря его козням нас разобьют под Антверпеном и если — как знать? — в этой битве, без всяких расходов для Лотарингии, погибнет отпрыск французской королевской династии, за смерть которого Гиз обещал так щедро заплатить Сальседу. Прочтите историю Фландрии, монсеньер, и вы увидите, что в обычае фламандцев — удобрять свою землю кровью самых прославленных государей Франции и самых благородных ее рыцарей.

Герцог покачал головой.

— Ну что ж, пусть так, Жуаез,— сказал он,— если придется, я доставлю треклятому Лотарингцу радость видеть меня мертвым, но радостью видеть меня бегущим он не насладится. Я жажду славы, Жуаез, ведь я последний в своей династии, и мне еще нужно выиграть немало сражений.

Затем герцог молвил, обратясь к сановникам, по желанию адмирала удалившимся в глубь шатра:

— Господа, штурм не отменяется; дождь перестал, сегодня ночью — в бой!

Жуаез поклонился и сказал:

— Соблаговолите, монсеньер, подробно изложить ваши приказания; мы ждем их.

— У вас, господин де Жуаез, восемь кораблей, не считая адмиральской галеры, верно?

— Да, монсеньер.

— Вы прорвете линию обороны — это будет нетрудно сделать, ведь у антверпенцев в гавани одни торговые суда; затем вы поставите ваши корабли на двойные якоря против набережной. Если набережную будут защищать, вы откроете убийственный огонь по городу и в то же время попытайтесь высадиться с вашими полутора тысячами моряков. Сухопутную армию я разделю на две половины; одной будет командовать граф де Сент-Эньян, другой — я. При первых орудийных выстрелах обе колонны разом пойдут на приступ. Конница останется в резерве, чтобы в случае неудачи прикрывать отступление отброшенной колонны; из этих трех атак одна несомненно удастся. Отряд, который первым возьмет приступом крепостную стену, пустит ракету, чтобы сплотить вокруг себя остальные отряды.

Все присутствующие поклонились принцу, выражая этим свое согласие.

— А теперь, господа,— сказал герцог,— довольно слов! Нужно немедленно разбудить солдат и, соблюдая порядок, посадить их на корабли; ни один огонек, ни один выстрел не должен выдать нашего намерения! Идите, господа, и дерзайте! Счастье, сопутствовавшее нам до сих пор, не побоится перейти Шельду вместе с нами!

Полководцы вышли из палатки герцога и отдали нужные распоряжения.

Вскоре весь этот растревоженный людской муравейник глухо зашумел, но можно было подумать, будто ветер резвится в бескрайних камышовых зарослях и высоких травах польдеров.

Адмирал вернулся на свой корабль.

XXXIII. Монсеньер

Однако антверпенцы не созерцали бездеятельно воинственных приготовлений герцога Анжуйского, и Жуаез не ошибался, полагая, что они до крайности озлоблены.

Антверпен разительно напоминал улей вечером — снаружи спокойный и пустынный, внутри же полный шума и движения.

Вооруженные фламандцы ходили дозором по улицам, баррикадировали дома, заграждали улицы двойными цепями, братались с войсками принца Оранского, которые небольшими отрядами прибывали в город. Вступил в него и сам принц Оранский, никем не узнанный, но проникнутый тем спокойствием, той твердостью, с которыми он выполнял все решения, однажды им принятые.

Принц Оранский остановился в городской ратуше; там он принял начальников отрядов городского ополчения, произвел смотр офицерам наемных войск и, наконец, собрав командиров, изложил им свои намерения.

Самым непоколебимым из них было намерение воспользоваться действиями герцога Анжуйского против Антверпена, чтобы порвать с ним. Герцог Анжуйский пришел к тому, к чему задумал его привести Молчаливый, с радостью видевший, что новый претендент на верховную власть губит себя так же, как все остальные.

В тот самый вечер, когда принц Анжуйский готовился к приступу, принц Оранский, уже два дня находившийся в Анверпене, совещался с комендантом города.

При каждом возражении, выдвигаемом комендантом против плана наступательных действий, предложенного принцем Оранским, тот качал головой с видом человека, изумленного такой нерешительностью.

Но каждый раз комендант говорил:

— Принц, вы ведь знаете, прибытие монсеньера — решенное дело; подождем же монсеньера.

Услышав это магическое слово, Молчаливый неизменно хмурил брови, но все-таки ждал. Тогда взоры присутствующих обращались к большим стенным часам, внушительно тикавшим, и казалось, все молили маятник ускорить приход того, кого ждали с таким нетерпением.

Пробило девять; неуверенность сменилась подлинной тревогой; дозорные сообщили, что во французском лагере заметно оживление.

— Господа, — воскликнул, услыхав это донесение, Молчаливый,— вы видите, время не терпит, а ничего еще не предпринято для защиты подступов к городу. Итак, господа, начнем совещаться!

Не успел он сказать этого, как ковровая завеса над дверью приподнялась, вошел служитель Ратуши и произнес одно лишь слово:

— Монсеньер!

В голосе этого человека, в той радости, которую он невольно проявил при выполнении своих скромных обязанностей, чувствовался весь восторг народа и все его доверие к тому, кого почтительно и безлично именовали «монсеньер».

Не успело отзвучать это слово, произнесенное дрожавшим от волнения голосом, как в зал вошел мужчина высокого роста, величественного вида, с головы до ног закутанный в плащ, который носил с неподражаемым изяществом.

Он учтиво поклонился всем присутствующим, но его гордый проницательный взор мгновенно распознал среди военных принца Оранского. Неизвестный тотчас подошел к нему и протянул руку, которую принц пожал горячо и с оттенком почтения. Здороваясь, они назвали друг друга «монсеньер».

После этого краткого обмена приветствиями неизвестный снял плащ. На нем была кожаная куртка, суконные штаны и высокие сапоги. Вооружен он был длинной шпагой, казавшейся частью его самого, за поясом, рядом с туго набитой сумкой, висел небольшой кинжал.

Когда он сбросил плащ, оказалось, что его сапоги до самого верха в пыли и грязи. Каждый шаг его по каменным плитам пола сопровождался мрачным звоном шпор, обагренных кровью коня, на котором он прискакал.

Он сел за стол совета и спросил:

— Ну что, монсеньер? Как обстоят дела? У вас, я полагаю, есть план и нападения и обороны?

— Мы ждали вас, монсеньер, чтобы сообщить вам его,— ответил бургомистр.

— Говорите, господа, говорите.

— Монсеньер прибыл с некоторым опозданием,— прибавил принц Оранский,— и, дожидаясь его, я вынужден был действовать.

— И хорошо сделали, монсеньер; к тому же всем известно, что действуете вы превосходно. Поверьте мне, в дороге я тоже не терял времени даром.

Затем он повернулся лицом к горожанам.

— Лазутчики донесли нам,— сказал бургомистр,— что во французском лагере готовятся выступить; французы решили идти на приступ, но нам неизвестно, с какой стороны последует атака, и поэтому мы велели расположить пушки в равных промежутках на всем протяжении укреплений.

— Это разумно,— с легкой усмешкой сказал неизвестный, украдкой взглянув на Молчаливого, не проронившего ни слова; многоопытный полководец предоставил горожанам рассуждать о войне.

— Так же мы распорядились и насчет отрядов городского ополчения,— продолжал бургомистр,— они размещены двойными рядами на всем протяжении крепостных стен, и им дан приказ тотчас ринуться туда, где произойдет нападение.

Неизвестный ничего не ответил — по-видимому, он ждал, что скажет принц Оранский.

— Однако,— продолжал бургомистр,— большинство членов совета полагает, что французы задумали не настоящее нападение, а обманное.

— С какой целью? — спросил неизвестный.

— С целью запугать нас и побудить к мирному соглашению, по которому город будет отдан французам.

Неизвестный снова взглянул на принца Оранского. На этот раз ему показалось, что губы Молчаливого искривила усмешка, сопровождавшаяся едва приметным, презрительным подергиванием плеч.

— Эх, господа,— сказал неизвестный,— вы жестоко ошибаетесь; не к обманному нападению готовятся сейчас французы, нет: вам придется выдержать самый настоящий штурм. Так вот, позвольте дать вам совет, господа: это нападение...

— Договаривайте, договаривайте, монсеньер!

— Это нападение вы предупредите: вы нападете сами!

— Отлично! — воскликнул принц Оранский.— Вот это дело!

— Сейчас, в эту самую минуту,— продолжал неизвестный, убедившись, что принц поддерживает его,— корабли господина де Жуаеза снимаются с якоря.

— Откуда вы это знаете, монсеньер? — разом воскликнули бургомистр и все члены городского совета.

— Знаю,— ответил неизвестный.

По залу пронесся недоуменный шепот, едва внятный, он, однако, коснулся слуха искусного полководца, только что появившегося на этой сцене, с тем чтобы, по всей вероятности, сыграть здесь главную роль.

— Вы в этом сомневаетесь? — спросил он спокойным тоном человека, привыкшего бороться с опасениями, вздорными притязаниями и предрассудками купцов и ремесленников.

— Мы не сомневаемся, коль скоро это говорите вы, монсеньер. Но разрешите сказать вам...

— Говорите.

— Что, если бы это было так, нас известили бы об этом...

— Кто?

— Наш морской лазутчик...





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. Монсеньер

(Продолжение)

В эту минуту какой-то человек, подталкиваемый служителем, тяжелой поступью вошел в зал.

— Ага! — воскликнул бургомистр.— Это ты, мой друг?

— Я самый, господин бургомистр,— ответил вновь пришедший.

— Монсеньер,— сказал бургомистр,— вот человек, которого мы посылали в разведку.

Вновь пришедший принадлежал к числу тех фламандцев-моряков, которых легко узнать по их характерной наружности — квадратной голове, голубым глазам, короткой шее и широким плечам; он вертел в корявых пальцах

мокрую шерстяную шапку, его грубая одежда промокла насквозь, с нее стекала вода.

— Ого-го! Храбрец вернулся вплавь,— сказал незнакомец, останавливая на моряке свой властный взгляд.

— Да, монсеньер, да,— поспешно подтвердил моряк,— Шельда широка и притом быстра.

— Говори, Гоэс, говори,— продолжал неизвестный, хорошо знавший, какую милость он оказывал простому человеку, называя его по имени.

Он правильно рассчитал: с этой минуты к нему одному стал обращаться Гоэс, хотя и был послан другим лицом.

— Монсеньер,— начал матрос,— я взял самую маленькую свою лодчонку; назвав пароль, я миновал заграждение, образованное на Шельде нашими судами, и добрался до этих проклятых французов... Ах! Простите, монсеньер!

Гоэс осекся.

— Полно, полно,— с улыбкой сказал неизвестный,— я француз только наполовину — стало быть, и проклятие поразит меня только наполовину.— И он милостиво кивнул.

Гоэс продолжал:

— Так вот, я греб в темноте, обернув весла тряпками, и вдруг услыхал оклик: «Эй вы там, в лодке, чего вам нужно?» Я решил, что этот возглас относится ко мне, и уже хотел было ответить что-нибудь наугад, но тут позади меня крикнули: «Адмиральская шлюпка!»

Неизвестный посмотрел на командиров, как бы спрашивая: «Что я вам говорил?»

— В ту же минуту,— продолжал моряк,— я ощутил сильнейший толчок... Моя лодка стала тонуть; вода захлестнула меня с головой, я погрузился в бездонную пучину; но водовороты Шельды признали во мне старого знакомого, и я снова увидел небо. Тут я догадался, что адмиральская шлюпка, на которой господин де Жуаез возвращался на свою галеру, прошла надо мной. Одному богу ведомо, каким чудом я не был потоплен.

— Спасибо, смелый мой Гоэс, спасибо,— сказал принц Оранский, счастливый, что его предположения подтвердились.— Ступай и молчи обо всем!

Он вложил в руку Гоэса туго набитый кошель. Но моряк, по-видимому, дожидался, чтобы неизвестный разрешил ему уйти.

Неизвестный сделал ему знак, выражавший благоволение, и Гоэс удалился, гораздо более обрадованный милостью неизвестного, нежели щедростью принца Оранского.

— Ну как,— спросил неизвестный бургомистра,— что вы скажете об этом донесении? Неужели вы думаете, что господин де Жуаез вернулся из лагеря на свою галеру только для того, чтобы мирно провести там ночь?

— Стало быть, вы обладаете даром предвидения, монсеньер? — воскликнули горожане.

— Не более, чем монсеньер принц Оранский, который, я уверен, во всем согласен со мной. Главное же — я знаю тех, кто находится на той стороне.— Он рукой указал на польдеры.— Итак, господа, вы должны быть в полной готовности, ибо если вы дадите врагу выгадать время, он атакует вас весьма энергично!

— Какие у вас предположения, монсеньер, насчет плана действий французов? — спросил бургомистр.

— *Вот что я считаю наиболее вероятным:* пехота целиком состоит из католиков и поэтому будет драться отдельно; конница состоит из кальвинистов и тоже будет драться отдельно. Флот подчинен господину де Жуаезу, адмирал недавно прибыл из Парижа и захочет получить свою долю воинской славы. Словом, враг предпримет атаку с трех сторон.

— Так образуем три отряда,— предложил бургомистр.

— Образуйте один-единственный отряд, господа, из лучших воинов, какие только у вас есть, остальных назначьте охранять городские укрепления. Затем сделайте энергичную вылазку в момент, когда французы меньше всего этого ожидают. Иначе вы пропали.

— Что я вам говорил, господа? — воскликнул Молчаливый.

— Для меня великая честь,— сказал неизвестный,— что, сам того не зная, я оказался одного мнения с лучшим полководцем нашего века.

Они учтиво поклонились друг другу.

— Итак,— продолжал неизвестный,— вы яростно атакуете вражескую пехоту и вражескую конницу. И надеюсь, ваши командиры сумеют отбросить осаждающих.

— А их корабли? — возразил бургомистр.— Теперь дует норд-вест, они прорвутся сквозь наши заграждения и через два часа будут в городе.

— Да ведь у вас самих в Сент-Мари, на расстоянии одного лье отсюда, стоят шесть старых судов и тридцать лодок. Это ваша баррикада, преграждающая Шельду.

— Да, да, монсеньер, совершенно верно. Откуда вы знаете эти подробности?

Неизвестный улыбнулся.

— Как видите, знаю,— ответил он.— Там-то и решится исход битвы.

— В таком случае,— продолжал бургомистр,— нужно послать нашим храбрым морякам подкрепление.

— Напротив, вы можете смело располагать четырьмя сотнями людей, которые там находятся; достаточно будет двадцати человек — сообразительных, смелых и преданных.

Антверпенцы вытаращили глаза.

— Согласны ли вы,— спросил неизвестный,— ценою потери ваших шести старых кораблей и тридцати ветхих лодок разгромить весь французский флот?

— Наши корабли и лодки не так уж стары,— сказали, переглядываясь, антверпенцы.

— Ну что ж,— воскликнул неизвестный,— оцените их, и вам оплатят их стоимость!

— Монсеньер,— ответил бургомистр, минуту-другую посовещавшись с десятниками и сотниками городского ополчения,— мы купцы, а не знатные господа, нам нужно простить некоторую нерешительность. Однако ради общего блага мы готовы на жертвы. Итак, распоряжайтесь нашими заграждениями так, как вы это находите нужным.

— Клянусь, монсеньер,— вставил Молчаливый,— вы за десять минут получили от них то, чего я добивался бы полгода.

— Итак, господа, вот что я сделаю: французы с адмиральской галерой во главе попытаются прорвать ваши заграждения. Я удвою цепи, протянутые поперек реки, но между ними и берегом будет оставлена лазейка, достаточная, чтобы неприятельский флот проскользнул в нее и оказался посреди ваших кораблей и лодок. Тогда двадцать смельчаков, которых я оставил на борту, зацепят французские суда абордажными крюками и подожгут ваши заграждения, предварительно наполненные горючими веществами, сами же быстро уплывут на лодке.

— Вы слышите,— воскликнул Молчаливый,— французский флот сгорит весь дотла!

— Да, весь,— подтвердил неизвестный,— кроме того, французы не смогут отступить ни морем, ни польдерами, потому что вы откроете шлюзы Мехельна, Берхема, Льера, Дюффеля и Антверпена. Сначала отброшенные вами, затем преследуемые хлынувшими водами, французы все до единого будут потоплены, истреблены, уничтожены.

Командиры разразились восторженными криками.

— Но есть препятствие,— сказал принц Оранский.

— Какое же, монсеньер? — спро́сил неизвестный.

— То, что потребуется целый день, чтобы разослать соответствующие приказания, а в нашем распоряжении — всего один час.

— Часа достаточно,— заявил тот, кого называли монсеньером.

— Но кто предупредит флотилию?

— Она предупреждена.

— Кем?

— Мною. Если бы эти господа отказались предоставить ее в мое распоряжение, я бы купил у них все суда.

— Но Мехельн, Льер, Дюффель?

— Я проездом побывал в Мехельне и Льере и послал надежного человека в Дюффель. В одиннадцать часов французы будут разбиты, в полночь сгорит флот, в час ночи французы обратятся в бегство, в два часа будут открыты плотины. Вся равнина превратится в бушующий океан, который, правда, поглотит дома, поля, леса, селенья, но в то же время, повторяю, уничтожит и французов.

Эти слова были встречены молчанием, выражавшим восторг, граничивший с ужасом; затем фламандцы принялись шумно рукоплескать.

Принц Оранский подошел к неизвестному, протянул ему руку и сказал:

— Итак, монсеньер, с нашей стороны все готово?

— Все,— ответил неизвестный,— но я думаю, что у французов тоже все готово. Глядите!

Он указал пальцем на военного, только что приподнявшего ковровую завесу.

— Монсеньер и господа,— доложил офицер,— нам дали знать, что французы выступили из лагеря и приближаются к городу.

— К оружию! — воскликнул бургомистр.

— К оружию! — повторили все присутствующие.

Неизвестный остановил их.

— Одну минуту, господа,— сказал он своим низким, повелительным голосом,— я должен дать вам последнее и самое важное указание...

— Говорите! Говорите! — в один голос воскликнули все.

— Французы будут застигнуты врасплох, следовательно, произойдет не битва, даже не отступление, а бегство. Чтобы успешно преследовать их, нужно быть налегке. Скиньте ваши латы! Черт возьми!.. Из-за этих лат, которые сковывают ваши движения, вы проиграли все те битвы, которые должны были выиграть!

И неизвестный указал на свою широкую грудь, прикрытую только кожаной курткой.

— Мы все вместе будем в бою, господа командиры,— продолжал неизвестный,— а пока ступайте на площадь перед Ратушей; там вы найдете всех ваших людей в боевом порядке. Мы придем туда вслед за вами.

— Благодарю вас, монсеньер,— сказал принц Оранский неизвестному,— вы разом спасли и Бельгию и Голландию.

— Я тронут вашими словами, принц,— ответил неизвестный.

— Но согласитесь ли вы, монсеньер, обнажить шпагу против французов? — спросил Вильгельм Оранский.

— Я постараюсь сражаться против гугенотов,— ответил неизвестный с улыбкой.

II. Французы и фламандцы

В ту минуту, когда городской совет в полном составе выходил из Ратуши, со всех сторон раздались грозные крики, казалось заполнившие город.

Одновременно загрохотала артиллерия.

Орудийный огонь явился неожиданностью для французов, предпринявших свой ночной поход в полной уверенности, что они застигнут врасплох уснувший город.

Пушки антверпенских укреплений палили непрерывно, но в темноте действие их было ничтожно; французы продолжали свой путь молча, с той пылкой отвагой, которую они всегда проявляли в наступлении.

Но вдруг распахнулись все городские ворота, и из них выбежали вооруженные люди, движимые, в противоположность французам, не стремительной горячностью, а какой-то мрачной одержимостью.

Это фламандцы двинулись на врага сомкнутыми рядами, поверх которых продолжала греметь артиллерия.

Тотчас же завязывается бой: дерутся с остервенением, сабля лязгает о нож, пика скрещивается с лезвием кинжала; огоньки, вспыхивающие при каждом выстреле из аркебуза или пистолета, освещают лица, обагренные кровью.

В ту же минуту со стороны Сент-Мари доносятся один за другим оглушительные взрывы, и над городом, словно огненный сноп, вздымается огромное зарево. Там наступает Жуаез: ему поручено произвести диверсию — прорвать заграждение, обороняющее Шельду, а затем проникнуть со своим флотом в самое сердце города.

Во всяком случае, французы сильно надеются на это.

Но дело оборачивается иначе.

Снявшись с якоря, Жуаез на своей адмиральской галере, шедшей во главе французского флота, плыл по ветру, гнавшему суда вперед против течения. Все было подготовлено к битве: моряки Жуаеза, вооруженные абордажными саблями, построились на корме; канониры с зажженными фитилями не отходили от орудий; марсовые с ручными бомбами гнездились на мачтах и, наконец, отборные матросы, снабженные топорами, готовились ринуться на палубы вражеских судов.

Семь кораблей Жуаеза, построенные в виде клина, острием которого служила адмиральская галера, казались скоплением исполинских призраков, беззвучно скользивших по воде. Молодой адмирал, облаченный в роскошную броню, занял место старшего лейтенанта и, склонясь над бушпритом, пытался пронизать взором ночную мглу.

Вскоре во мраке смутно обрисовалось заграждение: оно казалось покинутым, пустынным; но в этой коварной стране такое безлюдье вызывало безотчетный страх, тем более что еще ни разу до слуха французов не донесся оклик: «Кто идет?»

Матросы усматривали в этом молчании лишь небрежность, радовавшую их; адмирал, более дальновидный, чуял какую-то хитрость, пугавшую его.

Наконец нос адмиральской галеры врезался в центр

заграждения и заставил податься всю эту подвижную массу, отдельные части которой, скрепленные между собой цепями, уступили нажиму, но не разъединились.

В ту минуту, когда морякам с топорами был дан приказ ринуться на вражеские суда, чтобы разнять заграждения, множество абордажных крюков, брошенных невидимыми руками, вцепились в снасти французских кораблей.

Фламандцы предвосхитили маневр, задуманный французами.

Жуаез вообразил, что враги вызывают его на решительный бой. Он принял вызов. Абордажные крюки, брошенные с его стороны, накрепко соединили вражеские суда с французскими. Затем, выхватив из рук какого-то матроса топор, он с криком: «На абордаж! На абордаж!» — первым вскочил на ближайший неприятельский корабль.

Офицеры и матросы ринулись за ним, издавая тот же клич; но ничей голос не прозвучал в ответ, никто не воспротивился их вторжению. Они увидели только, как три лодки, полные людей, быстро удалились, сильными взмахами весел рассекая воду.

Французы в недоумении стояли на кораблях, захваченных ими без боя.

Вдруг Жуаез услыхал у себя под ногами смутный гул, и в воздухе запахло серой.

Страшная мысль молнией пронзила его; он подбежал к люку и поднял крышку — внутренняя часть судна пылала.

В ту же минуту по всей линии пронесся крик: «На корабли! Назад, на корабли!»

Жуаез, вскочивший на вражеский корабль первым, покинул его последним.

Едва он успел ступить на борт своей галеры, как огонь забушевал на палубе корабля, оставленного им минуту назад.

Словно извергаемое множеством вулканов, вырывалось отовсюду пламя, каждая лодка, каждая шлюпка, каждое судно были кратерами; французские корабли, более крупные, высились будто над огненной пучиной.

Тотчас был дан приказ обрубить канаты, разбить цепи, снять абордажные крюки; матросы взбирались по снастям с проворством людей, убежденных, что в быстроте — спасение их жизни.

Вдруг разом прогремели двадцать взрывов; французские суда задрожали до самого основания, недра их затрещали.

То гремели пушки, защищавшие подвижную плотину; заряженные неприятелем до отказа и затем покинутые, они разрывались сами собой.

Подобно исполинским змеям, багровые языки пламени вздымались вдоль мачт, обвивались вокруг рей, лизали обшитые медью борта французских судов.

Жуаез, невозмутимо стоявший посреди моря огня и властным голосом отдававший приказания, напоминал в своей роскошной броне сказочную саламандру.

Но вскоре взрывы стали еще более мощными, еще более разрушительными; уже не пушки гремели, разлетаясь на тысячи кусков,— то загорались крюйт-камеры, то взрывались сами суда.

Пока Жуаез надеялся разорвать смертоносные узы, соединявшие его с неприятелем, он боролся изо всех сил; но теперь всякая надежда на успех исчезла; огонь перекинулся на французские суда, и всякий раз, когда взрывался неприятельский корабль, на палубу адмиральской галеры изливался огненный дождь.

Взрываясь, антверпенские суда прорвали заграждения, но французские суда уже не могли продолжать путь — сами охваченные пламенем, они носились по воле волн, влача за собой жалкие обломки вражеского брандера, обхватившего их своими огненными щупальцами.

Жуаез понял, что дольше бороться бессмысленно; он дал приказ спустить лодки и плыть к левому берегу.

Пока весь экипаж до последнего матроса не разместился в лодках, Жуаез оставался на палубе. Но едва он успел достичь берега, как адмиральская галера взорвалась, ярко осветив с одной стороны очертания города, с другой — водный простор.

Тем временем крепостная артиллерия умолкла — не потому, что битва стала менее жаркой, а, напротив, потому, что фламандцы и французы теперь дрались грудь с грудью и уже невозможно было, метя в одних, не попадать в других.

Кальвинистская конница атакует в свой черед и делает чудеса: шпагами своих всадников она разверзает ряды фламандцев, топчет их копытами своих лошадей; но раненые враги тесаками вспарывают лошадям брюхо.

Несмотря на эту блистательную кавалерийскую атаку, во французских рядах происходит замешательство, ибо из всех городских ворот непрестанно выходят свежие батальоны, немедленно атакующие армию герцога Анжуйского.

Вдруг почти у самых стен города раздаются крики: «Анжу! Анжу! Франция!» — и ужасающий натиск заставляет дрогнуть фламандцев.

Этот перелом произведен адмиралом Жуаезом: полторы тысячи матросов, вооруженных топорами и тесаками, под его предводительством внезапно обрушиваются на врага; они должны отомстить за свой объятый пламенем флот и за две сотни своих товарищей, сгоревших или утонувших.

Отряд фламандцев, на который напал Жуаез, был истреблен, словно горстка зернышек стаей птиц.

Опьяненные первым успехом, моряки продолжали наступать.

Принцу Анжуйскому пожар флота явился в виде дальнего зарева. Слыша пушечные выстрелы и грохот взрывавшихся кораблей, он полагал, что идет жестокий бой, который, естественно, кончится победой Жуаеза; разве можно было предположить, что несколько фламандских кораблей победят французский флот!

Он с минуты на минуту ждал донесения о произведенной Жуаезом диверсии, как вдруг ему сообщили, что французский флот уничтожен, а Жуаез со своими моряками врезался в гущу фламандского войска.

Тогда принц Анжуйский сильно встревожился. Флот обеспечивал отступление, а следовательно, и безопасность армии.

Он послал кальвинистской коннице приказ снова предпринять атаку; измученные всадники и кони снова сплотились, чтобы еще раз ринуться на антверпенцев.

В сумятице схватки был слышен голос Жуаеза, кричавшего:

— Держитесь, господин де Сент-Эньян!.. Франция! Франция!..

Словно жнец, готовящийся снять жатву с колосистой нивы, он косил своей шпагой врагов; изнеженный королевский любимчик, облекшись в броню, видимо, обрел мифическую силу Геркулеса.

Слыша этот голос, покрывавший гул битвы, видя эту

шпагу, сверкавшую во мраке, пехота опять исполнилась мужества, по примеру конницы напрягала все силы и возобновляла бой.

Тогда из города верхом на породистом вороном коне выехал тот, кого называли монсеньером.

Он был в черных доспехах, иначе говоря, шлем, латы, наручи и набедренники — все было из стали, покрытой чернью; за ним на прекрасных конях следовали пятьсот всадников, которых принц Оранский отдал в его распоряжение.

В то же время из противоположных ворот выступил и сам Вильгельм Молчаливый во главе отборной пехоты, еще не бывшей в деле.

Всадник в черных доспехах поспешил туда, где подмога была всего нужнее, — в то место, где сражались Жуаез и его моряки.

Фламандцы узнали всадника и расступились перед ним, радостно крича:

— Монсеньер! Монсеньер!

Жуаез направил своего коня прямо на черного всадника, и они схватились врукопашную. Один из ударов противника пришелся Жуаезу прямо в грудь; но шпага отскочила от брони и только в кровь оцарапала ему плечо.

— А! — воскликнул молодой адмирал, ощутив прикосновение острия. — Он француз, и — мало того — у него был тот же учитель фехтования, что у меня!

Услышав эти слова, неизвестный отвернулся и хотел ускакать.

— Если ты француз, — крикнул ему Жуаез, — ты предатель, ведь ты сражаешься против своего короля, своей родины, своего знамени!

В ответ неизвестный воротился и с еще большим ожесточением напал на Жуаеза.

— Гляди, — крикнул ему адмирал, — вот как поступают, когда сражаются за родину! Чистого сердца и честной руки достаточно, чтобы защитить голову без шлема, чело без забрала.

И, отстегнув ремни своего шлема, он далеко отбросил его от себя, обнажив благородную, красивую голову; глаза его сверкали гордостью и юношеским задором.

Вместо того чтобы последовать столь доблестному примеру, всадник в черных доспехах глухо зарычал и занес шпагу над обнаженной головой противника.

— А! — воскликнул Жуаез, отражая удар.— Верно я сказал, что ты предатель! Так умри же смертью предателя!

И, тесня неизвестного, он нанес ему два или три удара, один из которых попал в отверстие спущенного забрала.

— Я убью тебя! — приговаривал молодой человек.

Неизвестный хотел было в свою очередь сделать выпад, но тут подскакал верховой и шепнул ему на ухо:

— Монсеньер, прекратите эту стычку: ваше присутствие необходимо вон там.

Неизвестный взглянул туда, куда ему указывал гонец, и увидел, что ряды фламандцев дрогнули под натиском кальвинистской конницы.

— Верно,— сказал он мрачно,— вот те, кого я искал.

Спустя четверть часа французы подались по всей линии.

Господин де Сент-Эньян принимал все меры к тому, чтобы его люди отходили по возможности в порядке.

Но из города выступил последний, совершенно свежий отряд — пятьсот человек конницы, две тысячи пехоты — и атаковал истощенную, уже отступавшую армию. Этот отряд состоял из старых ратников принца Оранского, некогда боровшихся с герцогом Альбой, с доном Хуаном, с Реквезенсом и Александром Фарнезе.

Французам пришлось оставить поле битвы и отступать сушей, поскольку флот, на который рассчитывали в случае поражения, был уничтожен.

Несмотря на хладнокровие вождей, на храбрость солдат, среди французов началось неописуемое расстройство.

Вот тогда неизвестный во главе своего конного отряда, еще не потратившего сил в бою, налетел на бегущих и снова встретил в арьергарде Жуаеза с его моряками, две трети которых уже пали смертью храбрых.

Со своей стороны фламандцы, скинувшие латы, по настоянию того, кого они называли монсеньером, гнались за армией Анжуйца, не давая ей ни минуты передышки.

При виде этого чудовищного разгрома в сердце неизвестного шевельнулось подобие раскаяния.

— Довольно, господа, довольно,— сказал он по-французски своим людям.— Сегодня вечером их отогнали от

Антверпена, а через неделю прогонят из Фландрии; не будем просить большего у бога войны!

— А! Он француз! Француз! — воскликнул адмирал.— Я угадал — это предатель! Будь ты проклят и да поразит тебя смерть, уготованная предателям!

Это гневное обращение, по-видимому, смутило того, кто не дрогнул перед тысячами шпаг; он повернул коня... и победитель бежал едва ли не с той же быстротой, как побежденные.

Но отступление одного-единственного врага не изменило положения дел; страх заразителен, он успел охватить всю армию, и под воздействием этой безрассудной силы солдаты бежали со всех ног.

Это происходило в то время, когда, по приказу монсеньера, открывались плотины и спускались шлюзы. От Льера до Мехельна каждая речонка, каждый канал, выступив из берегов, затопляли низины потоками бушующей воды. И однако, беглецы ничего еще не подозревали.

Жуаез велел своим морякам сделать привал; их осталось всего восемьсот, и только у них среди всего этого разгрома сохранилось подобие дисциплины.

Бегущее войско возглавлял герцог Анжуйский; верхом на отличном коне, сопровождаемый слугой, державшим в поводу другого коня, он ехал быстро, словно ничем не озабоченный.

— Он негодяй и трус,— говорили одни.

— Он храбрец и поражает своим хладнокровием,— говорили другие.

Отдых, длившийся с двух до шести утра, дал людям силу продолжать отступление.

Но съестного не было и в помине.

Все надеялись найти пристанище в Брюсселе: этот город в свое время подчинился герцогу Анжуйскому, и там у него было много приверженцев.

В Брюсселе, то есть в каких-нибудь восьми лье от того места, где находилось разбитое французское войско, можно будет найти продовольствие, удобные квартиры, а затем возобновить прерванную кампанию.

Остановившись между Гебокеном и Гекгутом, герцог Анжуйский велел подать себе завтрак в крестьянской хижине. Судя по всему, жители поспешно покинули ее накануне вечером; огонь, зажженный ими, тлел в очаге.

Решив по примеру своего предводителя подкрепиться, солдаты и офицеры начали рыскать по окрестностям, но вскоре они с удивлением и страхом увидели, что все дома пусты и жители, уходя, унесли с собой почти все припасы.

Господин де Сент-Эньян самолично осмотрел три дома, когда ему сообщили, что на два лье в окружности, другими словами — во всей местности, занятой французскими войсками, нет ни души.

Услыхав эту весть, господин де Сент-Эньян насупился и сделал свою обычную гримасу.

— В путь, господа, в путь! — сказал он своим офицерам.

— Но, генерал,— возразили те,— мы измучены, мы умираем с голоду.

— Да, но вы живы, а если вы останетесь здесь еще час, вы будете мертвы; быть может, уже и теперь слишком поздно.

Господин де Сент-Эньян не мог сказать ничего определенного, но он чуял, что за этим безлюдьем кроется какая-то грозная опасность.

Двинулись дальше; снова герцог Анжуйский ехал впереди головного отряда; господин де Сент-Эньян предводительствовал срединной колонной, Жуаез следовал в арьергарде.

Но вскоре отстало еще две-три тысячи человек — одни ослабели от ран, другие от усталости; они ложились на траву или под сень деревьев, всеми покинутые, отчаявшиеся, томимые мрачным предчувствием.

Вокруг герцога Анжуйского осталось самое большее три тысячи боеспособных солдат.

III. Путники

Меж тем как совершались эти страшные события, предвещавшие бедствие еще более жестокое, два путника верхом на отличных першеронах в прохладный ночной час выехали из городских ворот Брюсселя на дорогу в Мехельн.

Видя, как они мирно трусят по освещенной луной дороге, любой встречный принял бы их за пикардийских коробейников, которые ездили тогда из Франции во Фландрию и обратно, бойко торгуя в обеих странах.

Но если бы ветер донес до этого встречного обрывок разговора, который путники изредка вели между собой, это ошибочное мнение круто изменилось бы.

Самыми странными из всех были первые замечания, которыми они обменялись, отъехав на пол-лье от Брюсселя.

— Сударыня,— сказал более коренастый более стройному,— вы были правы, решив выехать ночью. Благодаря этому мы достигнем Антверпена дня через два, как раз к тому времени, когда принц опомнится от своего восторга и, побывав на седьмом небе, соблаговолит обратить взор на землю.

Спутник, которого именовали сударыней и который, несмотря на мужскую одежду, ни единым словом не возражал против этого наименования, голосом одновременно нежным и твердым ответил:

— Друг мой, поверь мне, мы должны как можно скорее претворить наши замыслы в дело, ибо я не принадлежу к числу тех, кто верит в предопределение. Если мы не будем действовать сами, а предоставим действовать богу, не стоило терпеть такие муки, чтобы дожить до нынешнего дня.

В эту минуту порыв северо-западного ветра обдал их ледяным холодом.

— Вы дрожите, сударыня,— сказал старший из путников,— накиньте на себя плащ.

— Нет, Реми, благодарю тебя; ты знаешь, я уже не ощущаю ни телесной боли, ни душевных терзаний.

Реми возвел глаза к небу и погрузился в мрачное молчание. Время от времени он придерживал коня и оборачивался, тогда его спутница, безмолвная, словно конная статуя, несколько опережала его.

После одной из таких минутных остановок она спросила:

— Ты никого не видишь позади нас?

— Нет, сударыня, никого.

— А всадник, который нагнал нас ночью в Валансье и долго с изумлением нас разглядывал?

— Я его не вижу больше.

— Реми,— сказала дама, подъехав к своему спутнику

вплотную, словно опасаясь, что кто-нибудь ее услышит на этой пустынной дороге,— Реми, а не сдается ли тебе, что он напоминает собой...

— Кого, сударыня?

— Во всяком случае, ростом и сложением — лица я не видела — напоминает того несчастного молодого человека...

— Нет, нет, сударыня,— возразил Реми,— он не последовал за нами: у меня есть веские основания полагать, что он принял отчаянное решение, которое касается только его самого.

— Увы, Реми! Каждому из нас уготована своя доля страданий. Да облегчит господь долю этого несчастного юноши!

На вздох своей госпожи Реми ответил таким же вздохом, и они молча продолжали путь. Вокруг них тоже царило безмолвие, нарушаемое лишь цоканьем копыт по сухой, звонкой дороге.

Так прошло два часа.

Когда путники въезжали в Вильворд, Реми услыхал топот коня, мчавшегося галопом.

Он остановился, долго вглядывался в даль, но его зоркие глаза тщетно пытались пронизать ночной мрак.

— Сударыня,— сказал он своей спутнице,— уже светает; примите мой совет: остановимся здесь — лошади устали, да и нам необходимо отдохнуть.

— Реми,— ответила дама,— вы напрасно стараетесь притвориться передо мной. Вы чем-то встревожены.

— Да, состоянием вашего здоровья, сударыня: поверьте мне, не по силам женщине такое утомительное путешествие. Я сам едва...

— Поступайте так, как найдете нужным,— ответила Диана.

— Так вот, давайте въедем в этот переулок, в конце которого мерцает фонарь,— это знак, по которому узнают гостиницы; поторопитесь, прошу вас.

— Стало быть, вы что-нибудь услыхали?

— Да, как будто конский топот. Правда, мне думается, я ошибся, но на всякий случай я чуть задержусь, чтобы удостовериться, обоснованны мои подозрения или нет.

Диана пришпорила своего коня и направила его в длинный извилистый переулок. Реми дал ей проехать,

спешился и отпустил поводья своего коня, который, разумеется, тотчас последовал за конем Дианы.

Сам Реми притаился за придорожной тумбой и стал ждать.

Диана постучалась в дверь гостиницы, за которой, по стародавнему фламандскому обычаю, дремала широкоплечая служанка с мощными дланями.

Служанка тотчас же отперла входную дверь и радушно встретила путешественника или, вернее, путешественницу. Затем она открыла лошадям широкие сводчатые ворота, куда они вбежали, почуяв конюшню.

— Я жду своего спутника,— сказала Диана,— дайте мне посидеть у огня; я не лягу, пока он не придет.

Тем временем Реми подстерегал всадника, о присутствии которого его предупредил конский топот на дороге.

Реми видел, как тот доехал до переулка и, заметив фонарь, замедлил шаг; очевидно, он колебался — продолжать ли ему путь или направиться к гостинице.

Реми схватился за нож.

«Да, это он,— сказал себе верный слуга.— Он здесь, в этом краю, он снова следует за нами. Что ему нужно?»

Всадник скрестил руки на груди; лошадь тяжело дышала, вытягивая шею.

Он безмолвствовал; нетрудно было угадать, что он спрашивал себя, повернуть ли ему назад, скакать ли вперед или же постучаться в гостиницу.

— Они поехали дальше,— вполголоса молвил путник.— Что ж, надо ехать!

И, натянув поводья, он продолжал путь.

«Завтра,— мысленно решил Реми,— мы поедем другой дорогой».

Он присоединился к Диане, с нетерпением ожидавшей его.

— Ну что,— шепотом спросила она,— нас кто-то выслеживает?

— Никто, я ошибся. На дороге нет никого, кроме нас, вы можете спать совершенно спокойно.

— О! Мне не спится, Реми, вы это знаете.

— Так, по крайней мере, поужинайте, сударыня, вы и вчера ничего не ели.

— Охотно, Реми.

Снова разбудили несчастную служанку; она отнеслась к этому так же добродушно, как в первый раз; узнав, что

от нее требуется, она вынула из буфета окорок ветчины, жареного зайца и варенье. Затем она принесла кувшин пенистого пива. Реми сел за стол рядом со своей госпожой, взял хлеба и не спеша стал есть его, запивая пивом.

— А мясо? — спросила служанка.— Что ж вы мясо не берете, сударь?

— Спасибо, дитя мое, не хочу.

Служанка всплеснула руками, выражая этим изумление, которое ей внушала необычная умеренность незнакомца.

Сообразив, что в этом жесте служанки есть и некоторая досада, Реми бросил на стол серебряную монету.

— О господи,— воскликнула служанка,— мне столько не нужно, с вас всего-то следует шесть денье за двоих!

— Оставьте себе эту монету, милая,— сказала путешественница.— Мы оба, брат и я, едим мало, но вовсе не хотим уменьшить ваш доход.

— Скажите, дитя мое,— спросил Реми,— есть ли проселочная дорога отсюда в Мехельн?

— Есть, сударь, но очень плохая; зато... большая дорога очень хороша.

— Знаю, дитя мое, знаю. Но мне нужно ехать проселочной.

— Ну что ж... я только хотела вас предупредить, сударь, потому что ваш спутник женщина, и эта дорога для нее будет вдвойне тяжела, особенно сейчас.

— Почему же, дитя мое?

— Потому что этой ночью тьма-тьмущая народа из деревень и поселков отправляется в ближайшие окрестности Брюсселя.

— Кто же переселяется?

— Да все те, что живут в деревнях, поселках, городках, где нет ни плотин, ни укреплений.

— Странно все это,— молвил Реми.

— Мы тоже уедем на рассвете,— продолжала служанка,— из нашего города все уедут. Вчера в одиннадцать часов вечера весь скот по каналам и проселочным дорогам погнали в Брюссель; вот почему на той дороге, о которой я вам сказала, сейчас, наверно, страх сколько набралось лошадей, подвод и людей.

— Почему же они не идут большой дорогой?

— Не знаю: таков приказ.

Реми и его спутница переглянулись.

— Но мы-то можем ехать проселочной дорогой? Ведь мы держим путь в Мехельн!

— Думаю, что да, если только вы не предпочтете отправиться, как и все, в Брюссель.

Реми взглянул на свою спутницу.

— Нет, нет, мы сейчас же поедем в Мехельн! — воскликнула Диана, вставая.

Реми еще не расседлал лошадей; он помог своей спутнице вдеть ногу в стремя, затем сам вскочил на коня — и рассвет уже застал их на берегу Диле.

IV. Объяснение

Опасность, тревожившая Реми, была вполне реальна, так как узнанный им ночью всадник, отъехав на четверть лье от Вильворда и никого не увидав на дороге, убедился, что те, за кем он следовал, остановились в этом городке.

Он не повернул назад, вероятно, потому, что следить за обоими путниками он старался по возможности незаметно, а улегся в клеверном поле, предварительно поставив своего коня в один из тех глубоких рвов, которыми во Фландрии разграничивают пастбища.

Благодаря этой уловке он рассчитывал все видеть, сам оставаясь невидимым.

Этот молодой человек, которого читатель несомненно узнал, был все тот же Анри дю Бушаж, волею рока снова столкнувшийся с женщиной, от которой поклялся бежать.

После своей беседы с Реми у порога таинственного дома — иначе говоря, после крушения всех своих надежд — Анри вернулся в особняк Жуаезов с твердым намерением расстаться с жизнью.

Во Фландрии шла война; брат Анри, адмирал де Жуаез, командовал флотом и мог доставить ему возможность достойно уйти из жизни. Анри не долго думал: вечером следующего дня, спустя двадцать часов после отъезда Реми и его госпожи, он отправился в путь.

В письмах из Фландрии говорилось о предстоящем штурме Антверпена. Анри надеялся поспеть вовремя. Ему приятно было думать, что он по крайней мере умрет со

шпагой в руке, в объятиях брата, под сенью французского знамени.

Когда Анри, погруженный в эти скорбные размышления, увидел шпиль Валансьенской колокольни, в городе пробило восемь часов; вспомнив, что в это время запирают городские ворота, он пришпорил коня и едва не сшиб с ног всадника, остановившегося, чтобы подтянуть подпругу своего коня.

Анри не принадлежал к числу знатных наглецов, без зазрения топчущих всех, кто не имеет герба. Он извинился перед незнакомцем; тот оглянулся было, но тотчас опустил голову.

Анри вздрогнул от неожиданности и тщетно попытался остановить лошадь, мчавшуюся во весь опор.

«Я схожу с ума,— говорил он себе,— Реми в Валансьене! Тот самый Реми, которого я оставил четыре дня назад на улице Бюсси! Реми один, без своей госпожи,— ведь сдается мне, с ним какой-то юноша! Поистине печаль мутит мне рассудок!»

Продолжая путь, Анри въехал в город. Он остановил лошадь у первой попавшейся гостиницы, бросил повод конюху и сел на скамейку у двери, дожидаясь, покуда ему приготовят комнату и ужин.

Вдруг он увидел перед собой тех же путников; теперь они ехали рядом, и он заметил, что тот, которого он принял за Реми, часто оглядывается.

— На этот раз,— прошептал Анри,— я не ошибаюсь: это Реми. Не хочу дольше оставаться в неизвестности, надо немедленно все выяснить.

Приняв это решение, Анри встал и пошел по главной улице городка вслед за путниками, но нигде их не увидел.

Анри обошел все гостиницы, расспрашивая, доискиваясь, и наконец кто-то сказал ему, что видел, как два всадника подъехали к захудалому постоялому двору на улице Бефруа.

Дю Бушаж поспел туда, когда хозяин уже собирался запереть двери.

Мигом учуяв в молодом приезжем знатную особу, хозяин стал предлагать ему ночлег и всяческие услуги, а Анри тем временем зорко всматривался в глубь сеней; при свете лампы, которую держала служанка, ему удалось увидеть Реми, поднимавшегося по лестнице.

На другой день Анри поднялся спозаранку, рассчитывая встретиться с обоими путниками в ту минуту, когда откроют городские ворота; он остолбенел, услышав, что ночью двое неизвестных просили у губернатора разрешения выехать из города и что, вопреки всем правилам, для них тотчас отперли ворота.

Таким образом, они выехали около часу пополуночи и выгадали целых шесть часов. Анри нужно было наверстать потерянное время; он пустил своего коня галопом, в Монсе настиг путников и обогнал их.

Он снова увидел Реми, но тот теперь должен был стать колдуном, чтобы узнать его. Анри переоделся в солдатское платье и купил другую лошадь.

В первой же гостинице, где остановились оба спутника, он стал настойчиво расспрашивать о них, а так как к своим вопросам он присовокуплял нечто, против чего устоять невозможно, то в конце концов дознался, что спутник Реми — молодой человек, очень красивый, но очень печальный и не жалуется на усталость.

Анри вздрогнул; у него блеснула мысль, поразившая его.

— Не женщина ли это? — спросил он.

— Возможно,— ответил хозяин гостиницы,— сейчас здесь проезжает много женщин, переодетых мужчинами,— в таком виде им легче попасть во фландрскую армию, к своим мужьям.

Это объяснение было для Анри тягчайшим ударом.

Стало быть, Реми лгал, говоря о непреходящей печали незнакомки; стало быть, он измыслил небылицу о вечной любви, повергшей его госпожу в неизбывную скорбь,— измыслил для того, чтобы избавиться от человека, назойливо следившего за ними обоими.

— Ну что ж,— сказал себе Анри,— настанет минута, когда я подойду к этой женщине и обвиню ее во всех ухищрениях, которые низводят ее на уровень самых заурядных представительниц женского пола.

И юноша рвал на себе волосы при мысли, что он может лишиться и той любви и тех мечтаний, которые его убивали, ибо справедливо говорят, что умерщвленное сердце все же лучше опустошенного.

Мы знаем, что он все же последовал за обоими путниками.

В Брюсселе Анри осведомился о кампании, предпринятой герцогом Анжуйским.

Фламандцы слишком гордились только что достигнутым успехом своего национального дела — ибо недопущение в Антверпен принца, ранее призванного Фландрией, было несомненным успехом,— чтобы отказать себе в удовольствии несколько унизить французского дворянина, расспрашивавшего их с чистейшим парижским акцентом, во все времена казавшимся бельгийцам очень смешным.

У Анри тотчас возникли серьезнейшие опасения за исход этой экспедиции, в которой его брат играл такую значительную роль, поэтому он решил ускорить свой приезд в Антверпен.

Его изумляло то обстоятельство, что Реми и его спутница, явно заинтересованные в том, чтобы он их не узнал, упорно ехали одной с ним дорогой.

Это доказывало, что и они направляются в Антверпен.

Выехав из городка, Анри, как уже известно читателю, спрятался в клевере с твердым намерением на сей раз заглянуть в лицо мнимого юноши, сопровождавшего Реми.

Когда путники поравнялись с молодым человеком, нимало не подозревая, что он поджидает их в поле у дороги, дама поправляла прическу — в гостинице она на это не отважилась.

Анри увидел ее, узнал и едва не рухнул без чувств в канаву, где мирно паслась его лошадь.

Всадники проехали мимо.

И тут Анри, такой кроткий, такой терпеливый, пока он верил, что жители таинственного дома действуют столь же честно, как он сам,— Анри пришел в ярость.

Отброшен был плащ, отброшен капюшон, исчезла нерешительность в повадке — дорога принадлежала ему так же, как и всем, и он спокойно поехал по ней, приноравливая аллюр своего коня к аллюру коней, трусивших впереди.

Он дал себе слово, что не заговорит ни с Реми, ни с его спутницей, а только приложит все старания к тому, чтобы они его узнали.

«Да, да,— твердил он себе,— если их сердца не совсем еще окаменели, мое присутствие будет упреком этим вероломным людям, которым так сладко терзать мое сердце!»

Анри не успел проехать и пятисот шагов, следуя за обоими всадниками, как Реми заметил его. Увидев, что Анри нисколько не страшится быть узнанным, а едет, гордо подняв голову, обратясь к ним лицом, Реми смутился.

Диана, заметив его смущение, обернулась.

— А! — воскликнула она.— Мне думается, Реми, это все тот же молодой человек?

Реми снова попытался разубедить и успокоить ее.

— Так или иначе,— продолжала Диана, снова оглядываясь,— мы уже в Мехельне; если нужно, сменим лошадей, но мы должны как можно скорее попасть в Антверпен.

— В таком случае, сударыня, нам незачем заезжать в Мехельн: кони у нас хорошие, проедем в селение, которое виднеется вон там, налево,— кажется, оно называется Виллеброк; таким образом мы избегнем пребывания в гостинице, расспросов, любопытства досужих людей.

— Хорошо, Реми, едем в селение.

Анри свернул с дороги там же, где свернули они, и последовал за ними, соблюдая то же расстояние.

Они приехали в Виллеброк.

В двухстах домах, насчитывавшихся в селении, не осталось ни одной живой души; среди этого запустения испуганно метались забытые владельцами собаки, заблудившиеся кошки; собаки жалобным воем призывали своих хозяев, кошки же неслышно скользили по улицам, покуда не находили безопасное, на их взгляд, убежище, и тогда из щели в двери или из отдушины погреба высовывалась лукавая подвижная мордочка.

Реми постучался в два десятка домов, но никто не ответил на его стук.

В свою очередь Анри, словно тень, ни на шаг не отстававший от обоих путников, остановился у первого дома. Он решил, прежде чем продолжать путь, выяснить, что они собираются предпринять.

Они и в самом деле приняли решение, как только их лошади поели зерна, которое Реми нашел в закроме гостиницы, покинутой хозяевами и постояльцами.

— Сударыня,— сказал Реми,— мы находимся в стране отнюдь не спокойной и в положении отнюдь не обычном. Мы не должны, словно дети, кидаться навстречу опасности. По всей вероятности, мы наткнемся на отряд фран-

цузов или фламандцев, возможно даже — испанцев, ибо при том странном положении, в котором сейчас очутилась Фландрия, здесь должно быть множество авантюристов со всех концов света. Послушайтесь моего совета, сударыня: останемся здесь,— в селении немало домов, которые могут служить надежным убежищем.

— Нет, Реми, я должна ехать дальше, ничто меня не остановит,— упрямо возразила Диана.

— Раз так,— ответил Реми,— едем!

И, ни слова больше не сказав, он пришпорил свою лошадь.

Диана последовала за ним, а Анри дю Бушаж, задержавшийся в одно время с обоими всадниками, тоже двинулся в путь.

V. Вода

По мере того как путники подвигались вперед, местность принимала все более странный вид. Нигде на лугах не паслись коровы; нигде не видно было ни стад с пастухами, ни коз, взбирающихся на живые изгороди, чтобы дотянуться до зеленых побегов колючего кустарника и дикого винограда; нигде не шел за плугом пахарь; нигде не проходил коробейник, странствующий с тяжелым тюком за плечами; нигде не звучала заунывная песня, которую обычно поет северянин-возчик, вразвалку шагающий рядом со своей доверху нагруженной подводой.

Сколько хватал глаз, на этих покрытых сочной зеленью равнинах, на холмах в высокой траве, на опушке лесов не было людей, не слышался голос человеческий.

Близился вечер; Анри, охваченный смутной тревогой, чутьем угадывал, что двое спутников впереди во власти того же чувства, и вопрошал воздух, деревья, небесную даль и даже облака о причине этого загадочного явления.

Спустилась ночь, темная, холодная; протяжно завыл северо-западный ветер, и вой этот в бескрайних просторах был страшнее безмолвия, которое ему предшествовало.

Реми остановил свою спутницу, положив руку на повод ее коня:

— Сударыня, вы знаете, что я не поддаюсь страху, но

должен вам признаться, как на духу: впервые в жизни я боюсь...

Диана обернулась; вероятнее всего, она не уловила всех этих грозных признаков.

— Он все еще здесь? — спросила она.

— О! Теперь суть уже не в нем,— ответил Реми.— Нет, опасность, которую я ощущаю вокруг нас, которая все приближается, иного свойства: она неизвестна и потому меня пугает.

Диана покачала головой.

— Смотрите, сударыня,— снова заговорил Реми.— вы видите вдали ивы? Рядом с ними стоит домик. Умоляю вас, поедемте туда; если там есть люди, тем лучше: мы попросим их приютить нас; если он покинут, мы займем его.

Волнение Реми, его дрожащий голос заставили Диану уступить.

Спустя несколько минут путники постучались в дверь домика, стоявшего под сенью старых ив. Неподалеку журчал ручей, впадавший в речонку Нету. Позади домика, построенного из кирпича и крытого черепицей, находился небольшой сад, окруженный живой изгородью.

Все было пусто, безлюдно, заброшенно.

Никто не ответил на долгий, упорный стук путников.

Недолго думая Реми вынул нож, срезал ветку ивы, просунул ее между дверью и замком и с силой нажал.

Дверь открылась.

Реми стремительно вбежал в дом. За что бы он сейчас ни брался, он все делал с лихорадочной поспешностью. Он быстро ввел в дом свою спутницу, прикрыл дверь и задвинул тяжелый засов.

Не довольствуясь тем, что он нашел пристанище для своей госпожи, Реми помог ей расположиться поудобнее в единственной комнате второго этажа, где нащупал в темноте кровать, стул и стол.

Несколько успокоившись, он сошел вниз и сквозь щель ставен стал следить за каждым движением графа дю Бушажа, который, увидев, что они вошли в дом, тотчас же приблизился к нему.

Размышления Анри были мрачны и вполне соответствовали мыслям Реми.

«Несомненно,— думал он,— над Фландрией нависла какая-то грозная опасность, неизвестная нам, но извест-

ная жителям, и крестьяне, не помня себя от страха, ищут спасения в городах».

Но графа дю Бушажа тревожили мысли иного порядка.

«Какие у Реми и его госпожи могут быть дела в этих местах? — спрашивал он себя.— О! Я это узнаю; настало время заговорить с этой женщиной и навсегда покончить с сомнениями. Такой благоприятный случай никогда еще мне не представлялся!»

Он направился было к домику, но тотчас остановился.

«Нет, нет,— сказал он себе, внезапно поддавшись колебаниям, которые так часто возникают в сердцах влюбленных,— нет, я буду страдать до конца. Разве не вольна она поступать, как ей угодно? Разве я уверен в том, что она знает, какую небылицу сочинил о ней этот негодяй Реми? Его одного я хочу привлечь к ответу за то, что он уверял, будто она никого не любит! Однако нужно и тут быть справедливым: неужели этот человек должен был выдать мне тайну своей госпожи? Нет, нет! Горе мое безысходно, и самое страшное то, что я никого не могу в нем винить. Для полноты отчаяния мне не хватает лишь одного — узнать всю правду до конца и увидеть, как эта женщина, прибыв в лагерь, заключит в свои объятия кого-то из находящихся там дворян».

Затем, вспомнив дни томительного ожидания и бессонницы, проведенные перед домом, где были глухи к его мольбам, он подумал, что, пожалуй, его положение сейчас лучше, чем в Париже, ибо теперь он порою видел ее, слышал любимый голос. И Анри улегся под ивами, склонившими над домиком свои раскидистые ветви; с неописуемой грустью внимал он журчанью воды, струившейся рядом с ним.

Вдруг он встрепенулся: порыв северного ветра донес до него грохот пушечных залпов.

«Я опоздал — штурм Антверпена начался»,— с тревогой подумал он.

Первым побуждением Анри было вскочить, сесть на коня и помчаться туда, откуда доносился гул битвы. Но это значило расстаться с Дианой и умереть, не разрешив своих сомнений.

Если бы их пути не скрестились, Анри неуклонно продолжал бы идти к своей цели, не оглядываясь назад, не вздыхая о прошлом, не сожалея о будущем, но неожиданная встреча пробудила в нем сомнения, а вместе с ними — нерешительность. Он остался.

Два часа пролежал он, чутко прислушиваясь к дальней пальбе и с недоумением спрашивая себя, что могут означать мощные залпы, которые время от времени покрывали все другие.

Он был далек от мысли, что они означают гибель судов его брата, взорванных неприятелем. Наконец, около двух часов пополуночи, гул стал затихать; к половине третьего наступила полная тишина.

«В этот час,— говорил себе дю Бушаж,— Антверпен уже взят, мой брат победил; за Антверпеном последует Гент, за Гентом — Брюгге, и мне вскоре представится случай доблестно умереть. Но перед смертью я хочу узнать, во имя чего эта женщина едет во французский лагерь».

Дю Бушажа одолела дремота, против которой на исходе ночи воля человека бессильна, но вдруг его лошадь, пасшаяся неподалеку, начала прядать ушами и тревожно заржала.

Анри открыл глаза.

Лошадь вдыхала ветер, с рассветом круто переменившийся и дувший теперь с юго-востока.

— Что с тобой, верный мой товарищ? — спросил молодой человек, вскочив на ноги и ласково потрепав коня по шее.

Казалось, животное поняло его слова: словно силясь ответить своему хозяину, оно внезапным порывистым движением повернулось в сторону Льера и, раздув ноздри, стало напряженно прислушиваться.

— Так, так! — вполголоса молвил Анри.— По-видимому, дело серьезнее, чем я думал; наверно, где-нибудь бродят волки, они ведь всегда следуют за войсками и пожирают трупы.

Лошадь заржала, опустила голову и хотела было ринуться на запад, но Анри успел схватить ее за уздечку и остановить.

Однако минуту спустя он услышал то, что до него своим чутким слухом уловила лошадь.

Неумолчный шум, подобный шуму ветра, казалось, несся отовсюду.

«Что же это? — спрашивал себя Анри.— Ветер? Нет, не ветер. Быть может, это поступь огромной армии? Нет,

нет, тогда я различил бы шум шагов, звон оружия, гул голосов».

Все нарастая, шум превратился в непрестанный грозный рокот, словно где-то вдали по булыжной мостовой везли тысячи пушек.

Такое предположение возникло у Анри, но тут же было им отвергнуто.

«Может быть,— сказал он себе,— в этих местах нет мощеных дорог, да и во всей армии не найдется тысячи пушек!»

Шум приближался; Анри пустил лошадь галопом и въехал на ближайший пригорок.

— Что я вижу! — воскликнул он, взобравшись наверх.

То, что он увидел, лошадь почуяла раньше его. На горизонте, от края до края, расстилалась ровная, тускло-белая полоса, ширившаяся, словно непрерывно разворачивающийся кусок ткани.

Молодой человек все еще не мог разобраться в этом странном явлении, как вдруг, снова устремив взгляд на место, недавно им покинутое, он увидел, что луг залит водой, а ручей выступил из берегов и без видимой причины затопляет заросли тростника, каких-нибудь четверть часа назад отчетливо видные на обоих берегах.

Вода медленно подступала к домику.

— Несчастный я глупец! — воскликнул Анри.— Как я сразу не догадался: это вода! Фламандцы прорвали плотины!

Он бросился к домику и принялся колотить в дверь, крича:

— Откройте, откройте!

Никто не отозвался.

— Откройте, Реми! — еще громче закричал молодой человек, от ужаса теряя самообладание.— Это я, Анри дю Бушаж! Откройте!

— О! Вам незачем называть себя, граф,— ответил Реми,— я давно узнал вас; но предупреждаю: если вы взломаете дверь, вы найдете за ней меня с пистолетом в руке.

— Стало быть, ты не хочешь понять меня, безумец! — с отчаянием в голосе завопил Анри.— Вода! Вода! Вода!

— Не рассказывайте небылиц, граф! Повторяю: вы войдете сюда только через мой труп.

— Ну что ж, я перешагну через него! — крикнул Анри.— Во имя спасения твоего и твоей госпожи, открой мне!

— Нет!

Молодой человек оглянулся вокруг и увидел увесистый камень, подобный тем, которые, как повествует Гомер, швырял в своих врагов Аякс Теламонид; он схватил этот камень, высоко поднял его над головой и с размаху кинул в дверь — она разлетелась в щепы.

В ту же минуту мимо ушей Анри, не задев его, прожужжала пуля.

Анри бросился на слугу.

Тот выстрелил второй раз, но пистолет дал осечку.

— Да разве ты не видишь, одержимый, что я безоружен! — воскликнул Анри.— Так перестань же защищаться! Смотри, смотри, что происходит вокруг!

Он потащил Реми к окну и ударом кулака высадил раму.

Он указал слуге Дианы на бескрайнюю гладь, белевшую на горизонте и с глухим шумом, словно несметное войско, придвигавшуюся все ближе и ближе.

— Вода! — прошептал Реми.

— Да, вода, вода! — воскликнул Анри.— Она все затопляет. Смотри, что творится здесь: речка вышла из берегов. Еще пять минут, и отсюда уже нельзя будет выбраться!

— Сударыня! — крикнул Реми.— Сударыня!

— Не кричи, Реми, не теряй присутствия духа. Седлай лошадь, живо, живо!

«Он ее любит,— сказал себе Реми,— он ее спасет».

Реми поспешил на конюшню, Анри взбежал по лестнице на второй этаж.

На зов Реми Диана отворила дверь.

Дю Бушаж взял ее на руки, словно ребенка. Но она, вообразив, что стала жертвой измены, отбивалась изо всех сил.

— Скажи ей,— крикнул Анри,— скажи, наконец, что я хочу ее спасти!

Реми услышал возглас Анри в ту минуту, когда, оседлав обеих лошадей, подводил их к домику.

— Да, да! — подтвердил он.— Да, сударыня, он вас спасает! В путь! В путь!

VI. Бегство

Не теряя времени на то, чтобы успокоить Диану, Анри вынес ее из домика и хотел было посадить впереди себя на своего коня, но она, движением, выражавшим живейшую неприязнь, выскользнула из его рук.

— Что вы делаете, сударыня,— воскликнул Анри,— и как ошибочно вы толкуете сокровеннейшие мои побуждения! Глядите, глядите вон туда на птиц — они стремительно несутся прочь отсюда!

Диана ничего не ответила; она села на свою лошадь и пустила ее быстрым аллюром. Но лошади обоих всадников были изнурены двумя днями почти непрерывной езды. Анри то и дело оборачивался и, видя, что Диана и Реми не поспевают за ним, всякий раз говорил:

— Глядите, сударыня, насколько моя лошадь опережает ваших, хоть я и удерживаю ее, как только могу. Ради всего святого, предоставьте мне вашего коня, а сами возьмите моего.

— Благодарю вас, сударь,— неизменно отвечала Диана все тем же спокойным голосом, в котором нельзя было уловить ни малейшего волнения.

— Сударыня,— воскликнул вдруг Анри, бросив полный отчаяния взгляд вспять,— вода настигает нас! Слушайте! Слушайте!

Действительно, в эту минуту раздался ужасающий треск: то плотина ближнего поселка не выдержала напора воды; бревна, настил, насыпи — все поддалось бешеному натиску, и вода уже хлынула в ближнюю дубовую рощу. Было видно, как сотрясались кроны деревьев, было слышно, как жалобно скрипели ветки, словно рой демонов вихрем проносился в их пышной листве.

Диана пришпорила лошадь, а та и сама, чуя грозную опасность, делала отчаянные усилия, чтобы избегнуть гибели.

Между тем вода все прибывала, и было ясно — через каких-нибудь десять минут она поглотит путников.

Анри поминутно останавливался, поджидая Реми и Диану, и кричал им:

— Ради бога, скорее! Вода гонится за нами, она уже совсем близко! Вот она!

Действительно, вода уже настигала их — пенистая, бушующая; она, словно перышко, снесла домик, где Реми

нашел убежище для своей госпожи, как соломинку подхватила лодку, привязанную к иве на берегу ручья, и, величественная, могучая, свиваясь и развиваясь, наподобие неудержимо скользящей вперед исполинской змеи, зловещей громадой надвигалась на всадников.

Анри ахнул от ужаса и ринулся к воде, словно замыслив сразиться с ней.

— Неужели вы не видите, что вам грозит гибель! — в отчаянии завопил он.— Сударыня, пока время не ушло, сядьте вместе со мной на мою лошадь!

— Нет, сударь,— ответила Диана.

— Еще минута — и будет поздно!.. Оглянитесь! Оглянитесь!

Диана оглянулась — вода уже была в каких-нибудь пятидесяти шагах от них.

— Да свершится мой удел! — молвила она.— А вы, сударь, спасайтесь! Бегите отсюда!

Лошадь Реми в полном изнеможении рухнула на передние ноги, и все усилия седока заставить ее подняться оказались напрасны.

— Спасите мою госпожу! Спасите, пусть даже против ее воли! — кричал Реми.

В ту же минуту, пока он старался высвободить ноги из стремян, потоки воды с неимоверной силой обрушились на его голову.

Увидев это, его госпожа издала душераздирающий вопль и соскочила со своего коня, решив умереть вместе с верным слугой.

Но Анри, разгадавший ее намерение, тоже мгновенно спешился; правой рукой он обхватил ее стан, вскочил со своей ношей в седло и стрелой помчался вперед.

— Реми! Реми! — стонала Диана, простирая руки в ту сторону, где видела его минуту назад.— Реми!

Ей ответил чей-то крик. Это Реми вынырнул на поверхность и с той несокрушимой, хотя и безумной надеждой, которая до конца не оставляет умирающего, плыл, ухватясь за бревно.

Реми уже не сожалел о своей жизни — ведь, умирая, он надеялся, что та, кто была для него всем на свете, будет спасена.

— Прощайте, сударыня, прощайте! — крикнул он.— Я ухожу первый и передам тому, кто ждет нас обоих, что вы живете единственно ради...

Он не успел договорить — его настигла и погребла под собой огромная волна.

— Реми! Реми! — простонала Диана.— Реми! Я хочу умереть с тобой!.. Сударь, я хочу спешиться! Клянусь богом животворящим, я так хочу!

Она произнесла эти слова так решительно, с такой неукротимой властностью, что молодой человек разжал руки и помог ей сойти, говоря:

— Согласен, сударыня, мы умрем здесь все трое; благодарю вас за то, что вы даруете мне эту радость, на которую я не смел надеяться.

Пока он с трудом сдерживал лошадь, другая огромная волна настигла его, но такова была самозабвенная любовь Анри, что ему удалось, несмотря на ярость стихии, удержать подле себя молодую женщину, соскочившую с лошади.

Он крепко сжимал ее руку; волна за волной обрушивалась на них, и несколько секунд они носились по бурным водам среди бесчисленных обломков.

Изумительно было хладнокровие молодого человека; одной рукой он поддерживал Диану, а шенкелями с невероятным трудом направлял изнемогавшую лошадь: ведь стоило измученному животному наткнуться на плывущее бревно или на мертвеца, оно неминуемо утонуло бы.

Вдруг один из этих мертвецов, поравнявшись с ними, сказал голосом слабым, как дуновение ветерка:

— Прощайте, сударыня, прощайте!..

— Клянусь небом,— воскликнул молодой человек,— это Реми! Что ж! Я и тебя спасу!

Не думая о том, как губительна всякая излишняя тяжесть, он притянул к себе Реми левой рукой.

Но тут лошадь, вконец обессиленная тройным бременем, погрузилась в волны по шею, затем по глаза и спустя мгновение ушла под воду.

— Гибель неминуема! — прошептал Анри.— Господи, прими мою жизнь, она была чиста. А вы, сударыня,— продолжал он громко,—примите мою душу, она всецело принадлежала вам!

В эту минуту он почувствовал, что Реми выскользнул из-под его руки; уверенный, что отныне всякая борьба бесполезна, молодой человек даже не попытался удержать его.

Он уже сосредоточился на мысли о смерти, как вдруг рядом с ним раздался радостный возглас.

Он обернулся и увидел, что Реми добрался до какой-то лодки.

Это была та самая лодка, которую дю Бушаж видел вблизи домика под ивами; вода унесла ее, и теперь Реми двумя бросками очутился возле нее.

Два весла были привязаны к лодке, на дне лежал багор.

Реми протянул багор молодому человеку; тот схватил его и, по-прежнему одной рукой поддерживая Диану, увлек ее за собой; приподняв свою легкую ношу, он вручил ее Реми, а затем, схватившись за борт, сам вскочил в лодку.

Первые проблески зари осветили необъятную, залитую водой равнину и лодку, подобно жалкой скорлупке плывшую на этом усеянном обломками океане.

Левее лодки, приблизительно в двухстах шагах от нее, виднелся невысокий холм; со всех сторон окруженный водой, он казался островком. Анри взялся за весла и стал грести, направляя лодку к холму, куда вдобавок их несло течение.

Реми орудовал багром; стоя на носу, он отталкивал доски и бревна, о которые лодка могла разбиться.

Благодаря силе и ловкости обоих мужчин лодка вскоре причалила к холму.

Реми выпрыгнул и, схватив цепь, притянул лодку к себе.

Анри подошел к Диане, намереваясь перенести ее на берег, но она жестом отстранила его и сама сошла на землю.

Анри печально вздохнул; у него мелькнула мысль снова броситься в пучину вод и умереть на глазах у Дианы; но пока он видел эту женщину, необоримое чувство приковывало его к жизни.

Он вытащил лодку на берег и, бледный как смерть, уселся неподалеку от Реми и Дианы; с его одежды струилась вода, но он страдал больше, чем если бы истекал кровью.

Они избегли непосредственной опасности — наводнения: как бы высоко ни поднялась вода, верхушку холма она не могла залить.

Теперь они могли безбоязненно озирать грозную сти-

хию; Анри не отрывал взора от быстро кативших мимо него волн, уносивших трупы французских солдат, их оружие и лошадей.

Реми ощущал сильную боль в плече: какое-то бревно ударило его в ту минуту, когда лошадь под ним погрузилась в пучину.

Диана была невредима и страдала только от холода: Анри отвратил от нее все те бедствия, какие в его силах было отвратить.

Молодая женщина первая встала на ноги и сообщила своим спутникам, что на западе сквозь туман поблескивают огни.

Несомненно, они горели на какой-то возвышенности.

Реми прошел по гребню холма в направлении огней и, вернувшись, сообщил, что, по его предположениям, в тысяче шагах от того места, где они сделали привал, начинается нечто вроде насыпи, прямиком ведущей к этим огням. Однако в тех условиях, в каких они находились, ничего нельзя было утверждать с достоверностью.

Стремительный бег вод, низвергавшихся по наклону равнины, заставил путников сделать большой крюк влево: теперь они никак не могли определить, где находятся.

Правда, наступил день, но небо было облачно, вокруг клубился туман; в ясную погоду они увидели бы колокольню Мехельна, ибо от этого города их отделяли каких-нибудь два лье.

— Ну как, граф,— спросил Реми,— что вы думаете об этих огнях?

— Вы полагаете, что они сулят радушный прием, а я усматриваю в них угрозу.

— Почему?

— Реми,— молвил дю Бушаж, понизив голос,— взгляните на трупы, плывущие мимо нас,— это сплошь французы; они свидетельствуют об ужасающей катастрофе: фламандцы прорвали плотины, чтобы уничтожить либо остатки французской армии, если она была разбита, либо плоды ее торжества, если она победила. Какие у нас основания считать, что огни зажжены друзьями, а не врагами?

— Однако,— возразил Реми,— мы не можем оставаться здесь: голод и холод убьют мою госпожу.

— Вы правы,— ответил Анри,— оставайтесь с ней,

а я доберусь до насыпи и вернусь сказать вам, что я там нашел.

— Нет, сударь,— ответила Диана,— вы не пойдете один навстречу опасности; вместе мы все спасались, вместе и умрем... Дайте мне руку, Реми.

В каждом слове этой странной женщины звучала властность, противоборствовать которой было немыслимо. Анри молча поклонился и первым двинулся в путь.

Трое путников сели в лодку и снова поплыли посреди обломков и трупов. Спустя четверть часа они причалили к насыпи.

Они привязали лодку к стволу дерева и, пройдя по насыпи около часа, добрались до фламандского поселка, посредине которого под сенью французского знамени вокруг ярко пылавшего костра расположились две-три сотни солдат. Часовой, стоявший шагах в ста от бивака, крикнул:

— Кто идет?

— Франция,— ответил дю Бушаж.— Теперь, сударыня, вы спасены,— прибавил он, обращаясь к Диане,— я узнаю штандарт Ониского аристократического корпуса, в котором у меня есть друзья.

Услыхав возглас часового и ответ графа, навстречу вновь прибывшим бросилось несколько офицеров. Скитальцев, появившихся на биваке, приняли вдвойне радушно: во-первых, потому что они уцелели среди неописуемых бедствий; во-вторых, потому что они оказались соотечественниками.

Анри назвал себя и своего брата и рассказал, каким чудесным образом он и его спутники спаслись от смерти, казалось, неминуемой.

Реми и его госпожа молча уселись в сторонке; Анри подошел к ним и пригласил расположиться поближе к огню.

— Сударыня,— сказал он,— к вам здесь будут относиться так же почтительно, как в вашем собственном доме: я позволил себе сказать, что вы моя родственница; соблаговолите простить меня.

Если бы Анри заметил взгляд, которым обменялись Реми и Диана, он счел бы себя вознагражденным за свое мужество и деликатность.

Ониские кавалеристы, оказавшие гостеприимство нашим скитальцам, отступили в полном порядке, когда после

поражения началось повальное бегство и командиры бросили армию на произвол судьбы.

Подобно всем участникам этой ужасающей драмы, они видели, как наводнение становится все более грозным и разъяренные волны несут им гибель, но, на свое счастье, они волею случая попали в поселок, где мы их застали,— место, выгодно расположенное, чтобы устоять и против неприятеля и против стихии.

Уверенные в своей безопасности, мужчины остались дома, отослав в город женщин, детей и стариков. Поэтому ониские воины, войдя в поселок, натолкнулись на сопротивление; но смерть, злобно завывая, гналась за ними по пятам — они сражались с мужеством отчаяния, потеряли десять человек, заняли поселок и обратили фламандцев в бегство.

Через час после этой победы к поселку со всех сторон подступила вода; не затоплена была только насыпь, по которой затем пришли Анри и его спутники.

Таков был рассказ, услышанный Анри от расположившихся в поселке французов.

— А остальное войско? — спросил он.

— Глядите,— ответил лейтенант,— мимо вас непрерывно плывут трупы; вот ответ на ваш вопрос.

— А... мой брат? — Эти немногие слова дю Бушаж произнес несмело, сдавленным голосом.

— Увы, граф, мы не можем вам сообщить ничего достоверного; он сражался как лев. Известно лишь одно — в бою он остался жив, но мы не знаем, уцелел ли он во время наводнения.

Анри низко опустил голову и предался горьким размышлениям, но быстро овладел собой и задал вопрос:

— А герцог?

Наклонившись к Анри, лейтенант вполголоса сказал:

— Герцог бежал одним из первых. Он ехал на белом коне с черной звездой на лбу. Так вот, совсем недавно этот конь проплыл мимо нас среди обломков: нога всадника запуталась в стремени и торчала из воды.

— Великий боже! — вскричал дю Бушаж.

— Великий боже! — прошептал Реми.

— Что же дальше? — спросил граф.

— Сейчас скажу; один из моих солдат отважился нырнуть в самый водоворот; вон там, на углу насыпи, смельчак поймал повод и приподнял мертвую лошадь. Тут-то

мы и разглядели белую ботфорту с золотой шпорой, какие всегда носил герцог. Но в ту же минуту вода поднялась, словно возмутясь, что у нее хотят отнять добычу. Солдат выпустил повод, и все мигом исчезло. Мы даже не можем утешить себя тем, что похоронили нашего принца по христианскому обряду!

— Стало быть, он умер! Умер! Нет более наследника французского престола! Какое несчастье...

Тем временем Реми обернулся к своей спутнице и голосом, в котором явственно слышалось волнение, сказал:

— Он умер, сударыня; вы видите...

— Хвала господу, избавившему меня от необходимости совершить преступление! — ответила она, в знак благодарности воздевая к небу руки и возводя глаза горе.

— Да, но господь лишает нас мщения,— возразил Реми.

— Отмщение принадлежит человеку лишь тогда, когда бог забывает покарать виновного.

Анри с глубокой тревогой смотрел на этих странных людей, которых спас от гибели; он видел, что они необычайно взволнованы, и тщетно старался уяснить себе, чего они желают и что их тревожит.

Из раздумья его вывел голос лейтенанта, обратившегося к нему с вопросом:

— А вы, граф, что намерены предпринять?

Анри вздрогнул.

— Я буду ждать, покуда мимо меня не проплывет тело брата,— с отчаянием в голосе ответил он,— тогда я тоже постараюсь вытащить его из воды, чтобы похоронить по христианскому обряду, и, поверьте мне, умру вместе с ним.

Реми услышал эти скорбные слова и бросил на Анри взгляд, полный ласковой укоризны.

Что касается Дианы, с той минуты как лейтенант возвестил о смерти герцога Анжуйского, она стала глуха ко всему вокруг: она молилась.

VII. Преображение

Кончив свою молитву, спутница Реми поднялась с колен; теперь она была так прекрасна, лицо ее сияло такой неземной радостью, что у графа помимо воли вырвалось восклицание изумления и восторга.

Словно очнувшись от забытья, молодая женщина обвела вокруг себя взглядом столь ласковым и кротким, что Анри, легковерный, как все влюбленные, вообразил, будто в ней заговорили наконец признательность и жалость к нему.

Когда после скудной трапезы военные уснули и даже Реми задремал, дю Бушаж подошел к молодой женщине и голосом, тихим и нежным, как шелест ветерка, сказал:

— Сударыня, вы живы! О, позвольте мне выразить ликование, которое я испытываю, глядя на вас здесь, где вы вне опасности.

— Вы правы, сударь,— ответила Диана,— я осталась жива благодаря вам, и,— прибавила она с печальной улыбкой,— мне хочется сказать, что я вам признательна за это.

— Да, сударыня,— продолжал Анри, силою любви и самоотречения сохраняя внешнее спокойствие,— я ликую, даже говоря себе, что спас вас для того, чтобы вернуть тем, кого вы любите!

— Сударь, те, кого я любила, умерли; тех, к кому я направлялась, тоже не стало.

— Сударыня,— прошептал Анри, преклонив колена,— обратите взор на меня, кто так давно любит вас. Вы молоды, вы прекрасны, как ангел небесный. Загляните в мое сердце, раскрытое перед вами, и вы убедитесь, что в нем нет ни крупицы той любви, которую другие мужчины называют этим словом. Вы не верите мне? Вспомните часы, недавно прожитые вместе, переберите их один за другим. Даже сейчас, в эту минуту, когда вы отворачиваетесь от меня, моя душа заполнена вами, и я живу единственно потому, что вы, сударыня, живы. Разве несколько часов назад я не готов был умереть рядом с вами? Чего я просил тогда? Ничего! Все низменное отпало от меня, сгорело в горниле любви.

— О сударь, пощадите, не говорите так со мной!

— Пощадите и вы меня, сударыня. Мне сказали, что вы никого не любите. Ах, повторите это сами: я умираю у ваших ног, а вы не хотите сказать мне: «Я никого не люблю», или же: «Я люблю, но перестану любить»!

— Граф,— торжественно сказала Диана,— я существо иного мира и давно уже не живу в этой юдоли. Если б вы не выказали мне такого благородства, такой доброты, такого великодушия, если б в глубине моего сердца не теплилось нежное чувство к вам — чувство сестры к брату, я

сказала бы: «Встаньте, граф, и не утомляйте больше мой слух, ибо слова любви внушают мне ужас». Но я не скажу вам этого, потому что мне больно видеть ваши страдания. С сегодняшнего дня в моей жизни наступил перелом, я уже не вправе опираться даже на руку великодушного друга, благороднейшего из людей, который дремлет тут, неподалеку от нас, вкушая блаженство недолгого забвения! Увы, бедный мой Реми,— продолжала она, и в ее голосе прозвучало теплое чувство,— ты не подозреваешь, что, проснувшись, останешься один на земле, ибо я готовлюсь предстать пред всевышним.

— Что вы сказали? — вскричал Анри.— Неужели вы хотите умереть?

Разбуженный горестным возгласом молодого человека, Реми поднял голову и прислушался.

— Вы видели, что я молилась, не так ли? — продолжала Диана.— Эта молитва была моим прощанием с земной жизнью; та великая радость, которую вы, несомненно, прочли на моем лице, так же озарила его, если бы ангел смерти сказал мне: «Встань, Диана, и следуй за мной к подножию престола господня!»

— Диана! Диана! — шепотом сказал Анри.— Теперь, когда я наконец узнал ваше имя, не говорите мне, что вы решили умереть!

— Я этого не говорю, сударь,— все так же твердо ответила молодая женщина,— я сказала, что готовлюсь покинуть этот мир слез, ненависти, мрачных страстей и низменной алчности; я вверяю себя господу, уповая, что он сжалится надо мной в неисчерпаемом милосердии своем.

Услыхав эти слова, Реми встал и подошел к своей госпоже.

— Вы покидаете меня? — мрачно спросил он.

— Да, чтобы посвятить себя богу,— ответила Диана, воздев к небу руку, исхудалую и бледную, как у Марии-Магдалины.

— Вы правы,— молвил Реми, снова понуря голову,— вы правы!

— Как я ничтожен в сравнении с этими двумя сердцами! — сказал Анри, трепеща от благоговейного ужаса.

— Вы единственный человек,— молвила Диана,— на котором глаза мои дважды останавливались с того дня, как я дала обет навеки отвратить их от всего земного.

Анри преклонил колени.

— Благодарю вас, сударыня,— прошептал он,— ваша душа раскрылась предо мной, благодарю вас: отныне ни одно слово, ни один порыв моего сердца не выдадут того, что я исполнен любви к вам. Вы принадлежите всевышнему, я не вправе вас ревновать.

Едва он произнес эти слова и поднялся с колен, как с равнины, еще окутанной туманом, явственно донеслись звуки труб.

Ониские кавалеристы схватились за оружие и, не дождавшись команды, вскочили на коней.

Прислушавшись, Анри встрепенулся.

— Это трубы адмирала,— вскричал он,— я узнаю их, узнаю! Великий боже! Да возвестят они, что брат мой жив!

— Вот видите,— сказала Диана,— у вас есть еще желания, есть еще люди, которых вы любите. К чему же, дитя, предаваться отчаянию, уподобляясь тем, кто ничего уже не желает, никого не любит?

— Коня! — вскричал Анри.

— Но как же вы проедете? — спросил лейтенант.— Ведь мы окружены водой!

— Поймите, главное — добраться до равнины: раз слышны трубы — значит, там идет войско!

— Подымитесь на насыпь, граф,— предложил лейтенант,— погода проясняется; быть может, вы что-нибудь увидите.

— Иду,— отозвался Анри.

Звуки труб по-прежнему доносились до стоянки, но они удалялись.

Реми опустился на прежнее место рядом с Дианой.

VIII. Два брата

Спустя четверть часа Анри вернулся и сообщил, что на другом холме, который ночная мгла прежде скрывала от их глаз, он увидел большой отряд французских войск, расположившийся лагерем и укрепившийся.

Вода уже начала уходить с равнины, словно из пруда, который осушают, выкачивая его. Катясь в море, мутные потоки оставляли после себя след в виде густой тины.

Как только ветер рассеял туман, Анри увидел на холме французское знамя, величаво реявшее в воздухе.

Ониские кавалеристы не остались в долгу: они подняли свой штандарт, и обе стороны в знак радости принялись палить из мушкетов.

К одиннадцати часам утра солнце осветило унылое запустение, царившее вокруг; равнина местами подсохла, и можно было различить узкую дорожку, проложенную по гребню возвышенности.

Анри тотчас же направил туда своего коня и по цоканью копыт определил, что под зыбким слоем тины лежит мощеная дорога; он догадался также, что она ведет кружным путем к холму, где расположились французы.

Он вызвался проехать в их лагерь; предприятие было рискованное, поэтому других охотников не нашлось, и Анри один отправился по опасной дороге, оставив Реми и Диану на попечение лейтенанта.

Едва он покинул поселок, как с противоположного холма тоже спустился всадник; но если Анри хотел найти путь от поселка к лагерю, то этот неизвестный, видимо, задумал проехать из лагеря в поселок.

Оба представителя разбитого французского войска храбро продолжали путь и вскоре убедились, что их задача менее трудна, чем они того опасались: из-под тины ключом била вода. Теперь всадников разделяли какие-нибудь двести шагов.

— Франция! — возгласил всадник, спустившийся с холма, и приподнял берет, на котором развевалось белое перо.

— Как, это вы, ваша светлость? — радостно отозвался дю Бушаж.

— Анри, дорогой брат мой! — воскликнул всадник с белым пером.

Рискуя увязнуть в тине, темневшей по обе стороны дороги, оба всадника пустили лошадей галопом и вскоре обнялись под восторженные клики зрителей.

Поселок и холм мгновенно опустели: ониские тяжеловооруженные всадники и королевские гвардейцы, воины-гугеноты и воины-католики — все хлынули к дороге, на которую первыми ступили два брата.

Вскоре воздух огласили громкие приветствия, и на той самой дороге, где они думали найти смерть, три тыся-

чи французов вознесли благодарность провидению и закричали:

— Да здравствует Франция!

— Господа,— воскликнул один из офицеров-гугенотов,— мы должны кричать «Да здравствует адмирал!», ибо не кто иной, как герцог де Жуаез, спас нам жизнь в эту ночь, а сегодня утром даровал нам великое счастье обняться с нашими соотечественниками!

Гул одобрения был ответом на эти слова.

На глазах у братьев выступили слезы; они вполголоса обменялись несколькими словами.

— Что с герцогом? — спросил Жуаез.

— Судя по всему, он погиб,— ответил Анри.

— Это горестный для Франции день...— молвил адмирал. Обернувшись затем к своим людям, он громко объявил:— Не будем понапрасну терять время, господа! По всей вероятности, как только вода спадет, на нас будет произведено нападение; мы окопаемся здесь, пока не получим продовольствия и достоверных известий.

— Но, монсеньер,— возразил кто-то,— кавалерия не сможет действовать: лошадей не кормили со вчерашнего дня.

— На нашей стоянке имеется зерно,— сказал лейтенант,— но как быть с людьми?

— Если есть зерно,— ответил адмирал,— мне больше ничего не надо; люди будут есть то же, что и лошади.

— Брат мой,— прервал его Анри,— прошу тебя, дай мне возможность хоть минуту поговорить с тобой наедине.

— Я займу этот поселок,— ответил Жуаез.— Выбери подходящее помещение и дожидайся меня.

Анри вернулся к своим спутникам.

— Теперь вы среди войска,— сказал он Реми.— Послушайтесь меня, спрячьтесь в том помещении, которое я подыщу; не следует, чтобы кто бы то ни было видел вашу госпожу.

Реми и Диана заняли помещение, которое, по просьбе Анри, ему уступил лейтенант ониских кавалеристов, с прибытием Жуаеза ставший всего-навсего исполнителем приказаний адмирала.

Около двух часов пополудни герцог де Жуаез под звуки труб и литавр вступил со своими частями в поселок и издал строгий приказ, дабы предупредить всякие бесчинства.

Затем он велел раздать людям ячмень, лошадям овес, тем и другим — питьевую воду; несколько бочек пива и вина, найденных в погребах, были, по его распоряжению, отданы раненым, а сам он, объезжая посты, подкрепился на глазах у всех куском простого хлеба и запил его стаканом воды. Повсюду солдаты встречали адмирала как избавителя возгласами любви и благодарности.

— Пусть только фламандцы сунутся сюда,— сказал Жуаез, оставшись с глазу на глаз с братом.— Я их разобью наголову и даже съем, ведь я голоден как волк. А теперь расскажи мне, каким образом ты очутился во Фландрии? Я был уверен, что ты в Париже.

— Брат мой, жизнь в Париже стала для меня невыносимой, вот я и отправился к тебе во Фландрию.

— И все это по-прежнему от любви? — спросил Жуаез.

— Нет, с отчаяния. Клянусь тебе, Анн, я уже не влюблен; моей страстью стала отныне неизбывная печаль.

— Брат мой,— воскликнул Жуаез,— позволь сказать тебе, что женщина, которую ты полюбил,— дурная женщина!

— Почему?

— А вот почему, Анри: если от избытка добродетели человек не считается со страданиями других,— это уже не добродетель, а изуверство, свидетельствующее об отсутствии христианского милосердия.

— Брат мой, брат мой! — воскликнул Анри.— Не клевещи на добродетель! Ведь ты так добр, так великодушен!

— Быть великодушным по отношению к людям бессердечным — значит дурачить самого себя.

— Брат мой,— с кротчайшей улыбкой сказал Анри,— какое счастье для тебя, что ты не влюблен! Но прошу вас, господин адмирал, перестанем говорить о моей безумной любви и обсудим военные дела.

— Согласен, ведь разговорами о своей безумной любви ты, чего доброго, и меня сведешь с ума.

— Ты видишь, у нас нет продовольствия.

— Знаю, и я уже нашел способ его раздобыть.

— Каким образом?

— Я не могу двинуться отсюда, пока не получу известий о других частях армии; ведь здесь выгодная позиция, и я готов защищать ее против сил, в пять раз превос-

ходящих мои собственные; но я вышлю отряд смельчаков на разведку: во-первых, они соберут мне нужные сведения, а во-вторых, добудут продовольствие,— эта Фландрия в самом деле прекрасная страна.

— Не такая уж прекрасная, брат мой.

— О! Я говорю о стране, какой создал ее господь, а не о людях — они-то всегда портят его творения. Пойми, Анри, какое безрассудство совершил герцог Анжуйский, какую крупную партию он проиграл, как быстро гордыня и опрометчивость погубили несчастного Франциска! Мир праху его, не будем больше говорить о нем, но ведь он действительно мог приобрести и неувядаемую славу и одно из прекраснейших королевств Европы, а вместо этого он сыграл на руку... кому? Вильгельму Лукавому. А впрочем, знаешь, Анри, антверпенцы сражались храбро!

— И ты тоже, брат мой!

— Да, в тот день я был в ударе, а кроме того, произошло событие, которое меня сильно подзадорило.

— Какое?

— Я сразился на поле брани со шпагой, хорошо мне знакомой.

— Шпагой француза?

— Да, француза.

— И он находился в рядах фламандцев?

— Во главе их, Анри. Эту тайну нужно раскрыть — она несомненно находится в связи с четвертованием Сальседа на Гревской площади.

— Дорогой мой повелитель, ты, к несказанной моей радости, вернулся цел и невредим, а вот мне необходимо наконец что-нибудь совершить!

— Что именно?

— Прошу тебя, назначь меня командиром разведчиков.

— Нет, Анри, нет. Если уж ты хочешь непременно умереть, я найду для тебя более доблестную смерть.

— Брат мой, умоляю тебя, согласись на мою просьбу; я буду осторожен, обещаю тебе.

— Хорошо, я все понял.

— Что же ты понял?

— Ты решил испытать, не смягчит ли ее жестокое сердце тот шум, который подымается вокруг блистательного подвига. Признайся, именно этим объясняется твое необычное упорство.

— Признаюсь, если тебе это угодно, брат мой.

— Что ж, ты прав. Женщины, которые остаются непреклонными пред лицом большой любви, часто дают себя прельстить небольшой славой.

— Стало быть, ты мне поручишь это командование, брат?

— Придется, раз ты этого хочешь.

— Я должен выступить сегодня же?

— Непременно, Анри; ты сам понимаешь, мы не можем дольше ждать.

— Сколько человек ты выделишь в мое распоряжение?

— Самое большее — сто; я не могу ослабить свою позицию. Но дай мне честное слово, что ты вступишь в бой только в том случае, если силы противника будут равны твоим или немногим больше.

— Клянусь!

— Вот и отлично! Из какой части ты возьмешь людей?

— Позволь мне взять сотню ониских кавалеристов — у меня среди них много друзей. Когда мне выступить?

— Немедленно. Вели выдать паек людям на один день, лошадям — на два дня. Помни, я хочу получить сведения как можно скорее и из надежных источников.

— Еду, брат мой! У тебя не будет никаких секретных поручений?

— Не разглашай гибели герцога; пусть думают, что он у меня в лагере. Преувеличивай численность моего войска; если, паче чаяния, вы найдете тело герцога, воздай ему все должные почести: хоть он и был дурной человек и ничтожный полководец, он все же принадлежал к царствующему дому; вели положить тело в дубовый гроб, и мы отправим его бренные останки в Сен-Дени для погребения в усыпальнице французских королей.

Анри хотел было поцеловать руку старшего брата, но тот ласково обнял его.

— Еще раз обещай мне, Анри,— сказал адмирал,— что эта разведка — не хитрость, к которой ты прибегаешь, чтобы доблестно пасть в бою.

— Брат мой, когда я отправился к тебе во Фландрию, у меня была такая мысль; но теперь, клянусь тебе, я отказался от нее.

Молодые люди снова заключили друг друга в объятия и расстались, но еще не раз оборачивались, чтобы обменяться приветствиями и улыбками.

IX. Поход

Не помня себя от радости, дю Бушаж поспешил к Реми и Диане.

— Будьте готовы через четверть часа,— сказал он,— мы выступаем. Двух оседланных лошадей вы найдете во дворе; вы должны незаметно присоединиться к нашему отряду и ни с кем не говорить ни слова.

Затем Анри вышел на галерею, опоясывавшую дом, и крикнул:

— Трубачи ониских кавалеристов, играйте сбор!

Сигнал гулко разнесся по поселку; лейтенант привел своих людей, и они тотчас выстроились перед домом.

— Солдаты,— обратился к ним Анри,— адмирал де Жуаез назначил меня вашим командиром; он поручил мне произвести разведку. Кто добровольно последует за мной?

Все триста человек, как один, сделали шаг вперед.

— Благодарю вас,— сказал Анри,— недаром вы были доблестным примером для всей армии; но я могу взять с собой только сто человек. Сударь,— продолжал он, обращаясь к лейтенанту,— прошу вас, произведите жеребьевку.

Пока лейтенант занимался порученным ему делом, адмирал де Жуаез давал брату последние указания.

— Слушай меня внимательно, Анри,— говорил он.— Равнина быстро подсыхает; местные жители уверяют, что между Контиком и Рюпельмондом можно проехать. Ваш путь пролегает между двумя реками — Рюпелем и Шельдой. Не доезжая Рюпельмонда, вы найдете пригнанные из-под Антверпена лодки и переправитесь на них через Шельду. Надеюсь, по дороге в Рюпельмонд вы найдете либо склады продовольствия, либо мельницы.

Выслушав брата, Анри заторопился: ему хотелось выступить как можно скорее.

— Повремени,— остановил его Жуаез.— Ты забываешь главное: мои люди захватили трех крестьян, одного я отдаю тебе в проводники. Никакой жалости: при первом признаке измены — пуля или удар кинжала.

С этими словами адмирал обнял брата и скомандовал: «По коням!»

Анри приставил к проводнику двух конвоиров с заряженными пистолетами в руках. Реми и его спутница держались в отдалении, среди солдат. Дю Бушаж не отдал

относительно их никаких распоряжений, считая, что любопытство окружающих и так достаточно возбуждено присутствием неизвестных лиц.

Сам же он занял место во главе отряда.

Ехали медленно: твердая почва уходила из-под копыт лошадей, и весь отряд увязал в грязи. Время от времени на равнине появлялись какие-то призраки, бегущие без оглядки: то были либо крестьяне, слишком поспешно возвратившиеся в родные места, либо несчастные французы, не знавшие, друзья ли им повстречались или враги.

Проехав за три часа два лье, отважные разведчики добрались до реки Рюпель, вдоль берега которой тянулась мощеная дорога; но теперь на смену трудностям пришли опасности: две-три лошади зашибли себе ноги о неплотно уложенные камни; иные, поскользнувшись на покрытых тиной камнях, упали в реку и погибли вместе с их ездоками. Вдобавок с лодок, стоявших на причале у противоположного берега, в отряд несколько раз стреляли. В этих трудных условиях Анри показал себя достойным предводителем и подлинным другом солдат; действуя осторожно и разумно, он вел людей к спасению и рисковал только собственной жизнью.

Немного не доезжая Рюпельмонда, ониские кавалеристы наткнулись на нескольких французских солдат, сидевших на корточках вокруг кучки тлеющего торфа. Несчастные жарили кусок конины: то была единственная пища, которую им удалось раздобыть за последние двое суток.

Завидев всадников, участники этого жалкого пиршества всполошились; они хотели было удрать, но один из них удержал товарищей, говоря:

— Чего нам бояться? Если это враги, они убьют нас, и по крайней мере все разом будет кончено.

— Франция! Франция! — крикнул Анри, услыхав эти слова.— Идите скорее к нам, бедняги!

Измученные французы подбежали к соотечественникам; тотчас их снабдили плащами, дали хлебнуть можжевеловой водки и позволили ехать вместе со слугами, по двое на одной лошади. Они с радостью присоединились к отряду.

Наконец глубокой ночью добрались до Шельды. Все вокруг было окутано мраком; у самого берега ониские кавалеристы застали двух мужчин, на ломаном фламандском языке они уговаривали лодочника перевезти их на

другой берег. Лодочник отказывался и вдобавок угрожал им. Лейтенант, говоривший по-фламандски, велел отряду остановиться, а сам, спешившись, бесшумно приблизился к спорившим и расслышал следующие сказанные лодочником слова:

— Вы французы, стало быть, должны умереть здесь; вы не попадете на тот берег.

Один из мужчин приставил к горлу лодочника кинжал и, уже не пытаясь коверкать свою речь, сказал на чистейшем французском языке:

— Умереть придется тебе, хоть ты и фламандец, если тотчас же не перевезешь нас!

— Держите его, сударь, держите! — крикнул лейтенант.— Мы вам поможем!

Француз от изумления ослабил хватку; воспользовавшись этим, лодочник вырвался и проворно отчалил.

Один из кавалеристов тотчас же смекнул, какую огромную пользу может принести лодка, и выстрелом из пистолета уложил лодочника наповал.

Оставшись без гребца, лодка перевернулась, и волны прибили ее обратно к берегу. Французы, споривше с лодочником, первыми сели в нее. Это явное желание обособиться удивило и обеспокоило лейтенанта, и он спросил:

— Позвольте узнать, господа, кто вы такие?

— Сударь, мы морские офицеры. А вы, как видно, ониские кавалеристы?

— Да, сударь; не хотите ли примкнуть к нашему отряду?

— Охотно, господа.

— В таком случае, садитесь на подводу, если вы слишком устали, чтобы идти пешком.

— Разрешите узнать, куда вы держите путь? — спросил второй морской офицер, до того времени молчавший.

— Нам приказано добраться до Рюпельмонда, сударь.

— Будьте осторожны,— продолжал тот же офицер,— сегодня утром в том же направлении проехал испанский отряд, очевидно выступивший из Антверпена.

— Погодите,— сказал лейтенант,— я попрошу сюда нашего командира.— Он знаком подозвал Анри и объяснил ему, в чем дело.

— А сколько человек было в отряде? — спросил дю Бушаж.

— Человек пятьдесят.

— Ну и что же? Это вас пугает?

— Нет, граф, но я думаю, что следовало бы захватить лодку с собой; она вмещает двадцать человек, и если нужно будет переправиться через реку, это удастся сделать в пять приемов, держа лошадей под уздцы.

— Согласен,— сказал Анри,— возьмите лодку. А что, при впадении Рюпеля в Шельду есть какое-нибудь жилье?

— Там целый поселок,— вставил кто-то.

— Едем туда; угол, образуемый слиянием двух рек, должен быть превосходной позицией... Вперед, солдаты! Распорядитесь, чтобы два человека сели в лодку и направляли ее в ту сторону, куда поедем мы.

— Если разрешите,— сказал один из морских офицеров,— в лодку сядем мы.

— Согласен, господа,— ответил Анри,— но не теряйте нас из виду и присоединитесь к нам, как только мы вступим в поселок.

— Превосходно,— ответил все тот же морской офицер и сильным взмахом весел отчалил от берега.

«Странно,— подумал Анри, снова пускаясь в путь,— этот голос мне очень знаком».

Час спустя они уже были в поселке, действительно занятом испанским отрядом, о котором говорил морской офицер. Внезапно атакованные, испанцы почти не сопротивлялись. Дю Бушаж велел обезоружить пленных и запереть их в одном из домов поселка; по его приказу к ним приставили караул из десяти человек. Затем Анри распорядился, чтобы люди поели, сменами по двадцать человек. Ужин уже был готов: то был ужин захваченных врасплох испанцев.

Прежде чем подкрепиться самому, Анри отправился проверить сторожевые посты. Спустя полчаса он вернулся. Невзирая на то, что он просил офицеров ужинать без него, они ни к чему не притронулись, но кое-кто от усталости успел задремать.

При появлении графа спящие проснулись, а те, что бодрствовали, вскочили на ноги. Анри обвел взглядом просторную комнату.

Медные лампы, подвешенные к потолку, отбрасывали тусклый дымный свет.

Вид стола, уставленного пшеничными хлебами, окороками жареной свинины и кружками пенящегося пива,

раздразнил бы аппетит не только у людей, не евших и не пивших целые сутки.

Дю Бушажу указали на оставленное для него почетное место.

Он сел и предложил всем приняться за еду. По тому, как бойко ножи и вилки тотчас застучали о фаянсовые тарелки, Анри мог заключить, что его ждали с некоторым нетерпением и что его приход был желанным для всех.

— Кстати,— спросил он лейтенанта,— нашлись наши морские офицеры?

— Да, сударь.

— Где же они?

— Вон там, в самом конце стола.

Действительно, офицеры не только сидели в дальнем конце стола, но и выбрали самое темное место во всей комнате.

— Господа,— сказал им Анри,— вам там неудобно сидеть, и вы, сдается мне, ничего не едите.

— Благодарствуйте, граф,— ответил один из них,— мы очень устали и гораздо больше нуждаемся в отдыхе, чем в пище; мы уже говорили это господам офицерам, но они настояли на том, чтобы мы сели за стол, утверждая, что таков ваш приказ.

Анри слушал с величайшим вниманием, но было ясно, что голос интересует его больше, чем ответ.

— Ваш товарищ такого же мнения? — спросил он, когда морской офицер замолчал.

При этих словах дю Бушаж так испытующе смотрел на второго офицера, низко нахлобучившего шляпу и упорно молчавшего, что все военные, сидевшие за столом, тоже стали к нему приглядываться.

Вынужденный хоть что-нибудь ответить, офицер едва внятно пробормотал:

— Да, граф.

Услышав этот голос, Анри вздрогнул. Затем он встал и решительно направился туда, где сидели оба офицера.

Он остановился подле обоих и, обратившись к тому из них, кто говорил первым, сказал:

— Сударь, докажите мне, что́ вы не брат господина Орильи и не сам господин Орильи.

— Орильи! — в один голос воскликнули присутствующие.

— А вашего спутника,— продолжал Анри,— я покорно прошу слегка приподнять шляпу, закрывающую ему лицо, иначе мне придется назвать его монсеньером и низко склониться перед ним...

В то же время Анри отвесил неизвестному почтительный поклон.

Тот поднял голову.

— Его высочество герцог Анжуйский! — в один голос воскликнули офицеры.

— Ну что ж, господа,— сказал герцог,— раз вы согласны признать вашего побежденного, скитающегося государя, я не стану дольше препятствовать изъявлению чувств, которые глубоко меня трогают. Вы не ошиблись, господа, перед вами подлинно герцог Анжуйский.

— Да здравствует монсеньер! — дружно закричали офицеры.

X. Павел из семейства Эмилиев

Все эти приветствия, хотя и искренние, смутили герцога.

— Потише, потише, господа,— сказал он,— прошу вас, не радуйтесь больше меня самого удаче, выпавшей на мою долю. Поверьте, не узнай вы меня, я не стал бы первым хвалиться тем, что сохранил жизнь.

— Как! Монсеньер! — воскликнул Анри.— Вы видели, как мы сокрушаемся о вашей гибели, и не открыли нам, что мы печалимся понапрасну?

— Господа,— ответил герцог,— помимо множества причин, в силу которых я желал остаться неузнанным, мною руководило следующее побуждение: мне хотелось воспользоваться случаем и послушать, какие надгробные речи будут произнесены в мою честь.

— О! Монсеньер! Монсеньер!

— Нет, в самом деле,— продолжал герцог,— я похож на Александра Македонского: я смотрю на войну, как на искусство. Так вот, положа руку на сердце, скажу: мне думается, я совершил ошибку.

— Монсеньер,— молвил Анри, потупившись,— прошу вас, не говорите этого.

— А почему? Неужели вы думаете, что я не осуж-

даю себя, и весьма сурово, за то, что проиграл сражение?

— Монсеньер, ваша доброта пугает нас, благоволите успокоить ваших покорных слуг, сказав, что вы не испытываете страданий.

Грозная тень легла на чело принца, еще более омрачив его и без того зловещее лицо.

— Нет, нет,— ответил он.— Благодарение богу, я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и мне весьма приятно ваше общество.

Офицеры поклонились.

— Сколько человек под вашим началом, дю Бушаж? — спросил герцог.

— Сто пятьдесят, монсеньер.

— Так, так... сто пятьдесят из двенадцати тысяч. То же соотношение, что и после битвы при Каннах[1].

— Монсеньер,— возразил Жуаез,— если ваша битва подобна битве при Каннах, то мы все же счастливее римлян: мы сохранили нашего Павла Эмилия!

— Клянусь спасением своей души, господа,— сказал герцог,— Павел Эмилий битвы под Антверпеном — Жуаез, и, по всей вероятности, для полноты сходства твой брат погиб... Так ведь, дю Бушаж?

При этом хладнокровно заданном вопросе у Анри болезненно сжалось сердце.

— Нет, монсеньер,— ответил он,— брат жив.

— А! Тем лучше! — с ледяной усмешкой воскликнул герцог.— Славный наш Жуаез уцелел! Где же он? Я хочу его обнять!

— Его здесь нет, монсеньер.

— Что же он, ранен?

— Нет, монсеньер, цел и невредим.

— Но, подобно мне, спасся чудом, скитается, голоден, опозорен, жалок!

— Я несказанно рад сообщить вашему высочеству, что брат сохранил три тысячи человек и, возглавив их, занял большой поселок в семи лье отсюда.

Герцог побледнел.

— Три тысячи человек! — повторил он.— И эти три

[1] В битве при Каннах (216 г. до н. э.) карфагенский полководец Ганнибал сумел окружить и почти полностью уничтожить превосходившее его численностью римское войско.

тысячи сохранил Жуаез! Да знаешь ли ты, что твой брат оказался вторым Ксенофонтом![1] Да здравствует Жуаез! К черту Валуа! Право слово, королевский дом не мог бы избрать своим девизом «Hilariter».

— Монсеньер! Монсеньер! — пробормотал дю Бушаж, удрученный сознанием, что под наигранной веселостью герцога таится злобная, мучительная зависть.

— Да, да, клянусь спасением своей души, я говорю истинную правду... Так ведь, Орильи?.. Мы возвращаемся во Францию, точь-в-точь как Франциск Первый после битвы при Павии[2]. Все потеряно, и честь в придачу. Ха-ха-ха!

Этот смех, горький, как рыдание, был встречен мрачным безмолвием, которое Анри прервал словами:

— Расскажите нам, монсеньер, каким образом добрый гений Франции спас вашу милость.

— Эх, любезный граф, все очень просто; по всей вероятности, гений, покровитель Франции, в тот момент был занят чем-то более важным — вот мне и пришлось спасаться самому!

— Каким образом, монсеньер?

— Улепетывая со всех ног.

Никто из присутствующих не улыбнулся в ответ на эту остроту, которую герцог несомненно покарал бы смертью, если бы ее позволил себе кто-нибудь другой.

— Всем известны хладнокровие, храбрость и полководческий талант вашего высочества,— возразил Анри.— Мы умоляем вас не терзать наши сердца, приписывая себе воображаемые ошибки. Самый даровитый полководец может потерпеть поражение, и сам Ганнибал был побежден при Заме.

— Да,— ответил герцог,— но Ганнибал выиграл битвы при Требии, Тразименском озере и Каннах, а я выиграл одну только битву при Като-Камбрези, которая не может идти ни в какое сравнение с ними.

[1] Ксенофонт (около 434—359 гг. до н. э.) — греческий полководец, историк и философ; был одним из начальников греческих наемников в армии персидского царя Кира Младшего и после поражения и смерти царя сумел вывести свой отряд через вражескую страну в Грецию.

[2] Франциск I (1494—1547) — французский король. В битве при Павии (1525) был разбит и взят в плен испанцами. После этой битвы он, согласно преданию, написал своей матери: «Все потеряно, кроме чести».

— Вы изволите шутить, монсеньер, говоря, что бежали?

— Нет, черт возьми! И не думаю шутить; неужели, дю Бушаж, ты находишь, что это предмет для шуток?

— Разве можно было поступить иначе, граф? — спросил Орильи, желая поддержать своего господина.

— Молчи, Орильи,— приказал герцог,— спроси об этом у тени Сент-Эньяна.

Орильи потупился.

— Ах да, вы не знаете, что произошло с Сент-Эньяном; я расскажу вам это не в трех словах, а в трех гримасах.

При этой новой остроте, омерзительной в столь тягостных обстоятельствах, офицеры нахмурились, не смущаясь тем, что это могло не понравиться их повелителю.

— Итак, представьте себе, господа,— начал герцог, делая вид, будто не заметил этого изъявления недовольства,— представьте себе, что в ту минуту, когда неблагоприятный исход битвы уже определился, Сент-Эньян собрал вокруг себя пятьсот всадников и, вместо того чтобы отступать, как все прочие, подъехал ко мне со словами: «Нужно немедленно пойти в атаку, монсеньер».— «Как так? — возразил я.— Вы с ума сошли, Сент-Эньян, их сто против одного француза».— «Будь их тысяча против одного,— ответил он с ужасающей гримасой,— я пойду в атаку».— «Идите, друг мой, идите,— сказал я.— Что до меня, я-то в атаку не пойду, я поступлю совсем наоборот».— «В таком случае дайте мне вашего коня — он совсем обессилел, я же бежать не намерен, поэтому для меня всякий конь хорош». И он действительно отдал мне своего вороного коня, а сам пересел на моего белого, сказав при этом: «Герцог, на этом скакуне вы сделаете двадцать лье за четыре часа». Затем, обратившись к своим людям, он воскликнул: «За мной, господа! Вперед все те, кто не хочет повернуться спиной к врагам!» И он бросился навстречу фламандцам с гримасой еще более страшной, чем первая. Послушай он меня, вместо того чтобы проявить такую бесполезную отвагу, он сидел бы с нами за этим столом и не строил бы в настоящую минуту третью по счету гримасу, по всей вероятности еще более безобразную, чем две первые.

Дрожь возмущения проняла всех присутствующих.

«У него нет сердца,— подумал Анри.— Как жаль, что

сан этого негодяя избавляет его от вызова, который с радостью бросил бы ему каждый из нас!»

— Вот как случилось,— продолжал принц, осушая стакан,— что Сент-Эньян умер, а я жив; впрочем, умирая, он оказал мне последнюю огромную услугу: поскольку он ехал на моей лошади, все решили, что погиб я, и фламандцы замедлили преследование. Но будьте спокойны, господа, мы возьмем реванш, кровавый реванш, и со вчерашнего дня я, по крайней мере в мыслях своих, формирую самую грозную армию, какая когда-либо существовала.

— А покамест,— заявил Анри,— ваше высочество примет начальствование над моим отрядом; я скромный дворянин и не вправе отдавать приказания там, где находится представитель королевского дома.

— Согласен,— сказал принц.— Прежде всего я приказываю всем приняться за ужин; в частности, это относится к вам, дю Бушаж, вы даже не придвинули к себе тарелку.

— Монсеньер, я не голоден.

— В таком случае, друг мой дю Бушаж, проверьте еще раз посты. Объявите командирам, что я жив, но попросите их не слишком громко выражать свою радость, прежде чем мы не займем какие-нибудь надежные укрепления или не соединимся с войсками нашего непобедимого Жуаеза.

Как видит читатель, этому беглецу и трусу достаточно было одной минуты, чтобы снова стать кичливым, беспечным и властным.

Повелевать сотней людей или ста тысячами — все равно значит повелевать. Властители всегда требуют не то, что заслужили, а то, что, по их мнению, им причитается.

Герцога очень удивляло, что военный с именем и положением дю Бушажа согласился принять командование горстью людей и отправиться в столь опасную экспедицию. Такое дело надлежало поручить какому-нибудь лейтенанту, а не брату прославленного адмирала.

Герцог стал расспрашивать офицеров и в конце концов узнал, что адмирал поручил брату возглавить разведку, лишь уступив его настояниям.

— Почему же, в каких целях,— спросил герцог у лейтенанта,— граф столь настойчиво добивался, чтобы ему дали такое, в сущности, маловажное поручение?

— Прежде всего он хотел оказать помощь людям, спасенным адмиралом,— ответил тот.

— Прежде всего — сказали вы, а какие побуждения действовали затем, сударь?

— Даже вашему высочеству я могу называть только те причины, которые связаны со службой.

— Вот видите, господа,— сказал герцог, обращаясь к немногим офицерам, еще сидевшим за столом,— я был совершенно прав, стараясь остаться неузнанным: в моей армии имеются тайны, в которые меня не посвящают.

— О монсеньер, — возразил лейтенант, — вы очень дурно истолковали мою сдержанность; тайна касается только самого графа дю Бушажа. Разве не могло случиться, что, служа общим интересам, он пожелал оказать услугу кому-нибудь из своих родственников или близких друзей?

— Кто же здесь находится из родственников или близких друзей графа? Скажите мне, я хочу поскорее обнять его!

— Монсеньер,— сказал Орильи, вмешиваясь в разговор с той почтительной фамильярностью, которую он давно взял в привычку,— я наполовину раскрыл эту тайну. Родственник графа дю Бушажа на самом деле...

— На самом деле... Договаривай скорее, Орильи.

— На самом деле родственница, монсеньер.

— Вот оно что! — воскликнул герцог.— Милейший Анри! Это так понятно... Ну что ж, закроем глаза на интрижку с родственницей и не будем больше говорить об этом.

— Это самое лучшее, что ваше высочество может сделать,— сказал Орильи,— тем более, что дама сия переодета мужчиной.

— Так, так... Стало быть, находясь в войсках, Анри возит с собой родственницу!.. Где же она, Орильи?

— Наверху!

— Как! Здесь, в этом доме?

— Да, монсеньер... Но... тише. Вот господин дю Бушаж!

— Тише! — повторил за ним герцог и разразился хохотом.

XI. Герцог Анжуйский предается воспоминаниям

Возвращаясь, Анри услышал злобный хохот герцога, но он слишком мало общался с его светлостью, чтобы знать, какие угрозы таило в себе всякое проявление веселости со стороны герцога Анжуйского.

Став начальником отряда, герцог поручил Анри ведать сторожевыми постами. Такое решение казалось настолько естественным, что все остальные и в первую очередь сам Анри обманулись насчет истинных намерений герцога.

Однако дю Бушаж счел нужным дать лейтенанту кое-какие указания по службе, а также на время своего отсутствия поручить ему заботу об обоих своих спутниках.

Но не успел он сказать лейтенанту и двух слов, как в разговор вмешался герцог.

— Секреты? — спросил он со своей обычной коварной улыбкой.

Слишком поздно лейтенант сообразил, что он наделал своей нескромностью; раскаиваясь в этом и желая выручить графа, он поспешно сказал:

— Нет, монсеньер, граф только спросил меня, сколько у нас осталось пороху, сухого и годного к употреблению.

— А! Это дело другое,— заметил герцог, вынужденный сделать вид, что поверил объяснению, иначе он сам бы себя изобличил в соглядатайстве и этим унизил бы свое достоинство принца крови.

Воспользовавшись тем, что герцог отвернулся, лейтенант торопливо шепнул Анри:

— Его высочеству известно, что вас кто-то сопровождает.

Дю Бушаж вздрогнул, и это невольное движение не ускользнуло от герцога; притворившись, что желает удостовериться, все ли его приказания выполнены, он предложил графу дойти вместе с ним до самого важного сторожевого поста. Волей-неволей дю Бушажу пришлось согласиться. Ему очень хотелось предупредить Реми, посоветовать ему быть настороже, но удалось только одно — на прощанье сказать лейтенанту:

— Берегите порох, прошу вас; берегите его так, как берег бы я сам.

— Где находится порох, заботу о котором вы поручили этому юнцу, граф?

— В том доме, ваше высочество, где я поместил штаб.

— Будьте спокойны, дю Бушаж,— продолжал герцог,— я хорошо понимаю всю важность такого предмета, особенно в нашем положении. Охранять его я буду сам, а не наш юный друг.

На этом разговор кончился. Они молча доехали до слияния обеих рек; несколько раз повторив дю Бушажу наставление ни в коем случае не покидать поста у реки, герцог вернулся в поселок и тотчас же стал разыскивать Орильи; он нашел его в помещении, где был подан ужин. Завернувшись в плащ, музыкант спал на скамье. Герцог ударил его по плечу.

Орильи протер глаза и посмотрел на своего повелителя.

— Ты слышал?

— Да, монсеньер.

— Разве ты знаешь, кого я имею в виду?

— Разумеется! Неизвестную даму, родственницу графа дю Бушажа.

— Если так, призови на помощь всю свою фантазию и разгадай остальное.

— Я уже разгадал, что любопытство вашей светлости крайне возбуждено.

— Еще бы! А теперь скажи, что именно разожгло мое любопытство?

— Вы хотите знать, кто это отважное создание, следующее за братьями Жуаез сквозь огонь и воду?

— «Per mille pericula Martis»![1] — как сказала бы сестрица Марго, будь она здесь; ты попал в самую точку, Орильи. К слову сказать, ты написал ей?

— А разве я должен был написать ее величеству?

— Конечно.

— О чем?

— Да о том, что мы потерпели поражение, черт возьми! Что она должна стойко держаться.

— По какому случаю, монсеньер?

— По тому случаю, что Испания, развязавшись со мной на севере, несомненно нападет на нее с юга.

[1] Через тысячи опасностей войны *(лат.)*.

— Но, монсеньер, ведь у меня нет ни бумаги, ни чернил, ни пера.

— Поищи! «Ищите и обрящете»—сказано в Евангелии.

— Но как найти все это в жалкой хижине крестьянина?

— А я тебе приказываю: пиши, болван; если ты даже не найдешь, чем писать, зато...

— Зато?

— Зато найдешь что-нибудь другое.

— Эх! Дурак я, дурак! — вскричал Орильи, ударив себя по лбу.

— Хорошо, я сам напишу сестрице Марго, только отыщи мне все, что нужно для письма, и воротись, только когда найдешь, а я останусь тут.

— Иду, монсеньер.

— И если в твоих поисках... погоди... если в твоих поисках ты заметишь, что этот дом интересен по своему убранству... Ты ведь знаешь, Орильи, как я люблю фламандские дома...

— Да, монсеньер.

— Тогда ты меня позовешь.

— Мигом позову, монсеньер, положитесь на меня.

Орильи встал и легко, словно птица, упорхнул в соседнюю комнату, из которой был ход наверх. Спустя пять минут он вернулся к своему повелителю.

— Ну что? — спросил герцог.

— А то, монсеньер, что, если видимость меня не обманывает, этот дом должен быть дьявольски интересен по своему убранству.

— Почему ты так думаешь?

— Да потому — тьфу пропасть! — что в верхнее помещение не так-то легко проникнуть.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что вход охраняет дракон.

— Что за глупая шутка, музыкантишка?

— Увы, монсеньер, это не глупая шутка, а печальная истина. Сокровище находится на втором этаже, в комнате, перед дверью которой лежит человек, закутанный в большой серый плащ.

— О-го-го! Господин дю Бушаж позволяет себе посылать солдата для охраны дамы своего сердца?

— Это не солдат, монсеньер, а, вероятнее всего, слуга дамы или самого графа.

— И каков он на вид, этот слуга?

— Монсеньер, его лица я никак не мог разглядеть, но зато явственно видел большой фламандский нож, заткнутый за пояс; он крепко сжимает его кулаком, на вид весьма увесистым.

— Это прелюбопытно,— молвил герцог,— расшевели-ка малость этого парня, Орильи!

— Ну нет, монсеньер!

— Как!.. Ты осмелишься...

— Осмелюсь сказать, что меня не только изукрасит фламандский нож, но я еще наживу себе смертельных врагов в лице господ де Жуаезов, любимцев двора. Будь вы королем Нидерландов — куда ни шло, но сейчас, монсеньер, мы должны ладить со всеми, в особенности с теми, кто спас нам жизнь, а спасли ее братья Жуаезы. Имейте в виду, монсеньер, если вы об этом не скажете, они сами это сделают.

— Ты прав, Орильи,— согласился герцог, топнув ногой,— прав, как всегда, и все же...

— Понимаю, но...

— Я хочу видеть эту женщину, Орильи, слышишь?

— Возможно, вы ее и увидите, но только не в открытую дверь.

— Пусть так,— согласился герцог.— Если не в открытую дверь, то хоть в закрытое окно.

— А! Это дельная мысль, монсеньер, и я мигом добуду вам приставную лестницу.

Орильи прокрался во двор и прямо направился к навесу, под которым гасконские кавалеристы поставили лошадей. Он нашел там то, что почти всегда можно найти под навесом, а именно — лестницу, и, выйдя на улицу, прислонил ее к наружной стене дома.

Нужно быть принцем крови, властвующим в силу «божественного права», чтобы на глазах у часового отважиться на действия, столь дерзкие и оскорбительные для дю Бушажа, как те, которые предпринял герцог.

Орильи это понимал и обратил внимание герцога на часового, который, не зная, кто перед ним, видимо, намеревался их остановить.

Франциск пожал плечами и прямиком направился к часовому.

— Друг мой,— сказал он солдату,— это, кажется, самое высокое место в поселке?

— Да, монсеньер,— ответил часовой, который, узнав Франциска, почтительнейше отдал ему честь,— и, не будь этих старых лип, при лунном свете были бы хорошо видны окрестности.

— Я так и думал,— молвил герцог,— вот я и велел принести эту лестницу, чтобы поверх деревьев обозреть местность... Ну-ка полезай, Орильи, или нет, лучше полезу я: начальник должен все видеть сам.

Герцог взобрался на самый верх лестницы, Орильи остался внизу.

Комната, где Анри поместил Диану, была устлана циновками; в ней стояла массивная дубовая кровать с шерстяным пологом, стол и несколько стульев.

Весть о гибели герцога Анжуйского, казалось, сняла с души Дианы тяжкое бремя; она попросила Реми принести ей поесть, и тот с величайшей радостью исполнил эту просьбу. Ужин был очень легкий, и все же после него Диана почувствовала, что глаза у нее слипаются и голова клонится на плечо. Реми заметил это. Он потихоньку вышел и лег у порога, потому что всегда поступал так со времени их отъезда из Парижа.

Диана спала, облокотясь о стол, подперев голову рукой, откинувшись стройным станом на спинку высокого резного стула. Уста были полуоткрыты, пышные волосы ниспадали на откинутый капюшон грубой мужской одежды; небесным видением должен был счесть Диану тот, кто намеревался нарушить покой ее сокрытого от всех убежища.

Восторг, вызванный этим зрелищем, выразился в лице и движениях герцога; опершись руками о подоконник, он жадно глядел на представшее его взору чарующее создание.

Но вдруг лицо герцога омрачилось, и он с лихорадочной поспешностью спустился вниз. Казалось, он хотел поскорее уйти от света, падавшего из окна. Очутившись на улице, в полумраке, он прислонился к стене, скрестил руки на груди и задумался.

Орильи, исподтишка наблюдавший за ним, подметил, что взор его устремлен в одну точку, как это бывает с человеком, перебирающим смутные, далекие воспоминания.

Простояв минут десять в глубоком раздумье, герцог снова взобрался наверх и снова начал пристально глядеть в окно.

Неизвестно, долго ли пребывал он еще в таком положении, если б к лестнице не подбежал Орильи.

— Спускайтесь вниз, монсеньер,— сказал музыкант,— я слышу чьи-то шаги.

Герцог прислушался.

— Я ничего не слышу,— сказал он немного погодя.

— Вероятно, тот, кто шел, спрятался; какой-нибудь соглядатай, который следит за нами.

— Убери лестницу,— приказал герцог.

Снова подойдя к герцогу, Орильи спросил:

— Ну что, монсеньер, хороша она?

— Дивно хороша,— мрачно ответил герцог.

— Почему же вы так печальны, монсеньер?

— Странное дело, Орильи,— сказал герцог в раздумье,— я уже где-то видел эту женщину.

— Стало быть, вы ее узнали?

— Нет! Как я ни стараюсь, имя, связанное с этим лицом, не всплывает в моей памяти. Знаю только, что я поражен в самое сердце.

— Именно поэтому, монсеньер, нужно дознаться, кто она.

— Разумеется.

— Поищите хорошенько в ваших воспоминаниях, монсеньер. Вы видели ее при дворе?

— Нет, не думаю.

— Во Франции, в Наварре, во Фландрии?

— Нет.

— Не испанка ли она?

— Не думаю.

— Англичанка, фрейлина королевы Елизаветы?

— Нет, нет; мне кажется, я видел ее при каких-то трагических обстоятельствах. Эта женщина прекрасна, но прекрасна, как покойница, как призрак, как сновидение; вот мне и думается, что я видел ее во сне. Два-три раза в жизни,— продолжал герцог,— мне снились страшные сны, память о которых до сих пор леденит мне душу... Ну да! Теперь я уверен: женщина, находящаяся там, наверху, являлась мне в сновидениях.

В эту минуту на площади послышались быстрые шаги, и Анри крикнул герцогу:

— Тревога, монсеньер! Тревога!

— Вы здесь, граф? — воскликнул тот.— Позвольте

узнать, на каком основании вы оставили доверенный вам пост?

— Монсеньер,— решительно ответил Анри,— если вы найдете нужным покарать меня, вы это сделаете, но я счел своим долгом явиться сюда.

Герцог с многозначительной улыбкой взглянул наверх, на окно, и спросил:

— При чем тут ваш долг, граф? Объяснитесь!

— Монсеньер, со стороны Шельды появились всадники, и неизвестно, враги это или друзья.

— Их много? — тревожно спросил герцог.

— Очень много, монсеньер.

— Вот как! Вы хорошо сделали, граф, что не проявили безрассудной отваги, а возвратились. Самое разумное, что мы можем сделать, это уйти отсюда.

— Бесспорно, монсеньер, но мне думается, необходимо предупредить моего брата.

— Для этого достаточно двух человек.

— Если так, монсеньер,— сказал Анри,— я поеду с кем-либо из ониских кавалеристов.

— Нет, нет, черт возьми! — раздраженно воскликнул герцог.— Вы поедете с нами. Гром и молния! Расстаться с таким защитником, как вы!

— Ваше высочество возьмет с собой весь отряд?

— Да, весь.

— Слушаюсь, монсеньер,— с поклоном ответил Анри.— Через сколько времени ваша светлость думает выступить?

— Сию минуту, граф!

— Эй, кто там есть! — крикнул Анри.

На его зов из переулка тотчас, словно он там дожидался своего начальника, вышел все тот же лейтенант.

Анри отдал ему нужные приказания, и в мгновение ока со всех сторон поселка на площадь стали стекаться кавалеристы, оповещенные о предстоящем выступлении.

Собрав вокруг себя господ офицеров, герцог сказал им:

— Господа, принц Оранский, по-видимому, выслал за мной погоню, но не подобает члену французского королевского дома быть захваченным в плен. Поэтому уступим численному превосходству противника и отойдем к Брюсселю. Пока я нахожусь среди вас, я спокоен за свою жизнь и свободу.

Затем, отведя Орильи в сторону, он обратился к нему со следующими словами:

— Ты останешься здесь. Эта женщина не может нас сопровождать. Мы помчимся так быстро, что дама скоро выбьется из сил.

— Куда монсеньер направится?

— Во Францию, и, вероятнее всего, я остановлюсь в одном из моих поместий — например, в Шато-Тьерри. Ты привезешь туда и прекрасную незнакомку.

— Но, монсеньер, она, возможно, не даст себя привезти.

— Не ко мне ты ее повезешь, а к графу дю Бушажу. Ты что, спятил? Честное слово, можно подумать, что ты впервые помогаешь мне в таких проделках! Есть у тебя деньги?

— Два свертка червонцев.

— Так действуй смело и добейся того, чтобы моя прекрасная незнакомка очутилась в Шато-Тьерри; пожалуй, приглядевшись к ней поближе, я ее узнаю.

— А как быть со слугой?

— Привезти его тоже, если он не будет тебе помехой.

— А в противном случае?

— Поступи с ним, как с камнем, который встретился бы тебе на пути: брось его в канаву.

— Будет исполнено, монсеньер.

Пока гнусные заговорщики строили свои козни, дю Бушаж поднялся наверх и разбудил Реми. Тот условным, известным только ему и Диане образом постучался в дверь, и молодая женщина отперла ее. Позади Реми она увидела дю Бушажа.

— Добрый вечер, сударь,— сказала она с улыбкой, давным-давно уже не появлявшейся на ее лице.

— Простите меня, сударыня,— торопливо сказал граф,— я пришел не докучать вам, а проститься с вами.

— Проститься? Вы уезжаете, граф?

— Я вынужден так поступить, сударыня; прежде всего я обязан повиноваться принцу королевского дома.

— Какому принцу? — проговорила Диана, бледнея.

— Герцогу Анжуйскому, которого все считали погибшим; он чудом спасся и присоединился к нам.

У Дианы вырвался пронзительный крик, а Реми побледнел как смерть.

— Если бы герцог не приказал мне сопровождать его, я, сударыня, проводил бы вас в монастырь, куда вы намерены удалиться.

— Да, да,— воскликнул Реми,— мы поедем в монастырь!

И он приложил палец к губам.

Диана кивнула ему; это означало, что она его поняла.

— Я тем охотнее проводил бы вас, сударыня, что боюсь, как бы люди герцога не стали вам докучать.

— Почему?

— Наш юный лейтенант видел, как он приставил к стене лестницу и смотрел в ваше окно.

— О боже! Боже! — воскликнула Диана.

— Успокойтесь, сударыня: лейтенант слышал, как он сказал своему спутнику, что не знает вас.

— Все равно, все равно...— твердила Диана, глядя на Реми.

— Не волнуйтесь, сударыня,— продолжал Анри,— герцог уезжает спустя каких-нибудь четверть часа, вы останетесь одни. Итак, разрешите мне почтительнейше проститься с вами и еще раз уверить вас, что до последнего дыхания мое сердце будет биться только для вас. Прощайте, сударыня, прощайте!

И, склонившись благоговейно, словно перед алтарем, граф отступил на шаг.

— Нет, нет! — в лихорадочном волнении воскликнула Диана.— Нет, господь не мог этого допустить! Нет, нет, сударь, вы ошибаетесь: этот человек умер!

В эту минуту, словно в ответ на скорбные слова Дианы, с улицы донесся голос герцога, зычно кричавшего:

— Граф! Граф! Вы заставляете себя ждать!

— Вы слышите, сударыня? — сказал Анри.— В последний раз — прощайте!

И, пожав руку Реми, он сбежал с лестницы.

Вся трепеща, словно птичка, которую заворожила ядовитая змея, Диана подошла к окну.

Она увидела герцога верхом на коне: свет факелов, которые несли два оноских кавалериста, падал на его лицо.

— Он жив, этот демон! — шепнула Диана на ухо Реми таким грозным голосом, что верный слуга содрогнулся.— Он жив — стало быть, и мы должны жить; он едет во Францию — стало быть, и мы, Реми, поедем во Францию.

XII. Попытка подкупа

Поспешные сборы ониских кавалеристов сопровождались бряцанием оружия и громкими кликами. Реми подождал, пока шум стих, затем, полагая, что дом обезлюдел, он решил спуститься в зал нижнего этажа, чтобы в свою очередь приготовиться к отъезду.

Но, войдя в зал, он, к великому своему изумлению, увидел у очага какого-то человека. По-видимому, неизвестный подстерегал Реми, хотя при его появлении принял нарочито равнодушный вид.

Реми, как обычно, шел медленно, неуверенной поступью, с непокрытой лысой головой,— его легко было принять за старика, сгорбленного под бременем лет.

Человек, к которому он приближался, сидел спиной к свету, и Реми не мог рассмотреть его.

— Простите, сударь,— сказал Реми,— я думал, что я остался здесь один.

— Я тоже так думал,— ответил неизвестный,— но с радостью вижу, что у меня будут попутчики.

— О! Весьма невеселые попутчики,— поспешил ответить Реми,— так как, кроме больного юноши, которого я везу домой во Францию...

— Понимаю, кого вы имеете в виду! — воскликнул Орильи с притворным добродушием.

— В самом деле? — спросил Реми.

— Да; речь идет о молодой особе...

— Какой молодой особе? — воскликнул Реми, насторожась.

— Потише, потише, дружок, не сердитесь,— сказал Орильи.— Я управитель графа дю Бушажа, и, уезжая, он поручил моему попечению молодую особу и старого слугу, которые намерены вернуться во Францию.

С этими словами неизвестный встал и, вкрадчиво улыбаясь, приблизился к Реми. Теперь свет лампы падал прямо на него.

Но, вместо того чтобы в свою очередь подойти к неизвестному, Реми отпрянул, и на его изуродованном лице промелькнуло выражение ужаса.

— Вы не отвечаете? Можно подумать, что вы меня боитесь? — спросил Орильи с благодушнейшей улыбкой.

— Сударь,— пробормотал Реми слабым, дребезжащим

голосом,— не гневайтесь на бедного старика, которого горе и раны сделали пугливым и недоверчивым.

— Тем более, друг мой,— ответил Орильи,— вам следует принять помощь надежного попутчика.

Реми отступил на шаг.

— Вы уходите?

— Мне надо посоветоваться с моей госпожой; вы сами понимаете, я ничего не могу решить без нее.

— Это вполне резонно; но позвольте мне самому явиться к ней, и я подробнейшим образом доложу о возложенной на меня миссии.

— Нет, нет, благодарю вас; моя госпожа, возможно, еще спит, а ее сон для меня священ.

Как только Реми закрыл за собой дверь, все, что обличало в нем старость, кроме лысины и морщин на лице, исчезло; он поднялся по лестнице так быстро, что теперь ему нельзя было дать и тридцати лет.

— Сударыня! Сударыня! — прерывающимся голосом воскликнул он, как только увидел Диану.

— Что еще случилось, Реми? Разве герцог не уехал?

— Уехал, сударыня, но здесь оказался демон в тысячу раз опаснее герцога,— демон, на которого я в течение шести лет призывал гнев господень в ожидании, когда наступит для меня час мщения.

— Кто же это? Неужто Орильи?

— Он самый. Негодяй в этом доме, внизу.

— Он узнал тебя?

— Помилуйте, сударыня,— молвил Реми с горькой усмешкой,— меня невозможно узнать.

— Быть может, он догадался, кто я?

— Не думаю, раз он настаивает на том, чтобы повидать вас.

— Говорю тебе, Реми, он подозревает истину.

— В таком случае, сударыня,— мрачно сказал Реми,— все обстоит очень просто: поселок обезлюдел, негодяй совершенно один, я тоже... Я видел у него за поясом кинжал... У меня за поясом нож.

— Погоди, Реми, погоди,— прервала его Диана,— я не оспариваю у тебя права отнять жизнь у этого мерзавца, но прежде всего следует узнать, что ему от нас нужно и не можем ли мы извлечь пользу из того зла, которое он намерен нам причинить! За кого он выдает себя, Реми?

— За управителя господина дю Бушажа, сударыня.

— Вот видишь, он лжет — стало быть, преследует какую-то цель. Чего он домогается?

— Сопровождать нас.

— Скажи ему, что я согласна.

— Что вы, сударыня!

— Прибавь, что я предполагаю переправиться в Англию, к родным, но еще колеблюсь,— словом, лги так же, как и он: видишь ли, Реми, чтобы победить, нужно владеть оружием не менее искусно, чем противник.

— Но он увидит вас.

— А моя маска? Впрочем, я подозреваю, что он узнал меня, Реми.

— В таком случае он готовит нам ловушку.

— Единственное средство обезопасить себя — это сделать вид, что мы попались.

— Однако...

— Скажи, чего ты боишься? Есть ли что-нибудь страшнее смерти?

— Нет.

— А если так, неужели ты раздумал умереть во имя исполнения нашего обета?

— Отнюдь нет! Но я отказываюсь умереть, не отомстив.

— Реми! Реми! — воскликнула Диана, и взгляд ее в эту минуту пылал восторгом исступления.— Будь покоен, мы отомстим: ты — слуге, я — его господину.

— Да будет так, сударыня!

— А теперь иди, друг мой, иди.

Реми все еще колебался. Однако, пока он спускался по лестнице, спокойствие вернулось в его закаленную испытаниями душу; он твердо решил расспросить музыканта и, в случае если негодяй будет уличен в тех пагубных замыслах, которые ему приписывали оба путника, тотчас убить его ударом кинжала.

Орильи ждал его с нетерпением.

Реми подошел к нему и тихо, учтиво сказал:

— Сударь, моя госпожа не может принять ваше предложение.

— Почему?

— Потому что вы не управитель графа дю Бушажа.

Орильи побледнел.

— Кто вам это сказал? — спросил он.

— Никто, но это совершенно ясно. Прощаясь со мной, граф поручил мне охранять особу, которую я сопровождаю, и уехал, не сказав мне про вас ни единого слова.

— Он встретился со мной уже после того, как простился с вами.

— Ложь, сударь, сплошная ложь!

Орильи выпрямился во весь рост — рядом с ним Реми казался дряхлым стариком.

— Вы говорите со мной престранным тоном, любезный,— заявил он, нахмурив брови.— Берегитесь! Вы стары — я молод; вы слабы — у меня много сил.

Реми улыбнулся, но ни слова не ответил.

— Будь у меня дурные намерения в отношении вас или вашей госпожи,— продолжал Орильи,— мне стоило бы только поднять руку...

— Вот оно что! — воскликнул Реми.— Значит, я ошибаюсь, и у вас касательно моей госпожи самые лучшие намерения!

— Несомненно!

— Если так, объясните мне, чего вы хотите?

— Друг мой,— ответил Орильи,— я хочу осчастливить вас, если вы согласитесь оказать мне услугу.

— Но чтобы оказать вам услугу,— сказал Реми,— я должен знать ваши намерения.

— Мои намерения — вот они: вы правильно угадали, любезный, не граф дю Бушаж мой господин, а другое лицо...

— Кто же это?

— Лицо гораздо более могущественное.

— Смотрите! Вы опять лжете.

— Почему вы так думаете?

— Я мало знаю домов, которые знатностью превосходили бы дом Жуаезов.

— А королевский дом? И вот как платит этот дом,— прибавил Орильи, пытаясь вложить в руку Реми один из свертков с червонцами, оставленных герцогом Анжуйским.

Реми вздрогнул от прикосновения Орильи и отступил на шаг.

— Вы состоите при короле? — спросил он с наигранным простодушием.

— Нет, при его брате, герцоге Анжуйском.

— А! Прекрасно; я готов преданно служить герцогу.

— Тем лучше.

— Что угодно монсеньеру?

— Монсеньер, любезнейший,— сказал Орильи, подходя к Реми и снова пытаясь всучить ему сверток,— влюблен в вашу госпожу.

— Стало быть, он ее знает?

— Он ее видел.

— Он ее видел! — воскликнул Реми, судорожно сжимая рукоятку ножа.— Когда же?

— Сегодня вечером.

— Не может быть! Моя госпожа не выходила из комнаты.

— То-то и есть! Герцог поступил, как настоящий школьник. Он взял приставную лестницу и взобрался по ней.

— Вот оно что...— прошептал Реми, прижимая руку к сердцу, чтобы заглушить его биение.

— И после всего, что сказал о вашей госпоже монсеньер, я горю желанием увидеть ее. Значит, решено, вы заодно с нами?

И в третий раз он стал совать Реми золото.

— Итак,— с трудом проговорил Реми,— герцог Анжуйский влюблен в мою госпожу?

— Да.

— И чего же он хочет?

— Чтобы она прибыла к нему в Шато-Тьерри, куда он направляется форсированным маршем.

— Я вижу только одно препятствие,— сказал Реми.

— Какое?

— Моя госпожа решила уехать в Англию.

— Тысяча чертей! Тут-то вы и можете оказать мне услугу. Отговорите ее!

— Вы, сударь, не знаете моей госпожи: эта женщина всегда твердо стоит на своем; впрочем, убедить ее отправиться вместо Англии в Шато-Тьерри — еще не все. Если она и явится в Шато-Тьерри, почему вы думаете, что она согласится уступить домогательствам герцога?

— А почему бы нет?

— Она не любит герцога Анжуйского.

— Вздор! Все женщины любят принцев крови. Послушай, простачок,— заявил Орильи,— я хотел действовать с тобой добром, а не силой, но ты вынуждаешь меня изменить образ действий.

— Что же вы сделаете?

— Убью тебя в каком-нибудь укромном месте, а даму похищу. Ну как, уговоришь ты свою госпожу отправиться в Шато-Тьерри?

— Приложу к этому все старания, но ни за что не ручаюсь.

— Ступай наверх, а я покамест приготовлю коней.

И, очевидно вполне уверенный в том, что его надежды сбудутся, Орильи поспешил в конюшню.

— Ну что? — спросила Диана у Реми.

— Сударыня, герцог видел вас и влюбился без памяти.

— Герцог меня видел! Герцог в меня влюбился! — воскликнула Диана.— Ты бредишь, Реми!

— Нет. Я передаю вам то, что сказал Орильи.

— Но если герцог меня видел, стало быть, он меня узнал?

— Если б герцог узнал вас, неужели вы думаете, что Орильи осмелился бы явиться к вам? Нет, герцог вас не узнал.

— Ты прав, тысячу раз прав. Последуем за этим человеком, Реми.

— Да, но он-то вас узнает.

— Почему ты думаешь, что память у музыканта лучше, чем у его господина?

— Потому что он заинтересован в том, чтобы помнить, а герцог — в том, чтобы забыть.

— Вспомни, Реми, что у меня есть маска, а у тебя есть нож.

— Верно, сударыня,— ответил Реми,— и я начинаю думать, что господь поможет нам покарать злодеев.

Подойдя к лестнице, он крикнул:

— Сударь! Сударь!

— Ну как? — спросил снизу Орильи.

— Моя госпожа благодарит графа дю Бушажа и с большой признательностью принимает ваше любезное предложение.

— Прекрасно, прекрасно,— ответил Орильи.— Предупредите ее, что лошади готовы.

— Идемте, сударыня,— сказал Реми, подавая Диане руку.

Орильи ждал у лестницы с фонарем в руках: ему не терпелось поскорее увидеть лицо незнакомки.

— Черт возьми! — пробурчал он.— Она в маске! Ну, да по пути в Шато-Тьерри шнурки истреплются... или будут разрезаны.

XIII. Путешествие

Двинулись в путь.

Орильи вел себя со слугой, как с равным, а к его госпоже проявлял чрезвычайную почтительность.

Но Реми было ясно, что под этой почтительностью кроются какие-то тайные замыслы.

В самом деле: держать женщине стремя, когда она садится на коня, заботливо следить за каждым ее движением, не упускать случая поднять ее перчатку или застегнуть ей плащ может либо влюбленный, либо слуга, либо человек, снедаемый любопытством.

Но у музыканта был сильный противник: Реми настаивал на том, чтобы служить своей госпоже, как раньше, и ревниво отстранял Орильи.

Музыканту оставалось одно: во время долгих, утомительных переездов надеяться на счастливый случай.

Но и тут он обманулся в своих ожиданиях — ни дождь, ни солнце ему не помогли: молодая женщина не снимала маску в его присутствии.

Все расспросы, все попытки подкупить Реми были тщетны: всякий раз слуга заявлял, что такова воля госпожи его.

— Скажите, эти предосторожности относятся только ко мне? — допытывался Орильи.

— Нет, ко всем.

— Но ведь герцог Анжуйский видел ее! Тогда она не прятала лица?

— То была случайность, чистейшая случайность,— неизменно отвечал Реми.— Именно потому, что герцог Анжуйский увидел мою госпожу вопреки ее воле, она теперь принимает все меры к тому, чтобы ее никто не видал.

Меж тем дни шли за днями, путники приближались к цели, но, благодаря предусмотрительности Реми и его госпожи, любопытство Орильи оставалось неудовлетворенным.

Впереди уже лежала Пикардия.

Орильи, за последние три-четыре дня испробовавший все средства — добродушие, притворную обидчивость, предупредительность и чуть ли не насилие,— терял терпение, и его дурные наклонности брали верх над притворством.

Казалось, он чувствовал, что под маской молодой женщины скрыта роковая тайна.

Однажды он возобновил попытку подкупить верного слугу; Реми, как всегда, ответил отказом.

— Но ведь должен же я когда-нибудь увидеть лицо твоей госпожи,— твердил Орильи.

— Несомненно,— ответил Реми,— но это будет в тот день, когда пожелает она, а не тогда, когда пожелаете вы.

— А что, если я прибегну к силе? — дерзко спросил Орильи.

Помимо воли Реми, глаза его стали метать молнии.

— Попробуйте! — сказал он.

Орильи уловил этот огненный взгляд и понял, какая неукротимая энергия живет в том, кого он принимал за старика.

Он рассмеялся и сказал:

— Да что я, рехнулся? Какое мне, в конце концов, дело, кто она такая? Ведь это та же особа, которую видел герцог Анжуйский?

— Разумеется!

— И которую он приказал мне доставить к нему в Шато-Тьерри?

— Да.

— Ну вот, это все, что мне нужно. Не я в нее влюблен, а монсеньер; но если вы попытаетесь бежать от меня...

— Мы настолько далеки от такой мысли, что, не будь вас с нами, мы все равно продолжали бы свой путь в Шато-Тьерри; если герцог хочет видеть нас, то и мы хотим его видеть.

— В таком случае,— заключил Орильи,— все обстоит прекрасно. Поезжайте дальше, я вас догоню.

— Что он тебе говорил? — спросила молодая женщина, когда Реми поравнялся с ней.

— Выражал всегдашнее свое желание.

— Увидеть мое лицо?

— Да.

Диана улыбнулась под маской.

— Берегитесь,— предостерег ее Реми,— он вне себя от злости.

— Он меня не увидит. Я этого не хочу — стало быть, он ничего не добьется.

— Но когда вы будете в Шато-Тьерри, разве он не увидит вас с открытым лицом?

— Это неважно: когда они увидят мое лицо, для них будет уже поздно. К тому же хозяин меня не узнал.

— Да, но слуга узнает!

— Ты сам видишь, что до сих пор ни мой голос, ни моя походка ровно ничего ему не напомнили.

Внезапное появление Орильи прервало их разговор; он, видимо, проехал другим путем и нагнал путников, надеясь уловить хоть несколько слов из их разговора.

Молчание, наступившее, как только Реми и Диана его заметили, было явным доказательством того, что Орильи им мешает.

С этой минуты музыкант установил точный план действий и притворился, будто совершенно отказался от своего желания.

Реми не без тревоги заметил эту перемену.

В полдень остановились, чтобы дать передохнуть лошадям.

В два часа снова двинулись в путь и ехали до четырех.

Вдали синел густой лес — Лаферский.

Реми и Диана обменялись многозначительным взглядом, словно им обоим стало ясно, что в этом лесу совершится событие, грозившее им с минуты отъезда.

Трое всадников въехали в лес.

Было около шести часов вечера. Полчаса спустя начали сгущаться сумерки.

Сильный ветер кружил сухие листья и уносил их в огромный пруд. Проливной дождь, шедший в течение двух часов, размыл глинистую почву. Диана, уверенная в своей лошади и, кроме того, довольно беспечная во всем, что касалось ее собственной безопасности, опустила поводья; Орильи ехал по правую сторону от нее, Реми — по левую.

Нигде не было видно ни одной живой души. Если б издалека не доносился хриплый вой волков, разбуженных приближением ночи, Лаферский лес можно было бы принять за один из заколдованных лесов, под сенью которых не могут жить ни люди, ни животные.

Вдруг Диана почувствовала, что ее седло — в тот день, как обычно, лошадь седлал Орильи — сползает набок.

Она позвала Реми, который тотчас спешился и подошел к своей госпоже, а сама наклонилась и стала затягивать подпругу.

Этим воспользовался Орильи: неслышно подъехав к Диане, он кончиком кинжала рассек шелковый шнурок, придерживающий маску.

Застигнутая врасплох, молодая женщина не могла ни предупредить его движение, ни заслониться рукой. Орильи сорвал маску и приблизил к Диане лицо. Они впились глазами друг в друга, и никто не мог бы сказать, кто из них был более бледен, кто более грозен.

Орильи почувствовал, что на лбу у него выступил холодный пот; он уронил кинжал и маску и в ужасе воскликнул:

— О небо! Графиня де Монсоро!

— Этого имени ты никогда уже не произнесешь! — вскричал Реми; схватив Орильи за пояс, он стащил его с лошади, и оба они скатились на дорогу.

Орильи протянул было руку, чтобы подобрать кинжал.

— Нет, тысячу раз нет, Орильи,— сказал Реми, упершись коленом ему в грудь,— ты навсегда останешься здесь!

Последняя пелена спала с глаз Орильи.

— Годуен! — вскричал он.— Я погиб!

— Еще нет,— ответил Реми, зажимая рот негодяю, отчаянно отбивавшемуся,— но гибель твоя предрешена.— Выхватив правой рукой свой длинный фламандский нож, он сказал: — Вот теперь, Орильи, твои слова сбылись!

Клинок вонзился в горло музыканта; послышался глухой хрип...

Диана, сидевшая на коне вполоборота, опершись о луку седла, вся дрожала, но, чуждая пощады, смотрела на жуткое зрелище безумными глазами.

И однако, когда кровь заструилась по клинку, она рухнула, словно мертвая, наземь.

В эту страшную минуту Реми было не до нее; он обыскал Орильи, вынул у него из кармана оба свертка с червонцами и, привязав к шее убитого увесистый камень, бросил труп в воду.

Дождь все еще лил как из ведра.

Вымыв руки в мрачных, дремотных водах пруда, он поднял с земли все еще бесчувственную Диану, посадил на коня и сам вскочил в седло, одной рукой заботливо придерживая спутницу.

Лошадь Орильи, испуганная воем волков, которые быстро приближались, словно привлеченные страшным событием, исчезла в лесной чаще.

Как только Диана пришла в себя, оба путника, не обменявшись ни единым словом, продолжали путь в Шато-Тьерри.

XIV. О том, как король Генрих III не пригласил Крильона к завтраку, а Шико сам себя пригласил

На другой день, после того как в Лаферском лесу разыгрались события, о которых мы только что повествовали, король Франции вышел из ванны около девяти часов утра.

Камердинер сначала завернул его в тонкое шерстяное одеяло, а затем вытер двумя мохнатыми простынями, похожими на нежнейшее руно, после чего пришла очередь парикмахеров и гардеробщиков, которых сменили парфюмеры и придворные.

Когда наконец придворные удалились, король призвал дворецкого и сказал ему, что нынче у него разыгрался аппетит и ему желателен завтрак более существенный, чем его обычный крепкий бульон. Тут к его величеству явился за приказаниями полковник французской гвардии Крильон.

— Право, любезный мой Крильон,— сказал ему король,— не заставляйте меня изображать сегодня коронованную особу! Я проснулся таким бодрым, таким веселым! Я голоден, Крильон, тебе это понятно, друг мой?

— Тем более понятно, ваше величество,— ответил полковник,— что я и сам очень голоден.

— Ты всегда голоден, Крильон,— смеясь, сказал король.

— Не всегда — ваше величество изволите преувеличивать! Всего три раза в день; а вы, государь?

— Я? Раз в год, и то лишь когда получаю добрые вести.

— Стало быть, сегодня вы получили добрые вести, государь?

— Вестей не было, Крильон. Но ты ведь знаешь пословицу...

— «Нет вестей — добрые вести»? Я не доверяю пословицам, ваше величество, а уж этой — в особенности. Вам ничего не сообщают из Наварры?

— Ничего. Это доказывает, что там спят.

— А из Фландрии?

— Ничего. Это доказывает, что там дерутся.

— А из Парижа?

— Ничего. Это доказывает, что там готовят заговоры. Ну, теперь ступай, мой славный Крильон, ступай!

— Клянусь честью,— снова начал Крильон,— раз уж ваше величество так голодны, следовало бы пригласить меня к завтраку.

— Почему так, Крильон?

— Потому что ходят слухи, будто ваше величество питается только воздухом, и я был бы в восторге, получи я возможность сказать: это сущая клевета, король кушает с таким же аппетитом, как и все.

— Нет, Крильон, нет, я краснел бы от стыда, если бы на глазах у своих подданных ел с аппетитом, словно простой смертный. Пойми же, Крильон, король должен всегда быть поэтичным, величественным. Сейчас дам тебе пример. Ты помнишь царя Александра?

— Какого Александра?

— Древнего — Alexander Magnus[1]. Да, верно, ты ведь не знаешь латынь. Так вот, Александр любил купаться на виду у своих солдат, потому что он был красив, отлично сложен и в меру упитан, недаром его сравнивали с Аполлоном.

— Вы совершили бы великую ошибку, государь, если б вздумали подражать ему и купаться на виду у своих подданных. Уж очень вы тощи, ваше величество.

— Ты все-таки славный парень, Крильон,— заявил

[1] Александр Великий *(лат.)*, или Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.),— крупнейший полководец и государственный деятель.

Генрих, хлопнув вояку по плечу,— ты хорош своей грубостью — ты мне не льстишь; ты, старый друг, не таков, как мои придворные.

— Это потому, что вы не приглашаете меня завтракать,— отпарировал Крильон, добродушно смеясь, и простился с королем, скорее довольный, чем недовольный, ибо милостивый удар по плечу вполне возместил приглашение к завтраку.

Как только Крильон ушел, королю подали кушать.

Королевский повар превзошел самого себя. Суп из куропаток, заправленный протертыми трюфелями и каштанами, привлек особое внимание короля, начавшего трапезу с отменных устриц.

Он подносил ко рту четвертую ложку, когда позади него послышались легкие шаги, и хорошо знакомый голос сердито приказал:

— Эй! Прибор!

— Шико! — воскликнул король, обернувшись.

— Я, собственной персоной.

И Шико, во всем верный себе, развалился на стуле и стал брать с блюда самых жирных устриц; он уплетал их, обильно поливая лимонным соком и не говоря ни слова.

— Ты здесь, Шико! Ты вернулся! — повторял Генрих.

Шико указал на свой битком набитый рот и, воспользовавшись изумлением короля, придвинул к себе похлебку из куропаток.

— Стой, Шико, это блюдо только для меня! — вскричал Генрих.

Шико братски поделился со своим повелителем — уступил ему половину.

Затем он налил себе вина, от похлебки перешел к паштету из тунца, от тунца — к фаршированным ракам, для очистки совести запил все это королевским бульоном — и, глубоко вздохнув, сказал:

— Теперь я не голоден!

— Черт возьми! Надо надеяться, Шико!

— Ну здравствуй, возлюбленный мой король. Как поживаешь? Сегодня у тебя очень бодрый вид.

— В самом деле, сегодня утром я превосходно себя чувствую.

— Тем лучше, король мой, тем лучше. Но... тысяча

чертей! Не может быть, чтобы завтрак на этом кончился,— у тебя, наверно, есть сласти?

— Вот вишневое варенье, сваренное монмартрскими монахинями.

— Оно слишком сладко.

— Орехи, начиненные изюмом.

— Фи! Из ягод не вынули косточки.

— Ты всем недоволен, брюзга!

— Честное слово! Все мельчает, даже кулинарное искусство, и при дворе живут все хуже и хуже.

— Неужто при Наваррском дворе лучше? — спросил, смеясь, Генрих.

— Эхе-хе! Может статься!

— В таком случае, там, наверно, произошли большие перемены!

— Вот уж что верно, то верно, Анрике.

— Расскажи мне наконец о твоем путешествии — это меня развлечет!

— С величайшим удовольствием, для этого я и пришел. С чего прикажешь начать?

— С самого начала. Как ты доехал?

— Это была чудесная прогулка.

— И никаких неприятностей?

— У меня-то? Путешествие было сказочное!

— Никаких опасных встреч?

— Да что ты! Разве кто-нибудь посмел бы косо взглянуть на посла его всехристианнейшего величества? Ты, сын мой, клевещешь на своих подданных.

— Я задал этот вопрос,— пояснил король, польщенный тем, что в его государстве царит полнейшее спокойствие,— так как, не имея официального поручения, ты мог подвергнуться опасности.

— Повторяю, Анрике, у тебя самое очаровательное государство в мире: путешествующих там кормят даром, дают им приют из любви к ближнему и путь их усыпан цветами.

— Да, да, полиция у меня хорошо работает.

— Великолепно! В этом ей нужно отдать справедливость!

— А дорога безопасна?

— Так же, как та, что ведет в рай: встречаешь одних только херувимчиков, в своих песнопениях славящих короля.

— Видно, Шико, мы возвращаемся к Виргилию.
— К какому из его сочинений?
— К «Буколикам»[1].
— А почему пахарям такое предпочтение, сын мой?
— Потому что в городах — увы! — дело обстоит иначе.
— Ты прав, Генрих, города — средоточие разврата.
— Сам посуди: ты беспрепятственно проехал пятьсот лье...
— Говорю тебе: все шло как по маслу...
— А я отправился всего-навсего в Венсен и не успел проехать одного лье, как вдруг...
— Как вдруг...
— Меня чуть не убили на дороге.
— Правда? Где же это произошло?
— Около Бель-Эба.
— Поблизости от монастыря нашего друга Горанфло?
— Совершенно верно.
— И как наш друг вел себя в этих обстоятельствах?
— Как всегда, превосходно, Шико: стоя на своем балконе, он благословил меня.
— А его монахи?
— Они во всю глотку кричали: «Да здравствует король!»
— И ты больше ничего не заметил?
— Что еще я мог заметить?
— Было ли у них под рясами оружие?
— Они были в полном вооружении, Шико. Я узнаю в этом предусмотрительность достойного настоятеля; этому человеку все было известно, а между тем он не пришел на другой день, как д'Эпернон, рыться во всех моих карманах, приговаривая: «За спасение короля, ваше величество!»
— Да, на это он не способен, да и ручищи у него такие, что не влезут в твои карманы.
— Изволь, Шико, не насмехаться над доном Модестом: он один из великих людей, которые прославят мое правление, и знай, при первом благоприятном случае я пожалую ему епископство.
— Прекрасно сделаешь!

[1] «Буколики» — произведение римского поэта Виргилия (70—19 гг. до н. э.), где он в идиллических тонах описывает сельскую жизнь.

— Заметь, Шико,— изрек король с глубокомысленным видом,— когда способные люди выходят из народа, они достигают порой совершенства; видишь ли, в нашей дворянской крови заложены и хорошие и дурные качества. А вот если природа создает выдающегося простолюдина, она употребляет на это дело лучшую свою глину, поэтому твой Горанфло — совершенство.
— Ты находишь?
— Да. Он умен, скромен, хитер, отважен; из него может выйти министр, полководец, папа римский.
— Эй, эй! Остановитесь, ваше величество,— заявил Шико.— Если б этот достойный человек услыхал вас, он лопнул бы от гордости: ведь дон Модест весьма кичлив.
— Ты ревнуешь, Шико?
— Я справедлив, только и всего!.. Стало быть, тебя, король мой, чуть не убили?
— Да.
— Кто же на тебя покусился?
— Лига, черт возьми!
— Выходит, что она раздается вширь, Анрике.
— Эх, Шико! Если политические общества слишком рано раздаются вширь, они бывают недолговечны; они как те дети, которые слишком рано толстеют.
— Выходит, ты доволен, сын мой?
— Да, Шико; для меня большая радость, что ты вернулся. Ты привез мне добрые вести, не так ли?
— Еще бы!
— И ты заставляешь меня томиться, изверг!
— С чего же мне начать, мой король?
— Расскажи наконец о своем прибытии в Наварру.
— Охотно!
— Чем был занят Генрих, когда ты приехал?
— Своими похождениями.
— Он обманывает Марго?
— Так усердно, как только возможно.
— Она злится?
— Она в ярости.
Генрих с ликующим видом потер руки.
— Что же она задумала? — спросил он, смеясь.— Поднять Испанию против Наварры, Артуа и Фландрию — против Испании? Не призовет ли она ненароком братишку Генриха против коварного муженька?
— Может статься.

— Но если так обстоит дело, они должны ненавидеть друг друга?

— Думаю, что в глубине души они друг друга не обожают.

— А по видимости?

— Самые лучшие друзья, Генрих.

— Так, но ведь в один прекрасный день какое-нибудь новое увлечение окончательно их поссорит!

— Это новое увлечение уже существует, Генрих.

— Вздор!

— Хочешь, я скажу тебе, чего я опасаюсь?

— Скажи!

— Я боюсь, как бы это новое увлечение не поссорило, а помирило их.

— Да рассказывай же дальше, Шико!

— Ты написал свирепому Беарнцу письмо.

— Что ты скажешь о моем письме?

— Ты поступил неделикатно, обратясь к нему с этим посланием, но написано оно было очень хитро.

— Письмо должно было поссорить их.

— И поссорило бы, если б Генрих и Марго были обыкновенной супружеской четой.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что Беарнец совсем не дурак: он угадал, с какой целью ты хочешь их поссорить.

— А, черт! Что касается цели...

— Да. Так вот, представь себе, треклятый Беарнец вообразил, что ты преследовал весьма определенную цель: не отдавать за сестрой приданого, которое ты остался должен!

— Чепуха!

— Да, вот что этот чертов Беарнец вбил себе в голову.

— Продолжай, Шико, продолжай,— сказал король, вдруг помрачнев.

— Как только у него возникла эта догадка, он стал таким же, как ты сейчас,— печальным, меланхоличным... и весь отдался тому новому увлечению, о котором я тебе уже говорил.

— Как же зовут эту красавицу?

— Мадемуазель Кагор!

— Мадемуазель Кагор?

— Да, красивая, статная особа, клянусь богом! Одной ногой она опирается на реку Лот, другой — на гору; опекуном ее состоит или, вернее, состоял господин де Везен, храбрый дворянин из числа твоих друзей.

— Гром и молния! — в ярости вскричал Генрих.— Беарнец взял мой город!

— То-то и есть! Понимаешь, Анрике, ты не соглашался отдать город Беарнцу, хотя обещал это сделать. Ему и пришлось взять его силой. Кстати, вот письмо, которое он велел передать тебе в собственные руки.

Это было то самое письмо, которое Генрих Наваррский написал королю после взятия Кагора.

XV. О том, как Генрих, получив известия с Юга, получил вслед за тем известия с Севера

Король пришел в такое неистовство, что с трудом прочитал письмо.

Пока он разбирал латынь Беарнца, Шико, стоя напротив большого венецианского зеркала, любовался своей особой в походном снаряжении. Впрочем, никогда еще Шико не казался таким длинным, ибо его изрядно облысевшая голова была увенчана островерхим шлемом, напоминавшим причудливые немецкие шишаки, что изготовлялись в Трире и Майнце; в данную минуту он был занят тем, что надевал на свой потертый колет короткую дорожную кирасу, которую перед завтраком положил на буфет; вдобавок он звонко бряцал шпорами, годными разве на то, чтобы вспороть брюхо лошади.

— Измена! — воскликнул Генрих, прочтя письмо.— У Беарнца был выработан план, а я и не подозревал этого.

— Сын мой,— возразил Шико,— ты ведь знаешь пословицу: «В тихом омуте черти водятся»?

— Иди ко всем чертям с твоими пословицами!

Шико тотчас пошел к двери, словно намериваясь исполнить приказание.

— Нет, останься!

Шико остановился.

— Кагор взят! — продолжал Генрих прерванный было разговор.

— Да, и лихим манером,— ответил Шико.

— Что же, у Беарнца, значит, есть полководцы, инженеры?

— Ничего у него нет,— отрезал Шико.— Для этого он слишком беден. Он все делает сам.

— И... сам сражается? — спросил Генрих с оттенком презрения.

— Видишь ли, я не решусь утверждать, что он в порыве воодушевления сразу бросается в схватку,— нет! Он походит на тех людей, которые, прежде чем искупаться, пробуют воду; затем очертя голову кидается в гущу сражения, и среди пушечного огня он в своей стихии, будто саламандра!

Король вскочил и начал крупными шагами расхаживать по залу.

— Какой позор для меня! — воскликнул он.— Надо мною будут смеяться, сочинять песенки. Эти прохвосты гасконцы известные пересмешники; я так и вижу, как они скалят зубы, наигрывая на волынке свои визгливые мотивы. Какое счастье, что мне пришла мысль послать Франциску подмогу, которую он так просил! Антверпен возместит Кагор; Север искупит ошибку, совершенную на Юге.

— Аминь! — возгласил Шико.

В эту минуту дверь отворилась, и придворный доложил:

— Граф дю Бушаж!

— Что я тебе говорил, Шико? — воскликнул Генрих.— Вот и добрая весть пришла!.. Войдите, граф, войдите!

Придворный отдернул портьеру, и в дверях, словно в раме, появился молодой человек, имя которого только что было произнесено. Казалось, глазам присутствующих предстал портрет кисти Гольбейна или Тициана[1].

Неспешно приближаясь к королю, он на середине зала преклонил колено.

— Ты все так же бледен,— сказал ему король,— все так же мрачен. Прошу тебя, друг мой, не вздумай сообщать столь желанные вести с этим скорбным видом; говори скорее, дю Бушаж, я жажду услышать твой рассказ. Ты прибыл из Фландрии, сын мой?

— Да, ваше величество.

[1] Ганс Гольбейн Младший (1498—1543) — известный немецкий художник; Тициан Вечеллио (около 1477—1576) — великий итальянский художник.

— Приветствую тебя! Как обстоит дело с Антверпеном?

— Антверпеном владеет принц Оранский, государь.

— Что это значит? Разве мой брат не двинулся на Антверпен?

— Да, государь, но сейчас он направляется не в Антверпен, а в Шато-Тьерри.

— Он покинул свое войско?

— Войска уже нет, ваше величество.

— Ох! — простонал король; ноги у него подкосились, он упал в кресло.— А Жуаез?

— Государь, мой брат совершил чудеса храбрости во время битвы, затем он собрал немногих уцелевших людей и составил из них охрану для герцога Анжуйского.

— Разгром! — прошептал король. Вдруг в глазах его блеснул какой-то странный огонь. Он спросил: — Итак, Фландрия безвозвратно потеряна для моего брата?

— Боюсь, что да, ваше величество.

Чело короля стало проясняться.

— Бедняга Франциск,— сказал он,— положительно ему не везет по части корон. У него ничего не вышло с наваррской короной; он протянул было руку к английской короне, едва не овладел фламандской; бьюсь об заклад, дю Бушаж, что он никогда не будет королем! Бедный брат, а ведь ему так этого хочется... А сколько французов захвачено в плен?

— Около двух тысяч.

— Сколько погибших?

— По меньшей мере столько же; среди них — господин де Сент-Эньян.

— Как! Бедняга Сент-Эньян умер?

— Он утонул.

— Утонул? Как же случилось? Вы бросились в Шельду, что ли?

— Отнюдь нет: Шельда бросилась на нас.— И тут граф подробнейшим образом рассказал королю о битве и наводнении.

Когда рассказ был окончен, король прошел в смежную с залом моленную, стал на колени перед распятием, прочел молитву, и, когда минуту спустя он вернулся, вид у него был совершенно спокойный.

— Ну вот,— сказал он,— надеюсь, я принял эти вести, как подобает королю. Возьмите с меня пример, граф, и, раз ваш брат спасся, как и мой, благодарение богу, развеселитесь немного!.. Какую награду ты хочешь за твои заслуги, дю Бушаж? Говори!

— Ваше величество,— ответил молодой человек, отрицательно качая головой,— у меня нет никаких заслуг.

— Я с этим не согласен: ведь у твоего брата они имеются.

— Его заслуги огромны, государь!

— Так вот, дю Бушаж, я твердо решил простереть мои благодеяния на вас обоих, и, действуя так, я только подражаю господу богу, который явно вам покровительствует. Вдобавок я следую примеру великих государственных людей прошлого, поступавших на редкость умно, а они всегда награждали тех, кто приносил им дурные вести.

— Полно,— вставил Шико,— я знаю случаи, когда гонцов вешали за дурные вести.

— Возможно,— величественно ответил Генрих,— но Сенат поблагодарил Варрона[1].

— Ты ссылаешься на республиканцев. Эх, Валуа, Валуа, несчастье вселяет в тебя смирение!

— Скажи же, наконец, дю Бушаж, чего ты хочешь?

— Уж если вы, ваше величество, так ласково говорите со мной, я осмелюсь воспользоваться вашей добротой: я устал жить, государь, и, однако, боюсь положить конец своей жизни, ибо господь возбраняет нам это.

Шико поднял голову и с любопытством посмотрел на красивого, храброго и богатого придворного, в голосе которого звучало, однако, глубокое отчаяние.

— Ваше величество,— продолжал граф с непреклонной решимостью,— я хочу всецело посвятить себя тому, кто, будучи владыкой всех счастливых, вместе с тем — великий утешитель страждущих, поэтому я умоляю вас, государь, помочь мне поскорее стать монахом.

Неугомонный насмешник Шико весь превратился в слух. Даже его поразила эта возвышенная скорбь.

Король тоже почувствовал, что его сердце дрогнуло.

[1] Варрон — римский полководец. В сражении при Каннах (216 г. до н. э.) потерпел полное поражение. Но несмотря на это, Сенат вынес ему благодарность за отвагу.

— Друг мой, я все понимаю,— сказал он,— ты хочешь принять монашеский сан, тебя страшат положенные испытания.

— Меня не страшат положенные испытания, ваше величество. Но я хочу, чтобы преграда, которая должна навсегда отделить меня от мира и которая, по церковным правилам, должна созидаться медленно, встала бы передо мной мгновенно, будто из-под земли.

— Бедняга,— молвил король,— я думаю, из него выйдет хороший праведник; не правда ли, Шико?

Шико ничего не ответил. Дю Бушаж продолжал:

— Вы понимаете, государь, самое жестокое сопротивление я встречу среди близких людей; брат мой, кардинал, столь добрый, но вместе с тем столь приверженный всему мирскому, будет чинить мне препятствия, ссылаясь на то, что Рим установил определенные промежутки между различными ступенями послушничества. Вот тут вы, ваше величество, всемогущи. Вы обещали, государь, исполнить любое мое желание: испросите в Риме разрешение освободить меня от послушничества.

Король очнулся от раздумья и, улыбаясь, протянул дю Бушажу руку.

— Я исполню твою просьбу, сын мой,— сказал он.— Ты хочешь служить богу — ты прав. Он лучший повелитель, чем я.

— Нечего сказать, прекрасный комплимент всевышнему! — сквозь зубы процедил Шико.

— Вы осчастливили меня, ваше величество! — воскликнул дю Бушаж, целуя руку королю так же радостно, как если бы тот произвел его в пэра герцога или маршала Франции.

— Честное слово короля и дворянина,— ответил Генрих.

На губах дю Бушажа заиграла восторженная улыбка, и он удалился, отвесив королю почтительнейший поклон.

— Какой счастливый человек! — воскликнул Генрих.

— Вот тебе раз! — недоуменно возразил Шико.— Тебе не в чем ему завидовать, он не более жалок, чем ты.

— Да пойми же, Шико, пойми, он пойдет в монахи, он отдастся небу.

— А кто, черт возьми, мешает тебе сделать то же самое? Я знаю кардинала, который даст тебе все льготы, какие ты только пожелаешь. Это кардинал Гиз.

— Шико!

— Если тебя тревожит самый обряд пострижения — выбрить тонзуру дело весьма деликатное,— то самые прекрасные ручки в мире, вооруженные ножницами из чистого золота — клянусь честью! — снабдят тебя этим символическим украшением.

— Ты говоришь — прекрасные ручки?

— А разве тебе придет на ум хулить ручки герцогини де Монпансье? Как ты строг, король мой! Как сурово относишься ты к прекрасным дамам, твоим подданным!

Король нахмурился и провел по лбу рукой, не менее белой, чем та, о которой шла речь, но заметно дрожавшей.

— Ну, да оставим все это,— сказал Шико,— и вернемся к предметам, касающимся лично меня.

Король сделал жест, выражавший не то равнодушие, не то согласие.

Раскачиваясь в кресле, Шико предусмотрительно оглянулся вокруг.

— Скажи мне, сын мой,— начал он вполголоса,— Жуаезы поехали во Фландрию просто так?

— Прежде всего, что означают в твоих устах слова «просто так»?

— А то, что эти два брата, столь приверженные один — удовольствиям, другой — печали, вряд ли могли покинуть Париж, не наделав шума.

— Ну и что же?

— А то, что ты, близкий их друг, должен знать, как они уехали.

— Разумеется, знаю.

— В таком случае, Анрике, не слыхал ли ты...— Шико остановился.

— Чего?

— Что они, к примеру сказать, поколотили какую-нибудь важную персону?

— Ничего такого не слыхал.

— Что они, вломясь в дом, похитили какую-нибудь женщину?

— Мне об этом ничего не известно.

— Словом, они не начудили, не начудили так, чтобы слух дошел до тебя?

— Право же, нет!

— Тем лучше,— молвил Шико и вздохнул с облегчением.

— А знаешь, Шико, ты становишься злым.

— Пребывание в могиле смягчило мой нрав, великий король, а в твоем обществе он начинает портиться.

— Вы становитесь несносным, Шико, и я склонен приписать вам честолюбивые замыслы.

— Честолюбивые замыслы? У меня-то!.. Анрике, сын мой, ты был только глуповат, а теперь становишься безумным — это уже шаг вперед.

— А я вам говорю, господин Шико, что вы стремитесь удалить от меня моих лучших слуг, приписывая им намерения, которых у них нет, преступления, о которых они и не помышляли. Вы хотите всецело завладеть мной.

— Завладеть тобой? Я-то! — воскликнул Шико.— Чего ради? Избави бог, с тобой слишком много хлопот, bone Deus![1] Не говоря уже о том, что тебя чертовски трудно кормить! Нет, нет, ни за какие блага!

— Гм! Гм! — пробурчал король.

— Ну-ка объясни, откуда у тебя взялась эта нелепая мысль?

— Сначала вы весьма холодно отнеслись к моим похвалам по адресу нашего старого друга дона Модеста, которому вы многим обязаны.

— Я многим обязан дону Модесту? Превосходно, превосходно! А затем?

— Затем вы пытались очернить братьев Жуаезов, наипреданнейших моих друзей.

— Не спорю.

— Наконец выпустили когти против Гизов.

— Неужели ты даже их полюбил? Видно, сегодня выдался денек, когда ты ко всем благоволишь?

— Нет, я их не люблю. Но в настоящее время они тише воды ниже травы и не доставляют мне ни малейших хлопот. Гизы с их свирепыми взорами и длинными шпагами сделали мне меньше зла, чем многие другие; они напоминают... сказать тебе что?

— Скажи, Анрике, доставь мне это удовольствие — ты сам знаешь, что твои сравнения необычайно метки.

— Так вот, Гизы напоминают тех щук, которых пускают в пруд, чтобы они там гонялись за крупной рыбой и тем самым не давали ей слишком жиреть, но у щук

[1] Всеблагий господь *(лат.)*.

зубы недостаточно остры, чтобы прокусить чешую крупных рыб.

— Ах, Анрике, дитя мое, как ты остроумен!

— А твой Беарнец мяукает, как кошка, и кусается, как тигр.

— В жизни бы не поверил! — воскликнул Шико.— Валуа расхваливает Гизов. Продолжай, продолжай, сын мой, ты на верном пути. Разведись немедленно и женись на госпоже де Монпансье. Разве в свое время она не была влюблена в тебя?

Генрих приосанился.

— Как же,— ответил он,— но я был занят в другом месте — вот источник всех ее угроз.

С этими словами Генрих поправил откинутый на итальянский манер воротник своей куртки.

В дверях появился стражник Намбю и возгласил:

— Посланец от герцога де Гиза к его величеству!

— Пусть войдет; он будет желанным гостем.

Тотчас в зал вошел капитан кавалерийского полка в походной форме и поклонился королю.

XVI. Кумовья

Услышав о прибытии посланца Гизов, Шико сел, по своему обыкновению, спиной к двери и, смежив веки, погрузился в свойственное ему глубокое раздумье. Однако при первых же словах вновь прибывшего он вздрогнул и сразу открыл глаза.

К счастью или к несчастью, Генрих не обратил внимания на это движение Шико.

— Вы из Лотарингии? — спросил король у посланца, отличавшегося благородной осанкой и воинственной внешностью.

— Нет, государь, из Суассона, где господин герцог безвыездно находится уже около месяца; он вручил мне это письмо, каковое я имею честь положить к стопам вашего величества.

В глазах Шико загорелся огонь. Он следил за малейшим движением посланца и в то же время не терял ни единого его слова.

Тот вынул из подбитого шелком кармана не одно

письмо, а целых два, ибо за первым выскользнуло второе и упало на ковер.

Шико заметил, что при этой неожиданности лицо посланца покраснело, и он смущенно поднял письмо.

Генрих, образец доверчивости, ничего не заметил. Он просто вскрыл конверт, который ему передали, и стал читать.

Увидев, что король поглощен чтением, посланец углубился в созерцание короля — казалось, на лице его он старался прочесть те мысли, которые возникали в голове у Генриха.

— Ах, метр Борроме, метр Борроме! — прошептал Шико, следя в свою очередь за каждым движением верного слуги герцога де Гиза.— Ты, оказывается, капитан и королю ты отдал одно письмо, а у тебя их целых два. Погоди, миленький, погоди.

— Отлично, отлично! — заметил король, с явным удовлетворением перечитывая герцогское послание.— Ступайте, капитан, и скажите господину де Гизу, что я благодарю его за предложение.

— Вашему величеству не благоугодно будет дать мне письменный ответ? — спросил посланец.

— Нет, я увижу герцога через месяц или полтора и лично поблагодарю его. Можете идти.

Капитан поклонился и вышел из комнаты.

— Ты видишь, Шико,— обратился король к своему приятелю, полагая, что тот по-прежнему сидит, забившись в кресло,— господин де Гиз не затевает никаких козней. Наш славный герцог узнал о делах в Наварре и испугался, как бы гугеноты не осмелели, тем более что немцы намереваются послать помощь королю Наваррскому. И что же он сделал? Ну-ка, угадай.

Никакого ответа. Генрих решил, что Шико ждет объяснений.

— Так знай же, он предлагает мне войско, набранное им в Лотарингии, дабы обезопасить себя со стороны Фландрии; через полтора месяца это войско будет в полном моем распоряжении вместе со своим командиром. Что ты скажешь на это, Шико?

Но гасконец не произнес ни слова.

— Ну право же, дорогой мой Шико,— продолжал король,— ты упрям, как испанский мул.

Но Шико даже не вздохнул в ответ.

«Кажется,— молвил про себя Генрих,— негодяй имел наглость заснуть».

— Шико! — продолжал он, приближаясь к креслу.— С тобой говорит твой король, что же ты молчишь?

Но Шико ничего не мог сказать по той простой причине, что его уже не было в комнате.

Короля охватила суеверная дрожь: порой ему приходило на ум, что Шико — существо сверхъестественное, воплощение демонических сил, правда не зловредных, но все же демонических.

Он позвал дежурного офицера Намбю.

Тот заверил его величество, что сам видел, как Шико вышел минут пять назад, но тихо, осторожно, как человек, не желающий, чтобы уход его был замечен.

«Ясно,— подумал Генрих,— Шико рассердился из-за того, что я оказался неправ. Боже мой, как мелочны люди! И даже самые умные из них».

Как ни был осторожен Шико, шпоры его не могли не звякнуть, когда он спускался по лестнице Лувра; на этот звон оборачивались люди и отвешивали Шико поклоны, ибо всем было известно, какое он занимает при короле положение, многие кланялись ему ниже, чем стали бы кланяться герцогу Анжуйскому.

Зайдя в сторожку у ворот Лувра, Шико остановился в уголке, словно для того, чтобы поправить шпору.

Капитан, присланный герцогом де Гизом, вышел минут через пять после Шико, на которого не обратил никакого внимания. Он спустился по ступенькам и прошел через луврские дворы, весьма гордый и довольный, ибо, судя по оказанному ему приему, король не имел никаких подозрений относительно герцога де Гиза. В то самое мгновение, когда посланец вступил на подъемный мост, его вернул к действительности звон чьих-то шпор, показавшийся ему эхом его собственных.

Он обернулся, и велико же было его изумление при виде благодушного и приветливого лица своего недоброй памяти знакомца буржуа Робера Брике.

Борроме открыл рот на полфута в квадрате, как говорит Рабле, и остановился.

— Черт побери! — произнес Борроме.

— Тысяча чертей! — вскричал Шико.

— Это вы, мой добрый буржуа?

— Это вы, преподобный отец!

— В шлеме!

— В кожаной куртке!

И оба бравых вояки в течение нескольких секунд переглядывались, как два петуха, готовые сцепиться друг с другом.

Борроме первый сменил гнев на ласку.

Лицо его расплылось в улыбке, он произнес:

— Ей-богу, и хитрая же вы бестия, метр Робер Брике!

— Я, преподобный отец? — возразил Шико.— Но скажите, пожалуйста, почему вы меня так называете?

— Вспомните нашу встречу в монастыре Святого Иакова, где вы выдавали себя за простого буржуа.

— Вот как,— возразил Шико благодушно,— что же в таком случае сказать о вас, сеньор Борроме?

— Обо мне?

— Да, ведь вы выдавали себя за монаха и не очень-то дружелюбно обошлись со мной в монастыре, брат капитан,— сказал Шико.

— Я же принял вас за буржуа, а вы сами знаете, мы, военные, буржуа в грош не ставим.

— Это правда,— рассмеялся Шико,— равно как и монахов! Тем не менее я попал в вашу западню, ибо это переодевание было западней. Бравый капитан, вроде вас, не променяет без причины мундир на рясу.

— От собрата военного,— сказал Борроме,— у меня тайн нет. Признаюсь, в монастыре Святого Иакова у меня есть кое-какие личные интересы. А у вас?

— У меня тоже. Но... тсс!..

— Давайте побеседуем обо всем этом, хотите?

— Горю желанием, честное слово!

— Ну так вот, я знаю в Париже один кабачок, которому, на мой взгляд, равных нет.

— Я тоже знаю один такой,— сказал Шико.— Ваш как называется?

— «Рог изобилия».

— А! — сказал, вздрогнув, Шико.

— Вы имеете что-нибудь против этого кабачка?

— Нет, нет, что вы! А нам никто не помешает?

— Запрем все двери.

— Вижу, вы умеете устраиваться,— сказал Шико.— В кабачках вас так же ценят, как в монастырях.

— Вы думаете, я в сговоре с хозяином?

— Похоже на то.

— На этот раз вы ошиблись. Метр Бономе продает мне вино, а я ему плачу, когда могу,— вот и все.

«Ого! — подумал Шико, идя следом за лжемонахом.— Надо выбрать лучшую свою гримасу, друг Шико. Если Бономе узнает тебя, тебе крышка и ты просто болван».

XVII. «Рог изобилия»

Дорога, по которой Борроме вел Шико, напоминала нашему гасконцу счастливую пору его юности. Как часто, ни о чем не думая, направлялся Шико в кабачок, именуемый «Рогом изобилия». Он беззаботно усаживался на деревянной скамье, и доброе вино, уют, свобода порождали в нем ощущение, что сама юность, великолепная, победоносная, полная надежд, кружит ему голову.

Скоро глазам Шико предстала широкая улица Сен-Жак, затем монастырь Святого Бенедикта и почти напротив монастыря — гостиница «Рог изобилия», немного постаревшая, почерневшая, облупившаяся, но по-прежнему осененная снаружи чинарами и каштанами, а внутри заставленная оловянными горшками и медными кастрюлями, представляющаяся пьяницам и обжорам серебряной и золотой; такая утварь привлекает настоящее золото и серебро в карман кабатчика по законам внутреннего притяжения, несомненно установленным самой природой.

Обозрев с порога внутренность кабачка, Шико сгорбился и сделал гримасу настоящего сатира, ничего общего не имевшую с его добродушной физиономией и честным взглядом.

Если фасад «Рога изобилия» облупился, то и лицо достойного кабатчика испытало на себе тяжкое воздействие времени: оно приняло какое-то жестокое выражение. Недаром Борроме почитал людей шпаги, сообразуясь с принципом: страх рождает уважение.

В общем, вино в «Роге изобилия», за которым каждый посетитель имел право сам спускаться в погреб, славилось своим букетом и крепостью, и завсегдатаи прекрасно чувствовали себя в этом храме Бахуса.

Шико вошел следом за Борроме, не узнанный хозяином гостиницы.

Он хорошо знал самый темный уголок общего зала.

Но когда он вознамерился обосноваться там, Борроме остановил его:

— Стойте, приятель! Вон за той перегородкой имеется помещение, где два человека, не желающие, чтобы их слышали, могут славно побеседовать за выпивкой.

И он провел своего спутника в укромный уголок, издавна знакомый Шико.

— Подождите меня здесь,— сказал Борроме,— а я воспользуюсь привилегией, которую имеют все завсегдатаи этого заведения, и самолично спущусь в погреб.

Как только закрылась за Борроме дверь, Шико подошел к стене и приподнял картинку, на которой было изображено, как неаккуратные должники убивают кредит.

Под ней имелась дырка, через которую можно было видеть все, что делалось в большом зале, оставаясь незамеченным. Шико хорошо знал это отверстие, ибо некогда сам его просверлил.

— Вот оно что! — сказал он.— Ты ведешь меня в кабачок, заталкиваешь за перегородку, полагая, что я не увижу, а в перегородке проделано отверстие, благодаря чему ни одно твое движение от меня не укроется. Ну, милый капитан, не очень-то ты ловок!

И, произнося эти слова с ему одному свойственным великолепным презрением, Шико приложил глаз к отверстию.

Он увидел Борроме и по движению губ капитана угадал, что произнесенная им фраза означала приблизительно следующее:

«Подайте нам вина за перегородку и, если услышите шум оттуда, не заходите».

После чего Борроме взял ночник, который всегда стоял на одном из ларей, поднял люк и спустился в погреб.

Тотчас же Шико особым образом постучал в перегородку.

Услышав этот необычный стук, Бономе вздрогнул и прислушался.

Шико постучал еще раз, нетерпеливо, как человек, удивленный, что ему не вняли сразу.

Бономе устремился за перегородку и увидел Шико, угрожающе стоящего перед ним.

У Бономе вырвался крик: как и все, он считал Шико умершим и решил, что перед ним призрак.

— Что это значит, хозяин,— спросил Шико,— с каких это пор вы заставляете таких людей, как я, звать вас дважды?

— О, дорогой господин Шико,— сказал Бономе,— вы ли это или же ваша тень?

— Сам ли я или моя тень,— ответил Шико,— неважно, но раз вы меня узнали, хозяин, надеюсь, вы будете беспрекословно исполнять мои приказания.

— О, разумеется, любезный сеньор.

— Какой бы шум ни доносился из этого кабинета, метр Бономе, что бы тут ни происходило, вы появитесь только на мой зов.

— И это будет тем легче, дорогой господин Шико, что то же распоряжение я получил от вашего спутника.

— Да, но если позовет он, то для вас это будет так, словно он вовсе не звал, слышите?

— Договорились, господин Шико.

— Хорошо. А теперь удалите под каким-нибудь предлогом остальных посетителей, и чтобы через десять минут мы были у вас в таком же уединении, словно пришли для поста и молитвы в день великой пятницы.

— Через десять минут, господин Шико, во всем доме живой души не будет, кроме вашего покорного слуги.

— Ступайте, Бономе, ступайте, я уважаю вас, как и прежде,— величественно произнес Шико.

— О боже мой, боже мой! — сказал Бономе, уходя.— Что же такое произойдет в моем несчастном доме?

Когда он, пятясь, вышел из кабинета, то увидел Борроме, нагруженного бутылками.

— Ты понял? — сказал ему капитан.— Чтоб через десять минут в твоем заведении не было ни души!

Борроме зашел за перегородку и нашел там Шико, сидевшего с улыбкой на губах.

Не знаем, что именно предпринял метр Бономе, но, когда истекла десятая минута, последний школяр переступал порог об руку с последним писцом, приговаривая:

— Ого-го! У метра Бономе пахнет грозой! Надо убираться, не то пойдет град.

XVIII. Что произошло у метра Бономе за перегородкой

Когда капитан зашел за перегородку с корзиной, из которой торчало двенадцать бутылок, Шико встретил его с таким добродушием, с такой широкой улыбкой, что Борроме и впрямь готов был принять его за дурака.

Оба сотрапезника заказали соленые закуски с похвальной целью непрестанно возбуждать у себя жажду. Закуску им подал Бономе, которому каждый из них многозначительно подмигнул.

Для начала собутыльники опрокинули изрядное количество стаканов, не перекинувшись ни единым словом.

Шико был великолепен. Не сказав ничего, кроме: «Ну и бургундское!», «Клянусь душой, что за окорок!» — он осушил две бутылки, то есть по одной на каждую фразу.

— Черт побери,— бормотал себе под нос Борроме,— и повезло же мне напасть на такого пьяницу!

После третьей бутылки Шико возвел очи к небу.

— Право же,— сказал он,— мы так увлеклись, что, чего доброго, напьемся допьяна.

— Что поделаешь, колбаса уж больно солона! — ответил Борроме.

И они осушили еще по бутылке.

Вино производило на собутыльников противоположное действие: у Шико развязывался язык, у Борроме язык прилипал к гортани.

— А ты, приятель, молчишь,— прошептал Шико,— не доверяешь себе.

«А ты разболтался,— подумал Борроме,— значит, опьянел».

Но Шико заметил, что из пяти бутылок, выстроившихся справа от Борроме, ни одна бутылка не была осушена до конца.

Это подтверждало догадку гасконца, что у капитана на его счет дурные намерения.

Он привстал, чтобы принять из рук Борроме пятую бутылку, и покачнулся.

— Ну вот,— сказал он,— вы заметили толчок от землетрясения?

— Что вы!

— Да, тысяча чертей! Счастье, что гостиница «Рог

изобилия» построена прочно, а то она все время вращается.

— Правильно,— сказал Борроме, осушая свой стакан до последней капли.— Я тоже это ощущал, но не понимал причины.

— Потому что вы не читали трактат «De Natura rerum»[1]. Если бы вы его прочли, то знали бы, что не бывает следствия без причины.

— Если так, дорогой собрат, откройте мне причину вашего переодевания. Ведь вы нарядились горожанином, когда пришли к дону Модесту.

— Охотно. Но и вы в свою очередь скажите мне, почему были наряжены монахом? Признание за признание.

— Идет! — сказал Борроме.

— Значит, вы хотите знать, почему я был переодет горожанином? — спросил Шико, причем язык его заплетался все сильнее.

— Говорите же.

— Двух слов достаточно.

— Слушаю вас.

— Я шпионил в пользу короля.

— Вы, значит, по ремеслу шпион?

— Нет, я любитель.

— Что же вы разведывали у дона Модеста?

— Я шпионил за самим доном Модестом, за братом Борроме, за юным Жаком и вообще за всем монастырем.

— И что же вы обнаружили, достойный друг?

— Прежде всего, что дон Модест — толстый болван.

— Ну, тут особой проницательности не требуется.

— Простите, простите! Его величество Генрих Третий не дурак, а считает дона Модеста светочем церкви и намерен назначить его епископом.

— Ничего не имею против такого назначения; наоборот, в этот день я здорово повеселюсь. А что еще вы открыли?

— Что некий брат Борроме не монах, а капитан.

— А еще что?

— Что юный Жак упражняется на рапирах, пока для него не настал час проткнуть человека шпагой.

[1] «О природе вещей» — философский трактат римского поэта Лукреция Кара (95—53 гг. до н. э.).

— Ты и это понял? — произнес Борроме, нахмурившись.— Ну, а что еще ты обнаружил?

— Дай-ка мне выпить, иначе я больше ничего не припомню.

И Шико наполнил свой стакан.

— Ну как,— спросил Борроме, чокнувшись с сотрапезником,— припомнил?

— Черт побери, конечно!

— Что же ты еще увидел в монастыре?

— Я увидел под видом монахов солдат, подчиненных тебе, а не дону Модесту.

— Вот как! И это все?

— Нет, но наливай, наливай, не то я все перезабуду...— И Шико единым духом осушил стакан.

— Припоминаешь? — спросил Борроме.

— Еще бы! Я обнаружил целый заговор.

— Заговор? — бледнея, переспросил Борроме.— Против кого?

— Против короля.

— С какой целью?

— Похитить его.

— И это вы предупредили короля?

— А как же! Для этого я и явился в монастырь!

— Значит, из-за вас это дело сорвалось?

— Из-за меня.

— Проклятие! — процедил сквозь зубы Борроме.

— Вы сказали...

— Что у вас зоркие глаза, приятель.

— Ну, что там!..— заплетающимся языком ответил Шико.— Дайте-ка мне бутылку, и вы удивитесь, когда я вам скажу, что я еще видел.

Борроме поспешно удовлетворил желание Шико.

— Прежде всего, я видел раненого господина де Майена.

— Эко дело!

— Пустяки, конечно: он попался мне на пути. Потом я видел взятие Кагора.

— Как! Взятие Кагора! Вы, значит, прибыли из Кагора?

— Конечно. Ах, капитан, замечательное это было зрелище: такому храбрецу, как вы, оно пришлось бы по сердцу.

— Не сомневаюсь. Вы, значит, были подле короля Наваррского?

— Совсем рядышком, друг мой, как сейчас с вами.
— И вы с ним расстались?
— Чтобы сообщить эту новость королю Франции.
— Вы были в Лувре?
— За четверть часа до вас.
— Ну, я не стану спрашивать, что вы видели после этого,— ведь с тех пор мы с вами не расставались.
— Напротив, спрашивайте, спрашивайте, ибо, честное слово, это самое любопытное.
— Говорите же, прошу вас.
— Еще стаканчик, чтобы язык развязался... Полнее... Отлично! Так вот, я видел, приятель, что, вынимая из кармана письмо его светлости герцога де Гиза, вы выронили другое письмо.
— Другое! — вскричал Борроме, вскакивая с места.
— Да,— сказал Шико.— И оно у тебя тут!
Пальцем, дрожащим от опьянения, он ткнул в кожаную куртку Борроме, как раз в то место, где находилось письмо.
Борроме вздрогнул, словно рука Шико была куском раскаленного железа.
— Ого,— сказал он,— недостает, чтобы вы знали, кому оно адресовано.
— Подумаешь! — молвил Шико, кладя руки на стол.— Оно адресовано герцогине де Монпансье.
— Боже мой! — вскочил Борроме.— Надеюсь, вы ничего не сказали об этом королю?
— Ни слова, но обязательно скажу.
— Когда же?
— После того, как посплю немного,— ответил Шико. И он опустил голову на руки.
— Значит, король все узнает?
— Поймите же, любезный,— продолжал Шико, поднимая голову и смотря на Борроме осоловелыми глазами,— вы заговорщик, я шпион. Вы устраиваете заговор — я вас выдаю. Каждый из нас выполняет свою работу, вот и все. Спокойной ночи, капитан.
Говоря это, Шико не только занял свою первоначальную позицию, но и закрыл ладонями лицо — открытой осталась только спина; зато спина эта, освобожденная от кирасы, лежащей на стуле рядом, как бы напрашивалась на удар.

— А, ты хочешь выдать меня, приятель! — произнес Борроме, устремляя на собутыльника горящий взгляд.
— Как только проснусь, друг любезный; это дело решенное,— ответил Шико.
— Посмотрим еще, проснешься ли ты! — вскричал Борроме.
И с этими словами он нанес яростный удар кинжалом в спину Шико, рассчитывая пронзить его насквозь.
Но Борроме не знал о кольчуге, которую Шико заимствовал в оружейной дона Модеста. Кинжал его разлетелся на куски, словно стеклянный, от соприкосновения с этой славной кольчугой, которая таким образом вторично спасла жизнь Шико.
Вдобавок не успел убийца опомниться, как Шико, распрямившись, ударил в лицо Борроме кулаком, весящим фунтов пятьсот, и окровавленный капитан отлетел к стене.
Однако он тут же вскочил и схватился за шпагу.
Шико тоже выхватил оружие.
Винные пары рассеялись точно по волшебству. Он стоял, слегка опираясь на левую ногу, взгляд его был устремлен на врага, рука крепко сжимала эфес шпаги.
Стол, на котором валялись пустые бутылки, разделял обоих противников, служа каждому из них заслоном.
Но, почувствовав, что из носа у него течет кровь, Борроме пришел в ярость: он забыл о всякой осторожности и устремился на врага.
— Дважды болван,— сказал Шико,— видишь теперь, что пьян ты, а не я: ведь через стол ты до меня дотронуться не можешь, моя же рука на шесть дюймов длиннее твоей руки. Вот тебе доказательство!
И Шико вытянул с быстротой молнии руку и острием шпаги уколол Борроме посреди лба.
У Борроме вырвался крик не столько боли, сколько ярости, и он стал нападать с удвоенным пылом.
Шико взял стул и спокойно уселся.
— Бог ты мой, и дураки же эти солдаты! — сказал он, пожимая плечами.— Ну вот, теперь он намеревается выколоть мне глаз. Ах, ты вскочил на стол, только этого не хватало! Да поберегись ты, осел этакий, нет ничего страшнее ударов снизу вверх.
И он уколол его в живот, как только что уколол в лоб.
Борроме зарычал от бешенства и соскочил со стола.

— Вот и отлично! — заметил Шико.— Теперь мы стоим лицом к лицу и можем разговаривать фехтуя. А, капитан, капитан, вы, значит, иногда, от нечего делать, занимаетесь ремеслом убийцы?

— Я совершаю это так, как и вы, во имя своего дела,— ответил Борроме, испуганный мрачным огнем, который вспыхнул в глазах противника.

Борроме удалось нанести Шико легкий удар в грудь.

— Неплохо, но этот прием мне известен: вы показывали его юному Жаку. Видите ли, приятель, я стою побольше вашего, ибо не я начал схватку. Более того, я дал вам возможность осуществить ваш замысел, подставив под удар свою спину. Дело в том, что у меня есть для вас одно предложение.

— Слушать ничего не хочу! — вскричал Борроме, выведенный из себя спокойствием Шико.

И он нанес удар, которым гасконец был бы пронзен насквозь, если бы не отскочил назад.

— Все же я тебе скажу мои условия, чтобы мне не пришлось потом себя упрекать.

— Молчи! — сказал Борроме.— Это бесполезно, молчи!

— Послушай, я вовсе не жажду твоей крови. Если придется убить тебя, то в крайнем случае.

— Убей же меня, убей, если можешь! — крикнул разъяренный Борроме.

— И убью этаким славным ударом, если ты не пойдешь на мои условия.

— Что же это за условия? Выкладывай.

— Ты перейдешь на службу к королю, но для вида останешься на службе у Гизов.

— То есть стану шпионить, как ты?

— Нет, между нами будет разница: мне не платят, а тебе станут платить. Для начала ты покажешь мне письмо монсеньера де Гиза к госпоже де Монпансье. Ты дашь мне снять с него копию, и я оставлю тебя в покое до следующего случая. Ну как? Правда, я мил и покладист?

— Получай! — сказал Борроме.— Вот мой ответ!

Ответом был удар, которым Борроме оцарапал плечо противника.

— Ничего не поделаешь,— сказал Шико,— придется показать тебе некий удар, простой и красивый.

И Шико перешел к нападению.

— Вот мой удар,— сказал он.— Я делаю ложный выпад с четвертой позиции.

Борроме отразил удар, подавшись назад. Но дальше отступать было некуда — он оказался припертым к стене.

— Я так и думал: ты избрал круговую защиту. Напрасно — кисть руки у меня сильнее, чем у тебя. Итак, я прибегаю к круговому замаху, возвращаюсь на третью позицию, делаю шаг вперед, и ты задет, или, вернее, ты мертв.

И действительно, за словами Шико последовал удар или, точнее, несколько ударов. Острый клинок вонзился, словно игла, в грудь Борроме и с глухим звуком вошел в сосновую перегородку.

Капитан раскинул руки и выронил шпагу. Глаза его расширились и налились кровью, на губах показалась розовая пена, и он склонил голову на плечо со вздохом, похожим на хрип. Злосчастный Борроме, словно огромная бабочка, был пригвожден к стене, о которую судорожно бились его ноги.

Шико, невозмутимый, хладнокровный, как и всегда в решительные минуты, выпустил из рук шпагу, которая продолжала горизонтально торчать в стене, отстегнул пояс капитана, пошарил у него в кармане, извлек письмо и прочитал адрес:

Герцогине де Монпансье.

Между тем из раны тонкими струйками вытекала кровь, а лицо раненого было искажено муками агонии.

— Я умираю, умираю,— прошептал он,— господи, смилуйся надо мною!..

Эта мольба о божественном милосердии тронула Шико.

— Будем же и мы милосердны,— сказал он.— Раз этот человек должен умереть, пусть он как можно меньше страдает.

Подойдя к перегородке, он вырвал из нее шпагу и, поддерживая Борроме, не дал ему свалиться наземь.

Но эта предосторожность оказалась ненужной: из раны Борроме хлынула струя крови, унося остаток жизни, еще теплившейся в его теле.

Тогда Шико открыл дверь и позвал Бономе.

Ему не пришлось звать дважды. Кабатчик подслушивал у двери; до него донесся и шум отодвигаемого стола, и звон клинков, и, наконец, звук падения грузного тела. И не знал он только одного: кто из противников пал.

К чести метра Бономе, надо сказать, что лицо его осветилось искренней радостью, когда он услышал голос гасконца и увидел, что дверь открывает ему Шико.

Шико, от которого ничто не ускользало, заметил эту радость, и им овладело чувство благодарности к трактирщику.

Бономе, дрожа от страха, зашел в отгороженное помещение.

— О господи Иисусе! — вскричал он, видя плавающего в крови капитана.

— Да, что поделаешь, бедный мой Бономе: дорогому капитану, видимо, очень худо.

— О добрый господин Шико! — вскричал Бономе, едва не лишаясь чувств.— Как дурно с вашей стороны, что для такого дела вы избрали мое заведение!

— Разве ты предпочел бы, чтобы Борроме стоял тут, а Шико лежал на земле?

— Нет, конечно, нет! — вскричал хозяин с глубочайшей искренностью в голосе.

— Ну, так именно это должно было случиться, если бы не произошло чуда.

— Что вы говорите!

— Честное слово! Взгляни-ка на мою спину, любезный друг.

Куртка между лопатками была продырявлена, и в прорехе алело пятно крови.

— Кровь! — вскричал Бономе.— Вы ранены!

— Подожди, подожди.

И Шико снял куртку, затем рубаху.

— Какое счастье, дорогой господин Шико, на вас кольчуга! Так, значит, негодяй хотел вас убить?

— Да, он добросовестно поработал шпагой, наш дорогой капитан. Кровь есть?

— Да, под кольчугой много крови.

Шико снял кольчугу, и обнажился его торс, состоявший, видимо, только из костей и мышц.

— Ох, господин Шико, там кровоподтек величиной с тарелку.

— Возьми-ка чистую белую тряпочку, смешай в стакане равное количество чистого оливкового масла и винного осадка и промой это место, приятель.

— Но труп, дорогой господин Шико... Что мне делать с трупом?

— Погоди. Дай мне чернила, перо и бумагу.

— Сию минуту, дорогой господин Шико.

И Бономе выбежал вон.

За это время Шико, очевидно не желавший терять времени, разогрел на лампе кончик тонкого ножика и разрезал посередине сургучную печать на конверте, после чего он вынул письмо и прочитал его с видимым удовольствием.

Тут вошел метр Бономе с маслом, вином, пером и бумагой.

Шико положил перо и бумагу на стол, а спину стоически подставил Бономе.

Бономе понял, что это значит, и начал оттирать кровь.

Что касается Шико, то он, словно не чувствуя боли, переписывал письмо герцога де Гиза к госпоже де Монпансье, сопровождая каждое слово каким-нибудь замечанием.

Письмо гласило:

Дорогая сестра! Антверпенская экспедиция удалась для всех, кроме нас. Вам станут говорить, что герцог Анжуйский умер. Не верьте этому, он жив.

Жив, понимаете? В этом вся суть дела.

В одном этом слове заключена судьба целой династии; оно отделяет Лотарингский дом от французского престола вернее, чем глубочайшая пропасть.

Однако пусть это вас не тревожит. Я обнаружил, что два человека, которых полагал усопшими, еще живы, а это грозит смертью герцогу Анжуйскому. Поэтому думайте только о Париже. Через шесть недель для лиги наступит время действовать. Пусть же наши лигисты знают, что час близок, и будут наготове.

Войско собрано. Мы можем рассчитывать на двенадцать тысяч человек, преданных нам и отлично снаряженных. Я эту армию приведу во Францию под предлогом борьбы с немецкими гугенотами, пришедшими на помощь Генриху Наваррскому. Побью гугенотов и буду повелевать во Франции, как хозяин.

P. S. *Полностью одобряю ваш план относительно Сорока*

пяти. Позвольте только сказать вам, милая сестрица, что вы оказываете этим головорезам больше чести, чем они того заслуживают.

Ваш любящий брат
Генрих де Гиз.

— Какой чести? — прошептал Шико. И он повторил: — «Чем они того заслуживают»... — Все ясно, — сказал Шико, — кроме постскриптума. Что ж, обратим на него особое внимание.

— Дорогой господин Шико, — решился наконец заговорить Бономе, — вы еще не сказали, как я должен поступить с трупом.

— Ну, представь себе, например, что бедняга капитан затеял на улице ссору со швейцарцами или рейтарами и его принесли к тебе раненым. Ты ведь не отказался бы его принять?

— Нет, конечно.

— Предположим, что, несмотря на твой преданный уход, он перешел в лучший мир, так сказать, у тебя на руках. Это было бы несчастьем, и только, правда?

— Разумеется.

— Вместо того чтобы заслужить упреки, ты заслужил бы похвалы за свою человечность. Предположим еще, что, умирая, бедняга капитан произнес хорошо известное тебе имя настоятеля обители Святого Иакова у Сент-Антуанских ворот.

— Дона Модеста Горанфло? — с удивлением вскричал Бономе.

— Его самого... Что ты делаешь? Предупреждаешь дона Модеста; тот поспешно является к тебе, и, так как в одном из карманов убитого находят кошелек — понимаешь? — а в другом вот это письмо, никому на ум не приходит никаких подозрений.

— Понимаю, дорогой господин Шико, вы великий человек!

— Более того, ты получишь награду за то, что письмо пойдет нетронутым по назначению.

— Значит, в письме содержится тайна?

— В такое время, как наше, — всюду сплошные тайны, дорогой мой Бономе.

И, произнеся эту сентенцию, Шико так искусно соединил обе половинки печати, что даже самый опытный глаз не заметил бы ни малейшего повреждения. После этого он снова сунул письмо в карман убитого, велел Бономе перевязать свою рану, натянул кольчугу и, вложив шпагу в ножны, направился к выходу. Но, подойдя к дверям, он возвратился.

— Кстати, раз капитан умер, я расплачусь, — сказал Шико и бросил на стол три золотых.

Затем он приложил указательный палец к губам в знак молчания и вышел.

XIX. Муж и поклонник

С глубоким волнением увидел снова Шико тихую улицу Августинцев и милый его сердцу дом с островерхой крышей, ветхим балконом и водосточными трубами в виде фантастических звериных морд.

В углублении камня под балконом Шико спрятал ключ от своего дома. В те времена любой ключ, будь то ключ от сундука или шкафа, мог поспорить по весу и величине с самыми толстыми ключами от ворот наших теперешних домов; соответственно этому ключи от домов были подобны ключам от современных городов.

Надо признать, что, шаря в поисках ключа, Шико ощущал некоторый трепет. Зато, почувствовав холод железа, он проникся блаженной, ни с чем не сравнимой радостью.

Так же благополучно обстояло дело и с обстановкой дома, и с тысячью экю, дремавшими в дубовом тайнике.

Шико отнюдь не был скупцом — совсем напротив: нередко он швырял деньгами, жертвуя жизненными благами ради торжества идеи, как это делает всякий сколько-нибудь достойный человек. Но золото, этот неизменный источник наслаждений, вновь обретало ценность в глазах нашего философа.

— Тысяча чертей! — бормотал Шико, созерцая свое сокровище. — У меня замечательный сосед; он не только сберег мои деньги, но и сам их не тронул. Я должен принести благодарность этому честному человеку.

С этими словами Шико снова закрыл свой тайник, подошел к окну и посмотрел на дом, стоявший напротив.

Дом казался ему по-прежнему унылым, мрачным, ибо такой вид принимает в нашем воображении любое здание, если мы знаем, что оно служит прибежищем печали.

«Сейчас еще не время для сна,— подумал Шико,— к тому же люди эти вряд ли спят много».

И, состроив любезную мину, он постучался в дверь к соседям.

При повторном стуке дверь открылась, и в ее темном пролете показался человек.

— Спасибо и добрый вечер,— сказал Шико, протягивая руку.— Я только что возвратился и пришел поблагодарить вас, дорогой друг.

— Что такое? — спросил сосед, в голосе которого послышалось разочарование.

— Э, да я ошибся! — сказал Шико.— Когда я уезжал, здесь жили другие люди, и, однако ж, прости господи, я вас знаю.

— Я тоже,— сказал молодой человек.

— Вы господин виконт Эрнотон де Карменж?

— А вы Тень?

— Совершенно верно.

— Что вам угодно, сударь? — спросил молодой человек не без раздражения.

— Мне бы хотелось поговорить с хозяином дома.

— Это я.

— А прежний владелец?

— Выехал, как вы сами видите.

— Куда?

— Не знаю. Но что вам нужно от этого человека, любезнейший господин Тень? — спросил Эрнотон.

Шико собрался было рассказать о своем деле, но вспомнил пословицу о пользе держать язык за зубами.

— Я хотел нанести ему визит, как это полагается между соседями,— сказал он,— вот и все.

— Милостивый государь,— молвил Эрнотон учтиво, но вместе с тем стал незаметно прикрывать дверь,— я очень сожалею, что не в состоянии дать вам более точных сведений.

— Благодарю вас, сударь, я разузнаю в другом месте.

— Но я рад был случаю возобновить с вами знакомство. Прощайте же, сударь!

— Одну минутку, господин де Карменж,— сказал Шико.

— Сударь, мне очень жаль,— возразил Эрнотон,— но в эту дверь должны вскоре постучаться...

— Достаточно, сударь, мне все понятно,— сказал Шико.— Простите, что я вам докучал; я удаляюсь.

— Прощайте, дорогой господин Тень.

— Прощайте, достойнейший господин Эрнотон.

Шико отступил на шаг, и дверь тотчас же захлопнулась.

Он прислушался, не дожидается ли недоверчивый молодой человек его ухода, но до него донеслись шаги Эрнотона, поднимавшегося по лестнице. Шико спокойно возвратился к себе, твердо решив не терять из виду нового соседа.

Шико, дотоле озабоченный одной фразой из письма герцога де Гиза: «Полностью одобряю ваш план относительно Сорока пяти», на время перестал о ней думать — он всецело был поглощен новой заботой.

Шико рассудил, что появление Эрнотона в качестве полноправного хозяина в этом таинственном доме, чьи обитатели внезапно исчезли,— вещь необычайно странная.

Тем более, что к этим обитателям могла относиться фраза из письма герцога де Гиза, касавшаяся герцога Анжуйского.

Такая случайность была достойна внимания, а Шико привык верить в знаменательные случайности.

Порою в дружеской беседе он даже развивал на этот счет весьма остроумные теории.

Вот одна из них.

Случайность — запасной фонд господа бога. Всемогущий прибегает к нему лишь в важных случаях, особенно теперь, когда люди стали так проницательны, что предвидят грядущее, наблюдая природу и постигая ее закономерности.

Между тем господь бог любит расстраивать замыслы тех, кто обуян гордыней: некогда он покарал людей потопом, а в будущем покарает их всемирным пожаром.

Итак, господь бог, говорим мы, вернее, говорил Шико, любит расстраивать замыслы гордецов при помощи явле-

ний, им неизвестных, вмешательства которых они не в состоянии предугадать.

Эта теория, подкрепленная убедительными аргументами, может послужить основой блестящих философских трудов. Но читатель, которому, как и Шико, вероятно, не терпится узнать, что делает в таинственном доме Карменж, будет благодарен нам, если мы прервем нить наших рассуждений.

Итак, Шико подумал, что появление Эрнотона в доме, где прежде жил Реми,— вещь очень странная.

Во-первых, потому, что оба эти человека не знали друг друга и, следовательно, не могли обойтись без посредника.

Во-вторых, дом был, по-видимому, продан Эрнотону, у которого денег на эту покупку не было.

«Правда,— сказал себе Шико, устраиваясь поудобнее на водосточной трубе, своем обычном наблюдательном пункте,— молодой человек утверждает, что к нему должен кто-то прийти, и этот «кто-то», конечно, женщина. Эрнотон кому-то понравился, ему назначили свидание и велели купить дом. Эрнотон,— продолжал размышлять Шико,— живет при дворе: видимо, здесь замешана придворная дама. Бедняга! Он погибнет в этой манящей бездне».

От этих мыслей гасконца отвлекло появление со стороны гостиницы «Гордый рыцарь» чьих-то носилок.

Носилки остановились у порога таинственного дома. Из них вышла дама под вуалью и исчезла за приоткрывшейся дверью.

— Несчастный! — прошептал Шико.— Я не ошибся, он и вправду ждал женщину.

Прошло около часа. Мы не беремся сказать, о чем думал за это время Шико. Внезапно ему почудился конский топот.

И действительно, вскоре показался закутанный в плащ всадник. Он остановился посреди улицы и огляделся.

Тут он заметил носилки и находившихся при них слуг.

Всадник подъехал к ним. Он был вооружен.

Слуги не давали ему проехать к дому, но он тихо сказал им несколько слов, и они почтительно расступились.

Неизвестный подошел к двери и громко постучался.

«Черт побери! — сказал себе Шико.— Хорошо я сделал, что остался на своем наблюдательном посту... Предчувствие меня не обмануло: тут что-то должно произойти. Вот и муж... Бедняга Эрнотон!

Впрочем, незнакомцу, видимо, не решались открыть.

— Откройте! — кричал он.

— Открывайте! Открывайте! — повторяли за ним слуги.

«Несомненно,— рассуждал Шико,— это муж. Он пригрозил слугам, и они перешли на его сторону. Несчастный Эрнотон! С него кожу сдерут! Надо вмешаться в это дело: ведь он в свое время пришел мне на помощь».

Шико отличался решительностью и великодушием, да к тому же был любопытен. Он схватил свою длинную шпагу и быстро спустился вниз.

Затем он скользнул под балкон, спрятался за колонной и стал ждать.

Дверь дома напротив отворилась по одному слову, которое шепнул незнакомец. Однако сам он остался на пороге.

Спустя мгновение в пролете двери показалась прибывшая в носилках дама.

Дама оперлась на руку всадника, он усадил ее в носилки, закрыл дверцу и вскочил в седло.

«Можно не сомневаться, это муж,— подумал Шико.— Довольно, впрочем, мягкотелый муж, ему в голову не пришло пошарить в доме и проткнуть живот моему приятелю Карменжу».

Носилки двинулись в путь, всадник ехал шагом у дверей.

«Ей-богу,— сказал себе Шико,— надо будет проследить за этими людьми, разведать, кто они и куда направляются».

Шико последовал за экипажем, соблюдая величайшие предосторожности, и пришел в изумление, когда носилки остановились перед «Гордым рыцарем».

В ту же минуту дверь гостиницы отворилась, словно кто-то поджидал прибывших. Дама, лицо которой было по-прежнему скрыто вуалью, вышла из носилок и поднялась в башенку, окно которой было освещено.

За нею последовал муж.

Впереди них выступала госпожа Фурнишон с факелом в руке.

«Ну и ну,— сказал себе Шико, скрестив руки,— ничего не понимаю!»

XX. О том, как Шико начал разбираться в письме герцога де Гиза

Шико показалось, что он уже где-то видел этого столь покладистого всадника. Но во время своей поездки в Наварру он перевидел столько людей, что в памяти его все смешалось.

Неотрывно глядя на освещенное окно, он спрашивал себя, что могло понадобиться всаднику и даме под вуалью в гостинице «Гордый рыцарь», как вдруг дверь ее открылась, и в полосе яркого света, вырвавшегося оттуда, появилась черная фигура, очень напоминавшая монаха.

Человек этот замер у порога и посмотрел на то же окно, на которое глядел Шико.

— Ого,— прошептал тот,— уж не монах ли это от Святого Иакова? Неужто метр Горанфло разрешает своим овцам бродить ночью так далеко от обители?

Шико проследил за монахом, удалявшимся по улице Августинцев, и чутье подсказало ему, что он обретет в нем разгадку тайны.

— Будь я проклят,— прошептал он,— если под рясой не скрывается тот юный вояка, которого мне хотели дать в спутники.

Не успела эта мысль прийти в голову Шико, как он, широко шагая, догнал паренька.

Это было, впрочем, нетрудно, ибо монашек время от времени останавливался и смотрел назад, словно он уходил с величайшим сожалением.

— Эй, куманек,— крикнул Шико,— эй, милый Жак, стой!

Монашек вздрогнул.

— Кто меня зовет? — спросил он вызывающим тоном.

— Я,— ответил Шико, подойдя вплотную к юноше.— Узнаешь меня, сынок?

— О, господин Робер Брике! — вскричал монашек.

— Он самый, мальчуган. Куда это ты так поздно направляешься, дружок?

— В обитель, господин Брике.

— А откуда идешь, распутник ты этакий?

Юноша вздрогнул.

— Не понимаю, о чем вы говорите, господин Брике;

я выполнял очень важное поручение дона Модеста, что он и сам подтвердит, если понадобится.

— Ну, ну, не горячись, мой маленький святой Иероним, похоже, что мы загораемся, как фитиль.

— Да как не загореться, услышав то, что вы мне сказали?

— Бог ты мой, а что же остается сказать, когда монах выходит в такой час из кабачка...

— Я — из кабачка?

— Ну да, разве ты не вышел из «Гордого рыцаря»? Вот видишь, попался!

— Я вышел из этого дома,— сказал Клеман,— вы правы, но не из кабачка.

— Как! — возразил Шико.— Гостиница «Гордый рыцарь», по-твоему, не кабак?

— Кабак — это место, где пьют вино, а так как в этом доме я не пил вина, он для меня не кабак.

— Черт побери! Различие ты провел тонко. Или я сильно ошибаюсь, или ты когда-нибудь станешь искушенным богословом. Но в таком случае для чего же ты туда заходил?

Клеман ничего не ответил, и, несмотря на темноту, Шико прочел на его лице твердую решимость не сказать больше ни слова.

Решимость эта крайне огорчила нашего друга, у которого вошло в привычку все знать.

Разговор совсем прекратился. Молодой человек не говорил ни слова и, казалось, чего-то ждал. Можно было подумать, что он считает за счастье задержаться вблизи гостиницы «Гордый рыцарь».

Шико повел речь о путешествии, которое юноша собирался совершить вместе с ним, рассказал, что в странах, где он только что побывал, искусство фехтования в большом почете, и небрежно добавил, что даже изучил там несколько удивительных приемов.

Но вся эта болтовня Шико не смягчила неподатливого мальчика, и он продолжал хранить упорное молчание относительно того, что же ему нужно было в этом квартале.

Раздосадованный, но вполне владея собой, Шико решил прибегнуть к несправедливым нападкам. Несправедливость — превосходное средство, чтобы вызвать на откровенность женщин и детей.

— Что там ни говори, мальчуган,— сказал он, словно возвращаясь к прерванной мысли,— а ты все же посещаешь гостиницы, да еще какие! Те, в которых можно встретить прекрасных дам, и словно зачарованный глядишь на окна, где мелькает их тень. Мальчик, мальчик, я все расскажу дону Модесту.

Удар попал в цель.

Жак обернулся словно ужаленный.

— Неправда! — вскричал он, красный от стыда и гнева.— Я на женщин не смотрю!

— Смотришь, смотришь,— продолжал Шико.— Когда ты вышел из «Гордого рыцаря», там находилась одна очень красивая дама, и ты обернулся, чтобы увидеть ее еще раз; я знаю, что ты ждал ее в башенке, что ты говорил с нею.

Жак не смог сдержаться.

— Конечно, я с ней говорил! — воскликнул он.— Разве это грех — разговаривать с женщинами?

— Нет, если, говоря с ними, не поддаешься искушению сатаны.

— Сатана тут ни при чем: я вынужден был говорить с этой дамой, раз мне поручили передать ей письмо.

— Поручил дон Модест Горанфло?

— Да, а теперь можете ему жаловаться на меня!

При таких словах внезапная догадка осенила Шико.

— Я так и знал,— сказал он.

— Что знали?

— То, чего ты не хотел мне говорить.

— Я и своих личных секретов не выдаю, а тем более чужих тайн.

— Да, но мне можно.

— Почему?

— Потому что я друг дона Модеста, и, кроме того...

— Ну?

— Я заранее знаю все, что ты можешь мне рассказать.

Юный Жак посмотрел на Шико с недоверчивой улыбкой и покачал головой.

Шико сделал над собой усилие.

— Во-первых, этот бедняга Борроме...

Лицо Жака помрачнело.

— О,— сказал мальчик,— если бы я там был... все обернулось бы иначе.

— Но тебя там не было, так что бедняга скончался в каком-то третьеразрядном кабачке и, отдавая богу душу, произнес имя дона Модеста.

— Да.

— И дона Модеста тут же известили об этом.

— Да, прибежал какой-то насмерть перепуганный человек и поднял в монастыре тревогу.

— А дон Модест велел подать носилки и поспешил к «Рогу изобилия».

— Откуда вы все это знаете?

— Я ведь немножко колдун, малыш.

Жак попятился.

— Это еще не все,— произнес Шико, чье лицо прояснялось, по мере того как он говорил.— В кармане убитого нашли письмо.

— Совершенно верно, письмо.

— И дон Модест поручил Жаку отнести это письмо.

— Да.

— И юный Жак тотчас же побежал в особняк Гизов.

— О!

— Где он никого не нашел.

— Боже мой!

— Кроме господина де Мейнвиля.

— Господи помилуй!

— Каковой привел Жака в гостиницу «Гордый рыцарь».

— Господин Брике, господин Брике! — вскричал Жак.— Раз вы и это знаете...

— Э! Тысяча чертей! Ты же видишь, что знаю! — воскликнул Шико, торжествуя, что ему удалось рассеять мрак, скрывавший чрезвычайно важную тайну.

— Значит, вы должны признать, господин Брике,— продолжал Жак,— что я ничем не погрешил!

— Правильно,— сказал Шико,— но ты все же грешил в мыслях.

— Я?

— Разумеется; ты нашел герцогиню очень красивой.

— Я?

— И обернулся, чтобы еще раз увидеть ее в окно.

— Я?! — Монашек вспыхнул и пробормотал: — Правда, она похожа на образ девы Марии, что висел у изголовья моей матери.

— Как много теряют люди нелюбопытные! — прошептал Шико.

Тут он заставил юного Клемана, которого держал теперь в руках, пересказать заново все, что он сам только что рассказал.

— Видишь,— сказал Шико, когда мальчик умолк,— каким плохим учителем фехтования был для тебя брат Борроме!

— Господин Брике,— заметил юный Жак,— не надо дурно говорить о мертвых.

— Да, но признай все же, что брат Борроме владел шпагой хуже, чем тот, кто его убил.

— Это правда.

— Ну, а теперь мне больше нечего тебе сказать. До скорого свиданья, мой маленький Жак, и, если хочешь...

— Что, господин Брике?

— Я сам буду давать тебе уроки фехтования.

— О, очень хочу!

— А теперь иди скорее, малыш, тебя ведь с нетерпением ждут в монастыре.

— Верно. Спасибо, господин Брике, что вы мне об этом напомнили.

Мальчик побежал прочь и скоро исчез из виду.

У Шико имелись свои основания избавиться от собеседника. Он вытянул из Жака все, что хотел знать, и, кроме того, оставалось добыть еще некоторые сведения.

Он быстрым шагом вернулся домой. Носилки и верховая лошадь по-прежнему стояли у дверей «Гордого рыцаря». Шико снова бесшумно примостился на своей водосточной трубе.

Теперь он не спускал глаз с дома напротив.

Сперва он увидел сквозь прореху в занавеси, что Эрнотон, явно поджидающий свою гостью, шагает взад и вперед по комнате. Потом возвратились носилки, удалился Мейнвиль, и герцогиня вошла наконец в комнату, где изнывал от нетерпения Эрнотон.

Молодой человек преклонил перед герцогиней колени, а она протянула ему для поцелуя свою белоснежную ручку. Затем герцогиня усадила Эрнотона рядом с собою за изящно накрытый стол.

— Странно,— пробормотал Шико,— началось как заговор, а кончается как любовное свидание!.. Да, но кто явился на это свидание? Госпожа де Монпансье.

Все для него прояснилось.

— Ого! — прошептал он.— «Полностью одобряю ваш план относительно Сорока пяти. Позвольте только сказать вам, милая сестрица, что вы оказываете этим головорезам больше чести, чем они того заслуживают».

— Тысяча чертей! — вскричал Шико.— Мое первое предположение было правильным: тут не любовь, а заговор. Понаблюдаем же за похождениями госпожи герцогини.

И Шико вел наблюдения до половины первого ночи, когда Эрнотон убежал, закрыв лицо плащом, а герцогиня де Монпансье опять села в носилки.

— А теперь,— прошептал Шико, входя к себе домой,— подумаем, что же это за счастливый случай, который должен привести к гибели престолонаследника и избавить от него герцога де Гиза? Кто эти люди, которых считали умершими?.. Черт побери! Пожалуй, я напал на след!

XXI. Кардинал де Жуаез

Молодые люди упорствуют как во зле, так и в добре, и их упорство стоит опытности, свойственной зрелому возрасту.

Если это своеобразное упрямство направлено к добру, оно порождает нередко великие дела.

Нам предстоит нарисовать здесь образ обыкновенного человека. А между тем многие биографы обнаружили бы в двадцатилетнем дю Бушаже задатки человека незаурядного.

Анри упорно отказывался отречься от своей любви и вернуться к развлечениям светской жизни. По просьбе брата, по требованию короля он несколько дней обдумывал в одиночестве свое намерение. И, так как намерение это становилось все более непоколебимым, он решил в одно прекрасное утро посетить своего брата-кардинала, лицо очень важное: в двадцать шесть лет тот был уже два года кардиналом, достигнув высших ступеней духовной иерархии благодаря своему высокому происхождению и выдающемуся уму.

Франсуа де Жуаез, которого мы уже выводили на

сцену, человек молодой и светский, красивый и остроумный, был одним из примечательнейших людей того времени. Честолюбивый и осмотрительный, Франсуа де Жуаез мог бы избрать себе девизом: «Все пригодится» — и оправдать этот девиз.

Единственный из всех придворных — а Франсуа де Жуаез был прежде всего придворным,— он сумел обеспечить себе поддержку обоих государей — духовного и светского, ибо папа Сикст покровительствовал ему не менее, чем Генрих III. В Париже он был итальянцем, в Риме — французом и повсюду отличался щедростью и ловкостью.

Кардинал де Жуаез быстро разбогател — и благодаря своей доле родового наследия, и благодаря причитавшимся ему по рангу доходам.

Он жил на широкую ногу. Если брат его, адмирал, появлялся с пышной свитой военных, то в приемных кардинала толпились священники, епископы, архиепископы. Став князем церкви, Франсуа де Жуаез завел себе по итальянскому обычаю пажей, а по французскому — личную охрану. Но охрана и пажи отнюдь не стесняли его, а, наоборот, обеспечивали ему еще большую свободу. Окружив стражниками и пажами свои просторные носилки, откуда свешивалась затянутая в перчатку рука его секретаря, он разъезжал верхом по городу, переодетый, при шпаге, в парике, огромных брыжжах и сапогах со шпорами.

К этому прелату и отправился граф дю Бушаж после объяснения со старшим братом и беседы с королем Франции.

Франсуа жил в красивом доме, стоявшем в Сите[1]. Огромный двор был всегда полон всадниками и экипажами. Сад примыкал к берегу реки, куда выходила одна из калиток и тут же была привязана лодка, которая незаметно уносила его так далеко, как он того желал. И потому частенько случалось, что посетители тщетно ожидали прелата — он так и не выходил к ним под предлогом серьезного недомогания или наложенной на себя суровой епитимьи.

Франсуа был горделив, но отнюдь не тщеславен. Друзей он любил, а братьев — почти как друзей. Будучи на пять лет старше дю Бушажа, он не скупился для него ни на добрые, ни на дурные советы, ни на улыбки, ни на деньги.

[1] Древнейшая часть города Парижа, остров между двумя рукавами Сены.

Но так как он великолепно умел носить кардинальскую мантию, дю Бушаж находил его красивым, благородным и чтил его, может быть, даже больше, чем старшего из трех братьев Жуаезов. Анри с трепетом повествовал о своей любви Анну, но он не осмелился бы исповедаться Франсуа.

Однако когда он направился к особняку кардинала, решение его было принято: он вполне откровенно побеседует с ним сперва как с исповедником, потом как с другом.

Бушаж прошел через анфиладу залов и вышел в сад, настоящий сад римского прелата, тенистый и благоуханный.

Анри остановился под купой деревьев. В то же мгновение решетчатая калитка, выходившая на реку, распахнулась, и в нее вошел какой-то человек, закутанный в широкий коричневый плащ. За ним следовал юноша — по-видимому, паж. Человек этот проскользнул между деревьями, стараясь, чтобы его не видел ни дю Бушаж, ни кто-либо другой.

Для Анри это таинственное появление прошло незамеченным. Лишь случайно обернувшись, он увидел, как незнакомец вошел в дом.

Минут десять спустя к Анри подошел слуга и пригласил пройти в библиотеку, где его ожидает кардинал.

Анри без особой поспешности последовал за слугой, ибо предугадывал, что ему придется выдержать новую борьбу. Когда он вошел, камердинер облачал кардинала в одеяние прелата, изящное, а главное, удобное.

— Здравствуй, брат,— промолвил кардинал.— Что нового?

— Семейные новости отличные,— ответил Анри.— Анн, как вы знаете, покрыл себя славой при отступлении из-под Антверпена и остался жив.

— Вот видишь,— произнес кардинал,— господь бог оберегает нас для некоего высокого назначения.

— Брат мой, я так благодарен господу богу, что решил посвятить ему свою жизнь. Я пришел поговорить с вами об этом решении.

— Ты все еще не оставил своего намерения, дю Бушаж? — спросил кардинал.

— Не оставил, брат.

— Но это невозможно, Анри, разве тебе не говорили?

— Я не слушал того, что мне говорили, брат, ибо голос более властный звучит во мне и заглушает слова тех, кто пытается отвратить меня от бога.

— Полно, брат,— произнес кардинал серьезно.— Бог не имеет ко всему этому ни малейшего касательства, поэтому «не приемли имени его всуе», а главное, не принимай голосов земли за глас неба.

— Я их и не смешиваю, брат, я хочу лишь сказать, что некая непреодолимая сила влечет меня уединиться вдали от мира.

— Выслушай меня, Анри. Тебе надо взять побольше денег, двух берейторов и пуститься в странствие по Европе, как оно подобает отпрыску такого знатного рода, как наш. Ты побываешь в далеких странах — в Татарии, даже в России, у лапландцев, у сказочных народов, никогда не видящих солнца...

— Вы не поняли меня, монсеньер,— возразил дю Бушаж.

— Прости, Анри, ты же сам сказал, что хочешь уединиться вдали от мира.

— Да, но я подразумевал монастырь, брат мой, а не путешествие. Путешествовать — это значит все же пользоваться жизнью, а я стремлюсь принять смерть или по крайней мере насладиться ее подобием.

— Что за нелепая мысль, позволь сказать тебе, Анри! Прежде всего я буду говорить с тобой во имя бога, которого ты оскорбляешь, утверждая, что он внушил тебе это мрачное решение. Ты слаб и приходишь в отчаяние от первых же горестей: может ли бог принять ту недостойную его жертву, которую ты стремишься ему принести?

Анри протестующе поднял руку.

— Нет, я больше не стану щадить тебя, брат, ведь ты-то никого из нас не щадишь,— продолжал кардинал.— Ты забыл о горе, которое причинишь и нашему старшему брату, и мне...

— Простите, монсеньер,— перебил брата Анри, и лицо его покраснело,— разве служение богу дело такое мрачное и бесчестное, что целая семья должна облечься

из-за него в траур? А вы сами, брат мой, разве не честь и не радость для нашего дома, хотя избрали служение владыке небесному, как мой старший брат служит владыкам земным?

— Дитя! Дитя! — с досадой вскричал кардинал.— И вправду можно подумать, что ты обезумел. Как! Ты сравниваешь мой дом с монастырем? Но ведь ты отвергаешь все то, что необходимо,— картины, драгоценные сосуды, роскошь, веселье! Если бы еще, подобно мне, ты желал увенчать себя тиарой святого Петра! Вот это карьера, Анри! К этому стремятся, за это борются, этим живут. Но ты!.. Ты отказываешься от воздуха, радости, надежды. И все это лишь потому, что ты полюбил женщину, которая тебя не любит. Право же, Анри, ты позоришь наш род!

— Брат! — вскричал молодой человек, и мрачный огонь сверкнул в его глазах.— Не предпочитаете ли вы, чтобы я размозжил себе череп выстрелом из пистолета или же воспользовался почетным правом носить шпагу и вонзить ее в свою грудь? Ей-богу, монсеньер, если вы, кардинал и князь церкви, дадите мне отпущение этого смертного греха, то дело будет сделано в один миг,— вы даже не успеете додумать чудовищную мысль, будто я позорю наш род, чего, слава богу, никогда не сделает ни один Жуаез.

— Ну, ну, Анри! — сказал кардинал, привлекая к себе брата и крепко обнимая его.— Дорогой наш, любимый мальчик, забудь мои слова, прости того, кому ты дорог. Выслушай меня, умоляю тебя! Как ни редко это случается на земле, всем нам выпала счастливая доля. Так не отравляй же, Анри, смертельным ядом своего отречения счастье нашей семьи. Подумай о слезах отца, подумай, что из-за тебя мы все будем носить в сердце траур. Заклинаю тебя, Анри, дай себя уговорить. Монастырь не для тебя, он хуже могилы; в могиле гаснет только жизнь, в монастыре — разум. Брат мой, берегись: у нас всего одна молодость. Ты не заметишь, как пройдут твои юные годы, ибо тобой владеет жестокая скорбь. Но в тридцать лет ты станешь мужчиной, твоя скорбь развеется, и ты захочешь возвратиться к жизни, а будет уже поздно: ты станешь мрачным, болезненным, в твоей груди погаснет всякое пламя, люди будут бежать от тебя, как от гроба повапленного, в черную глубь которого никто не пожелает заглянуть.

Анри, я говорю с тобой как друг, голос мой — голос мудрости. Послушайся меня.

Юноша стоял молча, неподвижно. У кардинала появилась надежда, что он растрогал брата и поколебал его решимость.

— Испробуй другое средство, Анри. В сердце твоем — отравленная стрела; что ж, ходи с ней повсюду, бывай на всех празднествах, принимай участие в пирах. Подражай раненому оленю, который мчится сквозь чащу, стараясь освободиться от стрелы, торчащей в ране,— иногда стрела выпадает.

— Брат мой, смилуйтесь,— сказал Анри,— не настаивайте больше. То, чего я у вас прошу, не минутный каприз: я медленно, мучительно все обдумал. Брат мой, во имя неба заклинаю вас даровать мне одну милость!

— Ну говори же, какую милость?

— Сокращения срока послушничества.

— Я так и знал, дю Бушаж, даже в своем ригоризме ты останешься светским человеком, бедный мой друг. Ты похож на тех молодых добровольцев, которые жаждут огня, пуль, рукопашных схваток, но не согласны ни рыть траншеи, ни подметать палатку.

— Я на коленях умоляю вас об этой льготе, брат мой!

— Обещаю тебе, я напишу в Рим. Ответ придет не раньше чем через месяц. Но взамен ты мне тоже кое-что пообещай.

— Что?

— Не отказываться в течение этого месяца ни от одного удовольствия, которое тебе представится. И если через месяц ты будешь по-прежнему настаивать на своем, Анри, я сам вручу тебе это разрешение. Доволен ли ты теперь или у тебя есть еще какая-нибудь просьба?

— Нет, брат мой, спасибо. Но месяц — это так долго!

— А до тех пор, брат, станем развлекаться, и для начала не согласишься ли ты позавтракать со мной? У меня сегодня утром приятное общество.

И прелат улыбнулся с таким видом, которому позавидовал бы любой светский кавалер.

— Брат...— пролепетал дю Бушаж.

— Никаких отказов не принимаю: из родственников твоих я тут один.

С этими словами кардинал отдернул портьеру, за которой находился роскошно обставленный просторный кабинет.

— Графиня, помогите мне уговорить графа дю Бушажа остаться с нами.

Анри увидел полулежащего на подушках пажа, который недавно вместе с неизвестным дворянином вошел в калитку у реки, и узнал в этом паже женщину.

Им овладел внезапный страх, чувство неодолимого ужаса, и в то время, как кардинал предлагал прекрасному пажу руку, Анри дю Бушаж обратился в бегство. Когда Франсуа вернулся в сопровождении дамы, улыбающейся при мысли, что она вернет в мир чье-то сердце, комната была пуста.

Франсуа нахмурился; он сел за стол, заваленный письмами и бумагами, и поспешно написал несколько строк.

— Будьте так добры, позвоните, дорогая графиня,— сказал он.

Паж повиновался.

Вошел доверенный камердинер.

— Пусть курьер тотчас же сядет на коня,— сказал Франсуа,— и отвезет это письмо господину главному адмиралу в Шато-Тьерри.

XXII. Сведения о д'Орильи

На следующий день королю сообщили, что господин де Жуаез-старший только что приехал из Шато-Тьерри и ожидает его в кабинете для аудиенций с поручением от монсеньера герцога Анжуйского.

Король тотчас же бросил дела и устремился навстречу своему любимцу.

В кабинете луврского дворца находилось немало офицеров и придворных. В тот вечер явилась сама королева-мать в сопровождении фрейлин, а эти веселые барышни были как бы солнцами, вокруг которых постоянно кружились спутники.

Король протянул Жуаезу руку для поцелуя и довольным взглядом окинул собравшихся.

У входной двери стоял, как обычно, Анри дю Бушаж, строго выполнявший свои обязанности.

— Государь,— сказал Жуаез,— я послан к вашему величеству монсеньером герцогом Анжуйским, только что вернувшимся из Фландрского похода.

— Брат мой здоров, господин адмирал? — спросил король.

— Настолько, государь, насколько позволяет ему душевное состояние.

— Ему необходимо развлечься после постигшего его несчастья,— сказал король, очень довольный тем, что может упомянуть вслух о неудаче брата.

— Думаю, что да, ваше величество.

— Нам говорили, что поражение было жестокое, но благодаря вам значительная часть войска уцелела. Благодарю вас, господин адмирал, благодарю. А бедняга Анжу хотел бы нас видеть?

— Он пламенно желает этого, государь.

— Отлично, мы с ним увидимся. Вы согласны, государыня? — спросил Генрих, оборачиваясь к Екатерине, чье лицо упорно скрывало терзания сердца.

— Государь,— ответила она,— я бы одна отправилась навстречу сыну. Но раз ваше величество готовы присоединиться ко мне, путешествие станет для меня приятной прогулкой.

— Вы отправитесь с нами, господа,— обратился король к придворным.— Мы выедем завтра, ночевать я буду в Мо.

— Итак, я могу вернуться к монсеньеру с этой радостной вестью?

— Чтобы вы так скоро покинули меня? Нет, нет. Я вполне понимаю, что брат чувствует симпатию к Жуаезу и хочет видеть его у себя, но ведь Жуаезов у нас два... Слава богу! Дю Бушаж, поезжайте в Шато-Тьерри.

— Государь,— спросил Анри,— позволено ли мне будет тотчас же возвратиться в Париж?

— Вы поступите, как вам заблагорассудится, дю Бушаж,— сказал король.

Анри поклонился и направился к выходу. К счастью, Жуаез все время следил за ним.

— Разрешите мне, государь, сказать несколько слов брату? — спросил он.

— Конечно,— ответил король.

Анн побежал за братом и нагнал его в прихожей.

— Ты очень торопишься вернуться, Анри? — спросил Жуаез.

— Ну конечно, брат.

— Значит, ты думаешь пробыть в Шато-Тьерри самое короткое время?

— Да, там, где развлекаются, мне не место.

— Как раз наоборот, Анри, именно потому, что герцог Анжуйский будет устраивать празднества для двора, тебе бы и следовало остаться в Шато-Тьерри.

— Анн, умоляю тебя, не настаивай.

— Хорошо, успокойся, не стану. Но давай же поговорим начистоту. Ты едешь в Шато-Тьерри. Так вот, вместо того чтобы спешно возвратиться обратно, подожди меня там. Мы давно уже не жили вместе. Мне надо побыть с тобой вдвоем.

— Брат, ты едешь развлекаться. А если я останусь в Шато-Тьерри, то все тебе отравлю.

— Позвольте, граф,— властно сказал адмирал,— я представляю здесь вашего отца и требую, чтобы вы ждали меня в Шато-Тьерри. Там у меня есть квартира, где вы будете как у себя дома. Она расположена в первом этаже и выходит прямо в парк.

— Подчиняюсь вашей воле, брат.

— Уверен, что ты не будешь на меня в обиде,— добавил Жуаез и обнял юношу.

Тот не без раздражения уклонился от объятий брата, велел подавать лошадей и немедленно уехал в Шато-Тьерри.

В тот же вечер, еще засветло, юноша поднялся на холм Шато-Тьерри, у подножия которого течет Марна.

Имя дю Бушажа открыло перед ним ворота замка, где жил герцог Анжуйский. Что касается аудиенции, то ее пришлось дожидаться.

Прошло полчаса, сумерки все больше сгущались.

В галерее послышались тяжелые, шаркающие шаги герцога Анжуйского. Анри узнал их и приготовился выполнить положенный церемониал.

Но принц, который, видимо, очень торопился, сразу же избавил посланца от всяких формальностей — он взял его за руку и поцеловал.

— Здравствуйте, граф,— сказал он,— зачем это вас потревожили и заставили ехать к бедняге побежденному?

— Меня прислал король, ваше высочество. Горя жела-

нием видеть вас, монсеньер, его величество явится в Шато-Тьерри не позже чем завтра.

— Король приедет завтра? — вскричал Франциск, не будучи в состоянии скрыть досаду. Но он тотчас же спохватился: — Завтра! Завтра! Но ведь ни в замке, ни в городе ничего не будет готово для встречи его величества!

Дю Бушаж поклонился, как человек, передающий поручение, но отнюдь не призванный о нем рассуждать.

— У вашего высочества не будет никаких приказаний? — почтительно спросил он.

— Никаких. Ложитесь спать. Ужин вам принесут в комнату, граф. Я сегодня не ужинаю: мне нездоровится, да и на душе неспокойно. Кстати, слышали новость?

— Нет, монсеньер. Какую новость?

— Орильи съеден волками.

— Орильи! — удивленно воскликнул Анри.

— Ну да... Как странно: все близкие мне люди плохо кончают. Спокойной ночи, граф.

И герцог поспешно удалился.

XXIII. Сомнения

Анри вышел в прихожую и встретил там много знакомых офицеров, которые предложили провести его в покои адмирала де Жуаеза, расположенные в одном из крыльев замка.

Два смежных зала, обставленных еще в царствование Франциска I, примыкали к библиотеке, которая выходила в сад.

Жуаез, человек ленивый, но весьма образованный, велел поставить свою кровать в библиотеке: под рукой у него была вся наука; открыв окно в сад, он мог наслаждаться природой. Натуры утонченные стремятся к полноте радостей жизни, а утренний ветерок, пение птиц и аромат цветов придают особую прелесть триолетам Клемана Маро и одам Ронсара[1].

[1] Клеман Маро (1496—1544) — французский поэт эпохи раннего Возрождения.

Ронсар (1524—1585) — крупнейший французский поэт XVI века.

Анри решил оставить здесь все, как было, не потому, что он сочувствовал поэтическому сибаритству брата, а просто из равнодушия.

Но в каком бы состоянии духа ни пребывал граф, он привык неукоснительно выполнять свой долг в отношении короля и принцев крови; вот почему он обстоятельно расспросил о той части дворца, где жил герцог.

Счастливый случай послал Анри отличного чичероне. Это был тот юный лейтенант, чья нескромность раскрыла герцогу тайну дю Бушажа. Этот молодой офицер не покидал принца с момента его возвращения и мог превосходно осведомить обо всем Анри.

По прибытии в Шато-Тьерри герцог Анжуйский стал искать шумных развлечений. Он поселился в парадных покоях, устраивал приемы утром и вечером, а днем охотился в лесу на оленей или в парке на сорок. Как только до него дошла — неизвестно, каким путем — весть о смерти Орильи, он уединился в павильоне, расположенном в глубине парка.

Герцог уже два дня находился там. Люди, плохо знавшие его, говорили, что он предается горю, которое причинила ему смерть Орильи. Те, кто хорошо его знал, утверждали, что он занят какими-нибудь ужасными, постыдными деяниями, которые в один прекрасный день выплывут на свет божий. Оба эти предположения были тем более вероятны, что герцог негодовал, когда какое-либо дело призывало его в замок.

— Видно, празднества будут не очень-то веселые,— сказал Анри,— раз принц в таком расположении духа.

— Разумеется,— ответил лейтенант.

Анри продолжал, как бы против воли, расспрашивать приятеля, находя в этом непонятный для себя самого интерес.

— И вы говорите, что никто не знает, откуда герцог получил известие о смерти Орильи?

— Никто.

— Но что все-таки говорят?

— Говорят, что герцог охотился один в лозняке у реки, после чего возвратился к другим охотникам, видимо чем-то расстроенный. В руках у него было два свертка с золотыми монетами. «Подумайте только, господа,— молвил он прерывающимся голосом,— Орильи умер, Орильи съели волки». Никто не хотел этому верить. «Увы, это

так,— сказал герцог,— кажется, лошадь его понесла, он упал в какую-то рытвину и убился. На другое утро двое путников нашли тело Орильи, наполовину обглоданное волками. И вот два свертка с золотом; они были найдены на нем и честно возвращены».

— Все это очень странно,— пробормотал Анри.

— Тем более странно,— продолжал лейтенант,— что герцог впустил в парк каких-то двух человек — вероятно, тех самых путников. С той поры он удалился в павильон, и мы видим его лишь изредка.

— А этих путников никто не видел? — спросил Анри.

— Я встретил в парке какого-то человека, который, по-моему, не принадлежит к дому его высочества,— ответил лейтенант.— Но лица его я не рассмотрел, так как при виде меня он отвернулся и надвинул на глаза капюшон.

— Капюшон?

— Да, и сам не знаю, почему этот человек напомнил мне того, кто был с вами, когда мы встретились во Фландрии.

Анри внимательно поглядел на лейтенанта.

— И что вы думаете об этом, сударь? — спросил он.

— Вот что я думаю,— ответил лейтенант.— Герцог, очевидно, не отказался от своих планов насчет Фландрии. Поэтому он содержит там соглядатаев. Человек в шерстяном плаще один из таких шпионов: в пути он узнал о несчастном случае с музыкантом и принес это известие герцогу.

— Вполне возможно,— задумчиво молвил Анри.— Но что делал этот человек, когда вы его видели?

— Он шел вдоль цветника (из ваших окон их можно видеть) по направлению к теплице.

Анри молчал. Сердце его сильно билось. Эти подробности, как будто бы незначительные, были полны для него огромного интереса.

Стемнело. Оба молодых человека, не зажигая огня, беседовали в комнате Жуаеза.

Усталый от дороги, граф повалился на кровать брата и устремил взгляд в темно-синее небо, где алмазной россыпью сверкали звезды.

Юный лейтенант сидел на подоконнике в состоянии душевного покоя, которое навевает на человека благоуханная вечерняя прохлада.

Глубокая тишина спустилась на парк и на город. Две-

ри домов закрылись; то тут, то там загорался свет; где-то вдалеке собаки лаяли на слуг, запиравших на ночь конюшни.

Внезапно лейтенант привстал, высунулся из окна и тихим, отрывистым голосом позвал графа.

— Что такое? — спросил Анри, внезапно пробудившись от сладостного полусна.

— Тот человек!

— Какой?

— Человек в шерстяном плаще, шпион.

— О! — воскликнул Анри и одним прыжком очутился у окна.

— Вот видите! — продолжал лейтенант.— Он идет вдоль изгороди. Подождите, сейчас опять появится... Смотрите туда, на место, освещенное луной, вот он!

— Да.

— Он несомненно идет в теплицу к своему товарищу. Слышите?

— Что?

— Звук ключа в замке.

— Странно,— сказал дю Бушаж,— во всем этом нет ничего необычного, и однако же...

— Однако дрожь пробирает, верно?

— Да,— сказал граф.— А это что такое?

Послышался звон, напоминавший звон колокола.

— Это сигнал к ужину для свиты герцога. Идемте ужинать, граф.

— Нет, спасибо, его высочество приказал, чтобы ужин мне принесли сюда. Но вы ступайте, не задерживайтесь из-за меня.

— Спасибо, граф, спокойной ночи.

И он распрощался с дю Бушажем.

Едва только лейтенант вышел, как Анри устремился в сад.

— Это Реми! Реми! — шептал он.— Я узнал бы его во мраке преисподней!

И молодой человек, чувствуя, что колени у него дрожат, прижал ладони к своему горячему лбу.

«Боже мой,— думал он,— может быть, это просто галлюцинация? Может быть, мне суждено во сне и наяву, днем и ночью видеть эти два образа, бросивших мрачную тень на всю мою жизнь? Но в сущности,— продолжал он, чувствуя потребность успокоить себя,— зачем бы Реми

приехал сюда, в замок герцога Анжуйского? Что ему тут делать? И, наконец, почему он покинул Диану, с которой никогда не расставался? Нет, это не он!»

Но в следующий же миг внутренняя убежденность, глубокая, инстинктивная, возобладала над сомнением:

— Это он! Это он! — в отчаянии прошептал Анри, прислонившись к стене, чтобы не упасть.

Не успел он выразить в словах эту властную, неодолимую мысль, как снова раздался лязгающий звук повернутого ключа.

Невыразимый трепет пробежал по телу юноши. Он снова прислушался.

Вокруг него было так тихо, что он различал удары собственного сердца.

Прошло несколько минут; никто не появлялся.

Вдруг он услышал, как от чьих-то шагов заскрипел песок.

На черном фоне буковой рощи выступили какие-то тени, еще более темные.

— Он возвращается,— прошептал Анри,— но один ли?

Тени направлялись в ту сторону, где луна серебрила просвет между деревьями.

На этот раз Анри ясно различил две тени: ошибки быть не могло.

Они двигались очень быстро. Первая была в шерстяном плаще, и графу опять показалось, что он увидел Реми.

Вторую фигуру, тоже закутанную в мужской плащ, распознать было невозможно.

И однако, Анри чутьем угадал то, что не мог видеть.

У него вырвался скорбный вопль, и как только обе таинственные тени исчезли за буками, он поспешил за ними, перебегая от дерева к дереву.

— О господи,— шептал он,— не ошибаюсь ли я? Возможно ли это?

XXIV. Уверенность

Дорога вела вдоль буковой рощи к высокой изгороди из терновника и шеренге тополей, отделявших павильон герцога Анжуйского от остальной части парка. В этом

уединенном уголке были красивые пруды, извилистые тропинки, вековые деревья — их пышные кроны луна заливала потоками света, в то время как внизу сгущался непроницаемый мрак.

Приближаясь к изгороди, Анри чувствовал, что у него перехватывает дыхание.

И правда: столь дерзко нарушить распоряжение герцога означало действовать подобно низкому соглядатаю или ревнивцу, а не как следует верному и честному слуге короля.

Но вот неизвестный, открывая калитку в изгороди, которая отделяла большой парк от малого, сделал движение, и его лицо открылось: это был действительно Реми. Граф отбросил всякую щепетильность и решительно двинулся вперед.

Калитка захлопнулась. Анри перескочил через изгородь и снова пошел следом за таинственными посетителями.

Они явно торопились.

Но теперь у Анри появилась новая причина для страха. Услышав, как под ногами Реми и его спутника заскрипел песок, герцог вышел из павильона. Анри спрятался за самым толстым деревом и стал ждать.

Увидел он не много. Реми отвесил низкий поклон, его спутник, вместо того чтобы поклониться, сделал реверанс, а герцог любезно предложил этой закутанной фигуре руку, словно имел дело с женщиной.

Затем все трое направились к павильону, и двери за ними затворились.

«Надо с этим покончить,— решил Анри,— отыщу удобное место, откуда я стану наблюдать, не будучи замеченным».

Он выбрал группу деревьев с фонтаном посередине. Это было надежное убежище: не ночью же, во мраке, холодном и сыром, станет пробираться сюда герцог.

Спрятавшись за статую, высившуюся над фонтаном, Анри мог видеть все, что происходило в павильоне, ибо как раз перед ним находилось большое окно.

В комнате стоял роскошно накрытый стол, уставленный драгоценными винами в графинах венецианского хрусталя.

У стола стояло только два кресла.

Герцог отпустил руку спутника Реми и, пододвинув

для него кресло, сказал что-то, видимо предлагая снять плащ, весьма удобный для хождения по ночам, но совершенно неуместный за ужином.

Тогда особа, к которой обращался герцог, сбросила плащ, и свечи ярко озарили бледное, величественно-прекрасное лицо женщины, которую сразу же узнал Анри.

Это была дама из таинственного дома на улице Августинцев, фландрская путешественница,— словом, та самая Диана, чей взгляд разил насмерть, как удар кинжала.

На этот раз она была в платье из парчи; бриллианты сверкали у нее на шее, в прическе и на запястьях.

От этих украшений еще заметнее была бледность ее лица. В глазах сверкало такое пламя, что можно было подумать, будто герцог, употребив какой-то магический прием, вызвал к себе не живую женщину, а призрак.

Если бы статуя, которую обхватил Анри, не служила ему опорой, он упал бы в бассейн фонтана.

Герцог был, видимо, опьянен радостью. Он пожирал глазами красавицу, сидевшую против него и едва прикасавшуюся к поставленным перед нею яствам. По временам Франциск целовал руку своей бледной и молчаливой сотрапезницы. Она же принимала эти поцелуи так бесчувственно, словно рука ее была изваяна из алебастра, с которым могла сравниться по белизне и прозрачности.

Анри то вздрагивал, то вытирал ледяной пот на лбу, недоумевая, жива Диана или мертва.

Реми один прислуживал за столом, так как герцог удалил всю челядь. Иногда, проходя за стулом своей госпожи, он слегка касался ее локтем, видимо для того, чтобы напомнить, где и для чего она находится.

Лицо молодой женщины мгновенно заливала краска, в глазах вспыхивала молния, на губах появлялась улыбка.

Затем она снова застывала в неподвижности.

Герцог тем временем придвинулся к ней, стараясь пламенными речами оживить даму своего сердца.

Диана, которая время от времени поглядывала на роскошные стенные часы, видимо, сделала над собой усилие и, улыбаясь, стала оживленно поддерживать разговор.

Анри в своем укрытии ломал руки и проклинал все на свете, начиная от женщин, созданных господом богом, и кончая самим господом богом.

Ему казалось чудовищным, возмутительным, что эта столь чистая и строгая женщина поступает так пошло, принимая ухаживания герцога лишь потому, что он герцог и принц крови.

Анри провел время ужина, столь сладостное для герцога Анжуйского, терзаясь ревностью и презрением.

Диана позвонила. Франциск, разгоряченный вином и своими страстными речами, встал из-за стола и подошел к Диане, чтобы поцеловать ее.

У Анри кровь застыла в жилах. Он схватился за грудь, ища кинжал.

На устах Дианы заиграла странная улыбка, которой, наверно, не бывало дотоле ни на одном человеческом лице.

— Монсеньер,— сказала она,— позвольте мне, прежде чем я встану из-за стола, разделить с вашим высочеством персик, который мне так приглянулся.

С этими словами она протянула руку к золотой филигранной корзинке, где лежало штук двадцать великолепных персиков, и взяла один из них.

Затем, отцепив от пояса прелестный ножичек с серебряным лезвием и малахитовой рукояткой, она разрезала персик и предложила одну половину герцогу. Он схватил персик и жадно поднес его к губам. Но в тот момент, когда он вонзил зубы в персик, глаза его словно заволокло туманом.

Диана смотрела на герцога ясным взором, с улыбкой, застывшей на губах.

Реми прислонился к резному деревянному пилястру и тоже смотрел, мрачный, безмолвный.

Герцог поднес руку ко лбу, отер капли пота и проглотил откушенный кусочек персика.

Этот пот, по-видимому, был признаком внезапного недомогания, ибо герцог уронил остаток персика на тарелку и, с усилием поднявшись с места, видимо, предложил своей прекрасной сотрапезнице выйти с ним в сад и подышать свежим воздухом. Диана встала и оперлась на руку герцога. Реми проводил их взглядом, особенно пристально посмотрел он на Франциска, несколько оправившегося на свежем воздухе.

Герцог и Диана подошли совсем близко к месту, где прятался Анри. Франциск пылко прижимал к сердцу руку молодой женщины.

— Мне стало лучше,— сказал он,— но в голове какая-то тяжесть. Я слишком сильно полюбил вас, сударыня.

Диана сорвала несколько веточек жасмина и две прелестные розы из тех, что покрывали ковром цоколь статуи, за которой притаился испуганный Анри.

— Что это вы делаете, сударыня? — спросил герцог.

— Я слышала, монсеньер,— ответила она,— что запах цветов лучшее лекарство при головокружении.

Составляя букет, Диана уронила одну розу, и принц учтиво наклонился, чтобы поднять ее.

Воспользовавшись этим, Диана обрызгала другую розу какой-то жидкостью из золотого флакончика, который она вынула из-за корсажа.

Потом она приняла розу из рук герцога и прикрепила ее к поясу.

— Эту розу возьму я. Обменяемся.

И она протянула ему букет.

Франциск с наслаждением вдохнул аромат цветов и обнял Диану за талию. Но это прикосновение, по всей видимости, вызвало у него такое смятение чувств, что он принужден был сесть на стоявшую тут же скамью.

Анри не терял их обоих из виду, что не мешало ему время от времени бросать взгляд в сторону Реми, который, оставшись в павильоне, с напряженным вниманием следил за происходящим, стараясь ничего не упустить.

Чувствуя, что герцог теряет силы, Диана села рядом с ним на скамью.

Приступ дурноты продолжался у Франциска дольше, чем в первый раз. Голова его поникла, он, видимо, потерял сознание.

Наконец он медленно приподнялся и сделал усилие, чтобы поцеловать свою прекрасную гостью. Но молодая женщина, словно не заметив этого движения, встала.

— Вы плохо себя чувствуете, монсеньер? Лучше возвратимся.

— Да, да, возвратимся! — вскричал принц.— Благодарю вас!

Шатаясь, он встал. Теперь уже он опирался на руку Дианы. Франциск прижал губы к шее молодой женщины.

Та вздрогнула всем телом, словно от прикосновения раскаленного железа.

— Реми, подайте подсвечник! — крикнула она.— Подсвечник!

Реми тотчас вошел в столовую и, поспешно вернувшись с зажженной свечой в руке, подал ее Диане.

— Куда угодно направиться вашему высочеству? — спросила она.

— В спальню! Вы поможете мне дойти, не правда ли, сударыня? — спросил герцог.

— С удовольствием, монсеньер,— ответила Диана.

Идя рядом с герцогом, она высоко подняла подсвечник.

Реми отправился в глубину павильона и открыл там окно, куда воздух ворвался с такой силой, что свеча в руках Дианы, словно вспыхнув гневом, бросила пламя и дым прямо в лицо Франциску, стоявшему на самом сквозняке.

Влюбленные — как полагал Анри — прошли по галерее в покои герцога и исчезли за узорчатой портьерой.

Анри созерцал эту сцену в бешенстве, почти теряя сознание.

Когда он вышел из своего укрытия, руки его беспомощно висели вдоль тела, невидящий взгляд устремлен был в одну точку.

Но в тот же миг портьера, за которой только что исчезли Диана и герцог, приподнялась, и молодая женщина вбежала в столовую и увлекла за собой Реми, который, видимо, поджидал ее.

— Идем!..— сказала она.— Идем, все кончено!..

И оба словно безумные устремились в сад.

Но Анри при виде их обрел все свои силы. Он бросился им навстречу, и внезапно они наткнулись на него посреди аллеи: он стоял скрестив руки, в молчании, более устрашающем, чем любые угрозы.

И действительно, Анри дошел до такого исступления, что готов был убить всякого, кто стал бы утверждать, будто женщины не чудовища, созданные адскими силами для того, чтобы осквернять мир.

Он схватил Диану за руку, несмотря на вырвавшийся у нее крик ужаса, несмотря на то, что Реми приставил к груди его кинжал.

— О, вы меня, верно, не узнаёте! — промолвил он.— Я тот наивный юноша, который любил вас и которому вы отказались подарить свою любовь, уверяя, что для вас

нет будущего. А, прекрасная лицемерка, и ты, подлый обманщик, наконец-то я узнал вас, будьте вы прокляты! Одной я говорю: презираю тебя, другому — ты мне омерзителен!

— Дорогу! — крикнул Реми, с трудом переводя дух.— Дорогу, безумный мальчишка, не то...

— Хорошо,— ответил Анри,— докончи свое дело, умертви мое тело, негодяй, раз ты убил мою душу!

— Молчи! — яростно прошептал Реми, намереваясь вонзить в него клинок.

Но Диана с силой оттолкнула Реми и, схватив за руку дю Бушажа, притянула его к себе.

Диана была мертвенно-бледна. Ее прекрасные волосы, разметавшись, упали на плечи, от прикосновения ее руки Анри ощутил холод, словно дотронулся до трупа.

— Сударь,— сказала она,— не судите дерзновенно о том, что известно одному богу!.. Я Диана де Меридор, и я любила господина де Бюсси, которого герцог Анжуйский дал подло убить, хотя мог его спасти. Неделю назад Реми заколол кинжалом Орильи, сообщника герцога, а что до самого герцога, я только что отравила его при помощи персика, букета и свечи... Дорогу, сударь, дорогу Диане де Меридор, которая направляется в монастырь!

Сказав это, она отпустила дю Бушажа и снова взяла под руку ожидавшего ее Реми.

Анри упал на колени и проводил глазами мрачные фигуры убийц, которые, подобно адскому видению, исчезли в чаще парка.

Лишь час спустя молодой человек, разбитый усталостью, подавленный ужасом, нашел в себе силы дотащиться до своей комнаты.

В замке все спали.

XXV. Судьба

На другой день, около девяти часов утра, солнце озарило золотым сиянием аллеи Шато-Тьерри.

На рассвете рабочие принялись за уборку парка и апартаментов, где должен был остановиться король.

В павильоне все было тихо, ибо накануне вечером герцог запретил обоим своим слугам будить его. Им надлежало ждать, когда он позовет.

Около половины десятого в город примчались два верховых курьера с вестью о приближении его величества.

Эшевены и солдаты гарнизона во главе с губернатором выстроились вдоль дороги в ожидании королевского поезда.

В десять часов у подножия холма показался король. На последней остановке он пересел из кареты в седло: отличный наездник, он пользовался любым случаем погарцевать на коне, особенно когда вступал в какой-нибудь город.

Королева-мать следовала за Генрихом в крытых носилках. За ними на отличных конях ехали пятьдесят пышно одетых дворян.

Рота гвардейцев под командой самого Крильона, сто двадцать швейцарцев, столько же шотландцев и вся королевская свита с мулами, сундуками и лакеями образовали целую армию, поднимавшуюся по извилистой дороге на вершину холма.

Наконец шествие вступило в город под звон колоколов, гром пушек и звуки всевозможных музыкальных инструментов.

Жители города горячо приветствовали короля: он появлялся среди подданных так редко, что еще сохранял ореол божественности.

Проезжая сквозь толпу, король тщетно искал глазами брата. У решетки замка он увидел лишь Анри дю Бушажа.

Войдя в замок, Генрих III осведомился о здоровье герцога Анжуйского у дежурного офицера.

— Государь,— ответил тот,— его светлость уже несколько дней изволит жить в парковом павильоне, и сегодня утром мы еще не видели монсеньера.

— Этот павильон, видно, очень уединенное место,— недовольно сказал Генрих,— раз оттуда не слышно пушечных выстрелов.

— Ваше величество,— осмелился сказать один из старых слуг герцога,— может быть, монсеньер не ожидал вас так рано?

— Старый болван! — проворчал Генрих.— Монсеньер Анжуйский еще вчера знал о моем визите.

И Генрих, которому хотелось прослыть кротким и добрым, вскричал:

— Раз он не встречает нас, мы сами пойдем ему навстречу!

Вся процессия направилась к павильону.

Когда головной отряд гвардейцев подходил к буковой аллее, откуда-то донесся душераздирающий вопль.

— Что это? — спросил король, оборачиваясь к матери.

— Боже мой,— прошептала Екатерина, стараясь найти разгадку на лицах окружающих,— это вопль отчаяния...

— Мой повелитель! Мой бедный герцог! — кричал второй слуга Франциска — он стоял в окне павильона, являя признаки жесточайшего отчаяния.

Все устремились к павильону; короля увлек общий людской поток.

Он вошел как раз в ту минуту, когда поднимали герцога Анжуйского, которого камердинер нашел лежащим в спальне на ковре.

Герцог не подавал никаких признаков жизни: у него только странно дергались веки да судорожно сводило губы.

Король остановился у порога.

— Какое плохое предзнаменование! — прошептал он.

— Удалитесь, сын мой,— сказала Екатерина,— прошу вас.

— Бедный Франциск! — произнес Генрих, очень довольный, что его попросили уйти и тем самым избавили от зрелища этой агонии.

За королем последовали и все придворные, кроме двух старых слуг герцога.

— Странно, странно! — прошептала Екатерина, став на колени перед сыном.

И пока по всему городу разыскивали лекаря герцога и отправляли курьера за помощью в Париж, королева-мать пыталась установить причину странной болезни, от которой погибал Франциск Анжуйский.

На этот счет у флорентинки имелся богатый опыт. Прежде всего она хладнокровно допросила обоих слуг, которые в отчаянии рвали на себе волосы.

Оба ответили, что накануне герцог вернулся в павильон поздно вечером; он велел, чтобы никто к нему без вызова не приходил, и решительно запретил будить его утром.

— Он, наверно, ждал кого-нибудь к ужину? — спросила королева-мать.

— Мы тоже так думали, государыня,— смиренно ответили слуги.

— Однако, убирая со стола, вы же видели, ужинал мой сын в одиночестве или нет?

— Мы еще не убирали, государыня.

— Хорошо,— сказала Екатерина,— можете идти.

И она осталась одна.

Не трогая герцога, распростертого на кровати, куда его положили, она занялась обстоятельным исследованием каждого признака, который мог бы подтвердить ее страшные подозрения.

Она заметила, что кожа на лбу Франциска приняла коричневый оттенок, глаза налились кровью, на губах появилось странное изъязвление, словно от ожога серой.

— Посмотрим,— пробормотала она, оглядываясь по сторонам.

Первое, что она увидела, был подсвечник, где полностью догорела свеча.

«Свеча горела долго,— подумала королева,— значит, Франциск долго пробыл в этой комнате. А на ковре какой-то букет...»

Екатерина поспешно схватила его и заметила, что все цветы еще свежие, кроме одной розы, почерневшей и высохшей.

— Что это? — пробормотала она.— Чем были облиты лепестки розы?.. Я знаю одну жидкость, от которой сразу вянут цветы.

И, вздрогнув, она отшвырнула букет.

Екатерина бросилась в столовую. Лакеи не обманули ее: никто не дотрагивался до сервировки, после того как здесь кончили ужинать.

Королева обратила внимание на половину персика, лежавшего на краю стола.

Персик потемнел так же, как и роза.

«Отсюда и язвы на губах,— подумала она.— Но Франциск откусил только маленький кусочек. Он не долго держал в руке букет — цветы еще свежие. Яд не мог глубоко проникнуть. Но откуда же полный паралич и

явственные следы разложения? Наверно, я не все заметила».

И, мысленно произнося эти слова, Екатерина увидела красно-синего попугая Франциска.

Птица была мертва.

Екатерина снова устремила тревожный взгляд на подсвечник.

«Дым! — догадалась она.— Дым! Фитиль был отравлен. Сын мой погиб!»

Королева тотчас же позвала. Комната наполнилась слугами и офицерами.

— Лекаря! — говорили одни.

— Священника! — говорили другие.

Тем временем Екатерина поднесла к губам Франциска один из флаконов, которые всегда имела при себе, и устремила взгляд на лицо сына, чтобы судить, насколько действенным оказалось противоядие. Герцог приоткрыл глаза и рот, но взгляд его уже потух, с губ не слетело ни единого звука.

Екатерина, мрачная и безмолвная, вышла из комнаты, сделав обоим слугам знак следовать за нею.

Она отвела их в другой павильон и села, не спуская с них глаз.

— Монсеньер герцог Анжуйский был отравлен во время ужина. Вы подавали ужин?

При этих словах смертельная бледность покрыла лица обоих стариков.

— Пусть лучше нас пытают, убьют, но не обвиняют в этом!

— Болваны, я знаю, что не вы умертвили вашего господина. Его убили другие, и я должна разыскать убийц. Кто заходил в павильон?

— Какой-то бедно одетый старик; монсеньер принимал его у себя за последние два дня.

— А... женщина?

— Мы ее не видели... О какой женщине изволит говорить ваше величество?

— Здесь была женщина, это она сделала букет...

Слуги переглянулись так простодушно, что с одного взгляда Екатерина признала их невиновность.

— Привести ко мне губернатора города и коменданта замка!

Оба лакея бросились к дверям.

— Постойте! — сказала Екатерина, и они тотчас же замерли как вкопанные.— То, что я вам сказала, знаете только я и вы. Если кто-нибудь другой узнает об этом, то лишь от вас. В тот же день вы оба умрете. Теперь ступайте.

Губернатора и коменданта Екатерина расспросила не столь откровенно. Она сказала им, что двое неизвестных принесли герцогу плохую новость, которая и послужила причиной его болезни, и что следовало бы найти их и расспросить.

Губернатор и комендант велели обыскать город, парк, окрестности — все оказалось тщетным.

Лишь Анри знал тайну, но можно было не опасаться, что он ее откроет.

Злосчастный герцог до сих пор не издал ни звука, не пришел в себя.

Король, больше всего на свете страшившийся тягостных впечатлений, охотно вернулся бы в Париж. Но королева-мать воспротивилась его отъезду, и двор принужден был остаться в замке.

Появилась целая толпа врачей. Придворный лекарь Мирон один разгадал причину болезни и понял, насколько тяжело положение герцога. Но он был слишком опытным царедворцем, чтобы открыть правду, особенно после того, как взглянул на Екатерину и встретил ее ответный взгляд.

Генрих III попросил его дать определенный ответ на вопрос: останется ли герцог жить?

— Я скажу это вашему величеству через три дня.

— А что вы мне скажете? — понизив голос, спросила Екатерина.

— Вам я отвечу без колебаний, государыня.

— Что же именно?

— Прошу ваше величество задать мне вопрос.

— Когда сын мой умрет, Мирон?

— Завтра к вечеру, сударыня.

— Так скоро!

— Государыня,— прошептал врач,— доза была уж очень велика.

Екатерина приложила палец к губам, взглянула на умирающего и тихо произнесла зловещее слово:

— Судьба!

XXVI. Госпитальерки

Граф дю Бушаж провел ужасную ночь, он был в бреду, на грани смерти.

Однако, верный своему долгу, он встретил короля у решетки замка, как мы уже говорили. Но после того как Анри почтительно приветствовал своего повелителя, склонился перед королевой-матерью и пожал руку адмиралу, он снова заперся у себя в комнате, чтобы привести в исполнение свое намерение, от которого теперь ничто не могло его отвратить.

Часов в одиннадцать, когда распространилась весть о том, что герцог Анжуйский при смерти, Анри постучался к брату, который ушел к себе отдохнуть с дороги.

— А, это ты?..— спросил полусонный Жуаез.— В чем дело?

— Я пришел проститься с тобой, брат,— ответил Анри.

— Как так проститься? Ты уезжаешь?

— Да, уезжаю, брат; полагаю, что теперь меня здесь ничто не удерживает.

— Ты ошибаешься, Анри,— возразил главный адмирал.— Я не разрешаю тебе уезжать.

— В таком случае, Анн, я в первый раз в жизни не подчинюсь твоему приказу, ибо ничто уже не заставит меня отказаться от пострижения.

— А разрешение, которое должно прийти из Рима?

— Я буду дожидаться его в монастыре.

— Ну, так ты действительно обезумел! — вскричал Жуаез.

— Напротив, брат мой, я мудрее всех вас, ибо один я знаю, что делаю.

— Анри, ты обещал подождать месяц.

— Невозможно, брат.

— Ну хоть неделю.

— Ни единого часа.

— Видно, ты ужасно страдаешь, бедный мой мальчик.

— Нет, так как ясно вижу, что болезнь моя неизлечима.

— Но, друг мой, не каменное же сердце у этой женщины. Ее можно разжалобить, я сам займусь этим.

— Невозможно, Анн. К тому же я теперь сам отказываюсь от ее любви.

— Но это же просто сумасшествие, черт побери!

— Между мной и этой женщиной не может быть ничего общего! — вскричал Анри, и в голосе его послышался ужас.

— Что это значит? — спросил изумленный Жуаез.— И кто она, эта женщина? Скажи мне, наконец, Анри. Ведь прежде у нас не было секретов друг от друга.

— Брат,— сказал он,— эта женщина не может быть моей, она теперь принадлежит богу.

— Какой вздор, граф! Она тебе солгала.

— Нет, брат, она не солгала. Но не будем больше говорить о ней, отнесемся с уважением к тому, кто посвящает себя богу.

Анн сумел овладеть собой и не показал Анри, как он обрадован этой новостью.

— Это для меня неожиданность, ничего подобного ты до сих пор не говорил,— молвил он.

— Да, ибо она лишь недавно постриглась. Поэтому не удерживай меня больше, брат. Дай мне поблагодарить тебя за доброту, за терпение, за безграничную любовь к несчастному безумцу... и прощай!

Жуаез посмотрел брату в лицо, надеясь тронуть его и заставить переменить решение.

Но Анри остался непоколебим и ответил лишь своей неизменной грустной улыбкой.

Поцеловав брата на прощание, Жуаез пошел к королю, который завтракал в постели в присутствии Шико.

— Здравствуй, здравствуй! — сказал Генрих Жуаезу.— Очень рад тебя видеть, Анн. Я боялся, что ты проваляешься весь день, лентяй. Как здоровье моего брата?

— Увы, государь, этого я не знаю. Я пришел поговорить о своем брате.

— Котором?

— Об Анри.

— Он все еще хочет стать монахом?

— Да, государь.

— Он прав, сын мой.

— Почему, государь?

— Да это самый верный путь в рай.

— Еще вернее тот путь, который избрал твой брат,— заметил королю Шико.

— Разрешит ли мне ваше величество задать один вопрос?

— Хоть двадцать, Жуаез. Я ужасно скучаю в Шато-Тьерри, и твои вопросы меня развлекут.

— Скажите, пожалуйста, государь, кто такие госпитальерки?

— Это небольшая община, весьма замкнутая; она состоит из двадцати дам-канонисс ордена Святого Иосифа.

— Не будет ли нескромным спросить, где находится эта община, государь?

— Конечно, нет. Она находится на улице Шеве-Сен-Ландри, в Сите, за монастырем Пресвятой богоматери.

— Благодарю вас, государь.

— Но почему, черт побери, ты спрашиваешь об этом? Разве твой брат хочет стать не монахом, а монахиней?

— Нет, государь, но я подозреваю, что одна из дам этой общины настроила его на этот лад, и хотел бы поговорить с ней.

— Разрази меня гром,— воскликнул король,— лет семь назад там была очень красивая настоятельница!

— Прошу вас, государь,— сказал Жуаез,— дайте мне письмо к настоятельнице общины и отпуск на два дня.

— Ты покидаешь меня? Оставляешь одного?

— Неблагодарный! — вмешался Шико, пожимая плечами.— А я-то? Ведь я здесь.

— Письмо, государь, прошу вас,— сказал Жуаез.

Король вздохнул, но письмо все же написал.

— Скажи, ведь тебе в Париже нечего делать? — спросил король, вручая Жуаезу письмо.

— Простите, государь, я должен наблюдать за братом.

— Правильно! Поезжай, но поскорее возвращайся.

Жуаез велел подать лошадей и, убедившись, что Анри уже уехал, галопом помчался в Париж, на улицу Шеве-Сен-Ландри.

Мрачный дом, за оградой которого можно было разглядеть макушки деревьев, забранные решеткой окна, узкую дверь с окошечком — вот каков был по внешнему виду монастырь госпитальерок.

Жуаез постучался.

— Будьте добры предупредить госпожу настоятельницу, что герцог Жуаез, главный адмирал Франции, хочет говорить с ней от имени короля.

Появившееся за решеткой лицо монахини покраснело, и решетка снова захлопнулась.

Минут через пять дверь отворилась, и Жуаез вошел в приемную.

Красивая, статная женщина низко склонилась перед ним. Адмирал отдал поклон как человек благочестивый и в то же время светский.

— Сударыня,— сказал он,— королю известно, что вы приняли в число своих питомиц одну особу, с которой я должен побеседовать. Соблаговолите вызвать ее.

— Как имя этой дамы, сударь?

— Не знаю, сударыня.

— Тогда как же я могу исполнить вашу просьбу?

— Нет ничего легче. Кого вы приняли за последний месяц?

— За последний месяц я никого не принимала, если не считать сегодняшнего утра.

— Сегодняшнего утра?

— Да, господин герцог; и вы сами понимаете, что ваше появление через два часа после того, как прибыла она, слишком похоже на преследование, чтобы я разрешила вам это свидание.

— Сударыня, прошу вас.

— Это невозможно... Для разговора здесь с кем-либо, кроме меня, надо предъявить письменный приказ короля.

— Вот он, сударыня,— ответил Жуаез, доставая письмо, подписанное Генрихом.

Настоятельница прочитала письмо и поклонилась.

— Да свершится воля его величества, даже если она противоречит воле божией.

И она направилась к выходу в монастырский двор.

— Сударыня,— сказал Жуаез, учтиво останавливая ее,— я не хочу злоупотреблять своим правом и опасаюсь ошибки. Может быть, эта дама не та, кого я ищу. Соблаговолите сказать мне, как она к вам прибыла, по какой причине и кто ее сопровождал.

— Это излишне, господин герцог,— ответила настоятельница,— вы не ошиблись. Дама, прибывшая лишь сегодня утром, хотя мы ожидали ее две недели назад, дей-

ствительно та особа, к которой у господина де Жуаеза может быть дело.

С этими словами настоятельница еще раз поклонилась герцогу и исчезла.

Через десять минут она возвратилась в сопровождении монахини, скрывшей свое лицо под покрывалом.

То была Диана, уже надевшая монашеское одеяние.

Герцог поблагодарил настоятельницу, пододвинул неизвестной даме табурет и тоже сел; настоятельница вышла, собственноручно закрыв все двери пустой и мрачной приемной.

— Сударыня,— сказал тогда Жуаез без всяких околичностей,— вы дама, жившая на улице Августинцев, таинственная незнакомка, которую мой брат, граф дю Бушаж, любит безумной, погибельной любовью?

Вместо ответа госпитальерка наклонила голову.

Это подчеркнутое нежелание говорить показалось Жуаезу оскорбительным. Он и без того был предубежден против своей собеседницы.

— Вы, наверно, считали, сударыня,— продолжал он,— что можно вызвать несчастную страсть в душе юноши, носящего наше имя, а затем сказать ему: «Тем хуже для вас, если у вас есть сердце,— у меня его нет, и мне оно не нужно».

— Я не так ответила ему, сударь, вы плохо осведомлены,— произнесла госпитальерка столь благородно и трогательно, что гнев Жуаеза временно утих.

— Слова не имеют значения, важна суть: вы, сударыня, оттолкнули моего брата, ввергли его в отчаяние.

— Невольно, сударь, ибо я всегда старалась отдалить от себя господина дю Бушажа.

— Это называется ухищрениями кокетства, сударыня, их последствия и составляют вину.

— Никто не имеет права обвинять меня, сударь. Я ни в чем не повинна. Вы раздражены против меня, и я больше не стану вам отвечать.

— Ого! — вскричал Жуаез, постепенно распаляясь.— Вы погубили моего брата и рассчитываете оправдаться, принимая величественный вид? Я не шучу, клянусь! Вам придется прибегнуть к веским доводам, чтобы смягчить меня.

Госпитальерка встала.

— Если вы явились сюда, чтобы оскорблять женщину,— сказала она все так же холодно,— оскорбляйте меня, сударь. Если вы желаете, чтобы я изменила свое решение, то попусту теряете время. Лучше уходите.

— Вы не человеческое существо,— вскричал выведенный из себя Жуаез,— вы демон!

— Достаточно, я ухожу.

И госпитальерка направилась к двери.

Жуаез остановил ее.

— Постойте! Я слишком долго искал вас, чтобы так просто отпустить. И раз мне удалось до вас добраться, я хочу увидеть ваше лицо, встретить пламя вашего взора, сводящего с ума людей. Померяемся силами, сатана!

И Жуаез, сотворив крестное знамение, сорвал покрывало с лица госпитальерки. Но она без малейшего упрека устремила свой ясный взгляд на того, кто так жестоко оскорбил ее, и сказала:

— О господин герцог, то, что вы сделали, недостойно дворянина!

Жуаезу показалось, что ему нанесен удар прямо в сердце. Безграничная кротость этой женщины смягчила его гнев, красота внесла смятение в душу.

— Да,— прошептал он после продолжительного молчания,— вы прекрасны, и Анри не мог не полюбить вас. Но бог даровал вам красоту лишь для того, чтобы вы радовали ею человека, который будет связан с вами на всю жизнь.

— Сударь, разве вы не говорили со своим братом? Или, может быть, он не счел нужным довериться вам? Иначе вы узнали бы, что я любила и больше не буду любить, что я жила, а теперь должна умереть.

Жуаез не сводил глаз с Дианы. Огонь ее всемогущего взгляда проник до глубины его души, подобный струям вулканического пламени, при одном приближении которых расплавляется бронза статуй.

— О да,— повторил он, понизив голос и не сводя с нее взгляда.— Анри должен был вас полюбить... О сударыня, на коленях молю вас: сжальтесь, полюбите моего брата!

Диана стояла по-прежнему холодная и молчаливая.

— Не допустите, чтобы из-за вас терзалась целая семья,— ведь один из нас погибнет от отчаяния, другие от горя.

Диана не отвечала, продолжая грустно смотреть на склонившегося перед нею человека.

— Сжальтесь над моим братом, надо мною самим! — вскричал Жуаез, яростно схватившись за грудь.— Я горю! Ваш взор испепелил меня!.. Прощайте, сударыня! Прощайте!

Он встал с колен и как безумный выбежал к своим слугам, ожидающим его на углу улицы Анфер.

XXVII. Его светлость герцог де Гиз

В воскресенье 10 июня, часов в одиннадцать утра, весь двор собрался в павильоне, где умирал герцог Анжуйский.

Ни искусство врачей, ни отчаяние его матери, ни молебны, заказанные королем, не в силах были предотвратить рокового исхода.

Рано утром 10 июня Мирон объявил королю, что болезнь неизлечима и что Франциск Анжуйский не проживет и дня.

Король сделал вид, что поражен величайшим горем, и, обернувшись к присутствующим, сказал:

— Теперь-то враги мои воспрянут духом.

На что королева-мать ответила:

— Судьбы наши в руках божиих, сын мой.

А Шико, скромно стоявший неподалеку от короля, тихо добавил:

— По мере наших сил следует помогать господу богу, государь...

В половине двенадцатого больной покрылся мертвенной бледностью. Кровотечение, ужасавшее присутствующих, внезапно прекратилось, конечности похолодели.

Генрих сидел у изголовья брата. Екатерина, примостившись между стеной и кроватью, держала ледяную руку умирающего.

Епископ города Шато-Тьерри и кардинал де Жуаез читали отходную. Все присутствующие, стоя на коленях и сложив руки, повторяли слова молитвы.

В полдень больной открыл глаза. Солнце выглянуло

из-за облака и залило кровать золотым сиянием. Франциск, чье сознание было дотоле затуманено, вдруг поднял руку, как человек, охваченный ужасом.

Потом он испустил громкий вопль и ударил себя по лбу, словно постиг одну из тайн своей жизни.

— Бюсси! — прошептал он.— Диана!

С этим именем на устах Франциск Анжуйский испустил последний вздох.

В тот же миг, по странному совпадению, солнце, заливавшее своими лучами герб французского дома, скрылось. И золотые геральдические лилии, ярко сиявшие минуту назад, поблекли и слились с лазурным фоном, по которому были рассыпаны.

Екатерина выпустила руку сына.

Генрих III вздрогнул и, трепеща, оперся на плечо Шико.

Мирон поднес к губам Франциска золотой дискос и сказал:

— Монсеньер скончался.

В ответ на эти слова из прилегающих комнат донесся многоголосый гул, словно аккомпанемент псалму, который вполголоса читал кардинал.

— Cedant iniquitates meae ad vocem deprecationis meae...[1]

— Скончался! — повторил король, осеняя себя крестом.— Брат мой, брат мой! У меня нет детей, нет наследника!.. Кто станет моим преемником?

Не успел он вымолвить это, как на лестнице раздался шум.

Намбю поспешил в комнату, где лежал покойный, и доложил:

— Его светлость монсеньер герцог де Гиз.

Пораженный этим ответом на заданный им вопрос, король побледнел и взглянул на мать.

Екатерина была бледнее сына. Услышав это роковое предсказание, она схватила руку короля и сжала ее, словно говоря:

«Вот она, опасность... Но не бойтесь, я с вами!»

Появился герцог в сопровождении свиты. Он вошел с высоко поднятой головой, хотя глаза его не без смущения искали короля.

---

[1] Да отступят беззакония мои по гласу моления моего... *(лат.)*

Генрих III властным движением руки указал ему на кровать, где покоились царственные останки.

Герцог склонил голову и медленно опустился на колени.

Все окружающие последовали его примеру.

Лишь Генрих III с матерью продолжали стоять, и во взгляде короля промелькнуло выражение гордости.

Шико заметил этот взгляд и шепотом прочитал другой стих из Псалмов:

— Dijiciet potentes de sede et exaetabit humiles[1].

[1] Низведет с престола сильных и вознесет смиренных *(лат.)*.



АЛЕКСАНДР ДЮМА

(1802—1870)

I

Вилле-Котре, маленький городок близ Парижа Здесь 24 июля 1802 года в семье генерала Тома-Александра Дюма и Марии-Луизы Лабурэ родился сын Александр.

Юные годы Александр провел в родном городе; окончив коллеж, он в 1823 году направился в Париж. Первое время Дюма был принужден жить на скудные средства При содействии друзей ему удается получить должность секретаря в канцелярии герцога Орлеанского. Но уже в молодые годы он увлекся поэзией и театром и в 1829 году написал первую романтическую драму «Генрих III и его двор», поставленную на сцене театра Французской комедии.

«Генрих III» — национально-историческая драма, где автор смело развенчивает культ монархической власти. Громадный успех «Генриха III» открывает путь романтической драме на французской сцене. В том же году зрители увидели «Отелло» Шекспира в переводе Виньи, а Виктор Гюго представил театру «Марьон Делорм». В дальнейшем репертуар французских театров на многие годы обогащается за счет таких выдающихся пьес Дюма, как «Антони» (1831), «Нельская башня» (1832), «Кин, или Гений и беспутство» (1836).

II

В июле 1830 года во Франции произошла революция, свергнувшая Карла X. Над феодально-монархической реакцией восторжествовала великая сила народных масс, но к власти все же пришла буржуазия. На престол вступил герцог Орлеанский под именем Луи-Филиппа.

Александр Дюма был среди тех, кто штурмовал королевскую резиденцию — дворец Тюильри. С первых же дней революции он принял деятельное участие в общественной жизни и выполнил несколько важных поручений генерала Лафайета, стоявшего тогда во главе национальной гвардии.

В дальнеишем Дюма всецело посвящает себя литературно-публицистической деятельности, пишет драмы и комедии, исторические очерки, критические статьи; вместе с тем он проявляет живой интерес к народно-революционному движению Франции.

С установлением Июльской монархии ухудшилось положение рабочих, крестьян, ремесленников; в 30-х годах в столице и провинции часто происходили восстания, массовые манифестации.

В тридцатых годах у Дюма возник замысел воспроизвести историю Франции XV—XIX веков в обширном цикле повествований, начало которому было положено романом «Изабелла Баварская» (1835).

Рассказывая о феодальной междоусобице герцогов Бургундских, автор акцентировал внимание читателя на историческом факте — стремлении Англии захватить французские земли и распространить на них свое господство. Таков смысл романизированного эпизода из истории Франции XV века, когда в 1420 году жена безумного короля

Карла VI Изабелла Баварская и герцог Бургундский заключили договор с англичанами в Труа, предоставлявший английскому королю право занять французский престол после смерти Карла VI.

III

Годы 1840—1848 — период наиболее интенсивного труда писателя, когда им были созданы произведения, ставшие известными во многих странах мира. Поражает разнообразие жанров: роман исторический и нравоописательный, новеллы фантастические и реалистические, драмы и комедии, путевые очерки и газетные статьи.

Среди сочинений Дюма большой интерес представляют «Записки учителя фехтования, или Восемнадцать месяцев в Санкт-Петербурге» (1840) — роман, посвященный восстанию декабристов и одному из его участников И. А. Анненкову.

Писатель был знаком с преподавателем фехтования О. Гризье, служившим в Пажеском корпусе. Гризье давал также частные уроки фехтования, которые посещал А. С. Пушкин. Именно Гризье рассказал писателю о трагической судьбе декабристов, о преданности русских женщин своим мужьям, сосланным в Сибирь. К тому же Дюма почерпнул многие сведения из мемуаров О. Гризье, опубликованных в 1838 году.

Хотя в романе и было допущено вольное истолкование некоторых фактов, он был проникнут глубоким чувством сострадания к жертвам царского произвола. «Записки учителя фехтования», запрещенные к публикации царской цензурой, впервые были изданы на русском языке лишь в 1925 году.

Хотя историческая тематика в творчестве Дюма преобладающая, одно из самых прославленных его произведений — роман об эпохе, современником которой он был,— роман «Граф Монте-Кристо» (1844). Некоторые мотивы книги были извлечены автором из «Мемуаров» архивариуса парижской полиции Жака Пеше, где сообщалось о случае, происшедшем в жизни молодого сапожника Франсуа Пико.

Из полицейской хроники автор заимствовал лишь ряд фактов: Эдмон Дантес, как и Франсуа Пико, накануне свадьбы с любимой девушкой арестован и препровожден в тюрьму. В «Мемуарах» Пеше невеста Пико выходит замуж за Лупиана. В «Графе Монте-Кристо» Фернан женится на Мерседес, невесте Дантеса. Представитель правосудия — Вильфор напоминает того комиссара полиции, который слепо поверил ложному доносу и арестовал Пико. Аббат Фариа имел своего прототипа в лице миланского прелата, оставившего наследство Франсуа Пико.

«Граф Монте-Кристо» — классический образец жанра романа-фельетона. Каждая глава включает в себя напряженный момент из жизни того или иного персонажа, перекидывает мост к следующей ступени увлекательного сюжета, раскрывает новые грани характера героев.

IV

Работая над «Графом Монте-Кристо», Дюма одновременно начал публиковать роман «Три мушкетера» (1844), первую часть знаменитой трилогии, в которую вошли романы «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя».

Для того чтобы воссоздать масштабную картину политических интриг, народных движений, семейных нравов, для того чтобы показать фигуры исторических персонажей — кардинала Ришелье, Людовика XIII, герцога Бекингема, Анны Австрийской, Александру Дюма потребовалось на протяжении пяти лет затратить немало усилий, когда создавалась грандиозная трилогия. Один лишь перечень книг, прочитанных автором для этой цели, «составил целую главу». Нужно было обладать редчайшим мастерством, изумительной фантазией, чтобы воскресить весь драматизм жизни XVII столетия, наделить героев реальными человеческими страстями.

Повествование сосредоточено на поступках бесстрашных мушкетеров. Холодному высокомерию вельмож в «Трех мушкетерах» противопоставлены великодушие и доблестная отвага героев, в сознании которых лишь изредка проскальзывает догадка о том, что им достается ничтожная доля благ.

Три мушкетера и д'Артаньян совершают свои подвиги в атмосфере оптимизма, человеческой радости и бодрости духа. Этот оптимизм — естественный удел тех, кто храбр и великодушен, кто ценит дружбу, кто готов спокойно отвернуться от груды бесчестно приобретенного золота.

Вторая часть трилогии — «Двадцать лет спустя» — не уступает «Трем мушкетерам» как образцовый роман авантюрного жанра с увлекательной, стремительно и вместе с тем логично развивающейся интригой. Притом он значительно историчнее первой части трилогии, ибо здесь Дюма вынужден был уделять гораздо больше внимания историческим событиям — Фронде во Франции и гражданской войне в Англии.

Тема бескорыстия и благородства четырех героев во второй части трилогии своеобразно углублена. Активнейшие участники событий, они внутренне как бы стоят над событиями, ибо каковы бы ни были их личные цели, симпатии и антипатии, они всегда действуют по нормам некоей «общечеловеческой» этики. Так, д'Артаньян в конечном счете увлечен благородными побуждениями, если они даже в конфликте с его личным интересом. Изобразив в лице Атоса убежденного феодала и монархиста, Дюма подчеркивает в нем идеализм, рыцарственность как начало, очищающее этику Атоса от элементов классового эгоизма. Человеческое начало есть то, что обеспечивает героям Дюма симпатии и сочувствие читателя и их нравственную и фактическую победу над Кромвелем, Мазарини и Анной Австрийской. При всем том и «Двадцать лет спустя» — роман по преимуществу приключенческий и психологический, поскольку психология здесь подчинена политической интриге. В этом романе благополучно завершаются все похождения, все приключения, все героические подвиги четырех великодушных, смелых и беззаветно верных друг другу героев.

Последняя часть трилогии — «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» — во многом отличается от двух первых. И дело не только в том, что она менее удалась автору как авантюрный роман, как художественное произведение. Главное здесь то, что судьбы героев приходят к печальной развязке, и уже поэтому из романа исчезает атмосфера боевого задора, героического энтузиазма, непринужденной веселости — все то, что так пленяет в прославленных «Трех мушкетерах». Действие «Виконта де Бражелона» разыгрывается в первые годы царствования Людовика XIV, когда абсолютистский режим предстает окрепшим,

установленным по всем правилам и нормам классического единодержавного государства. Героическая активность д'Артаньяна, трех друзей, их победы над Ришелье, Мазарини, Анной Австрийской и связанный с этими победами оптимизм были возможны в эпоху, когда еще не определилось торжество абсолютистского государства, когда не существовало вполне четких, застывших форм жизни, когда было «кипение сил» и шла борьба.

V

Накануне революции 1848 года Дюма обращается к эпохе, которой он уделил исключительное внимание в своем творчестве,— к XVI веку, и пишет вторую трилогию, посвященную борьбе Генриха Наваррского за французский престол: «Королева Марго», «Графиня Монсоро» и «Сорок пять» (1845—1848).

Происшедшая в 1848 году во Франции буржуазно-демократическая революция вовлекла в свои ряды многих писателей, историков, философов.

Дюма отрицательно относился к монархии Луи-Филиппа и весть о создании республики встретил с искренним ликованием. Но республика просуществовала всего лишь несколько лет. В декабре 1851 года Луи Наполеон произвел государственный переворот, а через год во Франции была провозглашена империя.

Продолжая заполнять «белые пятна» многовековой эпопеи, Дюма в 1857 году обращается к роману под несколько завуалированным названием «Сообщники Иегу». Этот роман представляет тот эпизод из истории Франции, когда она вела революционные войны против коалиции Англии и Австрии. Под именем Иегу скрывался Жорж Кадудаль, известный монархист, заговорщик. Действие романа начинается в 1799 году, когда Наполеон был первым консулом Республики. В стране создалась напряженная обстановка. Восстание в Вандее, спровоцированные монархистами, поддерживалась бандами Кадудаля, грабившими государственную казну и терроризировавшими мирных жителей.

Александр Дюма в реальном свете изображает энтузиазм республиканских солдат, противопоставленный силам монархической Вандеи. Симпатии автора на стороне революционной Франции, и он с демократических позиций очерчивает неодолимость народного движения, бесплодность усилий европейских монархов подавить его.

VI

В 1858 году Александр Дюма совершил путешествие в Россию, сыгравшее значительную роль в его жизни.

Прибыв в Петербург, он обошел главные улицы города, был поражен архитектурным ансамблем Невского проспекта, посетил казематы Петропавловской крепости. Петербург встретил французского писателя с искренним радушием, так как Дюма, по свидетельству И. И. Панаева, пользовался в России почти такой же популярностью, как и во Франции.

В Петербурге Дюма провел полтора месяца, затем направился в Москву. Далее он предпринял путешествие по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани, а затем через Кизляр и Баку добрался до Кавказа и только лишь в марте 1859 года возвратился во Францию. В результате поездки по России путешественник смог написать обширный цикл

очерков, познакомив французских читателей со многими сторонами русского быта, русской истории, с жестоким произволом Николая I.

Александр Дюма был знаком с Гарибальди. Он написал о его легендарной «тысяче» художественный очерк — «Гарибальдийцы» (1862) и перевел на французский язык мемуары итальянского полководца.

Правое дело Гарибальди, боровшегося за единую Италию, поддержали в своих обращениях Виктор Гюго и Жорж Санд. Дюма пожертвовал Гарибальди для покупки оружия пятьдесят тысяч франков. В сентябре 1860 года он направился в Неаполь, где Гарибальди назначил его директором национальных музеев.

Проведя в Неаполе четыре года, он написал там один из лучших своих романов «Сан-Феличе».

Герой романа Сан-Феличе посвящает свою жизнь борьбе за единое национальное государство, чтобы итальянцы могли жить свободно, изгнав ненавистных иноземцев. В романе раскрыта патриотическая деятельность Сан-Феличе и его верной подруги Луизы Молина. Они увлечены благородной мечтой — стремлением изгнать короля и установить в Неаполе республику. Командуя английской эскадрой, прибывшей на помощь неаполитанскому королю, Нельсон стремится подавить патриотическое движение итальянцев, но, видя, что королевская власть беспомощна перед победоносным движением народных масс, предпочитает отплыть в Англию. В романе изображены интриги двора, где королева пользовалась бóльшим влиянием, нежели сам Фердинанд I, колоритно воссозданы массовые сцены, где ощутимо чувство симпатии автора к карбонариям, к народу и глубокая неприязнь к придворной камарилье.

В 1866 году А. Дюма направился на фронт франко-прусской войны. Он посылает в парижские газеты обзоры военных действий и одновременно работает над новым романом — «Прусский террор», в котором обличает прусского канцлера Бисмарка.

Весной 1870 года Александр Дюма уехал на юг Франции, где должен был подготовить к изданию ряд книг, но его здоровье резко ухудшилось. Он умер 6 декабря 1870 года и был похоронен в Вилле-Котре.

VII

В трилогии «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Сорок пять» сюжетная линия объединена историей борьбы Генриха Наваррского за французский престол. Здесь автор явно идеализирует своего героя. Эгоистическая мечта Генриха о личных успехах и личной славе, его расчетливая политика рассматриваются Дюма как торжество умного политика, короля простого народа.

Генрих Наваррский, возглавивший конфедерацию гугенотских городов и дворянство Юго-западной Франции, несомненно был выдающейся личностью, ему удалось покончить с религиозными смутами и объединить всю Францию под своей властью, а в 1598 году так называемым «Нантским эдиктом» легализовать положение протестантов, предоставив им свободу вероисповедания и некоторые политические права.

За пятнадцать лет своего царствования (1595—1610) Генрих IV немало сделал для того, чтобы превратить Францию в сильное абсолютистское государство, развить ее экономику. Но «народолюбие» его было довольно показным: он железной рукой подавлял крестьянские движения и, отменив налоговую задолженность, накопившуюся за

крестьянством в период войн, значительно повысил косвенные налоги, ложившиеся своей тяжестью на то же крестьянство.

Действие романа «Королева Марго» начинается 18 августа 1572 года, когда в Лувре происходила свадьба Маргариты Валуа, сестры царствующего короля Карла IX, с Генрихом Бурбоном, королем Наваррским.

Это бракосочетание должно было продемонстрировать примирение католиков и протестантов, но буквально через несколько дней над гугенотами началась жестокая расправа, известная в истории под именем Варфоломеевской ночи.

Уже в первой части трилогии обнаруживаются честолюбивые замыслы Генриха, но тем не менее он вызывает симпатию читателя своей молодостью, гибким умом, находчивостью, тем, что он храбр и великодушен. Все эти черты его натуры помогают ему расстроить козни его врагов: он предвидит и раскрывает коварные замыслы королевы-матери Екатерины Медичи и пытается завоевать доверие самого короля Карла IX.

Реалистичен образ королевы Марго, брак с которой у Генриха был фиктивным и они стали союзниками в борьбе с интригами и коварством королевского двора.

В «Королеве Марго» большинство персонажей исторические лица. К ним относится и де Ла Моль, молодой человек, чья рыцарская любовь к Маргарите составляет поэтические страницы романа.

Не менее благородной предстает в романе самоотверженная дружба Ла Моля и Коконнаса. Их самоотверженная дружба, рожденная в смертельном поединке, скрепленная общей опасностью, неразрывно соединяет этих замечательных героев до конца их жизни. Действие в романе «Королева Марго» завершается смертью Карла IX. Умирая, он провозглашает королем Франции Генриха Наваррского, но по повелению Екатерины Медичи герцог Анжуйский, под именем Генриха III, становится королем Франции. Генрих же Бурбон спасается бегством в Наварру.

В последующих частях трилогии рассказывается о том, как королева-мать, всецело подчинив себе Генриха III, ревностно оберегает интересы дома Валуа. Она ненавидит претендентов на престол Франции. Властолюбие обуревало Екатерину. Для того чтобы закрепить престол за династией Валуа, она объединилась с влиятельными герцогами Гизами, которые тоже претендовали на французскую корону и были тайными врагами сначала Карла IX, а потом и Генриха III. Общественный конфликт обострился благодаря участию в этих придворных интригах представителей двух религиозных партий. Если французские короли и герцоги Гизы являлись правоверными католиками, то Генрих Наваррский, его отец Антуан Бурбонский, принц Конде, адмирал Колиньи и другие государственные деятели были гугенотами. Называли их еще кальвинистами, потому что они были сторонниками швейцарского богослова Жана Кальвина (1509—1564), который предлагал реформировать католическую церковь и лишить ее земельных владений. Протестантизм, по существу, подрывал авторитет церкви, вел к развитию духа сомнения среди католиков, и все это расшатывало устои монархического государства.

Дюма показывает, как постепенно исчезает со сцены династия Валуа. В 1588 году в результате народного восстания в Париже король должен был покинуть столицу и обратиться за помощью к Генриху Наваррскому. Но дни царствования Генриха III были сочтены. После

того как в 1589 году Генриха III убил монах Жак Клеман, королем Франции был провозглашен Генрих Наваррский, вошедший в историю под именем Генриха IV. Все эти политические раздоры и послужили для Дюма канвой обширного повествования о вырождении королевской династии Валуа.

VIII

Во второй части трилогии — «Графиня Монсоро» — действие становится еще более напряженным, гражданская война обостряется. Католическая лига беспощадно преследует гугенотов, Испания и Англия угрожают Франции войной, осложняется закулисная борьба между придворными. Генрих Гиз клянется в верности королю, но прилагает все усилия полководца и политика, для того чтобы учредить династию Лотарингского дома — владетельных феодалов нескольких провинций Франции. Его поддерживают знатные вельможи. Они видят, что престол занят беспомощным человеком, который, по словам современников, был «не королем, а монахом», потому мечтают о более достойном правителе Франции.

С замечательным мастерством и тонкой иронией изображает здесь Дюма дворцовые интриги и заговоры, праздную жизнь дворянского сословия, развращенность нравов. И на этом фоне — хитрую тактику Гизов, которым удалось склонить на свою сторону парижских ремесленников и торговцев. Помимо политических и религиозных конфликтов, дворцовых заговоров, большое место в романе отведено изображению трагической любви рыцаря де Бюсси и Дианы Монсоро. Де Бюсси (1549—1579) — личность историческая, он служил при дворе Генриха III и находился в числе приближенных герцога Анжуйского. Герцог Анжуйский и де Бюсси — образы резко контрастные. Холодному высокомерию, нравственной опустошенности герцога противопоставлены великодушие и доблесть де Бюсси, влюбленного в Диану Монсоро. Этих великодушных молодых людей преследуют и строят против них всякие козни жестокие и надменные вельможи — герцог Анжуйский и егермейстер короля — граф Монсоро, за которого была выдана замуж против ее воли красавица Диана. Желая отомстить сопернику, граф Монсоро и герцог Анжуйский подсылают к де Бюсси наемных убийц. Интрига романа завершается в заключительных главах предательским убийством де Бюсси.

В романе «Сорок пять» читатель вновь встречается с Дианой и узнает о ее дальнейшей судьбе: тяжело пережив смерть любимого человека, она ставит целью своей жизни — отомстить его убийцам.

Начало событий, описанных в романе «Сорок пять», отнесено автором к 1585 году, когда обострившиеся классовые противоречия привели к новой полосе гражданских и религиозных войн. В то время шла гражданская война. Дворянство северных провинций, поддержанное ре месленно-буржуазным сословием северных городов, вступило в конфликт с правительством. После отделения Юга экономика страны была подорвана, резко ухудшилась жизнь крестьянства. Вследствие этого усилилось народное движение против феодалов, возникли крестьянские волнения в Нормандии, Оверни и других провинциях. В 1585 году северные города, отказавшись подчиниться правительству Генриха III, присоединились к Католической лиге, которая превратилась в конфедерацию северных городов во главе с герцогом Гизом.

В последнем романе трилогии писатель создает впечатляющую

картину обреченности дома Валуа, показывает абсолютное вырождение этой династии, рисует жалкую фигуру Генриха III, которого уже не могут спасти ни публичная казнь политического преступника Сальседа, ни сорок пять всадников-телохранителей (отсюда и название романа). Здесь читатель встречается с многоликой толпой, знакомится с нравами феодальных времен.

Народные сцены дают представление о французском средневековье в ту его эпоху, когда феодализм еще не был поколеблен, но в его недрах уже созревали силы, которым предстояло со временем похоронить феодальный строй; это французские ремесленники и торговцы, изображенные писателем как костяк смелой, бунтарской массы. Правда, недовольные парижане еще не знают, что им предстоит свершить в будущем, «не знают заранее, когда вспыхнет бунт».

А тем временем Гизы, опираясь на зажиточные слои города, готовят мятеж против короля. Столкновение враждующих сословий придает исключительную напряженность повествованию и определяет композицию романа.

Почему же король не учинил расправу над непокорными ему феодалами? Это объясняется тем, что противостоящие королевской власти феодалы пользовались еще во Франции большим влиянием. Могущественный дом Гизов располагал огромными владениями в Бургундии, Шампани, Лотарингии. Генрих Гиз и его брат Шарль (герцог Майенский) были видными полководцами. Их третий брат, Луи,— кардинал Лотарингский — вместе с Генрихом возглавлял Католическую лигу. Лишь в 1588 году, когда Генрих Гиз был убит подосланными убийцами, а кардинал Лотарингский был брошен в тюрьму и вскоре казнен, король почувствовал себя увереннее.

В романе «Сорок пять» представители царствующего дома и высшая знать погрязли в интригах, на каждом шагу совершают предательства и убийства. Герцог Анжуйский участвует в войне лишь потому, что стремится стать королем Фландрии, а затем и Франции. Лукавый политик, герцог Гиз вступает в сговор с Вильгельмом Оранским. Торгуя своей шпагой, он предает интересы родины. Сестра Гиза — герцогиня Монпансье — содержит целый штат наемных убийц. Вот в каком окружении находился Генрих III. В изображении Дюма он мог царствовать только лишь потому, что опирался на разумных, энергичных и преданных помощников. Среди обаятельных персонажей романа «Сорок пять» выделяется фигура шута Шико. Этот герой появился на страницах «Госпожи Монсоро» как проницательный политик, ум и смекалку которого ценил Генрих III. Он раскрыл дворцовый заговор против короля, в котором участвовали герцог Анжуйский и граф Монсоро. Враждебная королю партия возненавидела Шико и готовилась совершить над ним расправу, но он, точно рассчитав ходы в осуществлении курса большой политики, сумел приблизить к трону Генриха Наваррского. Этот человек в нравственном и интеллектуальном отношениях бесконечно превосходит своего хозяина-короля, а опытные придворные дипломаты по сравнению с Шико кажутся лишь незадачливыми учениками. Шико непобедим во всех поединках, сметлив и весел, как и прославленный д'Артаньян.

Правдивыми, художественно оправданными представляются образы адмирала Жуаеза и Шико, воплощающие подлинный героизм, жизнелюбие, находчивость ума, пылкую энергию людей, не терпящих произвола; именно этих героев писатель противопоставляет морально опустошенной придворной знати.

В романе «Сорок пять» действие происходит не только во Франции, но и во Фландрии, боровшейся тогда против тирании испанского короля Филиппа II. Эта страна стремилась раскрепостить себя, освободиться от жестокого произвола испанских завоевателей. В своей справедливой революционной войне фламандцы вынуждены были прибегнуть к иностранной помощи. При этом им приходилось иногда выступать и против своих мнимых союзников, в данном случае — против такого честолюбивого авантюриста, каким являлся герцог Анжуйский.

В своем романе Дюма создает впечатляющие картины сражений, развернувшихся на полях Фландрии. Он с сочувствием показывает, как революционный народ борется за жизнь и свободу будущей Нидерландской республики. Именно народ! В защите Антверпена, кроме солдат, принимает участие городское ополчение, а разгром испанских гарнизонов совершают бесстрашные морские и лесные гёзы.

«События редко предают правое дело»,— заявляет Дюма и, следуя этой формуле, художественно убедительно рассказывает о событиях, в результате которых Филипп II был лишен престола в Нидерландах, рисует крупное сражение, решившее успех голландцев и фламандцев.

На фоне событий нидерландской революции выделяется фигура Вильгельма Оранского, полководца и государственного деятеля, признанного фламандцами своим вождем. Дюма несколько преувеличивает роль принца Оранского, считая его «одним из величайших актеров драмы, именуемой мировой историей». Вильгельм Оранский стремился использовать революцию в честолюбивых целях, стать единовластным правителем государства. Он был убит фанатиком католиком в 1584 году. Преувеличение роли личности, случая в судьбах государства было чрезвычайно широко распространено во французской буржуазной науке XIX столетия; это явление в значительной степени отразилось в романах Дюма.

И все же следует сказать, что трилогия о династии Валуа, обличая монархический строй XVI столетия, была полна того пафоса, который мы вправе назвать демократическим; в этом главное идейно-художественное достоинство романов Александра Дюма, созданных накануне революции 1848 года.

* * *

Во многих странах мира читатели с большим интересом воспринимали произведения французского романиста. Среди читателей его произведений были Карл Маркс и Генрих Гейне, Толстой и Достоевский, Чехов и Горький. Во Франции поклонниками его таланта были Бальзак, Флобер, Жорж Санд. Виктор Гюго признавал мировое значение романов и драм Александра Дюма, художника, обладавшего «тончайшей интуицией истории», писателя, который «оздоровлял и облагораживал умы каким-то радостным и бодрящим светом». Английские писатели Р. Стивенсон и Д. Голсуорси также искренне восхищались французским романистом. Голсуорси выразил мнение, что «по увлекательности повествования Дюма равен Диккенсу».

А. И. Куприн был убежден в том, что «образы», вызванные и возвеличенные Дюма, живут сотни лет и передаются миллионам читателей. Их можно назвать вечными спутниками человечества».

М. Трескунов

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Сент-Антуанские ворота 5
Что происходило у Сент-Антуанских ворот 12
Проверка 20
Ложа его величества короля Генриха III на Гревской площади 27
Казнь 37
Братья де Жуаезы 45
О том, как «Меч гордого рыцаря» возобладал над «Розовым кустом любви» 55
Характер гасконца 61
Господин де Луаньяк 69
Скупщик кирас 74
Снова лига 82
Опочивальня его величества Генриха III в Лувре . . 88
Спальное помещение 96
Тень Шико 102
О том, как трудно королю найти хорошего посла . . . 115
Как и по каким причинам умер Шико 122
Серенада 126
Казна Шико 133
Аббатство Святого Иакова 137
Два друга 141
Собутыльники 147
Брат Борроме 152
Урок 158
Духовная дочь Горанфло 164
В засаде 171
Гизы 178
В Лувре 182
Разоблачение 186
Два друга 191
Сент-Малин 196
О том, как господин де Луаньяк обратился к Сорока пяти с краткой речью 202
Парижские буржуа 210

Часть вторая

Еще раз о брате Борроме 218
Шико-латинист 223
Четыре ветра 226
О том, как Шико продолжал путешествие и что с ним случилось 231
Третий день путешествия 236
Эрнотон де Карменж 240
Конный двор 246
Семь грехов Марии-Магдалины 252
Бель-Эба 257
Письмо господина де Майена 263
Как дон Модест Горанфло благословил короля при его проезде мимо монастыря Святого Иакова . . . 267
О том, как Шико благословлял короля Людовика XI *за изобретение почты* и как он решил воспользоваться этим изобретением 275
О том, как король Наваррский догадался, что Turennius значит Тюренн, а Margota — Марго 280
Аллея в три тысячи шагов 286
Кабинет Маргариты 290
Перевод с латинского 294
Испанский посол 298
Король Наваррский раздает милостыню 303
С кем действительно проводил ночь король Наваррский 309
Об удивлении, испытанном Шико, когда он убедился, как хорошо его знают в Нераке 315
Обер-егермейстер короля Наваррского 323
О том, как в Наварре охотились на волков 324
О том, как вел себя король Генрих Наваррский, когда впервые пошел в бой 331
О том, что происходило в Лувре в то время, когда Шико вступал в Нерак 338
Белое перо и красное перо 347
Дверь отворяется 351
О том, как знатная дама любила в 1586 году 356
О том, как Сент-Малин вошел в башенку и к чему это привело 365
О том, что происходило в таинственном доме . . . 371
Лаборатория 377
О том, что делал во Фландрии монсеньер Франсуа, принц Французский, герцог Анжуйский и Брабантский, граф Фландрский 380
О том, как готовились к битве 387
Монсеньер 395

Часть третья

Монсеньер (Продолжение) 399
Французы и фламандцы 404
Путники 412
Объяснение 417

Вода 422
Бегство 428
Преображение 435
Два брата 438
Поход 444
Павел из семейства Эмилиев 449
Герцог Анжуйский предается воспоминаниям . . . 455
Попытка подкупа 464
Путешествие 470
О том, как король Генрих III не пригласил Крильона к завтраку, а Шико сам себя пригласил 474
О том, как Генрих, получив известия с Юга, получил вслед за тем известия с Севера 481
Кумовья 488
«Рог изобилия» 492
Что произошло у метра Бономе за перегородкой . . 495
Муж и поклонник 505
О том, как Шико начал разбираться в письме герцога де Гиза 510
Кардинал де Жуаез 515
Сведения о д'Орильи 521
Сомнения 524
Уверенность 528
Судьба 534
Госпитальерки 540
Его светлость герцог де Гиз 546

М. Трескунов. Александр Дюма 549

Для старшего возраста

Александр Дюма

СОРОК ПЯТЬ

Роман

ИБ № 7534

Ответственный редактор *Н. С. Дроздова*
Художественный редактор *А. Б. Сапрыгина*
Технический редактор *Г. Г. Седова*
Корректоры *В. В. Борисова* и *Э. Н. Сизова*

Подписано к печати с готовых диапозитивов 21.05.82. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкнов. Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 30,5. Уч.-изд. л. 31,56. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1016. Цена 1 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

